ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

Николай Рубцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

Объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективам:

Общероссийской общественной организации "Союз писателей России".

Президент
Российской Федерации В.Путин

21 сентября 2020 года
№ 244-рп

Вологда. XXI век

СЕВЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Литературно-художественный альманах
к шестидесятилетию
Вологодской писательской
организации

Вологда
«Полиграф-Периодика»
2021

УДК 821.161.1(470.12)
ББК 84(2Рос-4Вол)-6
С28

Редактор, составитель
А. А. Цыганов

Редколлегия альманаха «Северное ожерелье»:
С. П. Багров, Р. А. Балакшин, В. Н. Бараков,
А. К. Ехалов, М. И. Карачёв, В. А. Плотников,
О. А. Фокина, А. А. Цыганов

С28 **Северное ожерелье** : литературно-художественный альманах к шестидесятилетию Вологодской писательской организации / [редактор, составитель А. А. Цыганов ; редколлегия: С. П. Багров и др.]. – Вологда : Полиграф-Периодика, 2021. – 769 с. : ил. – (Вологда. XXI век). – 12+.
ISBN 978-5-91965-254-0

Если на карте европейской части севера России мысленно пройти от Архангельска до Великого Устюга и Тотьмы, через Вологду и Кириллов к Череповцу и Устюжне, далее через Белозерск и Каргополь к Онеге и обратно,– действительно, можно зримо увидеть непрерывную волнистую окружность, похожую на бусы, издавна так и называемую – «Северное ожерелье». В этом крупнейшем в стране естественном заповеднике бесценных памятников древнерусской культуры дольше, чем где-либо, сохранились прекрасные образцы живописи, художественные ремесла, изустные былины и песни, передававшиеся из поколения в поколение.

А в вологодском направлении – это и самобытный образ русской жизни, кроме прочего, запечатленный на века, как сказителями, так и самыми разными мастерами народных художеств, а еще – носителями красного слова – писателями. Общеизвестно, что неразделимой частью именитого «Северного ожерелья» в своем крае является Вологодская писательская организация, одна из ведущих организаций в России, отмечающая 60-летие со дня основания. В литературно-художественном альманахе «Северное ожерелье», подготовленном к знаменательной дате, представлены произведения вологодских писателей, членов Союза писателей России, созданные преимущественно в последние годы, раздел «Литературное наследие» принадлежит перу ушедших мастеров слова, снискавших заслуженное признание не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами.

УДК 821.161.1(470.12)
ББК 84(2Рос-4Вол)-6

ISBN 978-5-91965-254-0

© Вологодское отделение Союза писателей России, 2021
© Оформление. ООО ПФ «Полиграф-Периодика», 2021

НАРОДНЫЕ КОРНИ ЛИТЕРАТУРЫ

...Всяк знает, что литературное дело сугубо личностное. По своей природе оно менее всего поддается, если можно так выразиться, цеховому охвату. Не случайно из веков к нам пришло овеянное романтической дымкой представление о поэте как творце-одиночке, о художнике как человеке загадочной судьбы. Да и вся история русской классической литературы не припомнит, чтобы за столетия ее развития были какие-нибудь организационно оформленные писательские объединения. Разумеется, между литераторами существовали всегда личные связи, кружковые и журнальные содружества и группы, державшиеся на общих художественных интересах, творческих пристрастиях, идейных задачах. Но и эти факты взаимоотношений между писателями (а между великими в особенности) свидетельствуют нам, как трудно сходились в жизни творческие люди.

Вологодская писательская организация с самого начала уже не была простым списочным, по воле случая, объединением литераторов, а являла собой живой, растущий, корневой организм из народной среды. Она, лучше сказать, не создавалась, а возникала в своем крае как явление народного самосознания, рождалась как заново творимая действительность в художественном слове.

Никогда не знали здесь нынешнего командировочного обычая – в поисках материала «спускаться в жизнь». Наоборот, в Вологду шли люди, одаренные выстраданным знанием жизни, чтобы «подняться» до умения воплотить пережитое в правдивое слово. В этом городе, помнящем Константина Николаевича Батюшкова, издавна веяло сильными просветительскими традициями.

Да и облик самого города, задумчивый и душевный, открывался перед взором как историческая былина. В изумительной деревянной красоте, в просторном и величавом древнем зодчестве светились исконные черты Руси. Родная природа да отечественная архитектура всегда первыми волнуют человека и внушают ему долго помнить, кто он, чей и откуда. Добавьте сюда услышанные в детстве предания,

сопричастно пережитые перемены самой жизни, всю радость и горечь их, примеры терпеливого долга, картины труда, родительского обычая... Да, творческая почва здесь накапливалась десятилетиями. Под ней, к счастью, сохранились вековые пласты северорусской речевой, песенной, обрядовой, рукодельной культуры, из глубины времен мерцающие яркой самобытностью.

Поэтому можно сказать, что Вологодскую писательскую организацию (в самом широком смысле) рождала историческая память и необходимость утверждения ее для верного понимания бурной современности, для более разумного участия в новых социалистических преобразованиях. Отсветы этой памяти лежат на лучших книгах писателей многих поколений, вышедших из вологодского края и занявших свое достойное место в большой советской литературе.

...Литературную жизнь в Вологде после войны я хорошо помню. В 1947 году город, заполненный еще госпиталями, праздновал вместе с Москвой свое восьмисотлетие. В педучилище, где я тогда учился, были вывешены специальные газетные выпуски, а в них напечатаны стихи Сергея Викулова и Валерия Дементьева. Много раз подходил я перечитывать стихи, вглядывался в каждую строку. Они удивляли меня тем, что такие звонкие, совсем-совсем настоящие, какие читал только в книгах, были, оказывается, написаны в эти дни и в нашем городе. Я сам уже писал вовсю, но совершенно о другом, и так и не показывал никому, кроме однокурсников и умного, доброго старого преподавателя литературы. Тогда я впервые понял, что в Вологде есть настоящие поэты и мне надо как-нибудь уж если не поговорить с ними, то хотя бы посмотреть на них.

Но увидеть их мне довелось лишь через год, когда поступил в педагогический институт. Я знал – они учились там. Потому так нетерпеливо и рвался на филфак.

Поступил, осмотрелся и с тетрадкой стихов робко постучался в кабинет, где ассистентом (подрабатывая во время учебы) был Сергей Викулов. Военная выправка, русый зачес на высоком лбу. Внимательный, озерный взгляд. Я в нем от растерянности потонул. Но этот взгляд помог мне выплыть, и я сел за стол рядом с Викуловым. Листая мою заветную тетрадку, он что-то черкал острым пером, время от времени взглядывая на меня, а потом сказал: «Ты – поэт».

Впервые я услышал, это обжигающее, срывающее с места душу и всю жизнь опасное слово, относящееся именно ко мне. Я от волнения не мог говорить: не гордость, не торжество, не тщеславие испытал я, нет – только какой-то жаркий комок на миг перехватил дыхание, и лицо опалило, будто бы солнечным, сенокосным полднем...

Такой была моя первая встреча в 1948 году с Сергеем Викуловым. Она положила начало дружеских отношений на всю жизнь. И ту тетрадку с его острыми чернильными пометками на стихах, в общем-то, слабых, ученических, я бережно храню в своих бумагах.

В те праздничные для меня, студента, дни увидел я и Валерия Дементьева. Высокий, статный, с копной лихо зачесанных черных кудрей, он, чуть прихрамывая, шел по институтскому коридору – и во всю длину его у стен завороженно, зачарованно замирали студентки. Но поэт их не замечал, он шел со своей думой, угадываемой в сдвинутых надбровьях.

Поначалу он показался мне совершенно недоступным, но вскоре я убедился, какой это шумно веселый, острый на слово, широкий на дружбу человек. Он уже тогда прекрасно знал советскую поэзию, любил читать наизусть – а читал артистически – «Соловьиху» Бориса Корнилова и «Полмига» Павла Шубина.

Если Сергей Викулов учил поэзии, исходя из будничной, окружающей нас реальной жизни, из точности и новизны передачи живых красок, деталей, образов, то Валерий Дементьев шел от опыта, уже накопленного до нас, воспитывал на примерах лучших строк отечественной литературы. Они хорошо дополняли друг друга и помогали институтским литкружковцам взглянуть на сам предмет поэзии как бы двояко – снизу и сверху, чтобы в молодой душе закипело это двуединство и навсегда слилось в один принцип понимания художественного слова.

Интересно отметить, что оба они были, как и мы, студентами. Только старшекурсниками. Только фронтовиками. Первый – бывший командир артиллерийской батареи, прошедший всю войну от Сталинграда до Австрии, второй – командир саперного взвода.

Годы войны – целый век. И мы, тоже хватившие лиха в тылу, мальчишескими плечами подталкивавшие Победу, все-таки никогда не смогли запросто в дружеском общении

перешагнуть эти четыре года и стать с ними на короткой ноге – слишком высок был разделявший нас огневой рубеж.

А вологодский пединститут, как светлый парусник, плыл сквозь годы не только в дали народного просвещения, но и в просторы советской литературы. Здесь была взыскательная и добрая обстановка. Веяло свежестью молодого творчества на лекциях, на семинарских и кружковых занятиях, со страниц многометровых стенных газет, на шумных и тесных вечерах в актовом зале. Были как бы едины и одинаково молоды студенты и преподаватели – декан О. В. Шайтанов, доктор наук, знаток тонкостей русской грамматики и лексики Б. Н. Головин, заведующий кафедрой советской литературы Виктор Гура, впоследствии профессор, автор многих книг, исследователь творчества Шолохова, и другие.

Приезжал в институт из Ленинграда Сергей Орлов, и это был огневой всплеск фронтовой поэзии. Коренной белозер, он являл собою чуткую талантливость северной русской стороны. По свидетельству своего односельчанина и друга Сергея Викулова, Сергей Орлов еще перед войной, в ранней юности, писал сильные стихи и на фронт ушел уже поэтом. Он так много сделал для роста Вологодской писательской организации – и когда был просто известным поэтом, и когда стал еще вдобавок секретарем правления Союза писателей РСФСР,– что имя его – в судьбе нашей.

Приезжал в институт из Москвы Александр Яшин. Это всегда было событием – праздником и уроком, дружеством и руководством. К нему тянулись все как к главному авторитету в литературе и как к самому надежному человеку в жизни. Не знаю, замечал ли это он сам, но он не создавал к себе такого отношения: ему это было незачем – он на войне коммунистом прошел огонь Сталинграда и Ленинграда, его фронтовые книги вошли в поэтическую летопись советского мужества, а за сборник «Земля богатырей» (1945) ему была присуждена премия ЦК ВЛКСМ как за лучшую книгу для молодежи. А вскоре, в 1949 году, он стал лауреатом Государственной премии СССР за повесть в стихах «Алена Фомина».

Припоминаю, как после премии Александр Яковлевич в вологодском кафе устроил банкет для земляков. Собрались журналисты, молодые пишущие люди, его здешние друзья. Расселись все за длинным, во весь зал, столом. И меня, студента, лишь из детства помнящего довоенные густые деревенские праздники, поразило это щедрое гостеприимство.

Приглушили патефон, напевавший со старых пластинок русские песни, налили вина, и Яшин встал во главе стола, высокий, сухощавый, прямой. Он, видимо, опасался славословий, неизбежных по такому случаю и в такой обстановке, и сам решил сказать первое слово. Все затихли. Голос его, как всегда, был глуховатым, как бы простуженным, но резким в поворотах интонаций. Я сидел рядом и слышал даже характерное для него придыхание.

Яшин начал с того, что на войне погибло очень много талантливых, совсем молодых ребят. Многие из них непременно стали бы большими прозаиками и поэтами. Но своей гибелью они защитили те таланты, которые мы пока еще не знаем. Мы должны открывать их, помогать им и объединять воедино ради дружной работы в советской литературе. А потом, весело и зорко улыбнувшись, он добавил, что Вологда должна выручить литературу, что в силы Вологды он всегда верил и что пора начинать это дело серьезно и без всяких скидок...

И вот в том же 1949 году по инициативе обкома партии было созвано первое областное совещание молодых писателей. Руководителем на нем стал, конечно, Яшин. Уже вышли в издательстве «Красный Север» первые книжки стихов Сергея Викулова – «Завоеванное счастье» и Валерия Дементьева – «Заре навстречу», а также коллективный сборник «Родная сторона».

На совещание народ сошелся со всех сторон. Были здесь недавно демобилизованный Николай Угловский из Великого Устюга с рукописью первой повести «Наступление продолжается», Виталий Гарновский из Шолы с рассказами «Полесники у костра», Степан Морозов с повестью «Лес шумит», Александр Власов из пединститута с новыми баснями и многие другие с прозой и стихами. Дело тронулось. Было создано областное литературное объединение, председателем которого избрали Сергея Викулова.

Прошли еще два (1950, 1955) областных совещания молодых авторов. Это было время, похожее на весенний разлив, когда бредут по широкой воде тонкие деревца, а их гнут и сшибают яростные льдины, и неизвестно, выстоят ли они в таком потоке, не сорвутся ли с корней и раскинут ли потом из набухших почек свою высокую и сильную зелень.

И опять из Москвы приезжал Яшин. А из Ленинграда – Сергей Орлов, Михаил Дудин, Константин Коничев, Леонид

Хаустов, Вадим Шефнер. Доброе дело судьбу строит. Конечно, лишь несколько человек из тех «приливов» устояли в литературе, но многие стали настоящими журналистами: Александр Сушинов, Николай Задумкин, Валентин Сорокин, Николай Матвеев, Борис Ромодин, Валентин Амосов, Федор Голубев, Николай Кузнецов.

Но совещания совещаниями, а повседневная забота из года в год – на Сергее Викулове. Я бы так сказал применительно к будущей Вологодской писательской организации: основные опоры, венцы и расположение окон на народную жизнь первым заложил Александр Яшин, а стены и многие надежные крепления между ними – Сергей Викулов, а нам уж потом довелось достраивать это здание, обживать и утеплять его.

В 1958 году в Вологде открылось свое книжное издательство*. Директором его стал Владимир Малков – опытный журналист и краевед, подвижник книжного дела. Это было поистине золотое время. Надо прямо сказать: не будь Вологодского издательства, рождение писательской организации отодвинулось бы еще, по крайней мере, на десятилетие.

Одна за другой пошли книги стихов и прозы, творческая жизнь сразу переместилась в старый, украшенный резьбой дом на улице Чернышевского. Там проходили собрания литобъединения. Там грудились на столах рукописи. Там радостно екало молодое сердце от добрых издательских решений.

В те годы я работал в газете «Вологодский комсомолец». И мне довелось быть во всех творческих делах и начинаниях рядом с Сергеем Викуловым. Он уже стал членом Союза писателей СССР, печатался в Москве, а после выхода книги стихов и поэм «Деревьям снятся листья» прочно укрепил свое имя в советской поэзии.

Викулов внимательно и терпеливо редактировал наши первые сборники, и надо было видеть, с какой заинтере-

---

* До этого была (с 1948-го) областная книжная редакция, сначала при газете «Красный Север», а потом при обкоме КПСС. С нее, с альманахов «Северная новь» и «Литературная Вологда», началось наше литературное движение. С 1948 по 1964 годы (в этом году было создано укрупненное Северо-Западное книжное издательство), то есть за 16 лет деятельности Вологодского издательства, по разделу художественной литературы было выпущено более ста книг местных авторов общим объемом в двести издательских листов и тиражом три миллиона экземпляров.

сованностью всматривался он в новые рукописи, радовался находкам, ставил крылатые крестики на полях, а в трудных случаях искал сам лучшие варианты строк.

В поэзию двигалось уже новое поколение, яркими представителями которого были Василий Белов, Виктор Коротаев, Борис Чулков, Леонид Беляев. Оно, это поколение, оказалось, пожалуй, звонкоголосей предыдущего, что мне, работавшему в газете, было заметнее, чем многим другим, потому что через «Вологодский комсомолец» шел его поэтический прилив.

Так, я помню, как взволнованные корректоры газеты не сдерживали слез, вычитывая в номере маленькую поэму Василия Белова «Гармонь». Помню и многие литературные вечера, на которых Виктор Коротаев размашисто читал свои стихи, и зал одобрительно гудел. Удивляли неожиданностью и даже странностью появления оды (да, оды!) Бориса Чулкова о природе, о временах года и среди них – замечательная «Русская зима». Запомнились задорным юмором миниатюры Леонида Беляева. Уже привозил из глубины вологодского края свои первые прозаические опыты Анатолий Петухов.

Почувствовав общее оживление, набрали второе дыхание и литераторы старшего поколения. В Вологде оказался поэт Аркадий Сухарев, в тридцатые годы стремительно влетевший в поэзию вместе с Ярославом Смеляковым и Борисом Ручьевым (его первая книга «На подступах», 1932). Человек трудной судьбы, он много лет сторонился стиха, но будто разбуженный новым литературным движением, вновь взялся за перо, помолодел и выпустил три книги стихов – «Рукопожатие», «Опять весна», «Пульс». Его холодноватая, как бы выстроганная на станке поэзия являла собою незаурядную мастеровитость и решительную попытку войти и целиком раствориться в теме рабочего класса. Аркадий Сухарев первым в Вологде показал, как труден, но необходим этот путь.

Разворачивалось строительство Череповецкого металлургического завода. Его будущее потрясало, как неслыханная сказка в нашем земледельческом крае. Предполагалось, что новыми высверками блеснет и поэзия. Но этого не произошло. Живший тогда в Череповце старый поэт Павел Кустов (первая книга «Налив» вышла в Москве в 1930 году) рванулся было, подобно Сухареву, к активному творчеству, выпустил два сборника – «На просторах Родины» и «У нас на севере», но и прежний опыт мало ему помог: глубже

внешнего, риторического пафоса его строка не пошла. Заводские пролеты, полыхающие зарницами труда, «как башни терпения, домны» (смеляковский образ), пока не выдвинули у нас своего поэта. Или поэзия – эта радостная боль отзывчивого сердца и чуткого ума – страшится огненных цехов, или природа не явила еще новаторского дара постичь их? Тут, видимо, остается полагаться на будущее.

А тогда, в преддверии писательской организации, больше всего волновали нас нравственно-социальные проблемы, связанные с судьбой русской деревни. Быстро сменялись на селе разные перестройки, формы руководства, методы хозяйствования. Люди уходили на заводы (один Череповец сколько десятков тысяч взял прежних колхозников!), деревни старели, рушился вековой уклад крестьянского бытия. А там, в пустующих избах, где мы когда-то родились, оставались одинокими наши матери-вдовы. Росы родной земли закипают в сердце слезами...

Об этом раздумывал Сергей Викулов в своих поэмах «В метель», «Трудное счастье», «Преодоление», а потом – наиболее мощно – в поэме «Окнами на зарю». Мы их обсуждали коллективно, горя тем же огнем, что и он. И тут не было никакого «вождизма», а чувствовалось лишь поэтическое влияние друг на друга. Но больше всего развивалось духовное взаимообогащение, взаимопомощь, идейное единство по главным вопросам народной жизни. Так было от собрания к собранию, от года к году, от книги к книге, то есть постепенно обозначались контуры серьезного художественно-идейного содружества многих людей.

Нам жизнь диктовала книги, и мы их писали, как могли. В эти годы выходит «Деревенька моя лесная» Василия Белова (1961), «Экзамен» Виктора Коротаева (1962), «Щедрый дождь» Бориса Чулкова (1960), мои сборники «Признание друзьям» (1956), «Утренние дороги» (1959), «Сыновья любовь» (1961), коллективный поэтический выпуск «Крылья крепнут в полете» и др.

Некоторые из нас уже печатались в центральных журналах, участвовали во всесоюзных и всероссийских совещаниях писателей, побывали в Ленинграде на дискуссии «Писатель и современность» и, самое главное, были приняты в Союз писателей СССР. Мы уже не чувствовали себя замкнутыми лишь в вологодских границах. Об этой опасности нам все время долбил Александр Яшин. Он всеми силами

тащил многих из нас на всесоюзные «смотрины». Горячо вскидывая руки перед молодым, подающим надежды земляком, он вопрошал: «Где мысль? Дай свежую, глубокую мысль!» И все выше и выше поднимал на наших литературных стартах планку художественной зрелости. Вот от него-то и шли силовые магнетические линии, вычертившие облик целого писательского коллектива, такого разного по дарованиям и столь единого по совестливому отношению к работе. Праздная и конъюнктурная игра со словом в нашей среде осуждалась. Формалистическая мода – тоже. Уважалась глубокая добыча народного слова. И верность правде жизни. И внимание к ее болевым точкам. И страстное желание добра Родине.

И вот 25 июля 1961 года в обкоме партии состоялось памятное организационное собрание вологодских писателей. От правления Союза писателей РСФСР представителем был Н. А. Сотников, от Архангельска – Н. К. Жернаков, от Сыктывкара – Г. И. Торопов, от Петрозаводска – И. К. Симаненков. Доклад сделал В. В. Гура, заменявший С. В. Викулова в литобъединении в период его учебы в Москве, на Высших литературных курсах. С речью выступил секретарь обкома КПСС А. А. Сталь. Наутро областные газеты уже широко извещали читателей о том, что родилась новая творческая организация – Вологодское отделение Союза писателей РСФСР.

Важные по значению события в момент прохождения чаще всего по-рабочему будничны. И даже некоторая торжественность, невольно возникающая из сознания необычности дела, в тот момент все-таки не столь громка, как оказывается она потом, по прошествии некоторого времени. Точно так было и 25 июля 1961 года. Подводили итоги многолетнего литературного развития, говорили о выпущенных книгах, касались разных вопросов творческой жизни, слушали добрые напутствия гостей из соседних северных писательских организаций. И провели выборы своего руководства. Первым ответственным секретарем Вологодского отделения Союза писателей РСФСР стал поэт Сергей Викулов.

К этому моменту членами Союза писателей были: Виталий Гарновский, Виктор Гроссман, Виктор Гура, Иван Полуянов, Аркадий Сухарев, Николай Угловский и я. Вскоре (студентом Литературного института им. А. М. Горького) был принят в Союз писателей Василий Белов. Приехал в Вологду поэт Анатолий Гусев, родом из Устюжны... Забегая

далеко вперед, отмечу, что в год двадцатилетия Вологодская писательская организация насчитывала в своих рядах уже девятнадцать членов Союза писателей СССР.

Секретарскими делами Сергею Викулову долго заниматься не пришлось: его через некоторое время пригласили на работу в Москву, утвердили заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия». После его отъезда ответственным секретарем писательской организации избрали меня, и многие годы я занимался этим, в общем-то, стержневым делом объединения литературно одаренных людей. Оно требует бескорыстной самоотдачи: твое время тебе уже не принадлежит, оно как бы переходит от тебя на других людей, но потом – вот единственная, щемящая сердце благодарность – возвращается к тебе обретением единомышленников и радостным размахом их молодых судеб.

Даты в истории нашей организации последнего времени заслоняются для меня лицами и книгами. Поэтому я не буду заниматься буквальной хронологией – слишком ярок сам движущийся поток жизни.

Мне повезло, что в свой срок вслед за Сергеем Викуловым два года учился в Москве, на Высших литературных курсах, и занимался в семинаре строгого поэта Ярослава Смелякова и тонкого критика Александра Макарова. Там выдергивали лишние перья. Там человека поднимали в высокое небо поэзии.

После Литинститута в Вологду возвратился Василий Белов и приехала на постоянное жительство Ольга Фокина. Из армии пришел Виктор Коротаев, вскоре принятый в Союз писателей. Развернулся в работе Иван Полуянов (до этого живший в Архангельске, но здешний, нюксенский). Оживился Владимир Железняк – известный знаток культуры Севера, ставший членом нашего писательского союза. Вплотную к нам подступали молодые товарищи.

Творческий рост у каждого свой. В нем много загадок, да мало отгадок. И сам человек не объяснит, как это у него вдруг крепнет строка. Ведь в литературе количество написанного не всегда переходит в качество. Иной руку измозолит, а строка все жиже и жиже. И, глядя на своих товарищей, я понял тогда, что для общего роста коллектива, как живая вода, необходим зримый рост хотя бы одного-двух из них. Лишь в таком случае возникает дерзостное желание потягаться силами, поставить себе задачу выше обычной,

посильной. Вся наша художественная немощь – от малости взятых задач.

И тут, как благо, возник пример Василия Белова. Он развивался настолько стремительно и мощно, что не успевали в него как следует и вглядеться. Я помню, как еще в Литинституте, отложив в сторону стихи, которые уже печатались в журналах (например, поэма «Комсомольское лето» в «Молодой гвардии»), он вдруг написал первую повесть «Деревня Бердяйка». Принес по-дружески почитать мне – я был поражен щемящей правдой изображенного. Он не поверил мне – дали почитать Сергею Викулову (все это было на Высших литературных курсах), впечатление такое же. Но у автора опять вроде бы сомнение в точности наших отзывов. Тогда – последняя инстанция – к Яшину. Александр Яковлевич празднично воссиял. И тут же предложил повесть в журнал.

А в Вологде Василий Белов создавал рассказ за рассказом, один лучше другого, среди них два потрясающих по своей исключительной художественной силе – «Весна» и «Кони». Потом мне однажды говорит: «Поеду к себе в Тимониху, надо написать повесть, пусть меня не беспокоят». Уехал и через месяц вернулся (я удивился: как скоро!) с рукописью повести «Привычное дело». Читал я – и слов у меня не было: то слезы наворачивались на глаза, то смех облегчал душу, то горькая боль саднила сердце, то все мое существо поднималось в ветровое российское небо. Стало сразу ясно: «Привычное дело» – корневая вещь, у нее долгая жизнь. Вскоре повесть была напечатана в журнале «Север», приобрела всесоюзную известность и бурный поток в печати отзывов, мнений, споров.

Дивно до сих пор то, что такие герои, как Иван Африканович из «Привычного дела», были и пока есть в каждой русской деревне. Многие писатели знали и видели их. Я, к примеру, могу указать на нескольких таких Иванов Африкановичей в своем Петряеве. Но ведь ни у кого из нас, кроме Белова, не обнаружилось того глубинного зрения, того вседушевного понимания, что в этом характере заложено так много национальных черт.

Так же быстро возникли у него «Плотницкие рассказы» с новыми в литературе сложными типами Олеши Смолина и Авенира Козонкова, появился на свет и лукавый, мудро завиральный Барахвостов в «Вологодских бухтинах». Вообще-то

о Белове перечислительно говорить неловко – это большой художник слова. Его проза перетекает в поэзию, а поэзия в прозу. Она, подобно весеннему лесу, вбирает в себя могучие соки родной земли и рождает в своих зеленых верховьях задумчивый ветер обновления, трепетную радость жизни и высокий озноб неизведанного бытия. Все это так, но у меня задача другая – присмотреться ко всему писательскому коллективу.

Работа шла непрерывная. Жар творческого состояния всей организации поднялся намного выше. К этому времени родные тотемские места позвали к себе из скитаний Николая Рубцова.

Приехал он в Вологду (в начале шестидесятых годов) с потертым чемоданчиком, в котором хранились, пожалуй, одни стихи да маленький томик Тютчева. Помню, пришел ко мне домой – худощавый, скуластый, с зоркими, как жгучие точечки, глазами. Застенчивый, тихий, но чутко оглядчивый. Огромный белый лоб и тревожные отсветы в лице. Ему захотелось надежной в жизни пристани.

Он поднимался во всю свою поэтическую высоту, и никто не скажет теперь, каких высот он мог бы достичь, поживи подольше. Он тоже являл собой немалую загадку. Внезапно куда-то исчезал, а потом шумно приезжал с новыми стихами, читал их охотно, выделяя плавным нажимом голоса и почти дирижерским взмахом руки едва уловимые и тончайшие интонационные и смысловые оттенки. Было слышно и видно, что его строкой управляет не только истинная поэзия, но и трагическая музыка. Не случайно иной раз Николай Михайлович, когда просили его почитать, брался за гармонь и напевал свои стихи, да так, что многие из них и впрямь становились песнями, похожими на народные, и долго потом беспокоили сердце своей беспощадной правдой.

В 1965 году в Северо-Западном книжном издательстве вышел первый небольшой сборничек его стихов «Лирика». А в 1967 году в издательстве «Советский писатель» была издана его книга «Звезда полей», сразу же ставшая знаменитой.

Рубцов с некоторой робостью относился к Василию Белову, с трогательным уважением к Ольге Фокиной, по-дружески ко мне, к Виктору Коротаеву, Борису Чулкову, молодому Сергею Чухину. На писательских собраниях он садился в старое кресло, в уголок, сосредоточенно молчал, а если говорил, то кратко и очень точно, почти афористи-

чески. Уже потом я горько пожалел, что протоколы наших собраний и обсуждений велись слишком лениво и скудно. Сколько умнейших высказываний Николая Рубцова пропало незаписанными!

А творческая обстановка между тем разнообразилась. Хорошо работала Ольга Фокина. Внешне спокойная, собранная, даже молчаливая, в стихах она оказывалась красноречивой и огневой. Слова, которые брала из сердца, становились народными словами. А может, наоборот: «простые звуки родины» рождали в ней слова самоцветные. Глубокая стихия народно-разговорного языка, именуемого в критике просторечным, для нее стала той глубиной, которую могут достать лишь немногие, а там-то, на золотом промытом песочке, и таится настоящая поэзия.

Книгу за книгой выпускал Виктор Коротаев – шел с молодой торопливостью, с лирическим беспокойством. Он только что вернулся с Высших литературных курсов, получил премию имени Фадеева на всесоюзном конкурсе за поэму «Славянка» и был полон новых сил. В драмах жизни искал своего лирического героя, как самого себя.

Неторопливо, чуть отстраненно, но тщательно создавал книги о родной многострадальной природе и накапливал свой «Месяцеслов» Иван Полуянов. Креп в прозе Анатолий Петухов. Начинал серьезную работу в критике Василий Оботуров. К первым рассказам на «городские темы» подступал Владимир Шириков. Нащупывал свою первую тропинку Сергей Багров, медленно, но по-озерному чисто писал стихи Леонид Беляев и настраивал свой голос Сергей Чухин. Наши литературные вечера кипели от народа – желающих попасть не вмещал зал областной библиотеки.

Тут умер Яшин (1968). Его смерть потрясла нас. И эта боль из тех болей, над какой долго бьется время, чтобы утишить ее. Вместе с никольскими земляками и родными мы на белых льняных полотенцах пронесли по ржаному полю гроб выдающегося поэта на Бобришный Угор, к его рабочему домику, к любимым березам, где он завещал похоронить себя. В Москве, в Лаврушинском переулке, осиротела семья, а мы, его младшие товарищи и друзья, впервые дрогнули от ледяного холода. И почувствовали, что уже на наши плечи время перекладывает свой груз. Отныне все добрые заветы Александра Яковлевича Яшина оставались навсегда в нас самих, а его тревожной поэзии и острой прозе суждено было все глубже и все шире уходить в читающий народ.

У товарищеских привязанностей неожиданные дороги. Однажды, после окончания Высших литературных курсов, Виктор Астафьев приехал поглядеть на Вологду, на сухонские просторы, и они ему, коренному сибиряку, пришлись по душе: открытость людская тронула, простосердечие, доверчивость и чистота зеленая, в ту пору еще широкая. И он перебрался сюда жить и работать (1969). Мы встретились распахнуто. Конечно, его талантливость, яркий характер, кипучесть слова и нрава – все это внесло в жизнь писательской организации творческий толчок. Было много хороших вечеров, проведенных вместе, умных и горячих обсуждений, интересных поездок, выступлений, споров, просто будничных дел.

По приезде он читал нам «Пастуха и пастушку», еще окончательно не завершенную, и мы вникали в сложность и необычность этой, в общем-то, философской повести, высказывали свои суждения и советы. Потом он написал «Оду русскому огороду», «Затеси», дополнительные, может быть, самые значительные главы «Последнего поклона» и свое замечательное повествование «Царь-рыба»*.

Начинался давно ожидаемый подъем Нечерноземья. Об этом задолго тосковали Валентин Овечкин, Федор Абрамов, Александр Яшин и другие мастера мужественного слова. Вологодские литераторы стали выпускать серию очерково-публицистических книг «От земли», выступать в «Правде», «Сельской жизни», «Советской России», в журнале «Север», в центральных журналах. Выдвигался вперед очерк, проблемная статья. Остроту и глубину понимания дела проявили Дмитрий Кузовлев, много лет проработавший председателем колхоза, первым секретарем Шекснинского райкома партии и за книги, выношенные в полях, принятый в Союз писателей, Владимир Степанов, изъездивший с удостоверением «Правды» весь Северо-Запад, Людмила Славолюбова, увлеченная огромной созидательной новью Череповца, Александр Сушинов, знаток вологодской глубинки.

---

* Виктор Астафьев перебрался в Красноярск в конце 1980 года. Десять лет, проведенные у нас на Севере, мне представляются временем его творческого взлета. Иногда спрашивают: «Почему он уехал? Не было ли каких размолвок?» Людское любопытство порой невыносимо. Разумеется, были размолвки. Бывало даже резкое несходство мнений, разность точек зрения – так это же норма писательской самостоятельности. А уехал он потому, что его позвали к себе родные места. И в Вологде, за тысячи километров от них, рукописи его дышали Сибирью.

В те годы секретарские хлопоты я передал Виктору Коротаеву, сам стал накапливать свои «Северные поэмы» и писать публицистику. Писательская организация продолжала раздвигать свои творческие горизонты. Наконец-то появилась в Вологде своя драматургия. Первым начал Василий Белов – его пьесы «Над светлой водой», «Сцены из районной жизни», нервными узлами перевитые с судьбой северной деревни, с нравственным обмелением личности, трудно шли в театр, а когда все-таки дошли, добрым эхом прокатились по всему краю, а затем и по России. Взялся за пьесы и Александр Грязев, одна из них – на череповецком материале – тоже обрела театральные подмостки. Потом подключился Виктор Астафьев (драматические переложения своей прозы – «Черемуха» и «Прости меня»).

Наши писательские связи крепли. В Вологде часто бывали Василий Шукшин (он создавал в Белозерске свою знаменитую «Калину красную»), Федор Абрамов, Николай Старшинов, Владимир Солоухин, Евгений Евтушенко, Станислав Куняев, Вадим Кузнецов, Вадим Кожинов, Михаил Лобанов, Олег Шестинский. По-прежнему, по-молодому, волновали встречи со своими земляками – Сергеем Викуловым, Феликсом Кузнецовым, Валерием Дементьевым. Мы дышали ветрами всей советской литературы.

Это не могло не сказываться на нашей мировоззренческой и творческой расширительности. Ольга Фокина за книгу стихов «Маков день», выпущенную Северо-Западным издательством, была удостоена Государственной премии РСФСР. Вспыхнул праздник на вологодской улице.

Но праздники в литературной судьбе редки. Поиски своего небывалого слова – вот что в ней постоянно заключено. Василий Оботуров принципиально разрабатывал проблему традиций в современной поэзии, писал исследование о творчестве Яшина «Неповторимое, как чудо». Виктор Коротаев, не вмещаясь в стихи, взялся за прозу. Юрий Леднев начал пробовать себя в формах драматической поэмы и венка сонетов. Владимир Железняк достиг успехов в короткой исторической повести. Анатолий Петухов создал своеобразную книгу «Люди суземья». Оттачивали свое мастерство Борис Чулков и Сергей Чухин. Олег Кванин посылал из своей деревни, словно письмена на бересте, мудрые притчи и искрометные миниатюры.

В жизнь писательской организации и всей области вошли торжественные дни поэзии: в Никольске – Александра

Яшина, в Тотьме – Николая Рубцова и совсем недавно в Белозерске – Сергея Орлова. Вологодский край памятлив на дела своих земляков.

Движется время, растут новые силы... Какой будет писательская организация в предстоящие годы – это во многом зависит от молодого поколения, от его духовной зрелости, от корневого в нем чувства преемственности и сознания, что никакой «вологодской школы» нет, а есть вологодская работа в большой русской литературе.

Александр Романов

Вологодскую писательскую организацию, основанную 25 июля 1961 года, как составную часть Союза писателей РСФСР, в разные годы возглавляли: Сергей Викулов (1961–1964), Александр Романов (1964–1973, 1978–1980), Виктор Коротаев (1973–1978), Василий Оботуров (1980–1985, 1990–1993), Владимир Шириков (1985–1988), Сергей Багров (1988–1990), Александр Грязев (1993–1998, 2002–2005), Роберт Балакшин (1998–2002). С 2005 года председателем правления является Михаил Карачёв.

Основоположником Вологодской писательской организации по праву признан наш именитый земляк, известный русский поэт и прозаик А. Я. Яшин. «...Без “яшинского” понимания патриотизма, гражданственности, жизни, может быть, не сложилась бы столь знаменитая и столь значимая для всей литературы России Вологодская писательская организация»,– отмечает сопредседатель Союза писателей России, лауреат Государственной премии России С. Ю. Куняев.

Сегодня действующее Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» – Вологодская писательская организация – насчитывает в своих рядах тридцать человек.

ОЛЬГА ФОКИНА

НО И ВСЁ-ТАКИ МАТИ-ПРИРОДА ОТСТОЯЛА И ВЫБРАЛА НАС...

* * *

Эти огромные, эти прозрачные,
Только из света и воздуха дни!
...Рвали цветы, загорали, рыбачили,
Сеяли, были в гостях у родни –
Всё ещё день!

Фокина Ольга Александровна родилась в д. Артемьевская Верхнетоемского района Архангельской области. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Работала в газете «Вологодский комсомолец». Автор более тридцати поэтических книг. Литературный труд отмечен медалью «За трудовую доблесть», орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени». Лауреат Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького, «Большой литературной премии России», Всероссийской премии «Звезда полей» имени Н. М. Рубцова, Всероссийской литературной премии имени А. Прокофьева «Ладога» и «Золотой витязь». Живёт в Вологде. Почетный гражданин города Вологды.

...Обежали любимые
Пожни, угоры, полянки в лесу,
Баню потом изготовили, вымылись –
Всё ещё день!
...Пережили грозу,
В дождь наскакались, по лужам набегались,
Вымокли, высохли, ладим костёр –
Всё ещё только сегодня приехали:
След от колёс на дороге не стёрт.
Кажется-чудится: солнце заблудится
И не уснёт за лесным бугорком,
Что-то ещё непременное сбудется
И не закончится день костерком.

* * *

Молю: храни, судьба, храни,
Все, что ни связано с тобою!
...Стоят серебряные дни,
Подзолоченные листвою,
Стоит немыслимый октябрь
С теплом и трепетом апреля,
И вновь на веточки хотят
Те листья, что пооблетели...
В лазурном небе дерева
Так странно голы и высоки!
Она, возможно, неправа,
Природа, спутавшая сроки
Тепла и холода,– но мне ль
Свергать, не брать, не пить запоем
Неповторимый этот хмель,
Незримо связанный с тобою?
И ей-же-ей, совсем не зря
Задумал селянин степенный
Сушить под солнцем октября
В июле ставленное сено!
Перетерпеть – не стало сил:
Кажинный пласт тряхнув на вилах,

Он целый стог разворотил
Под солнцем, что не щедрым было
В июле, а теперь – дивись:
Жара! Ей-бо, купаться впору!
И голуба, безбрежна высь,
И широки, светлы просторы.
И, далека от миражей,
Теплу поверившая телом,
Слюдою крыл из камышей
Блеснув, стрекозка полетела,–
Вдаль – к перемётанным стогам,
В прозрачный трепет над рекою.
Что – завтра стужа и пурга,
Когда сегодня – есть такое!

* * *

Август. В деревне
Пресно нам снова:
Хочется в дебри –
На Солоново.

Хочется в дебри,
Хочется в чащи,
К выпям и вепрям
Пренастоящим!

Волок Тимошин,
Селище Ущаж...
Мошек-то, мошек!
Грязи-то, ужас!

Вязнут сапожки –
Низки голяшки!
Вброд – без дорожки!
Топко в овражке!

Щёки – в расчёсах!
Веки – ковриги.

Мост – не из тёса:
Падаешь – прыгай!

С мо́ста-бревёшка –
Кругло и слизко...
Пахнет морошкой.
Озеро близко.

Озеро – ласка,
Озеро – нега...
В озеро-сказку –
Ныром – с разбега!

* * *

Как давно такого не бывало:
Ночь без тьмы, река без берегов,
Небо спит под лёгким покрывалом
Перистых прохладных облаков.
Небо спит, но сон его не долог:
Час-другой, и в золоте зари
Без следа растает лёгкий полог...
Не засни, зари не просмотри!
Дома я. Знакомо незнакома
Белой ночи тихая печаль.
По никем не писанным законам
Лес безмолвен, воды не журчат.
По никем не признанной науке
Не отражены – поглощены –
Хоть кричи! – бесследно тонут звуки
В глубине огромной тишины.
Я не сплю. Гляжу. Не отражаю –
Поглощаю... Иль поглощена?
Не мечусь, не рвусь, не возражаю.
Всем прощаю – всеми прощена.

* * *

Мне себя выгораживать –
Исповедуюсь – нечего:
Я живу по-вчерашнему,
Что ни день, то и к вечеру.
Что ни час, то и убыло,
Что ни год, то и вычтено,
Что не пыль, то и крупное,
Что не ложь, то и истина,
Не ловлю, что не ловится,
Не зову дальних в ближние,
Я живу по пословице:
«Чего нет, то и лишнее».
Моего горя гири-то –
Как у всех, не тяжелее!
Мои слезы все вылиты,
Слов осыпались желуди.
Мне не хвастать запасами,
Не кичиться пред бедными:
Мои сказки – рассказаны!
Мои клады – разведаны!
Что искать-перелистывать,
Рыть-лопатить искателям?
...А ты слушаешь истово,
А ты смотришь внимательно.
Моя Жар-птица – за морем:
Улетела – не вернется!
...А ты песню ту самую,
Под которую – верится.
Мои руки – не лебеди!
Мои волосы – россыпи
Черных дней в серебре беды!
...А ты с розами – Господи!
Мое солнце – закатное,
Под которым – не нежиться!
...А ты слово то главное,
За которое держатся.
Мое сердце вдруг замерло

(Оказалось – не умерло!):
Не Жар-птица ль из-за моря
Воротиться надумала?
Не судьбы ль моей досочка,
Потеряв равновесие,
Колыхнулась от розочек,
Потянулась на «весело»?
На «постой» со «скиталицы»?
Колос вырос – сбери, сожни:
Что текло промеж пальцами –
Собирается в пригоршни:
Что ни ночь, то и к угрею,
Что ни груз, то и сбросила,
Дождь да ветер мне кудри вьют,
На морозе я – розова!
...Тайно-необнаруженно,
Как Дитя в Богородице,
Новым кладом-жемчужиной
В сердце песня заводится...

Звездочка моя ясная

Песни у людей –
Разные,
А моя – одна
На века:
Звездочка моя
Ясная!
Как ты от меня
Далека!

Поздно мы с тобой
Поняли,
Что вдвоем вдвойне
Веселей
Даже проплывать
По небу,
А не то, что жить
На земле.

Облако тебя
Трогает,
Хочет от меня
Закрыть.
Чистая моя,
Строгая,
Как же я хочу
Рядом быть!

Знаю, для тебя
Я не Бог:
Крылья, говорят,
Не те...
Мне нельзя к тебе
На небо –
Прилететь.

Бродят за тобой
Тученьки,
Около кружат
Они.
Протяни ж ко мне
Лучики!
Ясная моя,
Протяни!

* * *

Я по тебе оттосковала:
Ушло последнее тепло,
И стужей реки заковало,
И родники позамело.
В снегах дома, в сугробах крыши,
И на равнине – ни следа...
Никто не видит и не слышит,
Как подо льдом живёт вода.
Не знай и ты, когда-то милый,
Что совершается в тиши

Моей – не то чтобы остылой,–
Приостановленной души.
По льду метёт-переметает,
А подо льдом – журчит-струит,
Покатым камешком играет,
Песчинки гладит-шевелит.
...Никто не видит и не слышит,
Как я – до проруби по льду:
«Не жди-не жди» – снежок под лыжей.
Под сапожком: «Не жду-не жду».
Не ты (когда я припадаю
К воде, бегущей мимо губ) –
Меня хранит сосна седая,
И прячет ель под свой тулуп.
Над елью звёзд ночных всё боле,
И через звёздное табло
Морозку спрашивать: «Тепло ли?»
Мне утешать: «Тепло! Тепло!»

* * *

Открыла форточку...
А там:
По небу – Господи Исусе! –
Навстречу снежным облакам
Летят заснеженные гуси.
Их клин – как будто и не клин:
Опустошен, раздроблен, скомкан!
Вот – два... вот – пять... вот – сам-один,–
Летят... в родимую сторонку.
Который день они летят?
Где, на ночь глядя, приземлятся
И что, усталые, съедят,
Чтоб стало силы вновь подняться?
Мороз внезапно осерчал:
Весна поблазнила – и скрылась...
Подснежной клюквы на кочах
Для птиц еще не появилось.

Что поклюют они в ночи?
Где прикорнут, крылом накрывшись?
«Молчи,– велю себе,– молчи!
Они другое сверху слышат!»
Они летят и гомонят,
Свой клин подравнивая криком,
Сквозь мрак и снег – к безночным дням
На диком Севере Великом...

* * *

Шорох ветра, рокот грома,
Всполох молнии во мгле...
Счастлив тот, кто счастлив дома,
На своей родной земле.

Ничего душа не просит,
До краев она полна
Звоном зреющих колосьев,
Синевой небес и льна,

Шумом леса, ароматом
Трав, журчаньем родника,
Сластью ягоды несмятой,
Статью первого грибка.

А уж если из залесья –
Да гармони перебор,
Словно птица в поднебесье,
Песня вырвется в простор!

Жизнь – не поле без огреха,
Но сегодня – так и быть! –
Никуда не надо ехать,
Никуда не надо плыть.

...Ветер, ветер, вдаль влекомый,
Сделай надпись на крыле:

«Только тот, кто счастлив дома,
Знает счастье на земле!»

* * *

Как в армию повестка,
Где можно пасть в бою,
Страшит меня поездка
На родину мою.
Боюсь узнать: старушки –
Соседки – больше нет,
В утряске и усушке
Прикончен сельсовет.
И нет библиотеки.
И школа – на замке.
И маленькие дети
Не плещутся в реке.
И поле, где когда-то
Училась боронить,
Стоит в кустах лохматых,
И их не победить.
...Давно пенсионерка,
Забытая людьми,
Грозится рухнуть церква...
Господь её храни!
По росписи на стенах
Там надписи гвоздём.
Живу... Не на гвозде, но
Как на гво́зде. Живьём.

Старая деревня

Засыхают старые рябины,
Оседают старые дворы.
На вечерней улочке не видно
Ни влюблённых пар. Ни детворы.
Никого с гармошкою в охапке,
Никого – с цигаркою во рту,

И никто ни в рюхи и ни в бабки,
И никто – ни в салки, ни в лапту.
Отгорит один закат багряный,
Отыграет розовый другой, –
Не шелохнут белые туманы.
Ни вблизи реки, ни за рекой.
Поутру нетронутые росы
Солнцу пить опять – наедине:
Никого – с граблями к сенокосу,
Никого – на скачущем коне.
...Оставляя облака высоки,
Окуная голову в купель,
Редко-редко скрипнет одинокий
Одноногий старый «журавель».
Вскрикнет так, как будто вспомнит юность!
...Только два с краями – не нальёшь:
Полведра – и то большая трудность,–
До избы не скоро донесёшь.
На восьмом десятке молодицы,
Видно, зря живую воду пьют:
Пролетают по небу жар-птицы,
Молодильных яблок не несут.

* * *

А в деревне сейчас –
Непроглядная тьма
И с трудом побеждаемый холод...
И в слепой безнадёге,
Сутулясь, дома
Собираются двинуться в город:
Не нужны здесь уже
Никому и нигде
Сани-подсанки, бороны-плуги:
Пустота гаражей,
Без скота и людей
Бывших ферм измождённые дуги.
Одичали луга,
Зарастают поля,

Остаётся несобранной клюква.
Через месяц-другой
Заметелит пурга...
Вот тогда я пойду – и приду к вам.
Я тропу до крыльца
Пробреду-протопчу,
Громко брякну кольцом на воротах,
И берёсту в печи
Подожгу – засвечу,
И возьмусь за родную работу:
За водой к роднику –
Он ещё не замёрз! –
В час не ранний – прилунный, призвёздный.
Не обсохнет ведёрышко,
Полное звёзд,
И при мне мой родник не замёрзнет.

* * *

Три рябины под окном
Как осиротели:
Их плоды октябрьским днём
Съели коростели.

Обруснул с рябин листву
Сиверко свирепый,
И ни веткам, ни стволу
Нечем вспомнить лето.

Свиристели на юга,
Свистнув, улетели,
А рябин сечет пурга,
Чтоб грустить не смели!

* * *

По течению плыву,
Не гребу, не правлю,
Ни на помощь не зову,

Ни конец не славлю.
Доля желтого листка,
Сорванного с ветки:
И унынье, и тоска –
От одной расцветки!
Всё-то лето рвался, ныл:
– Полетать бы птичкой! –
Оторвался, пал, поплыл
Увлечен водичкой.
(Перед этим – мотыльком
Побыл,– да недолго!)
И уплыл недалеко –
До запруды только.
Холодит его вода,
Ветки древа снятся:
Никогда ему туда
Больше не подняться.
Жизнь сложна, мораль проста,
Смысл – картинкой в раме:
«Долговечнее листа
Дерево с корнями».
...Никуда и не плыву,
Унываю зря я,
Ради будущей – листву –
Бывшую – теряя.

* * *

По апрелю, поутру,
По простору-настику,
Где березы на ветру
Делают «гимнастику»,
По звенящему ледку,
Мимо черной проруби,
В сосны, где по холодку
Птица голос пробует,
Убегу и растворюсь
В световом сиянии:
Лес и солнце, я и Русь –

Неразрыв-слияние.
Если вместе – без подпор,
Без пособий – выстоим!
...Где-то точится топор
На стволы смолистые.
Назначая умирать,–
Злой, чужой, таинственный,–
Кто-то ставит номера
На колоннах лиственниц.
С вековым запасом лет,
В двадцать – уж помечены!
...Соскоблю зловещий след,
В снег зарою: нечего
Обрекать и отнимать
Жизнь «по праву сильного».
Всем судья – Природа-Мать.
У нее спросили ли?

* * *

У вдовы река поленницу
В половодье унесла,
И мужчинам, что не ленятся,
Дело новое дала.

Взяв багор, переобутые
В бредни добрые – по пах!
У реки дежурят сутками:
Взмах – полешко! Снова взмах.

Не ахти доход! Но всё-таки
Работёнка стоит свеч:
Будет лишний раз истоплена
Мужиком в морозы печь.

Что сказать? Дрова – не рыбица,
Но, пожалуй, поценней!
А вдова едва ль обидится –
Ей полезно быть умней:

Не реветь и не досадовать
На догадливых парней,
И поленницы выкладывать
На горе, а не под ней.

* * *

Доноры были.
Теперь обескровлены:
Жилы опали.
Нет сил закричать.
Сеяли, жали,
Рожали и строили.
...Кабы до капли из нас не качать
Кровушку,
Нужную – городу, городу! –
Мы бы, возможно,
Ещё поднялись...
Молча уходим.
Молчания золото
Тут же сгребают,
Как плату за жизнь.
Сгинем:
Безмолвно.
Печально.
Беспамятно.
Наши дворища репьём зарастут.
Наши надгробья –
Песчано-некаменны –
Воды и годы
Бесследно сотрут.

* * *

...И до глубинной деревеньки
Дошли раскол и передел:
У вас всю ночь считают деньги,
Мы – без гроша и не у дел.

Вы натянули шапки лисьи,
И шубы волчьи вам к лицу.
Мы – воспитали, вы – загрызли,
Мы – на погост, а вы – к венцу.

Такое звёзд расположение!
Таких «Указов» звездопад:
Вы – в господа, мы – в услуженье
Да на работу без зарплат.

На вашей улице – веселье:
Еда – горой! Вино – рекой!
Святые звёзды окосели,
Смущаясь вашею гульбой.

У вас всю ночь огонь не гаснет!
У нас – ни зги во всём ряду!
На нашей улице – не праздник,
...Но я на вашу – не пойду.

* * *

...И была у меня Москва.
И была у меня Россия.
И была моя мать жива,
И красиво траву косила.
И рубила стволы берез,
Запасая дрова по насту,
И стоял на ногах колхоз –
Овдовевших солдаток братство.
И умели они запрячь,
Осадить жеребца крутого,
И не виданный сроду врач
Был для них отвлеченным словом.
И умели они вспахать
И посеять... а что ж такого?!
И – холстов изо льна наткать,

И нашить из холстов обновы!
Соли, сахара, хлеба – нет.
И – ни свеч. И – ни керосину.
...Возжигали мы в доме свет,
Нащепав из берез лучины.
И читали страницы книг,
Протирая глаза от дыма,
Постигая, как мир велик
За пределом избы родимой.
Но начало его – в избе,
В этой – дымной, печной, лучинной,
Где в ночи петушок запел
Без малейшей на то причины.
Мы хранили избы тепло,
В срок задвижку толкнув печную...
Неторопкое время шло,
Припасая нам жизнь иную.
И распахивались пути,
Те, которым мы были рады,
И, отважась по ним идти,
Мы стучали под своды радуг.
Сердце пело. Играла кровь.
Справедливость торжествовала.
И возвышенная любовь,
Словно ангел, меж нас витала.
И копились в душе слова,
И копилась в народе сила:
Ведь была у людей – Москва!
Ведь была у людей – Россия!

* * *

Ничего из себя мы не строим,
В нашем теле обычная кровь.
Мы пришли из некрасовских «Троек»,
Из некошеных блоковских рвов.
Мы из тех, кто и предан, и продан,

И схоронен был тысячи раз!
Но и всё-таки мати-природа
Отстояла и выбрала нас,
Попримеривших стужу и нужу
На свои, не чужие, плеча,
Пуще тела жалеющих душу,
Пересиливших в песню печаль
Безысходную... в песню-кручину
Неизбывную! С песней живём:
Про лучину, про горьку рябину,
Про «На улице дождик...» поём.
Эти песни оркестров не просят:
Лишь вздохни, да, вздохнув, затяни –
Засливаются в хор подголосья
Многотысячной кровной родни.
В нарастающем песенном шквале
Не разъять, не сравнить голоса,
Не услышать себя запевале:
Женской доли – одна полоса.
Пролетали с корнетами тройки,
Поезд с окнами мимо бежал,
А мужик после каждой попойки
Лишний хмель на тебе вымещал.
Что с того! Ты сносила побои...
Прикрывая клеймо синяка,
Ты сама оставалась собою:
Ты жалела его, мужика.
Ты жалела – да тем и держалась,
Ты терпела – да тем и жила:
Ведь от матери жалость досталась,
Ведь и бабка терпёлой слыла.
Что поделаешь! Тяжко не тяжко,
Что попишешь! Под дых не под дых –
Поднимайся: в одной ведь упряжке.
Не вдвоём – так одной за двоих.
Унижал он, а ты – возвышалась.
В землю втаптывал – ты поднялась!..

Только будь она проклята, жалость,
Что любовь заменить собралась!
Нам во все терпеливые годы,
Хоть какой из веков оживи,
Снилась Синяя Птица Свободы,
Золотая Жар-Птица Любви!
...Чем наш век от иных отличится?
Не во сне, Боже мой, наяву
Птица Синяя – тише – садится –
Не спугните – ...к рукам... на траву...

* * *

К восьми утра пробьется солнце
Сквозь восхитительный туман,
И запотевшее оконце
Поймает лучик, как в капкан.
И луч не будет вырываться,
И солнце в окна – целиком!
...И будет печь, топясь, стреляться
Горячим на пол угольком.
И буду я в горшке из глины
Мутовкой тесто подбивать,
И раскалённую калину
Для пирогов с куста срывать.
(В пирог и рыжики сгодятся,
Их у меня – уже ведро!
А всё, красавчики, родятся
Промеж маслят,– куда с добром!)
Куда с грибами, с пирогами,
С брусникой, клюквою – куда?
Отец и мама в чёрной раме –
Им ни к чему моя еда.
Но – здесь они! Они меж теми,
Кто Солнце, Звезды, Дождь, Туман,
Кто на сентябрьский день рожденья
Не опоздает, мною зван.

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ

ВОЛОГОДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОМЯНИ МОЁ СЛОВО

И хотя с пустого огорода вдруг сорвался осенний ледяной ветер, он не спешил заходить. Стоял в какой-то рваной фуфайке и, подняв голову, вглядывался в чёрное

Цыганов Александр Александрович родился в 1955 году в Вологодской области в деревне Блиново, недалеко от Ферапонтова, в местах, о которых Н. М. Рубцов сказал: «...что-то Божье в земной красоте». После окончания Ферапонтовской средней школы учился в автомотоклубе, трудился в совхозе «Родина» слесарем, рабочим. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. Окончил филологический факультет Вологодского педагогического института. Александр Цыганов – автор прозаических книг, вышедших в региональных и центральных издательствах страны, в т. ч. в Северо-Западном книжном издательстве, «Молодой гвардии». Лауреат Государственной премии Вологодской области по литературе, Международной премии «Филантроп», Гран-при фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба». Член Союза писателей СССР и России с 1989 года. Живет в Вологде.

окно избы. Потом медленно, наощупь, вошёл в дом и с трудом потянул тяжёлую, обитую войлоком дверь: в коридор, опахнув хлебным теплом, вырвался избный дух.

Но из лунного полусвета передней комнаты никто не вышел навстречу, и он, стоя у порога, позвал несмело, тихо, с неуловимой растерянностью:

– Мама.

Ему пришлось ещё раз окликнуть, потому что простоволосая старая женщина, неслышно появившись, смотрела больше неузнаваемо, чем испуганно, прислонясь к дверному косяку.

– Мама,– с тоской, хрипло повторил он.– Это я. Помнишь?

– Бог с тобой,– придя в себя, наконец, отозвалась хозяйка, слабо махнув рукой.– Не знаю, чего тебе надо. Вон возьми хлеба, да если хочешь, картошки дам.

– Я не хочу есть,– ответил он уже спокойно и без обиды, понимая, что его принимают за обыкновенную попрошайку.– Мама, это правда я. Неужто не узнала? Я же обещал вернуться – и вернулся. Помнишь, как я всё время говорил: «Помяни моё слово»? От тебя и научился.

Женщина снова долго молчала, затем, когда он, не дождавшись ответа, повернулся к двери, спросила неуверенно, как будто что-то припоминая:

– Может, самовар тогда поставить?

Но он уже вышел и, не разбирая дороги, заспешил через огород прочь из этой деревни прямо на бетонку, словно человек, потерявший самое дорогое и ещё толком не знающий, где это могло произойти.

Женщина, оставшись в одиночестве, наклонилась к окну, затем, оглядясь вокруг себя, пододвинулась к застеклённой фотокарточке на стене и, вздохнув точно после непосильной работы, скрестила руки:

– Или совсем из ума выживаю, или взаправду моему парню даже там тошно без матки. Видно, пора собираться.

А он, скоро отшагав в другую сторону километра три, подошёл к посёлку, угадываемому лишь по обманчивым лунным очертаниям домов, и приблизился к одной из барачных щитовых построек. Ни одна собака за это время не подала голоса и не облаяла чужака, хотя этой породы здесь водилось больше, чем людей.

В это время на крыльце домика, хлопая широкими голенищами сапог, появилась молодая женщина, светловолосая, с капризными припухлыми губами, и, кутаясь в наспех накинутую пальтушку, заторопилась под навес к дровянику.

Не доходя до места, она остановилась, тревожно оглядываясь по сторонам и не различая в темени того, кто был рядом и старался оберегать её даже от собственного дыхания.

– И ты не узнала,– с той же затаённой тоской, печально прошептал он.– Никто меня сегодня не признаёт. Наверно, потому что темно. Даже сам сначала заблудился. В чужой дом попал, да ещё другого человека за мать принял. А почему теперь стало везде темно?

– Да который уж год, как по вечерам не дают света. С кого и спросить не знаем. Как слепые бродим, дальше своего носа не видим,– так, словно она говорила сама с собой, и с каждым мгновением поражаясь этому происшествию, ёжась, неуверенно ответила молодая женщина.

– Ты не беспокойся,– снова осторожно, одними губами заговорил он, робко отводя свой взгляд.– Я ведь, правда, не обижаюсь, что не дождалась меня. А что вышла за него, так это и хорошо: он ведь ещё со школы не спускал с тебя глаз. Понимаешь, сейчас всем трудно, вот он и выпивает иногда. Ты уж не держи на него зла. Главное, он муж заботливый, не даст тебе с дочкой пропасть. Вот помяни моё слово. Ты только потерпи ещё немного.

– Господи, да что такое творится,– заголосила женщина, отступая к крыльцу, и, запнувшись, едва не растянулась.– До чего со своим дураком долаешься –

заговариваться начнёшь. Вершись всё головой с этой и жизнью-то!.. – И она, запамятовав, для чего была на улице, скоро захлопнула за собой дверь – сначала железно скрежетнул крючок, а следом брякнул и засов. Немного погодя, быстро-быстро, и в самой квартире потух свет.

Постояв с поникшей головой, он провёл руками по лицу, зябко запахнул свою неказистую фуфайку-поддергушку и, ниже надвинув шапку на глаза, выбрался из этого посёлка.

Некоторое время он растерянно топтался на развилке двух дорог, после чутко насторожился, видно, услышав, наконец, одному ему ведомое, и без раздумья, чуть не вприпрыжку припустил к лесу, откуда глухой студёной стеной уже вовсю наносило предзимней стужей. Но он, ничего не замечая, торопился всё скорее и скорее, пока налетевшие порывы вселенского ветра, казалось, внезапно не подхватили его и, завертев в своём гибельном вихре, скрыли из вида.

Одному лишь небу ведомо, как преодолелись два десятка километров за время, равное человеческому вздоху, только в деревню на горушке он подоспел к сроку, стоя у нужного дома уже из последних сил.

Чуток отдышавшись, он было шагнул к крыльцу, как, поскользнувшись, ничком ткнулся в стылую грязь, а только успел подняться, откуда-то из-под горушки и появилась машина, шаря перед собою яркими фарами. И тотчас на мгновение выявилась на нём вся в рваных дырах, будто от выстрелов, какая-то зелёная фуфайка и шапка с вмятиной от кокарды и с оторванным ухом.

Неожиданно освещённый с головы до ног, он лишь изумлённо, по-детски приоткрыл в испуге рот и тут же, как вспышка, исчез – скрылся в своём ослепительном свете, ровно никого здесь и не бывало, только отчётливо проявилась светлая дорожка к самому крыльцу.

Машина, остановясь и газуя, выпустила из крытого кузова женщину с сумкой на боку, как у почтальона, и сразу заурчала во тьме, а женщина прошла по светлой

тропинке и забарабанила в дверь. Не достучавшись, она торкнулась в коридор, а после привычно вошла и в саму избу.

– Хозяюшка, ты где? – задорно крикнула она.– Дома? Ставь, давай, самовар на стол! Принимай гостей!

Но никто не откликнулся на её голос. Тогда она заглянула в переднюю комнату и, нашарив включатель, зажгла свет. На старопрежней кровати с железными шариками лежала поверх одеяла женщина. В какой-то застывшей, казалось, тишине ещё медленнее тикали настенные часы, висящие над хозяйкой дома.

– Ты чего это, девка? – удивилась почтальонка.– Зову, зову. Язык, что ли, отнялся? Да у тебя, гляжу, и в избе-то, вроде, всё выдуло?

Но женщина продолжала молча лежать без движения, хотя по её лицу было ясно, что она всё понимает, что говорится.

– Да что с тобой стряслось-то, тётка Вера? – уже всерьёз стала пугаться почтальонка.– Всё ли хоть ладно-то? Ты чего всё молчишь да молчишь? Не заболела случаем?

Но видя, что хозяйка дома продолжает только неподвижно смотреть перед собой, она засуетилась – забегала по комнате в поисках хоть каких-то лекарств, принесла с кухни воды и хотела напоить лежащую женщину, но всё было напрасно – та продолжала оставаться пластом. А вода лишь пролилась на нательный медный крестик, и это окончательно довело почтальонку.

– Ведь утром ещё всё слава Богу было,– запричитала она, опускаясь на стул.– Господи, и машина-то с рабочими ушла, знатье бы, дак за врачом успели обернуться...

И, покачиваясь на стуле, она прижала к лицу руки, причитая и охая.

– Я-то, дура, торопилась, думаю, вот обрадую-то!..

Тут она оборвала саму себя, огляделась кругом:

– Ой, тётка Вера, да я тебе главного не сказала,– схватив свою дерматиновую сумку с почтой, она перевернула её вверх дном и, вытряхнув газеты, выхватила

полоску серой бумаги.– Тебе ведь телеграмма! Из самой Москвы послали!

По лицу лежащей пошли судороги, и она дёрнулась, как будто под током, после на её щеках появились пятна, а сама она стала постепенно, прямо на глазах, наливаться живительным светом.

Скоро женщина, пытаясь открыть рот, прерывисто задышала, поводя глазами из стороны в сторону.

– Счас, счас,– бестолково суетилась почтальонка, разворачивая листок и читая, как человек, недавно обученный грамоте,– по слогам, громко и неуверенно:

«Ваш сын нашёлся тчк настоящее время находится излечение городе Москва тчк представлен правительственной награде тчк Колточник».

– Дождалась,– точь-в-точь эхом донеслось от приподнявшейся на подушке женщины.– Пришел... Господи.

Она говорила словно в забытьи, с перерывами, тяжело дыша и глядя в одну точку перед собой.

– А ведь смертушка моя рядом была... Легла вздремнуть и не повернуться – руки-ноги отнялись, хотела кого крикнуть, а всё онемело. Чую уж, как и сердце-то еле-еле стукает... – Тётка Вера передохнула, прислонясь к спинке кровати.– И тут вижу, как въяви летит навстречу мой парень, откуда-то издалёка, во рваной фуфайке, стойно арестант какой, и вот чего-то мне кричит, всё зовёт. Слова-то уж больно знакомые, а понять не могу...– Она снова передохнула, хватая воздух открытым ртом.– Только после этой весточки и отлегло немного. А следом ты прибежала в дом. Вот помяни моё слово, скоро и сам, рожоное сердце, ступит на родное-то крылечко.

Тётка Вера заплакала, было, но сразу остановилась.

– Ой, матушка ты моя, а взаправду выдуло в избе: давай-ко хоть затопим столбянку. Да и самовар надо вздуть, у самой во рту маковой росинки не было. Подико, надо снова жить, коли такое дело.

И она с трудом сползла на пол, после, держась за стенки, останавливаясь едва не на каждом шагу, направилась на кухню. Тем временем почтальонка живо

растопила печку-столбянку и захлопнула чугунную заслонку.

Вскоре обе женщины сидели за столом и неторопливо, с блюдечек, пили чай. За спиной у них гудело и трещало в печке, а на окошке возле старинного комода шевелились цветные ситцевые занавески.

Сама почтальонка уже перестала то и дело посматривать незаметно на тётку Веру; они в который раз за вечер дружно изучали телеграмму, обсуждая каждое слово, перебивая друг друга.

А хозяйка, вовсе ожившая после чая, налила по очередной чашке и опять, не утерпев, взялась за бумагу.

– К примеру, сейчас начальник,– она, не отрываясь, зачем-то стала на свет рассматривать дорогой листик бумаги, и её пальцы беспричинно завздрагивали,– написано Колточник который: он только военными верховодит, или уж над всеми дадена власть?

– Тут, матушка моя, слушай, всё по полочкам разложу...– бойко, как будто дожидаясь именно этого вопроса, наладилась объяснять товарка и для пущей убедительности даже прихлопнула по столу, но, как на грех, сглотнула горячего чая и, обжегшись, в сердцах махнула рукой: – А понеси водяной всех и начальников: я ведь не Свят-Дух и наших-то ребят с ними не крестила.

Обе женщины расхохотались и одновременно, не сговариваясь, скинули на плечи шерстяные платки: в избе к этому времени заметно потеплело.

НОЧЬЮ МЕСЯЦ ПЁК

Памяти мамы

Летней полуночью она вдруг пробудилась от непонятного и яркого, как днём, света, казалось, заполонившего всю избу от самого подполья и до верхушки крыши. С трудом поднялась с кровати и, держась за деревянную переборку, добралась до передней комнаты к окошку.

Даже сквозь тюлевую, пообтрепанную от времени занавеску её едва не оттолкнуло этим световым пучком, точно захотевшим проникнуть в саму человеческую душу. Но, несмотря на преклонный возраст, она по-прежнему была не из робкого десятка и, торопливо перекрестясь, вгляделась через шторку в это диковинное ослепляющее свечение.

Прямиком издалека, от самого Иткольского, над всем бескрайним лесом всё равно что вживую пекло,– настолько беспощадно светило там от зависшего в темени месяца, выглядевшего каким-то болезненно зримым и совсем жёлтым, насквозь прозрачным.

Причём вёл себя месяц странно: постоянно двигаясь то влево, то вправо, он внезапно срывался вперёд, играя светом, и вновь также стремительно возвращался на своё неприкаянное место.

«Месяц-то как разошёлся,– опахнуло хозяйку жилья, когда она вернулась обратно на ещё купленную покойным мужем кровать.– Вовсю пекёт: может, холодно будет».

И сразу неведомым образом её унесло туда, в пору самого настоящего лютого холода, когда ещё с тремя малолетними сыновьями-погодками им зачастую доводилось даже полуодетыми спасаться зимними вечерами на морозных задворках собственного дома от вечно пребывающего во хмелю хозяина, способного запросто спровадить хоть кого вздумается на вечный покой. Может, потому самый младший как-то настолько крепко простудился, что вскоре незаметно и истаял, а остальные ребятки, лишь встали на свои ноги, сразу покинули эти края; и больше о них не было ни слуху, ни духу, даже об отцовской кончине ничего не ведают.

И только мать в родимой до последнего травяного проулка Славянке продолжала неустанно охранять для них свой дом, теперь оставшийся единственно жилым в этой когда-то большой и весёлой деревне.

Между тем, сейчас который день вовсю парило: воздух в избе был пугающе тяжёл, не давая толком раздышаться, и в этом мареве всё кругом чудилось сырым

и неясным, зыбким. Но даже это не сравнилось бы с той тяжестью, что сызнова в который раз и обрушилась на неё, накрывая удушающим пологом прошедшего, но никогда незабываемого...

В ту пору она здесь же, в спальне, лишь на полу, на старых фуфайках, решительно закрыла своих спящих крошек от взмахнувшего над ними топором своего незабвенного хозяина; и с той минуты, внезапно став белее белого снега, её цыганисто-вьющиеся волосы навсегда сделались длинными неряшливыми нитями, не сразу промываемые даже речной проточной водой.

«Окстись с Богом»,– только и сказала она тогда, так посмотрев ему прямо в глаза, что он, хвативший смертельного лиха ещё в армейском прошлом и накрепко, до беспамятства друживший с горькой, опустил губительное железо и, наверное, впервые для себя отшагнул назад.

Но уже давно, не первый год, это самое железо, оставленное на случай нужды, и пребывает неизменным спутником у её одинокого изголовья: нынче, куда ни ткнись, везде не до покоя,– повсюду случаются лихие люди, не то время нахлынуло.

И в этих некогда светоносных краях, теперь без разбора зарастающих бурьянником да непобедимо-дикой крапивой, больше уже никогда не взыграет на всю округу знаменитая кирилловская трёхрядка, всё кругом пошло на ветер.

И незамедлительно, будто в подтверждение этого, из привычного вневременного состояния её чутко вернул обратно какой-то сторожкий и одновременно отчётливо-заоконный звук, только это уже было не забытьём, а самой обычной явью. Сейчас там, на избных задворках, что-то безотрывно и осторожно копошилось: может, кто-то чужой в самом деле задумал сотворить что-нибудь неладное с её жилищем?

А тогда с какой стати вторично приносила сюда нелёгкая чужих мужиков с какими-то бумагами, пока она, не в шутку осерчав, уже надумала начальству

пожаловаться, чтобы неповадно было кому ни попадя соваться, куда их не просят?.. И ныне, опять-таки поднявшись с кровати, ей пришлось, от греха подальше, нашарить в изголовье ту самую поржавевшую, когда-то сокрушительную железягу. После чего медленно, шаг за шагом, она двинулась по избе, к выходу на крылечко, не выпуская из рук расхлябанного, отполированного годами топорища.

А заоконно-серебристое свечение уже успокоенно, с лунным равнодушием разлилось на всём окружающем, безрадостно показывая скудное комнатное убранство вовсе безликим и тусклым, безжизненным.

Даже случайный отсвет, знобковато скользнувший с улицы в прихожую, где она разнимала литой ржавый крючок с запираемых на ночь дверей, только мимолётно, ровно нехотя коснулся седой негнущейся женщины в исподнем и с широко расставленными, немигающими глазами.

Зато крупная, лопаткой, завёртка в крытом тесном крыльце отмыкалась запросто и свободно, выказывая взору летнюю улицу,– удушающе-глухую и пыльную, давно безлюдную. Здесь, на воле, во всеохватной призрачной темени слегка шелестели березовые листья в палисаднике, а еле угадываемая деревенская дорога была, как всегда, на все стороны тиха и одиноко пустынна.

Привычно, для отпугивания всякого лиха, она сначала обстукала обухом передний угол избы и шагнула было к отводку с покосившимся штакетником, туда, к задворкам дома, но невольно замерла на месте.

Перед глазами разом, едва не въяве, и встала эта самая улица, кажется, ещё вчера со всей округи заполненная гостями, от души гулявшими от одного края и до другого, век не забудется. Веселее выборов, даже самих «майских» праздников, отмечалось лишь главное деревенское торжество – «Девятая»,– девятая пятница после Пасхи.

И до самого утра, до первых заполошных петухов гуляющий люд старательно обмахивался одуряющими,

сводившими с ума своим нездешним запахом густыми ветками сирени, тогда ещё буйно разросшейся до самого князька их дома, по-хозяйски расположившегося посерёдке праздничной деревни.

В бледно-серой крепдешиновой юбке и ситцевой, во всю расшитой голубыми листочками кофте, и она неожиданно для самой себя в одночасье вылетела на перепляс с закадычными подружками, поначалу долго не решаясь. Но только дошло до дела – и в новых, из парусины, синеньких туфлях, гордо вскинувшись и всплеснув руками, она лихо пошла дробить возле своего цветущего огорода по вытоптанной добела тропке.

В теперешнюю пору один лишь Святой Дух и остался тут, а по здешней дороге с двумя десятками нежилых домов заскочит сюда в горку разве что продуктовая автолавка, да ещё раз в неделю сельсоветская «помогалка» покажется: наскоро подсобить немощной женщине по её немудрёному хозяйству. И она, беззвучно шепча родные, спасительные для всякого крещёного слова, открыла заскрипевший отводок и в обход, шажками направилась на задворки, хотя с той стороны избы подозрительное копошение уже подзатихло, больше не слышалось.

И при дневном свете было бы нелегко двигаться этим огородом: недолго оступиться, либо вовсе растянуться, моргнуть не успеешь. Захваченный в полон вездесущим сорняком и, в полный рост, розовыми кустами иван-чая, он был наподобие ловушки из-за прожорливо вылезших из-под земли многочисленных корней, что повсюду расползлись заматеревшими, длинными щупальцами.

Но она, держась самой стены, обшивки дома, опять же неторопливо обошла громоздкую в темени избу и оказалась у хлева на задворках, откуда тотчас обдало её легкой беглой свежестью, с пустых деревенских полей нанесло.

А ещё под горушкой, в самой низине их огорода, одинёшенько притулилась баня, кособокая и никому не нужная, отрезанная от большой дороги полусгнившим забором из ольхового и берёзового колья.

Бог знает, когда и каким ветром были занесены сюда, на задворки дома, летучие семена вишни, рябины и черёмухи с яблонями, но нынче они волшебным образом превратились в небольшой, сказочно-живой сад, не только радуя глаз, но и надежно закрывая дом от любой непогоды.

А рядом, в тесную к самой стене, присоединилась ещё ладно выструганная широкая лавка: еле успел хозяин до своего ухода управиться, даже кустик красной калины подсадил, долго возился.

И потом, до последнего дня, его самого отчего-то неудержимо тянуло в это нелюдное покойное место, где из знаемой лишь им молчаливой жизни всё одно, что насквозь, была хорошенько видна вся их округа. И особенно – тот край Пятницкого кладбищенского заворота, где с незапамятных пор покоился по его образу и подобию самый младший, единственно любимый сын, что, не успев толком порадоваться на белом свете, в одноразку и свернулся на его руках, навсегда уже вынув отцовскую душу.

А обнесённая сверху и с боков тёсаными досками, эта лавка была ещё уютно обита войлоком и заботливо обустроена для подзголовья диванной спинкой, лучшего места для отдыха и не найти.

«А как у нас дювья-то стало,– даже с какой-то забытой радостью подумалось ей тогда.– Ведь стойно в раю: только бы жить да жить».

И именно с этой вольной райской стороны она однажды в многолетней давности и увидала будущего суженого, разве такое забудется?.. После своей демобилизации он сразу и появился у них на гулянке, подпало как раз к девятой пятнице после Пасхи.

Из-за реки, со своих неблизких иткольских краев, как в той знаменитой песне, он тоже в защитной гимнастёрке и «спустился с горочки»: невысокий и ловкий, в фартовых хромовых сапогах и лихо заломленной военной фуражке на черноволосой голове. А когда ещё с шутками и прибаутками очутился с переплясом в

их круге, так взглянув на неё, разом вспыхнувшую в своей ситцевой расшитой кофте, что подружки и сами быстренько уступили место этой не по-деревенски баской паре.

С того самого дня для неё больше не было никого дороже: этому лучшему на свете улыбчивому иткольскому парню из дальней с десяток домов Дорогуши она отдала на всю жизнь весь жар своего молодого и верного девичьего сердца.

В это время сюда к ней, на окрайку дома, заглянула с другого боку неугомонно-прозрачная луна и, наскоро облив всё вокруг холодным светом, вдруг наткнулась на подготовленный костерок: в двух шагах от остановившейся хозяйки был, такой и немудрено с ходу прозевать в темени.

Оставалось только поднести огонь к умело собранному стожку из нажористого сушняка да прочего дворового мусора, и тогда уже в два счёта было бы тут одно пустое место. Всё говорило о том, что кому-то совсем уже невмоготу понадобилось нынче нарушить это жилище, сравнять его с землёй.

Придя в себя от увиденного, она мёртвой хваткой сжала надежное длинное топорище и, осмотревшись, изо всех сил прислушалась к любому маломальскому шороху. Но долгая, не нарушаемая даже птичьим посвистом подлунная тишина этой зыбкой летней ночи подтвердила, что если кто-то и был в их заулке, то успел быстро и незаметно раствориться в неизвестном направлении, вспугнутый бесстрашной хранительницей дома.

И тогда она, потихоньку отдышавшись, решила, что никуда больше отсюда не денется: несмотря ни на что, будет обязательно находиться в своём огороде хоть до утра, до самого рассвета, сколько понадобится.

И, продолжая всё так же нашёптывать спасительные, столь нужные каждому крещёному слова, она решительно села на хозяйскую лавку, держа крепко-накрепко, как солдат оружие, своё поржавевшее железо на длинном и тяжелом топорище.

В последнее время и без того уже больно много развелось желающих за чужой счёт поживиться – не своё к рукам прибрать; так, сама того не ведая, она, может, и насовсем сумела в этот день отвести неминучую беду от их осиротевшей, сполна обезлюдевшей Славянки.

А на недосягаемой высоте загадочно спящего в этот предрассветный час мироздания, не иначе, как ей в помощь, на смену уже бойко не пёкшей луне, внезапно светло и ясно распахнулось бездонное небесное покрывало. И торжественно запереливалось на всю округу серебристо вспыхивающими празднично-звёздными иголками.

И где-то далеко внизу, в самой благодатной глубине этого неповторимо-светящегося мира, на одной маленькой и вгустую переполненной земле, отныне увиделся осиянный уголочек и для одинокой женщины в белом одеянии, что с ангельской жертвенностью была готова беззаветно стеречь свой кров от каких бы то ни было несчастий столько дней и ночей, насколько жизненных сил ей было отмерено свыше.

СВОЙ СРОК

...Там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.
Николай Рубцов

Домой мне удалось вырваться как раз к уборке картошки. Вдвоём отцу с матерью было уже тяжеловато пластаться на огороде, а садили они с прежним расчётом, как в лучшие дни, когда за домашним столом вместе со мной хороводились ещё двое братьев, Игорь и Николай, двойняшки-«боевики», служившие сейчас срочную на чужой стороне...

Было раннее утро, когда мы, позавтракав, вышли к нашему огороду. Я всю жизнь не перестаю изумляться родительскому истовому трудолюбию!

Сразу же возле дома сарайка из добротных, аккуратно подобранных плах, под дрова – их доверху. В летнее и раннеосеннее время отец расшибает обшивку сруба через плаху, чтобы дрова там не застоялись-не залежались, не подгнили, чтобы ветерок оставил в них первозданную свежесть и крепость, тепло.

Слева ещё две сарайки: под сено первая, а другая – хлев для коровы Мурашки, нетёлки Красавки и пяти ухоженных, точно после химической завивки, овечек.

И всё это – сколочено-сделано на славу, надёжно и ладно. Ни щёлочки лишней, ни гвоздя ненужного. Заглянешь в сенник – дух захватывает, в сено опрокинешься, а вверху, на поперечине, веники, как птицы, висят. Глубже вздохнёшь – зубы сведёт от запаха лугового, духовитого...

Огурцы уже собраны с парника, и я отыскиваю один, завалявшийся среди блёкнувших глянцевитых листьев, и ем, как яблоко. Во рту – свежесть мяты, и поднимается вдруг, невесть отчего, чудесное настроение.

Высокие листья чеснока макушками связаны в шалашики, а горох уже повял окончательно и развешен, как бусы, на ольховые палки.

За картофельными грядками – яма для картошки. На сухом бугре и с крышей, точно у финских построек. Две ступеньки в земле, а перед входом в яму, куда подлезаешь с полным ведром – деревянный настильчик. Внутрь вполз на четвереньках: вкруг такой же деревянный пол, чтоб рассыпáть картошечку, провеивать её, а уж в самой яме – квадрате два на два – три отсека, тем же материалом вымощены: в одном стоять, в другом на зиму картошка, и в последнем – на семена.

Когда урожай убран полностью, в «стоячий» отсек ссыпается та же деловая продукция. А мелкая и с дырками, порченая, собирается в отдельное ведро и относится в хлев, во дворике которого сколочен сусек для скотины. Всё рассчитано и продумано с величайшей экономией. Ничего лишнего.

Мы с отцом закуриваем по первой перед трудом праведным, а мать уже начинает, наклоняется над

боровком, ей не терпится. Лопата по самый черенок податливо входит в грядку, отваливается куст: тяжело и мягко...

Чувствуя неожиданное радостное волнение, я подскакиваю к матери. Хватаю куст и встряхиваю: бело-жёлтые клубни весело срываются на землю и наперегонки скатываются в боровок.

– Не-ет, ты погляди-ко,– смеётся отец и с удовольствием потирает руки.– Чисто поросята!

Он забирает у матери лопату и становится во главе грядки: это его законное место, как и за столом – напротив окна; табуретка под столешницу задвинута старая, со щербинами, но отец дорожит ею, перевёз ещё из старой деревни, Клёнова, где прошли его детство и молодые годы.

Так и работаем: отец копает, а мы с матерью отбираем. За огородами – поляна, по которой легко разбежались несколько голенастых рыжих сосен с кучерявыми зелёными верхушками. Над ними красным пятном – солнышко, светит ясно и негрейко. Небо – синь синью, ни облачка лёгкого. На душе никаких заботушек, голова на редкость светлая...

Время не замечается, а всё тело давно налилось крепкой и уверенной силой, дышится полной грудью.

...Отец копает, мы собираем, затем я хватаю полные вёдра и разношу их по назначению. Мельком поглядываю по сторонам: мои односельчане тоже не теряют времени даром – то в одном, то в другом огороде копошатся, не разгибаясь, на грядках; кое-где домовито курится дымок...

– Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи...– вполголоса шепчу я, торопясь с пустыми ведрами обратно; как же верно сказано: родина лечит! Душу твою, думы твои успокаивает, чтоб потом они, обновлённые, стали чище и выше! И так ни к месту пришло: не знаю, когда и как уйду из жизни, но что с памятью о родных и родине,– убеждён. Но сейчас об этом ни к чему. Всему свой срок.

Отец тем временем распалил костерок, подбросил сушняка, и бесенятами заплясали язычки огня...

Мать, аккуратно расчистив в пожоге место, высыпает груду картошки, накрывает её ведром, теперь можно не беспокоиться – не подгорит-не сгорит; притихший, было, огонь вновь облегчённо и весело затрещал. А мать раскладывает на разостланной клеёнке огурцы, помидоры, грибы, хлеб. Отец соорудил из досок скамейку, и мы садимся обедать.

Картошка горяча и необыкновенно вкусна! Хрустим огурцами, под рукой краснущие помидоры, свежего копчения рыба и солёные грибы в стеклянной литровой банке...

И тут мать как-то непонятно встряхнула головой и резко обернулась: открыв отводок, к нам торопливо шла почтальонша тётя Вера с разбухшей брезентовой сумкой.

– Господи-господи-господи...– заклинанием забормотала мать, возвышаясь над нами.– Уж не с робятами ли чего-о-о-о?..

У отца, снизу уставившегося на лицо её, немо повело рот. Я молчал.

– Вера-матушка,– протянула руку мать,– чего это? Чего ты идёшь-то?..

Тётя Вера остановилась, оглядела нас – и вдруг всё поняла, заголосила:

– Да что ты, Ольга, что ты-ы-ы-ы! – замахала руками.– Чего тебе в ум-то взбрело-о-о?.. Да ведь вам письмо от робят-то, письмо-о-о!.. Что ты, что ты! Это я уж по-суседски: дай, думаю, занесу, обрадую! А вы-то, матушки мои, воно что!..– Тётя Вера нервно достала приготовленный конверт, торопливо протянула... Мать обеими руками сжала письмо в комок и через мгновение, словно очнувшись, бережно расправила. Прочитала – и засмеялась, заплакала:

– Скоро, милые, домой обещаются, ой-ой-ой, да и медалями-то, пишут, обоих-то наградили, слава тебе, господи-и-и... живы-здоровы!..– Неловко села на лавку,

склонила голову набок, вглядываясь в строки письма.– Гляди чего... Пишут: поди-ко, картошку уже убираете; до чего, мол, мама, картошки-то охота, сил нет, так бы до отвала и наелись...– Мать только теперь посмотрела на нас с отцом, протянула письмо.– Да ты садись, девка,– пригласила тётю Веру.– Заодно и перехватишь с нами, а то всё на ногах да на ногах...

– И то верно,– почтальонша не стала дожидаться дополнительного приглашения и взяла картофелину, перекатывая её из руки в руку.– Ты погляди-ко: ведь обоих медалями начальство наградило, надо ж такое!..– подивилась она братьям: – Вот чего наши-то ребята делают!

Мы с отцом молча прочли письмо, затем закурили...

– Ольга,– чуть осевшим голосом окликнул отец.– Помнишь-нет Олёшу-то Шольского?

– Но,– не сразу откликнулась мать, подсовывая тёте Вере банку с грибами.– А чего?

– А он картошки всю жизнь не едывал,– усмехнулся отец: – «Не еда это,– говорил,– а одно... недоразумение».

– Недоразумение...– сощурилась мать.– Да мы – сколько себя помним – живём на картошке. Стар и млад на ней выросли. Без картошки – стойно без рук: хоть стой, хоть падай. И силушки не прибудет, онемеет. Да тут и говорить-то об этом – только воду в ступе толочь!.. А Олёша-то, грех худым словом покойника вспоминать, сам с гулькин нос и прожил-то. А всё отчего – картошки не едал!.. Вот что я скажу.

– Ну, ты уж тут загнула,– с сомнением возразил отец.– У него, сказывают, рак был...

– Да только и кот-то у него не чище был,– вспомнив что-то, встрепенулась и тётя Вера,– помидоры всё у соседей таскал. Надо же такому удуматься: кот – и помидоры ворует! Правда, после хозяина-то тоже куда-то сгинул, как в камский мох провалился: ни слуху, ни духу...

– Ага, ну ладно,– поднялся со скамейки отец, видя, что почтальонша закончила есть.– Докопаем – да и добро, хоть душа на спокое.

Тетя Вера, поблагодарив, ушла доразнашивать почту, а мы занялись своими делами.

Как-то враз потемнело всё кругом, и тотчас разгонисто, без промедления, подул во весь опор резкими порывами холодный хлёсткий ветер...

– Ой, да и работы-то с боровок осталось,– с сожалением глянув в темнеющее небо, проронила мать и, как заклинание, заторила, обращаясь к крепнувшему сиверку: – Ви́-ихорь, ви́-ихорь, жена твоя не онуча: не надо ветру, не надо ветру!..

Но все же где-то на небесах не удержалось и прорвалось, и закрапал, усиливаясь и усиливаясь, дождь. Копать вскоре стало невозможно, но у нас уже всё было закончено, успели.

Картошка выкопана. Матери на сегодня осталось ещё подоить Мурашку да накормить животину, и сейчас мы с отцом будем носить пойло во двор, а потом всем скопом поставим самовар и обязательно просидим за чаем до полуночи, будем вслух читать и перечитывать письмо от братьев-«боевиков» и ещё о многом таком проговорим, чего наболело на сердце... Нам всегда есть о чём поговорить.

Мы подходим к нашему дому и моем сапоги в корыте со светлой дождевой водой. Затем у порога дружно вытираем ноги, и мать, прежде чем войти в дом, поворачивается к нам и, весело тряхнув головой,– куда только и усталость делась! – неожиданно задорно поёт:

Эх, картошечка, картошечка,
Какая тебе честь!
Если б не было картошечки,
Чего бы стали есть?

– Молодец, мать,– крутнул головой отец,– тогда пироги станем печь – с начинкой! – И добавил, засмеявшись: – Из картошки!

СВЕТЛО И ЯСНО

Брату Коле

Бегал я тогда в четвёртый класс. Учила нас Ирина Васильевна Хоботова, старая уже, строгая женщина, у которой в своё время сидели за партами ещё наши родители.

Все четыре класса начальной школы, разделённые интервалами парт, располагались в просторной комнате полупустого дома, окружённого большим старым садом, пугавшим нас своей сказочной зелёной дремучестью.

Обязательно раз в месяц Ирина Васильевна устраивала встречи с ветеранами второй мировой, на которые ежеразно являлся её муж – Алеша Дама-первая, прозванный так за стамой – негнущийся – указательный палец правой руки (в картах к тому времени мы уже соображали не хуже взрослых).

Однажды, во время вот такой очередной встречи с ветераном, в класс неожиданно вошла молодая девушка в сопровождении Хоботовой.

Ирина Васильевна сдержанным кивком поблагодарила мужа, и тот неторопливо отправился во двор заниматься своими хозяйскими делами.

Девушка была красива, и это понимали даже мы, четвероклашки, с молчаливым любопытством уставившиеся на неё, слегка покрасневшую от столь пристального внимания.

– Познакомьтесь, ребята,– представила девушку Ирина Васильевна.– Ваша новая учительница Наталья Анатольевна. Она будет вести литературу и историю.

На уроках Натальи Анатольевны было интересно, и все её рассказы казались нам настолько правдивыми, точно она сама являлась каким-то чудодейственным образом очевидцем тех легендарных событий.

Помню, как-то после урока истории подскочил ко мне дружок Колька Ожогин и, угрожая воображаемым копьём, воинственно надрывался:

– Я – Пересвет, ты – Челубей! Защищайся! Я – Пересвет, ты – Челубей!

Для проживания Наталье Анатольевне выделили комнатку возле класса, но на выходные она уходила к тётке в Нефедьево, а дорога туда вела через нашу деревню.

В одну из суббот мы с Колькой, отстав от ребят и размахивая полевыми сумками, брели из школы, довольные, что впереди нас ожидало целое свободное воскресенье.

Заслышав чьи-то шаги, мы дружно обернулись и увидели Наталью Анатольевну.

– Ребята,– весело проговорила она, догнав нас на дороге у Дымарки, возле мостика через ручей.– Кажется, нам по пути? Не против, если я пойду с вами?

Она ещё спрашивала об этом!.. Мы были, конечно, рады, но не показывали этого ни капельки. Только первое время не знали, как держать себя с учительницей, и лишь пыжились да молчали.

Но Наталья Анатольевна легко и непринуждённо разрушила эту преграду, о чём-то рассказывая, и вскоре всё стало на свои места. И мы уже со спокойной душой выбалтывали ей наши мальчишеские секреты, чего никогда бы в другом разе не допустили под самыми, что ни на есть, лютыми пытками.

Колька, например, рассказал, что ещё только вчера Лёнька Вешкарёв на спор съел лапку от живой лягушки и даже не поморщился.

Наталья Анатольевна удивлённо хлопала глазами, а под нашими ногами с удовольствием шелестела ломкая разноцветная листва, упругим густым слоем усеявшая тропинку.

Вскоре мы подошли к деревне. Наталья Анатольевна поинтересовалась, любим ли мы читать.

– Я давно просил книжку про войну,– пожаловался Колька,– да всё, говорят, нету.

– А знаете что, ребята,– вдруг предложила учительница,– я могу достать книг, каких хотите, только надо

идти в Нефедьево. У меня ведь тётя завбиблиотекой. Но вот только как посмотрят на это ваши родители?

– Разреша-ат,– твёрдо заверил Колька.

Но его как раз и не отпустили: Колька мой сосед, живёт через дорогу, поэтому я слышал, как он напрасно хныкал, выпрашиваясь у своего малоразговорчивого и постоянно занятого работой отца.

Моих, к счастью, дома не оказалось, и, похватав в карманы пожевать, я пулей вылетел на улицу, радостно сообщив Наталье Анатольевне, что мне разрешено.

Сколько потом было хожено-перехожено, но никогда не позабудется отчего-то и посейчас видимая зелёной та, до обидного короткая дорога к тётке и обратно! До сих пор музыкой звучит повествование о жестоких корсарах морей и о благородных храбрых людях, вступивших в смертельную схватку с пиратами. А как мне хотелось быть на месте того юнги!..

Но неожиданно рассказ обрывается, а в расширенных глазах Натальи Анатольевны застывает такая беззащитная ранимость, что меня прямо толкает к ней, как к матери...

– Ой,– переводит дыхание Наталья Анатольевна, прижимая руки в просвечивающих перчатках к щекам,– понимаешь, вспомнила рисунок: тот Сильвер своим железным костылём убивает одного матроса, который отказался быть в его шайке. До сих пор жалко того моряка!..

От Нефедьева я бежал на всех парусах, подпрыгивал и громко пел, держа обеими руками книгу с изображением старинного корабля и тиснёной витиеватой надписью: «Р. Стивенсон. Остров сокровищ».

...С этого дня все переменилось: я жил постоянными думами о Наталье Анатольевне, она мне даже снилась, и я внезапно открывал глаза среди ночи, с замиранием вслушиваясь в стук собственного сердца. А мир всё так же, как и в тот день, был полон глубокой сладкой тоски...

Но однажды Наталья Анатольевна не пришла в школу. Бобылиха Анюта, деревенская всезнайка, рассказала женщинам у колодца, что за новой учительницей приехал красивый жених на своей машине и увёз её в город.

Я сразу до белого каления возненавидел бобылиху и каждодневно не находил себе места, дожидаясь Наталью Анатольевну. Но она так уже больше и не пришла к нам в школу. Тогда я набрался смелости и обратился к Ирине Васильевне.

– Она... уехала,– помедлив, ответила Хоботова и, внимательно посмотрев на моё кислое лицо, добавила, как взрослому: – Не унывай: ты ещё только начинаешь жить. Надо быть готовым ко всему, дружок.

Еле сдерживаясь, я убежал за школу и там, в стороне от людских глаз, вволю наплакался, а надо мной негрейким пятном ехидно торчало комолое солнце...

Немало времени прошло с тех пор. Многое забылось памятью из моего детства, но я всегда помнил, и буду хранить в сердце своём то далёкое-далёкое, мальчишеское, потому что видится оно светло и ясно.

ЕРПЫЛЬ

Памяти бабушки Кати

Он пришёл сюда калёным зимним полднем под больное вьюжное завывание. Кругом было бесприютно-стыло и мёрзло, пусто отсвечивали дорожные наледи под промороженным огрызком небесного светила, красновато вжатого к самой земле низким и глухим небом.

А всеохватные снежные космы, в свою очередь, как на привязи, серебристо-прозрачными извивами плавали под крышами задубелых деревенских домов, поддерживаемые трубно гудящим заунывным ветровеем.

И где-то головокружительно высоко, из космической мрачной теми, словно в какое-то наказание, изредка

вбрасывало к нам сюда немеряными гулкими ударами, кем-то вгонявшим в самое нутро земной тверди всё, находящееся под суровой небесной опекой.

Но, перекрывая этот вселенский разгул, совсем уже неведомо из какой и где уживаемой бездны нет-нет и пронзало оловянное пространство надмирным и сиротским плачем незримого малютки, вековечно и одиноко страдающего по обычному, никогда неизбывному участию, нашему теплу.

И вот посреди такого неистовства, поперёк серёдки этой жизни, он долго вглядывался то в одну, то в другую беспросветную сторону, стараясь угадать – определить нахождение того самого фонарного столба с самодельным алюминиевым абажуром, всегда бряко-тавшим,– с утра и до вечера задиристо настукивающим от любого неказистого ветерка.

И на новенькую сосновую верхотуру которого он ещё с мальчишеским бесстрашием единственный из всех и взбирался тогда на проволочных ненадёжных креплениях, вообразив себя монтажником-высотником. И откуда, осветив насовсем, однажды ему открылся вдруг во всей красе, казалось, весь мир,– недосягаемо-небесный и одновременно ублажаемый, с нескончаемым лучистым днём.

Но, кажется, что его нынче окружило, не с той стороны вывело куда надо: рядом с его детской абажурной памятью всегда бок о бок – надёжно и защищаемо – как впаянный, стоял ещё вросший в землю родовой бабкин дом, с места не стронешь. А теперь вместо этого перед глазами, залепляемыми снегом, лишь несдвигаемой юлой крутило что-то белесо-неосязаемое, стремительное, как будто нарочно не давая хода туда, куда его так неудержимо тянуло.

Только он вскоре хоть неуверенно, но опознал своё безлюдное местопребывание и, пригибаясь, двинулся насквозь продуваемой улицей, краем павловского огорода с его горбатым, алебастрово отполированным сугробом, и, держась малозаметной заячьей тропы, в сторону самого Пятницкого озера.

А оттуда, из-под голой горушки, безнаказанной ракетной стеной взмывали в вышину свистяще-снеговые густые потоки, либо уже замерзавшие на лету, а может, и на раз поглощаемые кем-то невидимо-яростным, заполонившим всё на этом лобном деревенском юру, точно на последнем жизненном круге.

Неужели вправду было, что когда-то одним летним вечером ему довелось идти отсюда, с ночного костра, в ту пору ещё скликавшего со всей округи позубоскалить на пару-другую часов устосавшуюся – за день до одури наработавшуюся молодяжку,– знаемо ли теперь кому-нибудь это время?..

Тогда ещё в густом соловьином воздухе тусклые искры пожога светлячками перемигивались у озера, а в береговых сырых кустах без устали кричала какая-то ночная птица – может, потерявшись, либо вовсе накликая кому-то неминуемую беду?.. Но близ его широкого плеча на провожаемой тропинке была та самая приезжая ферапонтовская гостья в голубенькой кофточке, рядом с которой он, известный всей округе своей зимогористой непоседливостью, сразу стал настолько другим, что не только не осмелился на неё взглянуть, даже не в силах был связать двух самых обычных слов...

А она, отчего-то зябко кутаясь в свою душистую кофточку, всю дорогу как-то виновато молчала, думая о своём, ровно никого не было рядом. Но потом тихонько, точь-в-точь говоря себе самой, то ли напела, то ли просто нашептала еле угадываемое слухом: «А ты всё спрашиваешь меня: люблю ли тебя?..». Неизвестно, к кому относились уже тем, навсегда незабываемым вечером произнесённые наподобие молитвы слова: то была их первая и последняя встреча. Наутро она неожиданно исчезла обратно в свои городские края, даже ни с кем не попрощавшись. И до сих дней необъяснимо, какая тайна заставила тогда раз и навсегда умчаться отсюда эту совсем странную, говорившую саму с собой городскую гостью?..

Но зато его самого, в поисках лучшей доли жившего в северном проморожено-шахтёрском месте, с тех пор

ещё настырней и безудержней манило сюда в слабой надежде, хотя бы однажды встретиться взглядом с той, не приснившейся ему молчаливой спутницей на соловьиной тропинке их далёкой и необратной юности.

С годами это чувство стало глуше и реже напоминать об удивительной жизни в бабкином доме, заменившем родительский, и какого ещё нигде не бывало и больше никогда не будет. Хотя сам он уже давно, немало времени не переступал его порог, незаметно выросши из вчерашнего зелёного юнца в разворотистого представителя сегодняшнего дня с натуристым, почти немигающим взглядом. И, не дотянув с целый десяток лет до христова возраста, умудрился с головой окунуться в иные, одному ему знаемые радости, отвернувшие его принудительно надолго даже от мысли о спасительной дороге к самому светлому на свете уголку.

Только одно он всегда знал твёрдо: если допустить, что случись в этой жизни невозможное, и небеса сами собой разверзнутся, следом ещё земля уйдёт из-под ног, а всё окружающее и вовсе валом провалится в преисподнюю,– кто высшую волю переволит?.. Но и тогда – успей он чудодейственным образом оказаться в здешнем краю,– в любое время дня и ночи на дощатом кухонном столе его обязательно будут ждать прикрытые газетой воздушные умопомрачительные тоболки,– пышные ноздреватые пироги, в добавку с горячим душистым чаем, настоянном на лесных травах его вечно родной и улыбчивой, всё понимающей бабкой...

А крытая простым тёсом бабкина изба на самом деле через какие-то сотни шагов словно бы его дожидалась, внезапно возникнув у самой дороги, хоть рукой дотрагивайся. Вплотную, едва не по самые окна занесённая подсинённо-обледенелым крошевом, стояла она, только и выказав на всегдашнюю особицу высокое крутое крыльцо с покосившимися сосновыми перилами.

Гологоловый, укрывшийся от неистовавшей круговерти под капюшонистым воротником новомодно-красной куртки, он поначалу даже не поверил глазам,

неожиданно обнаружив, что её входные двери были как бы показательно, внахлёст перекрыты парой длинных берёзовых палок, а на медной дверной ручке висьмя висел,– основательно пристроился амбарный чёрный замок.

Из нутра линялых и стылых оконных рам, фигурно облепленных мёрзло неживыми узорами, веяло леденящей пустотой, а сами они чудились привнесёнными из какой-то одинокой и страшной, уже непоправимой сказки, отныне чудовищно обратившейся в непредсказуемую жуткую действительность. И только теперь всё увиденное сошлось – окончательно стало в нём той самой правдой, от какой никому и никогда не удастся и в землю уйти, и на небо взлезть, никуда больше не деться.

Между тем, столетняя стынь, вытягивая живую душу на волю, настолько недвижимо сковала его самого, будто уже единично определяя те последние уготованные минуты, что означены любому и каждому лишь по особой разнарядке свыше. В это время, едва не задев, мимо него ещё не попускаемо и пронеслось подобием шаровой молнии нечто снежно-непонятное, адски ухнувшее внутри вьюжного, спрессовано-злого клубка, и скрылось в конце яшкиной улицы.

А разве когда-то не от того самого заулка дядиного дома с резным забором было выбегано бессчётно раз этой тропкой на купанье к знойному берегу для тогдашней ребятни ещё самого синего на свете их Пятницкого озера?.. И видел ли в другом разе кто-нибудь из его ровни это самое место нынешним,– безнадёжно заснеженным, от края до края сравнявшимся с мутным невидимым горизонтом, с неизменной беспощадностью и завершающим во время оное всякие земные пути?

И откуда тогда не в шутя, а взаболь взялось на ум, что наглухо закрещённые входные бабкины двери являются отныне определением последней человеческой дороги на этом свете? А если перед ней, и без того вечно страдавшей глазами, скажем, однажды просто

взяли и распахнулись двери дядькиного дома с этим резным забором,– ведь без веры любая жизнь мертва.

Сколько помнится, всю дорогу её, несговорчивую, и так постоянно зазывали к своим да нашим перебраться, чем у себя в одиночку маяться: всего-то было через две избы в этом ряду перейти. А по-другому не могло бы статься: даже ему, бабкиному гостю, разве тоже не были, как родному, всегда рады?..

Кажется, ничего с той поры не изменилось в этом доме: также в щелевато продуваемом коридоре поблескивающе мерцали на настенной полке стеклянные банки, и резко отдавало слежалостью от старой конской упряжи, приткнувшейся возле рукодельного громоздкого шкафа. И, торопливо шагнув коридорным затхлым входом, он, безотчётно запнувшись, затем без стука отворил тяжёлую филенчатую дверину.

А хозяева всё равно, что не отходили от своего порога: стояли друг подле друга в полутёмной прихожей и, молча глядя на вошедшего, спокойно ждали, когда тот заговорит,– какое-то слово скажет. Но первой не выдержала хозяйка: тётка уже хорошенько состарилась и, перевитая в пояснице полушалком, была неповоротливо низка, подслеповато щурясь широким добрым лицом в изведённых глубоких морщинах.

– Ой, ты, батюшко рожоный,– угадываемо повглядевшись, нараспев завыводила она, покачивая головой.– Да откуда Господь-то тебя в наши края сподобил, ведь кругом белого света не видать!..

– Вышло так: по пути было,– простуженно-хриплым голосом неопределённо отозвался гость, неотрывно глядя перед собой.– Надо, чтоб сразу сюда и обратно было,– невразумительно повторил он, продолжая напряжённо-выжидательно, не моргая, смотреть на дверной проём в большую комнату.

Но сам хозяин – дядька оказался ещё скор на ногу, уже вовсю шуродил: без лишних слов вызволил из русской печки утрешнее варево, а на кухонном столе рядом с горкой хлеба в цветастой тарелке появился и

внушительно-гранёный стакан с пакетным, свежезаваренным чаем. Сквозь оконную застиранную занавеску блёкло пробивало уличным светом, по-домашнему отражаясь на электрически-блескучем самоварчике с дутыми боками и уютно выказывая гнутый стул с жёлтой полированной спинкой.

– Соловья баснями не кормят,– по сохранившейся крикливой привычке ещё с работы на скотном дворе, ершисто громко вразумил дядька на кухонном кутке подоспевшую хозяйку. И в том же голосистом духе без всякого передыха уже досталось самому гостю, отчего-то оставшемуся на месте: – Прошу к нашему шалашу: в ногах правды нет!

Но он сразу осёкся, недоумённо повернувшись к хозяйке, только что руками по привычке не развёл. Хоть все глаза прогляди, но сперворазку не признавался на свету в этом смуглом бровастом парне в рубашке с оторванной пуговицей тот, знаемый с детских лет их сегодняшний гость, впригибку шагнувший на крохотную кухоньку с подкапывающим в углу умывальником.

Вдобавок ещё у него на руке между указательным и средним пальцем было изображено – нашлось место пяти заметно выколотым фиолетовым точкам, угадываемо означающим пребывание в местах, не столь отдалённых: кому-то у нас нынче по-другому думается? А от виска к щеке у него ломано скользнул – оказался и свежий шрам, невольно подталкивающий любого к безрадостной уважительности при виде коротковолосого обладателя этой буйной головушки на крепко развёрнутых плечах.

– Было дело,– понимающе усмехнулся он, перехватив невольный взгляд домашних, а потом с неосторожной размашистостью оказался на гнутом, угрожающе скрипнувшем стуле и для чего-то ещё раздельно выговорил: – Было дело под Полтавой.– После уже медленно, неторопливо обглядев тесное кухонное пространство, он даже с каким-то негромким удивлением, немногословно заключил: – Надо же, правда, как тогда

всё осталось.– И, словно удостоверяясь в правоте сказанного, вновь осмотрелся кругом, но уже наскоро, с цепким запоминанием.

И вдруг его взгляд, казалось, остекленел, сделался совсем безжизненно-отрешённым. Среди старых выцветших карточек, давно прикреплённых по всей стене, с самого края была заботливо вставлена ещё одна: с простенькой деревянной рамки, светло улыбаясь из какой-то другой солнечной жизни, на него в пёстрой летней кофте смотрела во все глаза его навеки молодая бабка в своём любимом, ловко повязанном ситцевом платке.

Но он всё одно ещё, не веря, обернулся – вскинулся сгоряча в сторону жилой комнаты: там, рядом с хозяйской половиной, помнится, всегда соседствовал домашний закуток, ожидаемо представлявшийся местом заслуженного бабкиного отдыха, лучшего бы не придумать. А хозяйка, лишь вздохнув, поправила на столе клеёнку с выстывшей едой, понимающе покивала:

– Который год, батюшко, на иткольском кладбище лежит: наш век не велик, бабьи города не строятся.– И, помолчав, тихо досказала.– В Крещенье, горемычная, и преставилась у нас здесь: хоть не намучилась, и то, слава Богу...

– Хотя бы дома тогда оглядеться,– после этого выдавил из себя заметно побледневший гость и, не притронувшись к угощению, лишь наскоро сделал несколько чайных глотков, всё ещё ищуще оглядываясь по сторонам. Вслед за тем, выпрямившись во весь рост, он размашисто шагнул опять в прихожую и уже оттуда в наспех накинутой капюшонистой куртке решённо-просительно договорил: – Мне бы там всё увидеть надо.

– А от тех ворот давно поворот,– скороговористо отмахнулся молчавший доселе дядька, едва поспевая за ним следом.– Больше ноги нашей там не бывать: давно всё продано да другим отдано,– говорливо сверлил он своего безмолвного слушателя ещё зорко глядящими глазами-буравчиками из-под лохмато-треугольных стоячих бровей.

Но его обычная разгонистость была прервана тёткой, успевшей позади беззвучно, одними губами отчитать того за лишнюю языкастость, пока она следом семенила за вовсе сменившимся с лица и лишь кивком головы простившимся гостем.

А напоследок ещё входная дверь, настежь распахнутая от неудержимо-ветрового выхлеста, пружинисто захлопнулась с обратной припечаткой, оставив её, простоволосую, на вьюжном крыльце в одной домашней безрукавке. И тогда, захлёбываясь от сносящей с ног непогоды, боясь, что не доскажется самое нужное, она захваталась из последних сил за рукав ухнувшего – ступившего в снеговину путника.

– Не небо ли с землёй смешалось, Господи,– задыхалась тётка, не успевая как следует выговорить.– Батюшко, ведь ждала она тебя, слышишь,– качала она головой с путающимися на гудящем ветре седыми длинными волосами.– До последнего дня, рожоный мой, одного тебя звала...

Только её слова, летуче подхваченные вовсю разошедшимся уличным бесчинством, думалось, уже окончательно поглотили и остальное кругом, а заодно, походя, смахнули позёмкой и остатние следы недавнего гостя, будто растворившегося за пилёными зубцами их огорода.

А для него, закалившегося в знаменитом шахтёрском посёлке с названием, что у металла серебристо-белого цвета, не тускневшего на воздухе, разве могло ещё быть какое-то препятствие на пути к самому дорогому и невозвратному, чуемому им в последнее время, как во сне, так и наяву.

И ему, вскоре безоглядно оказавшемуся за деревней на дороге в сторону последнего бабкиного упокоения, где только ангелы ходят рядом с невидимыми людьми, не могло уже быть важным, почему это ветер, небось, почище самого демона и бьёт сегодня в лицо, а вчера он дул в спину.

Кровь из носу, но ему нужно было хоть по воздуху, да преодолеть это невзъёмное ныне трёхверстное рас-

стояние от озёрного берега и до останков иткольской кладбищенской часовни, прямо к неприметному родимому бугорку, где ночь и звёзды, птицы и травы, насекомые и деревья,– это всё соседи и друзья, постоянные спутники и собеседники, и где уже никому не следует искать понимания.

Но где у вечного молитвенного креста можно просто броситься в ноги, в искренней надежде услышать готовной душой чьё-то тихое прощение, милосердно и дарующее дивно-благодатный покой, пусть даже на один сердечный стук, хоть ненадолго.

Неизвестно, как сталось дальше с его неприкаянной душой, но после этого уже никто не видал его в этих краях: может, человеку вовсе обрыдло – не захотелось больше показываться во враз и ставшем для него навсегда чужим месте. Только одному лишь его ангелу-хранителю было ведомо, что загнанный в пятый угол ерпыль,– так здесь издавна прозывали любую непоседливую натуру, потому и сунулся сюда, что больше уже нигде и никогда его так не любили на всём свете.

ТАЛАНИХА

Памяти В.И. Белова

В небольшой деревушке, в стороне от главной дороги, летнее утро: солнечно, свободно, безветренно. В просторной светлой избе, что с краю деревни, сидела за кухонным столом старая Катерина Глебовская и вприхлёбку пила чай из блюдечка. И вскоре увидела через раскрытое окошко, как её загородой, которую она окашивала с утра, быстро, будто восвояси, пробрался чужой толстый мужик.

Почуяв неладное, Катерина выглянула на волю, а тот уже и с глаз долой пропал. Старуха с оханьем поднялась, чтобы из передней поглядеть, куда это молодец посвистал. А он уже тут как тут – в дверь, не торкнувшись, без спроса вошёл. Стоит, только что притолоку

головой не подпирает: набычился, борода лопатой, у самого носа два круглых бойких глаза, в майке и трусах до колен цветных, ноги, будто тумбы, все волосатые, вдобавок ещё в тапках кожаных без носок.

– Чего тебе, милок? – немного оробев, спросила Катерина. Согнутая, в линялом ситцевом платье, она была этому гостю еле не по пояс.– Воды надо или избой обознался?

– Да мы, бабка, реставраторы,– неожиданно тонким голосом ответил парень, а сам по стенкам нет-нет и зыркнет, даже в большую комнату хотел без хозяйки двинуться, но на дороге была Катерина и не думала отступать.

– Реставраторы мы,– снова повторил он.– Иконы ходим реставрируем, лучше делаем,– незваный гость только не выпевал.– А то и купить можем. Денег-то надо, бабушка?

– А кому они не нужны,– смиренно ответила Катерина.– Да только продавать-то у нас нечего. А если воды не надо, так иди, батюшко, куда шёл: мне сено грести пора. Иди с Богом.

– Ну, смотри.– Парень шумно вздохнул и отправился восвояси: в коридоре, слышно было, приложился головой о дверной вершник и крепко выругался, после скоренько слетел вниз.

А Катерина не на шутку встревожилась. Она вспомнила, как в прошлом году, зимой, тоже шастали в этих краях какие-то гости. Пошныряли они по деревне, а потом в избе у Миши Дёмушки пропали иконы, а ещё не стало медного самовара вместе с домотканными половиками. Самих-то хозяев давно уже не было на белом свете, только летом из города детки сюда наезжали.

А теперь опять какие-то чужие с утра пораньше ходят-шерстят,– говорят, сделают так, что иконы станут лучше, чем были, где это видано?

Катерина, ойкая, не пошла огребать сено, как задумала, а прямиком, на всякий случай затворив дверь палкой, наладилась навестить Анюту Мишкину.

Солнышко на улице жарило во всю ивановскую, в воздухе, не утихая, палило зноем, а толстая бархатная пыль жёлтым покрывалом лежала на земле, и пара рябых куриц, вспархивая, пыталась в неё зарыться и отдохнуть, но у них не хватало пороху.

Катерина проворно надвинула на глаза платок и заросшей тропкой выбежала из своего заулка, вгустую затянутого иван-чаем, а по дороге встретила товарку, которая с коромыслом и вёдрами направлялась к колодцу за водой. Она пересказала Анюте Мишкиной всё, что знала, а в горячке и от себя лично кое-что скороговоркой добавила.

Анюта, ещё бедовая и сухожильная, но робкая отроду, захваталась за голову уже на серёдке рассказа, собираясь обратно, но скоро вернулась, качая головой.

А из-за дома, где этим летом жил городской Витька-офицер, появилась ещё одна деревенская старуха, Лидия Аропланиха, ходкая, скорая на ногу. Следом катил велосипед десятилетний, в конопушках, внучонок Сашка, гостивший у бабки все каникулы.

Оказалось, что и у Лидии Аропланихи были непрошеные гости, также уговаривали показать иконы. С толстым круглоглазым парнем был, тоже в трусах и майке, ещё один здоровый мужик. Это полушёпотом поведала Лидия своим подружкам, то и дело оглядываясь по сторонам.

– А я ихнюю машину видел,– вдруг выпалил десятилетний Сашка.– Она у скотного двора стояла.

Старухи вперегонки кинулись к парню за разъяснениями. Но толку особого не вышло: тот лишь добавил, что видел собственными глазами, как эта «Тойота» уехала обратно.

– Вот что, бабы,– сказала тогда Лидия Аропланиха,– как ведь, дьяволы, уехали, так и вернутся. Это они узнавали всё. Про нас-то. Если что в домах. Да кто живёт. Мало им, бесам, зимусь всё у людей повытаскивали, теперь и при ясном дне уже папоротки распускают. Не к добру это, ой, не к добру.

– Ну-ко, Сашка,– она дёрнула внука за ухо.– Садись вон на лисапед свой, да едь до центральной-то усадьбы и этим милициям там позвони. Всё обскажи. Гляди, не забудь чего у меня.

– Ладно,– буркнул внук. Он проворно забрался на велосипед и понёсся с горушки на большую дорогу. Задание парню явно понравилось, и он даже ненароком едва не задел валявшийся с давних пор возле обочины указатель с названием деревни.

Выворачивая на дорогу, Сашка несколько раз вильнул рулём, затем, отдуваясь и переваливаясь на раме, с усердием закрутил педалями в сторону центральной усадьбы.

А старухи всем гамбузом направились в избу к Катерине Глебовской. Лидия Аропланиха ещё по дороге забежала к единственному деревенскому мужику Ване-Лейте, прозванному так с холостяцких лет. Было, допьётся – шевелиться нет сил, а всё равно ещё охота, вот и кричит: «Лейте, лейте».

Прозвище так и осталось, хотя Ваня давно уже Иван Иванович, и ныне, не обращая особого внимания на возраст, каждый сезон поддежуривал в соседней деревне на ферме, а в остальное время помогал своим старухам по хозяйству.

Вскоре все сидели у Катерины на кухне, чаёвничали. В центре стола был сам Ваня, высокий синеглазый старик с лысой головой. Он выглядел недовольным, привыкнув в жару часик-другой вздремнуть, но он же и надоумил, как надо делать дело.

– Оне, верно, опять придут. Не сегодня, дак завтра. Не сойти с этого места,– откашлявшись, заявил Ваня.– Вот что, бабы, а надо кучей всем держаться, скопом. Пять домов в деревне, а раз в месяц друг с дружкой поздоровкаемся. А на эту милицию жданки малы. Да вон бы ещё Витьку-офицера на подмогу-то кликнуть. Он парень провористый.

Старухи, переглянувшись, громко, вслух стали вспоминать Витьку-офицера. Выяснилось, что тот впервые

появился в деревне с год назад, но до сих пор о нём ничего толком не знают. Из дома почти не выходил. Старухи считают: пьёт много, вот и на улицу не показывается.

Та же Лидия Аропланиха быстренько скомкала в руках прежде баской, видавший виды передник:

– Пораз, бабы, видела в огороде, не от ума худой: волосы экие беленькие, одна кожа да кости на мужике, а вся животина стойно бороной проехана, куда и с добром.

Для деревенских жителей яснее ясного, что вернулся Витька-офицер с недавней войны. Зачем ещё тогда человеку всё время ходить в военных штанах и высоких зашнурованных ботинках, даже в жару? Правда, грех обижаться, со всеми мужик обязательно поздоровается, но к разговорам не пристаёт. Оттого его немного и опасаются. Но сейчас, может, без него и не обойтись. Поэтому от имени схода Катерина Глебовская и наказала Ване-Лейте:

– Иди, Ваня, ты как-никак тоже мужик, поладите. Позови самого-то сюда, лишняя подмога не помешает.

Старик без слов встал из-за кухонного стола и ушёл выполнять поручение, а старухи, оставшись в одиночестве, опять поставили самовар.

На кухне было тихо и прохладно, в самой избе свободно гудели вечерние мухи, по-хозяйски летая из комнаты в комнату, а в переднем углу в паутинной мохнатой сетке уныло торчало старорежимное радио, умолкшее само по себе уже бог знает сколько времени.

Все к этой поре мало-мальски пришли в себя. Во-первых, прибывший внук Лидии Аропланихи Сашка доложил, что начальство он оповестил, и там, как поосвободятся, обещали выслать наряд для проверки.

У парнишки, радёшенькому от выполненного поручения, рот до ушей и трещит, как сорока. Потом убрался кататься на велосипеде, наскоро пережёвывая выданный своей бабкой магазинный пряник.

Обнадёжил и вернувшийся Ваня, скупо сообщив, что Витька-офицер согласился заглянуть на огонёк.

– Будет, бабы, мужик,– уважительно кивнул он лысой головой,– этот не омманет.

Потихоньку всё кругом успокаивается. В воздухе заметно посвежело, и пахло вечерней росой, в деревенском озерке то и дело слышались заманчивые всплески играющей рыбы, а сразу за домами, возле близкого леска, розовело и меркло небо, медленно угасая; откуда-то со стороны центральной усадьбы изредка доносились, как если бьют по наковальне, ржавые монотонные звуки.

Тем временем деревенские жители уже справились с задуманным, как следует. Сначала они долго спорили, где положить вилы, тяпки и грабли, чтобы в нужное время всё оказалось под рукой, после будет поздно.

А Ваня-Лейте, выворотив из огорода, возвратился с большим осиновым колом. Единогласно было решено, что в избе весь инвентарь оставлять нельзя, ежели дойдёт до дела, поэтому приготовленное уложили прямо возле крыльца Катерининого дома.

Все понимали, что сегодня у них, не дай Бог, и до беды недолго, да только дальше своего дома деться некуда: теперь уже будет, как будет. А ждать незваных гостей и можно именно с этой стороны: всё видно, ровно на ладошке. И мимо не проскочат, если на самом деле кому-то в ум взбредёт ехать сюда.

Старухи дули уже не первый самовар, немного успокоенные, потому что у крыльца на низкой лавке, заросшей пыльным подорожником, сидели и курили городской Витька с дедком Ваней.

Витька-офицер, крепкий, белобрысый, с хрящеватыми прозрачными ушами, сначала зашёл в избу и, как деревенский, запросто поздоровался со всеми, а потом мужики ушли смолить.

Со старухами остался лишь внук Лидии Сашка и от безделья играл с кошкой: дразнил её, поддергивая верёвочку с привязанным на конце цветным фантиком,

но кошка не поддавалась на обман, а только лениво жмурилась, хитровато поглядывая на горожанина.

Сашке надоело баловаться в избе, и он выбежал на волю, но скоро заскочил обратно, крикнув, что в деревню едет машина.

Все старухи будто разом обмерли. Смирная Анюта Мишкина, как от тычка, даже с хлюпаньем еле не ткнулась в блюдечко с горячим чаем, захваталась за клеёнку на столешнице.

– Едут, едут,– неизвестно чему ликуя, подпрыгивал Сашка.– Машина, что и утром была. Вон она, вон она!

У Лидии Аропланихи хватило ещё соображения глянуть из окна – не ушли ли куда мужики по надобности?

Но Витька-офицер уже встал и неторопливо, стойно спросонья, потягивался, а Ваня, приставив ладошку к глазам, вглядывался на приближающуюся в лёгкой вечерней пыли машину.

В просторной кухне хозяйской избы, справа от русской печки, в углу крепко держится старинная икона Спасителя. Она тут с незапамятных времён, несчитанное количество десятилетий передаётся по наследству от дедов и прадедов. На своей памяти Катерина Глебовская сюда и на дух близко никого не подпускала. Говорит, не для безделья её здесь держат, не игрушка, чтобы глаза всем мозолить, ещё смолоду строга была хозяйка.

– Господи, благослови! – Торопливо перекрестившись на золотящуюся в кухонном углу тёмную икону, Катерина оглянулась на товарок, и старухи, одна за другой, тихонько пошли на выход.

Они осторожно спустились с высокого крылечка и сели на лавку у дома: чему не хотелось верить – случилось, и происходило ровно в забытьи или тяжёлом сне. Бабы смирно сидели, сложив на передниках раздавленные работой руки и глядя перед собой.

Машина, тёмно-синяя, сверкающая, плавно покачиваясь, что лодка на волнах, остановилась напротив Катерининого дома, бесшумно распахнулась тонированная

дверца, и оттуда на землю твёрдо ступила крупная волосастая нога в кожаной тапке.

Вылез и сам парень, утрешний, с узко поставленными бойкими глазами, борода лопатой.

– Ещё раз,– весело крикнул бородатый,– всем привет на сто лет!

– Доброго здоровьица,– по-хорошему откликнулся дедко Иван. Он по-прежнему из-под ладони наблюдал за происходящим, не двигаясь с места.

Следом за первой дверцей открылись и остальные. На улице оказалось четыре человека, все молодые мордатые мужики, одетые под стать бородатому весельчаку.

И тут из кабины неожиданно появился ещё один человек. Он был не таковский, как остальные гости: в белоснежном дорогом костюме, рубашке с блестящим галстуком и в узеньких очках, за которыми не видно глаз, а широкие скулы, недобро выделяясь, охватывала злая, в завитушках, щетина недельной непробритости.

– Что, бабы,– по-прежнему весело бодрился бородатый парень,– как с иконами-то? Мы ведь помочь хочем.

На деревенских мужиков он глянул равнодушно, как на пустое место, это ещё что за сбоку припёка.

– Зря отказываетесь,– не отставая, напирал бородач и хитро подмигивал.– У вас икон много, солить их, что ли? А мы денег дадим ещё больше. Хоть завались!

Старухи на скамейке переглянулись между собой. Но тут Лидиин Сашка подбежал было к машине, и Аропланиха, заводив длинным белым носом, зашипела рассерженной гусыней и погрозила парню кривым согнутым пальцем. Мол, смотри у меня, не балуйся без разрешения.

Бородач, восприняв эти действия как угрозу, изменился с лица:

– Бабки,– посжимал он бугристым кулаком.– Реставратор шутить не любит! – И глазами на этого в очках опасливо показал, а после запустил свою лапу в бороду: мошкара, вися столбом, липла и не давала покоя. И поскрёб всего ничего под шерстнатым горлом, а борода возьми да отпади – липовая оказалась!

– Господи,– едва не в голос всполошились старухи.– Отведи, боженька!

– А ведь нарушат нас,– поднимаясь, вдруг заголосила обо всём догадавшаяся Лидия Аропланиха.– В нашей-то деревне. За тем и приехали!

Но сейчас только двое здесь знали – лишь два человека по-настоящему понимали, чем может всё закончиться, если один другого не опередит: Витька-офицер и чёрный молчун в очках, на которого показывал бывший бородач.

С самого начала они исподволь, незаметно приглядывались друг к другу и, в какой-то момент, встретившись взглядами, всё поняли, что надо было понять. Ясней некуда, что пути у таких людей обычно пересекаются там, где многое решается вовсе не при помощи мирных переговоров.

Молчаливый уже сунул руку во внутренний карман белоснежного пиджака, но Витька, опередив, ткнул пальцем куда-то за его плечо и крикнул:

– Этот с тобой?

Молчаливый главарь в злой, завитушками, щетине маленько повёл головой, но Витьке-офицеру и этого хватило за глаза и уши. Вдруг выбросив перед собой руки и подтянув ногу, он в тот же миг неуловимо её выпрямил: неведомая сила хрястнула молчаливого о машину, даже очки слетели на землю.

Старухи на лавке голосили, будто бы на них клином сошёлся свет, сбились в кучу. А в это время Ваня-Лейте, до которого, наконец, дошло, что дело пахнет керосином, без раздумий хватил приготовленный кол и, размахнувшись им, молчком направился к стоящим у машины мужикам.

Похоже, незваные гости немного растерялись. Видно, происходящее никак пока не укладывалось в буйные головушки приезжих, наверное, немало повидавших в свои ещё молодые годы.

Они еле-еле успели примостить поверженного молчуна на ноги, и того мотало из стороны в сторону,

поэтому он одной рукой держался за скользкий машинный бок и тряс головой, приходя в себя.

И тут вдруг с лавки, поднявшись в полный рост, стали надвигаться на них вооружённые граблями, тяпками и вилами простоволосые деревенские старухи. Они уже очнулись и шли без слов, спокойно, решительно готовые, если, не дай Бог доведётся, стоять и на смерть, до конца.

Приезжие, неуверенно подхохатывая, заперегляды-вались, толкая друг друга в бок локтями. Они и правда не знали, что теперь делать, ведь не отбивать же почки у этих деревенских развалюх, у которых и без того песок сыплется.

Липовый бородач первый, кашлянув, отодвинулся. За это время никто не произнёс ни слова – ни с той, ни с другой стороны.

– А-а-а,– внезапно закричала Катерина Глебовская и бросилась с вилами наперевес прямо в медленно отходящую кучу чужих гостей: те и сами не заметили, как начали слегка тесниться.

А старуха тыкала и тыкала вилами перед собой, глядя широко открытыми, ничего не выражающими глазами и, не переставая, кричала, как будто уже предсмертно, как это делают лишь женщины в нестерпимую, жуткую минуту.

Тут приезжим действительно стало не по себе. Один из них скрипнул зубами и, стуча кулаком о кулак, со свистом сплюнул в сторону.

А недавний бородач, устрашающе топнув ногой, словно из пистолета, в упор прицелился в людей знатным указательным пальцем.

– Стоять,– заярился он во всю глотку, закатывая круглые глаза,– иначе всех здесь и завалим! – Видно, на испуг хотел напоследок взять взбунтовавшихся невпопад стариков, но не тут-то было.

Не на шутку разгорячённый, с трясущимися руками, Ваня-Лейте больше времени даром не терял. Не раздумывая, он со всего размаха шмякнул колом, как его

душеньке угодно, но получилось мимо. Кол плашмя попал в землю, а сам Ваня, не удержавшись, сунулся следом. Но сразу оказался на ногах и, пригнувшись, как в бою, бросился вперёд.

Кажется, парни уже и взаправду ничего не понимали. Просто им в голову не приходило, что именно сейчас делать. Поэтому, развернувшись, боком, они медленно потянулись к леску; сначала как бы ускоренным шагом, играючи и нехотя, но ничем необъяснимый страх, бодро настраивая на здравые размышления, подгонял их, направляя к близкому спасительному леску.

Впереди держался молчаливый «реставратор» в белоснежном костюме, нынче изрядно запачканном после вынужденного падения на пустой деревенской улице. Он на ходу опять попытался что-то выдернуть из внутреннего кармана, но Витька-офицер, бежавший легко и пружинисто, не подкачал и здесь, не из той породы.

Подпрыгнув, он стремительно достал ногой хребтину «реставратора», и тот, кувырнувшись, вновь оказался на своих двоих и припустил так, что даже обогнал личный состав подчинённых.

– А-а-а! – неотступно выла Катерина Глебовская, стремящаяся вперёд с вилами наизготовку. Не отставали от неё и Лидия с Анютой. Рядом, припадая на ногу, верным оруженосцем продвигался дедко Ваня, а кол он теперь держал совсем, как винтовку, наперевес, из рук не выпустит.

«Реставраторы» толпой, как бы в шутку, добежали до опушки леса, а дальше, негромко матерясь, скрылись от греха подальше в самой чащобе, попав в непроходимый бурелом, над которым грозной тучей вяло колыхались полчища гнуса, в мгновение ока поглотившие беглецов.

Догоняющие остановились. Оказалось, что кроме Витьки-офицера, все подчистую выбились из сил. Анюта Мишкина, которой вовсе было невпродых, только махала рукой, выговаривая: «Ой, Господи-батюшко, ой, спаси-сохрани!..»

А дед Иван, опершись на свой кол, безразлично, с полураскрытыми глазами поглядывал в сторону леска, тяжело дыша, не прежние годы.

Рядом Лидия Аропланиха отваживалась с Катериной Глебовской: что-то ей шептала, заодно потихоньку вытаскивая вилы, которые подружка продолжала держать намертво.

Только Витька-офицер, притопнув каблуком, деловито расчистил землю своим литым военным ботинком, а после отошёл туда, где подшиб главаря, как раз возле пруда, вгладкую покрытого пленчатой зелёной тиной.

Словно ничего и не произошло, он спокойно попинывал кочки, внимательно исследуя место вокруг сражения. Затем, наклонившись, поднял что-то сталисто блеснувшее и с лёгким прищуром повертел в руках, после, не раздумывая, бросил находку в пруд, лишь сбулькало.

А ополченцы, сопровождаемые Ваней, охая и причитая, возвращались обратно к себе домой.

– Пойдём, Витя-батюшко, хоть чаю поставим,– слабым голосом позвала по дороге Катерина Глебовская, и у всех поднялся дух: слава Богу, наконец-то баба заговорила, как все добрые люди.

Возле машины приезжих столбиком стоял конопатый Лидиин Сашка и, отворив рот, изумлённо смотрел на деревенских жителей. Казалось, он на время лишился дара речи при виде того, что произошло на его глазах.

И Витька-офицер необидно и легонько возьми да подщёлкни Сашке под подбородком – как это у него ладно вышло?

Дедко Ваня снова сложил весь сельхозинвентарь возле крыльца, и все поднялись в избу. А пока шли, по дороге решили, что ночью на всякий случай не надо спать, в любое время сюда могли вернуться из леса любители старины.

– Наше дело такое,– степенно молвил Ваня-Лейте,– не привыкать, отдежурим. На том свете вдосталь налёжимся.

Ночь, белея ромашками, стояла тихая и тёплая: затянутый дымкой, бледно-голубой свет бережно окутывал деревню, и она точно парила, недосягаемая, в воздухе, а тишина была такая, что слышно, как всплескивает вода в самой низине деревни в маленьком, блюдечком, озерке, которое можно за несколько минут свободно переплыть туда и обратно.

Все деревенские снова расположились на просторной хозяйской кухне. Катерина Глебовская, включив свет, достала из кухонного, засиженного мухами шкапа зелёную бутылку и молодцевато, экое диво, со стуком водворила посреди стола:

– Ну-ко, Ваня, распечатывай, давай: за тобой в этом деле ровни не водилось!

Но тот всех удивил, отказавшись от дармовой водки: «Не, бабы, сёдни не в то горло полезет».– Да и верно, не стал прикладываться.

А Витька-офицер даже чаю не захотел: чтобы за дорогой пригляд был, к окошку в переднюю комнату собрался. Тут Лидия-то Аропланиха, до чего у бабы язык долгий, возьми и скажи Катерине:

– Откуда у тебя и взялось, девка: гли-ко, ведь чуть городских гуляк совсем не нарушила. Мы и то перепугались.

Катерина Глебовская помолчала, а потом и говорит тихонько:

– А я, бабы, и верно думала, что Якова-то своего спасу, успею.

– Ково? – прихлопнула себе ладошкой лицо Анюта Мишкина.– Господь с тобой, матушка, ведь твой-то хозяин ещё в курском огне сгорел, что ты!

– А вот верьте-нет, бабы,– Катерина, низко повязав, поправила ситцевый, в красную горошину платок, потом виновато улыбнулась всем своим маленьким коричневым личиком.– Будто сама война и приблазнила въяви, и мой Яков, покойная головушка, там один-одиношенёк, а его какие-то незнакомые, все страшные такие, окружают да окружают. Ведь из памяти меня

вышибло, в глазах отемнело, уж не держите обиды-то, сама не рада...

У подружек и отлегло на душе. Лишь Лидия Аропланиха, не удержавшись, подтвердила со вздохом:

– А война, что как не война идёт: горит всё кругом синим огошком, это Господь за грехи наши горемычные наказывает.

Витька-офицер, опустив голову, скоро вышел в переднюю комнату и сел к окну. Никому не ведомо, какие он думы думал этой бессонной летней ночью под заоконный стрекот кузнечиков и тихий шёпот зелёной травы.

Только под его острым кадыком порой сухо щёлкало, да какая-то нетерпимая, идущая изнутри немочь сводила иногда шею, и она мелко, напряжённо и долго подергивалась, туманя глаза и уводя от слуха затихающие разговоры стариков, дружно укладывающихся на ночёвку прямо на большой Катерининой кухне. Ещё его выводила из себя капающая из самоварного крана вода, вбивая в голову раскалённый невидимый гвоздь...

Наверное, и домучили Витьку-офицера эти калёные боли. Он подзабылся то ли долгим, то ли коротким сном, но очнулся вдруг: где-то за околицей ворчливо буркнула машина.

Витька лихорадочно потряс головой и, морщась, глянул на свои наручные со светящимся циферблатом: лечь – не встать, ведь утро! А за окошко-то, наклонившись, сунулся: нет машины городской, как приснилась.

Он мгновенно, по-кошачьи, вспрыгнул на ноги и на цыпочках вынесся из избы, мельком глянув на кухню: там вповалку приткнулись под образами на лавках те, кто ещё накануне едва не лишился последних годков жизни, и спавшие теперь без задних ног, а десятилетний Сашка посвистывал носом на русской печке, подложив под голову кулачок.

Витька-офицер, пригнувшись, неслышно обежал вокруг избы и, выскочив на середину улицы, с ходу всё понял: безрадостные ценители древности, верно, дождавшись, когда в деревне заснут, и явно покусанные

до необходимых вздутостей полчищами гнуса, уже не мечтали о какой-то мести. Они просто спасали – ка́том спровадили свою машину вниз с горушки, а дальше, до дороги, видать, из благоразумных соображений дотолкали её руками, после чего их след и простыл. А что это тогда уркало с той стороны, куда они уехали,– может, всё-таки вернуться решили? У этих отморозков ума хватит, народ известный: без царя в голове, всего видали-перевидали.

И Витька, энергично растирая ладошку о ладошку, привычно стал разогревать руки. Он решил встретить это уркающее подальше от деревни, по дороге к центральной усадьбе, и всё будет как надо.

Но Витька-офицер не добежал какого-то десятка метров до брошенного указателя с названием деревни, чтобы здесь, как полагается, и встретить приезжих, как опять уркнуло, не ослышишься. Может, гром гонит? А что: дальше уже дышать нечем, столько времени с неба палит напропалую.

Но нет, со стороны центральной усадьбы, навстречу ему, коробчато подпрыгивая, бойко бежала, выражаясь по-современному, полицейская машина, поднимая утрешнюю светлую пыль.

Витька-офицер медленно поднял руку. Он стоял посреди дороги, широко расставив ноги в высоких шнурованных ботинках,– крепкий, уверенный, безоглядно надёжный.

– Э, мужик! – высунулась из окна тормознувшей машины рыжеволосая голова водителя.– Дело пытаешь али от дела лытаешь?

Витька не стал объясняться с красноречивым водителем, даже не глянул в его сторону. Поговорил он, да и то вполголоса, с вышедшим на волю капитаном, в чём-то неуловимо напоминающим самого Витьку. Такой же спокойный, крепко сбитый, немногословный.

Тот слушал, покачивая головой, раз даже неверяще хмыкнул, но после они перекурили и за ручку попрощались; полицейская машина, развернувшись, лихо укатила в обратном направлении.

Оставшись один, Витька раздумчиво постукал носком ботинка по сухой, в мелких каменьях земле – напротив, едва не на обочине, вверх тормашками валялся указатель с названием места.

Деревенский заступник, расправив плечи, с удовольствием, до хруста потянулся и, зевая, скорее по привычке, наскоро поставил этот указатель с надписью «ТАЛАНИХА. 0,5 км»,– приткнул с краю дороги на прежнее место. Даже для того же порядка он обтёр ещё своей широченной ладошкой от старой ссохшейся грязи и само название – слово, как известно, издревле, всегда означающее счастье, удачу.

А ведь год уже здесь Витька-офицер бывает, но, казалось бы, впервые и названье это услышал, из головы начисто вылетело. Честно говоря, когда жильё покупал, мало и интересовало, не спрашивал. Брал по знакомству, со слов, верный приятель так и сказал напоследок:

– Первая деревня от дороги,– и, подняв указательный палец, ещё схохотнул тогда от души: – и живи, как у Христа за пазухой!..

А между тем сейчас здесь было и на самом деле начало такого в птичьем посвисте утра, когда человеку невольно кажется – кто бы ещё это видел, – что именно от этих маленьких деревянных домиков с крохотными баньками в густой зелёной траве, да синего озера-блюдечка, овеянных теперь волшебным небесно-золотым светом, и начиналась когда-то сама земная жизнь.

СЛУЧАЙНЫЕ ЭТЮДЫ

РОДИНА

Летним июньским вечером, когда чуткая тишина приглушает все звуки, добреет душа. Ты сидишь на тёплом бревне у Вологды-реки, и после дальней дороги в одиночестве смотришь на горящие в красном закате купола Софии... Мимо тебя, счастливые, проходят Со-

борной горкой парень в белоснежной рубашке и девушка в лёгком, как дыхание ребёнка, платьице.

Сейчас в стороне твоего сенокосного детства также незабываемо дивно, на всю округу, светится родной Ферапонтовский монастырь, а у дальнего речного водопоя вечерне замерли тёмно-фиолетовые кони с былинными гривами... Как давно мне не приходилось быть в своих местах, возле той самой солнечной заводи, где через звенящую кузнечиками тропинку ждёт не дождётся наша одинокая баня, под прокопчённым потолком которой всегда мощно и приятно шумит сухим жаром, а душе становится покойно и отрадно, как в детстве.

Смешное милое детство! Мне никогда уже больше не возвратиться в твою сказку, но память печально и томительно зовёт за собой, и я покорно и радостно отдаюсь ей... Детство моё! Ты помнишься мне одним ослепительным ярким днём, в малиновом мареве которого плывёт наш старый дом. А подле него загорода, где неизменно волнующе пахнет свежей рыбой упругая, как берёста, жёлто-звонкая стружка. В жарком воздухе гудит зноем, золотистые потоки испарений тают в вышине, изменяя горизонт янтарно-волнистыми гибкими линиями. И средь густой травы-муравы ходулисто щеперится на весёлой горушке наша кормилица Красотка и глупо-глупо пялится на меня, босоногого, сквозь первозданную кипень черёмухи...

А в хрустально-лазурном куполе бездонного неба трепыхается крохотный зелёный самолётик – неотвязная мечта безгрешных моих снов: схватить эту странную игрушку, обязательно сунуть её в карман штанов, и чтоб она там, как добрый ручной зверёк, ласково шебуршала, будто делясь своим сокровенным с единственным и верным другом...

Моё травяное бесконечное детство! Во веки веков будешь ты в моём сердце человеческом, потому что великой памятью первой любви, вечной девочки в синем июне, дало мне – милосердно и бескорыстно – удивительные силы жить и помогать другим.

А сегодняшняя благодатная ночь приносит с собой успокаивающую прохладу вперемежку с медвяно-густым, тягучим запахом липы, и опять с такой же необъяснимой силой манит куда-то надмирным светом непостижимая, золотой царской чеканки луна, – светло, как днём. Ты слушаешь тайную жизнь серебристо-узорных прибрежных ив, и отчего-то робко-радостно ждётся появления оттуда ни с кем не сравнимой неземной девушки с загадочными глазами...

Но вот ты уже идёшь улицами своего города, теперь такими тихими и уютными, бережно прикрытыми воздушно-прозрачным покоем, что будто сама душа просто, чуть слышным шёпотом и произносит: «Здравствуйте, родные мои».

ЗЕМЛЯКИ

Я возвращался домой. Добрался до райцентра и, узнав на автостанции, что рейсовый автобус ушёл, а следующий будет не скоро, отправился за город ловить попутку. День был жаркий, в воздухе пари́ло. То и дело с тяжёлым гудом проходили красные КамАЗы, гружённые гравием, проносились легковушки.

Я уже устал голосовать, когда из-за поворота шоссейки показался ярко-синий автобус, украшенный гирляндами цветных шариков. К удивлению, автобус остановился передо мной, словно по чьей-то невидимой команде.

Водитель, молодой парень в шёлковой рубашке с распахнутым воротом, захлопнул за мной дверцу и крикнул, задорно оглянувшись на салон:

– Ну что, свадьба, двинули?

Ему ответили дружным гвалтом. Водитель чему-то засмеялся, маленький автобус набрал скорость и, казалось, полетел по чёрной асфальтовой ленте.

Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт,–

вывел женский звонкий голос. И тотчас в автобусе голосисто подхватили:

На нём защитна гимнастёрка,
Она с ума меня сведёт...

А русоволосая молодайка-запевала вела дальше:

На нём погоны золотые
И яркий орден на груди-и...

– Далеко? – взглянул на меня весёлый водитель.

– В Глебовское,– улыбнулся я.

– По пути, значит! Доставим в сохранности!

Мотор вдруг зачастил, зачихал, и автобус, подрулив к обочине, остановился. Водитель, немного покопавшись в движке, тыльной стороной руки поправил волосы и по-хозяйски объявил:

– Перекур!

Со смехом и разговорами праздничная толпа вылезла наружу и сошла с бровки на луговину. Здесь, после только что прошедшего мелкого дождя, всюду блестели капли, а чуть дальше, возле опушки зеленеющего леса, нежарким светом горел иван-чай; и откуда-то сверху, слева, лучистым колесом весело скатилось солнышко.

В голубом и чистом небе свадебным венцом восхищала радуга. Одной стороной она опускалась за лес, в наши сказочные задумчивые озёра, а другой – туда, где ждала гостей невеста. Среди нежных лент радуги не было только белой, как будто чья-то незримая добрая рука сняла и подарила её невесте...

...А вскоре все уже едут, отчего-то вдруг призадумавшиеся; и в этом неожиданном молчании чей-то негромкий, удивительно-родной голос произносит:

– Господи... как хорошо-то!..

ПОСЛЕ ДОРОГИ

Свободно вплетаясь в мою одинокую послебанную дрёму, вокруг неожиданно сгустился воздух: явственно ощущалось его бережно-бархатистое, невесомое прикосновение, точь-в-точь живое, как само дыхание... С усилием разомкнув глаза, я на миг заставил себя поверить в происходящее как в самый обыкновенный сон, но нет – всё было в яви,– я ещё не заснул. И тогда без страха я вверился тому, что находилось вне описания, именуемого реальностью,– и принятого всюду называться *видением:* воочию диво совершалось... Словно неведомая крылатая сила подхватила меня в мгновение ока,– и я легко, незаметно вознесся, без удивления и испуга увидев себя напоследок – после дальней дороги – на стареньком продавленном диванчике в пустом углу родной деревенской избы.

Далее, незримый и свободный, я просторно поднялся в недоступную высь и, ступая, чуть-чуть перебирая босыми ногами, оказался в куполообразном бездонно-белом строении: на сверкающих нестерпимым блеском стенах, солнечно, во всю благодать встречало лучистое изображение кого-то мне незнакомого, но, в то же время, до щемящей, неземной боли дивно близкого...

Позади распахнуто возвышались высоченные врата, над которыми с всеохватной бездонностью зодиакально мерцало, космически возносясь, величественное расположение небесных светил,– земное предвидение разных времён и народов... А я, оглядевшись в лазурной неподвижности храма, обнаружил, что рядом есть ещё человек,– и тут вдруг моё сердце пискнуло всей своей болью, я моментально осознал, что этот осиянный медовым светом мальчик, был не кто иной, как мой не рождённый сын. До сих пор это было для меня непостижимо и, видно, уже никогда ни взять в толк, как парой анальгиновых таблеток, однажды рекомендованных будущей матери при болях недалёкой поселковой

медичкой, можно одним махом, навсегда разрушить всё лучшее, что только может быть в нашей жизни?..

А теперь, в этом чудодейственном мире, мне даже было дано с невыразимой радостью слышать его, моего прекрасного сына: лицо ангела с подвижным, молодым выражением, мягкий голос, ясная речь, лишь мною ощущаемая; должному в свой срок явиться, ему, моему сыну, были уготованы страдания за прошлое и настоящее, а ещё за то, что предназначалось в будущем, потому как всё, творимое на свете, ведается не нашим умом, а Божьим судом...

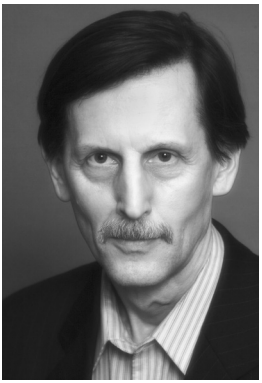
И уже исчез, неведомо растворившись, мой сын, оставив мне чувство великого покоя, ибо ощущался теперь в душе целиком – единой частью меня; но было далее то, что просто заставило вовсе замереть,– стоял я на густом, неподвижном облачке... На таких же, снизу подсвеченных таинственным закатным сиянием, тоже стояли и точно внутрь себя смотрели старцы седые, белые, как лунь, а века, мимо них струившиеся пылинками искрящимися, оказывались бессильными – не в состоянии были вывести их из этого мудрого, непостижимого для человека великотайного созерцания Вселенной...

Но здесь я обратно подумал о доме, и мне было тотчас позволено увидеть себя со стороны на том же старом нескладном топчанчике, и, понимая, что в любое время я смогу быть там, в своём сиротском одиночестве,– снова я предстал в соборном творении неземном, а может, и вовсе не возвращался оттуда, только это уже было мне неведомо. Потому что дальнейшее – не при нас писано: передний стоящий, подняв вдруг тихо свою большую белую голову, с такой молниеносной неприметностью глянул на меня исподлобья, что сразу стало ясней некуда, кто именно определяет всех тех, с кого в означенное время, когда надо будет, обязательно и совсем не в последнюю очередь спросится... Следом, склонясь к фресковой, словно замелованной стене, он коснулся прислонённого посоха, изнутри сиявшего

мощным, приглушённо-золотым светом, и опустил его в стену, разверзнув её: невероятной силы звериный рёв вселенского холода ворвался снизу – от земли – оттуда, где пока ещё мы все были...

«Холодно нынче на земле»,– молвило – отразилось гласом вселенским от неземной высоты Храма. И, осознавая – для чего всё это было, глянул и я вниз... Точно бы собранные воедино на гигантской длани, двигались там люди – мельтешащие, безгласые, туда-сюда снующие без остановки со своими, как будто скрытыми ото всего на свете вечными делами и личными тайнами, и ни за что, никогда не желающие понять единого – главного: не только всё, творимое нашими руками и воображением, а и всякое дыхание земное денно и нощно видится – зрится нетленно из дивного Храма Творца...

МИХАИЛ КАРАЧЁВ



МИРА НЕЖНОГО ТАЙНА ЖИВАЯ

* * *

Я просыпался утром рано
И уходил косить траву
Туда, где росные поляны
Сияли счастьем наяву.

В медовой чаще разнотравья
Цвели безвестные цветы,

Карачёв Михаил Иванович родился в 1953 году в п. Лаптюг Вологодской области. Окончил Вологодский пединститут. Печатался в коллективных поэтических сборниках, литературных журналах. Автор книг стихов «Птицы издалёка», «На окраине дали далёкой», изданных в Москве и Вологде. «Тонкость и даже мягкость словесного рисунка неожиданно сочетаются с энергичной широтой и масштабностью восприятия мира»,– так определил особенность творческого почерка вологодского поэта выдающийся критик и литературовед В.В. Кожинов, первым признавший творческий дар поэта.

Дышала утренняя тайна,
Парили запахи земли.

Разбуженные свистом стали
Моей размашистой косы
Шмели рассерженно взлетали,
Сбивая капельки росы.

Победно солнечные пики
Из перелесков гнали мглу,
Где раздавались гимны птичьи
Навстречу солнечному дню.

Избытком счастья жизнь искрилась
В родной забывчивой глуши.
И божий мир, как божья милость,
Вливался в мир моей души.

* * *

Отпусти меня, жизнь, по течению вверх.
Я забуду всё, я забуду всех.

Отпусти меня домой в утро раннее
На родное крыльцо, в даль туманную.

Отпусти меня домой как мальчика маленького,
Дай заплакать, обнять мою маменьку.

Удержи меня, жизнь, на родном крыльце,
Майским ветром согрей слезу на лице.

Детский сладкий страх накануне дня
Овладеет мной, далеко маня...

* * *

Ветер полуночи,
Шум листвяной,
Дом, осыпаемый листьями.

Все засыпают.
Качаются мысли.
Крыша шуршит.

От шума проснувшись,
Стриженый мальчик
Крадется к окну.

Молчит в темноту.

Маки

В лунный вечер за тихим окном
Осыпаются белые маки.
Словно бабочки гибнут во мраке
И, прощаясь, трепещут крылом.

Мира нежного тайна живая!
Днем, склонившись над шумом травы –
Что поют лепестки, опадая,
У зеленой узнаю молвы.

* * *

Ивовый куст
Зелен и густ
Один посреди двора.
Тихие шелесты
Сохнущих уст
Слушаю до утра.

Ночи осенние
Стали темней
И холодней к утру.
Как-то спокойно подумалось мне:
«Я, как и все, умру».

Северный ветер
Над сонным селом

Скоро погонит птиц.
Утром слышней
За оконным стеклом
Звоны осенних синиц.

В стареньком домике
Топится печь,
И самовар зашумел.
Можно ли этот покой уберечь?!

...Ивовый куст облетел.

* * *

В сером селенье
В осеннем дому
Слушаю долго
Осеннюю тьму.
Мрачным ворчаньем
Пугает округа.
Не дозовёшься
Любимого друга.

Что ж ты, мой милый,
Не спишь, не зеваешь?
Сел у окошка
И смотришь-моргаешь.
Глуше, всё глуше
В округе леса.
Чьи ещё поздние
Ждёшь голоса?

Стая гусей пролетит, прогогочет.
Сердце смолчит.
Но откликнуться хочет!
Мир обнимает
Тоскливая нега.
Жизнь затаилась
До первого снега.

Подражание древним
(зимний мотив)

Грядки мои в огороде заносятся снегом.
Доброе дело свершив, пусть отдыхает земля.
Милых друзей соберу (позову) и до позднего часа
Мирно польется беседа за чаркой вина.

Будут и песни застольные литься легко и спокойно.
Тост возглашая, обнимут сердечно друзья.
Я же, веселый, хмелея все больше и больше,
Вдруг о разлуке стихи прочитаю, скорбя.

За́полночь, поздно расходятся грустные гости.
Двор осветив фонарем, всех провожу до ворот.
Долго под небом стою и смотрю на дорогу,–
Милые мне голоса заглушил поворот...

* * *

В. В. Кожинову

В тёмном автобусе дальней дорогой
Я замечтался о многом, о многом...

Что эта грусть – подпевая мотору,
Душу доверить ночному простору?

Так без конца бы всё ехать и ехать.
Славно мы жили – оставили эхо.

Быль позабудется – пыль понесётся,
Только родимое эхо вернётся.

Эх, разогнаться бы нам, разлететься,
Где-нибудь вынесет, некуда деться!

Ёлки всё сумрачней, темень всё гуще,–
Знать потянулись родимые пущи.

Где-то за лесом, в глухом уголочке,
Дом ли родимый блеснул огонёчком?

Чьи голоса не слыхать за мотором?
Чьи это взоры с печальным укором?
Что это крутится как в лесопилке!

Остановите меня у развилки!

Дайте сойти в неоглядную мглу,
Дайте родимому верить огню.

...В тёмном автобусе дальней дорогой
Я замечтался о многом, о многом.

Что обожгло меня как уголёчком?
Что там блеснуло в ночи огонёчком?

* * *

Это хрупкое время не право,
Как ледок на осенней реке,
Что вмерзает в прибрежные травы
И хрустально звенит в ивняке.

Не удержат усталые травы
На остывшем родном берегу,–
Водяною холодною лавой
Унесёт в ледяную шугу...

Первый снег налетает нежданно
На лесную забытую глушь,
И душа отзывается давним
Ожиданьем безжалостных стуж.

День смеркается. Путник уверенно
Топчет грязь на дороге лесной

И выходит к родимому берегу,
К деревушке за тёмной рекой.

В смоляной леденеющей лодке,
Что по тросу стальному скользит,
Он стоит, опьяневший без водки
И во мглу ледяную глядит.

Над стремниной тягучей, глубокой
Трос качается, лодка скрипит,
И по сердцу скользит одиноко
Одинокость прибрежных ракит.

А в лесной затаённой округе
Над забытым жильём, над рекой
Вырастает слепящая вьюга,
Оглушая высокой тоской.

И забвенья беспамятный холод
На безудержной тёмной волне
Рвёт и треплет слабеющий повод
В ненадежном скрипящем челне.

Отчего же восторженным стоном
Вырывается вздох из груди
И, сливаясь с окрестностью, тонет,
Окликая в кромешной дали!

* * *

Приюти нас, бездонное небо.
Ни покоя в нас нет, ни тоски.
Вечной жизни рассказана небыль.
Вечный хаос нас рвет на куски.

Сердце бьется. И что это значит?
Для чего ему смертный удел?

Торжествует оно или плачет,
Порываясь в незримый предел?

В этом темном тяжелом движеньи
На кругах мирового пути
Только тайна любви и прощенья
Сберегает дыханье в груди.

Только кто эту тайну озвучит,
Чтобы песня по сердцу прошла,
Чтобы песня, что жжет и не мучит,
И сомненья и ужас сожгла!

* * *

И такая сгустилась печаль,
Словно смертный мой час наступил,
И бессмысленный хаос сейчас
Одинокую душу сдавил.

И я слышу мучительный вой –
Он проносится там, надо мной,–
Ветер смерти!
Он воет и рвет,
И уносит в безвольный полет!

И взошла непроглядная мгла
И полмира собой обняла.

Где ты, матушка, родина где?
Всё скрывается в мертвенной мгле.

Что, душа, еще ищешь и ждёшь,
Что ты старые песни поёшь?..

1984 г.

* * *

Прощай, моя воля!
Прощай, моя тайна!
Один ухожу в темноту без названья.

Как мёртвый, иду и не ведаю страха.
Как саван, на мне забелела рубаха.
И певчая птаха умолкла в груди.
И ужас ночной окликает в пути.

И мёртвая жизнь оживает и стонет,
И ветер полуночный гонит и гонит,
И тени текут – не увидишь лица...

И матушка кличет с родного крыльца.

Ода Лаптюгу

Здравствуй, Лаптюг, родной лесопункт,
Ненадёжный хранитель наследства!
Не сберечь тебе родственных пут
Послевоенного детства.

Всё ты отдал родимой стране
Трудового во имя салюта.
Ничего не оставил себе
Кроме бедного в жизни приюта.

Твои дети ушли в города,
Старикам умирать недалече.
И жильё не согреть в холода
Остывающей каменной печи.

Все побиты в округе леса.
Молевого весеннего сплава
Растворилась, как дым в небесах,
Трудовая победная слава.

Сколько выпито в мае вина!
Сколько плясок в кирзовой обутке!
Не забудь же, родная страна,–
Эта жизнь сожжена на распутье!

И в забвении жизни без слёз,
Под ночным полыхающим небом,
Как архангел, гудит лесовоз
И уносится в вечную небыль.

Так сияй же, небесный чертог,
Оглашайся для памятной славы
Русской пляской кирзовых сапог
На забытых просторах державы!

* * *

Зачем я жду сердечной укоризны
Вернувшись в юность, в дальнее село,
Где жизнь прошла, как ожиданье жизни.
Здесь сверстники состарились давно.

Где этот зов живой сердечной воли,
Влекущий в даль, в мерцающий поток!
И почему виденьем чистой боли
Не исчезает матери платок?

Ещё чуть-чуть – сожнётся поколенье,
Спрессуется как бессловесный прах!
Так почему не ужасом, не тленьем,–
Я откликаюсь радостью на страх!

* * *

Не унижай меня неправдой обо мне,
Непониманьем праведным не мучай.
И как понять, что вечное – не случай.
Вот почему и тягостно вдвойне.

О, если б мог на равный разговор
Тебя я вызвать из твоей гордыни,–
Какой бы бездной отозвался хор,
Далёкий и безмолвствующий ныне!

Так мира мёртвого спадает оболочка,
Хотя б на миг, но явственно понять,
Что вновь дана бессмертная отсрочка
Ещё любить, ещё тебя обнять.

Повесть

Плюну я на пустые делишки,
В деревушку лесную уеду.
Буду ягоды брать у медведя,
Буду спать в деревянном домишке.

Среди ночи проснусь от причуды:
Будто в доме запела посуда,
Свет зажёгся, ты вещи бросаешь...
Обними хоть, пока не растаешь.

Ты ко мне добралась на попутке,
К чёрту сбросила грязные туфли,
Дверь тебе отворилась без стука,
Всколыхнув занавески из тюля.

Разрывая круги одиночеств,
Среди чёрной клубящейся ночи
Расстоянье пустое меж нами
Освещаем нагими телами.

Мы уснём, как потухшие свечи.
Пусть над нами сгущается вечность,
Вольный ветер свистит за стеной,–
Сладко спать у любви за спиной.

И покуда в часу предрассветном
Бедный домик раскачивает ветром,
Петухи не играют побудку,–
Мы, беспечные, спим непробудно.

Мы когда-нибудь выйдем из плоти,
Нас отпустит закон тяготенья.
Отыщи меня в мёртвом полёте,–
Я заплачу тебе из забвенья.

* * *

И дом мой пуст.
Сосед скосил траву
И кажется –
Я здесь ещё живу.

Осина шелестит
Под окнами печалью.
Качается цветок,
Не скошенный случайно.

Всё в мире светит так –
Хоть мрак стоит молчальный –
Как этот белый мак
Не скошенный случайно.

Не знаю – кто поёт
Во мраке мирозданья.
Здесь плачет лепесток
Во мраке ожиданья.

* * *

Усни, тревожное сознанье,
Не снитесь тягостные сны.
Все сожаленья, вспоминанья
В ночной туман угнетены.

Разбудит солнечное утро
Восторгом листьев молодых!
Всё, что в душе томилось мутно,
Растает в радостях простых.

Всё возвращается отныне.
Сияет солнце в потолок!
В старинном доме, в мезонине,
Окно выходит на восток.

А за окном поля родные
Ещё полны мерцаньем рос!
И папа с мамой молодые
Идут на дальний сенокос.

И я, веселый и ушастый,
Машинкой стрижен наголо,
Бегу вослед, давясь от счастья,
Пока не скрылись далеко.

И всё сильнее свет слепящий
Несёт навстречу мне волну,
И я, над памятью парящий,
Вдруг понимаю – отстаю.

...И только эхом перекатным
Даль возвращает: мама, мам...
Как выдох жизни безвозвратный
Клубится тающий туман.

Туман сияющий сгорает,
И даль распахнута в поля!
И жизнь моя живая тает,
Живая тает жизнь моя.

* * *

В. И. Белову

Так в детстве – радостной толпой
Спешишь вернуться к дому,
И мгла ночная за спиной
Страшит как тёмный омут.

А ты один отстал в пути,
Друзья ушли далёко.
Всё глуше крики впереди,
И сердцу одиноко.

Спешат испуганно глаза
Догнать беспечный гомон,
Но оборачивает назад
Какой-то властный холод!

И обернувшись к вечной мгле,
Стоишь и ждешь потока,
Что всех уносит на земле
И гонит одиноко!

Возможно ль сердцу устоять,
Не унестись с потоком,
Чтобы дождаться, увидать
Знобящий свет с востока!..

* * *

В покое южной ночи
У моря на краю
Всё глуше, всё жесточе
Себя осознаю.

Один пред мощью звездной
Держу бесслезный взор,
И жизнь, как миг ничтожный,
Летит в ночной простор.

И только тьма морская
Качает звездный прах,
В безбрежности рождая
Вселенский Божий страх.

Лишь он, тоски безвестной
В душе смиряя жар,
Приводит в равновесье
Сознанья бедный дар.

* * *

Не то, что в жизни счастьем слыло,
Что в жизни вешней прорвалось,
Не то для сердца счастьем было,
Душе ночной отозвалось.

Тугою нитью нежной боли
Прочней завяжет свой удел
Тот, кто, взыскуя дальней воли,
Почует времени предел.

Так на ветру, в заглохшем поле,
Ещё не сломленный, высок,
Совсем один в чужой неволе
Ржаной тоскует колосок.

* * *

Это зыбкое время земное
Не удержит меня на земле.
Всё прощается. Тает родное.
Стынут печи в забытом жилье.

Кличут лебеди в небе глубоком,
Снег весенний восторгом объят!
По утрам глухари за болотом
О любви безнадежной скрипят.

Что мне надо? Поленьев беремя,
И остывшую печь растопить.
Ждать, как звезды в полночное время
Будут в потные окна светить.

И ночные душевные силы
Всё обнимут в сияньи ночном.
И засохшие старые ивы
Зашумят за холодным окном.

РОБЕРТ БАЛАКШИН

ГОРОД

I

Города, как и люди, имеют свои дни рождения. У одних они документально зафиксированы в государственных актах, истоки других – в сказаниях и легендах, след которых теряется в тёмной дали веков. А наша родная Вологда ведёт отсчёт своего исторического бытия с сентябрьского дня (19.8./1.9.) 1147 года, когда на берег реки Вологды после многомесячных

Балакшин Роберт Александрович родился в 1944 г. в д. Коротыгино Вологодской области. После школы окончил строительный техникум, служил в Советской Армии, в Латвийской ССР. Работал в управлении культуры Вологодского облисполкома, а также – бетонщиком, каменщиком, дворником. Член Союза писателей России (принят по рекомендациям В.П. Астафьева и В.И. Белова). Автор десятков книг прозы, исторической публицистики, переводов. Лауреат Государственной премии Вологодской области по литературе, лауреат Всероссийского конкурса «О, Русская земля», номинант Патриаршей литературной премии. Живёт в Вологде.

странствий пришёл киево-печерский инок Герасим. Увидев здесь небольшое поселение, он срубил невдалеке от него келью, «прорицая ту быти граду великому, и святей церкви воздвигнутися, и святителем водворитися» (из тропаря преподобному Герасиму).

Конечно, преподобного Герасима привела на вологодские берега непостижимая воля Господня. Если человек не появляется на белый свет без промысла Божия о нём, то, что говорить о городах, которые люди населяют? Вблизи того места, где был погребён первочеловек Адам, основался святой град Иерусалим; на семи холмах в долине Тибра воздвигся владыка мира – имперский Рим, а в центре среднерусской равнины зародилась и расцвела могучим древом дорогая каждому русскому человеку Москва. Так и здесь, в дремучих северных лесах, для высокой и завидной судьбы возник чудо-город с певучим, протяжным именем – Вологда. Многое услышится в этом имени чуткому уху и любящему сердцу: и накатный плавный бег речной волны, и долгий вздох таёжного бора под упругим порывом ветра.

В глухих таёжных чащобах проезжие дороги были редки, наиболее удобным и безопасным путём являлись реки, и стоявшая на реке Вологда была как бы воротами в неизведанные северодвинские края, за которыми лежал Урал с иными народами, обитавшими там, с залежами железной руды и драгоценных камней – самоцветов. Поэтому за право обладания Вологдой шла многолетняя упорная борьба между удачливыми новгородскими ушкуйниками, давно проторившими сюда пути, и молодым Московским княжеством, год от года набиравшим державную силу. С XV века Вологда – удел московских князей, верный и надёжный оплот белокаменной столицы, собиравшей вокруг себя Русь.

Напоминанием о былом родстве с Новгородом служит нам церковь Варлаамия Хутынского, единственная в городе носящая имя новгородского святого. Многие другие храмы (главным образом, приделы в них) поиме-

нованы в честь ростовских и московских святых – Леонтия Ростовского, Сергия Радонежского, митрополита Алексия и др.

В эту пору Вологда видела князя Дмитрия Шемяку, великих князей Василия Тёмного, Ивана III, Василия III. По-разному приходили князья в Вологду: бывало, с добром, а, случалось, и с лихом, и тогда жгли, грабили и разоряли город. Но чаще приезжали на богомолье и по различным государственным нуждам. Город рос, строился. В будние дни слышался стук плотничьих топоров и молотков каменщиков, удары кувалд в кузницах и корабельные команды на реке. А в ярмарочные и воскресные дни торжища и улицы города кипели смехом и песнями, праздничным говором. Бурлила переменчивая, созидательная жизнь. От тех лет до нас не дошло ни одного храма, ни одного жилого дома, только иконы, старинные книги да предметы быта в музее безмолвно повествуют нам о минувшем времени.

Неоднократно наведывался в Вологду и подолгу жил здесь первый русский царь – Иван Васильевич IV Грозный. С его славным именем связана постройка Софийского собора – драгоценнейшей жемчужины Вологды. Ничто в городе не может сравниться с этим белым, как лебединое крыло, собором, одинаково прекрасным в зимнюю стужу и в меланхолично-задумчивый осенний день, в мечтательную белую ночь и в майское лучезарное утро. Находясь в разлуке с отчим домом, вспоминаешь в чужих краях двор, где вырос, семью, друзей, и обязательно – Софию, как утешительный символ вечности города, как залог того, что ты вернёшься в родные места.

В Смутное время Вологду потрясли трагические события. Поляки, воспользовавшись оплошностью воевод, внезапно овладели городом. В пору княжеских междоусобиц тоже бывало разное, жизнь омрачалась бесчинствами и грабежами, и всё же сознание, что перед тобой свои, русские люди, удерживало иной раз гневную руку от крайнего злодейства. Но что могло

остановить иноземных врагов? Со страниц летописей и житий святых до нас доносится ужас происходившего. В те дни был замучен поляками святой старец Галактион, ценой своей жизни спасший внучку от насильников, а позже в трапезной Спасо-Прилуцкого монастыря приняли огненную смерть страдальцы-монахи.

С воцарением на престоле династии Романовых мир и покой снизошли на русскую землю. Вологда окончательно утвердилась в числе наиболее крупных городов державы Российской. Послы европейских государств проезжали через неё и останавливались в ней, иностранные купцы населяли целую слободу в городе (в районе теперешней Фрязиновской улицы). Случались в городе пожары, когда выгорали целые улицы, но город отстраивался заново. В 1655 году Вологду поразило моровое поветрие (эпидемия чумы), и горожане во избавление от несчастья по обету построили Спасообыденную церковь, одну из немногих обыденных церквей на Руси. К сожалению, утратившие родовую память, помрачённые разумом потомки не сберегли её, редкостная святыня была разрушена уже в наши дни.

На рубеже XVII–XVIII столетий неутомимый царь Пётр I, исколесивший, пожалуй, пол-России, пять раз посетил наш город. Хлопот и трудов было не счесть: восстановление и перевооружение армии после Нарвского разгрома, усиление Архангельской крепости, которую пытались захватить шведы, учреждение навигацких школ, открытие типографий.

С основанием Санкт-Петербурга значение Вологды как торгово-хозяйственного центра понизилось, что вовсе не значит, будто жизнь в ней стала унылой, застойной, провинциальной в уничижительном смысле этого слова. Привыкнув измерять жизнь экономическим аршином, мы считаем: чем больше фабрик и заводов в городе, чем выше товарооборот пристани и купеческих контор, тем богаче, интересней и содержательней в нём жизнь. Однако куда выше ценностей, производимых фабричным, заводским трудом, ценности духовные, а

им удобнее созревать и произрастать в тишине. В городе и в XVIII веке строились красивые храмы и дома, писались книги, в гимназии учились дети, многие из которых впоследствии прославили Отечество на ратном поле, на поприще науки и медицины, литературы и искусства. В тишине провинциального города проникновенней творится молитва, чище и естественней чувства, устойчивей быт. В провинции, в несуетной жизни захолустных городков, рядом с деревней, с земледельческим, почвенным трудом созидался наш русский характер, в котором наряду с беспечностью и разгульной открытостью души подспудно присутствует тяжеловатая, патриархальная основательность, та твёрдость и непреклонность верований, убеждений и привычек, которые выручают русского человека в самые трудные моменты его жизни. Отсюда его немногословная, но стойкая любовь к Отечеству, неутомимость в труде и неприхотливость в повседневной жизни, здоровое недоверие к иностранцам, как к людям, неспособным понять нас, и потому упование на свои, народные силы, а не на помощь со стороны.

Когда на нашу землю хлынуло французское нашествие, Вологда была глубоким, прочным тылом действующей армии. В Спасо-Прилуцком монастыре хранились сокровища Московских соборов и Троице-Сергиевой лавры. Величайшие святыни Отечества, доселе находившиеся в отдалении друг от друга, чудесным образом на короткое время собрались вместе. Можно сказать, что в те дни Вологда была духовным средоточием всей России.

За год до своей блаженной кончины Вологду посетил император Александр Благословенный. Почти сто лет коронованные особы не посещали город, и поэтому приезд императора оставил глубокий след в губернской жизни. Царя ждали, Ему были рады, Его встречали и принимали со всей щедрой открытостью гостеприимного сердца. Почётной наградой звучат и поныне слова Государя: «Всё, Мною виденное в Вологде, далеко превзошло Моё ожидание».

В XIX веке в городе было построено большинство каменных гражданских зданий, спланированы бульвары, разбиты парки и скверы, сложилась система улиц и дворов. Заборы, отделявшие один двор от другого, способствовали созданию в каждом из них своеобразного, удивительного для постороннего пришельца мира. Эти миры образовывали вселенную города. Та Вологда с её обликом действительно русского северного города была видна взору во всей полноте милого очарования старины ещё каких-то тридцать лет назад. Как грустно и больно думать, что на наших глазах, никого не спросив, невежды городские правители уничтожили это рукотворное чудо.

В XIX веке в Вологде побывало много исторических лиц. Озабоченный подготовкой великой Крестьянской реформы, в 1858 году в город приезжал Император Александр II Освободитель, позднее великие князья Владимир и Сергей Александровичи, великая княгиня Елизавета Фёдоровна (ныне прославлена в лике святых), государственные деятели К. П. Посьет, К. П. Победоносцев, М. И. Хилков, И. К. Григорович, писатели М. П. Погодин, И. Ф. Анненский, И. А. Бунин...

Но наступило время, и над городом взвихрилась революция, пушечной пальбой на Северном фронте загрохотала гражданская война. Было всё: митинги и революционные песни, красные знамёна и субботники, а по ночам (и не только по ночам) обыски, аресты и расстрелы в ЧК. Нет зла и отмстительной досады в душе, но что-то неизбывчиво тлеет в ней. И, когда шагаешь благодатной пасхальной ночью по спящему, милому городу, вдруг повеет в сердце холодок давней предрасстрельной тоски, и горько шепнёт нежный голос: зачем, зачем всё это было? Зачем убивали их, молодых, сильных красивых офицеров, юнкеров и гимназистов, не меньше нас любивших Россию? О такой ли свободе мечтали в вологодской ссылке Бердяев и Ремизов, вышвырнутые большевиками на чужбину? Гуляя по вологодским улицам, мог ли догадываться Савинков,

чем обернётся для него борьба с самодержавием? Ах, было, всё было, и, не приведи Господь, чтобы повторилось вновь. А ведь немного было нужно, чтобы отвести беду: всего лишь нелицемерно любить и жалеть друг друга, не давать росткам зависти и подлости прорасти в душе злобой, нужно было любить город, его дома и улицы, деревья и цветы, ведь город – частица нашей души – тоже страдает вместе с нами.

Двадцатые и тридцатые годы справедливо называют тяжёлыми годами. Море ненависти, взволнованное революцией, не могло утишиться в одночасье, отсюда подозрительность, доносы, осуждение виновных и страдания невинных. Но было ведь не только это. Были книги и песни, радостный труд и любовь. Люди любили наперекор всему, радовались жизни, мечтали и строили новую жизнь. И, как знать, куда бы повернулась она, если бы не 22 июня 1941 года.

С 1613 года война не подходила так близко к городу, а тут надвинулась на него в вое пропеллеров, в грохоте бомб: вражеские самолёты долетали до самой Вологды. Немецкое командование рассчитывало к зиме 1941 года выйти на линию Архангельск – Сталинград – Астрахань. Что стало бы с нашим городом, осуществись эти планы?

Едва ли красовались бы по-прежнему Софийский собор и Спасо-Прилуцкий монастырь, изысканная Сретенская церковь и величественный храм Николая Угодника во Владычной слободе. Герои, остановившие врага под Москвой, отважные бойцы, отбросившие немцев за Тихвин, защитили Россию, Вологду, тысячи русских городов и деревень. В рядах Красной Армии сражались и сыны вологодской земли. Свыше ста Героев Советского Союза дала Вологодчина Родине.

Отгремели залпы победных салютов 1945 года, демобилизованные воины вернулись домой, страна восставала из бездны горя и страданий.

Пятидесятые годы – годы обновления и надежд, время полётов первых искусственных спутников Земли,

когда в тёмные октябрьские вечера толпы вологжан выходили на улицы, высматривая ползущую среди звёзд по ночному небосводу крошечную, мерцающую искринку. Город начал широко расти, завершилось строительство льнокомбината, приостановленное войной, на железной дороге появились первые тепловозы, а на реке теплоходы, строились заводы «Электротехмаш» и ГПЗ, реконструировался «Северный коммунар». Наступил расцвет деятельности писательской организации и организации собратьев художников. Были написаны новые книги, созданы живописные полотна, театр радовал зрителя интересными постановками. Не забылась, ещё свежа в памяти недавняя борьба против переброски северных вод на юг и, кажется, совсем вчера бушевали первые митинги перестроечной поры.

Вологде более восьми веков. Всё постепенно меняется в городе, и он сам, и люди. Его история ещё ждёт своего летописца, своего Карамзина, который опишет родную Вологду вдумчивым, чутким и вдохновенным пером. Всё меняется, но одно должно оставаться и остаётся неизменным – любовь к тому месту, где ты родился, где жили и погребены твои предки, а через любовь к своему городу сильней возгорится, станет живей и теплей любовь к нашей матери – великой России.

II

На улицах этого города, на просторах его площадей, в загадочной, манящей глубине его переулков, на берегу реки, вот уже шесть десятилетий течёт моя жизнь.

Грудным младенцем родители привезли меня сюда из деревни Коротыгино, где я родился. Отец, работавший в войну директором совхоза, неизлечимо заболел, стал инвалидом и был вынужден перебраться в город. Раннее моё детство, та захватывающая дух эпоха знакомства с жизнью, прошло во Флотском посёлке, окраинном городском уголке, причудливом скоплении сараев, домов и бараков, где проживало романтичное и временами буйное и нетрезвое племя водоплава-

телей-речников: капитанов и штурманов, механиков, кочегаров и матросов, шкиперов, грузчиков, буфетчиц и их детей.

Наш одноэтажный домик, в котором жили ещё четыре семьи, выходил торцом на мощённый булыжником Советский проспект. Лошади на проспекте встречались чаще машин. Зимой по нему тянулись длинные обозы с сеном. Мы бегали цепляться за сани, а возчики сгоняли нас. Один из них, однажды хлестнув кнутом наотмашь, пребольно ожёг меня прямо по лицу. Дома в большой комнате (так принято было её называть, хотя вся наша квартирка была меньше нынешних больших комнат) над комодом в раме висел потемневший от времени портрет Сталина. Долгое время я думал, что это изображён отец. Этот портрет, старинные часы с боем, вместительный резной буфет, первые книги, которые я любил перелистывать, ещё не умея читать, красочные альбомы о военно-морском флоте, посланные дядей из Москвы, мои немудрёные игрушки и многое, многое другое: одежда, посуда, бельё – всё сгорело дотла в пожаре летом 1951 года.

В том деревянном доме я за один вечер с помощью отца выучил азбуку и начал постигать премудрость грамоты. Придя из пароходства, отец вечерами читал мне русские народные сказки, стихи Жуковского и Пушкина, Лермонтова и Некрасова, прозу Гоголя, басни Крылова. Помнится, как я навзрыд плакал при чтении «Тараса Бульбы». Я многого не понимал в повести, но волшебство слов, сила чувства, клокотавшая в них, находила отзыв в нежной и сострадательной детской душе. Видимо, вскоре после этого я вздумал сочинить стихотворение о казаках, едущих по степи. Дальше первой строчки дело не пошло, но та первая попытка творчества отложилась в душе.

Летом мы бегали на реку купаться, залезали, как в пещеры, в щели среди тюков ивовой коры, горой возвышавшихся на берегу, во дворе играли в прятки, в вершки, в лапту, в ножички, сражались на палках,

запускали воздушного змея, а ребята постарше, укрывшись за сарайками, играли в деньги. Битку отливали из свинца или использовали военную медаль с отломанным ушком. Война, окончившаяся всего пять лет назад, напоминала о себе повсюду: книжками в детском саду, военными песнями в застолье, безногими инвалидами, просившими милостыню на улицах...

Уходить от дома далеко не разрешалось, но что поставит преграды мальчишескому любопытству? Украдкой мы покидали двор, совершая вылазки к турундаевскому сельпо, к ветке – пристани, ощущая себя первооткрывателями новых земель. И ведь на самом деле для нас они были новыми, неизведанными.

В палисадничке возле нашего дома были вскопаны две грядки, на которых скорее для моего лакомства, чем для пропитания, сеяли морковку и репу. Тут же отец посадил акацию, она прижилась, украшаясь по весне жёлтыми душистыми цветами.

Теперь ничего этого нет – ни дома, ни акации, ни сараев, ни самого Флотского посёлка. Он застроен большими каменными домами, и ничто уже не напоминает о его былой сказочной жизни. Я почти не прихожу сюда. Если только забреду случайно. Да, рано или поздно посёлок должен был исчезнуть, не ютиться же людям век свой в бараках, но видеть его исчезновение мне печально.

В 1956 году родителям дали квартиру на Содимском переулке. Я был против переезда, но моего согласия не много и спрашивали. А я ещё долго бегал в посёлок к друзьям-приятелям, и сейчас помню их.

В связи с переездом меня определили в другую школу (нынче здесь институт усовершенствования учителей), где я и совершал свои бесчисленные «подвиги», после которых в школьном дневнике появлялось очередное замечание, а дома меня ждали попрёки отца и укоризны матери. Отец с матерью не пороли меня ремнём, не ставили в угол, не дёргали за уши и волосы, они очень любили меня, хотя им приходилось со мной

не сладко. Я был поздним ребёнком и представляю, каково было отцу в 60 лет переносить сумасбродства 14-летнего, одержимого фантазиями подростка, неуёмного говоруна, забиравшегося по водосточной трубе на балкон второго этажа, и с дикими воплями папуаса проносившегося по квартире.

Со школьными проказами и забавами, с ненасытным чтением книг, с влюблённостями в девочек-соседок и одноклассниц, с поездками в пионерлагеря, с посещениями судомодельного и театрального кружков в Доме пионеров, мчалось, подобно весеннему, шалому потоку, отрочество.

В каникулы мы залезали на крышу дома, загорали и рассматривали город, ещё малоэтажный. Там и тут к небу устремлялись кресты церквей и шпили колоколен, разноцветные пространства крыш перемежались зелёными островами деревьев в парках. Спустившись вниз, босые, в сплетённых из бумаги тюбетейках или в панамах, мы пускались в дальние странствия. Пирс на берегу реки, пруд и огромный склад СУХУРПа за Петропавловской церковью, старая мельница на берегу Золотухи, сортировочная горка на железнодорожных путях – всё притягивало своей необычностью, возможностью приключения.

А приключения бывали не только сухопутные.

Прежде на месте Дома мебели и далеко за ним находилась обширная глубокая котловина, по весне заполнявшаяся водой из разливавшегося Шограша. Кто теперь поверит в это? Скажут – басня, сон, а сон этот был явью: перед нашими домами, где тогда жило столько весёлых и задорных парней и девчонок, возникало огромное, широкое озеро. На лодке, построенной Гошей Петровым (вечная ему память!), по протокам Шограша, скользя над покрытыми прозрачной толщей воды зелёными лугами, мы выходили в реку Вологду.

Шограш возвращался в свои берега, а высохшее дно озера раскапывали под огороды. Эта низина была одним из плодородных мест города. Здесь снимали богатейшие

урожаи картошки и моркови, огурцов и лука. Промысел огородничества издавна процветал в Вологде и, когда городские огороды оказались наглухо покрыты асфальтовой корой новых дворов, люди стали объединяться в садоводческие кооперативы, как же русскому человеку жить без земли? Сколько раз росистой августовской ночью, возвращаясь с танцев, я захаживал на этот огород, чтобы перекусить дармовым хрустящим огурцом или сочной морковиной.

Деревянный двухэтажный дом на Содимке жив-здоров до сего дня. Как многое помнит он! Сюда почтальон приносил мне письма от зарубежных друзей (переписка с социалистическими братскими странами, одна из светлых замет того времени), здесь летом 1959 во мне вновь вспыхнул огонёк творчества. Я решил написать фантастический роман о полёте людей на Солнце. Про полёты на Марс, Венеру и даже Юпитер я читал у многих фантастов, а на Солнце – ещё ни у кого. Я писал роман усердно, дня два или три, а может, и целую неделю, люди у меня на Солнце прилетели, а что с ними стало потом, уже и не вспомнишь: разрозненные листки с текстом «романа» затерялись. Повесть о пиратах я принялся писать в общей тетради, поэтому она уцелела. Каким-то образом мне было известно, что настоящие писатели правят рукописи, и сейчас – по прошествии стольких лет! – трогательно видеть тетрадные страницы, исчерканные рукой подростка, с переносами и заменами слов, с пометками на полях о дальнейшем развитии действия. Это была ещё игра, правда, уже похожая на подлинную жизнь. И всё же – игра; писательский труд требует волевого усилия, терпения. Но легко ли усидеть за столом, когда в дверь квартиры ломятся друзья, зовут ехать на велосипедах в Молочное.

Сюда в этот дом зимним метельным вечером я пришёл потрясённый до глубины души. Я с детства любил петь и не пел, пожалуй, только когда спал. Но ни одна песня не шла в сравнение с тем, что я увидел в тот ве-

чер в кино. В тёмной пустоте кинозала меня захватила и понесла могучая стихия музыки. На экране перед моим заворожённым взором разворачивалась горестная, трагическая история любви Германа и Лизы. Несколько дней я не слышал ничего кроме запомнившихся, летучих отрывков из оперы. И без того легко возбудимый, я был настолько взволнован, что не мог спать. Герман, Лиза, Елецкий, страшная графиня живыми стояли передо мной.

Гениальная опера П. И. Чайковского сказала мне, тогда ещё не задумывавшемуся о будущей жизни, о высоте истинного искусства, к которой должен стремиться художник. Необходимо будить в душе наивысшую музыку чувства и мысли, лишь тогда придут, засветятся, зазвучат единственно верные, живые слова.

А ведь и по сей день сочиняется тьма рассказов, повестей, романов из холодных, глухих, так и не оживших в сердце писателя полумёртвых слов.

Иногда мне думается, что, если бы я не увидел «Пиковую даму», я не стал бы писателем.

В нашей жизни переплетены «поэзия и правда». В детстве жизнь является ребёнку в радостном ореоле новизны и познаваемой тайны. В отрочестве, и далее – в юности – порывами остужающего ветра приходит понимание, что бок о бок с поэзией существует суровая правда. Прелесть и драматизм ранней юности в этом зыбко-опасном равновесии: то, что подростку привычно видится детской забавой, простительным баловством, для неопытного, доверчивого юноши может обернуться бедой. Блажен, кто благополучно, без жестоких душевных утрат прошёл по этой грани, вдвойне блажен тот, кто и во взрослой жизни сберёг огоньки поэзии детства.

Всё явственней приближалась взрослая жизнь и ко мне. В 1960 году я поступил в строительный техникум, находившийся тогда на Советском проспекте. Зачем я сделал это – не знаю, должно быть, за компанию с друзьями, ибо к сопромату, статике сооружений у меня не

было ни малейшего влечения. Но поступил и сдал по всем этим предметам экзамены, мучился с курсовыми проектами. Почти ничего не осталось в памяти от тех лет, словно ветер продул её насквозь. Помнятся лица друзей, преподавателей, да осенью поездки в колхоз. На втором курсе нас послали в Нюксенский район, в деревню Красавино, раскинувшуюся на обрывистом, грандиозном берегу Сухоны. Днём мы дёргали лён, копали картошку, возили тары с молоком на маслозавод и таскали в овин мешки с зерном, а после работы, хохоча и толкаясь, «рубились» на поскотине в футбол без правил. Вечером же, отчистив от налипшей грязи сапоги, уставшие, поужинав парным молоком с чёрным хлебом, при свете керосиновой лампы слушали радиопередачи о Робертино Лоретти.

В те годы доживал свой век, основательно покорёженный колхозным устройством, коренной быт русской деревни с его привычкой к труду, грубоватой добротой и молчаливым перенесением тягот и лишений. Мы – горожане – дивились крестьянской жизни, не помня, что наши родители и деды были вчера крестьянами, подсмеивались над ней, а она находила отклик в родственных ей юных душах. Несомненно, во многом благодаря тем поездкам в деревню, десятилетия спустя, я начал вдруг задумываться о себе, как о русском, по капле выдавливая из себя безликое, интернациональное, в массовом порядке прививавшееся всем нам.

Между тем наступила зима 1964 года. Мы сдавали выпускные экзамены, защищали дипломы, а в карманах у нас уже лежали повестки из военкомата.

Армия решительно переменила меня. Вырванный из уютного мирка любивших меня и маявшихся со мною родителей, из весёлого окружения беззаботных, таких же, как я, шалопаев-друзей, я оказался безжалостно брошен в пучину солдатской жизни, с её приказами и командами, бесконечными построениями, с нелепой строевой подготовкой, с громовым пением в строю посреди бела дня, с подъёмами и отбоями, с мучительной тоской по дому...

Оглушённый, ошарашенный всем происходившим вокруг меня, я замкнулся в себе, отгораживаясь от этого непонятного и пока никак не умещавшегося в моём сознании мира. Поневоле исполняя всё требовавшееся от меня, я жил своей, скрытой от всей душевной жизни. Именно в армии я задумался о себе, пристальней и серьёзней вглядываясь в прошедшую жизнь. До сих пор жизнь моя текла ровным, естественным ходом. Из детства вырастало отрочество, его сменила юность. Армия разорвала эту последовательность. Было очевидно, что когда-то и армия останется в прошлом. А что дальше? Вспоминая юность, пьяные похождения на танцы, хулиганские приключения, я трезво увидел, что так можно прошляться и всю жизнь, когда день привычно цепляется за день, год за год, и... неужели я для этого родился на свет?

Разумеется, процесс самовоспитания очень длителен и сложен (разжаловали же меня за что-то из сержантов в рядовые), на этом пути воодушевляющие подъёмы чередуются с унылой последовательностью буден и падениями, но я глубоко благодарен армии за тот сильный, вразумляющий толчок, который она дала мне.

Именно в армии смутное желание писать, творить, стало для меня ясной целью. До армии я никем не хотел быть, жил бездумной, растительной жизнью. В Риге, в полковых казармах на улице Гауяс, в летнем лагере школы сержантов, в окрестностях светлой Валмиеры во мне родился писатель. Я стал вести дневник, записывая в него картины природы, случаи из армейской жизни с диалогами и портретными зарисовками сослуживцев. Я снова вернулся к чтению. В части была замечательная библиотека, и я, фактически заново, читал Толстого и Тургенева, Гоголя и Пушкина, Блока, Фета, а также Лондона, Хемингуэя, Гейне, Гомикаву...

С таким душевным настроем в 1967 году я вернулся в мой город, чтобы не разлучаться с ним больше никогда. Все три года службы он незримо был со мной. Я помнил о нём, мечтал вернуться, в письмах матери и

отца, друзей и подруг я слышал его голос, и знал, что он тоже ждёт меня.

После армии я работал в управлении культуры, трудился бетонщиком на домостроительном комбинате, землекопом, каменщиком-трубокладом, обмуровщиком котлов, дворником, ночным сторожем, был актёром самодеятельного народного ТЮЗа.

В 1969 году мне дали квартиру в старом деревянном доме на улице Калинина, где мы прожили с женой 17 счастливейших лет! В этом доме прошли многие заветные часы и дни моей жизни, и, умирая, я буду вспоминать комнату, из которой был виден храм Андрея Первозванного,– там я написал свой первый рассказ. В том доме выросли и воспитались наши дети, а сколько замечательных людей побывало в моей просторной, с таинственным полусумраком комнате, в которую никогда не заглядывало солнце.

Если что-то действительно любишь, оно никогда не надоест, от него не устанешь, и в благодарность за твою любовь оно воздаст тебе в полной мере. Вологда была и остаётся для меня средоточием мира, и потому я не люблю никуда ездить. Здесь, в Вологде, для меня Святая Земля и Троице-Сергиева лавра, Рим и Веймар, Александрия, куда прибыл в погоне за Помпеем Цезарь, и Париж, где умирает бедная Виолетта. Здесь для меня – поле Фарсала и Бородина, здесь Лиза у окна читает письмо от Германна, здесь Вернер Хольт идёт ранним утром по пляжу с Марией Крюгер, а старец Гёте встречается с подругой юности Шарлоттой Буфф, здесь раненый Алексей Турбин убегает от петлюровцев, а шмелёвский Серёжа слушает рассказы доброго Горкина, здесь Бернар де Мержи убивает на дуэли Коменжа, а каторжник Провис выплывает на середину Темзы...

В детские годы я открывал город как родную, но незнакомую мне страну, теперь я стремлюсь познать его в истории. Приходя в минуты раздумья к Софии или шагая зимой по замерзшей реке, перелистывая старые газеты в областной библиотеке или открывая архивные

дела, я вспоминаю тех людей, которые построили для нас этот город, тех, кто писал здесь книги и картины, создавал научные труды и ставил спектакли, кто пал за нас на полях сражений, кто молился о нас в давние годы и молится нынче, молитвой освящая и укрепляя нашу жизнь.

Я вспоминаю живших со мною и ныне живущих добрых людей, которым я обязан многим. Гёте сказал, что писатель (как, впрочем, и любой человек) существо коллективное, в каждом из нас соединены воли, вложены пожелания, мечты и труды многих людей. Первыми в этом ряду стоят мои любимые родители – Александр Иванович и Мария Ивановна, бабушка Александра Васильевна, наметившая для меня в далёком детстве тропку в Божий храм, братья Олег и Валерий, сестра Лилия, в скудные послевоенные годы, приносившие младшему братишке в гостинец редкую конфету или яблоко. Я с лаской вспоминаю друзей детства, первую учительницу, преподавателей техникума и весёлых парней-сокурсников, полковых офицеров и солдат-однополчан, собратьев-писателей, заботливо опекавших меня и принявших в свой дружеский союз...

Пройдут годы. Как это ни печально, но все мы уйдём. А город останется. Будут стоять храмы и дома, в струящейся реке будут отражаться облака и звёзды, будет бурлить иная, новая жизнь, а над нею, как отлетевшее дыхание, как наши не умершие мечты и думы по-прежнему будут шуметь высокие, вечные тополя.

НОЧНАЯ ПЕСНЯ

Когда я учился в первом классе, мы с компанией ребят-сверстников ходили из Флотского посёлка в школу № 20 на улице Калинина. Директором школы была высокая, красивая и добрая женщина с чёрными впроседь волосами. Говорили, что её жених был лётчиком и погиб на фронте.

В те годы всё вокруг дышало недавней войной, о ней нам рассказывали книжки в детском саду, о ней говорилось на страницах газет, она звучала в песнях по радио, о ней напоминала одежда людей, одетых в шинели и гимнастёрки. Имена Сталина и советских полководцев в радиопередачах, людские разговоры, песни – ничто не давало забыть о ней. Даже воздух ещё был военный – тревожный, сухой, колючий.

Портреты Виктора Талалихина, Александра Матросова, Зои Космодемьянской, героев-молодогвардейцев висели на стене школьного зала, где проходили торжественные линейки и сборы пионерских дружин. Имена юных героев звучали для нас равнозначно с именами русских богатырей из книжки былин.

Утром в школу каждый добирался поодиночке, а после уроков мы шли домой единой, шумливой мальчишеской оравой. Сначала по Советскому проспекту, мимо пристани, Петровского домика до Московской заставы.

На углу Советского проспекта, на первом этаже старого деревянного дома, размещалась какая-то контора, а из подвала круглые сутки доносился грохот и железный шум.

Но не шум мигом привлёк наше внимание к дому. Твёрдую, пропечённую солнцем землю вокруг дома усеивали плоские жестяные с радужным отливом диски. Мы с криками радости бросились во двор, подбирали эти диски, отталкивая друг друга, набивая дисками карманы пальто. А назавтра выкинули эту находку из карманов. Теперь, проходя двором, мы небрежно попинывали их, никуда не пригодившиеся жестяные кружки.

Они не летели, со свистом рассекая воздух, как мечталось нам. Они не катились юрко и проворно по земле. Они были слишком малы и легки для всего этого. Чуть больше медали «За отвагу», они тут же пикировали на землю в коротком полёте или кургузо сваливались набок, прокатившись всего метр-другой. Зачем они валяются тут? Кому они нужны?

Миновала осень, в морозах и метелях землю накрыла зима. Шум из подвала доносился глухо, да мы вообще перестали слышать его.

Весна! Выглянуло тёплое солнце. Запели птицы, из земли полезла трава, расцвеченная золотыми глазками мать-и-мачехи. В подвале дома растворили окно, и грохот опять слышался на полквартала.

Как-то я шёл из школы домой. Настроение у меня было превосходное: скоро каникулы, на уроках я получил пятёрку, отец с матерью похвалят меня.

Подходя к угловому дому, я замедлил шаги, мне стало чрезвычайно любопытно узнать, что же так невыносимо грохочет и гремит в подвале?

На ржавом листе железа я прочитал по складам: «Артель инвалидов «Штамп». Всесоюзное общество слепых».

Я поставил портфель на землю и заглянул в окно.

В сумрачной, с низким потолком большой комнате, конца которой я не разглядел, стояли ряды окрашенных тёмно-зеленой краской, как в те годы красили стены больниц и солдатских казарм, вертикальных станков. За станками сидели люди. Все они показались мне стариками, в чёрных клеенчатых передниках. В подвале скучно светили три или четыре лампочки. Лица у людей были серые, застывшие, как маски.

Сидящий за станком человек производил два простейших движения. Он что-то брал из стопки справа от себя, клал этот предмет перед собой, нажимал ногой на педаль сбоку станка. Тогда и раздавался грохочущий удар. Человек опять брал что-то справа, снова нажимал ногой на педаль. И так без конца. Тут я разглядел, что перед ним лежит не что иное, как наши, ни на что нам не пригодившиеся кружки. Стук-гром, стук-гром. Рука и нога совершают однообразные заученные движения.

Человек, сидевший у окна, неожиданно повернул голову. Как все взрослые, сейчас он крикнет на меня, прогонит прочь. А человек смотрел на меня непонятным, не мигающим, неживым взглядом. Словно он

хотел что-то спросить у меня, но задумался с вопросом. И смотрел не столько на меня, сколько куда-то вверх, за меня. Словно он что-то видит там, не доступное мне.

Оцепенев, я вдруг догадался, что человек этот не видит меня. Он слепой. И все, сидящие в подвале – слепые!

Мне стало страшно, по спине моей побежали холодные мурашки. Я сгрёб в охапку портфель и кинулся бежать.

Весь день заволокло для меня серой занавеской.

Я равнодушно сообщил матери о пятерке, как будто получал их по пять штук на дню, кое-как приготовил уроки, не пошёл играть с ребятами.

Я плохо спал ночью, что-то грезилось мне страшное, чёрное, огненное, кровавое, надо мной всё грохотало и падало. Я просыпался с застывшим на губах криком ужаса, открывал глаза, а в комнате было уютно-тихо, на большой кровати спали отец и мать, мирно тикали старинные настенные часы, а над комодом в утренних сумерках грустно смотрел с портрета Сталин.

Несколько дней я ходил как потерянный. Меня не радовали ни близившиеся каникулы, ни весёлые ручьи, по которым бежали запущенные кораблики – щепки. Зрелище сидящих у станков молчаливых несчастных, словно отменяло праздник ликовавшей вокруг жизни.

Но что же они там делают?

Я долго крепился, не зная, как отнесётся к моему вопросу мать. Объяснит мне происходящее в подвале или скажет, чтоб не совал я свой нос, куда не просят, у ней и так забот не мало. Однако носить эту мутность в душе стало невмочь, и я спросил.

– Не знаю,– сказала мать,– не знаю я ни о каком подвале. Где это?

Я принялся по-мальчишечьи, сумбурно объяснять.

– Да это на углу Советского и Калинина,– встряла тётя Катя, жена однорукого сапожника,– солдаты-инвалиды пробки для пивных бутылок делают. Работа копеешная, а калечатся они... не видят же ни лешева...

Мать махнула рукой, не слушая её. А я ничего не понял: что за пробки, для чего их делают? Тётя Катя трещала, как сорока.

Не раз я потом проходил возле этого дома, в окно заглянуть больше не отважился. Потом я вовсе избрал себе другой маршрут путешествия в школу и обратно. Как-то возвращаясь с друзьями домой, я свернул на позабытую улицу. Окна в подвале забиты досками, в нём было могильно темно и тихо.

Прошло много лет. Так много, что я отслужил в армии. Старшие офицеры в нашем полку все были фронтовиками. Мои детские видения иногда пробуждались в душе. Они были из того рода, что даются человеку на всю жизнь.

Осталась в далёком прошлом и армия, у меня появились внуки, и я вышел на пенсию.

Однажды, в ненастную осеннюю ночь, когда на всём белом свете нет человека несчастнее одинокого солдата, каким-то образом я очутился на улице... Вдобавок к непогоде на землю опустилась страшная холодина. Такая страшная, что холод продирал меня аж до самых кишок. Кто пожалеет солдата? Никто. Родной матушки поблизости нет, а, чтобы командирам жалеть солдат, так такого устава ещё не написано. Хотя я могу ошибаться. Командиры, как и люди, бывают разные.

Я отметил одну особенность этой странной ночи. Никогда я не слышал такого ветра. Он завывал как-то совсем иначе, чем обычный ветер. Его порывы были похожи на человеческие вздохи. В его протяжных дуновениях чуялись интонации живого голоса. Ветер, действительно, дышал как человек.

Тут я и услышал песню. «Какая песня ночью, в спящем городе,– не поверил я.– Может, я сплю? Но нет, вот снова, и опять».

Да, вне сомнения, то была песня. Мне не послышалось. Песня была старая, прежняя, хотя и военная, но её теперь даже 9 мая не поют. И она согрела меня. Не сама песня, слишком она ещё была коротка, а мысль о ней.

– Солнце скрылось за горою,– грустно воспели тенора.

– Затуманились речные перекаты,– согласились голоса чуть погромче. Но тут вступил всеми тремя регистрами хор целиком:

– А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.

Я пристроился слухом к звучащей струечке, и пошёл на голоса, туда, откуда они слышались.

Не только ветер, весь город переменился в эту ночь.

Переходя древним Винтеровским мостом через речку Золотуху, я ступал по дощатой, с ездившими досками мостовой, а не по привычному асфальту. Небоскрёб областной администрации, громоздкий, несуразный, куда-то провалился, словно его и не было. Своё исконное, природное место занимал длинный двухэтажный жилой дом. Над входным его крыльцом, как рыцарский щит, красовался дощатый, метровой величины, парадно раскрашенный орден Боевого Красного знамени. Из-за резных палисадников, о которых после того, как их снесут, сочинят популярную песню, показывали свои тёмные нахохлившиеся крыши ветхие домишки. Над ними поднимал своё хмурое чело домик, в котором в ссылке жил вождь. Ночная ветровая Вологда представала передо мной в облике города, в который в 1945 году вернулись демобилизованные солдаты.

А хор, продолжавший своё дело, пел в компании с ветром:

От жары, от злого зноя
Гимнастёрки на плечах повыгорали.
Своё знамя боевое
От огня солдаты сердцем заслоняли.

Эти гимнастёрки приводили меня в недоумение в детстве. Как они выгорают, я понял только тогда, когда натянул гимнастёрку на свои плечи и за три года досыта находился в ней.

А хор продолжал свое дело. Да так, что я дивился: они же с ветром перебудят весь город.

Песня гремела, катилась по улицам, как река валунов по ущелью, гремела артиллерийской канонадой, но на сонных фасадах домов не зажглось ни одного окошка, не промелькнул ни один огонёк. Песня летела над городом, жила, но её никто не слышал.

Я уже понимал: откуда разносится пение и куда я иду. Я шёл и спорил с собой.

«Там никого не может быть,– убеждал я себя.– Все люди, работавшие в подвале, давно умерли».

А хор, словно набравшись от ветра силы, обычную строевую песню созидал, как гимн:

– Они жизни не щадили,– раскатисто, подобно эху в горах, доказывали суровые басы.

– Защищая отчий край, землю родную,– океанским прибоем на фоне басов вторили им валы баритонов.

Песня вилась, взлетала в заоблачные выси.

Клубы свинцовых облаков, несущиеся по небу, виделись мне бесчисленными, бескрайними батальонами, полками, дивизиями и корпусами, шагавшими из чужих земель. Не раз гостил на этих полях русский штык. И снова, водворив здесь мир и покой, он возвращался на родину – к заждавшимся лугам и лесам, улицам городов, цехам заводов и фабрик, просторным эллингам и металлургическим станам...

Редкие серые промельки стального неба были развёрнутыми боевыми, потемневшими от крови знамёнами. В грозившем захлестнуть всю землю вое ветра я различал слаженную игру тысяч полковых оркестров: гулко бухали тубы и геликоны, взвивались валторны, пронзительно звали в атаку трубы, пели кларнеты, трещали и отбивали ритм походного шага барабаны.

Но ветер и хор пели не об одной славе, не только о победоносной славе неистово стучал в тугие бока большой барабан. В тихих стенаниях ветра, в скорбных вздохах хора чуткий сердечный слух слышал жалобы материнских, вдовьих и сиротских слёз. Слышал он и тоску солдат, оставшихся инвалидами, калеками.

– Одолели, победили

Всех врагов в боях за Родину святую,– смело говорили чистую правду тенора.

Песня вела меня, как поводырь слепого, к знакомому дому.

Тусклый подвал чудесно переменился в белый, сияющий, лучезарный зал, хотя ламп освещения не было видно. По стенам и потолку текли переливчатые, рубиново сверкающие звёзды. На стене распространял во все стороны лучи портрет полководца в полевой солдатской шинели в фуражке со звёздочкой. Мои вчерашние инвалиды переодеты из лохмотьев в новенькие, глаженые гимнастёрки с погонами. Большинство рядовые: пехотинцы, танкисты, артиллеристы, пограничники, лётчики. Скромные награды, почти одни медали. И все солдаты зрячие. Только тут меня пронзило, что я сплю. Я проснулся.

Люди-сновидцы знают о таком явлении, как сон во сне. Тебе снится, что ты спишь. Но это – тоже сон. Ты просыпаешься. Однако просыпаешься во сне, в котором спишь. И, проснувшись, ты продолжаешь в *том* сне по-прежнему спать. Так случилось со мной, я проснулся в том самом сне, в котором спал.

– Здравствуйте,– сказал я, входя в зал, и прибавил с комом в горле: – герои.

– Ты кто? – спросил бригадир.

– Да ведь этот наш мальчик! – одним голосом вскрикнули солдаты.– Наш мальчик!

Они обступили меня со всех сторон, неотрывными любящими взглядами словно гладили меня, даже дотрагивались до меня.

Они говорили все сразу. Уже потом, в яви, я вспомнил обрывки их слов.

– Мы помним тебя, мы ждём тебя уже сколько лет,– говорили солдаты.– Не удивляйся, что видишь нас зрячими, ведь душа не может ослепнуть. Ты один из тысяч прохожих заглянул в подвал и пожалел нас в этом тёмном, душном гробу. У многих из нас, пусть и

вернувшихся с войны, так и не было детей. Мы тебя считаем своим сыном, и твоих детей, и твоих внуков. Вы все родные нам.

– Милый мальчик, мы всё о тебе знаем. Заступись за нас. Мы молодые, сильные превратились в инвалидов, доходяг. Охота ли, когда тело полно силы, сердце жажды жизни, а ум ещё молод и смел, сидеть и, как кукла, подсовывать под штамп эти жестянки. Но это ещё полмуки.

– Поверь, есть мука, какой страшней нет на свете. Заступись за нас. Скажи правду. Не верь тем, кто говорит, что мы воевали зря.

– Мы не верим,– зарыдав, закричал я.

– Ты не веришь, другие поверят. Не угощали нас враги баварским пивом, они пороли нас плетьми в лагерях, ломали рёбра дубинками и ударами кованых сапог, они топтали нас в грязь, выбивали нам зубы, травили собаками. Среди всех ты видишь нас, троих братьев. Ты пел в школе песню «Три танкиста»? Так это про нас. Фаустник ударил по нам, машина загорелась, нас вытащили горящими, врачи спасли нас, мы остались живы, но с выжженными глазами.

Что мы им сделали, гадам-немцам? Мы хотели любить Родину, своих матерей, жён и детей...

Солдаты замолчали и не сказали больше ни слова. Песня звучала всё тише, таяла, прощалась. Не было больше завываний и страшных сотрясений ветра, не маршировали корпуса и дивизии, не шли на боевой приступ гвардейские полки, матросы не кричали железными голосами «Полундра», не слышно было яростного рёва рукопашной схватки, когда люди, не щадя ничего в жизни, режут врагов.

Песня звучала. Но чей-то тихий, таинственный, как в кино, голос за кадром говорил об удивительном сосуде. Не дано его увидеть живому человеку. Внешне он выглядит как драгоценный ярко-пурпурный кристалл. Этот сосуд не сравнить ни с чем. Самая высока гора на земле – бугорок возле него. Однако никакая буря или

гроза не могут оставить на нём и царапины. Вещество, образующее сосуд, тоньше плёнки мыльного пузыря, но крепче самой прочной стали.

Кровь героев, пролитая за Отечество, за други своя, не впиталась в землю, не испарилась в пламени пожаров, когда, как воск, плавились камни, рельсы и танковая броня... Такая кровь собрана и сохранена до капли... Это море русской праведной крови. Не утрачена ни одна капля крови воинов, отдавших жизни за Родину: полегших под пулемётным огнем, бросившихся на амбразуры дотов, сгоревших в танках, утонувших в подводных лодках, и до сих пор покоящихся в них, как в стальных гробах; кровь всех, павших в честном бою.

Но больше всего здесь крови невинных детей, несмышлёных младенцев, порывистых подростков, отважных юношей и девушек.

Это море православной праведной крови бережёт весь людской род от погибели, которую уже давно собирают на свои и чужие головы, осатаневшие от богатства безумцы.

Песня ещё слышалась, но то был не громовой, космический хор. Ветер отступил от заботливо опекавшегося им хора. Теперь это было вполне заурядное пение. Так поют роты на пути в полковую столовую на завтрак, на обед....

– Далека дорога к дому,
  Но солдат пойдёт на край земли, коль надо...

Песня, исчезая, умолкала... Последние слова не столько слышались, сколько угадывались. Слово «солдата» я уже угадал в рифму.

Я проснулся. Спящая родная Вологда лежала передо мной. Крыши её блестели от дождя, ветер всё так же нёс по небосводу батальоны облаков.

Лицо моё было мокро от слёз.

Как часто, только я зажмурю глаза, вспоминается мне тот не видящий взгляд чёрных мёртвых глазниц солдата, который почуял, что кто-то заслонил ему свет. Тот свет, который он с друзьями-однополчанами защитил и отвоевал для нас.

ВАЛЕРКА

Памяти друга детства

Когда мне было лет десять-одиннадцать, сестра моя вместе с мужем жила в деревянном доме в конце улицы Герцена. У сестры родился ребёнок – мой племянник Серёжа, и меня посылали водиться с ним.

Квартира была коммунальная. Двое на кухне. У соседей был сын – Валерка. Мы с ним подружились. Дети быстро находят друзей. Уложив Серёжу спать, мы с Валеркой играли в настольную игру, передвигая разноцветные фишки, путешествовали по Советскому Союзу. Оба мы любили географию.

Конечно, во дворе вместе со всеми мы играли в прятки, в «колдунчика», в испорченный телефон. Зимой бегали на горку на берегу реки, я бывал у Валерки в гостях, пил чай из самовара, и как-то заспорил с его отцом, который в разговоре сказал, что столица США – Нью-Йорк. Я возразил, что столица Вашингтон. Он утверждал своё, я не уступал. Видимо, его вывело из себя, что одиннадцатилетний мальчишка спорит с ним. Он нахмурился, сжал крепкие, тугие кулаки. Мать Валерки прервала спор, не больно шлёпнула меня по плечу и сказала: «Хватит!» Я хотел спорить дальше, но Валерка пнул меня под столом, и я замолчал.

Вскоре сестра моя переехала на новую квартиру, я стал редко видеться с другом.

Как передать моё потрясение, ужас, когда года через два я узнал, что дружка моего, Валерку, убили. Зарезали.

Я поделился ужасной новостью со своим одноклассником. Он равнодушно сказал, что, конечно, жалко Валерку, но что-то подобное можно было ожидать.

Окрестные подростки не любили, боялись Валеркиного отца. Он был участковым милиционером. Недалеко от нас строился жилой кирпичный дом. Ребята вечерами бегали по стройке, озоруя, разбирали свежую

кладку, забрались в подсобку, что-то взяли там. Отец Валерки отвечал за порядок на своём участке. Бил пойманных им ребят, «колол» их. В разговоре клал руку на затылок задержанного и внезапно ударял лицом о стол. Перепуганный мальчишка обливался кровью из расшибленного носа, ревел от боли. Ребята звали Валеркиного отца не иначе, как Ванька-колун.

Я содрогнулся – от этого «можно всё ожидать». Ладно, отец был такой, но Валерка-то при чём? Он никого не «колол» и, вообще, был похож на пионера с плаката: круглощёкий, смешливый, с весёлым неунывающим взглядом, с задорным вихром волос.

Кто сделал это? Мне скажут: звери. Зачем зверей обижать, они так не поступают. Бесы. Бесноватые люди.

Я недавно оказался в тех местах, зашёл во двор, где мы играли детьми. Ряд деревянных домов, когда-то принадлежавших железнодорожному ведомству. Я остановился у того дома, задумался, прихлынули воспоминания, послышались дальние голоса. И почудилось (со старыми людьми это бывает), что выбежит сейчас из-за сараек смеющийся, весь лучезарный Валерка, с воздушным змеем, прижатым к груди.

Нашли его за сарайками. Лежит одиннадцатилетний мальчик, ребёнок, раскинув свои ручонки, голубенькая рубашонка вся пропитана кровью. Мать Валеры рубашку не стирала, так и хранила в комоде. Бурого цвета, только один рукав голубой. Откроет, бывало, комод, посмотрит на рубашку, зарыдает. И снова ящик задвинет. Детей у них больше не было. Когда мать умерла, рубашку сына ей в гроб положили.

Самого отца побоялись убить. Он здоровый мужчина, с крутой бычьей шеей, отвисшими щеками, низким потным лбом, упорным взглядом глаз и увесистыми кулаками. Если на разу не положишь, он драться будет. Решили отмстить на сыне. Его заманили за сарайки. Позвали зачем-то, он доверчиво пошёл.

Кто убил его? Дитя, невинного мальчугана, который не может отвечать за своего отца? Видать, ненависть к

отцу была так сильна и жгуча, что в чьей-то выгоревшей, слепой от ненависти и злобе душе налилось, как опухоль, желание отомстить.

Валерку несколько раз ударили в спину ножом.

Нам, мелюзге, не было дела, чем занимается Валеркин отец, но старшие парни не любили его и не раз говорил о нём со злостью матерными словами.

Убийца Валерки, наверно, жив до сих пор. Как-то встретит его Господь на том свете? А тебе, мой милый дружок, вечная радость и вечная память. Ты озарил мои дни своим смехом, простодушной, сердечной детской улыбкой.

Из глубины лет, разделяющих нас, шлю тебе светлый привет и улыбку. До свидания, дорогой мальчик, так и не ставший юношей, мужчиной. Едва ли ты узнаешь меня, когда и я, но уже седой и старый, приду в твою страну, иде же несть ни печаль, ни воздыхания. Но я узна́ю тебя.

ВАЛЯ БОГАТЫРЁВА

Мы жили тогда в деревянном доме на Содимском переулке.

В подъездах было много детей, парней и девушек, тогда семьи, насчитывавшие четверо-пятеро детей, были не редкость. Страна оживала после окончившейся войны.

Жили в соседних подъездах Гоша и Валя. Недалеко от дома, через дорогу была школа, Гоша и Валя учились в параллельных классах. Гоша был привлекательный паренёк. Рослый, плечистый, с добрым, умным лицом. Волосы курчавились на его висках. Пробивавшиеся усы он подбривал в ниточку, как герои популярных тогда аргентинских фильмов с Лолитой Торрес.

Валя была влюблена в Гошу, но сказать об этом не смела. А он не обращал на неё внимания. Ниже среднего роста, полноватая, с рыжеватыми, тонкими косичками, она не нравилась ему.

Однажды школу радиофицировали, протянули в коридорах провода, по углам развесили репродукторы. Было удобно техничкам, не ходи по коридорам с колокольчиком, возвещая о перемене, а нажми кнопку электрического звонка. И по всем коридорам разносится долгожданная радостная трель.

По радио на переменах школьники младших классов читали не мудрящие стишки А. Барто и С. Маршака, старшеклассники декламировали А. Пушкина, М. Лермонтова. Бывало, что проигрывали пластинки с популярными песнями и фокстротами. Валя надумала признаться Гоше по радио. Уговорила десятиклассника, руководившего радиоузлом, дать ей прочитать стихотворение, прочла и крикнула на всю школу:

– Гоша, я люблю тебя!

Сгорая от стыда, она выскочила в шумный, по которому носились сорванцы из младших классов, коридор. «Может, он не услышал?» – было первой её мыслью. Но Гоша услышал. Это происшествие с неделю было предметом разговоров в школе.

Всё проходит и забывается. Забылась и эта история. Гоша после восьми классов устроился работать монтёром в речной порт, а Валя швеёй-мотористкой.

Потом Гошу взяли в армию. Служил он в городе Цесис, в Латвии.

После службы в армии с ним сделалось несчастье, он стал попивать.

Осенним вечером он шёл домой, встретил на мостках Валю. Моросил дождь, доски мостков блестели.

– Здравствуй, Гоша.

– Здравствуй, Валюша.

Он обнял её и сказал:

– Прости меня, Валечка. Хоть вроде я ни в чём перед тобой не виноват, но прости.

Через неделю Гоша погиб, врезался на мопеде в самосвал.

На похоронах плакала его мать – Зоя Алексеевна и Валя.

Прошло много лет. Дом наш стоит до сих пор, в нем уже несколько раз сменились жильцы.

Старый, милый дом. Сколько он хранит преданий, легенд, историй, сколько он хранит девичьих слез, пролитых в подушку, слов любви, никогда не высказанных, слов горячих, горьких, страстных, которые умерли вместе с сердцами, в которых они родились.

Всякий раз, как я прохожу мимо дома, мне припоминается та школьная история и крик юной, верящей в любовь, в добро, в светлую юность милой девочки...

На танцах в то время часто ставили пластинку с песней. Далеко от КОРА (Дворца культуры железнодорожников) плыло меж душистых кустов сиреней и акаций, кудрявых ветвей яблонь и молодых дубков:

Может, нового и нет в словах моих.
Эта песня, как и тысячи других.
Пусть похожа на другие, у меня она впервые.
У меня она одна.

Эта песня иногда звучит и сейчас. Но мы просто постарели и не слышим её.

Валя, слава Богу, дожила до старости, нянчила внуков, и до последнего дня помнила Гошу и то единственное слово, которое она осмелилась крикнуть в школьный микрофон.

ВИТЯ ХОХЛОВ

Мои детские годы прошли на Содимском переулке. Этот дом стоит до сих пор. Я всякий раз прохожу мимо него с волнением. Душу мою распирает какая-то тоска и сладкая боль, а голову переполняют воспоминания.

Вспоминается столько друзей, мальчишек и девчонок, столько весёлых, смеющихся лиц. Видно, детство – пора света и счастья. Никогда мне не вспоминаются чьи-то грустные, печальные и плачущие лица. Хотя в

детстве и поплакано не мало. Сколько мелких, незначительных детских обид пережито в детстве. Всё же взрослая жизнь намного бедней и скучней (на переживания день лепится за днём, и все похожи друг на друга, а в детстве все дни разные).

Собирались дети из пяти-шести дворов, человек около двадцати. Играли в прятки, в вершки, в испорченный телефон, в веришь-не веришь. Кто-то выпросил у родителей денег, ему купили мяч, и мы часами перекидывали его через сетку. Где сейчас стоит Дом мебели – огороды. Выкопав картошку, ботву оставляли на поле, и когда она подсохнет, мы сгребали её в кучи и поджигали их. Сначала куча ботвы обнималась густым ядовито-жёлтого цвета дымом, в дыму прорезались красные языки огня, и вот всю её охватывало пламя, и к нему поднимался столб дыма. Окружив костёр, мы все вопили от восторга, как первобытные люди. Мы перекапывали гряды, находили несколько пропущенных огородниками картошин. И, перемазавшись в саже, ели непропечённую картошку. Ждать, когда она пропечётся, у нас не было терпения. С годами забылись почти все имена, помнятся только лица.

Как-то к нам приехал новый мальчик. Его звали Витя Хохлов. Раньше он жил на улице Жданова, возле Товарного двора. А со временем мы узнали, что у него была кличка «ребро». Он был так худ, что пролезал в любую щель. Ну, худобой нас было не удивить, мы и сами все были кожа да кости, время-то было послевоенное, полуголодное. Но ловок и увёртлив он был на зависть.

Я убедился в этом скоро, когда по случаю знакомства мы принялись бороться. Он как-то чрезвычайно быстро и проворно крутанулся вокруг меня, подножкой сбил с ног и залез сверху на спину, оседлал меня. До сих пор живо чувство обиды и унижения, когда Витька сидел на мне. Но делать было нечего, пришлось признавать поражение, сдаваться.

Мы необыкновенно быстро сдружились с ним, и разлучались только на ночь, когда надо ложиться спать.

Сдружились так крепко, что мой лучший друг, с которым мы дружили с четвёртого класса, ревновал меня к Витьке.

Расстались мы неожиданно и, как оказалось, навсегда.

Я не раз бывал у Витьки дома, и старался скорей уйти из комнаты, где он жил с матерью и младшим братишкой Лёней. В комнате было грязно, не прибрано и так тяжело пахло старым, запущенным жильём. Мать Вити пила, водила к себе мужиков. Взрослые ребята называли её каким-то худым словом. Что обозначает это слово, я не знал, но Витю и Лёню мне было жалко. Мать Вити часто видели пьяной. Когда она бывала такой, она ругалась на весь двор грязными матерными словами.

Её лишили родительских прав, а Витю с братом отправили в детдом, в Великий Устюг.

Как его увезли в детдом, я не знаю. Просто вдруг его не стало. Нет и день, другой, третий. Я спросил у его мамы. Она сказала, что его увезли. Надолго? Насовсем.

Я свыкся, что Вити нет. Так бы всё и закончилось. Но Витина мама ездила проведать его. И передала мне от него привет. Это необычайно разволновало меня. Я вспомнил его. Витя стоял перед моими глазами, как живой. Я почувствовал, что очень хочу увидеть его. И я решил бежать из дома к нему в Устюг. Не сказав ни слова матери с отцом, после обеда, взяв десять рублей денег, я отправился в путь, даже не представляя, как я доберусь до Устюга (400 километров по реке). Я довольно быстро добрался до Турундаева, последний раз оглянулся на сверкавшую в лучах заходящего солнца Софийскую колокольню. Когда уже начало смеркаться, я дошёл до Лимендского кирпичного завода. Надо устраиваться на ночлег. Я попросился ночевать в какой-то дом. Не помню, что я плёл, объясняя хозяевам, как я оказался здесь, и не пустят ли меня ночевать.

Я заснул как убитый. Проснувшись и позавтракав, я покинул гостеприимный дом и, бредя по берегу, подумал, что дело пойдёт быстрей, если я поплыву на лодке.

Отвязав какую-то плоскодонку, я сел на вёсла.

Так начался мой анабазис. С лёгкой руки греческого историка Ксенофонта так именуется трудный поход. Мой анабазис оказался всего километров двадцать, но запомнился на всю жизнь.

Дело моё пошло не легче, а гораздо трудней. Грести я умел, но одно дело переплыть Вологду, совсем другое преодолевать километр за километром. Я скоро устал. Мне захотелось есть. Но с собой у меня ничего не было. Я пристал к берегу, но нашёл всего лишь несколько ягод ежевики.

И, самое тягостное, река словно вымерла, ни одного парохода, ни одной моторки. Я был один-одинёшенек, наедине с рекой, усталостью и мечтами, как я приплыву в Устюг, и как мне обрадуется Витька.

Сзади послышался шум. Меня догоняла баржа-самоходка, груженная капустой. Я встал в лодке, кричал, умолял бросить мне хотя бы один кочан. Но матросы, стоявшие у лееров, ответили хохотом.

Я грёб и грёб, больше ничего не оставалось делать. Возвращаться назад не имело смысла, я уже прошёл больше половины пути до Устья-Вологодского. Хорошо, что погода была тихая, безветренная, пора тихой золотой осени.

Я работал вёслами целый день. Но вот, наконец, и Устье-Вологодское. Я так устал и проголодался, что в голове была одна мысль, вернуться домой, к родителям. Я купил билет на пароход до Вологды. Денег осталось на буханку чёрного хлеба. На пристани возле бачка с питьевой водой я и оприходовал всю буханку.

Я сидел на нижней палубе, за спиной работала пароходная машина, бревнообразные шатуны, поднимаясь и опускаясь, вращали гребное колесо.

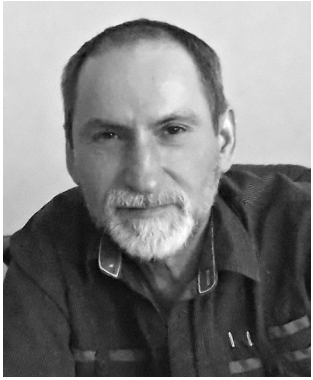
Отец с матерью встретили меня без единого упрёка уже ночью. Так закончился мой анабазис. Родители, когда я не пришёл домой ночевать, встревожились, обратились в милицию. Меня искали на железной дороге, куда обычно устремлялись в мои дни все нормальные

искатели приключений. Никому в голову не могло прийти искать меня на реке.

Витю я так больше и не увидел. Не знаю, как сложилась его жизнь, где он учился, служил ли в армии, была ли у него семья, дети, внуки.

Мне часто снится одинокая, молчаливая река. Я плыву по ней и никак не могу доплыть, куда мне нужно, увидеть того, кого давно мечтаю увидеть. Да и разве есть такая река, по которой можно приплыть в детство?

ВЛАДИСЛАВ КОКОРИН



ДАРУЙ МНЕ СУДЬБУ НАУДАЧУ...

* * *

Вы мне предсказали давно золотую судьбу.
Но так получилось, вы рано ее предсказали.
Успехам моим позавидовать можно едва ли.
Успехи мои улетели, как видно, в трубу.

Сижу пред огнем. Залихватски стреляют поленья.
Веселые угли большой кочергой шевелю.
Угрюмые мысли не борются более с ленью.
В дому опустевшем не плачу теперь, не шумлю.

Кокорин Владислав Николаевич родился в 1955 году в д. Шера Вологодской области. После профессионально-технического училища работал на подшипниковом заводе. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался во многих центральных и региональных изданиях. Автор ряда поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

Приходит иное. С ветрами, над гулкой округой,
Тяжелые птицы летят и летят на жнивье.
А утром они загалдят и поднимутся к югу,
Сиротским для нас оставляя лесное жилье.

Летите себе. Дай вам Бог, окрыленные твари,
Не сбиться с пути, что назначен для вас на века.
Я выйду вослед, и в промозглой предутренней хмари,
Быть может, в крыло и моя превратится рука?

* * *

Бесчинство природы, прекрасно твое проявленье.
Свистящие ветры грохочут над домом моим,
Играючи гнут осененные снегом деревья.
И чудится мне – это мчится Отечества дым

Над силой бесчинства, по ветру, что стонет и плачет,
На русских равнинах вздымая колючую пыль.
О, сила природы, даруй мне судьбу наудачу,
Мы славную сложим о жизни и грозную быль.

Поминальные дни

В поминальные дни привожу в целлофане рассаду
И сажаю цветы. И таскаю от речки песок.
Рассыпаю его, и светлеет квадратик ограды,
Веселей с обелиска родимый глядит образок.

Он вбирает в себя золотую небесную силу,
Чтобы было теплее живым у холодных могил,
Чтоб родная душа только в день похорон голосила,
Но потом от тепла набиралась невидимых сил.

Мы порою приходим сюда и смурны, и помяты,
И родные могилы находим порою не вдруг.
Заплутавши в аллеях, читаем фамилии... даты...
С недоверием смотрим в реестрики чьих-то заслуг.

Но находим родных, и зачем-то опять беспокоим,
Все пытаясь решить окаянный какой-то вопрос.
Словно тайна сокрыта под этой могильной плитою,
И ушедший от нас эту тайну с собою унес.

В поминальные дни, приближаясь немного к разгадке,
Мы на столик железный пшеничное сыплем зерно...
Но слеза, что летит вместе с ним на могильную грядку,
Изымает из нас, то что нам осознать не дано.

Три заклятья

В. Ш.

Ты не шляйся один – говорю тебе первый зарок.
И тебя не ударят в глухом переулке кастетом.
Не поднимут за волосы тяжкую голову к свету,
Не ударят вторично, теперь уже точно в висок.

Ты не шляйся один, ибо дума твоя тяжела.
Ты друзей пожалеешь, и с ними не будешь делиться.
Ты поведаешь думу случайным и взбалмошным лицам,
А они не прощают, пускай и невольного, зла.

Не влюбись без ума – вот второе заклятье мое.
Что мне муки твои? Ты оставь при себе свои муки!
Потому что не вынесет, даже недолгой, разлуки
Та, что все-таки сможет поверить в безумье твое.

А о третьем заклятьи скажу лишь тебе, – и молчок!
Да, я знаю, как только его насекли на скрижалях,
Обвалились опоры, что эти скрижали держали...
За любым из осколков – былая твердыня!
Да, гремят эти камни по отчей земле и поныне.
Но!.. на каждом начертано кровью: «Контроль и учет!»

Тост

А.Ц.

Они хотят войны? – Они ее получат.
Свидетель Бог, я мирный человек.
Но долг и честь и в наш порочный век
К достойным вопиют призывно и могуче.

За веком век – злодейская пора.
Увы, я не открою здесь секрета.
Но каждого из нас, поэта ль, не поэта,
Ждет Высший суд у смертного одра.

Что будем мямлить все мы пред Судом?
Ведь там не увильнуть, не отовраться.
Как ни крутись, придется признаваться,
Что жизнь прожил ты форменным скотом.

За долг и честь! Не надо жалких слов.
Лишь эти два изречь набраться силы –
И не страшна сырая пасть могилы,
И ты опять к сражениям готов.

Бегите прочь, мою заслыша речь.
Пусть вас объемлет ужас и смятенье.
А если нет – то, Божьим провиденьем,
Рази, мой стих, рази их – словно меч!

За долг и честь! – Я повторяю снова,
Чтоб не проклясть прошедшие года.
Вы просите войны? – Так вот вам мое слово:
За долг и честь! К барьеру, господа!

* * *

Они щедры на пепелища
России мрачные лета.
Когда не кровь течет – кровища,
И нет на вороге креста...

Нелегка ты, родная стезя,
Коли пепел летит на шеломы.
Коли кинули грады князья,
И холопы оставили домы.

Куликово ли поле в пыли?
То ли глазыньки застит от горечи?
Коли во поле том полегли
Все Добрыни, Ильи и Поповичи.

Коли вновь нам погибель пророча,
Черный воздух крылами пластая,
Поднимается стая за стаей
Воронье по славянские очи.

И все явственней, явственней помнится,
Время давнее ближе и ближе.
Вот я вижу Мамаеву конницу,
И сермяжное воинство вижу.

Мы идем в поредевших рядах,
Все теснее смыкаясь плечами,
С заклинанием на устах:
Нас не высечь кривыми мечами!

Вологодская прощальная

Покидаем, опять покидаем
Милый сердцу родной уголок.
А когда возвратимся, не знаем,
Жмёт под сердцем и в горле комок.

Жизнь порой на чужбине измучит
Так, что даже душа не своя.
И тогда до слезы до горючей
Вспоминаешь родные края.

Вновь по склону петляет дорога
И назад убегает пыля.
У небесного дремлют порога
Словно сказка льняные поля.

Знает каждый, что сердцу дороже,
И твердим, как молитву творя:
Путь далёк наш и труден, но всё же
Мы вернёмся в родные края.

Никогда навсегда не прощайтесь,
Пусть хранит вас надежда сия.
Но всегда, но всегда возвращайтесь,
Возвращайтесь в родные края.

* * *

Сосед играет на гармони.
Играй, соседушка, играй.
Пускай очнется и застонет
Мой поздний гость и, через край

Горячий чай переливая,
Пусть запоет тебе вослед
О том, какая вековая
У нас печаль. И сотни лет

Над россиянином довлея,
С его рожденья до креста,
Его души не одолеет
И не замкнет его уста.

А с каждым днем в той песне вещей,
Несущей горечи печать,

Она звучит ясней и резче,
И невозможно промолчать.

* * *

Бывать не могу на пустынном погосте.
Гнетет мою душу неведомый страх,
Когда восседают, как званые гости,
Угрюмые птицы на черных крестах.

Когда же огромной, роящейся массой
Взлетают они, опереньем шурша,
И громко кричат,– этот крик их ужасен.
Мне кажется, будто бы чья-то душа

Вот так, словно птица, от бренного тела
Поднявшись, в холодной кромешной ночи,
То бросится вниз, то взлетит ошалело,
То вьется над ним,– и кричит, и кричит...

* * *

Итак, это было на вербной неделе,
Когда голубой нарождается наст.
Любовь повелела, весна ль повелела,
Но что-то заставило встретиться нас.

В прозрачном лесу, в этом ивовом царстве,
Мы слушали зовы подснежной воды.
Кто мог нам сказать о весеннем коварстве?
Кто мог ощутить приближенье беды?

И кто виноват, что искристой капелью
Осыпала нас, покачнувшись, сосна?
Мы этого сами с тобой захотели.
Не говори, что виновна весна.

Не говори, что за долгой разлукой
Забудется этот счастливейший бред.
А, может быть, он будет памяти мукой,
И неизвестно, на сколько там лет.

* * *

Закружила метель устюженская.
Вроде был я не промах и хват,
Но не вынес участия женского
И сбежал от него в снегопад.

Ошалевшая сила вселенская
Раскачала вокруг дерева.
Ах, метель ты, метель устюженская,
Да девчонка, сорви-голова!

Ты откуда, такая красивая?
Чаровница, метельная дочь.
Совладать ли с твоею мне силою,
Пережить ли позорную ночь?

Ты кружила по садику частому,
Повторяла движенья пурги.
Словно птица в погоду ненастную
Все сильнее сжимая круги.

Было жутко от профиля птичьего
И от взмахов заснеженных рук.
Я не вынес страданья девичьего
И шагнул в этот бешеный круг.

Закрутило, забило, завьюжило –
Разгулялась стихия окрест!
Знать, была ты бесценной жемчужиной
Изо всех поднебесных невест.

За тебя мне сражаться, лебедушка,
С этой силой уж было невмочь.
Но смирилась лихая погодушка,
Отдала мне метельную дочь.

* * *

Не зря так убивались соловьи.
Не зря играл в ветвях так шало ветер.
Кричала ты: Лови меня, лови!
Я пропаду, как эти соловьи!
Уйду, растаю, сгину на рассвете...

И волновались волосы, как ветви.
Глаза слепил безумный свет зари.
Дари меня себе, родной, дари!
Пускай закат от зависти сгорит,
А ты люби, люби – не говори,
За нас сегодня соловьи в ответе!

* * *

Я Бога молю, чтобы ты не вернулась.
Уносится поезд. В окне мутноватом
Я видел, я видел, как ты отвернулась.
Я понял, что значил твой взгляд виноватый.

Счастливой дороги. Да сбудется это.
Газуй, машинист! На людское участье
Я честно солгу, как и в прошлое лето,
Что где-то и с кем-то случилось несчастье.

Не знаю... И знать не хочу, не желаю!
Что стал я кому-то досадной докукой.
Но перстень, твой перстень, в ладони сжимаю.
Он был талисманом – он жжет мою руку!

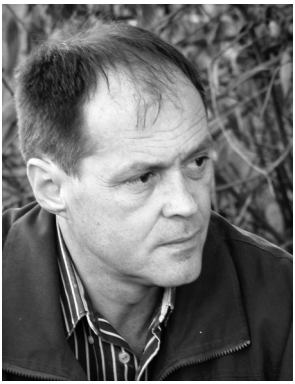
А поезд несется. Гремит, как корыто!
Мелькают узлы, чемоданы и ноги...
И в тамбур последний, свистящий, открытый
Я перстень бросаю... Счастливой дороги!

* * *

Прекрасен белый цвет. Да здравствует зима!
Вокруг так мило все переменилось:
Исчезла грязь, назойливая сырость,
И по ночам не так кромешна тьма.
Зима. Давно желанная зима.

Ложится снег – неспешен, мягок, чист.
Ни ветерка. Душа не шелохнется.
И что-то в ней волшебное проснется.
И промелькнет волнующая мысль,
Что все на свете вечно остается,
И на любовь неистощима жизнь.

АЛЕКСАНДР ЛОМКОВСКИЙ



НОВЫЙ ДЕНЬ

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Небо постепенно светлело. Уже четко вырисовывался контур соседнего дома и огромный тополь, закрывающий почти половину неба. Но ближе к земле всё ещё разливалась чернильная темнота. В деревне, где никаких фонарей нет и в помине, утро проявлялось гораздо медленней и тяжелей, чем в городе. Словно на листе фотобумаги, лежащей в проявителе: вот сначала ничего не было, потом появляется светлое пятно, потом второе... и вот уже угадываются знакомые очертания, чьи-то лица, и начинаешь видеть весь снимок целиком.

Ломковский Александр Вениаминович родился в 1965 г. в Вологде. Публиковался в центральных и региональных изданиях. Автор сборника прозы «Два костра», вышедшего в серии «Вологда. XXI век». Лауреат первого Всероссийского литературного конкурса современной прозы им. В. И. Белова «Всё впереди». Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

Так и с рассветом в деревне: сначала где-то над лесом возникает светлая полоска, начинает шириться, обрисовывая зубчатые, словно обглоданные ветром верхушки елей, потом проявляются дома, и деревья. Впрочем, высоко в небе ещё висит белая совершенно луна, но и она начинает потихоньку таять под несильным осенним ветром.

Сенькин оторвался от окна, прошёл в кухню и включил свет. И вовремя: поставленный минут пятнадцать назад чайник, уже начал выпускать из-под крышки толстые клубы пара, а сама крышка сердито подпрыгивала и позвякивала. Налил в большую чашку, примерно наполовину кипящей воды, затем бросил туда две чайные ложечки растворимого кофе. Поставил чашку на припечек, открыл трубу, вынул заслонку из устья печи и сел на приготовленную с вечера табуретку. Поджёг небольшую бумажку, быстро сунул её ухватом к аккуратно сложенным поленьям в печи. Выключив в кухне свет, опять подсел к печке. Огонь уже жадно облизывал широкие ленты берёсты, лежащие под дровами. Они вспыхнули разом, и огонь тут же обхватил дрова своими сильными голодными ладонями. Сенькин прихлёбывал мелкими глоточками обжигающе-горячий кофе, бездумно глядя на огонь. Выходные заканчивались, и сегодня опять нужно было попадать в город. Но перед выездом из деревни Сенькин заряжался всем, чем мог: дикой, неистовой силой огня; сонным спокойствием неширокой речки Комёлы; волшебством осеннего леса. Это хоть немного позволяло ему прожить неделю или две в городе.

Сегодня он запланировал просто побродить по лесу. Может, даже и грибы какие найдутся. Через полтора часа Сенькин, поёживаясь от знобкого утреннего тумана, уже бодро шагал к лесу по перепаханному на зиму полю. Лес манил его к себе багрово-золотым кружевом листвы всё ещё оставшейся на деревьях. Тут и там, словно часовые, пробивались сквозь яркие краски сентября тёмно-зелёные свечки молодых ёлочек.

Занырнув в хитросплетение кустарника на опушке, Сенькин немедленно уселся на подвернувшийся пенёк и неторопливо потащил из кармана штормовки сигареты и спички. Он сидел, курил, а в голове было легко и пусто – он просто наслаждался покоем и чистейшим свежим воздухом леса. Заметил прямо перед лицом небольшую гроздь рябины. Круглые, кое-где с чёрными точками, ягоды таили в себе терпкую горечь. Светлые капельки росы висели на каждой ягодке и не спешили срываться вниз. Сенькин высунул язык и слизнул одну капельку с ягоды. Капля сразу растворилась на языке, и поэтому он ничего не почувствовал. Тогда аккуратно, одними губами, он потянул на себя самую большую ягоду. Вся гроздь тут же потянулась следом. Наконец, ягодка оторвалась. Гроздь освобождённо стряхнула с себя росу и закачалась вверх-вниз вместе с веткой. Прежде, чем раскусить ягоду, Сенькин недолго покатал её во рту. Потом надкусил и начал медленно выдавливать сок. Ароматная горечь чуть свела скулы.

«Замечательно хорошо!» – подумал он, жуя ягоду.

Между деревьями в тишине холодного утра чуть покачивался знобкий белёсый туман. Мимо Сенькина, по каким-то своим делам, прошуршал по жестяной траве ёж. От нечего делать, Сенькин поднялся и пошёл вслед за зверьком. Ёж неторопливо ковылял по разноцветному ковру павшей листвы, иногда останавливаясь и разгребая листву носом.

«Интересно, чего он ищет?» – спросил сам себя Сенькин. Ему было хорошо идти вслед за ежом, хорошо было нагибаться от низко протянутых веток, чтобы не промокнуть раньше времени, хорошо было рассматривать походя тоненькие сеточки паутины, все седые от выступившей росы. Наконец, ёж занырнул под кучу валежника и больше уже не показывался. Сенькин решил, что это был припозднившийся ёж, который прошлялся всю ночь чёрт-те где и теперь вот попал домой. И сейчас сердитая ежиха что-то ворчливо втолковывает своему любимому. Но, в конце концов, она его всё же простит.

Сенькину хорошо было именно так думать. От этого на душе становилось мягко и спокойно. Прямо над головой пулемётно простучал дятел. Звук оказался на удивление сухим и звонким. Сенькин неожиданно для себя радостно рассмеялся – так благостно было у него на душе. Подождал ещё минут пять новой вспышки дроби. Но так и не дождался – видимо, дятел насторожился от его смеха. От лесной густой и вязкой тишины внезапно зазвенело в ушах. Тогда он помотал головой и пошёл, разрывая клочья тумана, в молодой густой ельник. Там он надеялся найти молодых и крепких, по этому времени года, солодяг. И нарвался на целую семью рыжиков. Они густо покрывали оранжевыми шляпками, с едва заметными тёмными колечками, почти всю хвою вокруг двух-трёх ёлок. Сенькин присел на корточки, достал нож и вдруг невольно залюбовался грибами. Они были слишком красивы и горды и как-то гармонично вписывались в это холодное утро. Но вместе с этим в них чувствовалось и умиротворение оттого, что они, наконец-то, найдены. Незаметно, будто из-за плеча, подкралось ощущение «дежа-вю». Казалось, что он уже сидел однажды вот так вот перед семьёй рыжиков и ждал чего-то хорошего. Наконец рыжики были срезаны и аккуратно уложены в лукошко. Сенькин, не торопясь, побрёл дальше.

Солнце незаметно проснулось и пронзило своими лучами туман. От солнечного света туман на несколько секунд заискрился и, медленно тая, пополз под густые ёлки – наверное, умирать. Сенькин тихо бродил по лесу и чутко прислушивался к его жизни. Иногда раздавались какие-то потрескивания и шорохи, значения которых он не понимал. Но в душе всё ликовало от удавшегося замечательного утра. Ещё он обнаружил пенёк с опятами. Шляпки грибов были маленькими – не больше десятикопеечной монеты – и густо, словно весёлые веснушки, облепили весь пенёк сверху донизу. Настоящие весенние опята, решившие посмотреть осень. Так думалось Сенькину, пока он бережно срезал их шляпки.

Ну, вот и всё. Утро, такое хорошее и приятное утро, заканчивалось. Сенькин вылез на опушку и, прикрывая глаза ладонью от поднявшегося уже светло-красного шара солнца, поглядел на деревню. Все восемь домов подставили солнцу свои шиферные или крытые рубероидом крыши и поразительно напоминали довольных больших животных – пожалуй, слонов. Сенькин снова рассмеялся от такого сравнения и побрёл вспаханным полем к самому неказистому из слонов – своему дому. К новой, начинающейся уже завтра, неделе.

ДОБРОЕ УТРО, ПАССАЖИРЫ!

Утро снова началось неудачно: сначала Сенькин разбил свою любимую синюю чашку со знаком козерога, потом наступил на хвост присевшей не к месту кошке, а под конец, когда совсем уже было собрался на работу, прямо в руках разорвался пакет с мусором. Пока собирал мусор в ведро и выносил его в мусоросборник, прошло минут десять, и в итоге он увидел только широкий зад служебного автобуса, отъезжающего от остановки. Попутный автобус появился только минут через пятнадцать. Народу оказалось, как сельдей в бочке: угрюмые, не выспавшиеся, злые.

Автобус надсадно скрипел сочленениями, чихал, кашлял, а иногда в салоне ощутимо пахло гарью отработанного бензина. Какая-то толстая тётка, пытаясь отвоевать себе побольше жизненного пространства, ощутимо заехала локтём в рёбра. Сенькин смолчал, но на тётку посмотрел так свирепо, что та, открывшая было уже рот, чтобы привычно нахамить в ответ на неизбежную ругань и не услышавшая её, только прикусила язык и отвернулась. И тут же наступила на ногу огромному небритому субъекту в вязаной шапочке, который, по всей видимости, ловил последние остатки сна, прислонившись лбом к вертикальному поручню. Детина взвыл и тут же смачно обматюгал тётку, при-

помнив ей даже её бабушку, которая, как выходило с его слов, была очень нехорошей женщиной. Вокруг опахнуло таким мощным запахом перегара и вчерашнего лука, что молодую девчонку, стоящую рядом, чуть не стошнило. Она вся скривилась, быстро отвернулась и, подняв повыше надушенный шарфик, начала дышать через него.

«Вот же скотина,– подумал Сенькин о детине,– он что, из мусоросборника вчера закусывал, что ли?»

Запах перегара никак не рассеивался, и Сенькин, тоже двинув кого-то плечом, с трудом развернулся в другую сторону. А за спиной раздался визгливый голос тётки, которая начала костерить детину. Детина же порычал ещё немного и опять надолго замолчал. На очередной остановке, спрессованные и прижатые к задним дверям пассажиры, долго не давали их открыть, хотя у кого-то там был выход. Выходившие заверещали на весь салон, заорали на прижатых, и те нехотя, кое-как вжались внутрь салона. Двери открылись. Двое, теряя свои и чужие пуговицы, с трудом вырвались из автобуса, а на их место, как в это ни трудно поверить, умудрились влезть сразу пятеро. Сенькина зажало так, что сделалось трудно дышать: прямо в грудь ему упиралось чьё-то каменное плечо, а в рёбра давили острые грани «дипломата», зажатого под мышкой у хлюпика в плаще. Повернуть голову мешала пышная причёска пожилой дамы. Волосы, впрочем, пахли приятно, хотя, то и дело щекотали ему лицо.

«Вот бы чихнуть сейчас! – с мрачным сарказмом подумал он.– Сколько крику же будет!»

Сразу за дамой, у окна, стояли двое невысоких и тихо о чём-то бубнили. От нечего делать Сенькин прислушался. Чернявый в очках рассказывал товарищу, как этим летом поймал трёхкилограммовую щуку на удочку.

«Во, брешет! – весело изумился Сенькин.– Станет такая матёрая рыбина на червя клевать – ждите! К тому же вмиг леску перехватит...»

А между тем, со слов чернявого выходило, что он может показать даже фотографию, которая у него где-то валяется дома. Его товарищ в вязаной шапочке и с большим носом согласно кивал головой на каждое слово враля. А потом начал рассказывать сам, но настолько тихо и невнятно, что Сенькину пришлось здорово напрячь слух, чтоб хоть что-то уловить.

– А я вот тоже за грибами ходил летом... грибов – море... да вот, доезжаешь до Борзова, а там по вырубкам... да дождь ещё был...

Сенькин, насколько возможно, подвинулся ближе. Звук стал чётче.

– Гляжу – стоит! Ну, этот...

– Лось?

– Нет! Да ну, знаешь ведь,– лихорадочно сочинял на ходу Нос.– Ну... во, медведь! Только не очень большой...– тут же поправился он, подумав, вероятно, что после встречи с большим медведем, он бы сейчас в автобусе не разъезжал.– Такой... ну, не больно взрослый, медведь-то...

– Медвежонок! – авторитетно заключил чернявый.

– Во, точно – медвежонок! – торопливо закивал головой Нос, радуясь внезапно найденному решению.

«Ах, молодец! – откровенно восхитился Сенькин.– Красавец!»

– Ну, стоит. И чего? – продолжал допытываться чернявый.

– А и ничего,– осторожно заключил Нос, так и не сумевший развить тему дальше.– Малину жрал.

Чернявый так и застыл.

– И всё? – спросил он недоверчиво.

– Всё! – спокойно и твёрдо обрубил Нос.

«Умница! – чуть было не заорал Сенькин.– Ну не красавец ли! Так его, так! Попомнишь ты ещё свою щуку трёхкилограммовую!»

– И медведицы рядом не было? – не унимался чернявый, ожидавший, видимо, более крутого продолжения.

– Не было,– виновато улыбнулся Нос.

– Ну, это ты, брат, заливаешь...

Сенькин чуть было не заржал во весь голос – такой обескураженный вид был у чернявого. В это время автобус дёрнулся и затормозил на остановке. Возникший водоворот тел выходивших и входивших пассажиров закрутил в своих мощных объятиях Сенькина и задвинул его чуть ли не на середину салона. Там оказалось попросторнее, хотя давка всё равно ощущалась. На сей раз невольными попутчиками оказались две элегантно одетых женщины бальзаковского возраста – что-то под тридцать. Симпатичные, с сильно загоревшими лицами – и это в начале-то октября! – и трещавшие о своих делах, словно вспугнутые сороки.

– Ну кто бы подумал, что Ольга всё-таки уйдёт к нему...

– Да, а он-то ещё и офицер.

– Да какой он там офицер, хапуга, да и всё! Увидел девчонку симпатичную – и захапал её.

– Но Ольга-то дура. Она, что – не видит к кому идёт? Он мне ещё в той серии не понравился...

«Тьфу ты,– мысленно выругался Сенькин,– и здесь тоже сериалы!»

Он кое-как развернулся к окну. И тут же оказался вжатым в спину одной из любительниц сериалов. По телу покатилось приятное тепло.

«Блин, неудобно как-то,– засмущался он, пытаясь хоть чуть-чуть отодвинуться.– Что ещё и подумает-то?» Он всей спиной ощущал упругость её тела, его плавные изгибы. Кое-как он сумел всё же повернуться. И сразу понял, что повернулся зря: теперь женщины касалась вся его рука, а кисть – страшно даже подумать! – прижалась в аккурат к её упругим ягодицам. Он тут же заворочался, закрутился, как угорь, и почти вдвинул стоящего рядом прыщавого студентика с тубусом между сиденьями. Теперь роли поменялись – плечо любительницы сериалов давило ему в спину, а он мощно, всей грудью прижался сзади к студенту. Тот как-то неуверенно закрутил головой и попытался просочиться дальше между сиденьями.

«Ах, чтоб вас всех! – всерьез огорчился Сенькин.– Из огня, да в полымя!»

Он с великим трудом вытащил откуда-то снизу руку, схватился за поручень сиденья и сильно даванул назад и вбок. Но сделал ещё хуже: теперь плечо женщины упиралось как раз в солнечное сплетение, а её кисть сильно прижалась к его паху.

«Да что же это такое-то?!» – едва не взвыл он, но изменить уже ничего не смог – автобус резко притормозил, вся спрессованная куча народа качнулась вперёд, да так там и осталась, потому что задние освобождённо задвигали плечами, заворохались и цепко хватались за поручни. Женщина, почувствовав рукой сухой жар его тела, тоже засмущалась и попыталась выдернуть руку. Но повернуться не было никакой возможности. Сенькин начал медленно наливаться краской. Женщина тоже. Она искоса бросала на него быстрые, словно мельтешение ласточки, взгляды и совсем невпопад отвечала подружке. Наконец Сенькину ценой неимоверных усилий удалось всё же как-то повернуться. Женщина облегчённо выдохнула, благодарно посмотрела на него и снова над ухом раздалась сорочья трескотня:

– А этот-то, директор, подумай, с мафией связался...

– И не говори. У них, я думаю, депутат там главный...

Сенькин стоял, покачивался в такт движений автобуса и мысленно клял себя на все лады за опоздание на остановку. В служебном автобусе у него было забронировано место рядом со сварщиком Степанычем, интересным и начитанным мужиком. За неблизкую дорогу до комбината Сенькин всё время узнавал от него что-то новенькое. У Степаныча на каждый вопрос существовала своя точка зрения, и к тому же он обладал неплохим талантом рассказчика.

«И вот, вместо рассказов о Стоунхендже или, к примеру, о способах разведения грибов, я слушаю байки о щуках и последние новости сериалов...– даже поёжился Сенькин.– Всё, хватит. Теперь завожу будильник на

десять минут раньше. Пусть на остановке выкурю лишнюю сигарету, зато не будет этого кошмара с городским транспортом...»

Он стоял и смотрел в окно из-за головы здорового, угрюмо посапывающего работяги. В просветах желтеющих тополей на той стороне улицы иногда показывалась река. Ветер торопливо гнал по ней мелкую серую волну.

«Реки как люди... – неожиданно вспомнилась чья-то мудрость.– А почему?..»

Додумать он не успел. Автобус затормозил у речного порта, и добрая четверть пассажиров бодро покинула салон. Уже начиналась производственная зона, и на каждой остановке будет выходить всё больше и больше народу. Сенькин устало плюхнулся на освободившееся место.

«Скоро и моя остановка,– подумал он.– А там ещё минут десять по рельсам – и я на работе. Снова придётся оправдываться перед мастером за опоздание. Но ничего – он мужик нормальный, поймёт. Да ещё расскажу ему про медвежонка и щуку. Очень он такие байки любит».

Неожиданно из-за спин раздался звонкий голос:

– Доброе утро, пассажиры!

«Что за чушь? – мрачно изумился Сенькин.– Кто это там прикалывается?»

– Доброе утро! – раздалось уже ближе.

Он завертел головой, сильно вытягивая шею, чтобы рассмотреть очередного шутника. Раздвинув двух мужиков, перед сиденьем остановилась женщина с кондукторской сумочкой через плечо. Поправила спавшие почти на кончик носа очки и поинтересовалась:

– Кто тут у меня ещё без билета?

«А я-то откуда знаю?!» – едва не вырвалось у Сенькина, но он вовремя-таки прикусил язык – негоже обижать такую хорошую контролёршу, которая желает всем доброго утра.

А она между тем огляделась и посмотрела на Сенькина.

– Доброе утро!

Сенькин во все глаза смотрел на такое чудо.

– Я говорю, доброе утро! – весело повторила она и улыбнулась.

– Ах, да, конечно... Утро доброе... – он ошарашено потянулся за кошельком, не глядя вытянул оттуда первую попавшуюся купюру и протянул ей.

– Сегодня поразительно много народу,– доверительно просветила она Сенькина, одновременно отсчитывая сдачу и отрывая билет.– Всё никак не могла в хвост салона пробиться,– затем пошла протискиваться дальше.– Доброе утро, пассажиры! Кто ещё не обилечен?

Сенькин сидел словно оглушённый. Мял в руках билет и ничего не мог понять. Откуда в их городе могло появиться такое чудо? Привыкший к грубому, порой даже хамскому поведению кондукторов, он никогда не заводил с ними никаких разговоров и старался, побыстрому взяв билет, тут же отвернуться. А тут вдруг такое!

...– она постоянно доброго утра желает. А после смены, когда попадаю на этот же автобус, всем говорит – добрый вечер! – неожиданно послышалось над головой. Вероятно, Сенькин уловил только окончание фразы. Над ним разговаривали два мужика.

– А днем, поди-ка, говорит – добрый день!

– Скорей всего...

Удивлённый таким сервисом Сенькин, чуть было не пропустил свою остановку. Но вовремя подхватился и в последний момент успел вынырнуть на улицу.

«Как же она так-то вот? – удивлялся он всё больше и больше, торопливо шагая по тропинке вдоль рельсов.– Ну, надо же! Скажу мужикам на работе – на смех поднимут! Не поверят же...»

И отошли куда-то на задний план и медвежонок со щукой, и нелепое его барахтанье возле любительниц сериалов, и работа, и даже осень. На душе заметно потеплело, настроение было радостное и приподнятое. И постоянно звучал в его ушах голос совершенно незнакомой очаровательной женщины:

– Доброе утро, пассажиры!..

ИЗ ЖИЗНИ УСТРИЦ

– Ну и обед сегодня завернули... Так-то их через колено...

– И не говори – что покушал, что музыку послушал! Лучше бы сухим пайком выдали.

Сразу же раздалось несколько возмущённых голосов:

– Да, выдадут сухим пайком – жди!

– Они же за эту тушёнку удавятся... Зря, что ли, вчера Валентина, на ночь глядя, с полной сумкой куда-то из общаги урыла? Стопудово – на рынок к «хачикам»: сахар да тушёнку сдавать.

– Это точно...

С высоты двадцать второго этажа Москва мало, чем отличалась от любого, даже пусть небольшого, современного города. Те же коробки домов, серыми квадратиками выступающие из-за надоедливой пелены нескончаемого дождика, та же буйная желтизна листопада, те же люди, спешащие куда-то... Особенно здесь, в Свиблово, где ещё не успели понастроить сорокаэтажных монстров, казалось, что это и не Москва вовсе, а какой-нибудь Тольятти или Череповец. Слева виднелась узкая ленточка Яузы, с не забетонированными пока ещё берегами, какие-то гаражи, строения... А внизу, прямо за забором строящегося дома, кипел и выплёскивал эмоции мини-рынок. Даже сюда изредка доносило гортанные крики продавцов-южан, да забористый матерок подвыпивших грузчиков.

В контейнере у электриков, что находился прямо на перекрытии недавно отлитого этажа, сидели несколько строителей-монолитчиков и дружно ругали сегодняшний обед. Ругать, действительно, было за что. Жиденькую бурду никто, даже приблизительно, не смог бы назвать супом, а к порошковому пюре совсем забыли дать окорочка. Повариха Валентина клялась и божилась, что окорочка по ошибке отвезли на другой объект, но вечером, мол, они их получат вместе с ужином. В общем, у злых и голодных мужиков все разговоры, конечно же, крутились сейчас вокруг еды.

Сварщик Коля, поудобней устроившись на лавке, закурил и, ни к кому конкретно не обращаясь, сказал:

Вчера Фёдоровна в общаге Валеру Маслова пьяным заловила.

Ну? – удивились все.– Расскажи.

Да он по лестнице спускался – видимо, на работу в ночь...

– Точно – датенький вчера пришёл,– обрадовался Стопгайда, пожилой хохол, звеньевой монтажников.– Сам видел. Я ему ещё говорю...

Но что там говорил Стопгайда Маслову, никого не интересовало. Да и говорил он пьяным всегда одно и то же: «Шо, хлопче,– пьян? Смотри, пьяных Москва любить. Развернулся на сто восемьдесят оборотов и пшёл вон. За забором таких-то много...». Гораздо интереснее мужикам было послушать, как Наталья Фёдоровна – замещающая в данное время приболевшего коменданта общежития Геннадьича – относится к фактам выпивки. Поэтому электрик Саня бесцеремонно перебил Стопгайду:

– Да погоди ты орать – дай человека послушать. Чего там, Колёк, с Масловым-то?

– Ну, вот,– спускается он со второго этажа, а Фёдоровна ему на встречу. Попринюхалась, да и тормознула его. Спрашивает: «Пьяный?»

– Да пьяный он был. Отвечаю...– завёлся опять Стопгайда.

– Ну, можешь ты помолчать, балаболка? – напустились на него мужики.– Сейчас, вот, из контейнера вышвырнем. Дай дорассказывать-то. Давай, Коль...

Коля, как будто ничего и не произошло, продолжал:

– Спрашивает – пьяный, мол? А тот стоит, за перила уцепился, чтоб не шатало, значит, да так серьёзно и заявляет – я, говорит, не пьяный. Я – голодный...

Громовой хохот прервал рассказ.

А-ха-ха!

Ой, мамочки, не могу! Голодный...

Ох, от голода бедолагу шатает. Молодец Маслов!

После такой эмоциональной разрядки все теперь потянулись за сигаретами.

Покурить, так хоть в пузе урчать меньше станет.

Саня хитро прищурился и запанибратски хлопнул Стопгайду по плечу.

– Да у тебя, Гайда, вечно в брюхе урчит. Удивляюсь – как это ещё штаны сзади не порвались?

Все снова засмеялись, причём Стопгайда ржал даже громче остальных.

– А ему жена заплату туда посадила,– смеясь, выдавил рыжий штукатур Андрюха, которого все звали Баксом.

– Куда заплату? – серьёзно спросил Колёк.– На штаны или на задницу?

Стены контейнера снова содрогнулись от хохота.

– И на задницу, и на передницу! – веселясь, воскликнул Бакс.– Чтоб, значит, не блудил нигде на Москве.

– Ну, правильно. А то, как тот плотник кинешемский стройку с Тверской попутает...

Все уже позабыли о плохом обеде и курили, незлобиво подтрунивая друг над другом. Но тут, практичный, как и все хохлы, Стопгайда, снова умудрился подпортить настроение.

Интересно, а окорочка за ужином выдадут?

– Вот неугомонный-то,– Колёк даже сплюнул.– Я не врублюсь чего-то – ты голодный или пьяный?

Мужиков снова согнуло от смеха.

– Да за такую ржачку,– сказал Саня, утирая слёзы,– я тебе, Гайда ты такая, свой окорочок отдам. Не жалко!

– Ловлю на слове! – тут же откликнулся тот.

– Да и мой тоже забирай,– вклинился в разговор Бакс.

– Точно отдашь? – недоверчиво спросил Стопгайда.

– Ну, ты же знаешь – моё слово твёрже бакса. Но только, чтоб все три штуки слопал.

– У нас не заржавеет! – довольно скалился хохол.– Что мне те окорочка? Ни на задний зуб! Я и не такое,

к примеру, едал. Вот ты, что ты ел необычного? – обратился он к Баксу.

– Я? – призадумался Бакс.– Что я ел? Хм... – и осторожно, словно боясь спугнуть давно позабытый вкус, ответил: – Ана-нас...

– Ну, ещё бы сказал – морковь! Да я эти ананасы с каждой получки покупаю. Эка невидаль! А ты? – тут Стопгайда протянул свой палец по направлению к Сане.

– Так сразу-то и не сообразишь,– Саня взъерошил короткий ёжик волос, зачем-то полез рукой в карман, достал оттуда какую-то гайку и начал подбрасывать её на ладони.– Я, разве что, пил... Когда был в Югославии – ещё до распада. Там мне местные пиво с мёдом наливали. Дерьмо вообще-то. Не понравилось.

– Да, можно представить. А ты, Колёк?

Колёк усиленно потирал лоб и морщил брови. Как видно, ничего в голову ему не приходило.

– Бритвочку могу разжевать,– наконец сказал он.

– Ой, да на моих глазах корешок слопал половину гранёного стакана – да и то ничего,– взял реванш за ананас Бакс.– А с чего ты разговор-то такой затеял? – обратился он к Стопгайде.– Сам-то, чего? Хвост, что ли, сожрал от кометы?

Стопгайда блаженно зажмурился, словно котяра на солнцепёке, облизнулся и выговорил по слогам: – Устри-цы...

– Устрицы. Вишь ты, чего... – задумался Колёк.– Не едал.

– Да уж,– позавидовал Бакс.– Сильная тема!

– Буржуйская хавка,– подытожил Саня.– И где же ты их употреблял – в Лозанне или Марселе?

– Вот ещё,– отозвался Гайда.– У нас в Донецке, в ресторане.

– Однако,– протянул Колёк.– На чего хоть похожи-то? С клешнями которые или те, что лап до фига?

– Понимал бы чего,– даже обиделся Стопгайда.– Устрицы – это, как... ну, в общем, как перловицы наши. Ну, раковины, какие в речках по дну шастают, только

побольше чутка. Вот, на тарелку её вываливаешь, берёшь лимон, режешь его и сок давишь. Потом этим же соком ляпаешь ту устрицу. А она, подлая, как сок на неё попадает, пищит и лезет под тарелку. А ты её вилочкой такой специальной ловишь...

– Чего?! – вытаращил глаза Саня.– Пищит и лезет под тарелку?!

Казалось, что от смеха контейнер развалится на части. Иногда смех затихал, но стоило мужикам взглянуть на обиженную физиономию Стопгайды, как новые взрывы хохота сотрясали воздух. Привлечённый смехом к контейнеру подошёл бригадир Зелёный.

– Вы чего это? – спросил он, открывая двери.– Обед десять минут назад кончился. Работать, орлы! И, кстати,– обронил он,– тут окорочка заныканные привезли. Перерыв часика через два устроим и попьём чай. И окорочка заодно...

– Обещали отдать! – тут же подскочил Стопгайда к Сане и Баксу.

– Да ешь, ешь, приятель! Это тебе заместо устриц. Колёк и вилочку тебе специальную сварит, чтобы из тарелки их вылавливать,– засмеялся Саня.

А Бакс тут же добавил:

– Ты их компотиком польёшь, они закудахчут и начнут в разные стороны разбегаться. Тогда не зевай...

– Да пошли вы,– пробурчал Стопгайда и, поправив монтажный пояс, поспешил на сборку щитов.

НАВСЕГДА

За окном были ночь и дождь. Они казались вечными. Это так естественно: ночь не может существовать без дождя. И дождь отдельно от ночи просто невозможен.

Так думалось. И так было...

Ночь и дождь слились воедино. Между собой и со всем окружающим миром. И безраздельно властвовали в душе человека. Они проникли в душу гибкими

большими удавами и теперь угнездились там, казалось, навечно. И не было этому конца: ни дождю, ни ночи. А человек, разбуженный ими, сидел перед настольной лампой. Стоило эту лампу выключить, как мир, лишённый электрического света, тут же становился огромным и пугающе грозным. И полностью растворял в своём необъятном предназначении человека с его маленьким мирком. С его «я». С его минивселенной. Свет лампы же отбрасывал в небытие все страхи и утверждал победу маленького мирка человека над большим всеобъемлющим миром. Он успокаивал и выхватывал из ночи ставшие уже давно привычными предметы: старенький телевизор, полку с книгами, стол с милыми сердцу мелочами, угол разобранного дивана. И одиночество. Хоть в это и трудно было поверить, но свет лампы выпутывал из складок темноты одиночество. Днём это было не так заметно. Зато ночью просто бросалось в глаза. Бросалось вопиюще. Чашка с дымящимся чаем и двумя ниточками чайных пакетиков, свисающих по краям; тяжёлая глыба молчащего допотопного прибалтийского телефона, который уже давно стал антиквариатом; какие-то необязательные бумаги и конверты на углу столешницы; и, конечно же, пепельница, полная окурков. Пепельницей человеку служил старинный, девятнадцатого века печной изразец, найденный им при рытье котлована в Марьиной роще. На нём имелся даже штамп одного из московских заводиков с точным указанием года выпуска: 1883.

Человек посмотрел на пепельницу, и его неудержимо потянуло закурить. Что он и сделал. Дым извивался под светом причудливыми змейками и воскрешал давно, казалось бы, забытые события. Когда-то он не был одинок. У него тоже была семья. Всё, как полагается: супруга, дочка и смешная такса по имени Кубрик, делающая от радости лужу в прихожей, когда он возвращался из долгих московских командировок. Так получалось, что пёс первым чувствовал возвращение хозяина и с добрых полчаса терпеливо поджидал его

возле входных дверей. И первым же бросался ему навстречу, едва человек появлялся на пороге. Собачонок скулил, лаял, сучил лапами, махал хвостом, смотрел преданными глазами и от радости мочился прямо у ног хозяина. Хотя в другое время он себе таких вольностей не позволял. За Кубриком обычно вбегала в прихожую дочка. В розовой пижамке, со спутанными после сна волосёнками.

– Папа... Папа с вахты приехал! А чего ты мне привёз?

Затем степенно выходила из спальни супруга. Тогда ещё – жена. Это сейчас человек даже в мыслях именовал свою бывшую половину супругой. Только так. Назвать её женой просто не поворачивался язык. Ему мнилось, что слово жена несёт в себе что-то интимное, волнующее, сердечное. Тогда как супруга – нечто официозное, строгое и холодное. Так ему думалось. Хотя было ли правильным – он не знал. Да, по правде говоря, и не очень-то хотел размышлять над этим. Для него было важным одно: всё это уже в прошлом. Человек старался поменьше вспоминать о прежней жизни. Иначе приходила боль. И начинала мякать и комкать сердце. И долго потом ещё напоминала о себе резкими кратковременными уколами. Он знал, что супруга счастлива с новым мужем, и его это вполне устраивало. Главным же было то, что «новый» хорошо относился к дочке. Она сама ему рассказывала об этом, когда иногда забегала в гости по дороге из школы.

Дождь успокаивал. Человек вышел на застеклённый балкон и начал бездумно смотреть на дождь. Изредка где-то вдалеке глухо взрыкивал гром, и небо полосовали ниточки молний. И, казалось, что теперь уже навсегда ночь и дождь поселились в человеке. Навсегда... Человек попытался успокоить себя тем, что завтра утром снова будет сиять солнце и заливать мир своими лучами. Но успокоение не приходило. Ночь и дождь безраздельно властвовали в душе. Навсегда...

ЛЮБИМЫЙ ГРИБ

Ветер из-за Угорного леса тянул ровно и сильно. И казалось, что нет у него на пути таких преград, которые могли бы помешать его безудержному полёту. Он глухо свистел в проводах высоковольтной линии, и давил всей грудью на ажурные опоры, под одной из которых и присел отдохнуть Венька Шлыков. Венька только что выбрался из осинника с полной корзиной маленьких, не больше детского кулачка, кубарей. Шлыков очень любил кубари. Запах этих грибов сводил его с ума, уносил чёрт-те куда, в какие-то непонятные дебри каких-то непонятных лесов.

«Что есть гриб? – рассуждал сам себе Венька.– Растение. Паразит на теле земли – это ещё в школе проходили. Сам не может себе пищу добывать, как, к примеру, дерево. Обязательно, зараза, с кем-то вместе произрастает. Симбиоз – по-научному. Как блоха, которая не может жить без собаки. А с другой стороны взглянуть – вкусный... а и вкусный же, зараза!»

Венька полез в карман фуфайки за куревом. Добыл небрежно вскрытую пачку «Беломора» – других папирос или сигарет не курил принципиально – выудил немного смятую, чуть сплющенную с боков папиросину и начал разминать её твёрдыми заскорузлыми пальцами. Привычно дунув в мундштук папиросы, прикурил. Спрятал спички в карман и снова отдался думам.

Венька Шлыков любил подумать. Все свои пятьдесят четыре года, сколько себя помнит, бился, словно дятел головой об ёлку, над простыми, казалось бы, понятиями. В свободное время мог часами смотреть на какую-нибудь былинку, или бабочку, или реку и неторопливо рассуждать сам с собой. Докапываться до сути вещей. Увидит, например, ягоду костяники, сорвёт, всмотрится внимательно в кроваво-красную до прозрачности глубину этой бусинки со смутно вырисовывающимися внутри косточками, и понесёт его. Что есть ягода? Плод. Вырастает на потребу зверью и людям. Откуда берёт-

ся? Из цветка. Так вот и сейчас: самый первый из всей деревни поднялся и ушёл по грибы. Набрал корзину кубарей и с чувством выполненного долга начал ломать голову над очередной «тайной» природы.

«Как растёт гриб? По-разному. Опёнок – он на пеньке больше любит, белый, он же боровик – на опушке или в бору, под ёлками. Красноголовик в березняке или осиннике вырастает. Недаром у него второе имя – подосиновик. Да и у многих грибов не по одному, скажи, имени. Жёлтый груздь – он же подольховатик. Кубарь везде зовут валуём. А к Северу ближе уже бычок, бык. Свояк Витька из Архангельской области приезжал, дак он кубари упорно именовал бычками. А другого названия и не знает. Кстати... звал, звал свояк в гости-то. Хоть раз, говорит, приезжай. Природой хвалился. А и у нас природа не хуже. Нисколь не хуже. Правда, это лето дождливое выдалось, но это наоборот даже – для грибов очень полезно. А вот в Крыму грибов нет. Как там только люди живут?..»

Венька однажды съездил в Крым по путёвке. Но не дотянул и до половины срока – как оказалось, если нет рядом леса, то и жить-то незачем. И ещё там в санатории столько людей было разом, что Венька и в жизни не видал такого скопища. Плюнул на путёвку, обменял билеты и укатил домой. Тут же по приезде подался на старую заимку и трое суток наслаждался тишиной и покоем. Собирал грибы, вспугивая чуткую лесную тишину сухим отрывистым кашлем (и ездил-то Венька «на юга» лёгкие как раз подлечить), смотрел и не мог насмотреться на застенчивые молоденькие берёзки, купающие свои листвяные подолы в тихих осенних росах, топил на заимке печку... Одним словом – был Венька счастлив. И понял он тогда одну простую истину: нигде человеку так не бывает хорошо, как дома. Свояк Витька с сестрой жены Ангелиной каждым годом то в Сочи ездят, то в Ялту. Живут там какими-то «дикарями», купаются в море. И ведь свояк целый год ломает хребтину на своём комбинате, чтоб потом за один только

месяц проткнуть все денежки. Называет это активным отдыхом. А у Веньки разве отдых не активный? Встать в пять утра да и убежать по холодку в лес. Так наактивничаешься... То-то же. И предложи кто сейчас ему забесплатно на юг – ни в жизнь не согласится. Посмеётся только. А лесов вокруг деревни много. И каждый неповторим, каждый отличается только своим чем-то, как и люди. И в каждом свои грибы, особые, только данному лесу присущие. Веньке не нужно спрашивать у знакомых, где они набрали свои корзинки. Взглянет раз в пестерь – и достаточно. В Угорном лесу лисички бледно-жёлтые, а шляпки солодяг зелёные. Рыжики на высокой тонкой ножке. В Солдатском – белые грибы кряжистые, приземистые, волнушки отдают в синеву, а опята только с пятнышками. Шнякинский лес тоже имеет свои особенности: лисички там мясистые, чуть ли не ярко-оранжевые, подосиновики почему-то с белыми шляпками, а маслята имеют такой цвет, что не сразу и заметишь на хвойной подстилке. Вот только кубари везде одинаковые – как по вкусу, так и по цвету. Ну, и ещё, конечно, в каждом лесу живут свои поганки и мухоморы. Но их всё равно никто не собирает, а то и по поганкам Венька мог бы сказать в каком лесу побывали односельчане...

Ветер продолжал мощно давить на всё в этом мире. Провода гудели под его напором, и дым Венькиной папиросы тут же улетал и растворялся в воздухе. Но Веньке было тепло в фуфайке и старой меховой шапке. Он окидывал взглядом сжатое голое поле, посреди которого сидел под опорой, и продолжал думать.

«Каждый гриб, скажи, имеет свою особенность. Белый хорош в жаренине и в сушке. Подосиновик то же самое. Из лисичек получается потрясающий суп. Нет лучшего гриба для маринования, чем маслёнок. Грузди, рыжики, солодяги, волнухи и гладыши – это губина. Их очень хорошо засаливать на зиму. И лучше, конечно, каждый сорт по отдельности. Но бывают года, когда грибов мало и тогда приходится всё валить в общую

кучу. Засаливать грибы лучше всего с листом княжицы и хрена – тогда они остаются твёрдыми и хрустящими, особенно молоденькие рыжики. Губина хороша и с картошкой и в пирогах, которые так ловко печёт жена Наталья...»

Вспомнив по ходу своих рассуждений о Наталье, Венька улыбнулся. Хорошая, хорошая, всё же, у него жена! На других мужиков посмотришь – дак ведь постоянно с жёнами собачатся. А он на Наталью не то что руки не поднял, а и голоса ни разу за тридцать лет совместной жизни не повысил. И поэтому всё у них в семье ровно и спокойно. Детей хороших вырастили, они уж отдельными семьями живут. Что Мишка, что Нинка – оба в колхозе остались. Не притянул их к себе город. По нынешним временам – это большая редкость.

Тут ветер взыграл этаким чёртом, выкинул какое-то немыслимое коленце и сумел-таки забраться за воротник Венькиной фуфайки. Венька поёжился и прижался поплотней к широкой опоре. Взгляд его снова соскользнул на кубари, доверху наполнившие корзину.

«Возьмём, к примеру, кубарь... – привычно и плавно полилась мысль.– Сказать, что это мой любимый гриб – значит, не сказать ничего. Кубарь нужно прочувствовать. И, конечно же, правильно приготовить. Кубарь, скажи, даёт свой вкус только по отдельности от других грибов и обязательно, чтоб отварён был в трёх водах. Вот тогда это – кубарь. От одного запаха голова закружиться может. А уж на вкус – так вообще не имеет себе равных. Разве только опёнок и может с ним поспорить...»

Тут Венька вспомнил сначала вкус кубаря, потом вкус опёнка. Посмаковал воспоминания и вынужден был признать, что и опёнок отварной тоже не хуже. У него более нежный вкус и совсем другой запах.

«Значит, и опёнок – тоже любимый гриб? – спросил сам у себя Венька.– Получается, что – тоже. И что, всё-таки, вкуснее? Опёнок – гриб чистенький. Собирать его приятно. Растёт на пеньках. Подойдёшь, бывает, к пню

или какой валежине – тут он, шельма, и сидит. Весёлый такой, как веснушки на детской рожице. Облепит весь пенёк сверху донизу – только собирать успевай. Отваришь его дома и сразу есть можешь. А с кубарём ещё помучиться надо. Шляпка сопливенькая, с кожурой его не съешь, приходится чистить. Руки склизкие, нож постоянно выскальзывает, и пока ещё всю корзину перечистишь... Но трудов таких стоит. Тем вкусней получается, когда намучаешься с ним. Значит, кубарь лучше. Так и запишем».

В это время Венька уловил краем глаза спешащую через поле одинокую фигурку с большой корзиной на согнутой руке. Фигурка целеустремлённо, чуть пригибаясь навстречу ветру, направлялась к лесу, откуда недавно выбрался он сам. Что-то показалось в фигурке знакомое. Перестав думать о грибах, Венька пытался издалека опознать односельчанина. Но пока это плохо получалось. Только когда человек приблизился на достаточно близкое расстояние, Венька признал в нём сына Мишку. Увидев сидящего у опоры отца, Мишка нисколько не удивился: знал, что он встаёт раньше всех в деревне.

– В Угорный ходил? – издалека ещё прокричал он.– Как кубари?

– Все кубари уже со мной! – довольно ответил Венька.– А ты, Михаил Вениаминович, спишь долго. Али в армии не научили рано вставать?

– Дак уж сколько с той армии годов-то прошло... Набрал-то много?

Венька не без удовольствия кивнул на стоящую чуть в стороне корзину, доверху наполненную кубарями.

– Молодец! – не удержался и похвалил отца Мишка. И тут же взгляд его стал чуть растерянным.– Где выбрал такую прорву?

– Я по двум осинникам прошёлся.

Сын облегчённо перевёл дух.

– Дак на Угоры и в березник не захаживал?

Венька отрицательно покачал головой.

– Вот и ладно! – обрадовался Мишка.– Значит, тамотка наберу. Людей-то много в лесу?

– Нет ишшо никого. А ты беги, беги – а то червяки, оне до грибов охочие, раньше тебя доберутся!

– И впрямь! – улыбнулся Мишка и заспешил по полю, но его догнал окрик отца:

– Мишка! А тебе чего больше по вкусу: кубари или опята?

Не оборачиваясь, Мишка прокричал в ответ:

– Я, батя, больше белые люблю! Дак уж отросли они!

Мишка давно скрылся в лесу, а Венька всё ещё сидел на пригретом месте.

«Ишь ты, хлюст! – не без удовольствия вспоминал он последние Мишкины слова.– Белые он больше любит... Я, наверное, белые тоже больше люблю. Когда одни белые-то нажаришь с лучком, да на молочке с коровьим маслицем – за уши ведь не оттянешь от такой жарёхи!»

Венька так явственно представил скворчащую сковородку с белыми грибами, что невольно зажмурился. Тут же вспомнился нежный вкус жаренины. Он торопливо закурил, сглотнул голодную слюну и, подхватив корзину, заспешил к деревне.

«Белый гриб – хорош! – думал он на ходу.– Он, скажи, так уж хорош, что, пожалуй, я его всех больше люблю...»

НОВЫЙ ДЕНЬ

Солнце никак не могло выйти из-за леса. Казалось, что оно цепляется круглым своим телом за колючие верхушки ёлок, и те не выпускают его в небо. Кромки тяжёлых мохнатых туч над горизонтом были чуть подсвечены снизу багровыми лучами всходящего светила и оттого казались какими-то нереальными и даже слегка жутковатыми. В них так и ощущалась многопудовая

ливневая тяжесть, готовая хлынуть на землю. А на земле хозяйничал ветер. Он налетал мягкими обволакивающими порывами, трепал зелёную одежонку двух берёзок, росших рядом с тракторной дорогой, и валился в ржаное поле, перекатываясь по нему сухо шелестящей тревожной волной. Потом подбирался поближе к месту моего отдыха, по-хозяйски залезал под штормовку и покрывал кожу мелкими мурашами.

Я, зябко ёжась, передёргивал плечами, счастливо при этом улыбаясь неизвестно чему. Хотя, вероятно, улыбка имела под собой вполне объяснимые причины: я просто улыбался от того, что мне было хорошо. Мне было просто замечательно в этот предрассветный тихий час. Бывают такие моменты в жизни, когда всё, что происходит в природе, особо дорого и неповторимо. Дождь?.. Что ж, помню такой момент, когда надоедливый липкий осенний дождик, идущий, казалось, бесконечно, лёг на душу неповторимым бальзамом... Тогда я, видимо, был влюблён. Снег, метель?.. Жара?.. Неважно. Необходимо просто попасть в унисон с природой. Как вот и сейчас. Вроде, ветер... холодно, неуютно, мрачно. А душа поёт! Того и гляди, в пляс пустится! А почему? А просто оттого, что встал сегодня в три утра, и что-то неудержимо потянуло из избы в поле. И вот я здесь: сижу, курю, любуюсь восходом.

Середина июля – макушка лета. А вот не жарко и ветер холодный. Уже четвёртый день стоит такая непогодь, и непонятно – когда же снова станет тепло. Хотя, судя по газете, сегодня последний день этого затянувшегося «не пойми чего». С утра обычно затевается мелкий колючий дождь, к обеду изморось прекращается, но зато ветер нагоняет тучи и не пускает на землю солнце. Даст Бог, только к вечеру проклюнутся один-два лучика – и всё. Сегодня туч гораздо меньше. И ветер, вроде, сменился на юго-восточный. Там за полем небо почти чистое. А над лесом всё ещё тучи.

В перелеске, тянущемся вдоль набитой тракторной дороги, тяжело затрещали сороки. Разорались, будто

чего-то делят меж собой. Через некоторое время из перелеска на дорогу выскочил полосатый серый кот и припустил к деревне. Вот, оказывается, причина сорочьего беспокойства. Видимо, решил полосатый проверить птичьи гнёзда, да и получил достойный отпор. Как ещё шерсти на боках не лишился!..

На душе становится всё более умиротворённо. Ветер продолжает гнать по полю волны, заставляя колосья сухо перешёптываться между собой. Где-то вдалеке урчит трактор – у людей сенокос. И вот появляется, наконец, солнце. Тяжёлый, малиново рдеющий огненный шар. Кажется, что сегодня солнце раздвигает своим горбом кисель туч и сжигает их, тучи, своим появлением. Вот уже тёмно-синее до этого момента брюхо одной из них загорается победным все очищающим огнём. Кажется, что туча начинает съёживаться и худеть от этого огня. По крайней мере, мне хочется так думать. То же самое происходит и со всеми остальными тучами над лесом. Приятно, что новый день начинается с победы солнца. Я поднимаюсь и медленно иду в деревню. Мне хорошо.

АЛЕКСАНДР ПОШЕХОНОВ

Я С ВЕКАМИ ВЕДУ РАЗГОВОР...

Небо

В себе печаль копить не стану,
Ведь радость где-то впереди.
Как встарь – не поздно и не рано –
Пошли осенние дожди.

Тиха окольная дорога,
Исчез машинок перегуд.
Крикливо, ревностно и строго
Вороны пожни стерегут.

Пошехонов Александр Алексеевич родился в 1956 году в д. Доронино Череповецкого района Вологодской области. В настоящее время живет в г. Череповце. Член Союза писателей России. Автор ряда поэтических изданий. Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного великого князя Александра Невского в номинации «За верность поэтическому образу России». Стихи А. Пошехонова вошли в трехтомную антологию русского лиризма 20-го века (2000 год. Москва, «Студия»).

В печи трещат полешки – к стуже.
Истлел короткий век зарниц.
Денёк – короче, речка – уже,
И только небо – без границ.

И только небо необъятно:
Не дотянуться, не познать.
И даже туч слепые пятна
Его не в силах запятнать.

В нём всё: лучи надежд и буря,
И горний мир, и томный свет,
И благородный воск лазури,
И на любой вопрос ответ.

И в печке шевеля клюкою
Мерцающие угольки,
На миг подумаю с тоскою:
Как мы от неба далеки!..

Ближе к вечеру

Ближе к вечеру снегом укроет равнину,
И как будто воздушнее станут дома.
Под дровами в печи с треском вспыхнет лучина
И огнём возвестит: «Наступила зима!..»

Наступила зима. Словно строчка на белом,
Мой единственный след – от колодца к жилью:
Мой единственный след... И душа оробело
Поглядит на него и на долю мою.

Неужели один я во всём околотке –
Постаревший рыбак на пустом берегу?..
Спят под снегом мои огородные сотки,
Только я почему-то уснуть не могу.

И опять, и опять вездесущие думы
Разъедают тоскливо меня изнутри,

И опять в потолочную балку угрюмо
Упирать безнадёжно глаза до зари.

Неужели один я в глубинке-отчизне,
И никто не услышит глухое «ау»,
И никто не поддержит на краешке жизни,
И никто не подаст мне руки наяву?

Жизнь... О, как ненадёжна её позолота,
Как потёрт от нужды оловянный бочок.
А начнёшь вспоминать – всё дела да заботы,
Да с мечтою-наживкой знакомый крючок.

Как тот старый карась из озёрной рутины,
Я когда-нибудь всё же его заглочу.
И очнусь, и опомнюсь, и в донную тину
Эту странную жизнь на себе прокачу!..

Мирок

Заоболочало, задождило,
Лето, не прощаясь, уходило.
И все чаще через неба просинь
В наш мирок заглядывала осень.

Наш мирок был тихим и уютным,
С небывалым счастьем поминутным,
С ближним лесом, с дальнею рекою,
С томиком Рубцова под рукою.

Пригубив чуть-чуть осенней грусти
И любуясь сельским захолустьем,
Мы стихи вечерние читали.
А над нами птицы пролетали!..

Канитель

Мила печная канитель –
Под вечер в доме выстывает.
Душа, как птица-свиристель,
Свои молитвы напевает.

Всю осень я, счастливый хрыч,
Живу на выселках пустынных,
Пытаясь вспомнить и постичь
Предания времён былинных.

Пытаясь возврат обмануть,
Брюзжанием не беспокоя,
Чтобы забыться и всплакнуть
Над удивительной строкою.

Чтоб, не мешая никому,
Ни чьей души не угнетая,
В полночный час шептать во тьму:
«Продлись же, осень золотая!..»

* * *

Мне снились реки дождевые,
И в этих реках плавал я.
Мне снились – вечные, живые –
Мои ушедшие друзья.
Во сне я с юностью встречался,
Шептал ей: крепче обнимай!..

А май всё шёл и не кончался –
Такой был долгий месяц май...

Мне снилось клеверное поле,
Где до небес – рукой достать,
Где столько воли, столько воли,
Что невозможно не летать.

Я к воле той на крыльях мчался:
Посторонись и не замай!..

А май всё шёл и не кончался –
Такой был долгий месяц май...

Мне снились горние высоты.
Путь к отступлению круша,
Звенели ангельские соты,
И млела в радости душа.
Я в соты тайные стучался:
Кто на дежурстве – принимай!..

А май всё шёл и не кончался –
Такой был долгий месяц май...

Дорога белая мне снилась,
Был безмятежным этот сон!..
А май всё шёл. И жизнь катилась –
Бесповоротно, под уклон.

Загудели ветра

И опять, и опять загудели ветра,
Зачастили с набегом они.
Будут зябко мигать за окном, как вчера,
То ли звёздочки, то ли огни.

Неуютно в ночи одинокой душе,
Не согреет ни водка, ни чай.
Разве только увесистый том Бомарше,
Утомив, усыпит невзначай.

Впрочем, сон не желаннее старой мечты,
Я с бессонницей свыкся давно.
Волчьим оком желтеет луна с высоты,
Ей не спится со мной заодно.

Вот перо, вот тетрадь, грустных мыслей клубок,
Знай, распутывай их до утра.
Ведь никто не придёт, не толкнёт тебя в бок,
Мол, делами заняться пора...

Гул ветров не на шутку тревожит в ночи:
Что-то будет в знобящем миру?
И дрожит одинокое пламя свечи,
И осина скрипит на юру...

Иду деревенскою улицей

Иду деревенскою улицей,
Подняв воротник пальтецо.
А день – то надменно нахмурится,
То солнышком брызнет в лицо.

Собаками нынче бездомными
Богата деревня по край,
Приходится крохами скромными
Делиться под радостный лай.

Домашним достатком не хвастая
(Живу-то, считай, на гроши),
Треплю их загривки блохастые
Насколько хватает души.

Разъехались ушлые дачники –
Сподручнее в городе жить.
А мне, старожилу-собачнику,
Деревню зимой сторожить.

Тиха деревенская улица,
Не всякое скрипнет крыльцо.
А день – то надменно нахмурится,
То солнышком брызнет в лицо.

Как будто вчера

Суровые зимы, узор на окне –
Счастливое детство припомнилось мне.
Весёлую юность, девчонку одну
Я тоже не раз и не два вспомяну.

Под звон комарья к костерку у реки
Слетались и утицы, и кулики.
Горел костерок, полыхали сердца,
Казалось, не будет у жизни конца,
Казалось, вовек не расстаться с весной...
Как будто вчера это было со мной.

О чём бы ни вспомнил –
Как будто вчера!..
А жизнь – на излёте.
Прощаться пора.

* * *

Кто сказал, что это старость,
Что надежды не осталось,
Что придётся одному
Умирать в пустом дому?

Как поверится в такое,
Если сердцу нет покоя,
Если разум и душа
Жизнь смакуют не спеша?

Пусть зимою одиноко
За окном трещит сорока,
Вьюга мечется в ночи.
Но огонь горит в печи!

После долгой зимней стужи
Снова выбегут наружу,

Как весёлые щенки,
Наши летние деньки.

Дорогие мои дети
Снова вспомнят о поэте
И немедленно домчат
К деду всех его внучат!..

* * *

В деревушке, в родимом краю
Я осенние песни пою,
Я с веками веду разговор.
Сладок мой добровольный затвор.

Свет лампадки пред Ликом Христа.
Сердце – настежь, и совесть чиста.
Как отрадно, как радостно мне
Помолиться в ночной тишине.

За любимую матушку Русь
Перво-наперво я помолюсь,
А потом – за народ, за семью
Я продолжу молитву свою.

И за мир помолюсь, и за лад,
Чтоб на брата не щерился брат.
А потом – за себя, молодца:
«Дай мне, Боже, любви до конца!..»

В январском небе

В январском небе музыка слышна,
Как будто в вышине оркестр незримый,
Тревожа душу и лишая сна,
Озвучивает мир неповторимый.

Загадочные звуки неспроста
Заполнили полночное пространство,
От них исходит божья чистота
И ангельского бденья постоянство.

Попрятались лукавые слова,
Лишь сердца молоточки подпевают
Мелодии Любви и Рождества,
Которая всю землю овевает.

Молчат тревоги будущего дня,
Не оскверняет долы гарь моторов.
Живые звёзды смотрят на меня,
И мне тепло от их далёких взоров!..

Прилепиться к родине

Прилепиться к родине и жить,
Обрести надёжный скрип причала,
Утренние зори сторожить,
Не пытаясь жизнь начать с начала.

Копка гряд, покосы, колка дров,
С внуками весёлые прогулки –
Суету забудь и будь здоров,
Счастлив будь в родимом закоулке.

Всех красот земных не повидать,
Не испить всех радостей-печалей.
Чем плоха земная благодать,
На твоём созревшая причале?..

НИКОЛАЙ АЛЁШИНЦЕВ

ВОЛОКОВОЕ ПОЛЕ

Сразу за нашим домом начинается большое, трудное к обработке Волоковое поле. Трудное, потому что на склоне, потому что глинистое и каменистое. Но главная трудность заключалась в определении его готовности к обработке.

Сырая почва тащится за агрегатами и уплотняется, пересушенная никаким способом не разделывается до нужного состояния. Если же удалось угадать тот момент, когда почва крошится, гарантирован хороший урожай отборного полноценного зерна. Многие века кормило это поле православных, многие века это поле было домом для зверей и птиц и никогда их не подводило.

Алёшинцев Николай Сазонтович родился в 1950 г. в д. Анисимово Великоустюгского района. Окончил Великоустюгский сельскохозяйственный техникум. Работал егерем, управляющим отделением, был директором совхоза. Занимал пост главы администрации сельского поселения. Публиковался в коллективных сборниках, автор ряда прозаических книг. Член Союза писателей России.

Любо было слышать весенним утром токование тетеревов, слышать щебетание, посвисты птичьей мелюзги, радостные крики прилетевших журавлей, и видеть перелёты огромных стай полевых рябчиков. А летними вечерами первозданную тишину нарушал и оживлял таинственный «бой» перепелов. Чуден мир детства, жаль, что не вечен. Жаль, что приехавшие погостить ребятишки уже не увидят и не услышат того, что видели и слышали мы, и что потерялось в вечных баталиях человечества за место под солнцем, за полный живот и кошелёк. Довоевались! Живёт ещё поле, но, как и многие поля России, заброшено, не ухожено. Скоро некому будет восхищаться его весенним пробуждением. Не у кого будет спросить, почему оно так названо. А всё очень просто: дальняя оконечность поля упирается в пронизанные конными волоками хвойные леса. Словно нити трудолюбивой швеи, вышивающей замысловатый узор, волока связывают между собой деревеньки и хутора, образуя единую общность, крепя трудовые, торговые и родственные связи.

Эти же волока выводили деревенских жителей к трактам, по которым можно было доехать до больших и малых городов. По этим волокам уходили в армию прадеды, деды, отцы, сыновья, по ним же возвращались те, кто остался в живых. Слышим ли мы, как ликовали их души при первом же шаге на залитую солнцем обочину родного поля? Как плакали, задыхаясь и вскрикивая, матери тех, кто не вернулся? Не слышим, видимо, коль позволяем себе бросить ту землю, за каждую пядь которой заплачено горячей родственной кровью. Не оттого ли так неспокойно, а иногда и неправедно проживаем отпущенные нам дни?

Не знаю, как ощущают Родину люди, родившиеся в мегаполисах, но для большинства жителей севера это чувство накрепко связано с полем, волоком, рекой и лесом. И если лес и река существовали как бы сами по себе, то поле и волока постоянно требовали человеческого участия. Труда.

Казалось бы, что в этом хорошего? Гни спину день и ночь. («Добывай в поте лица своего хлеб свой»). Но усталость от труда стократно окупалась радостью от его результатов. Не было и, смею утверждать, нет человека, которого бы не восхищало тучное, волнами переливающееся хлебное поле, не вызывал бы восторг разлив голубого цветущего льна, не радовал бы тяжёлый, хлебом пахнущий поток золотого зерна, падающий из шнека комбайна.

В редкие минуты отдыха, казалось бы, усталые и забитые бытовыми проблемами люди находили возможность украшения жизни праздниками, творчеством, поднимаясь в творениях своих к духовной радости, утверждая тем самым величие человеческое и его приближённость к Богу. Не отсюда ли такая разная речь в близких деревнях, разные узоры на одежде, по-разному вырезается деревянная утварь. Стремление сделать лучше, вышить красивее, сказать доходчиво и ёмко подарило будущим поколениям такие шедевры искусства, что мы до сих пор восхищаемся ими. У нашего поэта Сергея Викулова есть такие строки:

«Всему начало – плуг и борозда.
Поскольку борозда под вешним небом
Имеет свойство обратиться хлебом.
Не забывай об этом никогда!»

Трудно сказать лучше.

Поле жизни, волока, с помощью которых мы расширяем кругозор, труд во благо – это непоколебимые основы жизни. Сейчас так не считается. Редкостью на севере стало колосящееся золотом поле. Да чего там, деревень и жителей в них всё меньше и меньше. Если бы на месте каждой деревни поставить памятный крест, то на модных сейчас съёмках дронами мы бы увидели сплошные кресты, памятные, и безмолвные. Не отсюда ли это рубцовское: «Кресты, кресты. Я больше не могу». Горько и больно это осознавать. Из суеты больших городов не видно, как рвётся на части сердце человека, навсегда покидающего родные места. Не понимает

он: кому помешал, проживая в деревне, с минимумом запросов и претензий. Почему стал лишним его хлеб, когда в мире полно голодающих? Чем лучше жизнь в провонявших отходами человеческой деятельности городах жизни в чистоте и ладе деревенских отношений? Если городская жизнь и впрямь лучше, то зачем, получая отпуска, рвёмся мы в деревню, к речке, к полю, к лесу; чаще к тем, о которых нам рассказывали родители. Слово патриотизм – всего навсего любовь к знакомому. Придёт время, и мы узнаем, что это чувство присуще любой пичуге, лосю, рыбе и даже киту. И они тоже возвращаются на свои родные поля, в свои заросли смородины, в свои реки и моря. А всё потому, что там безопасно, потому, что там есть всё необходимое для жизни, потому, что знакомо. И понятным становится воинственность местных обитателей, когда в родных им местах появляются непрошеные гости.

Поле Волоковое. Небольшое, по меркам южных полей. Но Родину не измерить гектарами и сантиметрами. Как не измерить часами и минутами время нашей жизни. Но можно его запомнить и рассказать тем, кто начнёт свой путь позже. Показать жизнь такой, какая она была и где-то ещё есть, с её радостями и невзгодами, с подлостями и благородством и обязательно с любовью. Дай Бог, чтобы то, о чём мне удалось написать, нашло отклик в вашей душе. Дай Бог, чтобы русское поле дождалось новую весну, а по знакомым из рассказов родителей волокам в родные места вернулись их дети и внуки. Дай Бог!

НИКИТИНО СЧАСТЬЕ

Надежда на чудо живёт в каждой русской душе с детства. Да и как не жить: еще в пелёнках лежишь и пузыри пускаешь, глядя на незнакомый мир, а тебе уже, пожалуйста,– сказка о богатырях, о царевне-лягушке и о Емеле, как он «по щучьему веленью, да по своему хотенью» на печи к царю езживал...

Только подрастёшь, а кругом и впрямь чудеса: из малюсенького зернышка хлебушек в поле растёт, да такой вкусный, особо как горячий, да еще с молочком. А в реке рыбы плавают: никто не кормил, не поил, а на́ тебе – плывут себе по каким-то рыбьим делам, пока на сковородку не попадут; разве все это не удивительно?

...Родившемуся в далеком 1881 году в деревне Печерза, что по Сухоне, мальцу по имени Никитка оснований для веры в чудеса было достаточно. Его мать, добрая, всегда немного уставшая женщина, могла читать по складам и даже немного писать. Научилась этому в детстве, когда работала нянькой в Устюге в поповском доме. А его тётка Анна, имевшая неугомонный характер и страстно верящая и любящая Бога, ушла пешком в Иерусалим к гробу Господню. Было тогда Никитке пятнадцать лет. Вернувшись через два года осенью, тетка, «чайку не попив», унеслась в поскотину и принесла корзину сырых груздей.

Сказывали, как долго она их отмачивала и сортировала, как в семи водах перемывала, как укладывала каждый груздок в полупудовый бочонок, не забывая солить и крестить каждый слой. Не было в тот бочонок уложено ни одного грибка больше царского пятака. Уже по снегу, с первым обозом замороженных рябчиков, отправила она заветный бочонок в Москву царю – в благодарность, как наместнику божьему на земле, за благополучное возвращение.

До сих пор жива легенда, что царь, попробовав тёткин подарок, встал, многозначительно посмотрел в сторону министра финансов Сергея Юльевича Витте и произнёс, любуясь поднятым на золотую вилку хрустальным грибком: «Каждый груздок стоит пять рублей».

Говорят, бедный Витте едва не подавился куском заливной телятины от щедрости Николая Второго, поскольку корова в то время стоила сорок пять рублей.

История умалчивает, получила ли Анна царские деньги. Но отношения между Николаем Вторым и Сергеем Юльевичем испортились навсегда.

Никитка не раз слышал эту историю с груздями и искренне горевал, будучи в неведении от того, получила ли все-таки его тетка обещанное богатство?..

«Эх, приехал бы царь к нам на Печерзу, посмотрел, как муку мучают его обездоленные крестьяне и, наверно бы, сказал: «Чего это раньше мне о своём горе горьком не говорили?» Заплакал и распорядился бы дать всем по куску счастья и холста на порты. А я бы лучше корову-холмогорку выпросил. Кто его знает, какое оно, счастье-то, и к чему применить, а с коровой Лидке не привыкать. Справилась бы за милую душу».

Каждое утро, натягивая на голое тело скользкий холодный кожан, и с трудом всунув ноги в подсохшие за ночь «поршни», он уходил на Сухону, отталкивал лодку и поднимал льняную хребтину оставшегося от отца самолова.

И всякий раз, когда уды там, в глуби, цеплялись за что-то тяжёлое, сердце, словно взбесившись, пыталось вырваться из груди, а ноги становились ватными. Верилось и не верилось, что вот она, та самая пудовая стерлядь, продав которую, можно купить (как посчитала мама) корову, бьётся в каких-то трёх аршинах речной воды.

Но вместо желаемой рыбины, чаще всего вылезал из-под лодки скользкий суковатый топляк или увитая корнями торфяная кочка. Попадали и крупные, до полпуда, налимы, редко щуки. Стерлядки по пять-шесть фунтов помогали разнообразить скудную крестьянскую еду.

Вообще-то, Никита родился под той несчастливой звездой, во время мерцания которой человеку катастрофически не везёт.

Так получалось, что два десятка ребятишек могли перелезть через осек, возвращаясь со сбора грибов, совершенно целёхонькими, а Никитушка обязательно зацепится штанишками за сухой еловый сук и разорвёт не только их, но и ногу распорет.

Пойдут ребятишки купаться: прыгают, визжат, брызгаются – и хоть бы что. А Никита – на острый камень, а

то ещё хуже – на ерша какого-то безголового наступит. Кровь, рёв. Не бывало дня, чтобы с ним какая-нибудь оказия не случилась. Так и ходил, как в войну, то тут, то там забинтованный. И бык его бодал, и собаки кусали, и с черёмух он падал, разбиваясь до полусмерти, но жил, словно назло своему несчастливому року. Хуже всего стало, когда к девкам потянуло. Ни одна самая распоследняя растрёпа не хотела оставаться с ним после игрищ. Боялись, как заразного.

Но всем бедствиям назло вырос Никита в крепкого коренастого парня. Тёмно-русый чуб, отрастая, то и дело сваливался на красивые, с едва заметной раскосинкой зеленоватые глаза. Пришлось, выпросив у мамки голубую атласную ленточку, подвязать их чуть выше лба. На молодых всё красиво, и ленточка эта, словно родившаяся вместе с Никиткиной головой, снималась разве что в бане.

Люди по-разному относятся к горестям в своей жизни. Никитины несчастья сделали его отзывчивым на чужую боль, и стоило увидеть ему облишаевшую собаку или лошадь с покалеченной до кровавой мозоли спиной, он, не спрашивая хозяев, втирал в поражённые места дурно пахнущую мазь, которую подарил ему проезжий коновал за помощь в лечении крестьянского скота:

– Береги. Она от всех болезней наружных надежное средство.

Так оно и оказалось. Не только лошадей лечил Никита, но пользовал мазь и на людях при гноящихся ожогах и ранах.

Однажды весной, в поисках старой супони или ремешка, годного на ошейник недавно притащенному им щенку, он обнаружил старую, с разорванными мехами, гармонь. Вытащил её на свет божий, осмотрел и, забыв о щенке, тут же приступил к мытью и ремонту.

Через неделю удивлённые жители Печерзы услышали первый наигрыш, который в простонародье называется «отвори да затвори». С тех пор, едва появлялась у парня свободная минутка, он брал с залавка кусок

мягкого пирога, запивал кринкой молока и, подхватив гармонь, убегал на крутой бережок, что ниже по течению Сухоны. В тихие вечера слышны были гармонные наигрыши часто, словно натыкающиеся на непреодолимую преграду. Но Никита упрямствовал и вновь, как поводырь слепого, выводил их на сухонский простор.

А однажды, майским вечером гармонист, уже никого не таясь, вышел на речной берег, сел на громадный валун, притащенный могучим паводком, и развернул меха.

Прости, золотой мой читатель, сентиментальные строчки, на которые я обращу твое драгоценное внимание во славу русской гармони. Нет – поверь мне! – нет в человеческой душе чувства, которое не мог бы выразить этот бесхитростный инструмент. Горе ли, радость ли, встречи ли, проводы, рождение человека и рождение новой семьи – всё происходит под удалую или грустную мелодию на родном языке говорящей гармони.

Как не поклониться ей и как забыть? Наши слёзы и смех, каким-то непостижимым образом облагороженные, именно с нашими чувствами согласованные музыкой, взлетают над полями, лесами, реками и устремляются к далекому невидимому Богу, рассказывая ему о наших тревогах и надеждах. Мы живы, храни нас, Господи, такие, какие есть. И тех, кто, подвыпив лишнего, орёт на всю деревню: «С вином мы родились, с вином мы умрём. С вином похоронят, и с пьяным попом!..» И тех, кто, потеряв надежду на земных покровителей, на одного Бога уповая, ищет защиту и опору.

...С того майского вечера редко случалось так, чтобы не собирала Никитина гармонь деревенский люд. Только непогода мешала иногда.

В Кичуге, в большом пятистенном доме, что недалеко от часовни,– дым коромыслом. Вернувшийся с Анисимова хозяин дома Иван Семёнович гонял по деревне жену и девятерых дочерей с требованием найти медвежьего или барсучьего сала. Причина была проста:

анисимовский одногодок хозяина еще вчера выгодно выпихнул одну из своих дочерей гостящему у родни тотемскому мещанину в жёны. И девка-то перестарок, правда, здорова, как лошадь, и к хозяйству способная, да и хрен бы с ней! Но то, что мещанин оказался себе на уме и подарил отцу своей новоявленной жены пару лошадей в кожаной сбруе с колокольчиками, выбило Ивана Семёновича из колеи. Чёрная зависть и раньше доводила мужика до того, что он, припаяв к блюдцу свечу, зажигал её и подставлял к пламени свою огромную, как лапоть, ладонь, надеясь утихомирить душевную боль телесной. Иногда зависть долго не проходила, и Иван Семёнович прожигал руку до пузырей. Тут-то и нужно было звериное сало.

В последние разы он находил его у охотников заранее. А сегодня не оказалось. Может, мыши съели?

Тихонькая Парасковья да девять дочерей знали окаянный, завидущий характер мужа и отца, а потому даже рады были убежать по другоизбам. Но сала не нашли. А руку-то Иван Семёнович сжег полишка. Появившиеся, было, пузыри лопнули, и показалась кровь. Завязал чистой тряпицей, но к утру рука потемнела и загноилась. Пришлось отправить на Печерзу, за Никитой с его мазью, старшую дочь Лиду. Лодка соседа всегда была на ходу. Не было бы счастья, да несчастье подвезло.

Насмотрелись тогда Лида и Никита друг на друга. А всего скорее, не могли и насмотреться.

С тех пор повелось: Никита на левом берегу басы переберёт, а Лида на правом начнет песню. Да так баско у них получалось, что даже с окрестных деревень выходил народ к реке послушать. В августе, уверенный, что ему откажут, отправил Никита мать да тётку-пошехонку, что рыжики царю посылала, на Кичугу – Лиду сватать.

Сурово сдвинув брови, встретил свах Иван Семёнович. Парасковья собрала на стол нехитрую крестьянскую снедь, но разговор к делу не приставал. Свахи, выполнив Никитину просьбу, сидели, как на шильях,

под тяжёлым взглядом хозяина. Так бы и ушли ни с чем, да вбежала Лида, бросилась отцу в ноги и заплакала:

– Отпусти, папенька! Люб он мне!

И ведь уговорила. А может, вспомнил мужик Никитино лечение.

Только и сказал:

– Поди. У меня еще восемь ртов, окромя тебя, останется. Только запомни: от жениха твоего мне ничего не надо, но и сам за тобой ничего не дам.

– Не надо, не надо! Даром приданое-то. Сами все наживут! – одновременно выкрикнули свахи и выскочили на улицу. Вздохнули так, будто воз дров до крыльца довезли.

На том и кончились Никитины злоключения. Правда, как-то зимой, ни словом не обмолвившись, ушел он добывать медведя из берлоги. Рогатину в дровянике нашёл. Видимо, от отца осталась. Ну, и лопнула та рогатина в неподходящий момент. Скомкал медведь охотника, да изловчился тот и ударил зверю ножом под передний пах. Сокрушил громадину. Но и сам только ползти мог. Удивился, когда увидел, что одна нога в другом направлении смотрит. Да на руке рваная рана жжёт, кровью снег поливает сквозь дыру в зипуне. Сорвал с головы поясок, перевязался с помощью зубов – учить не надо, опыт с детства нажит. Теряя сознание, горько подумал: такая уж, видно, у меня судьба несчастная.

Очнулся уж дома. Потом узнал, что Лида, почуяв неладное, встала на лыжи. И, несмотря на надвигающуюся ночь, пошла припорошенной мужниной лыжней. Нашла его умирающим, кое-как приспособила на связанные лыжи и тащила семь бесконечных километров.

И он опять выжил, приобретя после того случая хромоту, а еще – непреходящую благодарность к жене. А может, это была любовь.

Всё бы ничего, но, несмотря на все ухищрения супругов, рожала Лида исключительно девок. Никиту новость о рождении очередной дочери совершенно выбивала из колеи: он напивался с мужиками на гумне, а

перепив, то горько плакал, то, вырвав кол из огорода, пытался крушить всё, что попадало на пути, подтверждая народную молву об особой драчливости ерогодских мужиков.

Говаривали, что самые горячие из них в праздничные дни приходили к старосте с верёвкой и просили себя связать заранее, чтоб, выпивши, не натворить чего. Брагой же просили поить – праздник все-таки. У Никиты такой моды не было. А потому, побузив для приличия с мужиками, он приходил домой совершенно опустошённый, в душе ругая себя. Лида знала, что в таком состоянии муж готов простить ей рождение очередной дочки.

Сделав вид, что ей обязательно надо сходить к соседке, она оставляла под присмотр Никиты новорождённую, подкрадывалась с улицы к окну и заглядывала в дом. Муж, достав очередной «подарок» из зыбки, наклонившись, нежно его покачивал и даже напевал.

Бывает так... Страшно, озаряя окрестности, сверкнут молнии, и Илья-пророк пронесётся на гремящей колеснице в черном небе, словно намереваясь раздавить маленькую деревеньку со всеми её вздрагивающими и крестящимися обитателями. Хрупкие незабудки у болотца, что посреди деревни, обречённо склонят голубые цветочки. Ожиданием беды наполнится воздух. Но вдруг налетит удалой ветер, смахнёт с небосвода грозные тучи, и ни одна капелька не упадет на скошенный луг и готовое к жатве поле. Воистину милостив Господь!..

Жизнь продолжалась. Дочки росли быстро. Уже не каждый год хватало до нового урожая хлебушка. Две коровы, хоть и съедали за зиму двадцать пудов сена, доили худо. Река и лес выручали. Но без «живой» копейки жить – нужду с собой волочить.

Сказочная рыба, способная исполнить все мужицкие желания, наверное, в Сухоне не водилась. А Никита, едва вскрывалась река, все ловил её. Своё единственное желание, которое он попросил бы исполнить рыбу-волшебницу, таил даже от жены.

Как-то ездил он на ярмарку в Устюг. Продать было что: рыбка копчёная, солёная, сушёная. Грибы сухие и солёные. Капустка свежая, да княжика мочёная. Сам бы ел, да девки во корень обносились. Нехорошо стало от народу в старье латаном-перелатанном их на улицу выпускать. Да и обутки надо, какой не наесть, прикупить. Чоботы хоть, али боты – не век в лаптях ходить. Того гляди – заневестятся. А в лаптях и жених лапотник будет! Как всегда, голову сахара, ну и Лиде платок фуляровый в подарок надобно. Любо смотреть, что она, как дитя малое, радуется пустяшному подарку. Все невзгоды нелёгкой жизни, горечь ссор и упрёков покидали крестьянскую душу в такие минуты. Хотелось, как в годы юности, прижаться к горячему телу, целовать алой нежностью наполненные губы и без конца всматриваться в сияющие робкой радостью милые глаза. В радости все бабы красивы, а его-то Лида и в работе, и на празднике никому не уступит.

Никита ходил по торговым рядам и вдруг увидел то, что искал.

В конце рынка за возами сена стояла, привязанная к телеге, большущая, как печь, чёрно-белая корова и медленно, с достоинством жевала лежащее прямо под ногами сено.

Узнал, на всякий случай, цену и, охнув, отошёл подальше.

В конце августа, когда росы особенно щедры и холодны, Никита, верный своей цели, ушел в белый речной туман, привычно оттолкнул лодку и нащупал багром бечеву.

Страшной силы рывок едва не выбросил его из лодки, но Никита, на мгновение ослабив шест, резко рванул его на себя и подтянул скользкую хребтину самолова. Он знал, что в то время, когда шест скользнул в его ладони, подчиняясь силе подводного чудовища, не менее трёх стальных крючьев впились в костяное его тело.

Словно ужаленное, чудовище вновь рвануло лодку вверх по течению, едва не перевернув ее. Никита,

удерживая бечеву, бросился в «нос» своего судёнышка, и оно выпрямилось, но с ещё большей скоростью понеслось на середину реки.

«Если рванёт вниз, лодку перевернёт на натянутой бечеве, как скорлупу»,– успел подумать рыбак и почувствовал, что рыбина пошла по течению. Было одно мгновение, которое отделяло Никиту от гибели и, понимая это, он, обрезая руки и надрывая спину, невероятным усилием перевёл тетиву самолова через корму лодки. Не бывало в его жизни такого страху. Обычно наколовшаяся на уду стерлядь вела себя спокойно.

– Отпущу, чёрт с ней, пусть уплывает. Жизнь дороже.

Но другой голос обиженно вопрошал: «Всю жизнь стремился поймать чудо-рыбину, а сейчас отпустить? Вот она, в трёх аршинах под водой бьётся, пытаясь изорвать снасть. Один удар ножом – и нет её. И вместе с её уходом несбыточна будет мечта о черно-пёстрой холмогорке».

Никита вновь потянул за бечеву. Стерлядь неожиданно легко поддалась на его усилие и вдруг вынырнула у самой кормы во всю длину и уставилась на рыбака поросячьим круглым глазом.

Оторопев от увиденного, Никита хватанул воздуху открытым ртом и сел прямо в воду на дне лодки.

«Не вытащить. Буди багром по башке шмякнуть»,– мелькнула мысль.

А живая-то стерлядь в пять раз дороже. За такую в Устюге и впрямь на корову дадут. А! Будь, что будет!

Рыбак выдернул воткнутый в борт нож и резанул бечеву, идущую к якорю, затопленному у дальней стороны реки. Испуганная стерлядь метнулась в глубину и, есть же бог, потянула лодку к родному берегу.

Вот уж послышался скрежет гальки, и рыбина, мощно ударяя хвостом, попыталась развернуться, чтобы вновь уйти в глубину.

Никита, забыв о возможности зацепиться за крючья самолова, бросился в воду и лег на извивающееся чудовище всем телом.

Разорванные костяным панцирем руки сразу закровили, но рыбак держал добычу и уговаривал её, как баба непослушного телка, ласковыми словами: то обзывал её «сволочью» и даже пытался ударить кулаком по голове, но неудачно.

Рыбина вдруг завалилась на бок, Никита бухнулся рядом, но тут же вскочил и, что есть силы, потянул за бечеву к берегу. Стерлядь не сопротивлялась и тащилась окровавленным двухаршинным кряжем, хватая воздух почти на животе расположенным ртом.

«Сдохнет ведь»,– спохватился Никита и, намотав бечеву на лом, за который всегда привязывал лодку, ухватил колючий окровавленный хвост и потянул стерлядь обратно на глубину.

Рыбина пыталась сопротивляться, но, почуяв боль, затихла.

Рыбак бессильно повалился на камни, и какое-то время просто лежал, стараясь удержать в себе пьянящую радость победы.

Безумолку кричали чайки. Раскалённой сковородой выкатилось из-за горизонта солнце, и клубящиеся синие облака бежали к нему, будто желая обогреться. В деревне давно проснулись: скрипело колодезное колесо, переговаривались бабы, на убранном клеверище коротко, как здороваясь, проржала лошадь. Всё шло своим чередом. Только чайки, кружащие над затаившейся стерлядью, как-то особенно отчаянно то ли плакали, то ли смеялись. Кто их разберёт?..

Лида, прибежавшая на берег, увидела мокрого, жалкого, но чему-то улыбающегося мужа, не по-хорошему взревела и унеслась в деревню.

И пяти минут не прошло, как она уже бежала обратно, зажав под мышкой узелок с сухой одеждой, а в руке – бутылку с оставшейся водкой и еще солёный огурец.

Переодевшись и перекусив, Никита отправил жену за братом на Конявицу, а сам прилег на сухой овчинной безрукавке и задремал.

Какой истинный рыбак не знает, как ласков сон, когда, вернувшись с удачной ловли, выпадет возможность вальнуться в мягкую постель на часик-другой. Может быть, только младенец, ещё не ведающий земных забот и тревог, убаюканный мамкиной колыбельной, спит столь сладко и беззаботно.

Вот так же, свернувшись калачиком, спал под нежарким августовским солнцем напереживавшийся Никита.

Камень скользнул под лаптем спускающегося от деревни мужика.

Обойдя спящего рыбака, он подошел к лодке и, вглядевшись в тёмную воду, увидел могучую затаившуюся рыбину.

– Вот фарт, так фарт!

Почёсывая голову, мужик присел на большой камень и решал, чтобы он сделал, если б ему так повезло. Конечно, в Устюг на рынок сплавил бы стерлядь живьём. Лодку надо щелеватую, да туда – рыбину, да налимами обложить, чтоб бока не истёрла. Мужик повернулся и крикнул:

– Никита! Рыба-то сбежала.

Рыбак вскочил, но, увидев соседа Кузьму, вечно привирающего и не упускавшего возможности кого-то подначить, успокоился. Да и по бечеве было видно, что стерлядь на месте.

– Ну, Никитушка, привалило тебе счастьице-то. Непременно в Устюг на базар вези. Бесценна рыбина твоя. На Скорятине девка такая была. Отец все говорил: бесценна у меня дочь Танька. Годы идут, а к девке всё не сватаются. Так и состарилась. А два парня за ней ухлястывали. Отец уж под старость одного спросил: чего Таньку не брал? – Так ты же сам говорил, что она бесценная, подумал, раз ничего не стоит, худая, поди, характером, или какой другой изъян есть. Такую и бесплатно не надо. Второго спросил, тот отвечает: сам хвалился, что бесценная у тебя дочка, ну, думаю, дорогая шибко. А у меня откуда такие деньги... Вот и с рыбой твоей так. Здесь никто её не купит, поскольку

денег таких нет. А в Устюге, батюшко, денег у купцов не меряно. Слыхал даже, что в старых валенках солят. Потому не продешеви.– Кузьма усмехнулся: – Им, чем боле цену загнёшь, тем они ярее покупать станут. Чтоб, значит, перед другими выпендриться. Только солёных денег не бери. Хрен его знает, под дождь попадешь, вымокнут. А ведь тепло еще. Не ровён случай прокиснут... Так вот, Никитушка, лодку и налимов я тебе ссужу. Вернёшься из Устюга – поплатишь, скоко не жалко. Только, как денежку выручишь, сразу домой. Шпаны много развелось. Вишь, кака в государстве неустойчивость. Так что, домой! И в кабак – ни-ни. Обдерут до нитки.

Кузьма громко высморкался и скомандовал:

– Пошли лодку и налимов смотреть.

Действительно, в затопленном, из ивовых виц сплетённом садке, вальяжно переваливались полдюжины крупных тёмно-зелёных налимов.

– Бери двух покрупнее. Да, давай, я тебе помогу. Тащи мою лодку. Она, как решето старое, но для этого дела в самой раз.

Кузьма не зря торопил Никиту. Отдумает рыбак, и пропали его надежды сбыть по схожей цене дрянную лодку и налимов.

– Да, чуть не забыл. Торгуйся лучше с купцам пожилыми, у которых борода поширше и подлиньше. У этих кой-какая совестишка ещё осталась, да и о царствии небесном более опасения имеют. Загреметь в ад даже самому распоследнему мародеру неохота. Вот они совесть-то и начнут проявлять. Знают, что там деньги не наши, не откупиться. Бог не урядник и не прокурор. А молодым кажется, что ещё рано с совестью возиться. Опять же на Бога свалить свою наглость надеются. Было, говорят, посылал Господь апостола совесть народу раздавать, а я как раз в соседней деревне водку пил. Дня три пил. Не дождался апостол-то. Вот теперь без совести и приходится жить...

Разговаривая таким образом, Кузьма времени не терял. Вдвоём перевернули лодку и просмолили низы её

изнутри и снаружи. Садок отпихнули на глубину. Пусть налимы поплавают, пока смола сохнет. Вернувшись к рыбине, с трудом пропихнули линёк ей под жабры и завязали свободной петлей снаружи. Достали из тела потемневшие от крови уды.

Кузьма, осматривая рыбу, ахал, по-бабьи хлопая себя по бедрам:

– Ну, Никитушка, и чуду-юду ты поймал. Век доживаю, а такой не видел. Не продешеви хоть.

Кузьма, не переставая ахать, отправился в деревню. И пяти минут не минуло, как на берег сбежалась все, кто не ушёл в поля начинать пробную жатву. Никита сел на камень и нехотя отвечал на вопросы любопытных односельчан.

Пришли Лида и брат. Решили, что плыть надо с вечера, чтобы успеть на утренние торги.

– Мне-то нельзя,– сокрушался брат.– Вчера сжали четвертинку полосы. В суслоны заложили. Сегодня, пока сухие, на гумно возить хотел.

– Да, ладно,– ответил Никита,– один справлюсь. Ты лучше на вечеру помоги Лиде отаву к хлеву свозить. Тяжёлая шибко.

На том и порешили. Лида ушла собирать вещи и снедь в дорогу.

Вернулся Кузьма. Вместе заполнили водой его лодку, вполовину, чтоб не затонула. Запустили в неё налимов и с большим трудом завалили между ними стерлядь. Вывели загруженную лодку на глубину. Просело суденышко до полукорпуса, но осталось на плаву.

– Вот и слава Богу! – перекрестился Кузьма.– Не торопись, Никитушка. Да пароходов бойся.

Подогнали вторую лодку и накрепко привязали плавучий садок к ней. Оставив старшую дочь сторожить рыбину, поднялись в деревню.

Нищему собраться, только подпоясаться. Пообедали. Посидели на дорожку и вновь спустились к Сухоне. Лида торопливо пихнула узелок с едой Никите в руки и ушла, боясь расплакаться при народе. Мужики

оттолкнули лодки на стругу, и резвое течение тут же подхватило их. Никита взялся за весла. Солнце уже цепляло за вершины высоких елей на горизонте, а впереди был трудный и долгий ночной сплав. Задняя лодка послушно скользила за рыбацкой.

«Как корова на привязи,– вспомнил про свою мечту Никита. – Неуж за стерлядь могут на корову денег дать? А с другой стороны, говорил же Кузьма, что купцам денег девать некуда. Дай-то Бог!»

Хлопанье шлиц сбило мысли. Надо было уходить к берегу, чтоб волной не захлестнуло притопленную лодку. Без всплеска, как в масло, отпускались и поднимались золотеющие от закатных лучей весла. Искрящиеся волны лишь слегка качнули маленький караван.

Никита подъехал к пленнице. Стерлядь показалась ему мёртвой. Захолонуло сердце. Но увидел, как неторопливо поднимаются жаберные крышки на голове рыбы, и успокоился. Встал. Потянулся, разгоняя кровь в уставшем теле, достал «узелок» с провиантом и не спеша развязал его.

«Доплыву тихонько. Только бы погода не подвела»,– успокаивал себя.

А между тем, в перевернутой чаше темнеющего неба одна за другой загорались звёзды. Вот уж одна из них сорвалась вдруг и, оставляя за собой светящийся след, долго падала в темную бездну.

Хороший знак. Господь просто так звёдами разбрасываться не будет.

Именно в такую августовскую ночь первый раз ходили они с Лидой к мысу Бык. Тогда тоже падали звёзды, но не успевали они заказывать им желания. На сухую, протоптанную тропинку собралось много-много светлячков. Лида поймала одного из них и положила ему на ладонь. Лишь на мгновение пальцы её коснулись, а обожгло, как будто уголёк, а не светящаяся букашка оказалась в руке. Расстались тогда под утро. Никита перевёз девушку на кичугскую сторону.

Вернулся, через сенной проём забрался на повить, укрылся с головой старым овчинным тулупом и раскрыл ладонь. Мягкий зелёный свет озарил стебли сухой травы, и она зазеленела, ожила. Светлячок упал с ладони и пополз по ней.

Никите было сладко от мысли, что ещё совсем недавно эта малявка освещала теплую Лидину руку. Положив светлячка рядом с собой, он восхищенно следил за ним, пока не уснул.

...Река осторожно, как зыбку, покачивала лодки. Пленница всё так же шевелила крышками жабр. Никите вдруг стало жаль её, и он уже нагнулся к борту, чтобы развязать линёк. Но мысль о том, что вместе с ней уйдёт в небытие мечта о холмогорке, остановила.

Прошептал даже:

– Прости уж! Такая, наверно, выпала тебе господня воля. Прости.

Отпустил вёсла, и лодки, подхваченные его усилиями и попутным западным ветром, резво побежали к далёкому и желанному Устюгу.

Звёзд на небе не стало. В кромешной темноте Никита почувствовал себя маленьким и беззащитным. Каждый звук и всплеск воды пугали его. И, чтобы отвлечься от нехороших мыслей, он приналег на вёсла. Когда же на востоке появилась узенькая полоска зари, сон победил его.

Проснулся от озноба и чьих-то голосов. Стайка ребятишек с берёзовыми удочками окружила лодку со стерлядью и о чём-то спорила. Увидели, что рыбак проснулся, тут же забросали его вопросами.

– Дяденька, а чё она налимов не съела?

– А она человеков съесть может?

– А как ее зовут?

– А зачем вы ее привезли?

Осмотревшись, Никита с радостью обнаружил, что находится в Устюге, чуть выше Прокопьевского собора.

Попросил ребятишек сбегать до Сенной площади и всем говорить, что мужик из деревни продает большую

живую стерлядь. Пообещал копеечку на сладости. Ребята бросили удочки и убежали, крича, что есть сил:

– Мужик привёз большую стерлядь! Мужик привёз живую стерлядь!

Прошло примерно с полчаса. Весёлая раскрашенная пролётка на рессорном ходу, запряжённая парой белых рысаков, резко, аж кони присели, остановилась напротив Никитиных лодок. От неё, бросив вожжи показывающему на Никиту мальчонке, сбежали два дородных, одетых в красные рубахи, мужика. Придирчиво осмотрев рыбу, пошевелив ее за линёк, мужик, что повыше и покрасивей, спросил:

– Сколько?

Вопрос застал Никиту врасплох. Всю дорогу подсчитывал, сколько он выручит за стерлядь, да выходит, так и не посчитал. Да и Кузьма, тоже шалопут, не подсказал. Горазд только байки травить. Не скажешь ведь, что рыба бесценна.

Увидев, что рыбак замешкался, второй мужик выкрикнул: «Рубль, и по рукам!»

У Никиты в глазах – черные круги, но справился:

– Я за рубль её обратно отпущу.

– Так говори, сколько?

– А чтоб корову купить холмогорскую,– удивляясь своей смелости, выпалил рыбак.

– Ну, ты загнул на холодную, на горячую и не разогнёшь. Сиди тут со своей стерлядью до морковкиного заговенья.

Рослый мужик махнул рукой и, что-то коротко бросив напарнику, пошёл к лошадям. Второй едва успевал за ним.

Уехали. Зато подступили мальчишки:

– Обещал ведь. Давай на пряники.

Рыбак порылся в кармане и, не вставая из лодки, бросил на берег двухкопеечную. Удивленные щедростью, мальчишки подошли ближе, и один из них, приехавший с приказчиками, сказал:

– Не боись! Купят у тебя стерлядь. Недавно приехал к нам военный, большого чину. С семьёй. Отец в

его доме ремонт делал. Щедрый, говорит, и резонный, а завтра дочку замуж выдает. Это его приказчики на пролётке были. Баяли, что хорошо бы такую рыбину на свадьбу закупить.

С говором и смехом ребятня побежала за гостинцами.

Полчаса не прошло, как знакомая пролётка вновь вылетела на набережную.

Высокий стройный господин бодро выскочил из неё и начал спуск.

«Безбородый,– с неудовольствием отметил Никита,– облапошит, как пить дать!» – И приготовился к худшему.

Барин, как окрестил его рыбак, поздоровался и, полюбовавшись стерлядью, просто сказал:

– Покупаю всё. Стерлядь, налимов и лодки.– Убрал со лба седеющую прядь, улыбнулся красивой, белозубой улыбкой и добавил:

– Сейчас ко мне в гости. Сделку закрепить надо.

Подхватил Никиту под рукав, и они вместе поднялись к пролётке. Барин сам взялся за вожжи.

– Ты, Стёпа,– обратился он к слуге,– покарауль пока все рыбацкое хозяйство. А я за тобой пошлю подводу. Все и привезёте. Лодки можешь продать. Половина барыша твоя. Но рыба чтоб живая была. Родне жениховой покажу. Им такая и не снилась. Да, как тебя зовут-то, рыбак? Никитой? Хорошее имя. Ну, а меня Владимир Александрович величают. Погнали!

И барин, как заправский ездовой, понудил лошадей. Через десять минут они уже выходили у нарядного, с балконом, голубого дома. Владимир Александрович распорядился насчет обеда и пригласил Никиту на веранду, обвешанную картинами каких-то военных баталий. Посредине веранды стоял большой стол с резными ножками и четыре венских стула.

– Садись,– распорядился барин, показывая на стулья.– Выручил ты меня, брат. Уж так выручил, что и выразить трудно. Так хотелось гостей удивить. А чем?

Неделю голову ломал, а ничего не придумал. А тут ты с чудо-рыбиной, как яичко ко Христову дню! Как умудрился её живьём привезти? Ну и молодец! Давай хватанем по маленькой, за твое здоровье.

Владимир Александрович сам налил красивые узорчатые рюмки. Чокнулись, выпили. Хозяин рассказал, что он из отставных военных, в полковничьем чине, приехал в Устюг, чтобы, как он выразился, «проникнуться чистыми чувствами любви к своей, ещё в юности покинутой, родине». И надо же, именно здесь нашла его приёмная, вечно всем недовольная дочь какого-то хлюста из купеческих, и воспылала трепетной высокой любовью. Отставник усмехнулся:

– Мы с матерью её пятый год замуж выдаем. Замучились. Таких женихов находили – орлы, красавцы, один мундир двадцать рублей стоит. А она, едва познакомится, как завизжит, хоть святых выноси: «Вы кому меня отдать хотите? У него, окромя мундира, ничего и нет. Да ещё начитанный, шибко умный. О странах мне разных рассказывал, о фортификациях. А мне это зачем? Я при нём всё время в дурах ходить буду». Мы опять в поиски. А она – воистину неисповедимы пути Господни! – увидела на рынке этого купчика с Лальска и согласилась выйти за него замуж. Хорошо, что она мне приёмная, а то всыпал бы я ей перцу под подол за такой выбор. Офицерство купцов не жалует. Этим, чем народу хуже, тем веселей. В войну, помню, всю душу из интендантов высосут, чтоб содрать подороже. А мы их шкуры спасаем, на окопы вражьи в полный рост «не щадя живота своего». Да и, слава Богу. Завтра торжественно сдадим её в дело, и, как говорят,– баба с возу, кобыле легче! Ох, напьёмся мы с тобой, Никитушка, по столь радостному событию.

Разговаривая, барин не забывал доливать опорожненные рюмки. Хмелея, Никита с горечью думал: «Напоит меня, говорун несчастный, и отпустит на все четыре стороны. Вот тебе и холмогорка».

– Ну, давай, Никитушка, за мужиков русских – опору отечеству и основу армии! Ночуешь у меня. Завтра на свадьбе званым гостем будешь. Нас не стесняйся. Все одним способом рождены. ...Стёпка! Уведи молодца в людскую! Пусть отдохнёт с дороги. А завтра чтоб представь его на свадьбу по парадному уложению. Это спаситель мой, а значит, друг. Утрём нос купчишкам.

...Сон быстро сморил выпившего рыбака. Проснулся в темноте, только у образов теплилась свечка. Вышел во двор.

Город спал. Лишь иногда в подворотнях взлаивали кем-то потревоженные собаки.

«Как-то там дома? – тоскливо подумал Никита.– Жатва, а я тут на чужой свадьбе гулять буду. Ой, худо! Сбежать, может? Всё равно обманет скалозуб. Напоит и прогонит. Некому защитить».

Брякнула щеколда:

– Эй, рыбак! Как ты? Иди, давай! А то хозяин мне голову снесет,– взволнованным шёпотом позвал Степан.– Не бойся, не обманет. Сполна выдаст. Добрый он до нашего брата. Пошли.

Утром все носились, как оголтелые. О Никите, казалось, забыли. И только в десятом часу прибежал в людскую приказчик и со словами: «Переодевайся скорей», бросил на лежак тёмный костюм, белую с позументами рубаху, у кровати поставил новые яловые сапоги. Никогда не брал в руки рыбак этакой ценности, а потому оробел и долго смотрел на подарок, не прикасаясь к нему. Как одевать на пропахшее потом тело эти дорогущие вещи – подумать было страшно.

Заскочил Степан и, видя растерянность Никиты, скомандовал:

– В баню марш! Там и переоденешься.

Вывел на улицу, показал, что к чему. Через полчаса Никиту было не узнать. Русые волосы сыпались на лоб, нос, щёки, уши блестели от чистоты. Казалось, что промылись даже глаза, так светились они мягким голубова-

тым светом. Степан пробежал в баню и выскочил, как ошпаренный. Окликнул стоящего в полоборота Никиту:

– Эй, ты рыбака, часом, тут не видел?

И вдруг захохотал:

– Ну, красавец! Я тебя не узнал. Сбежал, думаю, из бани. Ладно, пошли на свадьбу.

Как во сне, шёл рыбак Никита между столов, украшенных цветами, уставленных яствами и разными напитками. Сел на показанное место и присмирел, как мышь. Хорошо, хозяин его увидел. Поздоровался через стол, протянув крепкую сильную руку.

– Ты, Никита, не церемонься, хлопни пару рюмок для храбрости. Это жениху и невесте надо этикет держать. Первый раз, с непривычки, волнительно. А нам-то с тобой какое расстройство? Выпей, всё веселей эта канитель пройдет.

Люди приходили и приходили. Невеста уж вспотела и обмахивалась веером, отчего перья тетеревов, поданных на серебряных блюдах, шевелились. Жених – невелик ростом, про таких говорят, метр с шапкой, чрезвычайно упитан,– угрюмо рассматривал входящих. Казалось, что он вот-вот не выдержит, схватит невесту в охапку, выскочит из-за стола и со словами: «Вам тут и без нас хорошо!» – утащит ее на повить.

Но, наконец, все собрались. Терпение жениха и невесты было вознаграждено красивыми пожеланиями и подарками. Уж пятый раз прокричали: «Горько!» Батюшка третий раз пытался голосить «многая лета», но его останавливали.

Полковник встал и ударил вилкой по хрустальному фужеру. Все стихло.

– Друзья мои! – обратился к гостям хозяин.– Много хорошего сказали мы нашим детям в этот памятный для всех день. Добавлю только одно: чтоб с добрым сердцем и уважением относились они, да и мы, к тем, кто до кровавого пота растит хлеб, строит дома, посылает детей своих защищать Отечество. Ничего бы не было ни в государстве нашем, ни на этом столе без русского

мужика. Без русских баб, которых мы порой и за людей-то не считаем. Вот рядом с почётными гостями сидит деревенский мужик Никита. Не по себе ему видеть нас, расфуфыренных и жеманных, мелочными обидами да сплетнями жизнь заполняющих. Давайте выпьем за народ и поклонимся так, как я сейчас это сделаю...

Хозяин подошёл к рыбаку и низко поклонился. Растерянный, Никита вскочил и, не зная, как себя вести, вдруг наклонился к «барину» и уж чуть, было, не заревел от навалившейся душевной боли, как вдруг двухстворчатые двери в зал открылись, и двое разодетых в красные охотничьи камзолы слуг вкатили украшенный цветами и фруктами стол.

Никита не поверил своим глазам: в глубоком стеклянном подносе, заполненном голубой прозрачной заливкой, лежала во всей красоте и громадности его стерлядь. По тёмному телу её извивались золотые нити, а голову украшала усыпанная драгоценностями небольшая серебряная корона.

Все встали и с изумлением рассматривали чудо-рыбу. Невидимый оркестр старательно выводил какую-то необыкновенно красивую музыку. И вдруг все зааплодировали. Все пытались пожать руку полковнику и Никите. Восхищались стерлядью и любовались ею. Оставленные без внимания жених с невестой налили алой настойки из княжики. Крикнули сами себе «Горько!», выпили и долго целовались, забыв этикет. Свадьба вошла в то разудалое русло, когда поют, пляшут, ругаются и милуются одновременно.

Отломить от стерляди аппетитный кусочек смелых не нашлось. Тут батюшка подошел к хозяину и прогудел:

– Пусть на холод увезут, Владимир Александрович. Завтра ещё полюбуемся и уж отведаем рыбицы. Жаль такую красоту да в утробу.

Никита ещё видел, как торжественно увозили нетронутую стерлядь, помнил, как кто-то налил ему пивной бокал шипящего вина. Всё остальное покрылось таким

тёмным мраком, что, даже проснувшись ночью на своём месте в людской, вспомнить ничего не мог. Ощупав на себе скользящую материю пиджака, подумал:

«Вот ещё и раздел кого-то. Дрался, поди, с кем-нибудь? – Вспомнил ерогодскую привычку.– Стыдоба. Полковник про народ такие хорошие слова говорил, а я, как поросенок обрадел, допал до дармового. Сматываться надо, чтоб в глаза людям не смотреть».

Вздохнул тяжело.

– Не вздыхай тяжело, не отдадим далеко,– шумно поворачиваясь, бодро сказал невидимый Степан.– Там на столе вино кислое да капуста обваренная. Выпей и закуси. Пройдёт помалёху.

Упоминание о вине вызвало отвращение, но, превозмогая себя, Никита выпил кружку на удивление вкусного вина. Прилег. Сразу стало легче. Спросил в темноту:

– Я чего, раздел кого вчера? Бузил? У нас без драки не праздник. Не томи, Степа, расскажи.

– Да не переживай. И пиджак это твой, ещё до свадьбы подаренный. Я тебя увёл. Хозяин тебе конверт в потайной карман сунул и велел увести.

– Так ничего я не натворил? – присев на лежаке, недоверчиво спросил Никита.

– Я тебе говорю, порядок,– ответил Степан, зажигая свечку.– Барин велел тебя сегодня домой увезти, так что долго не залёживайся. На рынок заедем. Гостинцев домой купишь. Еще что по хозяйству и, бласловесь.

– Да уж какой рынок? У меня и денег-то с собой нет. Домой надо. Жатва.

– Не рыбак ты, Никита, а дурак. Князь пустой конверт тебе в карман положил, что ли? Хоть посчитай. Может, и хватит на гостинцы-то?

Дрожащими руками Никита достал конверт и, не веря в происходящее, осторожно надорвал его. Бумажные деньги выпали на пол. Степан собрал их и подал.

– Считай!

Никита перебрал бумажки, складывая их на стол, и вопросительно посмотрел на Степана:

– Много. Мне столько не сосчитать.

– Чудак ты ей-богу, мужик. Как это деньги не сосчитать? Смотри. Четыре бумажки по пятьдесят рублёв. Сколько стало?

Никита вопросительно смотрел на слугу хозяина.

– Двести рублёв получается. Понял ты? Дуб стоеросовый! Забирай. Да на рынке зря-то ими не верти!

Никита отпустился на лежак и тупо смотрел на Степана:

– Это сколько же коров получается?

– Четыре с половиной, чудо гороховое. Подожди, я коней напою да овса дам. Попей еще винца-то. Пойло заграничное, вкусное, но у нас квас крепче. Чтоб в голове зашаяло, надо ведро дёрнуть. Так что пей, не сумлевайся.

Степан ушёл. А Никита, выпив ещё кружку вина, всё не мог прийти в себя. Не одна, а целых четыре холмогорки паслись перед глазами. Надо бы радоваться, а не получалось. Вспомнил свои детские злоключения. Прошептал:

– Всё равно чего-нибудь случится. Потому что так не бывает, чтобы «ни хрена не было – и вдруг алтын».

Достал конверт, но деньги выкладывать не стал. Посмотрел на свет свечи и положил обратно. Лёг. Так и пролежал, пока в людскую с полными ведрами воды не зашёл Степан.

– Карета подана, ваше сиятельство. Не соизволите ли встать?

Было уже светло, и Сенная площадь гудела от приезжего и местного народу. Привязали лошадей, и Никита бросился туда, где он раньше всегда видел скот, пригнанный для продажи.

Но дойных коров и нетелей в это утро не было. Нашёл Степана, вместе вернулись в торговые ряды. Глаза разбегаются. Продавцы, одетые кто во что горазд, за руки хватают, к себе волокут. Отбивался, как мог, и уже чувствовал в себе некоторое перед ними превосходство. Обвешался калачами – одна голова торчит. Картуз

купил кожаный. Дородно будет по деревне пройтись, заломив его ухарски. Приценивался, торговался, что никогда с ним раньше не бывало. Спросил Степана:

– Ты чё, и впрямь меня до дому довезешь? До самой избы?

– Знаешь, Никита, чем дураки от нормальных отличаются? – вместо ответа ухмыльнулся ездовой. И сам же ответил:

– Их второпях строили. А в таких случаях недоделки и упущения всякие – не редкость. Сказал же тебе: велено до дому доставить. Покупай, что вздумается. Увезём.

Не верилось рыбаку. Но отошёл в сторону, достал из конверта второй рубль. Пятидесятку Стёпа еще на входе на рынок разменял. Направился в шорный ряд. Сбрую купил с кожаной шлеёй, хомут медными пуговицами украшенный, седелко нарядное, с потником. Гвоздей кованых три фунта – пригодятся в хозяйстве. Ну, и подарки всем: четыре шали цветастые, да платки, цвета летнего неба, велюровые, да обрезы материалу на сарафаны, да себе на порты. Боты опять же девкам и Лиде – каучуковые, продавец сказал – носить, не износить.

В другой лавке Никита купил пряников облитых да медовых, конфет разных по фунту, печенья коробочку картонную. Прикинул на ладони: монеток от первого и второго рубля ещё осталось.

– Ну, Стёпа! – обратился он к своему помощнику, везущему на ручной тележке купленное. Выбирай себе, чё по ндраву, без тебя бы я пропал.

– Ишь богатей выискался! А я, может, такое загну, что никаких денег не хватит. Лавку посудную или дом с мезонином. Эх, добрая твоя душа, Никитка. Ничего мне с тебя не надо. Возьми вон штоф наливки смородинной – всё веселей дорогу ехать. Да муки купи заводской. Со своим помолом пусть хозяйка смешает – хлеб вдвое вкуснее будет. Вот увидишь.

Купили. Погрузили в пролётку, тронули.

...Бывают в августе такие благословенные дни, когда солнышко ласково, ветерок лениво перебирает листья деревьев, и на высоком синеющем небе – ни облачка, но самое главное: уже побитые августовскими росами, не донимают оводы и комары. В такое время радостно не только людям, но и лошадям, намучившимся в летние месяцы от этих кровососов.

Широкой рысью бежали лошади по накатанной тысячами колес сухой дорожке.

Позади Яиково и Красная гора. Вот-вот Благовещенье распахнётся за поворотом. Весело было Степану мчать по накатанной дорожке счастливого Никиту. Сам он никогда не был в достатке, что говорить – сирота. Хорошо хоть полковник, когда от какой-то заразы в неделю умерли родители Степана, бывшие в услужении, не выбросил мальчишку в беспризорность, оставил при доме. Не у икон и священников научился ребенок доброте и жалости к слабым. Хозяин его мало того, что сам был бессребреником, приучал к этому и всех близких ему людей. Героическое военное прошлое давало пенсион с возможностью жить безбедно. Но главное его материальное благополучие упало на него всего каких-то десяток лет назад. Отец его, успешный помещик в Ярославской губернии, отходя в мир иной, отписал всё наследство сыну Володе, поскольку других сыновей у него не было, а две дочери и без того были устроены за хороших и богатых людей.

Не все богатые щедры, не все бедные независтливы, но Степан никогда не мучился этим пороком и, наверное, от этого жил, как он говорил, добро.

Проскочили и Благовещенье, перекрестившись истово на церковный лик. Лошади приустали, и когда поравнялись с придорожной некошеной луговиной, Никита попросил:

– Давай перекусим! Да и укачало что-то. В голове шат. Лошади опять же отдохнут.

Отвернули на луговинку. Отпустили распряжённых лошадей, привязав на длинные вожжи. Разложили

снедь, разлили вино в купленные для этого случая стаканчики. Выпили! Эх, что бы ни говорили бабы, а для умной и продолжительной мужской беседы «за жизнь» нет ничего пользительней винца или сладкой водочки. Всё приобретает какой-то совсем другой – красивый и радостный смысл. И умнее сам себя мнишь, а главное, всё, что изо дня в день надрывало душу, куда-то отходит. И жить хочется с новой силой, и всё непреодолимое становится доступным.

Словно читая мысли Никиты, Степан, приложившись второй раз, сказал:

– Никогда не надо отчаиваться, рыбак. Никогда! Я вот тонул дважды, ножом меня резали шпанята городские, да это полбеды. Девка, которую больше жизни, казалось, любил, ушла к другому. Вот уж хотелось повеситься. Но словно кто-то сидит во мне, Никита, и когда уже всё, тюк на крюк, говорит мне: живи!

Там, впереди, ещё много чего, тобой не виданного и хорошего будет. И девки от тебя не все сразу ушли. Живи. И каждый раз, Никита, превозмогал я себя и выживал. Если б мамка знала, что пришлось в жизни испытать, сожгли бы её слезы тех, кто в испытаниях моих виновен. Ну, и мне бы, конечно, досталось. Ты вот, Никитушка, сам подумай. Ну, допустим, попали бы мы в рай. Ты кумекаешь, а! В рай! – Степан при этом поднял палец левой руки: – Ну и что? Чего бы мы с тобой там делали? Там всё есть, яблоки райские, к примеру, другая пища. Землю пахать не надо. Мне коней чистить не надо, подметать двор, возить таких, как ты, богатеев не надо... Ну и чего? Водку, наверное, там не подают. К монашкам, понятно, не прикоснись, а других баб там, поди, нет. Ну, и как тебе такой расклад? Да сдохнешь от тоски. Нет, давай нальём за здравие... Да и, к примеру: откинули мы копыта. В рай, видите ли, захотелось, бездельничать. А скажи мне, мил человек, кто земную работу за нас делать будет? Другие? А они тоже в рай сбегут! Вот и погибнет земля-матушка! Так что мы с тобой не хухры-мухры, мы целую землю,–

Степан опять задрал палец к небу,– на себе держим. Давай за нас! Да и поехали с Богом!

Запряглись. Еще легче и быстрей зарысили кони. Ещё веселей и добрей казались придорожные деревья и кусты, ещё прозрачней и выше небесная голубизна.

– Эй, родимые! – весело крикнул Степан, и лошади, чуть прогнувшись в спинах и вытянув шеи, ускорили рысь.

Перед чистой каменистой Ёргой остановились. Распрягли, попоили коней и отпустили пощипать прибрежной сочной травы. Присели на обрывчик, свесив ноги. Выпили еще, закусили купленным сальцем.

– Я вот всю дорогу думал над твоими, Стёпа, словами,– продолжил прерванный дорогой разговор Никита.– Вот смотри. Смерть, вроде, как радость, освобождение от земных забот и невзгод, от мороза, к примеру, или пожаров. А зачем тогда больницы разные, знахарки, лекарства? От радости, выходит, нас спасают? Опять же, как рассужу: вот куплю я холмогорку, так зачем мне рай-то? Мне и тут ладно. Хорошая-то корова, Стёпа, это ведь тоже радость! С пастбища идёт, помыкивает, молочком поперёд её пахнет... А потом Лидка сядет под неё, доит. Ты хоть слышал, как падают струи молочные в подойницу? Вот как будто поёт кто-то тихонько... А как в кружки девкам нальёт молоко тёплое, пенистое, сладкое... Выпьют – и полдня к столу не заглядывают. В обед уже другое молочко из крынки да с подвалу, холодит, и вкус у него такой!.. Да не объяснить мне – это надо самому пробовать. Так вот, Стёпа, я эту радость как-то больше почитаю. Смоюсь я, примерно, в рай, а кто холмогорке на зиму сена накосит? Другое дело, постарости. Человек, как занеможет, и всё ему, поди, в зависть становится: ни рыбки половить, ни поохотничать, ни с женщинами совладать... Кому хошь станет обидно. Вот чтобы эту зависть без конца не копить на земле, и приберёт Господь. Ну, а уж там – по делам, кого в рай, а кого в ад – на перековку.

Видел, поди, как старый ржавый лемех кузнец бросит в горн, накалит докрасна, а потом десяток раз кувалдой хлопнет – и лемех опять как новенький... Нудно, конечно, похороны. Радость, говорят, а не поют, не пляшут. Но худое надо убирать – куда деваться? Двор вон каждый день метёшь... Поехали, давай, к Лидке. Она у меня только вчуже грозной кажется. А когда одни, то и лучше её не надо. Последнее это дело – родных людей похоронами заботить. И так с утра до вечера крутятся, что белки в колесе. Начальство или урядник, к примеру, тут другое дело... Слуг столько. Обиходят, да если ещё за казённый счёт, милое дело...

Помолчали. Степан наполнил стаканчики. Выпили. Вытирая рукавом рот, ездовой продолжил разговор:

– Эх, лучше не думать, а то такого в голову придёт: вот царь, к примеру, или заводчик все радости имеют и не хрена делать не надо. А слышно: нет-нет, да опять в «ящик» – и к райской радости с рёвом везут. Ничего не понять. Не наших, видно, умов это дело.

Уж вечером, когда берегом подъезжали к Печерзе, остановились на минутку, выпили по стакашку, запили из ладоней сухонской водичкой, лошадок попоили. И стукнула в голову Степану шальная мысль:

– Ты спрячься, Никита. А я к дому подъеду, ну, и хозяйке твоей наговорю, что утопили тебя в Устюге шпанята, и вот добро только везу, которое от тебя на постоялом дворе осталось. Вот и посмотрим, что на том свете – радость или горе.

Никита не согласился:

– Я только, буди, в сторонку отойду, а то вдруг ей худо будет.

Так и решили.

Никита оделся во всё новое, натянул картуз и обвешался баранками и калачами. Как только кони встали перед калиткой дома, соскочил и отошел в сторону.

Лида выскочила моментально. Пристально взглянула на Степана, ослабляющего на лошади подпругу, и спросила:

– Ты там, на дороге, мужика мово не видел?

– Никиту, што ли? Не видел. Да и ты уж не увидишь,– напуская унылость, промолвил Степан.– Искалечили его устюгские шпанята. Вот что на постоялом дворе евонного было, то привёз. Радуйся, баба. Много тут всякого добра. Я,– говорил мне Никита,– уж не жилец, а ты мужик здоровый, вот и поезжай, приголубь Лидку мою. Да и живите со Христом.

Не поверило бабье сердце. Закричала несуразное:

– Не верю! Ты, поди, убил, да совесть заела! Говори, где мужик? – Побежала в калитку. Тотчас выскочила с вилами, да так и села: перед ней стоял её Никитушка. Разодетый, правда! В баранках весь, но разве можно не узнать родную, чуть застенчивую улыбку?

Сказывали, что Степан увидел в тот момент между ними что-то очень похожее на счастье, но в связи с тем, что раньше он его не видывал, засомневался.

...Шел 1911 год. Грозная туча наседала на солнце с запада. Низовой влажный ветер поднял рябь на сухонской воде. Сам воздух всё более наполнялся тревогой.

...Прошел век, и в его громадности небесные грозы не были так страшны, как грозы земные четырнадцатого, семнадцатого, сорок первого года. Но, видимо, столь велика тяга человеческой души к счастью, что и до сих пор жива легенда о везучем рыбаке, которого щедрая мать-природа наградила неожиданным счастьем в виде огромной сухонской стерляди.

ВАСИЛИЙ СИТНИКОВ

ВЫСОТОЮ БЕЗДОННОЙ ЗВЕНИТ ТИШИНА...

* * *

Тишина, тишина
Опустилась над Родиной древней,
Вдоль разбитых дорог,
По тропинкам прошлась не спеша,
Тихим всплеском огней
Заиграла в окрестных деревнях,
Оживленьем теней
Прошуршала в густых камышах.
Тишина, тишина,
Только месяц на эту равнинность

Ситников Василий Харлампиевич родился в 1951 году в д. Морозовица Великоустюгского района Вологодской области. После службы в армии работал на судоремонтном заводе, был корреспондентом районной газеты, трудился на фабрике «Великоустюгские узоры». Автор ряда поэтических сборников. Член Союза писателей России.

Льёт такой молодой
И такой удивительный свет,
Будто в неге земной.
Он свою отбывает повинность,
Обречённый светить
До конца своих меркнущих лет...
Тишина, тишина
Так волнует заблудшие души,
Тайных смыслов полна
Над просторами талых полей.
Тишина, тишина,
Я мечтаний твоих не нарушу,
Но и ты, в полуснах,
Ожиданий моих не развей...

* * *

Легкий дым ковылей над лугами,
Невесомая зыбь синевы,
Я касаюсь босыми ногами
Переполненной солнцем травы.
Ожигаюсь о глубь поднебесья
В растворенной в лучах тишине,
И какая-то светлая песня
Пробуждается тихо во мне.
Будто вместе с мирской укоризной
Опроверг роковую молву,
Оттолкнулся от всей этой жизни
И почувствовал вдруг, что живу.

* * *

Ты сегодня мне приснилась
Над притихшею рекой,
Даже сон, как божья милость,
Был отпущен мне такой.
Позабылась, изменилась,
Но за много долгих лет

Ты сегодня мне приснилась
В белоцветье давних мет.
Снова сердце раскалилось
На встревоженном огне.
Ты сегодня вдруг приснилась,
И опять не спится мне.

* * *

То звучнее, то тише
Под напором ветров
Дождь трезвонит по крыше
Про любовь, про любовь.
Растекаются струи
По стеклу, по стеклу.
Все твои поцелуи
Не к числу, не к числу.
Обещанья нелепы,
Если кровь холодна.
Изопью для укрепу
Молодого вина.
И уйду по дороге
В эту хмурую жуть.
Ты меня перед Богом
И людьми не забудь.
Это день восходящий,
Что с улыбкой отверг,
И совсем не пропащий,
И пропащий навек.

Щука

Мы целое лето гонялись за ней.
Она, как могла, уходила,
Спасаясь в сплетениях ломких корней,
В оплывинах скользкого ила.
И нас охватил не на шутку азарт,

И вот из мотни обветшалой
Её достает торжествующе брат:
«Ну что, дорогуша, попала...»
Он глянул в ее угасающий глаз
И бросил в глубокую воду,
За то, что сто раз уходила от нас,
За то, что так верит в свободу...

* * *

Подо льдом удивительно чисто.
Рыбья молодь стоит в тишине.
Будто кто-то рассыпал монисто
На песчаном, просвеченном дне...
Подо льдом удивительно гладко,
Отутюжила «складки» вода.
Лишь замоина с цепкою хваткой
Не даёт здесь кидать невода.
Подо льдом, в этой глуби застойной
Чей-то смысл бытия, чей-то «дом»...
Подо льдом так светло и спокойно,
Под моим, нарастающим льдом...

* * *

Пала ночь.
Земля сошла с орбиты.
Разлетелись в прах материки.
Нерожденной жизни на защиту
Яростно вставали старики.
Молодые водку допивали,
Зрелые в безумии тряслись.
Рулевой споткнулся на штурвале,
И корабль стрелой рванулся ввысь.
От земли родимой, от покосов,
Долг забыв и род предав людской,
Мы уходим по небесным плесам,
По вселенской впадине мирской.

Оплевали дедовы иконы,
Запалили отчие кряжи.
Нас не взять ни словом, ни законом,
Потому что было много лжи.
Путь наш млечный время заметелит,
Наш корабль поглотит встречный мрак,
Что ж вы всполошились? Ведь хотели,
Чтобы все извечно было так...

* * *

А. Цыганову

Никуда не пойду,
Кроме леса и поля.
Ничего не возьму,
Кроме легкости дум.
Чтоб душа захлебнулась
Простором и волей,
Растворяясь в дыхании
Трав на меду.
Чистотою наполнены
Синие чаны,
Высотою бездонной
Звенит тишина.
Кто-то к берегу
Возле излуки причалил,
Поднимая песчинки
С холодного дна.
Так легко здесь стоять
Под распахнутой высью,
Не тревожа ничем
Этот сдержанный ритм.
В буйном росплеске трав,
В тихом шелесте листьев,
Языками ветров
С нами Бог говорит...
Не утрачен ничуть

В этой шири безмерной
Исцеляющий дар
Вологодских красот.
Только эта земля
Нас очистит от скверны,
Только эта земля
Нас простит и спасет...

Песни матери

Сколько, старая, мы не виделись,
Не сидели в кругу гостей,
Я не думаю, что обиделась,
Нет обид на своих детей...
Есть бессонье в гнетущей полночи,
Есть тревога в мятущий час,
На приступке, держась за поручни,
Ты всё ждёшь – не дождёшься нас...
Ну а мы, что горох по темечку –
В пьянстве, лихости и гульбе
Прожигаем златое времечко
С нежной думою о тебе...
Приготовив корзины загодя,
Подперев палкой дверь избы,
Ты брала нас с собой по ягоды
И учила искать грибы...
А попробуй унять волнение,
Захлестнуть лиховой огонь,
Когда пели мы до забвения
Под гитару и под гармонь...
И плескали нам гривы конские,
Унося напролом в мечту...
И светил тот костёр, Полонского,
«Искры таяли на лету»...
Уж прости ты за всё нас, милая,
За тужиль, что горчит с лихвой,
Никакой самой чёрной силою

Не затмить светлый образ твой...
И молитвой твоей хранимые
От житейских невзгод и бед,
Знай, что здесь мы с тобой, родимая,
Даже если нас рядом нет...

Прощальное

Р. Балакшину

Мы откроем двери,
В окна впустим свет.
По углам проверим
Всех, кого здесь нет.
Помолившись Богу,
Тихо погрустим.
«Дай нам сил в дорогу.
И за всё прости...
Дай души без меры,
Без краёв – любви,
Самой сильной веры
И благослови:
Нас идти над бездной,
Не свернув с пути,
И тяжёлый крест свой,
Как и ты, нести...»
Ночью на привале
Вспомним в добрый час
Всех, кого мы знали,
Всех, кто знает нас.
Мы вина пригубим
И зажжём огни.
Всех, кого мы любим,
Господи, храни!..
Путь наш млечный время заметелит,
Наш корабль поглотит встречный мрак,
Что ж вы всполошились? Ведь хотели,
Чтобы все извечно было так...

* * *

От любви все в этом мире:
Это взлет и это пламя...
А река все шире, шире
Между нами, между нами.
Берега все выше, выше,
Голоса все глуше, глуше.
Ах, чего ж еще там ищут
Наши души, наши души.
И куда ж еще стремится
Обезжизненное тело,
В исковерканные лица
Кто-то сыпнул очень белым.
Быть шутом чистосердечным
Поздно в бытности угрюмой.
Уж давно о самом вечном
Наши думы, наши думы.
И когда на смертном ложе
Крест положат к изголовью,
Не жалей о том...
И все же –
Помяни меня – любовью.

ВИКТОР ПЛОТНИКОВ

ЗИМА ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО

«Беларусь» сначала ходко шёл, но чем дальше дорога уходила в лес, тем больше петляла между сугробами, под которыми таились ямины от выжженного пожаром торфа. В то горячее лето семьдесят третьего года огонь вплотную подошёл к деревне. Верховой пожар упёрся в широкую просеку и ушёл вниз, но, к счастью, торфяник в этом месте закончился, и огонь удалось забить, да и дожди вовремя приспели. С тех пор змеились здесь одни тропы.

Приезжие вырубали лес в стороне от торфяника, но с каждым годом вырубка расширялась, всё ближе придвигалась к колхозному участку. В прошлых веках

Плотников Виктор Александрович родился в 1950 году в п. Сандово Тверской области. Учился в Ленинградском техникуме авиационного приборостроения и автоматики. Окончил Высшие литературные курсы. Автор трёх книг прозы. За роман «Когда мы будем вместе» удостоен звания лауреата Международной премии им. М.А. Шолохова. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

здесь заготовляли живицу. Многие уцелевшие деревья сохранили на стволах зарубки. Река здесь резко уходила в сторону, и дорога шла вдоль берега, на север, где стояли нетронутые столетние леса. К ним-то и подбирались приезжие рубщики. С востока и запада дремучие дебри повырубили ещё до войны, здесь же, вдоль Смородины, по угорам чудом сохранился вековой клин древнего леса.

Трактор бросало то в одну, то в другую сторону. Свет от фар метался по заснеженному лесу: то утыкался в разлапистые ели, то взлетал и терялся в небе. Кабина задевала ветки деревьев, и на неё сыпался снег, шуршал по железу, разлетаясь веером на сидящих в телеге мужиков. Скоро стало не до смеха. Трактор всё чаще подбрасывало, приходилось хвататься за борт, что не всегда успевали сделать. Когда трактор налетел на крепкий чурак, и Гусев, ударившись щекой о голову Митьки Аникина, взревел от боли:

– Стой, остановись! – заорал благим матом.– Пилы разобьёшь, чёрт этакий.

Скинул рукавицу, попробовал пальцем зуб. Отдышавшись, сплюнул кровяную слюну. Водитель, рыжеватый, крепко сложенный парень, обошёл телегу, постучал ногой по колёсам, заглянул через задний борт:

– Живые?

– Живые. Язык вот прикусил. Куда гонишь? Людей везёшь, не скотину. Того и гляди за борт вылетим. До сих пор искры летят.

Парень заприплясывал, отшагнул в сторону. Зажурчала струйка воды, пробивая снег.

– Кто хочет оправиться, выпрыгивай. Больше не остановлюсь,– насмешливо прищурившись, снова заглянул за борт. Осмотрел сбившихся у переднего борта мужиков.– Нет желающих? Тогда вперёд.

– Кто такой? – Гусев всё ещё трогал зуб, морщился от боли.

– Да Верки Кашиной, недавно отслужил,– Аникин привстал, поправил пилы и тут же ткнулся носом в

колени Гусева. Трактор дёрнулся, но пошёл плавно, без рывков, с хрустом давя мёрзлые сучья.

– В темноте и не разобрал. А где Маслов, кто на трелёвочнике будет?

– Сашка Кашин и будет. Федька отпросился, говорит, в район надо. Он до армии трактористом работал, справится.

На расчищенной площадке загнали «Беларусь» в сторону. Гусев послал Белова разжигать костёр. Заготовленный валежник лежал на краю неглубокой впадины. Михаил спустился вниз, утоптал снег, набросал кучей наломанные палки.

– Александр! – Гусев махнул рукой возившемуся у трелёвочника Кашину.– Тряпку смочи солярой, неси сюда. Сейчас враз вспыхнет.

Огонь полыхнул и разом накрыл сучья. Пламя поплясало по дереву и угасло, но всё же зацепилось за тонкие ветки, и они тихо запотрескивали. Языки пламени подобрались к бересте, и она живо принялась, выгибаясь от жара. Всё яростнее огонь облизывал сучья, всё громче трещал костёр. Наконец огонь успокоился, дрова загорелись ровно, выбрасывая жар к столпившимся мужикам.

– Ты, Михаил, помоги Максимычу, нашему повару. Заготовь валежник, лапника натаскай, чтобы сидеть. Осмотрись,– заметив обиду, успокоил.– Ещё намахаешься пилой, не всё сразу, сучья обрубать будешь. Пёхальщиком поработаешь, а потом и пилу в руки возьмёшь.

Мужики разбрелись по делянке, радуясь неглубокому снегу. Настоящих морозов ещё не было. Снег рыхлый, но в лесу, с ночи, прихвачен морозцем, и наст хрустит под ногами, пластами колется, как весенний лёд по закрайке. Заутаптывали у деревьев, проделывая тропки в разные стороны: если что, отскочить успеть. Кашин позвал Белова, сгрузили с телеги фляги с водой. Михаил наполнил ведро и водрузил над костром. Пока вода закипала, Кашин разжёг в другом ведре щепу с промасленным тряпьём, подсунул под двигатель трелёвочника.

Пролил радиатор, наблюдая, как горячая вода дымной струйкой бежит на снег. Вскоре тарахтенье заполнило лес, смешиваясь с повизгиванием пил. Михаил смотрел, как вздрагивают деревья, роняют струйки снега – сыпью летит молочная завесь, тихо стелется на землю. Взор приковала большая ель. Внизу, полусогнувшись, Гусев аккуратно врезал пилу в толстый ствол. Плавно вгонял цепь, слегка покачивая пилу, словно ласкал, как ласкают хряка, прежде чем полоснуть по горлу острым ножом. Рядом наготове стоял Аникин, чтобы вовремя упереться шестом в дерево и направить падение в нужную сторону. Знобко дрогнула ель. Шапка снега скользнула с вершины, обрушая с лап снежные комья. Ветки освобождались от тяжести, резко выпрямлялись, словно выстреливали пыльные остатки в воздух. Обвалом покатилась вниз снежная лава. А ветки всё выстреливали и выстреливали, туманом крыли пространство. Среди треска работающих пил беззвучно ухнул снег на землю. Рассеялась пелена, и перед Беловым предстала огромная ель: вечно зелёная, раскинувшая разлапистые ветки во все стороны. Вот-вот выйдет из-за неё Дед Мороз и громовым голосом поприветствует пришедших в его родные пенаты. Слегка наклонилась ель и замерла. И вдруг словно вздохнула, и пошла валиться, с грохотом подминая под себя подъельник, освобождая небесную даль, где над лесом приподнималось солнце – мутно сияло, тянуло лучи к падающим деревьям, освобождающим насиженные места. Взрывной волной метнулась пороша, снежной моросью обдала лица вальщиков.

– Видал, какая великанша?! А как завалил, аккуратно легла,– Гусев рассмеялся, перекидывая «Дружбу» с одной руки на другую. Оттеснил подошедшего Белова.– Дай, я нижние ветки отсеку.

Взревела пила, и Леонид, взобравшись на ствол, ловко стал срезать сучья. Аникин стоял, опёршись о шест. На конце высохшей тычины поблескивала железная вилка. Между рожками застрял кусочек еловой коры. Белов с трудом оторвал взгляд от тускнеющей блёстки.

– Ты, Митяй, как копьеносец.

Не уловив насмешку, Аникин ответил серьёзно:

– Лес, Миша, шуток не любит. Здесь как на войне, зазеваешься, голову оставишь. Сам знаешь, на валке за долгие годы не одна женщина вдовой стала.– Хватит болтать, тащи лапник к костру.

Гусев продрался сквозь ветки и, проваливаясь по колено, заспешил к натоптанному месту у следующего дерева.

К обеду выделенный участок изрядно полысел. Рубщики сучьев не успевали, и вскоре вальщики присоединились к ним. Нужно было подготовить работу для тральщика – очистить стволов как можно больше. Гусаров вначале с сомнением смотрел на молодого Кашина, но быстро убедился в ловкости парня. Александр, как опытный лесоруб, прошёлся по боковому валку, похвалил ровно наваленный лес, чем привёл Гусева в изумление:

– Он меня ещё хвалить будет! Да я с закрытыми глазами вершину на просеку положу.

Александр добродушно хлопал рыжеватыми ресницами и примирительно улыбался. Вначале отказался работать без чокеровщика, но Гусаров уговорил:

– Завтра найдём помощника, сегодня без запарки, сам справишься.

Кашин толкал трелёвочник к поваленным деревьям, выпрыгивал из кабины и набрасывал трос на вершину. Царскую ель увёз одну. С трудом заволок на щит и медленно, чтобы не сорвать трос, тащил к самодельной эстакаде – неглубокой траншее метров тридцать длиной.

У костра кашеварил крепкий ещё старик Дюков Павел Максимович из Сулоихи. Он всегда напрашивался на валку, особенно любил дальние лесосеки, чтобы с ночёвкой, в наспех срубленной избушке. Что удивительно – никогда не мёрз. И сейчас, в распахнутой фуфайке, с широко расстёгнутым воротом, ловко нарезал картошку в котел. Из-под крышки вырывался запах варёного

мяса. Вода медленно бурлила, не выплёскивалась за край. Всю площадку вокруг костра обтоптал, разложил лапник толстым слоем. За добросовестность мужики его уважали, охотно брали поваром. Варилось только первое. Нахлебаются мужики, кипяточку в кружки нальют, заварки, каждый свою, сыпанут и снова за работу. Павел Максимович старательно сполоснёт за всеми миски, протрёт чистой тряпицей и по сумкам разложит, никогда не перепутает.

К средине дня Белов изрядно устал. В полушубке неуклюже переползал через заледенелые ветки, мешкался в еловых лапах. Виктор Иванович предупреждал, но Татьяна настояла, и вот потел Михаил под насмешливым взглядом Лёньки Гусева. Пробовал расстегнуться, но ещё больше в полах путался. Иззябшие пальцы с трудом удерживали топор. Присел на лесину, и стал смотреть, как трелёвочник вытаскивает на просеку четыре берёзы. Одна застряла и её стало выгибать в дугу. Не понимая опасности, Михаил продолжал смотреть на гнущуюся берёзу. Он видел, как морщилась заледенелая кора на изгибе, как дерево всё больше походило на натянутый лук, и вдруг она лопнула. Прежде чем услышать свист рядом с головой, он видел, как медленно расщепляется ствол, лучиной щеперится место слома. И тут же обдало морозным воздухом, опалило щеку. Световой поток яркой вспышкой вспыхнул, стеганул по сознанию. Как черту провёл между бытиём и небытиём. Михаил даже не понял, что просвистело рядом с головой. Тупо продолжал смотреть на сломанную берёзу, затем повернулся и также тупо посмотрел на берёзовый, метра в полтора, обломок, торчащий из снега за спиной. Трактор свободно рыкнул и не спеша пополз по просеке. И только сейчас до Белова дошло, как близка была его смерть. Белов осмотрелся. Ничто в мире не изменилось. Никто не заметил происшествия. День разгорался. Солнце поднялось над лесом, катилось в мутной поволоке навстречу голубеющему небосклону. Лёгкий морозец окреп, предвещал ясную погоду.

Михаил продолжал машинально отсекать ветки, сам же непроизвольно думал о случившемся. Яркая вспышка сохранилась в памяти, словно из-за предела явилась, рубеж наметила. Только что он мог исчезнуть с этого света. Искорёженное тело здесь, а он, его сущность, в ином, неподвластном ему мире. Казалось, сама природа предупредила: есть грань, за которую не заглядывай. У неживой природы свои законы. Здесь твоя сила, там – нет твоей воли. Растерянность проходила. Белов всё ожесточённей взмахивал топором. Страха не было. Где-то существовала жизнь, иная, но жизнь, предназначенная для души, но не тела. Всё внутри протестовало. Решимость заглянуть за грань и одновременно остаться на этой стороне только окрепла. Он не хотел ощущать себя невольником времени, он хотел быть вне его; но не пучком энергии, а человеком. Он хотел быть там, как здесь.

Громкий лязг наполнил лес. Дюков колотил железным прутом по пустому ведру, сзывая на обед. Гусаров пошёл первый, за ним потянулись остальные. По заведённому порядку в лесу беспрекословно слушались старшего. Прореженный участок, истоптанный вдоль и поперёк, походил на поле боя: взрытый снег чернел от прутьев, подмятого подроста. Как ни старались аккуратно валить, но всё же молодого леса наломали. Увидев, как Гусаров огорчённо осматривается, успокоили:

– Василий, подготовим делянку к сдаче, не впервой. Сожгём всё лишнее, трактором закатаем, леснику плеснём и примет за милую душу.

Гусаров только огорчённо вздыхал. Поманил пальцем Кашина:

– Не видишь стволов? Почему пропускаешь, лень с просеки съехать?

– Василий Александрович, посмотри, какие пни торчат. Я же вмиг гусеницу сорву. Подрежьте, и всё выволоку.

Крыть было нечем, Гусаров только крякнул. У костра не сразу повалились на лапник, постояли кружком,

вытянув руки к огню. Кто не поленился, принёс спиленный пенёк и восседал на нём, пристроив на коленях миску. Гусев отобрал половник у Дюкова, и сам налил себе, вытащив из котла кусок мяса побольше.

– Лёнька, другим оставь! – мужики запротягивали миски Гусеву, но он уже вернул половник.

Павел Максимович суетился, выкладывал на блюдо парную телятину.

– Всем хватит, ешьте, работнички,– поддевал черпаком со дна гущу и ловко разливал в подставленную посуду.

Первые минуты ели молча. Насытившись, толстый, рыхловатый Копотилов с Раменья зашмыгал носом, заоглядывался, к кому прицепиться. Остановил взгляд на Митьке, недавно женившемся.

– Вот ты, в лесу, как бездомная собака шатаешься, а жена дома. А если сосед в гости придёт? Знают, что ты из леса не нагрянешь, неожиданности не будет. Вот каково тебе такая мысль? – Парень никак не среагировал, не спеша продолжал есть. Копотилов усилил давление.– За молодухой глаз да глаз нужен. Она сейчас в охотку входит, ей только подавай, всё мало.

Мужики притихли, ожидая развязки. Митька вздохнул, с сожалением осмотрел Копотилова:

– Ишь, как тебя ломает. Сразу видно, бегала от тебя жена, вся голова шишками проросла.

Все рассмеялись. Копотилов громче всех:

– Эх, Митяй, комолый я, безрогий. Мне за всю жизнь никто не изменил. Не было у меня жены и нет, так перебиваюсь. Охочих хватает. А ты ухо держи востро. Жена, как ветер, может подолом весь дом растрясти.

– Ты, Семёныч, язычок попридержи. Не каждая шутка забавой кончается.– Ишь, горячь. Остынь. Я, Митяй, человек весёлый. Если обидел, прости. Давай, Максимыч, плесни кипяточку.

Остальные так же, не вставая, запротягивали кружки. У Белова от разговора всё нутро стянуло. Если бы

такое ему сказали, весь суп на голову Копотилова выплеснул. Мужики же, привычные к таким подковыркам, только посмеялись.

С обеда лес снова наполнился шумом: трещали пилы, ухали о землю падающие деревья. В прореженном пространстве хорошо просматривались заснеженные арки – согнутые под тяжестью снега тонкоствольные берёзки. Они походили на свадебные дуги, приглашая пройтись под ними и навеки соединиться для общей жизни. Красотой и покоем веяло от сводчатых переходов. Пройди под ними и исчезнет из души раздражение, и деревья, как помолвленные с человеком, забудут обиды, и исчезнет зло, и будет всеобщим духовное зрение, которое объединит живое и неживое. Потому что нет неживой материи, есть только жизнь, вечная для всех.

Только-только заискрился снег, но уже лёгкие, едва заметные сумерки пригасили блёстки. Солнце угадывалось за лесом, простреливало небо светлой полосой. Уши к вечеру стало прихватывать, и Белов распустил ушанку. Первый заглушил пилу Гусаров, за ним заглохли и другие пилы. Дюков не затаптывал костёр, ждал, когда выкурят у огня по последней сигарете и полезут в тележку: забьются к переднему борту, прижимаясь друг к дружке, пытаясь сохранить тепло. Ехали обратно молча, смотрели на небо, присыпанное мелкими звёздочками. Лес как-то разом потемнел. Дальние деревья стали терять очертания, сливаясь в конце дороги в сплошную черноту.

Ночью Белову снилась вспышка света. Яркое яростное пятно тревожило дух, возбуждало, не давая покоя. Михаил вздрагивал во сне, беспокойно ворочался. Прижимался к Татьяне и затихал на мгновение, но вновь выпрастывал руки из-под одеяла, которым заботливо укрывала Татьяна. Пятно пульсировало, водопадом изливая свет внутри себя. Оно требовало действия, взывало к осмыслению того, что таилось в нём и в той темноте, откуда оно зарождалось. И словно вопреки, из той же темноты, выплывал не уступающий по силе

другой свет, но спокойный, умиротворяющий. Он не был рождён, как тот, яростный. Он словно существовал всегда, был изначально, и был той самой темнотой, откуда появлялся беспокоящий душу свет. Откуда-то возникла комната Волотова. Самого Сергея Петровича не было. Михаил одиноко стоял, боясь пошевелиться. На него смотрели с иконы ясно-голубые глаза. Взгляд Михаила тонул в изливающейся голубизне, и в этой небесной синеве плыли два световых потока. Они не противостояли друг другу. Но без каждого из них мир был не полон.

Утром Михаил проснулся на удивление хорошо отдохнувшим. На кухне, ссутулившись, плескался под рукомойником Виктор Иванович. Уступил место, размашисто вытирая суховатую грудь и длинные, сухопарые руки. С лёгкой улыбкой смотрел на зятя. Вечером не удалось поговорить. Распалённый морозом, Михаил не долго хорохорился, ещё во время ужина сонно заморгал. Кратко доложил об ударно проделанной работе и был уведён Татьяной спать. Оглядывая мускулистые, уже по-мужицки наливающиеся плечи, спросил у Михаила:

– Как вчерашнее, руки не отвалились?

– Поначалу занемели, а потом ничего, отпустило.

Михаил пожамкал ладонью, сжимая и разжимая кулак. На плите скворчала на большой сковороде яичница. Вышла Татьяна, прислонилась к косяку, но тут же вернулась к завозившейся в кроватке дочери. Плотно позавтракав, Михаил сунул в карман фуфайки пакет с заваркой и хлебом. Замешкался у порога, натягивая валенки на шерстяные носки ручной вязки. Поцеловал вновь вышедшую Татьяну. Выглянула с кухни Вера Петровна. Почувствовала неловкость Михаила, ушла обратно. Татьяна смотрела долгим немигающим взглядом, словно пыталась понять ночное беспокойство мужа. Приоткрытый рот мерно выталкивает дыхание. Доносит до Михаила давнее, волнующее, молочно-парное...

– Пошёл я...

Прикрывая дверь, уже из сеней, ловит ласкающий, тёплый взгляд.

Улица встретила непроглядной темнотой и снежным скрипом. Светились кухонные окна Гусева и Гусарова, тени оконных рам кривились на сугробах под стенами. Ветерок ожёг лицо. Ноги заспотыкались на заледенелых колдобинах. Пришлось мельчить шаг, пойти по наезженной колее; хоть и скользко, но твёрдо. Над головой стояла такая же темень, что и под ногами. Вдалеке горела у правления лампочка, доносились приглушённые голоса. Кто-то хрипловато рассмеялся. Тарахтел «Беларусь». Белов ускорил шаг, подозревая, что все уже собрались и ждут его.

В Сулоихе подобрали Дюкова и подошедшего с Раменья Копотилова. К этому времени блёклый свет процедился из-под облаков. Не осветил землю, но настроение поднял, и мороз как будто ослаб. Прямился, едва прорисованный во мгле, дымный столб. Деревня стояла на отшибе от основной дороги. Из двадцати домов жилых осталось меньше половины, да и в них одни пенсионеры. В конце восьмидесятых молодёжь резко стала сниматься с родных мест, старалась укрепиться в городах. Всё вспаханное засевалось, но не всё успевали убирать – мелели бригады от безлюдья.

Исчезли за поворотом освеченные фарами окна крайнего дома и сразу потемнело – въехали в лес. «Беларусь» заболтало из стороны в сторону. Трактор, фыркнув, сбросил ход. Ветер стих, застрял в ельнике. Запрыгали над головой верхушки деревьев. Нетронутый следами снег стелился по обе стороны от дороги. Вспугнутый приезжими лесорубами зверь ушёл дальше в тайгу.

Гусев вдавился в борт, затолкал локтём Михаила:

– Полушубок на фуфайку сменил?

Михаил не ответил, полуотвернулся от весёлого Лёнькиного лица. Никто не поддержал разговора. Все сбились к переднему борту. Громыхали в ногах коровьи цепи, брошенные в телегу для стяжки стоек в трактор-

ных санях. Лиц не было видно, только из-под приподнятых воротников вырывались струйки пара. Лёгкий снежок, сдуваемый встречным потоком воздуха, слетал с кабины, сыпался на бригаду. Крыл белой порошей стеснившихся друг к дружке людей. Из плотной массы краснел огонёк сигареты: то ярко разгорался, то тускнел. Вскоре совсем рассвело. Зашевелились, охлапывая снег. «Беларусь» внезапно дёрнулся и остановился. Непривычную тишину разорвал весёлый голос Кашина:

– Приехали, лесорубы. Освобождай телегу.

Там, где недавно сосны и ели упирались в небо, сквозило пустым пространством. Только уцелевший подлесок клочьями возвышался над взрытым, словно плугом вспаханным снегом. Вершинник, обрубленные сучья, пни покрывали образовавшееся поле на месте ещё вчера шумевшей рощи. Распиленные и рассортированные ели, сосны, берёзы с осиной штабелями возвышались над траншеей. Не успели вальщики взяться за пилы, как с шумом на просеку въехали друг за другом два трактора. Передний сразу, не останавливаясь, вогнал сани в траншею. Ругаясь, на встречу бежал Гусаров:

– Леший, а стойки, что же нам корячиться?

Тракторист, не глуша двигатель, приоткрыл дверцу, оскалил зубы в улыбке:

– Поставите, ребята, не в первой...

Гусаров отрядил на погрузку троих покрепче мужиков. Поколебавшись, отправил к ним и Белова. Сам принялся помогать устанавливать вырубленные из вершинника стойки. Приехавшие трактористы стояли в сторонке, рассматривали наваленные деревья.

– Смотри, три семёрки из ствола. Я уж думал таких и не бывает. У приезжих всё больше две шестёрки. Недаром к Смородине выворачивают. Молодец председатель, как и выбил этот участок?

Гусаров отмахнулся, мол, и не говори, пришлось побегать. Зло процедил:

– Свой лес, а не выпросишь.

Копотилов сноровисто вколотил стойки на вторых санях. Белов помогал, придерживал крепкие брёвна.

– А почему с одной стороны?

– Чудак, а грузить? Не через стойки же кидать.

Кашин подогнал трелёвочник, ножом упёрся в длинномерки.

– Стой, мать твою за ногу... – Копотилов подбежал к зашевелившемуся штабелю, выбил клинья из-под нижних брёвен. Ловко отскочил в сторону.– Давай!

Кашин недовольно качнул головой, аккуратно надавил. Брёвна начали скатываться в сани, упирались в стойки, ложились друг на друга. По знаку Копотилова трелёвочник сдал назад.

– Ну, мужики, включаем пердячий пар.

Вчетвером попытались накатывать еловые «семёрки», но быстро выдохлись. Пришлось звать на подмогу. Приехавшие трактористы только посмеивались:

– Давай, ребятушки, ухнем... сама пойдёт... сама пойдёт...

С трудом выровняли ряды, забили стойки с другой стороны. Стянули коровьими цепями. По лагам накатили сверху ещё ряд, прижали цепи.

– Ну, с Богом, освобождай место.

Трактор не спеша выдернул из траншеи сани, пополз по волоку. Вторые сани загрузили быстрее. Перекурили у костра. Подошли и вальщики. Гусаров не дал долго прохлаждаться:

– С обеда приедут. Трелёвочник опять отвлекут, надо поднажать.

– Думаешь, обернутся?

– Дорога ровная, должны успеть две ходки сделать,– и словно благословил: – Лес нас поддержит, спасёт...

Гусаров вышел на просеку. Проводил долгим взглядом уползающий трактор. Дорогу проложили от деревни до участка по торной тропинке, в обход завалов гниющего валежника, торфяных ям и заболоченных мест. В этом направлении не было больших подъёмов и спусков, и трактор ходко тянул гружёные сани. От-

полированные полозья – два мощных сосновых бревна с затёсанными концами – без рывков, натягом катились по проложенной колее. На повороте трактор замедлил ход, и было видно, как тракторист вывернул голову, оглядывая брёвна – не тронулись ли с места. Мёрзлые стволы, как налимы, в любой момент от тряска могут вперёд скользнуть. Не успеешь моргнуть, как бревно в кабине окажется, стёкла и железо только взвизгнут. А на хорошем нырке, не дай Бог, нижний ряд заденет землю и весь воз на дорогу сдёрнется. Трактор скрылся в кустарнике, только тарахтенье ещё долго доносилось из перелеска.

Заработали пилы, с визгом вцепились зубьями в древесину. Опилки плотной струёй забились о ноги вальщиков. Снова задрожали верхушки деревьев, сбрасывали снег и валились по обеим сторонам пасеки. Белов сноровисто махал топором, не крошил, как вчера, щепу, втыкал лезвие в одну точку, и ветка отсекалась за два-три удара. Тонкий надсадный звук беспокоил, не давал сосредоточиться на чём-то важном. Мысль путалась, обрывалась и вновь билась о невидимую преграду. Ещё вчера это место дышало красотой и покоем. И как затих лес, когда наполнился человеческими голосами. Сразу ли почувствовал опасность или всё же надеялся на единение добра, которое заложено в природе и человеке. Вопрос: подвластна ли природа или равновелика человеку? для Михаила не стоял. Он верил, что человек существует не для усмирения, а гармонии мира.

С ободранными боками стояли уцелевшие тонконогие сосёнки и ели. Смирились перед человеком. Но вчера кажущаяся кротость вдруг сменилась «выстрелом» – огрызнулась природа на зло, выплеснула грозную затаённую мощь.

Резко пахнуло угаром. Дюков навалил на огонь лапник и тот трещал, выбрасывал густой едкий дым. Порыв ветра погнал серое облако вдаль, закрутил в еловых зарослях. Казалось, там выплясывает нечто, похожее на ломаную человеческую фигуру. Странный

и одновременно завораживающий танец то вырывался на открытое пространство, то снова забивался в лапник, оставляя за собой рваные космы. Жутью веяло от того танца, как будто нечто закруживает, вбирает в себя пространство, хочет смотать в одну точку и поглотить его. И нужно было защитить сотворённое, но как это сделать, Михаил не знал.

Белов дует на озябшие пальцы, следит за танцем. Отвлекается на крик Гусева. Снег изрыт многочисленными вытоптанными тропинками. Михаил пробирается в глубь участка, где уже навалены деревья, и Гусев недовольно смотрит на Белова, кивает головой на трелёвочник, у которого стоит помощник и ждёт, когда можно будет накинуть чокеры на подготовленные стволы. Белов бьёт топором по сучьям. Лезвие отскакивает от мёрзлых веток, сбивая кору. Топорище проворачивается в ладонях, и Михаил едва не роняет топор. Приноравливается и снова замахивается. Теперь лезвие идёт точно в цель, выворачивает желтоватый сучок наружу. Работа затягивает, и Белов, забыв о наваждении, ритмично машет топором. Взревел трелёвочник, утягивая на кряжовку зачищенные деревья. По краю валка пробирается Дюков, затаскивает в отстроенный сарай чурбаки, расставляет вдоль грубо сколоченного стола. Время близится к обеду, и над костром вовсю парит котёл, расточает запах свежевываренного мяса.

Дальний конец просеки тонул в мглистой белизне. Кудрявились в инее верхушки деревьев, образуя на фоне неба бесконечный резной узор. Солнце к обеду разогнало марево, выкатилось над лесом по-летнему. Из неясно очерченного сгустка превратилось в ярко-жёлтый диск. Михаил щурился на свет, охлапывал меховыми рукавицами налипший к брюкам сор. По снежным тропинкам мужики потянулись к костру. В ясный день в сарае без печки никто не захотел обедать. Все пристроились на вчерашнем лапнике поближе к костру. Встряхнули заснеженные ветки и полулёжа курили, молча разглядывая огонь. Боевое настроение сменилось безразличием.

Вечером пришла новость – леспромхоз не принимает древесину, быстрых денег не жди. Гусаров поразминал заскорузлые от мороза рукавицы, подтолкнул к огню. Растолкал языком ссохшие губы, приободрил мужиков:

– Заходил я к председателю. Решили гнать машины в областной центр, это дольше, но можно больше выиграть. В леспромхозе куб леса восемьсот рублей, а у перекупщиков – тысяча и больше. Алексеич звонил на Украину, там тоже лес нужен, но за бартер: сахар, масло, запчасти. Даже топливом готовы поделиться.

Копотилов пошевелил прутом в костре, криво усмехнулся:

– Украина... расхлебенили рот. Пошлёшь вагоны с лесом, а обратно – шишь. В такой неразберихе концов не сыщешь.

Гусаров не обиделся, только вздохнул. В разговор вмешался Дюков:

– Деньги нужны. У нас хоть нерегулярно, но пенсия на двоих шесть тысяч, а и то жить не просто. Хозяйка на днях купила десяток яичек, а одно оказалось гнилое, дак заревела даже. Я ей, дура, нашла о чём плакать. А каково молодым с дитями, им то как? Сразу успокоилась.

Гусев молча тянул сигарету, сдержанно ухмылялся:

– Что-то вы разохотились, на пять-то тысяч кубов.

– Где пять, там и семь, не знаешь, что ли? Дальше лес стоит без подлеска, частокол великанский, без просвета стоят. За реку уйдём – там дебри неохватные, только успевай возить.

Мужики оживились, заиграла в глазах надежда. Мяли припухлыми, пожелтевшими от никотина пальцами дешёвые сигареты. Пустошь перед глазами, лишь земля стелилась зелёным лапником, крылась кужлявой красотой. Дюков взболтал варево черпаком, постучал по кромке котла:

– Ну, кто первый?

Все посмотрели на Гусева, но тот равнодушно ковырял пальцем зелёные иголки, не торопился опередить.

Перевёрнутая миска лежала рядом. Поднял голову, увидел смешливое ожидание, сам улыбнулся. Гася улыбку, серьёзно заметил:

– Павел Максимович, старшой оголодал, ему первому. Смотри, как посуду тянет.

Гусаров действительно держал блюдо на вытянутой руке. Искоса глянул на Леонида, но ничего не сказал. Дюков уже наваливал ему куски тёплой говядины.

– Ишь, не улыбнётся. Ты, Василий, не думай, мы с Максимычем куски мяса считаем и не дадим утаить ни ребра, ни копыта от того телёночка, что председатель тебе на общество отвалил.

– Что ты, Лёнька, городишь. Александрович, не слушай его, по-пустому скалится.

Мяса на лесозаготовки председатель никогда не жалел. Закалывал молодых крепких телят без сожаления, лишь бы работа шла. Поэтому на глупую шутку никто не обратил внимания. Гусаров потемнел лицом, но тоже не среагировал. Поглядывал на Аникина. Дмитрий поскучнел от разговора о деньгах. Ел вяло, через силу. Когда разливали кипяток, как бы в воздух, ни для кого, заметил:

– В месяц на молоко и хлеб нужно две тысячи, я зарабатываю четыре и то не каждый месяц, жена сидит с ребёнком, а шубка зимняя, на годовалую, стоит шесть тысяч. И как жить?

– Придётся потерпеть этот период...

– Да сколько же периодов терпеть? То один, то другой... – Копотилов в сердцах толкнул от себя кружку. Обжёгшись, задул на пальцы.– Вот ты, Митяй, партию ругал, а на ней всё держалось. Когда Семёнов секретарил, он решал вопросов не меньше, чем председатель. С утра по бригадам мотался. А когда по просьбам трудящихся уменьшили партийные взносы, пенсионеров вообще от взносов освободили, от государства помощь убрали и денег у партии не стало. В результате секретарей оставили без зарплаты. Помнишь, как все зубоскалили, когда Семёнов вернулся в агрономы, а потом вообще уехал. А чем обернулось, лучше стало?

Потрескивал огонь, кидал искры в холодный воздух. Затекли, охолодели бока и все как-то разом зашевелились, привстали на коленки. Лица, разгорячённые огнём, разрумянились, разгладились от тепла. Растаявший снег повис каплями на сдвинутых на затылок шапках. Гусаров, обеспокоенный, как бы у бригады совсем руки не опустились, широко улыбнулся:

– Помните, как Бабаев на огороде партбилет жёг?

Дед Василий, узнав о запрете на компартию, решил, что грядут репрессии почище тридцатых годов. Не сказав жене ни слова, забился в дальний угол огорода и там, отрывая листочки, сжёг документ, растирая пепел, чтобы и следов не осталось. Но на его беду подсмотрела это действо ребятня и разнесла по деревне. Долго кричала Оксинья на мужа:

– Старый дурак, кому ты, пенсионер, нужен?!

На что дед Василий вздыхал и пришёптывал: «Бережёного Бог бережёт».

От громкого смеха, невесть откуда взявшаяся стайка синиц, пылью метнулась в заросли. Белов увидел только взметнувшееся белое облачко сыпью падающего снега. Снова взвизгнули пилы, затарахтел трелёвочник, накрыв дальний рык возвращающихся тракторов. Проваливаясь по колено, Михаил подбирался к лежащей сосне, раскинувшей корявые, словно изломанные ветки. Путь перегородила нагнувшаяся лесина. Михаил смахнул обухом шапку снега, и берёза со скрипом выпрямилась, плеснула перед глазами мёрзлыми ветками. Солнце заметно склонилось, холодной синевой отливалось небо. Всё громче гремели приближающиеся трактора. Торопясь до их прихода окарнать дерево, Михаил взобрался на комель и с хрустом вонзил топор в толстый наплыв вокруг сучка.

Как Гусаров и предполагал, трактора успели обернуться, и после обеда отправили ещё под сорок кубов леса. Белов прислушивался к тракторнуму шуму, стуку топоров, хрясту падающих деревьев. Ширилось пространство, расстилалось заснеженным взрытым полем,

заваленным вершинником – скоро будет неохватно глазу голое место, загуляет ветер, заметёт позёмкой равнину, лишь далеко по закраинам завиднеется лесок; вольно зрению да тесно душе. Ярко осветит солнышко окрестность, а под снегом вповалку древесное трупьё лежит. Весной ручьи сбегут и откроется взору чёрный валежник – ни пройти, ни проехать. Было краснолесье, а станет чернолесье – обгорелый подрост, обугленные пни, чапыжник да разсоха. Прольёт солнце живоносный свет на место, где когда-то заветная роща стояла, а на том месте мертвенная тишина – не пожаром выжжена, человеком вырублена. Не для того, чтобы земле на долгие века жизнь дать, зерно посеять, а для собственного удовлетворения нужд. Изгадили, чтобы один раз сытно поесть, а дальше – трава не расти. Леса много, можно не один год пакостить. А без леса и человек исчахнет. Затуманится разум, мраком душа укроется, стужей сердце охватится – исчезнет любовь, один расчёт останется. Некому будет в заповедных местах вещее слово сказать. Прервётся связь между землёй и небом, ледяным панцирем жизнь укроется, и там, где от слова началось, без слова всё и закончится. Но пока только тень надвинулась от тучи приближающейся. Льёт лучи солнце, греет землю, не даёт остыть душе человеческой, забыть свой род, свою родину. Собственным светом тучу сдерживает, животворным покровом укрывает, напоминает, что от рода всё началось, от праотцов, что были народом, а не животным скопищем. Здесь не просто лес, священная роща стояла. Пока церковь не поставили, пели молитвы солнцу ясному, кланялись звёздам – свечкам небесным, славили небо-батюшку, землю-матушку, и был род для людей подножием крепким, на том подножии Христос стоял... Было да быльём поросло, скрылся от глаз людских древний Китеж-град.

Неуютно Белову, маята на сердце. Хочется оторвать взгляд от взрытого снега и смотреть в голубеющее, но уже с густеющими по горизонту снеговыми облаками, небо. Тёмно-серые облака сбивались в кучу, грудились

над лесом. Снизу наплывал дымный тягучий след, похожий на брошенный посох. Облака медленно вздувались, вытягивались в фигуру, напоминающую древнего Бога у пустеющего престола. Невольно подумалось: «Сейчас поднимет оброненный жезл да как вдарит в землю по людишкам: не балуйте, помните, от кого пошли, чей образ носите». Солнце заплывало в облачность, топило свет, окрашивая края пунцовыми прядками. Усиливался ветер, гнал мелкий мусор по просеке. Запорхали снежинки, заласкали лицо, всё больше увеличиваясь, и наконец повалили хлопьями, застилая воздух белой пеленой. Неожиданно смятение накрыло лицо Белова. Ещё ничего не услышав, голова выворачивалась сама по себе, выплывала на край глаза неестественно застывшая сосна. В неё, упёршись шестом, выкатив глаза, без шапки, налегал всем телом Аникин. Приоткрытый рот косился на сторону и оттуда тягуче-тяжко хрипело:

– Ми-и-ишка-а...

В подпиле дерева торчала пила, под ней, полулёжа, кроша руками снег, пытался отползти Гусев. Не осознавая случившееся, Белов метнулся к сосне, в два прыжка преодолел расстояние, и с силой навалился на шест, пытаясь дать наклон дереву на просеку. Сосна стояла вертикально, словно раздумывала, куда ей повалиться. Порыв ветра ослаб, и она нехотя качнулась от шеста.

– Пошла-а-а... – также кривя рот, пуская слюну по губам, захрипел Аникин.

Дерево сначала медленно, затем всё быстрее, роняя снежную пыль, обрушилось на просеку.

– Ветер, зараза,– поднимая упавшую пилу, выругался Гусев,– чуть не зашибло. Как пилу зажало, я – в сторону, голос пропал, я Митьке чуть не шёпотом – бросай...

– А я вижу у Лёньки нога подвернулась, как бросать, я давлю, а она как вкопанная... хорошо Мишка подскочил... – Аникин возбуждённо подёргивал плечами, глаза радостно сверкали. Он переводил взгляд с лежащей сосны на Гусева, на Белова и снова на сосну. И всё повторял: – Я давлю, а она как вкопанная...

Густела облачность, волной катилась по небосклону. Изредка в прорехи выбивался слабый луч, сползал по наплывающим облакам, выбеливал дымную тучу, куполом вздувающуюся над лесом. Всё это клубилось и неслось по небу, плотно закрывая последние алые отблески. В затихшем воздухе отвесно сыпались белые хлопья. Бригада потянулась к «Белорусу». Лица у всех от мороза зарделись до коричневости, словно подпалинами щёки прихватило; распаренные, они походили друг на друга. Шапками заобколачивали с себя снег. Кто-то полосовал пилой только что привезённую пачку хлыстов. Кашин отогнал трелёвочник в сторону, и в распахнутой фуфайке шёл сквозь снежную занавесь. Мутновато белела просека, ближним концом утыкалась в кусты, за которыми не проглядывалась дорога, лишь слабый завиток сугробов метил невидимый тракторный след, дальний её конец пропадал в пороше и там, за снегопадом, таилась бесконечность. В ней тонула неясная полоска леса – дверь в неведомую страну. Сыплет снег, и в этой круговерти проступает продолговатое белоснежное чело, спадают на плечи русые волосы и чудным светом сияют синие глаза. Призрачное лицо едва угадывается в метели. Уголки губ скорбно сжаты. В них затаилась усмешка и немой вопрос: чем мы провинились, что вы забыли о нас, о нашей истории, о нашей вере...

Тихо в деревне. Разгораются звёзды на небе. Льёт сверху сумрачный свет луна. Серебрятся крыши. Под огромным небом рассыпался лес во все стороны, нет ему ни конца, ни края. Мерцает Млечный путь, разбрасывает вокруг себя бесчисленные созвездья, а под ним рябью искрятся снеговые шапки на деревьях, и всё это вращается в бездонном космосе. Спит деревня, жалобится чёрными окнами в пустоту. Иногда на миг блеснёт лунный отсвет в стекле, покажется, что и там, в заоконной тьме, звезда притаилась, и там необъятный космос. Куда ни глянь – пусто и холодно. Безучастно мерцают звёзды и скучен лунный лик. На окраине

теплится на столбе лампочка, качается под жестяным кружком, и внизу, по снегу, раскачиваются жёлтые круги, словно солнышко из-под туч. И в этой тишине чуть слышно плескалась песня; далеко-далеко, в Нефедьеве, кто-то пел, не жалея голоса, даже не пел, а тянул тоскливо-безысходные слова о неудавшейся жизни. Не разобрать слов, одна мелодия тянется сквозь темноту, и та скорее угадывается, чем слышится. Некому подхватить её и поднять до небес неизбывную печаль о людской судьбе. И лишь воздух отзывается на звуки, вибрирует в такт напеву и своим лёгким дыханием разносит по миру возникшую созвучность природы и человека.

Долог зимний сон. Притих лес. Настороженно скрипнет сосна, да с лёгким шорохом скользнёт снег с еловых лап и – снова тишина. Не пробуют птахи голос в морозную рань. Прямо через поле тянется тракторный след, ведёт вокруг пилорамы к бывшему фельдшерскому пункту. Между ним и горушкой с ободранным боком высятся штабеля брёвен. К ним приткнулись оставленные с вечера два трактора с волокушами; заиндевелые, припорошенные снежком, походили на сказочных богатырей, притаившихся за древесной стеной,– когда-то последним убежищем от вражьих набегов, а ныне приготовляемой для продажи, чтобы, быть может, в последний раз поддержать народ в своём несчастье, и – гуляйте люди, радуйтесь свободе, не замечая, как духовной крепи становится всё меньше, а пустоты вокруг всё больше.

Тревожно спит Белов. Снится поределая роща, а в просвете выплывает призрачное лицо, и кажется ему, что это сам Род пожаловал – прародитель рода, с которого и Белов пошёл. Лицо знакомое, с изумлением шепчет Михаил: «Я тебя на иконе видел, ты на Христа похож». И слышит в ответ: «Я и есть Христос. Род твой, вера твоя – православная. Без нас с тобой не будет народа...» Голос глохнет, истаивает сон. Михаил некоторое время лежит в полусне, прислушивается к звукам, доносящимся с кухни. Вроде на минуту глаза прикрыл, а уже и ночь прошла.

Ночная тоска развеялась, как только вышел на улицу. У конторы слышались голоса, фары «Беларуса» освещали копошившиеся фигуры. Все уже расселись, когда подошёл Белов. Увидев в телеге Кашина, заглянул в кабину. На сиденье ёрзал Федька Маслов.

– Осваиваю законное место. Давай, не задерживай. Скоро петухи закричат, а мы не тронулись.

После вчерашней вьюги роща выглядела просветлевшей, обновлённой свежим снежком. Далеко простиралась белыми островками между наваленными в кучи сучьями и вершинником. Снежная пустынь отодвинула рощу вдаль, и освободившееся пространство не радовало, как не радовали и высившиеся груды брёвен у эстакады. Белов брёл через кустарник, перешагивал лапник, высоко выбрасывая ноги, пока его не окликнул Гусев. Он стоял на просеке, держа в руках подготовленную к работе пилу. «Дружба», уже прогретая, проревелась на пуске и теперь тихо тарахтела, вздрагивала в крепких, охваченных морозцем, ладонях. Меховые, обшитые кожей рукавицы торчали за поясом. Михаил долго утаптывал снег у дерева, выбранного Гусевым, вскидывал голову, по-хозяйски оценивая, с какого бока начать. Ствол у сосны был ровный, с равномерно раскидистой во все стороны кроной. Такое дерево валить одно удовольствие – ляжет куда надо и толкать не придётся. Утоптал до самого комля, откуда корни уходили в землю. Пила оттягивала руку, с непривычки казалась тяжёлой. Зубья не сразу вошли в закаменевшую древесину, рубили воздух, наконец пальцы почувствовали, как цепь углубилась в плоть, звук изменился, завыл, и тонкой струйкой брызнули опилки, потекли струёй. Белов, как учили, аккуратно покачивал пилу. Гусев с Аникиным не мешали советами, лишь зорко следили за движениями, готовые прийти на помощь. Выпиленный клин шевельнулся, и Михаил выдернул цепь.

– Не так резко,– Леонид вытолкнул пальцем кусок дерева и кивком головы разрешил продолжить.

Михаил перешёл на другую сторону и, уже по-настоящему волнуясь, прицелился к месту, где сделать

надпил. Зубья тронули кору, не услышав окрика, Михаил смелее надавил на пилу. Чем глубже уходила цепь в ствол, тем чаще вздрагивала крона, сбрасывая с веток снег. Ствол слегка наклонился и замер. Аникин не успел надавить на шест, как Белов выдернул пилу и тут же заглушил. В устоявшейся тишине все трое, закинув головы, смотрели на вершину.

– Надо было ещё чуть-чуть. Придётся всем толкать.

– Лишь бы не развернулась.

– Не должна.

– Боялся, вдруг зажмёт,– свой голос Белов не узнал, настолько он показался глухим и хриплым.

Сосна ещё не знала, что она умерла. Казалось, она собиралась стоять вечно. Гусев потянулся к пиле, готовый снова её запустить. Но вдруг сосна обречённо вздохнула и, освобождаясь от снега, ещё немного наклонилась и с хрустом, ломая ветки, обрушилась вниз. Снежная пыль взметнулась, накрывая пространство, зависла облаком и медленно осыпалась на плечи лесорубов.

– С почином,– Гусев сбил с плеч Белова снег.

Михаил подвыпрямился, с гордостью осматривал поваленное дерево. Недавняя жалость к роще исчезла, почувствовал себя хозяином леса. Самостоятельно запустил пилу и не спеша начал отсекать сучья. Ещё недавно сосна возносилась над людьми, теперь же лежала поверженная, с надломленными ветвями, и лишь мощный неохватный пень белел срезом, напоминал о могучем древе. Не одну сотню лет набирал силу ствол, на удивление ровный, без единого дупла, раскинув разлапистые ветви, красовался среди таких же красавиц: сосен и елей. Скоро не нужно будет задирать головы, останется мелколесье, такое же несуразное, как наступившая жизнь. Белов увлёкся, продолжал срезать сучья, изредка посматривая на Гусева. Но тот уже отошёл к другому вальщику, у которого застряла лесина, легла на деревья и не хотела соскальзывать вниз. Вальщик тыркал пилой по строптивому дереву, готовый отскочить в сторону. Но зависшее дерево не хотело валиться. Повернулся к Гусеву:

– Может, соседнее завалить, собьёт...

– А если нет? Устроим шалаш, потом не разгребёшь. Подрезай смелее.– Гусев не стал подходить ближе и Аникина остановил: – Сам напартачил, сам пускай и расхлёбывает.

Наконец лесина затрещала и вальщик, бросив пилу, метнулся по заранее протоптанной тропинке. Ствол надломился, и верхушка медленно сползла на снег.

Небо разъяснилось, приподнялось выше, стали различаться облака. Мелькнуло солнышко, и снова просвет затянуло дымным, но края выбелились, затаили солнечный свет. И было видно, как продирается розовое, красит полоской окраешек над лесом. Всё явственней вырисовываются тучи, и вот уже очищается восток, сгоняется с небосклона дымчатый пар. Полоса ширится, светится голубоватым, обещая солнечный день. Но солнышко ещё прячется, светится неясным кругляшом, пробует пробиться, но снова затягивается смурным, пепельным.

Белов повалил ещё пару деревьев, разохотился, но Гусев остановил:

– Для первого раза хватит.

И вдруг сорвался с места. Разбрасывая снег длинными ногами, добежал до соседней ёлки и с гиканьем застучал обухом топора по стволу. На вершине заметалась белка. Сиганула на берёзу и, обваливая снег, перепрыгивая с кроны на крону, исчезла с глаз. Гусев, с откинутой в сторону рукой с топором, продолжал кричать вслед перепуганному зверьку. По-мальчишески радуясь, блестя зубами в улыбке, поделился восторгом:

– Раньше белок много было. В детстве гоняли, любили смотреть, как мелькают по деревьям. У-у, рыжая...

Белов, отдав пилу, очнулся как от спячки. Снова бросился в глаза раззор. Кое-где стояли берёзки с рябинами, к ним теснились сосёнки и ёлочки. По привычке лиственники рядом с молодняком не тронули, чтобы хвою не ожгло. Гусев пытался выхлестнуть всё подряд, но Гусаров остановил: вдруг жизнь изменится, будет с чего роще подняться.

Михаил скинул рукавицу, потрогал шершавую кору срубленной сосны. Почудилось, как под корой пульсирует жизнь, а может, это его кровь бьётся под кожей. С эстакады прокричали, позвали Белова. На просеку выползли два трактора. Первый, не задерживаясь, сразу въехал в траншею – встал под погрузку. На санях, прижавшись к стойке, стоял Кокорин – молодой мужик из нефедьевских. Весело прокричал:

– На помощь бросили!

– Пила есть?

– А как же! Враз всё выкосим...

Стойки на санях торчали с одной стороны, другие подрубили при разгрузке. Белов без слов понял, чем заняться: стал зачищать вершинник, подготовленный для стоек.

Во время погрузки Михаил отвлёкся от ненужных мыслей. Не давая себе расслабиться, первый прыгал на волокушу выравнивать ряды. Чутьё подсказывало верные движения, и всё у него получалось ловко и быстро. Молодцевато помахал цепями, прежде чем накинуть на стойки. Мужики подождали, пока Белов в одиночку потужится, втоптали окурки в снег и разом навалились, натягивая проржавевшие, напитавшие скотный дух цепные звенья. Накатили сверху последний ряд и только после этого Михаил перевёл дыхание. И, словно боясь, не оглядывая рощу, замахал рукой, призывая второй трактор встать на погрузку. Но тот и сам уже в нетерпении пофыркивал, взрыл гусеницами сугроб и рывком пошёл к траншее.

Солнце очертило предметы, разбросало тени по оголённому полю. По остаткам ещё можно было угадать рощу. Вдали сосны стояли плотно, но за первыми рядами всё больше росло берёз, и к самому берегу подходил осинник. Дальше, за рекой, снова поднимался густой неохватный лес. Туда и продвигалась бригада.

Глаза Михаила заслезились от яркого снега, и он выдавил влагу пальцем, растёр по щеке. Невольно осмотрелся. Когда-то цельное урочище расслоилось на

отдельные деревья, кусты. Больше никто не придёт, не поклонится этому месту. Когда-то давно, тысячу лет назад, также вырубали священные рощи и многие души, не согласные с новым временем, рвались от боли и слёз, а то и кровь проливали, оставаясь верными заповедям отцов своих. Сотни лет деревья хранили смутную память о былом, притягивали жителей, будоражили их воображение, не давая забыть прошлое.

Звуки отдалялись, глохли, будто относило их ветром, очищая пространство от настоящего. И сам Белов отлетал куда-то в сторону, оставаясь на месте. Всё видимое вокруг пропадало, растворялось вместе с исчезающими звуками. Оставалось лишь пламя костра, языки на фоне снежного поля становились отчётливее, плескались в воздухе, приближаясь к Белову. Белый искрящийся покров тянулся за огнём, сливаясь в единое целое, и Михаил не понимал, почему пламя не плавит снег. Вихрились молочные хлопья, опалённые огнём, метельно шли на Белова. Нездешняя сила чувствовалась от надвигающегося заноса. Энергия огненного бурана втягивала в себя, и Михаил, не сопротивляясь, сливался с нею. И вместе с ним, отдавая свою энергию, втягивался и весь окружающий мир. В оголённом поле выступали очертания бывшей рощи, но уже цельной, нетронутой, Михаил приподнимался над землёй и видел, как над деревней всплывает полупрозрачная непорушенная церковь и всё это охватывается огненной вьюгой и вливается в Белова. Энергия переполняет Михаила, и он разрастается, всё выше возносится к чему-то солнечному, готовый оторваться от земного и слиться со светоносной энергией, изливающейся с небес. Но что-то треножило его. Чем выше становился Белов, тем явственней ощущал на себе путы. В стороне возникло дымное завихрение, порошей пошло на огонь, стараясь пригасить разрастающееся пламя. В разреженном тумане всё явственней прорисовывались контуры нелепой фигуры, она выбрасывала из себя тёмные нити, которые рассекали сливающиеся вместе энергии, не давали соединиться в

одно целое. Смерчеобразное завихрение разрасталось, и чем сильнее Белов впитывал в себя энергии, тем мощнее становился темнеющий вихрь. Чем-то чужим охолодило душу, внезапно вспомнилось похожее состояние, когда он также разрастался, готовый объять весь мир. И тогда, в городском парке у старинной церкви чужеродное накрыло его. Вспомнился и Ворсков, его уверенная поступь и слова про чужих. Бригадира чужесветным не испугаешь, отчего же у Белова сердце дрогнуло. Не устрашилось, но воспоминание, нахлынувшее на него, и те странные фигуры, которые он увидел на стыке здешнего и другого, неведомого мира, всколыхнули удивление, какое он испытал прошлым летом. Как и тогда Михаил не преодолел земное притяжение, но величие возможного, заложенного в человеке, он вновь ощутил. Туманные лохмотья замедлили своё движение, сворачивались к земле. И Белов, сгоняя минутную слабость, двинулся на слабеющий всплеск, готовый раскидать чужину, стремящуюся украсть у него мир. Огненный снежный буран терял очертания, и Михаил шёл сквозь него к видимой ему одному цели. Громкий вскрик остановил его:

– Куда прёшь, котёл опрокинешь!

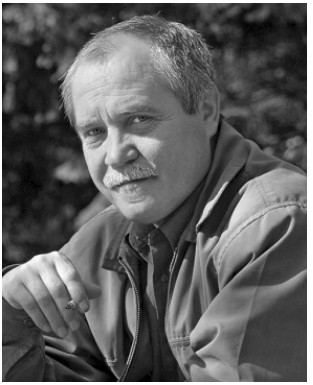
Михаил с трудом возвращался в окружающий мир. Всё ещё готовый к борьбе, осмотрелся вокруг. Перед ним горел костёр, сзади матерились мужики, наваливая на волокушу брёвна. Дюков, сидя на корточках, подкладывал сучья в огонь, с интересом посматривал на Белова. Не отвечая, Михаил развернулся и пошёл к траншее.

К концу января дорубили последний клин хвойного леса. За два километра до реки остановились. Дальше стоял лиственник в перемешку с ёлкой. Попадались и кряжистые сосны, словно солдаты цепью раскинулись, оберегая тихое журчание скромной речушки с удивительно чистой родниковой водой. В редкий паводок она выходила из берегов, весной и летом спокойно текла по лесам, удивляя неизменной шириной и глубиной.

Ходили рассказы о ямах на дне, как будто проваливалось дно и вода, шипя и взбурливая, водоворотом крутилась на этом месте, образуя воронку. Холодный пар столбом поднимался к небу, опаляя инеем попавших на своём пути птиц. Будто видели замёрзших птах посреди лета, ледяным, неистаявшим комочком лежали на берегу успокоенной воды. Мелка и одновременно бездонна река, как коротка и в то же время бесконечна жизнь.

Много сказок создавалось об этих местах, а теперь какой из них поверят, когда перед глазами голое поле; вольно ветер гуляет, не шумнёт листвой, не скрипнет деревом – приволье кругом. Нет непроходимой гущи, нет и сказа. А сказка до конца читается, в серёдке не перебивается, напевной речью рассказывается, тихо и покорно воспринимается. А когда перебивка идёт, вскипает нутро, из мелкодонного в бездонное превращается, кротость ураганом заменяется. Но долог к этому путь, не хочет душа ожесточения, смиренна и подчинена духу...

ВАСИЛИЙ МИШЕНЁВ



А ДЕНЬ СТОИТ, СПОКОЕН И ВЫСОК!..

Посветлели весенние дали

Посветлели весенние дали,
Засквозило с небес синевой,
На пригорках от первых проталин
Поднимается пар над землей.

Как нарядны привычные вербы,
Распушились под солнцем они...
Прилетел долгожданный и верный
Важный грач из чужой стороны.

В эти дни не сидится мне дома,
Тянет сердце к простору полей,

Мишенёв Василий Михайлович родился в 1958 году в д. Пахомово Никольского района Вологодской области. Автор сборников стихов и прозы, лауреат литературных конкурсов, почетный гражданин Никольского района. Работал учителем, журналистом. Член Союза писателей России. Живет в Никольске Вологодской области.

Будет день, и услышим знакомый
Мы приветственный клич журавлей.

У людей вдруг засветятся лица,
Станет мир просветленнее весь,
Словно сильные, гордые птицы
Принесут нам всем добрую весть.

И у жизни изменится русло,
Потечет она шире, вольней,
Будто вечно душе нашей русской
Не хватает до слез журавлей...

У избы на родине

У избы на родине –
Черёмуха, смородина,
У избы на родине –
Белые цветы.
Ждал я встречи радостной,
Были вещи собраны,
Но судьба жестокая
Развела мосты.

В тихом спящем городе
Вспоминаю родину,
Льется мягко в комнату
Свет ночной звезды...
Может, кто на родине
Соберет смородину?
Может, кто мне с родины
Привезет цветы?..

Скворец

Прилетел! Гляди – поёт!
Скромный, не капризный,
Он ещё своё возьмет
От весны и жизни!

Он, как я, сегодня рад
Перемене вешней...
Посвистим, пернатый брат,
Над округой здешней!

Здесь, в краю, который мил,
Дом любой не тесен...
Пусть у нас достанет сил
Для трудов и песен!..

* * *

От земли до небес –
Лес,
А у леса вокруг –
Луг,
Сколько разных окрест
Мест,
Отдохни от разлук,
Друг.

Сквозь берез молодой
Строй
Пусть струится вослед
Свет,
Мы оставим с тобой
Свой
По росе сквозь рассвет
След...

Роднику

Весь путь твой усыпан камнями
От чащи лесной до реки...
К тебе прикасались губами
И мыли в тебе... сапоги!

Но всё ты сносил терпеливо
И рад был земному пути,
Одни лишь плакучие ивы
В тебя не решались войти.

Стояли и скромно, и строго,
Шептались всю ночь напролёт
О том, что забыта дорога,
И больше никто не пройдет!

* * *

Откуковали
    в лесу недалёком кукушки,
Отулыбались
    ромашки на белом лугу,
Вновь за окошком
    моей обветшалой избушки
Перед закатом
    вороны сидят на стогу.

Низкие тучи
    несутся так быстро над полем.
Дальние рощи
    белеют стволами берез.
В сердце тревожном
    опять прибавляется боли,
Стоит мне только
    взглянуть на речной перевоз.

Вечное время!
    Не будь к уходящим жестоко!
Тяжкие думы
    несу по дороге своей.
Что ж так, Россия.
    под небом твоим одиноко?
Что ж так, родная,
    мне грустно средь милых полей?..

Грибные места

О чём молчишь, мой давний друг?
Вокруг тепло и много света!
Пускай с землей уже простилось лето,
Но далеко ещё до зимних вьюг!

Бери корзину и пойдем со мной,
Я покажу тебе места грибные,
Где грузди и волнушки расписные
Заманят так, что не уйдешь домой.

Я сам, когда брожу в лесу один,
За целый день не вспомню про усталость.
Как долго мне на родине осталось
Бродить среди берёз, среди осин?

Даст Бог, продлится наш короткий век,
Продлятся наши радости земные!
И пусть к себе зовут места грибные,
А день стоит, спокоен и высок!..

Бабка Паня

Заболела бабка Паня,
Ей теперь не до гостей,–
Затопили сами баню,
Наварили сами щей.

А попарив в бане кости
И вздохнув: не жизнь, а рай!
За столом сидели гости,
Пили водку, пили чай...

Жалко бабку.
Без лукавства
Тихо стонет на печи.
– Может, сбегать за лекарством?
– Старость, милой! Что лечить?

По углам шуршали мыши.
За окном струился дождь.
Снова бабка внуку:
– Слышишь?
На могилку-то придешь?

Осенняя песня

Пустых наслушавшись речей,
Я вновь ничей! Я вновь ничей!

Туда всю грусть свою унес,
Где шум берез, где шум берез.

Пусть от тебя не жду чудес,
Осенний лес, осенний лес.

Но легче мне среди рябин,
Когда один, когда один!

И на душе моей светлей
Среди полей, среди полей.

Пусть засмеют мою любовь
В обломках слов, в обломках слов!

Но за неё я не боюсь!
Боюсь за Русь! Боюсь за Русь!

В избе у мамы

На снежных далях – сугроб к сугробу,–
Следов вчерашних искать не пробуй!

Студеный ветер летит по весям,
А в сердце звоны забытых песен!

Взгляну в окошко – вокруг белеет,
Я нынче грустью не заболею!

В избе у мамы тепло от печки,
В углу – икона, псалтырь и свечки.

А спросит мама, о чем вздыхаю,
Отвечу тихо: я вспоминаю!

Какие видел здесь раньше лица...
И сладко сердцу! И вновь не спится!

Волнуют душу былые встречи.
Я рад, что долог зимою вечер.

И рада мама – глаза спокойны,
Как у святого с ее иконы!..

Первый снег

Ночью снег полетел, я его не услышал,
Только утром, когда выходил за дровами,
Вдруг увидел пронзительно белые крыши
И деревья с упавшими с неба дарами.

Я смотрел, будто жизни открылось начало,
А былое навеки укрыто под снегом,
Даже память моя, отболев, замолчала,
Первый снег примирил меня с жизнью и веком.

Сколько встречено зим, а никак не привыкну,
Словно выпавший снег никогда не растает,
Я возьму и ушедшую молодость крикну,
И она прилетит снегириною стаей.

Прилетит, возле дома облепит калину,
Как живой костерок под сереющим небом,
И тогда я избу ни за что не покину,
Буду стаю с ладони кормить теплым хлебом.

Перед сном

Ночь. Смежаются веки.
Хорошо, когда спится,
И текут мои реки,
И летят мои птицы.

И растут мои травы,
И цветут мои липки,
И желтеют купавы,
И поют мои скрипки.

Только пусть не приснится,
Что однажды навеки
Улетят мои птицы,
Утекут мои реки.

И скрипки замолкнут...

Возвращение

Просохшей тропинкой весеннего сада
Опять возвращаюсь домой.
Ну, что ж ты, родная! Пугаться не надо!
Беды не случилось со мной!

Окрепли березки и стали чуть выше.
За ними – изба со звездой.
И ласточки низко летают над крышей,
Своё охраняя гнездо.

Я к отчему дому шагал бездорожьем,
Увидел – и сердце зашлось...
Ах, ласточки милые! В мире тревожном
Зимою так трудно жилось!..

* * *

Все листья с деревьев опали,
И стали видней из окна
Родные осенние дали
При свете короткого дня.

Живу с постоянной тревогой
В измотанной бытом душе,
И пыль над моею дорогой,
И мусор в моем шалаше.

Ах, время! Ты так быстротечно!
Боюсь ничего не успеть!
Так хочется словом сердечным
Кого-нибудь в жизни согреть...

* * *

Я шагаю дорогой испытанной,
А дорога ведет на закат.
Утром кони мой путь ископытили,
На луга уводя жеребят.

Люди в поле работы закончили,
И в пронзительно чуткой тиши
В травах робко звенят колокольчики
Для моей одинокой души.

А душа наполняется песнею,
Забывая тревоги свои,
Рядом птицы мои поднебесные
И гривастые кони мои.

Облака и туман над Россиею,
Но в краю, где начало дорог,
Понимаю с особенной силою,
Где мой путь,
Где мой свет,
Где мой Бог!

АНАТОЛИЙ ЕХАЛОВ

СНАНДУЛЬЯ

1

В конце года мне предложили идти в отпуск. Была вторая половина декабря. Время, когда нормальные люди в отпуск не ходят. А я пошел, потому что законодательство велело: после одиннадцати месяцев работы должен наступить первый трудовой отпуск. Мне дали отпускные, и я пошел.

Сначала на вокзал, на пригородный поезд, потом пешком от станции в деревню, в которой вырос.

Это была большая деревня с почтой, клубом и магазином. За последние годы деревня еще больше разрослась за счет переселенцев из мест подтопления, когда

Ехалов Анатолий Константинович родился в 1951 г. в д. Новинка Ярославской области. Автор многих книг прозы и публицистики. Режиссёр документального кино. Лауреат Международных, Всероссийских фестивалей и конкурсов в области кино и литературы. Лауреат Государственной премии Вологодской области. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

поднимали уровень воды в водохранилище. Я завернул к тете Поле, матери моего друга. Тетя Поля зимами ткала за кроснами половики, как и многие старушки наших северных деревень.

– В отпуск, значит, пошел? – спросила тетя Поля, оставляя бёрдо и принимаясь за самовар.

– Иду вот,– отвечал я довольный и гордый первым своим заслуженным отпуском, который мог использовать по своему усмотрению. Как хотел...

Я напился у тети Поли чаю, прослушал последние деревенские новости, переоделся в валенки и полушубок и отправился дальше.

Мне нужно было пересечь поскотину, поросшую мелким можжевельником, под которым в грибные годы плотно мостились рыжики, потом по занесенной тропинке перейти реку Уломку, потом несуществующую деревню Заречье, от которой остались лишь несколько яблонь, все еще родивших летами мелкие кислые яблоки.

Следом нужно было пройти заливом в деревню Степаново, в которой многие годы был один-единственный жилой дом Вихревых. Деревня эта была окружена с трех сторон водой, двумя полноводными реками и одной маленькой речкой Почаевкой. И только узкий перешеек соединял Степаново с Заречьем.

Остальные домохозяева давно съехали из Степанова по причине его неперспективности, здесь не было не только дорог, но даже электричества.

Но зато была воля.

И, видимо, она дорогого стоила.

2

Дядя Леша Вихрев и его жена тетя Маня были профессиональными рыбаками. Освещались они от генератора, у них было шестеро детей, лошадь, корова, большая рыбацкая лодка со стационарным мотором и ледник, в котором летом хранилась выловленная рыба...

Вихрёвы редко, но появлялись в нашей деревне, закупали в магазине муку, сахар, чай... Все остальное у них было от природы. И картошка, и мясо, и рыба... И ягоды, и грибы.

В теплицах на моховой подстилке у Вихревых скорее всех вырастали огурцы, и островитяне мешками возили их на лодке в райцентр на продажу.

И опять Степановские ни чем не напоминали о себе большой деревне.

Но однажды в новогодний вечер в наш клуб явилась целая толпа незнакомого народа в валенках, вывернутых полушубках, с коровьими боталами в руках. Кто это был, узнать было невозможно, потому что вместо лиц у них были решета с намалеванными углем глазами, носами и ртами... Ряженые пошли плясать и петь замогильными голосами частушки.

«Все пришли, все пришли
Все пришли, притопали,
Моего да твоего,
Видно, волки слопали...»

Веселуха была знатная... Потом эта толпа свалила...

И все говорили, что это приходили чудить степановские да започаевцы...

– И не лень им было в новогоднюю ночь переться по снегу за три километра...

Започаевские тоже были нашими. Эта деревня, устоявшая при затоплении водохранилища, была побольше Степанова. Но вот беда, дороги к ним, как и в Степанове, были затоплены. Понятно, что и все остальные блага цивилизации: электричество, телефон и снабжение до них не добрались.

Да и сами жители полузатопленных деревень особо благ этих и не добивались...

Ребята еще рождались в Започаевке. И вместе со степановскими они ходили учиться в нашу начальную школу...

И вот в этот первый мой отпуск я решил пойти порыбачить к дяде Леше, который давно распихал по

городам ребятишек, и жил в тишине, как у Пушкина, со своей старухой. Он когда-то дружил с моим отцом, и эта дружба по наследству передалась мне.

3

...Пока я ехал и шел в свой первый отпуск, день потихоньку скончался.

Уломку переходил уже в сумерках. Я остановился посредине реки и прислушался.

Тишина была оглушительная. Над головой торжественно сияли звезды, крупные и яркие, каких не увидишь в городе. Мороз выстаивался, крепчал, и мне показалось, что звезды с тихим шелестом осыпают на землю иней.

Но тут тишина была нарушена тонким жалобным воем со стороны мельничного омута. Этот тоскливый плач повторился, к нему добавился другой, третий, и вот уже целый хор, переливаясь и распадаясь, то снова звучащий в унисон, заставил сжаться сердце. Страх покатился по загривку, по спине, ушел в ноги, которые в миг предательски ослабли...

Волки! До них было каких-то триста-четыреста метров.

Я преодолел себя, стряхнул оцепенение и быстро влетел в береговую кручу, пересек мертвое Заречье, перелесок...

Передо мной на фоне тускло светящегося неба чернели постройки Степанова.

Тут на небо выкатилась сияющая луна – волчье солнце – и залила округу холодным мертвенным светом.

До Степанова было не более километра. Я прибавил ходу. Снег под моими валенками не скрипел уже, а визжал, оглашая Вселенную.

Я подумал, что волки уже слышат меня и, прекратив спевку, спешат на звуки моих шагов.

Я побежал по тропинке в снегу. По ней дней несколько никто не ходил, поэтому я часто оступался и едва не падал.

– Сходил в отпуск, дурачок! – билось у меня в голове.– Сидел бы дома в городе у теплой батареи...

Не добежав до деревни метров двести, я сбавил ход и обернулся. На белом экране снегов едва темнела тропа, по которой я бежал. Все остальное было идеально бело и свежо. Волчьей стаи в этих выбеленных луной снегах не было. Я успокоился и сбавил шаг.

Но в тот же миг сквозь скрип снега я снова услыхал вынимающий душу вой голодных волков. Они переместились с мельничного омута вниз по течению, туда, где я переходил реку...

Но на этот раз я быстро унял страх. Спасительная деревня была рядом.

Скоро я вошел в Степаново, пробрался мимо мрачных бесхозных хоромин, и радостно побежал на угор к дому Вихревых...

Рыбацкое подворье встретило меня пугающей тишиной. Не стучал движок генератора, окна вихревского дома были темны, и хозяйская собака Кукла не встречала меня лаем.

Я взбежал на неразметенное от снега крыльцо и взялся за кольцо. Но меня остановил массивный круглый замок.

На всем подворье не было ни единого следа, ни у двора, ни у ледника, тропика к бане тоже была заметена.

Только тут понял, что деревня безлюдна.

На всякий случай я постучал в дверь.

– Эй, хозяева? Есть хоть кто-нибудь?

В ответ мне была тишина. И только со стороны Уломки вновь раздался протяжный вой голодных волков.

Я был один в этом бесконечном грозном мире сияющих звезд, холодного бездонного космоса. Маленький, тщедушный, жалкий, в котором крошечным пульсаром билось сердце, гоняя по жилам эту непонятно зачем дарованную телу загадочную жизнь, которая была дорога лишь мне да нескольким близким мне людям...

«Где хозяева? – недоумевал я.– Ведь они жили здесь безвылазно. По крайней мере, кто-то один: или дядя Леша, или тетка Маня оставался на хозяйстве...»

– А может быть, сдали корову и теперь на свободе ездят по гостям? Может, они уехали в Почаевку? – обрадовался я догадке.

Я вернулся на тропу. С угора хорошо была видна лежащая на берегу у слияния рек последняя здешняя деревня Почаевка. За ней, насколько видит глаз, темнели сумрачные леса.

Ни единый огонек не светился в той деревне. Только луна, забравшаяся уже высоко на небосклон, отражалась в окне крайнего дома, отчего картина погруженной во мрак деревни казалась еще мрачней.

– Спят они, что ли? Дрыхнут! А человек пропадает...

И тут я явственно ощутил, что могу вот так запросто пропасть в этих снегах. И назавтра только взрытый снег да кровавые следы на нем расскажут миру о произошедшей ночью трагедии.

В это время на противоположном краю Степанова подали голос мои преследователи. Они не спешили, они шли по моим следам с остановками и спевками. Наверное, они были уверены, что я от них никуда не денусь...

– Я не дамся вам, серая свора! – встрепенулся я.– Меня так просто не возьмешь!

Я бросился под угор, рассчитывая, что бани в деревнях не закрывают. Снег здесь был глубже, чем на тропе, но я, взрывая его, как конь, быстро добежал до черневшей под угором приземистой бани. Закопченные двери ее были покрыты инеем и слегка приоткрыты.

– Ура! Я спасен.– Я отжал мёрзлые двери и протиснулся в предбанник, пропахший дымом и березовыми вениками.

В предбаннике было холодно, но не теплее было и в самой бане.

«Скорее всего, мне придется тут ночевать. Но на таком холоде можно к утру окочуриться»,– размышлял я, торопливо отыскивая в темноте спички, растопку и дрова.

Спички были в кармане. Свои. Я нащупал рядом с каменкой бересту, потом огарок свечи на подоконнике. Я чиркнул спичкой, по закопченным стенам бестолково заметалась моя длиннорукая тень.

Я заглянул в котел, вмазанный в каменку. В нем на донышке блестело зеркальце застывшей воды, с вмерзшим в него березовым листом.

А вот дров в топке не было. Одни подернутые холодным пеплом угли.

4

...Я уже парился в этой бане с дядей Лешей Вихревым, когда года два назад приезжал к нему на рыбалку.

Был конец апреля. Над Степановым бесконечными клиньями тянулись на Север гуси и утки, в разливах Почаевки прямо за двором Вихрева буйствовали лягушачьи хоры. А поднятая прибылой водой полёва, буквально кишела заходящей на нерест рыбой.

Вечером мы столкнули в залив деревянную весельную лодку, я сел на весла, а дядя Леша распустил за кормой ботальную сеть. Сетка была старой, рваной, и перекрыли мы ей всего-навсего метров двадцать. Дядя Леша взял в руки ботало и всего несколько раз бухнул им в заливе. В сумеречном свете видно было, как неистово заплясали поплавки нашей сетки. Мы вытащили кол и стали выбирать в лодку сеть. Она была полна рыбой настолько, что наша лодка едва не пошла ко дну.

...Теперь нужно было поискать возле бани поленницу с дровами, набрать дров, потом, лежа на полу, истопить баню, выпустив дым через двери, потом поплотнее закрыть двери предбанника, чтобы обезопасить себя ночью от вторжения голодной стаи.

Я только наклонился к окошку, чтобы взять огарок свечи, как рядом с рукой, отделяемый только хрупким стеклом, возник волчий оскал. Я слышал даже, как щелкнули хищные клыки...

Обложили, гады! – Тошнота подкатила к горлу. Я невольно опустился на лавку.

Свеча, догорев, потухла. В окошко виден был осиянный луной заснеженный угор, по которому возбужденно кружила волчья стая.

– Попал! Влип! – сказал я сам себе.– Неужели вот здесь, в этой замерзшей деревне, придется расстаться мне со своей юной, полной надежд и планов жизнью...

Слезы выступили у меня на глазах.

Я буквально почувствовал, как волчьи челюсти с хрустом ломают мне шейные позвонки, рвут горло, орошая алой горячей кровью снег...

– Я не дамся, вам, сволочи! Сейчас вы у меня попляшите! – Меня буквально подкинуло с лавки желание дать сражение этой кровавой банде.

– Сейчас, сейчас,– повторял я как заклинание...– Сейчас я вам устрою...

Я нашарил у каменки кочергу, обмотал ее куском бересты и выбрался в предбанник.

Береста затрещала и вспыхнула от прикосновения горящей спички. Ударом ноги я распахнул дверь и выскочил наружу, размахивая своим сверкающим и чадящим оружием.

Волки отпрянули от бани на безопасное расстояние и напряглись в ожидании, пожирая меня глазами, в которых отражался мой крохотный спасительный огонек.

Ее было совсем мало, этой бересты, стремительно пожираемой огнем.

Но мне хватило этого, чтобы увидеть стоящую у дощатой стены предбанника маленькую поленницу.

Одной рукой я держал свой факел, а другой забрасывал внутрь предбанника дрова.

Береста на кочерге сгорела мгновенно, волки сразу же двинулись в мою сторону. Но я уже заскочил в баню и захлопнул двери...

Я был спасен.

...Дров было немного, всего семь березовых полешек, но их должно было хватить, чтобы согреть каменку и тесное банное пространство.

Я лег на пол, сложил дрова в топку и запалил их. Веселый огонек прижился на поленьях, набрал силу, весело запотрескивал. Скоро дым заполнил все нутро бани. Пришлось открыть двери в предбанник, а из предбанника в студеную, полную смертельной опасности ночь.

Уже, не опасаясь, я выглянул на волю. Похоже, волки теряли ко мне интерес. Они поднялись в деревню и, сев на угоре, славили тоскливым воем свое солнце.

Я тоже стал терять к ним интерес, страхи мои улеглись, жизненные просторы снова распахнулись, и я лег перед топкой на пол бани, наслаждаясь разливающимся теплом.

...Я уже лежал весной на этом полу, прижатый нестерпимым жаром, исторгаемый каменкой. Мы тогда, едва выпутав из сетки попавшую рыбу и отдав ее на попечение тетки Маши, устремились с дядей Лешей в баню, пышущую под угором паром и жаром.

У Вихрева на груди был темно-коричневый клин. И руки его тоже были калены морозами и ветрами. Дядя Леша никогда не носил рукавиц, и не имел привычки застегивать ворот. Так что руки его, грудь были подставлены ветрам и стужам. Вот это была закалка.

Мы шагнули в жаркую истому бани.

Каменка исходила малиновым светом, настолько были раскалены камни. Дядя Леша загнал меня на полок первым, а сам стал бросать на камни воду. Каменка ахала, взрывалась с треском, нагнетая в баню нестерпимый жар. Я считал себя завзятым парильщиком и в своей городской бане мог пересидеть в парилке любого.

Я был уверен, что стерплю и этот жар. Но дядя Леша прижал меня к стене так, что я не мог шевелиться, и принялся охаживать меня и себя веником.

Это была катастрофа. Теряя всякое достоинство и уважение к себе, я взвыл, скатился на пол и пополз к двери, чтобы поймать глоток свежего воздуха.

А дядя Леша долго еще охаживал себя веником, кидал воду на каменку, снова истязался на полке, пока, наконец, не вывалился, красный, как рак, в предбанник.

– В бане веник командир, всех побил и царю не спустил... – сказал он бодро, поправляя фитиль в керосиновом фонаре.

Вихреву было уже за пятьдесят, но вся стать в нем была молодецкой, широкие плечи, мускулистые руки, пресс, как будто он качался каждый день. А вот спина, ноги его были покрыты рваными, давно зарубцевавшимися ранами...

– Что это? – спросил я его несмело.

– Немцы оставили память,– отвечал он нехотя.– Собаками травили...

– Как так? – удивился я.

– Как-нибудь расскажу, не люблю я ворошить прошлое, – сказал он и замер на лавке, опустив плечи...

– Так нельзя,– возразил я.– Нельзя забывать прошлое, хотя бы затем, чтобы оно не вернулось,– сказал я дежурные в этих случаях фразы, но Вихрев воспринял их, как откровение.

– Ладно, пойдем в дом, выпьем после бани пуншику и расскажу... Никому не рассказывал, а тебе расскажу.

5

...Дрова скоро прогорели. Какое-то время угли еще освещали призрачным мерцающим светом угол бани, но скоро и они подернулись пеплом.

Я потрогал камни. Они были холодны, но я знал, что спустя время они прогреются и отдадут в банное нутро свое тепло, что я смогу дождаться здесь утра. Можно было, не опасаясь угара, закрывать двери.

Я выглянул из предбанника на волю. Моих преследователей уже не было. Но вой их доносился до моего слуха уже со стороны Почаевки. Они могли вернуться в любой момент. Волки не привыкли оставлять добычу и будут преследовать и добирать ее до конца.

Но мне они были уже не страшны. Настанет утро и будет ясно, что делать дальше. Я смел старым веником с полка сажу, забрался на него и растянулся, сунув под

голову тощий рюкзак. Волнения и страхи отступили, напряжение ушло, голова моя закружилась, и я провалился в тягучий омутный сон. Время от времени я просыпался, и затуманенный взгляд мой находил в банном окошке волчьи морды. Они выглядывали меня в сумраке бани...

Но я снова проваливался в сон...

Я проснулся, когда было светло, а в банное окно проникали лучи низкого солнца. И тотчас в груди моей закипело радостью и восторгом, как будто не было ночных кошмаров, как будто бы моя жизнь не висела на волоске...

Я вылез из бани, все еще сохранившей остатки тепла, умылся снегом, потянулся, счастливый, оглядывая мир, залитый солнцем... Я подумал, что волки, оставшись без ужина, отлеживались, должно быть, сейчас в своем логове где-нибудь в лесной глуши.

Можно было смело вернуться в свою большую деревню на теплую печь к тетушке Поле. Но таинственное исчезновение жителей Степанова удерживало меня.

Еще прошлой весной дядя Леша наказывал мне:

– Приходи к нам или приезжай лодкой, в любое время мы тут... Поговорим.

В тот раз мы проговорили с ним всю ночь. Вернее, говорил Алексей Вихрев, а я слушал.

– Нас разбили в самом начале войны. Числа двадцать пятого. Линии фронта уже не было. По дорогам, по полям шла бесчисленно потерявшая строй и командиров отступающая пехота...

Мы везли в полуторке раненых. И тут начался налет. От самолетов небо было черно. Помню вой пикирующего бомбардировщика. Потом, как в замедленном кино, взлетает на воздух идущая впереди машина, летят доски, колеса, и почему-то гробы... Красные гробы. Видимо, кого-то из командующего состава нужно было захоронить...

...Мы сидели с дядей Лешей за деревянным, выскобленным до бела столом под керосиновой семилинейной

лампой. На столе, на доске лежал развернутый рыбник с судаком. Тихо попискивал остывающий самовар.

Сквозь окна доносился с заливов неумолчный торжествующий любовный гул нерестящихся лягушек, гнездящихся уток и куликов, токующих тетеревов и глухарей...

В протоках гулко бились в любовной страсти гигантские щуки, приплывшие сюда для продолжения рода из потаенных глубин водохранилища.

Весь этот подлунный мир ликовал и заходился в любовной страсти. А дядя Леша рассказывал об ужасах войны.

– Я очнулся от удара. Надо мной стояли два немца и, видимо, совещались, смогу ли я встать и идти или меня проще дострелить...

Желание жить пересилило мою слабость. Я стал подниматься, хотя голову мою сильно обносило. Наша машина лежала в кювете. Двое других немцев добивали штыками раненых. Контуженого шофера подняли за шиворот и пинком направили в мою сторону. По всему полю, взрытому бомбами, шли цепью немцы и деловито сортировали убитых, раненых с уцелевшими. То тут, то там хлопали одиночные выстрелы, это добивали, как я понял, не способных передвигаться. Это был плен.

...Я уже пожалел, что вывел дядю Лешу на эти откровения. Так не совместимы были ужасы пережитой им войны с радостным ликованием весеннего мира.

Однако Вихрев уже втянулся в мрачные воспоминания.

– Скоро они согнали собранных на поле красноармейцев в одно место,– говорил он хрипло.– Нас построили в колонны и погнали на Запад.

К ночи мы пришли в поле, на котором стояли столбы, обнесенные колючей проволокой, и караульные вышки с прожекторами.

Нас загнали в это огороженное колючкой пространство и замкнули ворота. Мы уснули вповалку друг

на друге, поскольку силы у всех были на исходе. Многие были контужены, как я, многие ранены...

Ночью нас разбудили пулеметные очереди и предсмертные крики раненых. Немцы били по нам из пулеметов, заметив малейшее движение среди пленных.

Утром ворота полевого лагеря распахнулись, въехала грузовая машина и высыпала на землю кучу грязных корнеплодов. Потом из другой машины с цистерной были заполнены водой из шланга несколько разрезанных вдоль железных бочек из-под горючего.

Нас мучили жажда и голод. Пришлось вставать на колени и пить из этих, воняющих бензином, корыт. Вместо еды был только привезенный грязный турнепс, выращиваемый в колхозах на корм скоту.

Скоро приехало, как мы поняли, начальство и с ним крытая машина с солдатами и собаками. Нас подняли, построили и приказали раздеться догола. Толстый немец в форме, видимо, главный у них, пошел вдоль строя, палкой показывая на слабых и калеченых. Этих несчастных вытаскивали, отводили в сторону к большой яме и тут же убивали выстрелом в затылок. Скоро ямы заполнилась трупами. Привезли лопаты и заставили нас закопать эту ужасную братскую могилу. Я видел, сверху лежал водитель нашего газика из санитарного батальона... Беленький такой паренек. Пуля через затылок вышла у него через глаз. А второй глядел в небо, словно разглядывал там чего-то нам недоступное. Ему было, как и мне, девятнадцать лет...

– Не видать тебя, думаю, парень, мамке с батькой... Не видать. А вот что нам предстоит еще перенести?

В ворота заехала машина с брандспойтом, окатила водой и погнали нас голых за ворота на тракт.

По дороге ехали в машинах и на мотоциклах немцы, они показывали на нас пальцами, фотографировали и ухохатывались...

– Русишь золдатен, гуд зольдатен! – кричали они и показывали пальцами на нас.

Это был край унижения. В груди у меня рождалось чувство сродни бешенству: желание броситься на конвоиров и зубами перегрызать им глотки.

И только остатки здравого смысла удерживали от верной смерти, которая ждала тебя при первом движении в сторону.

Помню, я шел и скрипел от ярости зубами так, что они крошились в песок...

– Веселитесь, гады,– твердил я себе.– Еще не вечер. Мы еще поднимемся и пересчитаем ваши зубы.

К обеду нас пригнали на железнодорожную станцию, где уже стояли телячьи вагоны. И так, голых, они стали загонять нас в вагоны, набивая битком так, что в них можно было только стоять.

Я понял, они унижали нас, чтобы сломать человеческую гордость и превратить в рабов там, в культурной и цивилизованной Европе.

Мы ехали ухоженной Европой, которая не знала войны, какая пришла в Россию. Ехали, как оскопленный рабочий скот. В городах Германии поезд останавливался, перрон оцепляли и выгоняли нас на волю под аплодисменты, радостные крики и смех горожан.

Столько лет прошло, а ни раны, ни ужасы войны, ни горы трупов, ни смерть товарищей, которых на моих глазах разрывало на части, не бередят душу воспоминаниями так, как это унижение. У меня и сейчас сводит лопатки, когда вспоминаю эти немецкие перроны, аплодисменты и хохот обывателей...

Дядя Леша замолчал.

Мы укладывались уже засветло. Прежде вышли на крыльцо. Мир был свеж и торжественен. Уставшие от любовного безумия заливы за Вихревским двором, угомонились, наконец, и набухали исторгнутыми семенами жизни...

В этом умиротворении и торжестве жизненной правды, душа уже не принимала даже мысли о войне и насилии.

– Потом, договорим,– сказал Вихрев,– как приедешь. Тяжело ворошить прошлое. А главное ты знаешь: мы победили. Мы прошли своими сапогами по дорогам самодовольной Германии. Мы начистили им обличье и зубы пересчитали...

Вместе с солнцем из-за лесных кряжей выкатилось как будто само колесо времени и покатилось, соря огненными брызгами, в небесную гору зенита.

6

...И вот Вихревых в деревне нет. Я поднялся в деревню, обошел снова подворье, постучал кольцом в дверь, не ожидая ответа. Похоже, хозяева оставили дом уже недели две. И, похоже, оставили надолго, сведя со двора всю живность.

Я уже собирался вернуться в большую деревню, как вдруг увидел, что крайний дом в Почаевке обитаем. Над трубой его играло теплое марево, указывая на то, что печь утром топили и недавно скрыли. Я стал вглядываться в заснеженные заулки домов и тут увидел, что в крайней обитаемой избе кто-то открывает дверь. На крыльцо выбрался человек, и тут я увидел огненную вспышку, вслед за ней облачко дыма и, спустя мгновение, из Почаевки прилетел выстрел.

– Бах! – грохнуло в Почаевке, и звук выстрела понесся в сторону темного бора, шарахнулся о стену его, вернулся, ударился в стену ельника за вихревским двором и полетел на другой берег большой реки, чтобы уже потерявшим задор и энергию выстрела упасть к подножью степановского угора.

Я взбодрился и с радостным ожиданием стал наблюдать за человеком, заявившим о себе столь громогласно. Видно было, что он, спустившись с крыльца, замешкался недолго и двинулся к застывшей реке по направлению к Степанову.

Человек шел на лыжах. Скоро я уже различал и ружье за его плечами и рюкзак. Человек спустился в русло и скоро стал подниматься в степановский угор. Я уже собрался побежать ему навстречу, но какое-то несоответствие в образе этого человека с моими ожиданиями остановило меня. Я вгляделся попристальнее и понял, что это...

Это была женщина...

Да, да... Женщина. Причем не старая, не развалина какая-то, какие, обычно обитают в таких вот доживающих свой век деревеньках, а молодая, с пружинистым шагом, стройной фигурой, которую не могли скрыть ни фуфайка с повязанным поверх ее полушалком, ни валенки, ни ватные штаны...

Кто же это мог быть? Я знал почти всех жителей и Степанова и Почаевки, особенно молодых, которые учились когда-то вместе со мной в деревенской школе. Но деревенская молодежь давно уже покинула родные избы, которые даже электрической лампочки не знали, уехала в города, казалось бы, безвозвратно.

И вот, на тебе, молодуха в Почаевке!

Молодуха тем временем подъехала ко мне, поправила ружейный ремень на плече и оплеснула меня ироничным взглядом, даже не удивившись нисколько.

– Что, парень, заблудился, что ли?

– Здравствуйте! – отвечал я неуверенно, разглядывая лыжницу. Похоже, я ее не знал.– В гости вот шел к Вихревым, да чуть волкам в зубы не угодил... В бане ночь коротал.

– Повезло,– сказала лыжница.– А мог бы и не выжить тут. Вихревы вон уехали... У них волки сначала собаку задрали, а потом корову зарезали прямо в хлеву, пока они в город ездили. Крыша у них драночная была, старая. Бросили все и в город переселились до весны. Правда, тетя Маша хворает сильно. Не знаю даже, поправится ли...

– А что с ней? – с тревогой спросил я.

– Говорят, худая болезнь, от которой спасенья нет...

– Беда,– сказал я горько.– Замечательная женщина. Дядьке Леше настоящая подруга боевая.

– А вы-то как тут с волками? – спросил я, все более поражаясь незнакомке.

– Когда воюю, когда мирно живем,– отвечала она без всякой бравады.– Утром в окно выгляну – сидят. Меня караулят. А больше некого. Я одна на всю Почаевку. Ни собаки, ни кошки... Беру дробовик, шарахну прямо из дверей, прогоню эту свору, а к вечеру опять придут... Усядутся, в окошки мои заглядывают... Скучно им в лесу-то.

Этот рассказ так меня захватил, что я даже покраснел от накатившего восторга. Вот это был бы материал для газеты! Вот это был бы очерк!

– Пригласите меня в гости! – проговорил я, волнуясь.– Очень мне ваша история интересна.

Она оценивающе взглянула на меня, но ответила не сразу.

– Надо пару зайчишек подстрелить.– Она снова поглядела на меня так, что у меня жарко загорелись уши.– А то чем буду гостя-то кормить?

– Да я не голоден совсем,– соврал я.

– Ладно,– решительно сказала молодуха.– Беги пока в дом, там не закрыто, поверни кольцо и откроется. Самовар горячий. Пироги под холстиной... Я скоро буду.

– Скажите, как хоть вас именовать? Я вас почему-то не знаю.

– А я вот тебя знаю. Ты нашего учителя сынок. Хороший был человек. И с тобой мы встречались. Один раз целый день пасли вместе овец.

И тут меня словно пронзило молнией. Я вспыхнул.

– Вот как? А вы не внучка ли Костыгова тогда? – догадался я.– Мельника?

– Внучка,– засмеялась она.– Снандульей звать... А по-простому Надей... Ну, пока!

7

Молодуха покатилась через деревню в перелесок, а я через залив двинулся в Почаевку, вспоминая эту, неожиданно явившуюся из детства девчонку, в которую я, как мне тогда показалось, влюбился с первого взгляда.

Я ее не видел больше ни разу, хотя слыхать о ней слыхал. Тем более имя у нее было непривычным для слуха. Деревенские старухи частенько вспоминали Гришу Мельника, который не уехал из-за подтопления, а остался жить на мельнице со своей внучкой Надюшкой, Снандульей по-настоящему.

Родителей у внучки не было. Дочка Гришина принесла, как у нас говорят, дитё в подоле из города, где работала на фабрике. Принесла да недолго и пожила. Однажды по весне переходила по распадавшемуся льду большую реку, да и пропала. То ли утонула, то ли ушла искать лучшей доли. Неизвестно. Больше ее никто не видел. А вот внучку на какое-то время забирала родня отцова в город, а потом она будто бы возвращалась...

Гриша Мельник жил бобылем. Старуха-то у него давно убралась в мир иной. Как они жили, никто не ведал. Мельница была в лесу, прибылая вода скрыла все дороги и подъезды к ней. Только летом можно было на лодке доплыть да зимами по льду добрести.

8

...Скоро я уже был в Почаевке. Дом моей хозяйки не был обшит, бревна от ветров и времени были в темной окалине, но всем своим видом внушали основательность и кондовую крепость.

Верно, прежний его хозяин и строитель, придирчиво отбирал в беломошных борах тонкослойные смоляные сосны, которые способны простоять под ударами непогод не одно столетие...

Заулок у дома был густо прошит волчьими стежками. Эти серые разбойники, было видно по следам,

и вправду чувствовали себя настолько вольно, что подходили к самым стенам избы и вставали на задних лапах, заглядывая в окна.

Я взбежал в крыльцо, повернул кольцо щеколды, нашарил в сенях двери, обитые войлоком, и оказался в теплой утробе избы, пропахшей щами, пирогами, каленой глиной русской печи и еще чем-то неуловимо домашним, делающим тебя уверенным в собственной безопасности.

Я скинул полушубок, валенки, уселся за стол и с аппетитом принялся за пирог и чай...

Но едва я насытился, как меня охватила непреодолимая дрема. Я с трудом взобрался на печь и там, на горячем ее ложе, уснул поверх фуфаек, подложив под голову валенок. Затухающее мое сознание зафиксировало еще два далеких выстрела, прозвучавших почти один по-за другим...

И еще я успел подумать, что вряд ли дядя Леша Вихрев, прошедший войну и немецкие лагеря, уехал из деревни, забоявшись волков...

Я проснулся от стука дверей. Вместе с хозяйкой в избу ввалились клубы морозного пара, в которых едва угадывался человек. За окнами уже начинали сереть сумерки. Короток день на Николу зимнего.

– Поспал? – весело спросила Снандулья, разматывая полушалок и снимая фуфайку.

– Слезывай скорее, станем обедать.

Я спустил ноги с теплой печи в настуду, ворвавшуюся с улицы вместе с охотницей.

– С полем? – спросил я Снандулью.

– Я уж ошкурала двух на дворе. С вечера печь истоплю и в горшок. День-то и сыты.

Снандулья уже скинула за перегородкой ватные штаны, переоделась за ситцевой занавеской в горошковое платье с белым воротничком, причесалась и радостно порхала по избе. Теперь я увидел, что она была удивительно привлекательна, русые волосы были забраны в косу и красиво уложены вокруг головы, глаза

ее загадочно сияли голубыми родниками в сумраке избы, платье при движении льнуло к ее упругой фигуре, а в вырезе платья белела маленькая чувственная грудь.

Я в ту пору был еще не женат, какого-то серьезного опыта в отношениях с противоположным полом не имел, и тут почувствовал, что при виде этой женщины под сердцем у меня зарождается какая-то сладкая тревога. Как будто я опрометчиво вступил на тонкий, опасный лед и зашел уже далеко, чтобы возвратиться назад.

Я умылся под рукомойником и сел за стол в ожидании хозяйки. Она вынесла из кухни зажженную керосиновую лампу, потом горшок со щами и глиняные миски, хлебный каравай.

– Хлеб-то сам нарежь. Хлеб в доме мужчина должен резать. А то все сама, сама,– сказала она и заглянула мне в глаза, отчего у меня вновь заволновалось сердце.

– Третий год уж тут,– сказала она, как пожаловалась.– Сначала городской жизни попробовала. Ушла от деда, училище в городе закончила на крановщицу, на стройке поработала, да влюбилась, как дура. Парень здоровенный такой был, красавец. Из вербованных. Замуж вышла, ребеночка родила. Мыкались по общагам, мужик-то к горькой пристрастился, да так стал запивать, что свету белого я не взвидела.

Однажды расстелила ватное одеяло на полу, положила маленького, ему было-то три месяца с половиной, а сама на кухню побежала, каша варилась. И не слышу, что пришло горе мое... Только слышу, грохот да ребеночек вскричал. Я – в комнату, а уж поздно. Он, пьяный, на ногах не стоял, своими кирзачами прямо по одеялу пошел, да хотел, видимо, взять его... Да и завалился вместе с ним. Этакий кабан... Здоровый был под сто килограммов. Да со всего маху-то... Пока скорая пришла, а маленький-то уже не дышит...

Она отвернулась и долго смотрела в темное окно. Наверное, не хотела показать своих слез...

– Так, а что было дальше? – спросил я осторожно, выждав паузу.

– Ребеночка схоронила, мужа посадили, а мне жизни в городе не стало. Вот и приехала к деду на мельницу. Год, наверное, мы с ним прожили. Он мне раны душевные заживил рассказами да сказками. Травы показал, как снадобья варить, заговоры творить...

Я старался не перебивать свою собеседницу.

– Дед Гриша долго на этом свете не задержался. Помер. А я в Почаевку перебралась, в теткину избу пустовавшую. Вот в эту. Так и живу здесь, с волками воюю...

– Так, а как без работы? Без денег? – удивился я.

– Ну, насмешил... В деревне да без работы,– повеселела она.– Все лето в трудах. Огород. Капуста, картошка, лук, свекла, морковь... Все требует ухода. А потом ягоды на болотах пойдут. Морошка сезон открывает – все деньги. Голубика, брусника, клюква. Я одной клюквы больше тонны сдаю, да грибов соленых с полтонны. Заготовители ко мне на катере подъезжают, деньги на руку, продуктов каких привезут: муки, сахара, масла... Керосина...

– Ты ешь, ешь,– все еще не глядя на меня, сказала Снандулья.– Пойдем сегодня, как стемнеет, на мельницу...

Ложка моя застыла в воздухе.

– Вот баню затопим и пойдем...

– Я уже сегодня нагулялся ночью,– сказал я хрипло.– Чуть не съели...

– Не бойся,– отвечала ласково Снандулья.– Я тебя в обиду не дам...

– А зачем на мельницу? Там ведь никто не живет... Чего ж туда по ночам шататься? Жуть какая-то. Волки кругом шастают,– стал сопротивляться я.

– Самая пора,– возразила Снандулья.– Там под мельницей омут глубокий. А сейчас в никольские морозы налим начинает нереститься – не зря его зимним бабником зовут... Ночь у него – самая клевая пора. Мы с тобой за час-другой наловим столько, что на всю зиму хватит.

Она при этом заглянула в мои глаза, словно хотела найти в них ответ, хватит ли нам налимов этих до конца зимы, и снова сердце мое заволновалось.

– Не сомневайся. Пока баня топится – управимся...

– А волки?

Снандулья засмеялась, глаза ее озорно заблестели:

– Иди, затопляй баню, там у меня все излажено, только спичку чиркнуть...

Я покорно поднялся и поплелся на улицу. Похоже, Снандулья уже нашла способ управлять мной. Меня втягивало в какой-то бездонный, таинственный водоворот, желанный и пугающий одновременно.

...Пока я был в бане, Снандулья затопила печь в избе, приготовила чугун с картошкой и зайчатиной, поставила его к устью топки, в которой полыхали поленья.

– Вот тут наше жаркое и станет томиться,– сказала она.– Можно собираться. Лыжи есть и для тебя. Снасти у меня готовы, возьмем санки под рыбу...

– Смелая ты,– сказал я.– Я бы после вчерашнего и носу на улице не показал.

– Ты в карман бутылку керосину сунь, там у меня факелы из кудели навиты, если обнаглеют, будешь отгонять... А меня не тронут. Я же сказала, что заговорное слово знаю,– смех у нее прямо-таки журчал, как ручеек.– А нет, так ружье... на что.

9

...Это была волшебная ночь. Луна светила прожектором, ярко освещая ставшим в одночасье призрачным и загадочным мир. Перед нами поднималась стена дремучего леса, убранного искрящимся инеем. Река, привольно раскинувшаяся на просторе, в лесу смиряла свой нрав, забравшись в узкие крутые берега.

Скоро мы вошли в лес. Снандулья сняла ружье и выстрелила вверх. Дрогнули ветви, роняя снег. Эхо понеслось вдоль реки, постепенно затихая в дебрях.

– Это чтоб они знали, кто тут хозяин? – спросил я, когда все стихло.

– Хозяин здесь был один,– отвечала она задумчиво.– Дед Гриша. Я маленькая была, так считала, что он всех обитателей реки и леса знал, со всеми разговаривал, со всеми дружбу водил...

– А что у вас и водяной на мельнице жил? Старухи в деревне часто рассказывали. Говорили, что Мельник с Водяным дружбу водит.

Снандулья не стала отказываться.

– Вот мы выйдем с дедом, бывало, на плотину, дед и показывает: «Смотри, Надюшка, видишь зеленую моховую бороду? В этом бучиле самый главный Почаевский водяной живет. Вон-вон он показался, борода его по течению стелется. Ты его не бойся, он смиренный у нас... Никакого зла не сделает никому. Он у нас в омуте свою службу правит: воду стережет да рыбами командует...

А мне и не страшно вовсе.

Когда подросла, так, бывало, нырнешь в омут, камень в основании плотины там положен, руки запустишь под него, а водоросли под камнем мягкие, ласковые... Это будто бы борода его... Водяного. Нашаришь в этой бороде налима, зацепишь под жабры его – и на свет.

Мы с дедом налимов в костре запекали, глиной обмажу – и в уголья... Там этих налимов теперь – страсть... Собрались для продолжения рода со всего водохранилища...

Снег под нашими лыжами скрипел так же, как и вчера. И скрип этот, усиленный коридорами леса, должно быть, достигал чутких ушей моих вчерашних преследователей.

Но безмятежное спокойствие Снандульи перешло и на меня, я уже не оглядывался в тревоге вокруг, отыскивая глазами знакомые очертания хищников.

Так дошли мы до мельничного омута. Останки мельницы и мельничного колеса тревожно темнели на фоне выбеленного морозами леса. Огромные сосульки свисали с колеса и сверкали под лунным сиянием.

Ни единого звука, ни шороха не издавала эта, застывшая в ночи мельница, обиталище мельника и его внучки.

Я пытался представить себе, как жили в этой рубленой мельнице, скрытой от людских глаз, одноногий старик с девочкой, лишенной детских радостей, возможности общаться со сверстниками, не видевшей ни кино, ни электрического света... Пытался, но выходило плохо. Похоже, что Снандулья не сильно огорчалась по потерянному в лесах детству... Вот и сейчас она была деловита и хозяйственна, не обращая внимания на зачарованный луной и зимней ночью мир.

– Я здесь уже была три дня назад,– сказала буднично она.– Видишь, на льду холмики, это проруби, я их лапником закрыла и снегом сверху закидала, чтобы не промерзали. Ты лапник оттащи в сторону и начинай ловить. Берешь удочку с блесной, кладешь ее на дно и стучишь ею по дну.

Налим услышит, подумает, что ерш пришел отложенную икру есть, бросится ерша сожрать, тут-то и попадется тебе на крючок.

Я распустил леску с блесной, и едва успел стукнуть ею по дну, как там внизу что-то тяжелое село на мою снасть и потащило удочку под лед. Я подсек и стал выводить добычу. Скоро налим внушительных размеров извивался у меня на льду.

Тут подскочила Снандулья, ударила его палочкой по голове. Рыбина перестала извиваться и вытянулась во весь рост. Наверное, в нем было сантиметров семьдесят.

– Иначе, нам их не увезти,– пояснила она свои действия.

Налимы и вправду садились на блесну один за другим.

Скоро на льду лежало не меньше полусотни хвостов.

– Хватит, однако,– сказала Снандулья.– Давай санки, грузить станем. Она откинула с десяток налимов в сторону. Остальных, уже замерзших, мы сложили

на санки, увязали их веревкой. Воз оказался приличный, килограммов под сто. Можно было возвращаться назад.

– А этих кому оставляем? – спросил я с недоумением, показывая на валявшихся в стороне налимов.

– Делиться надо,– засмеялась в ответ Снандулья.– Ты подожди меня здесь, не ходи никуда. Я скоро.

Она нагнулась, подхватила в руки самую большую рыбину, и направилась в сторону возвышавшейся над омутом плотины.

Луна зависала уже над самой плотиной, отбрасывая тень от нее на половину мельничного бучила. Я стоял как раз в тени плотины. И тут я увидел, как на освещенной кромке ее показался силуэт крупного волка. На фоне темного звездного неба казался высеченным из камня. Волк стоял, устремившись вперед, откинув хвост, вытянув морду, ловя чуткими ноздрями запахи.

Но что это? Недалеко от него на плотине появилась Снандулья. Она шла на сближение со зверем, который не проявлял признаков беспокойства.

И только когда между ними оставалось метра три, волк переступил с ноги на ногу, и сделал шаг назад.

Так они стояли друг против друга, словно два путника, встретившиеся на одной тропе. Я видел, что Снандулья что-то говорила волку, но не слышал. Меня так потрясла эта картина, что я, забыв про предостережение хозяйки, пошел к плотине, чтобы услышать заговорное слово, про которое она уже дважды говорила мне.

10

Я почти вплотную подошел к плотине, но человек и зверь стояли друг против друга, не издавая больше ни звука. Но я краем уха уловил какое-то движение воды у меня под ногами, и хотел, было, на всякий случай отодвинуться, как тут Снандулья взмахнула рукой:

– Лови, Тайга! – крикнула Снандулья.

Я увидел, как к ногам волка полетела принесенная женщиной рыбина. Я сделал движение, отступая

от плотины, как тут твердь под моими ногами разверзлась, и я очутился в воде. Я еще успел выкинуть в стороны руки, поэтому не ушел под воду с головой.

Видимо, я провалился шумно и что-то крикнул при этом, потому что в тот же миг услыхал с плотины тревожный оклик:

– Где ты? Держись, я тебя вытащу!

Я еще не успел почувствовать холода, но валенки, полушубок быстро набрали воды и тянули меня ко дну. И, скорее всего, я ушел бы под лед, как гиря, если бы не мои намокшие рукавицы, в момент примерзшие ко льду и удержавшие меня на поверхности.

Снандулья уже бежала ко мне. Она скинула лыжи, легла на лед и поползла, подталкивая их ко мне.

– Сейчас, дружок мой, сейчас вытащу тебя.

Я подтянул лыжи и лег на них.

– Ох, ты, мой милый, какая незадача приключилась. Потерпи...– приговаривала она, отцепляя ружейный ремень.– Тут же ключи бьют со дна, и лед, как бумага...

Она бросила мне конец ремня, и я, оставив рукавицу на льду, вцепился в спасительный конец его.

Пядь за пядью выползал я на лед, боясь обрушить его. Наводопевшие валенки утонули, но это облегчило мое спасение. Я еще не думал, как выжить дальше на тридцатиградусном морозе без обуви, в мокрой одежде...

Наконец, я освободился от объятий полыньи, откатился от нее подальше и встал на ноги. Хорошо, что остались шерстяные носки, но они тут же примерзли ко льду.

– Не стой, не стой, дружок мой! Шевелись! – приговаривала Снандулья. Она метнулась к саням, захватила лежащий в них факел.

– Керосин у тебя в кармане. Бутылка с керосином. Лей!

Я уже плохо соображал. Но вытащил бутылку, о которой я совершенно забыл, вырвал зубами газетную

пробку и полил керосином поставленную Снандульей палку с намотанной на ней куделей.

На морозе керосин вспыхнул с хлопком. И мне показалось, что сразу в этом мире стало теплее.

– А теперь бежим,– скомандовала Снандулья.– Тут у нас сторожка была с печкой.

Она первой взбежала в берег, затем вытащила на ремне меня.

– Скорее, скорее! Сюда.

Двери сторожки были засыпаны снегом и не открывались.

Снандулья упала на колени и принялась руками разгребать снег.

Я, кажется, уже не мог шевелиться. Мороз сковал мою одежду, превратив ее в оковы. И только факел согревал еще мои руки и лицо.

Но вот дверь открылась с усилием, Снандулья буквально втолкнула меня в сторожку и захлопнула дверь.

Она взяла у меня факел и сунула его в железную печурку. Там были загодя припасенные дрова, которые вспыхнули и затрещали, распространяя по избушке спасительное тепло.

Я едва шевелился в ледяных оковах. Снандулья принялась торопливо раздевать меня. Ей удалось стянуть с меня полушубок, штаны, носки. Она снова опустилась на колени и стала растирать руками мои потерявшие уже чувствительность ноги...

Слава спасительной печке! Через пять минут она уже гудела во всю, разливая жар от раскрасневшихся боков. Ноги мои тоже же подали признаки жизни. Сначала я ощутил боль в ступнях, потом по ним поползли мурашки, кровь потекла по жилам, возвращая тело к жизни.

Снандулья не отходила от меня. Она помогла мне снять свитер и рубашку.

Я уже стал приходить в себя, и когда моя спасительница принялась снимать с меня и трусы, вцепился в них, не желая потерять мужское достоинство.

– Не дури,– сказала Снандулья строго.– Видела я вас, мужиков, голыми... Снимай, а то останешься без наследства... Простудишь.

Я безвольно повиновался, хотя уши мои налились от стыда краской.

Стало совсем тепло, одежда моя парила.

Снандулья пошарила на полке, достала котелок, мешочек с травами.

– Сейчас мы станем тебя разогревать,– сказала она ласково,– чтобы ты не простудился, дружок мой нежданный, негаданный.

Она почерпнула за дверями избушки снег котелком и принялась колдовать над печуркой. Отблески огня, бушевавшего в печке, отбрасывали фантастические тени на стены избушки. Казалось, что я попал к древней ведунье в дохристианскую сказочную, полную преданий и мифов Русь. Все мои тревоги и страхи улеглись, стало тепло и покойно, словно я вернулся в беззаботное детство.

– Скажи мне, Надя,– попросил я.– Что это было на плотине? Мне показалось...

– Да нет,– отвечала она.– Это Тайга была. Волчица. Дед ее нашел в лесу щенком, видимо, охотники разорили логово, принес домой, выходил. Она с ним какое-то время жила, как собака. А когда дед умер, ушла в лес обратно. Она меня еще помнит, выходит каждый раз к мельнице, как я сюда прихожу...– Снандулья вздохнула.– Но у нее своя жизнь. Разбойничья, чего тут скажешь. Волк человеку не товарищ. Они меня не трогают, и слава Богу, но другим спуску не дадут. У нее стая, кормиться надо.

– Они, видишь, тебя не забывают. Проведывают,– сказал я.

– Может, жалеют? – невесело засмеялась она.– Одна я. Как одинокая волчица... Без роду без племени.– Снандулья еще раз вздохнула и замолчала, как бы отделяя свою судьбу и жизнь от сидящего рядом голого, беззащитного и бесполезного меня.

– Сейчас я напою тебя, потом дедковы валенки найду, да полушубок, и пойдем мы домой, дружок мой бедовый. Смотри, штаны-то уже почти высохли, и носки... Оденемся, обуемся и пойдем. Дома я тебя в баньке напарю, и все твои огорчения отступят...

11

Мы возвращались в деревню. Я остановился на миг и посмотрел в небо. Над нами играл сиянием звезд такой знакомый и бесконечно таинственный и безмолвный космос.

Млечный путь расстелил над нами осиянную россыпью светил дорогу, по которой, как говорили наши предки, устремлялись в неведомые царства и невиданные сады наши покинувшие землю души.

Стояла самая длинная в году ночь. Я тащил санки с мороженой рыбой. Сверху на ней лежал мой непросохший окаменевший полушубок. Моя хозяйка, героиня моего будущего очерка, шла впереди, уверенно прокладывая дорогу.

Несмотря на все, упавшие на меня страдания, мне было хорошо. Мне хотелось, чтобы эта ночь не кончалась, как можно дольше. И в то же время я страшился ее. Рядом со мной шла красивая и манящая к себе женщина. Моя спасительница.

И я думал, что в эту звездную ночь должно было случиться то, что случается со всеми взрослыми мужчина и женщинами, которые чувствуют друг к другу симпатию и влечение.

«Любовь, что движет солнце и светила...». Божественная комедия Данте...

Я желал этого и страшился. Потому что эта нежданно-негаданно встреченная мною женщина вошла уже в мое сердце и душу. Я боялся, что меня затянет в это звездное кружение пока мне неведомой нарождающейся любовной страсти, из которого выбраться будет нелегко или даже невозможно.

Я, похоже, уже не властен был над собой и все прибавлял и прибавлял ходу, как конь, почувствовавший впереди жилье и кормушку.

Меня ждала горячая баня и постель с горячими объятиями женщины.

Большая деревянная кровать с горой подушек, застеленная цветным лоскутным покрывалом...

От одной мысли об этом у меня кружило голову, а в груди начинало сладостно волноваться сердце...

...Тишина в доме была оглушающая. Даже ходики, истратив весь запас хода, остановились. Уже минимум двое суток гири на них не подтягивали. За окнами серел рассвет. На моем плече неслышно спала моя женщина...

Два маленьких чужих человечка, сведенных по какой-то странной случайности вместе в этом безбрежном, бездонном мире, слились в едином порыве, вращая звездное колесо миров...

Снандулья пошевелилась у меня на плече и открыла глаза:

– Надо печь топить,– сказала она чуть слышно.– Замерзнем.

– Я не отпущу тебя. Даже если замерзнем...

...Казалось, что время для меня остановилось, да и прежнего меня уже не было. Наверное, почаевский водяной утащил вместе с валенками в глубины омута мою бестолковую юность, беззаботность и наивность...

Неужели, под этими звездами, в тишине бревенчатой избы, на этой кровати под цветным лоскутным одеялом родился в эти дни другой человек, мужчина, постигший настоящий смысл жизни? Наверное, это было так. Но ответ на этот вопрос могла дать только сама жизнь.

Я уходил из Почаевки, как мне казалось, на неделю, на две. Мне казалось, что сердце мое не вынесет долгой разлуки.

А вернулся через два года...

12

Эх, дороги! Прокатилось колесо по дорогам, остался по-за нему только вздор дорожный, пыль да околесица. Два года гоняла меня страсть к перемене мест по Северу и Югу, Сибири и Дальнему Востоку, победившая страсть любовную.

Не про меня ли это Толстой написал:

«– А что ты делаешь? – спросил Везельвул среднего из дьяволов.

– Я дьявол путей сообщения. Я внушаю людям, что для их блага нужно как можно скорее перемещаться с места на место. И вот они едут со скоростью шестьдесят верст в час и радуются, что так быстро едут, вместо того, чтобы сидеть на месте и заниматься улучшением собственной жизни...»

Сначала сладкая тревога неотступно теплилась в моей груди, и желание бросить все и ехать тотчас в Започаевку к Снандулье то и дело останавливало мое движение...

Хотелось писать длинные письма, отбивать телеграммы, звонить и слушать часами ее голос... Но не было в Започаевке ни того, ни другого, ни третьего... А потом все более и более стала отдаляться память о тех чудесных днях, проведенных рядом с Надеждой, хотя чувство не пропало, а только подернулось пеплом, как жаркие угли в печке, когда закрыта труба, и нет в печи движения свежего воздуха.

Но вот случилось, что нужно было уйти с рыбинспекцией в длительный поход из одного водохранилища в другое. И я побежал, полетел оформлять командировку, угли моей любви обдуло, и они тут же обдали меня нестерпимым жаром.

Мы приближались на катере к знакомым с детства местам, и сердце мое радостно замирало.

А вот и Степаново, покинутое два года назад моим другом Алексеем Вихревым.

Была весна. Природа благоухала. Уже распустила свою листву береза на вихревском угоре. Я поднял

бинокль и увидел, что дом в Степанове обитаем... Из трубы поднимался дымок, во дворе на веревках сохло белье. Я увидел женщину, занятую хозяйскими хлопотами во дворе. Она несла на коромысле воду...

– Тетя Маша? – поразился я.– Но она, сказывали, давно уже идет млечным путем в сады предков. Снандулья?

Катер трясло на мелкой волне, и что-либо по-настоящему разглядеть в бинокль было невозможно. Но сердце у меня уже расходилось, и в груди рождалось настоящее пекло.

Катер наш заложил галс и быстро приближался к острову. И тут я увидел, что из лодочного гаража вышел человек, облик которого трудно было спутать с кем-либо. Это был дядя Леша.

Я спрыгнул на берег. Мы обнялись.

– Как раз кстати,– обрадовано заговорил Алексей.– Сейчас обедать станем. Пироги хозяйка пекла сегодня.

– Хозяйка? – удивленно переспросил я.– Ведь тетя Маша, я слыхал...

– Отмучилась, царствие ей небесное. У меня другая теперь хозяйка. Скоро уж два года живем. Снандулья. Да ты ее знаешь...

– Снандулья? – опешил я.– Так ведь она... – голос у меня пресекся от волнения.

– Она самая. Рассказывала мне, как вы тут с ней с волками воевали. Пошли скорее, вот обрадуется. Она сейчас парня укладывает в избе. Второй год уж парню-то. Твоим именем назвали. Не видит, что гости приехали.

И Алексей повернулся к дому.

А от дома по угору уже бежала навстречу к нам молодая женщина в знакомом мне цветастом платье...

Сердце мое упало и, как показалось мне, разбилось на мелкие осколки.

ИНГА ЧУРБАНОВА

САД В ОГНЕ ЗАЦВЕТАЮЩЕМ ВИЖУ

* * *

Я иду по деревне.
Деревня пуста:
Ни старух, ни детей,
Ни крыла, ни хвоста.

Всё уходит в песок:
Подрастают пески.
На песках-бодряках
Подрастают лески.

Мало нас среди этих
Лесков и болот:

Чурбанова Инга Александровна родилась в Вологде. Окончила Вологодский пединститут, аспирантуру Московского педагогического университета. Публиковалась в центральных и региональных периодических изданиях. Автор ряда поэтических книг. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

Обесплотился
Дружбы народов оплот.

...Продираюсь, как ворог,
К деревне пустой.
Травостой вкруг избушек,
Густой травостой.

Детства, юности сны
Обступают меня,
Клеверами-коврами
Укрыв, полоня.

Подчиниться? Остаться?
Связать эту нить?
Только нас здесь не станут,
Чужих, хоронить.–

Мы чужие. И звук
Наших новых имён
Тонет в русских краях,
В дебрях чудских племён.

...Печь.
Дровищи, снежищи,
Сибирь. Холода.
Наши дети уже не приедут сюда?

Все ключи подо льдом:
Не отрыть, не открыть.
По-над миром моим
Зарастания прыть:

Ни старух, ни детей,
Ни крыла, ни хвоста...
...Я иду по деревне:
Деревня пуста.

* * *

Отревусь, отрекусь, отскандалюсь
И узлом свою жизнь завяжу.
Даже ночью мне снится усталость,–
Не живу: не могу. Ухожу.
Я с глазами открытыми брежу,
А с закрытыми – всюду брожу,
И всё реже, всё реже, всё реже
Я о чём-нибудь Бога прошу.
Мне пора. Некрасиво шагая –
Не по-женски, смешно, широко,
Ухожу безнадёжно другая
В новый мир – безнадёжно другой.
Мне пора: там красивая осень
Рыжиной выжигает дотла
Всё, что ветер из лета приносит,
Всё, что я на себе принесла...
Пусть с меня облетит позолота.
И, забыв обнищания страх,
Снова выучусь пенью по нотам
И по птицам на проводах.
Снова выучусь немногословью,
Тихим песням, где трепет и грусть,
И назад – с первобытной любовью –
В наше чёрное время вернусь.

* * *

Всё будет, как быть положено:
Не в молодости, так в старости.
...Трава умирать накошена,
А пахнет – медовой радостью.

Цветами и сладким запахом –
Уйти не спеши! – приковывает!
...Пока росла – жгла, царапала,
А скошена – лежит шёлковая...

Играючи ноги трогает,
И гладит, и шепчет ласково...
Пока росла – была горькая,
Скосили – и стала сладкая!

Скосили – и стала лёгкая,
Как в самой далёкой младости...
...Трава умирать накошена,
А пахнет – медовой радостью...

* * *

И вырос день, и ночи сношены,
Как юбка, короток февраль.–
Он никогда зимы порошами
Моих колен не прикрывал.
С души снега, как с крыши, стаяли,
И стало холодно вдвойне:
– Оставь, весна! И так устала я
С собой участвовать в войне!
И мне не жаль того хорошего,
Что утонуло в стуже лет,
Ведь мне не жаль, что ночи сношены,
А жаль, что не о ком жалеть.

* * *

«Я несла свою беду
По весеннему по льду...»

На какую беду толкнула тебя – не помню,
От какой беды отмолила тебя – не знаю.
Может, в счастье полное пустословлю,
Пустозвонами жизнь твою пустославлю?

По весеннему по льду –
И куда же я иду?

Может, слушая плачи мои, ты, скучая, скажешь,
Что живёшь хорошо, и про беды про те не знаешь...
Или я совершила всех бед наших тайных кражу,
И сегодня тащу одна я все беды наши?

...Я несу свою беду, я несу твою беду, –
Как бы лёд не проломился, если я к тебе пойду...

Тихо и просто

Чайник поставила,
печку топлю,
В камень скрутилась, сгорая, берёста.
С кем это было:
«ревную», «люблю»?
В пламени – остов.

Чай с шоколадкой
и трёп в эсэмэс,–
Фразы изысканны,
смыслы наивны...
Кто в именительном?
Пусто. Парез.
Нет у разлюбленных
права на имя.
Ровно объяты поленья в печи
В форме прошедшего времени пылом.
Выхватить имя, обжегшись? – Молчи!
Всё это – было и сплыло!

Сплыло, мой нежный... Салют кораблю!
Непостижим его путь до погоста.
Остовом прошлого – печку топлю,
Тихо и просто.

* * *

Я давно не смотрела в огонь,
Я живу в батарейной прохладе,
И зимы ледяная ладонь
Всё смелей мои волосы гладит.

Всё спасенье моё – семена
Прошлогодней календулы рыжей:
Я себя в тот обман заманя,
Сад в огне зацветающем вижу.

Сад пылает – а мне нипочём!
...Сад багряные листья бросает...
Мне в осеннем саду горячо,
Я по огненным листьям – босая...

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ПОЛОСКА СВЕТА

МОКША

Казалось, река была бесконечна во времени. Она текла здесь миллионы лет, оставаясь незыблемой. Миры исчезали, растворяясь в прах, солнце крошило скалы и обращало в антрацит леса, магма корежила тектонические плиты, но река текла, и ничто не способно было изменить ее стремление...

Кто-то, может быть, и усомнился бы в ее глубочайшей древности. Но иногда пласты белесой глины,

---

Ларионов Олег Иванович родился в 1959 году в Вологде. Окончил факультет иностранных языков Ярославского пединститута. Работал переводчиком, журналистом. Публиковался в центральных изданиях, в том числе в журнале «Наш современник». Книги прозы выходили в «Художественной литературе», «ЭКСМО», Северо-Западном книжном издательстве. Роман «Чужой город» переиздан в США издательством «Lulu Press» (Калифорния). На японском языке печатался в альманахах издательства «Кобуши шобо» (Токио). Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

схожей с мельчайшим песком, обрушивались с обрывистых берегов в пучину вод, словно срезанные скальпелем, обнажая кости чудовищных рептилий. И тогда несмелые мысли о потерянных временах, выглядевшие чьей-то неудачной и нелепой фантазией, лишенной каких бы то ни было оснований, вдруг представали в той немой неотвратности, на которую способно лишь внезапное озарение. И потому основательно, на века, раскинувшиеся вдоль реки селения и города начинали казаться лишь мимолетными напылениями и микроскопическими вспышками средь бездны геологических эпох, круговорота рождений, смертей и параллельных реальностей.

Он всегда ощущал себя частью этой реки, потому что далекие, затерянные в какой-то особой дали блестки первых впечатлений неизбежно связывались с ее водами. Ребенком он сидел на берегу, куда его не отпускала мать, и смотрел на ровное спокойное зеркало ее шири, в которое хотелось вглядываться до забвения, словно за ним лежала не дающая покоя загадка.

Годы спустя, когда он впервые задумался об истории своей жизни, первое, что приходило в голову, как, возможно, и многим – и не только из его поколения, было предположение, что жизнь его пронеслась как-то слишком быстро и вовсе не так, как бы хотелось. И тогда вставал вопрос: а как нужно, чтоб «было так»? И с некоторой робостью и растерянностью, свойственными вечно сомневающимся людям, он начинал догадываться, что до сих пор не знал ответа на этот вопрос. На первый взгляд, мириады часов, череда лет и десятилетий канули в однообразии и механической монотонности будней, так часто лишенной того, что можно было бы назвать праздником души. В его жизни не происходило каких-то значимых событий кроме последнего года войны, в ней не за что было зацепиться взгляду. На этом пути, почти предопределенном, с которого нельзя было свернуть, на котором нельзя было остановиться, единственным, что было в его силах – замедлить или уско-

рить ощущение бега. Он незримо оставался связанным по рукам и ногам. Но и эти узкие рамки вдруг приоткрывали невероятные возможности, и тогда история его жизни начинала приобретать иное значение, как некий бросок к свободе. И он любил думать об этом, сидя на берегу широкой реки Мокши, где стояла просторная старая изба, срубленная когда-то пращуром.

Приезжие наивно полагали, что название реки происходит от слова «мокрый» и подразумевает болотистые окрестности. Однако московский профессор, однажды отдыхавший здесь летом, убежденно утверждал, что имя реки – древнеиндийского происхождения и означает глубокое философское понятие, связанное с высшим смыслом в мире людей, судьбой и обретением истинного «я».

Места здесь были живописные, вольные, кругом леса да озера, а воздух до того чистый, что казалось, благодать божья разливается по телу, когда он попадает в легкие. Местные не придавали значения такой его странной особенности, видимо, воспринимая ее, как нечто само собой разумеющееся, а вот приезжие отмечали сразу. А причина тому – огромные сосновые боры, похожие скорее всего на роскошные парки, где – не чета лиственному и смешанному лесу – не встретишь бурелома и чапыжника. И все бы хорошо, но после образования в верховьях водохранилища, Мокша год от года стала подмывать речной мыс-излучину, на которой стояла их деревенька Спас. Два дома уже смыло в половодье, а остальные рано или поздно ждала та же участь.

Кто попроворнее да пошустрее, перебрался в пустующие дома соседних деревень, молодежь подалась в город, а Иван Михайлович Артемов с женой Клавдией да с немногочисленными соседями остался доживать в Спасе. Не хотел бросать отчину, приглянувшуюся еще далеким предкам, появившимся Бог весть откуда и прочно обосновавшимся здесь. Жили в Спасе, насколько знал Артемов, прадеды его и деды, стоял здесь старинный погост с часовенкой, сработанной при помощи

одного лишь топора. А избы – на высоких подклетах, с огромными дворами, мощными накатами взвозов, венчанные коньками да языческими птицами, с нарядными причелинами и наличниками, с деревянными желобами водосточников, крепленных по старинке на «курицах», без гвоздей – не избы, а древнерусские ладьи, плывущие в небесную гладь реки.

Промелькнули в краю сосновых боров, словно за дымчатой розовой пеленой, детские годы Артемова. Как сейчас, стояли перед глазами отец его и мать, еще молодые, вечно в трудах. То косят родители сено или стогуют, то отец землю боронит на куцей лошаденке или плотничает во дворе, а мать хлопочет возле большой русской печи. Отсюда ушел Артемов на фронт и вернулся в сорок пятом на костылях. Левая нога у него была покалечена. Несмотря на это продолжал трудиться в совхозе, без работы не мог.

Нет, бросать Спас не могло быть даже и мысли. Крепко задумался Иван, как спасти деревеньку от дикой стихии. И понял вскоре, что уберечь можно. В незапамятные времена Мокша текла в стороне от Спаса, но потом по неизвестным причинам изменила свой путь. Нужно было пустить часть вод разгулявшейся реки в старое, идущее неподалеку русло, а для этого прокопать канал около ста метров длиной.

Написали местные жители письмо районному руководству, просили выделить технику на рытье траншеи. Долго оно лежало под сукном, потом за подписью секретаря Снеткова пришел все же ответ: так, мол, и так, деревня ваша бесперспективная, подлежит расселению, и проводить здесь какие-либо работы нецелесообразно.

Вот тогда переправился Артемов на смоленой плоскодонке на противоположный берег Мокши и принялся копать... Такой он был человек, не умел ждать у моря погоды. Привык на себя рассчитывать. Жизнь его крепко била, и выучила одной простой истине: в трудный момент нужно верить только себе и работать. И он работал – весной, когда отовсюду просачивалась вода,

в едкий зной, в пронизывающий холод, до глубокой осени. Помочь ему было некому: в деревне остались лишь престарелые да немощные.

Вскоре нагрянули в Спас чиновники из района. Копать запрещали. Земля, дескать, государственная, и самовольничать никто не имеет права.

– Вы нас, значит, топить в воде будете вместе с избами, а мы и пикнуть не моги? – огрызнулся старик, и лопаты не бросил.

Чинуши районные стаями вокруг него сновали. «Порченую» землю замеряли, акты составляли, комиссии лукавые устраивали да штрафами грозили. Но старик не сдавался. Он молча копал землю, потому как знал: умрет он, и никто не сбережет Спас, завещанный пращурами.

Что-то не рассчитал все-таки старик, очень медленно шла работа, совсем не так, как бы хотелось. Траншея метра в два шириной и почти столько же глубиной ползла к заветному руслу со скоростью черепахи. Вот уж год миновал, потом второй, третий пошел... Но старый солдат был настойчив в задуманном. Он работал и работал с упрямством заговоренного. Ныли кости, болела старая рана, не раз спину прихватывало. Но едва отлежавшись, старик вновь брался за лопату.

К тому времени райкомовскому начальнику Снеткову директиву «сверху» спустили – «повернуться ближе лицом к людям». Да к тому же компетентная комиссия пришла к однозначному выводу: по прогнозу в ближайшие годы Мокша не только деревню с погостом затопит, это бы еще полбеды, но и заповедные угодья, охраняемые государством. Значит, правильное дело затеял старик Артемов. Другую политику стал гнуть Снетков. Договорился с местным строительно-монтажным управлением выделить экскаватор, да поддержать рядовых жителей Спаса в лице Артемова.

Экскаваторщик резво продолжил дело старика. Машина не в пример высохшим жилистым рукам, вооруженным одной лишь лопатой, споро жевала грунт.

Только лязгала она стальными челюстями недолго. Пошли старые коренья, бурелом. В СМУ решили, что дальше копать нельзя. Приехало начальство. К сорока метрам траншеи, вынутых экскаватором, приписали тридцать, проложенных вручную стариком. Оформили наряд на семьдесят метров прохода, получили деньги. Не преминул начальник СМУ и со Снетковым поделиться – старые кореша были. Себе – по премии, а Артемову – почетную грамоту за ударный безвозмездный труд на благо родного совхоза.

У Клавдии Артемовой на сберкнижке были кое-какие сбережения, припасенные на двоих с мужем на черный день, «гробовые». Сумма не такая уж и большая, но и не маленькая. Ее составляли деньги, в свое время вырученные от продажи двух коров и телки, и те, что накопила Клавдия, ежемесячно, в течение десяти лет, откладывая по одной трети пенсии.

Реформа девяносто первого года превратила все их сбережения в труху. Теперь на них можно было купить разве что полбуханки ржаного хлеба... Долго причитала Клавдия. Артемов слушал-слушал, не выдержал:

– Ладно, старуха, не убивайся. Нам скоро ничего будет не надо. Два квадратных метра, всяко, тебе дадут. Мы жизнь прожили. Вот только за внуков душа болит. О своих-то меднолобый президент позаботился. А у наших впереди – никакого просвета...

Медленно тянулись долгие зимние вечера. Артемов думал о канале, он уж ему во сне начинал сниться. Вот только отойдет земля – за дело! Коренья вырубать будет. Топор он давно направил что те бритву. Экскаватор не смог, а он – сделает. Большая часть пути пройдена. Руки-ноги на месте, а значит, отступать некуда, так его на фронте учили.

Чуть отошла земля, Артемов вновь взялся за инструмент. На сей раз дело продвигалось совсем плохо. Корни, словно стальная арматура, опутали землю, превратив ее в бетон. Лопата теперь почти не требовалась. Старик то и дело затачивал топор. Приходилось рубить

и многочисленный кустарник. Однажды во время такой рубки мощная ивовая ветвь с силой хлестанула Артемова в лицо, боль была неимоверной. Артемов лишился глаза.

В ту весну Мокша унесла еще один нежилой дом, затопила огород Артемовых, вплотную подойдя к самой избе. Грустные мысли одолевали старика. Он долго не выходил на улицу, хворал.

Похандрил старик, но потом снова за работу взялся. Оставалось совсем уж немного, да и торопиться нужно было: следующей весной Мокша точно до их дома доберется.

В один из погожих летних дней появился в Спасе Снетков. Приехал на сияющем новизной внедорожнике с литыми дисками и трехлучевой эмблемой на капоте. Приехал он осматривать окрестности. Здешние угодья собирался прикупить и построить охотничий дом для иностранцев. К тому времени Снетков развернулся неплохо. Еще в самом начале девяносто первого всем нутром почуял, к чему дело идет, и из партийных секретарей подался на местный маслозавод директором. Вроде бы как на понижение пошел по тогдашним понятиям. Но нюх Снеткова не подвел. Осенью сменили на заводе форму собственности, и Снетков набрал акций по дешевке. До контрольного пакета, однако, не тянуло. Работяги на собраниях акционеров свою линию гнули, не давали ему в полную ширь развернуться. Года два тянулась такая «бодяга», издергался Снетков совсем. А вот когда Ельцин по народным депутатам из пушек в Москве бабахнул, Снетков первым собрал подписи соратников и открытое письмо в областную прессу дал в знак одобрения. Потом письмо то многие центральные газеты перепечатали. С тех пор полегче вздохнулось Снеткову. Послушал он умных людей: «Ты зарплату по полгода не плати, так к тебе работяги сами на коленях приползут, свои акции задарма готовы отдать будут. Голод-то, он ведь не тетка».

Так бывший партбосс и сделал. И уже через полгода стал полновластным хозяином на заводе.

Новая затея с охотничьим домом, воплотись она в жизнь, сулила Снеткову весьма недурной дополнительный доход. Одно обстоятельство только мешало – дома «последних из могикан» Спаса. От них нужно было избавляться, а на освобожденном месте строить новый, по европейским стандартам, комплекс. Посыльные от Снеткова уже шастали по Спасу. Предлагали семьям по пять тысяч – и выметаться из деревни. То, что на пять тысяч не купишь и фанерную пригородную дачонку, их не интересовало. «Не хотите добровольно, красного петуха пустим, сами уйдете, но уже без денег»,– пугала снетковская братва. Приходили и к Артемову.

– Не боюсь я тебя! – невозмутимо сказал Артемов наглому бритоголовому трутню.– В войну фашистов били, и с вами справимся.

– Ну-ну,– съязвил отморозок, ощерив желтые фиксы.– Вкалывай пока, старпер, все равно потом все отнимем!

А старик продолжал работать как оглашенный. Он действительно не боялся наведывающуюся в деревню шпану, за которой стоял Снетков. Какое-то могучее, доброе вдохновение осеняло Артемова и придавало ему сил. Он знал – еще немного, и шалая Мокша теперь уже точно успокоится, и красота его родины сохранится на века.

Копал старик с сезонными перерывами уже седьмой год. Многое изменилось с тех пор. Ушли в небытие иудушки-краснобаи, уступив место новым, охочим до дармовщины лжецам, «иных времен татарам и монголам». Рухнула страна, партийные секретари и директора производств стали «новыми русскими», а потом, почуяв полную свою безнаказанность, продолжили борьбу за передел собственности, как обыкновенные бандиты. И пошло – одних садят, других «мочат». А он копал и копал.

Однажды он пришел совершенно уставшим.

– Слыхал, Ваня? – встретила его Клавдия.– По радио передали, Снеткова посадили. И завод у него отобрали.

Старик отнесся к сообщению совершенно спокойно.

– Правильно,– сказал он.– Человек взятку возьмет. А судьбе ее не дашь... Не вечна нечисть на этой земле. А у меня другая весточка: выкопал я канал. До самой старицы дошел. Теперь осталось только перемычку у Мокши пробить – всего на день работы...

Старик помылся, перекусил и прилег на кровать. Ему снилось детство, далекое детство... Все чаще почему-то стало приходить оно к нему в воспоминаниях. И лучилось в них светлое, не сравнимое ни с чем, почти младенческое чувство защищенности, ощущение вечности и неизменности сущего, которое никогда не приходило больше во все оставшиеся годы. Стоит на мысу деревенька Спас, не нынешняя, потрепанная, без половины домов, а тогдашняя: большая, богатая, и кипит в ней вовсю крестьянская жизнь. Бредет на вечернюю дойку тучное коровье стадо, слышатся завывания буренок, окрики пастуха. Суетливая мать радостно привечает свою Пеструшку. Отец, возвращаясь с работы, поднимает сына до самых розовых облаков... А рядом молчаливо течет река – сильная и спокойная, уносящая темные воды в тайну чужих просторов и стенающее и безликое безбрежие океанов, где имя ее растворится навсегда...

– Так и будешь в одежде лежать? – спросила Клавдия.– Ночь уж скоро, Иван.

И, схватив его холодеющую руку, в предчувствии беды, заголосила:

– Ваня-а!..

Его похоронили на деревенском погосте в окружении вековых сосен рядом с родителями, братьями и сестрами. Через день жители Спаса раскопали оставшуюся перемычку в канале, проложенном старым солдатом, и воды Мокши наперегонки, словно соревнуясь, сокрушая остатки невыбранной земли, дошли до

старицы. Наполнив ее, они соединились с основным руслом, образовав остров. И топь, угрожающе подступившая к избам, медленно пошла прочь...

ТИХИЙ ДВОРИК ВОЛОГДЫ

Трепетно возвращаться в родную Вологду после долгой разлуки. Идешь безмятежно по не изменившейся за многие века набережной. Воздух насыщен густым запахом сирени и реки, дарящей тепло. Пустынно, солнечно вокруг. Но когда видишь, как за небесным молоком разлившейся реки в нежном аметисте неба струится сквозь белесо-голубоватую дымку Софийский собор, воплощающий божественную мудрость, и высокая колокольня тоже струится вверх ангельским песнопением, город словно приближается к тебе.

И тогда кажется, что в мире нет более родного для тебя рукотворного создания, чем Вологда, роднее деревянных кружев, камня старых мостовых и пыли обочин, всего векового и исконного. Каждая травинка и каждый домишко на древней улочке – часть твоего бытия.

Церкви, возведенные предками, под гениальным взором зодчего превращенные в часть пейзажа, неброско и значительно восстают за береговыми кручами и изломами реки. Они, словно древо, рождаются из земли естественно и в соответствии с нерушимыми законами жизни. И серебряные их купола и шпили, и величественный Софийский собор, и суровые башни Прилук, и неприметные переулки забытых кварталов – сущность земная, корни, глубоко внедренные в многовековую память, мысли твои, стародавние надежды, взрослевшие вместе с тобой.

Ты возвращаешься, и тихий город внушает странную мысль о том, что все еще впереди. Увидишь утопающий в зелени домик самого раннего детства, и тронет сердце, защемит душу, шевельнется в ней что-то невыразимо теплое, родное, словно окажешься

в добром приветливом краю, где все для тебя ново и интересно. Дворик, теперь кажущийся крошечным, в памяти застыл иным – большим, почти огромным, с множеством таинственных уголков... И хоть давно запустел тот дворик, нет многих из тех, кто жил здесь тогда – как коротка жизнь! – он остается преданным хранителем памяти многих счастливых дней юного первооткрывателя.

И благодаришь Бога, что есть на свете этот лазурный светлый уголок, где, что бы ни случилось, ты вновь окунаешься в те времена, когда мир был не познан и не изведан, а главное, он был добр, ласков и вечен, как вечными были населяющие его люди. Сидеть бы часами на одной из тихих окраин мирной Вологды, погружаясь в благодать и независимость покоя, цветной бесконечный сон растворенных здесь многих лет...

ЦВЕТОК ИВАН-ЧАЯ

До сих пор помнятся суровые и могучие, без украшений, монастырские стены, у подножия которых плескалась прохладная синяя вода озера. Так тихо, светло и одиноко было кругом, так безлюдно, словно одиночество было вечным порождением здешней земли, и все звуки, как хрустальные вспугнутые птицы, поднимались вверх и исчезали в нем навсегда. Казалось, среди пустынности самого времени возвышались эти молчаливые громады, и на вершинах башен резные флюгера бесстрастно и гордо смотрели куда-то за даль озер, словно мудрым оком своим оглядывали неприступную толщь ушедших веков.

В совершенно полых, головокружительно высоких башнях монастыря было темно, так что становилось жутко: мнилось, необъятная прорва камня обрушится и погребет под собой все.

Далеко тянулись гигантские сооружения, не повторяющиеся, нескончаемые, молчаливые. И демоническая

фантазия их, необузданная, словно стихия, так чуждая нищенскому убожеству современных каменных жилищ, их расточительная мощь, необъяснимая непрактичность, их бесцельный простор, на которые был затрачен многовековой каторжный труд тысяч и тысяч безымянных душ,– все это было непостигаемо, таинственно, как и тот гений, что воздвиг застывшую средь бесконечной изменчивости суровую каменную симфонию...

Многометровая толщина стен совсем не ощущалась в нишах бойниц. Ниши эти сужались утюгом к внешней стороне. Сквозь них проглядывал холодный простор свинцового озера, клокочущие волны которого уже были освещены поднявшимся солнцем, а еще зелень лесов и островов – пейзаж простирался где-то внизу, за пределами укреплений, ограниченный узкой щелью бойницы.

Если спуститься вниз, то можно оказаться среди безлюдных переходов и задворок, где, несмотря на весь их размах, не было ни души, и где лежали в запустении накрененные, ушедшие в землю тяжелые плиты могил, мраморные и гранитные, с уже стершимися надписями, изредка встречались выше человеческого роста надгробия из белого и черного мрамора, украшенные узорами, искусными навершиями и ангелами, а поодаль стояла проржавевшая, из кованого железа, усыпальница.

В стенах было множество выбоин, и по ним, пожалуй, можно было даже взобраться вверх. А железная крыша одних из ворот сорвалась с каркаса, и на земле от нее остался жалкий след обглоданных годами останков.

Но внезапно в самой вышине, в тени нависавших уступами мрачных стенных карнизов, я увидел растущие прямо из стен яркие, рвавшиеся вверх, алые, нежные цветы иван-чая. Как умудрились вырасти они там, на камне крепости, среди холода и тени, среди озерных сквозняков?

Многое вы знали на своем веку, стены. Могущество и падение, измену, любовь, процветание и гибель – вы

знали все, и всегда это была жизнь, она вечно трепетала, ведь все было направлено против нее, все стремилось ее смять и уничтожить, и вы защищали ее, как могли, бесстрастные судьи эпох. Но все-таки она сильнее вас – сильнее вас этот красный цветок...

Разверзлись в синем бездонье удары благовеста, и, казалось, рекли: «Человече, не завянь в неизбывной тени, на которую обречен судьбой, не загуби цвет, что так алчут истоптать неведение и зло...»

Знаю, есть он в тебе, этот цвет, недолгий и хрупкий, но более сильный, чем тысячи неправедных ветров с озера времени.

ДОМ, СУЩИЙ ГДЕ-ТО

Уже предвестие ночи облегло тот августовский мир. Я только что выехал на одиночном мотоцикле на безоглядно ровное шоссе и теперь с бешеной скоростью вонзался в него. Едва успел глянуть назад: там стремительно колыхался белый шлейф дороги, уходящий в садившееся солнце, и по нему стлались белые струи дыма, рвавшиеся из выхлопных труб. Мотоцикл, словно ракета, поглощал стелющуюся ширь, и ни души не было кругом. Я не ощущал машины. Стрелка спидометра неподвижно висела далеко за «сотней», а в ушах, защищенных обивкой шлема, по-прежнему стоял низкий гул, вызываемый движением встречного воздуха и мотором. Мелькали в свете фары неразборчивые и сумбурные нагромождения строений, разбросанных человеком, потом строения кончились и потянулись пустынные поля, съеденные фиолетовой сыростью неба.

И все также ввинчивался стремительный штопор движения, сжигая угрюмость и смертельную скуку расстояний. Ливень, ударивший внезапно, разбивался о стекло маски, о черную кожанку и сапоги. Колеса, дрожащие в лихорадочной пляске на частых выбоинах и неровностях, заставляли взвизгивать небольшие лужи,

и их содержимое с яростью обрушивалось на меня. Мотоцикл летел там, где с трудом прошла бы любая машина,– по узким прожилкам изуродованных частей дороги, по утрамбованным колеям в море грязи, словно вездесущее нейтрино, для которого не могло быть препятствий. Свет фары озарял исчезающее полотно дороги, а по обе стороны от нее оставалась одна сплошная черная завеса и далекие маяки мерцающих огней.

Огни говорили о многом. Они говорили о том, что среди этих безбрежных полей и лесов идет своя жизнь, крохотная, суетливая, но многообразная; они говорили о том, что где-то шумят поезда, эти блуждающие города, и движутся автомобили, и текут широкие реки, по которым плывут корабли; о движении говорили только они, огни, мигающие, красные, зеленые, голубые и желтые, исчезающие, дрожащие, обозначающие неустанный бег бытия, не останавливающегося никогда.

Всего несколько десятков километров отделяли меня от заветной цели. И мне нужно было успеть, успеть, во что бы то ни стало, в город. Еще какой-то час, и я совсем рядом. Я ощущал тепло родного дома. Сердце ликовало, я уже видел очертания города, улыбки друзей, слышал их голоса, их смех, я уже чувствовал себя у ступеней родного дома в час встречи.

И вдруг... Вдруг все ухнуло в безбрежное безмолвие. Исчезла близость родного мира, прекратился свист в ушах, частый стук кончика ремня шлема о его пластмассовый висок, исчез призрак города... Мотоцикл замолчал, бесшумно еще катясь по инерции последнюю сотню метров, и остановился.

Мертвая неподвижность царила кругом, и черный лес громоздился стенами гигантского коридора. Уже село солнце и догорал тревожно-бордовый закат. Что-то случилось, отказал двигатель. Сумерки изрядно сгустились, я едва различал в руках инструмент. Леденистый, влажный воздух прохватывал насквозь, руки сводило судорогой. Включил фару, ее луч выхватил из мрака серость дороги, высоченный лес и пустоту, бесконеч-

ную пустоту неба. Лишь встревоженная ночная птица, делая тяжелые взмахи крыльями, пересекла дорогу и скрылась. Тепло дома, только что брезжившее в сознании, теперь было так же далеко, как и бесстрастье звезд. И моя удача – я ее упустил.

Я стоял на каком-то краю Вселенной.

И тогда с остротой и ясностью, словно в свете сорвавшегося ночью метеора, увидел и понял, что не предвкушение тепла, не улыбки друзей, не удача, слава или любовь есть твой дом. Но – тревога за трепетную крупицу где-то сущего человечества, что несется сквозь безмерно одинокую и мертвенную бесконечность космоса, и спокойная мысль о неизбежности рождения и гибели, а еще надежда, не дающая утратить в холодной безликости пространства уникальное ощущение завершенности человеческого времени.

ВО ТЬМЕ ВЕКА

Несколько столетий тому назад русичи воздвигли белокаменный храм Иоанна Златоуста. И с тех пор стоял он на высоком берегу тихой северной реки, устремленный в высокое вечное небо, олицетворяя высокий взлет духа предков, собиравших земли и народы, преумножавших достояние божие и род свой, растивших рожь и оборонявших родину от набегов псов-захватчиков, возводивших крепости и города, и, в конце концов, первыми на планете покинувшими ее и построившими на орбите космическое поселение, которое новые властители сбросили в океан.

Его точили черви эпох, бил град и мыли воды дождей, зной подобно костру калил камни его, орды татар и позднее ливонцев пытались взломать врата его – напрасно, они были отброшены русскими ратниками, не изведав добычи. Предки поклонялись в нем Богу, живущему на небе и в душе.

Намолены были источающие сияние иконы его и лики настенных фресок, исхожены несчетным количе-

ством ног широкие чугунные плиты его полов, сложенных в виде древнего языческого коловрата, как тайный знак единения с пращурами, не ведавшими Христа. Лишь однажды замолчал храм Господень: комиссары революции закрыли его для молитв, не тронув убранство, затаив его от людских глаз.

Но на исходе второго тысячелетия от Рождества Христова случилось нечто нелепое и жуткое. Захватившие власть стяжатели и иуды, лживо именовавшие себя демократами, сделали с храмом то, что, в общем-то, они совершили со всей страной и ее достоянием, в поте лица создававшемся народом: они взломали громадные врата его, варварски искорежив петли и засовы, и стали растаскивать по своим строящимся сусекам все, что только могли взломать и отодрать. Когда разобрали иконостас, принялись за полы и лестничные пролеты – древесина их за пять сотен лет стала прочнее камня. Они выдирали чугунные плиты полов нижнего храма и выламывали массивные кирпичи. Пробовали вырвать трактором и ажурные узорчатые решетки на сувениры для своих дворцов. Но машина, как веревки, рвала стальные тросы или беспомощно буксовала гусеницами в их железном плену.

И, разворовав драгоценное убранство храма, бесценные его иконы, созданные гением великих мастеров прошлого, распродав их иноземцам, они лицемерно принялись «восстанавливать» церковь, латая следы своих чудовищных преступлений дешевой пластмассовой мишурой и лубковыми картинками, выполненными на цветном ксероксе, демонстрируя «заботу» одураченному ими народу, мороча ему голову своими свечами и ханжескими молитвами.

Значит, прав был вещун царя Василия Темного в то далекое время, когда возводили храм. Он предрекал: «В конце века двадцатого бесы придут к власти на Руси, истребляя и распродавая ее и земли ее под своими лживыми стягами. Служители сатаны будут пить кровь всего народа, умерщвляя его, а продажные правители

станут потакать им. В одночасье они бездарно промотают и растранжирят то, что поколения русских людей создавали тысячелетие...»

Незавидна судьба оракулов. Их не любили и боялись. Обычно их ожидала одна участь – смерть за неверное предсказание. Цареву провидцу повезло – слишком далекие картины рисовал он.

Но сбылось все. Грабеж, казнокрадство, разорение осуществлялись не мечом, а «цивилизованно», в белых рубашках и галстуках. Все низменное восторжествовало, а высокое было низвергнуто. И народ иным способом угодил в рабство к новым хозяевам жизни. Продажность и алчность власти стали столь невероятны, что она вынуждена была создать свою новую мораль, состоящую в отсутствии всякой морали – дабы хотя бы таким образом оправдать лютое свое предательство и легализовать все то вселенское зло, которое она посеяла.

Прав оказался ясновидец... Но одумался кто-то в стремлении остановить эту вакханалию падших, пред коими меркнут имена каинов и геростратов, наспех и неумело залатал, как мог, развороченные двери и окна, вновь повесил пудовые замки, чтоб уберечь храм от навалившегося дьяволова исчадия.

И стоял он – во тьме века, оскопленный бездарными сынами продажного времени, не сломленный, устремленный, как прежде, далекой молитвой предков в высокое небо, недосягаемый для нищего рассудка мотов и дикарей, вновь неся надежду и веру, и до сих пор незримо храня политую кровью многострадальную землю и ее обманутый народ.

ПОЛОСКА СВЕТА

Домашние смеялись, живо реагируя на происходящее на экране телевизора. В какой-то миг почудилось, что и я увлечен сюжетом. Но, словно знобкая тень, мелькнула мысль о безнадежно больной маме, и стало зябко, пусто.

Я зашел в ее комнату, дверь в которую была полуотворена. Мама открыла глаза. Конечно же, она слышала наш смех и ощутила, как далека она сейчас от нас, которым неведомы муки и страдания, ожидание смерти, боль и неизвестность. Она не могла не знать об этой жестокой, неотвратимой границе, что заставила меня чувствовать горькую вину здравствующего перед умирающим. Ведь мы были бессильны помочь ей.

И от того, что прочел в ее глазах, стало страшно: там было бесконечное отчаяние человека, в одночасье заглянувшего в бездну, где не светится ни единого огонька. О чем думала она в ту минуту? Наверное, она поняла, что умрет, и что сделать больше ничего нельзя. Никогда, в самый горький час, на последнем пороге не забуду тот ее взгляд: что-то неуловимо хрупкое в нем еще отделяет маму от той черты, за которой лежит холодная, непостижимая, чуждая живущим страна забвения.

– Побудь со мной,– тихо попросила она.– Возьми мою руку в свою. Я так испугалась, что тебя нет... Что говорят врачи?

– Все будет хорошо, мама,– произнес я, едва сдерживаясь, чтоб не дрогнул голос. Она внимательно посмотрела на меня и вздохнула: она знала, что это была неправда.

– Как я боюсь ночи,– все так же тихо произнесла она.– Ты подойдешь ко мне, если я попрошу? Я не буду по пустякам тревожить тебя.

– Конечно, мама.

– Спасибо тебе, спасибо за все,– тепло и ласково сказала она,– так, как уже никто никогда не скажет.– Красное мое солнышко...

Той ночью она умерла. Что это такое, я никогда не смогу понять. Знаю только, что лицо ее освободилось от тяжести и скорби, став спокойным и ясным.

Говорят, человек умирает дважды. Первый раз, когда теряет близких. Я думаю, он умирает только один раз – именно тогда. Потому что собственные жизнь и смерть перестают значить что-либо...

И все-таки я живу. Происходящее толкает меня думать и сопереживать. Наверное, в существе самой беспрестанно меняющейся жизни скрыт свет веры и добра – та слабо тлеющая полоска света среди безбрежной ночи человеческого страдания.

ВРАТА ВЕЧНОСТИ

Мы пришли на пустынный, в одну линию тянущийся берег, ослепленные нежарким солнцем самого конца сентября. Бог весть где бесконечная синь вод просачивалась в небесную седеющую бездну, растворяя скрытые дымкой в далеком далеке отроги отвесных скал, кажущиеся вратами в вечность. Океан дышал, то вспениваясь, низвергая крупные монолиты волн, шумно растекающихся по всей бескрайней длине дикого пляжа, то затихал, и волна, отступая, на несколько мгновений образовав на песке влажное зеркало, просачивалась меж желтыми крупицами и бесследно ускользала.

Он, этот океан, так напоминал человеческую жизнь, то непрерывно движущуюся, то замирающую, то упрямо стремящуюся вверх, то срывающуюся в небытие, разом утихомиривающее трепет минувшего взлета.

Порывы прохладного ветра бросали в лицо морскую соленую пыль, покрывая обнаженные тела гусиной кожей, а мы сидели с немногими друзьями, оперевшись подбородками о колени: мы были изнурены долгими неблагодарными днями работы и тревог, уносящими радость пребывания на земле, постоянно отодвигающими все дальше и дальше тот предел, за которым вот-вот начнется иная жизнь... Теперь мы едва ли верили в нее.

Наконец, несмотря на несмелые протесты друзей, я поднялся и вошел в воду, оказавшуюся на удивление теплой, спасающую от знобящих прикосновений ветра, и океан подхватил меня, оторвал от земли, сделав невесомым; он вбирал меня, как губка, отторгая якорную тяжесть привязанных прежних дней.

И не волны растворялись в плоскости берега, а я целиком рассеивался в них, соприкасаясь с каждым атомом движущейся стихии. И сила ее внезапно стала моею, увеличенною в миллионы крат.

Глаза вбирали синь воды и неба, простирающуюся впереди и позади меня, теряющуюся в туманной бесконечности. Я слышал, как океан рушит нагромождения донной гальки, отдаляя меня от берега; и сквозь сон не замечаемого времени, его мнимую заполненность, состоящую из ничего не стоящих событий и лет, я впервые увидел себя не тем пигмеем-невидимкой, покорно бредущим по земле, притянутым веригами бездарной суеты, а безымянной частицей Вечности, пусть частицей ничтожной, почти мгновенной, но почерпнувшей ее великую энергию...

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ЛЕТА

Я открыл балкон. Было очень тепло. Слышался далекий шум морского порта. Сумеречную комнату освещал лунный фосфорический свет. Тихо колыхались от ветра шторы. И грустно становилось от мысли, что завтра ты уедешь из этого южного города в холода, дожди, снега – уже надолго, и вот разом оборвется это затянувшееся лето...

Казалось, за недолгие дни я уже прирос к старинному дому с полуобвалившимися лепными украшениями, сложенному из бутового камня, с шестигранными балконами, мощными, заслонявшими свет лианами, тянущимися до самой крыши.

Все новые и уже успевшие состариться дома похожи один на другой – даже своими запахами. Все древние неповторимы и хранят в себе некую тайну.

Вот и этот где-то даже неуклюжий и мрачноватый особняк мнился мне высеченным из скалы. Он словно бы отчерчивал свежесть юной жизни, которой неведомы грозные события, пережитые на долгом веку каменным патриархом.

Хозяева огромной квартиры оказались моими родственниками. Я их никогда раньше не видел и узнал о них совсем недавно. Тем удивительнее было то, что здесь, в теплом краю, за тысячи километров от родного очага, жили люди, с которыми тебя связывали генетические узы.

То был последний вечер в Херсоне. И думалось с какой-то особенной печалью: скорее всего, этот город я никогда больше не увижу... Казалось бы, что потерял в нем, что оставил?.. Он был чужим. И все равно было так грустно почему-то...

ДУНОВЕНИЕ

Однажды она, боявшаяся даже небольшой высоты, позвала его на смотровую площадку восьмидесятиметровой колокольни Софийского собора, воздвигнутого повелением Иоанна Грозного полтысячелетия назад.

Плыл в безмятежную вечность спокойный день недолгого северного лета. Они стояли, опершись о символическую балюстраду, отделявшую их от края. Она долго смотрела на зеленеющий где-то далеко внизу древний город, а потом произнесла спокойно:

– Вот видишь: там. Я улечу туда когда-нибудь...

Он не поверил, и все же тревожное предчувствие неизбежно, тяжелым осадком, закралось в душу.

О том, что это все-таки случилось, он узнал последним. Ее слова не были пустым звуком, и однажды она сделала тот безумный шаг в пропасть с умопомрачающей высоты... О странном, на первый взгляд, самоубийстве сообщили досужие телеканалы.

Но он давно не смотрел телевизор и не включал радио. Он лишь звонил ей, а телефон молчал. И только через день отстраненно-холодный и чужой голос ответил: ее больше нет.

В долю секунды он понял, что это – чистая правда, и тем же мгновением мелькнула тень странного чувства:

и слова, и жизнь ее остались дуновением ветра, робким, наивно-бережным начертанием на морском песке...

...В одно из воскресений октября колокола Софийского собора, казалось, звучали весь день. Никогда не слышал он такого длительного, тревожного звона. Размеренно-глубокий гул охватил город. Величественный хор вековых колоколов пронзал время и искажал пространство, возносясь в иную, высшую реальность. Иногда сильные порывы холодного осеннего ветра приближали его, и тогда стенание колоколов звучало совсем рядом... И подумалось – они, вопреки церковным канонам, плачут о ней.

В действительности, мы ничего не знаем о своем будущем. А то, что нам представляется, на самом деле давно уже произошло – либо не случится никогда... Казалось, сотни, может быть, тысячи раз смотрел он на златоглавую свечу колокольни Софийский собора в этом древнем городе.

Праздничная и необыкновенно светлая, она горит над городом застывшим пламенем веры, ее видно с любой точки далеких окраин. Но теперь, глядя на нее, он думает о другом... И когда проходит по брусчатке Кремлевской площади, вдруг понимает, что собор, издали грандиозно-торжественный, вблизи становится почти суровым и аскетичным в величественном отрешении от всего земного. Может быть, так было задумано древним зодчим? Может быть, то код двух неизбежных сторон жизни?..

КОЛОВРАТ

Из глубин солнечного долгожданного лета, то приближаясь, то теряясь за нежной зеленью деревьев, скрывающих город, явилась та полузабытая песня всемирно знаменитой группы. Я не знал языка, на котором она исполнялась, понимал лишь два слова – «солнце» и «любовь». Волшебные слова разлетались многократным

эхом, звенели хрусталем завораживающего девичьего сопрано.

Вдохновенная мелодия, молодые уверенные голоса все объясняли без перевода. Музыка, как и в юности, обещала что-то невероятно яркое и радостное, неимоверно счастливое и необъятное, что непременно должно случиться в судьбе.

Случилось ли?.. – невольно спросил себя я, сидя в одиночестве на скамейке перед домом.

...Мою страну, в которую верил, разрушили и предали; женщина, которую я любил больше солнца, о котором пелось в песне, покончила жизнь самоубийством, оставив мне в безрадостное наследство несколько прощальных стихотворений и боль бесконечных раздумий; по моим идеалам промчалась конница вассалов нового мира, потоптав, поглумившись над ними, но так и не сумев их сместить. И еще я навеки проводил печальным взглядом тихую череду самых близких и беззащитных людей.

В общем, то, что обещала эта песня на заре моей далекой юности, оказалось фантазией, в какой-то мере самообманом, и почти ничего в ней не сбылось.

Так что теперь? Огорчаться, как будто ничего и не было из окрыляющего и зовущего? Радоваться неизвестно чему, позабыв про снега и дожди?.. Впрочем, я думаю, что давно живу вне этих понятий. В иной реальности, которая, похоже, понимается не очень многими.

И все же, все же... Я продолжал слушать эту вечную счастливую песню, с радостью вспоминая время неуемной молодости, безудержной веры в будущее, что было сродни полету к звездам, и просто завидуя сейчас той своей наивной вере в то, что никогда не произойдет...

НИКОЛАЙ ДЕГТЕРЁВ

И ВЕЧНАЯ УЧАСТЬ ДУШИ!..

* * *

Поведай грядущему миру
про светлое детство твое,
про муки призванья, и лиру,
и чем ты рискнул для нее.
Поведай о Родине, или,
вернее, о старом дворе,
где дерево в солнечной пыли,
с зарубками на коре.

Дегтерёв Николай Александрович родился в 1986 г. в п. Шексна Вологодской области. После школы окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Выпускник Вологодского духовного училища. Ныне – учитель воскресной школы при храме Казанской иконы Божией Матери в п. Шексна. Публиковался в литературно-художественных изданиях. Автор книг «Преподобный Сергей Нуромский» и стихотворной «Часовой мастер». Лауреат Всероссийской литературной премии им. Евгения Курдакова и литературной премии имени Н. В. Груздевой «Твоё имя». Член Союза писателей России.

Влюбленности воздух бесплотный
и трудный любви перегной
пусть в стих проникают свободный,
пусть выскажутся тобой.
Поведай о смерти, о горе,
о том, как печальны кресты,
о том, как не скрыться от боли
в присутствии пустоты.
Поведай о внутренней битве,
о самом тебе дорогом:
о вере скажи, о молитве,
о Боге, незримом, благом,
о том, что вот это – основа
и вечная участь души!..
...но только о главном – ни слова,
ни слова не напиши.

* * *

Наваливалась тишина,
и воздух становился гулким.
Тревогой вся окружена
ходила мать по переулкам,
стучалась в двери. Только стук
молчаньем отзывался сиро,
как резонирующий звук
богооставленного мира.
А я сидел в своем дому
и материнский голос слышал.
Никто не отвечал ему,
никто на стук и зов не вышел.
Тогда я женщину позвал:
«Вернуть ты сына захотела?
Я так же точно мать искал,
но мать моя давно истлела.
Увы, предел любви таков,
предел любви, закон разлуки».
Я смолк. Мне не хватало слов
для этой нашей общей муки.

И вдруг внезапно я постиг,
что с нею мы теперь стояли,
как сын и мать, что в этот миг
сквозь боль друг друга узнавали.

Автобиография

Как справиться с этим вихрем, с таким
Чудовищным вихрем дней?
Идет этот вихрь по моим родным,
Уносит родных людей.
Так был у меня отец, но он
Однажды ушел во тьму,
А может быть, за небесный кордон
К Господу моему.
И маму, и многих-многих других
Земля в себя приняла.
А жизнь шла по земле без них,
Как бы по их телам.
И время шло, стучали часы,
Стучали мои поезда.
И, будто звезды, склонялись весы
В сторону смерти. Да,
Я думал, что близок и мой конец,
И я принимал конец.
Но вдруг я увидел, что жив отец,
В ладони сжимая крест.
И в доме моем расступился мрак
Перед новой семьей,
Перед другими родными, как
Те, что слились с землей.
И в доме моем голоса звучат,
Машинка стирает белье,
Скрипит коляска, сердца стучат –
Сына, жены и мое –
Для новой жизни, для нового дня,
Которому нет конца!
А из коляски глядят на меня
Глаза моего отца.

* * *

Мой друг, мне снится иногда
Мой двор и детские качели.
Они качаются тогда,
Поскрипывая еле-еле.
Дорога снится в шуме дня.
И каждый раз так происходит –
Дорогой той, забыв меня,
Мои родители уходят
И пропадают без следа.
Качель застонет и споткнется.
И никогда, и никогда
Мне их догнать не удается

* * *

Ах, зачем надо мной шелестели
То ли ивы, березы то ли,
Я не помню – в мае, в апреле,
В сентябре, в феврале, в июле?
Там речушка во тьму бежала,
Ручеек, может быть, канавка,
И хрустальные брызги бросала,
Как цветок, от паденья камня.
Я бросал их с моста, конечно,
Впрочем, это не мост, мосточек,
Восхищаясь игрой нездешней
Раскрывавшихся водных почек.
Время шло, может быть, летело,
Может быть, и ползло, не знаю,
Холодало и вечерело,
Я не помню, я все бросаю.
Камни все покидал я к ночи,
Без следа их вода поглотила.
О, душа моя так же точно
Безразлична и терпелива.

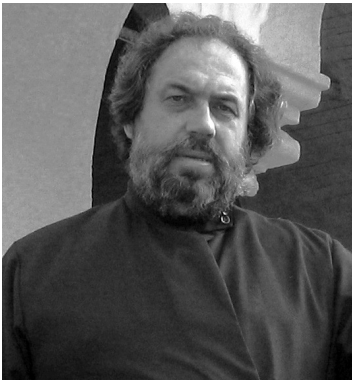
* * *

Когда-нибудь, в тяжелый жизни час,
Меня, как саваном, накроет сном.
Так иногда Господь спасает нас,
Когда не знаем мы, как мы живем.
И будет поле, поле в этом сне,
И будет обязательно весна,
И вся природа, верная весне,
Вся будет к небесам вознесена.
И детство, детство будет там мое,
И будут там родители мои,
Но все мы будем – только часть ее,
Большой Земли, одной большой семьи.
Тогда и мы преобразимся вдруг,
И будем к Славе Божьей причтены!
И я проснусь. Но я пойму, мой друг,
Что дни мои еще не сочтены.

Жене

Нету сил. Опускаются руки.
Но держись, моя радость, держись,
Эти слезы, обиды и муки –
Это все называется жизнь.
Мы учились не этому зренью,
А достоинству, воле, борьбе,
И совсем не учились терпенью –
Слишком сложно – и мне, и тебе.
Ничего, что мы это не знаем –
Наверстаем, изучим, поймем,
Книгу жизни еще полистаем,
И параграф искомый найдем,
Посидим над учебником этим,
Мудрость каждого зная листа,
Как послушные малые дети
На уроке Иисуса Христа.

НИКОЛАЙ ТОЛСТИКОВ



СТАВЛЕННИК

1

Владыка Серафим готовился к уходу на «покой». Таков устав – архиерею после семидесяти пяти лет следовало подавать о том прошение. Оно, полежав где-то под сукном на столе, возымело ход, и теперь в Лавре готовили старому архиепископу преемника. Владыка, теребя дрожащими от волнения и немощи пальцами лист бумаги с патриаршим указом, увидел вдруг себя как бы со стороны. В просторном, залитом солнцем, кабинете за письменным столом горбился в поношенном, ставшем просторным для высохшей плоти подряснике,

Толстиков Николай Александрович родился в 1958 году в г. Кадникове Вологодской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Священнослужитель храма Святителя Николая во Владычной слободе Вологды. Автор нескольких книг, вышедших в Вологде и Москве. Лауреат международного конкурса, посвященного 200-летию Н. В. Гоголя. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

старец с лысой, изляпанной коричневыми пятнами, головой с седым пушком реденьких волос над ушами.

«Вот и жизнь прошла...»

– Владыка, вы просили напомнить... – из приемной заглянул секретарь.– Кандидат на духовный сан к вам для собеседования!

– Пригласите!

Ставленник был неказист, мал ростиком, топтался робко в большущих резиновых сапогах возле двери, и с них натекла на пол грязная лужица. Наконец, он опомнился, где находится, и суетливо, чуть ли не вприпрыжку, подбежал под благословение поднявшегося из-за стола архиерея.

Узкое, в глубоких прорезях морщин лицо со скорбными складками от краев тонкогубого рта, небрежно подстриженная пегая бороденка, настороженный взгляд выпуклых водянистых глаз.

«Годиков тебе уже немало, батюшко! И прожил ты их непросто, нелегко,– решил владыка.– И не умствовал много, сразу видно по рукам-то...»

Кисти рук, увесистые, мослатые, с грубой кожей в заусеницах с въевшейся грязью, ставленник пытался втянуть в короткие рукава невзрачного пиджачка.

«Подбирает же кандидатов «на сан» отец Павел! – усмехнулся владыка.– Хотя... Глаз у него, как рентген. Доверимся. Да и этот уже мой, последний, кого «рукополагать».

– Так и будем молчать? Представьтесь...

– Караулов... Руф,– задудел угрюмо гулким басом кандидат.

«Диакон добрый, однако, выйдет! – решил было с удовлетворением владыка, но насторожился – фамилия знакомой показалась.

Он попросил кандидата рассказать о себе, только в скупо роняемые им слова вслушивался мало. Сквозь толстые линзы очков пристально всматривался в лицо ставленнику и пытался вспомнить, где видел похожее...

2

Когда будущий «ставленник» Руф Караулов неуклюже откланялся и ушел, владыка Серафим вспомнил все. Не зря фамилия кандидата заставила его напрячь память. От воспоминания больно кольнуло сердце. Серафим в ту давнюю пору еще только-только начинал служить священником...

Из алтаря отец Серафим, правя пасхальную заутреню, не видел, отчего в храме вспыхнул пожар. Это уж потом рассказывали, что у кого-то из прихожан, стоящих вплотную к подсвечникам, уставленным множеством зажженных свечей, загорелся рукав одежды.

Больше самого бедолаги испугался отец Петр, поблизости за аналоем принимавший исповедь у старушек. С воплем метнулся он в узкий проход в толпе заполонившего храм люда, навострив перед собой клюшку, заковылял, припадая на больную ногу, подбитым селезнем, расталкивая всех, к выходу.

В храм, помимо прихожан, набилось просто зевак, даже подвыпившая молодежка сумела просочиться сквозь оцепление из милиционеров и комсомольцев-активистов. Вслед поповскому истошному воплю все стиснутое толстыми стенами скопление людей встревожено колыхнулось и схлынуло к притвору, к крутой, ведущей на улицу, лестнице. Кто-то из задних не устоял на ногах, соскользнул со ступеней, и жалобный заячий вскрик сгинул в заполошном топоте множества ног, перепуганном рокоте голосов. И опять кто-то задавленно вскрикнул в толпе, пытающейся в тесноте притвора вырваться на улицу, и еще загас чей-то предсмертный стон.

Владыка Гавриил показался в раскрытых «царских вратах», своим слабым голосом попытался докричаться до охваченного ужасом людского скопища, вразумить, успокоить паству, да куда там...

Он повернулся и тяжело упал перед Престолом на колени, согнулся в земном поклоне. Прежде гордый, даже надменный старец древней княжеской крови

шептал горячо и торопливо: «Господи, помоги! Остуди неразумных!»

Диаконской дверью в алтарь по-хозяйски вошел местный уполномоченный по делам религий Аким Воронов. Во всеобщей суматохе и панике он, похоже, не растерялся только один. Сгреб в охапку бедолагу-старушонку, нечаянную виновницу пожара, содрал с нее тлеющую лопотину, бросил на пол, затоптал.

– Думаешь, боженька поможет? А, ваше сиятельство? Чего ж молчите?

Воронов с издевкою называл архиерея вместо «преосвященства» на светский манер «сиятельством», норовя лишний раз подоткнуть, что владыка был далеко не пролетарского происхождения, а из аристократической, недобитой революционными бурями семьи, сбежал с братом за границу. Тот и до сих пор там. Что братья за «бугром» поделывали – большой вопрос, но, когда товарищ Сталин ослабил нажим на «длинногривых», скромный монашек вернулся на родину и вскоре епископом стал.

Да тут Никита Сергеевич Хрущев твердо пообещал показать последнего попа по телевизору. И выперли епископа Гавриила из Ленинграда в далекий северный город. Забыл, господин, где находится – не во Франции, а в Советской стране, стал разные вредные проповеди о божественном за каждой службой произносить. В храм потянулись молодые оболтусы, и – в одиночку, и ватагами. Интеллигенция всякая гнилая, крадучись, зачастила туда, поразвесила уши.

Но здесь на то и есть он, Аким Воронов, мужик далеко не промах. В войну служил в «особом» отделе, с поднадзорными много церемониться не привык, не особо тороват был и к попам. Грузный, неуклюжий Аким расхаживал по алтарю по-хозяйски, людская суматоха в храме вроде б как его и не касалась, он подошел к отцу Серафиму и, обдав того тяжким табачным духом, приблизил почти вплотную свое лицо, скривленное в глумливой усмешке:

– Тебе, батько, ответ держать, как настоятелю... Коли какую божью овцу в толкотне задавили. Слыхал я, как ты тут перед службой с начальником оцепления толковал на счет того, чтобы молодежку в церковь пропустили. Видишь, что приключилось?! Теперь хоть на коленках передо мной ползай, но регистрации я тебя лишу. Говорил я тебе: ты ж кандидат технических наук, светлая голова, и какого только праха в попы полез?! Не пацан зеленый, а почти профессор!

Жертвы были. В давке на лестнице затоптали насмерть старушонок – божьих одуванчиков; власти стали искать «крайних» и, ясно что, нашли. Владыку Гавриила насильно отправили «на покой», а отец Серафим, «официально почисленный за штат», фактически был вышвырнут властным пинком без всяких средств к существованию: говорили, что легко еще отделался...

Отец Петр подстерег его поздним вечером возле арки ворот в церковной ограде, выкурнул откуда-то из темноты в круг света под тусклым фонарем и заковылял навстречу, волоча за собой угловатую дрыгающуюся тень. Хотел было по-братски расцеловаться, но замер с раскинутыми руками на полпути:

– Ты прости меня, отче! Все твои беды из-за меня... Но не по своей я воле!

Отец Серафим на миг представил довольную ухмыляющуюся физиономию Акима Воронова и, не останавливаясь, прошел мимо отца Петра, буркнув под нос:

– Бог простит!

– Испугался я, пойми! Давно уж испугался! – нет, не кричал, а бормотал ему вслед, испуганно озираясь, отец Петр...

Приехав в этот город на архиерейскую кафедру много лет спустя, владыка Серафим поинтересовался судьбой отца Петра Караулова, но никто ничего толком о нем не знал. Пропал человек.

3

Владыку Серафима немного утомили воспоминания, он задремал в своем удобном глубоком кресле. В старческом чутком сне привиделись мать и отец...

Отец был из обедневших дворян, карьеру делал споро, приспосабливаясь ко всему сам и особо ни на кого не надеясь. И пока не «грянуло» в Семнадцатом году, он успел дослужиться до чина статского советника.

Мама родилась в семье известного петербургского фабриканта, и злые языки поговаривали, что денежки тестя помогали хоть и родовитому, но голоштанному зятьку прыгать по служебной лесенке. Пусть и идеек либеральных он не чуждался и по воскресным дням его в церковь калачом не заманить.

Жена же по всему была у него истинно верующая. Красавица с печальными черными глазами, она старалась не пропустить ни воскресной или праздничной обедни, стояла возле алтаря, клала поклоны, неспешно крестясь и шепча молитвы. Ее неизменно обступала тройка притихших сыновей. Впрочем, старшие мальчики вскоре перестали приходить на службы, оставался только младшенький Сима. Батюшка ввел его в алтарь, и Сима быстро наловчился помогать пономарю раздувать кадило, выносить на полиелеях свечи..

На него одного из прислуживающих в алтаре полдесятка мальчишек – поповичей и дьячат, во время своей последней службы возложил стихарь митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин.

– Не зря он выбрал тебя, не зря... – гладя по голове сына, шептала мать, укутанная в черный траурный платок. У Симы еще радость и ребячья гордость толком не улеглась, когда в семье узнали, что после скоропалительного процесса большевики умучили святителя. Сима, облачаясь перед службой в блестящий, расшитый крестиками стихарь, еще не осознавал происшедшего своим детским умишком – шел-то пареньку шестой годик.

В городе закрывали храмы, взрывали их или превращали в склады, бани, клубы, но мать по-прежнему, проезжая в трамвае, крестилась на оскверненные руины, и насмешки окружающих не пугали ее.

Зато отец...Он пытался бежать и дальше в ногу со временем, даже облик принял «аля-Ленин». В кепке, при галстуке в крупный горошек, бородка – клином, витийствовал он, бывало, на митингах и собраниях, благо из писарей пролетарии продвинули его в бухгалтеры. Но «попутчиком» своим, не смотря на все его потуги, не посчитали – отец загремел в тюрьму, как заговорщик, и отпустили его оттуда больным и сломленным домой умирать.

Незадолго до кончины он попросил привести священника. Пожилой батюшка, принимая исповедь, не скоро вышел из его комнаты.

– Да, после такой силы покаяния, он больший христианин, чем мы с вами! – вздохнул, прощаясь, бывалый протоиерей...

У Серафима жизнь сложилась так, что сан священника он решил принять, когда ему было уже много за сорок. Не испугала и «черная» для церкви хрущовская пора. Инженер, кандидат технических наук: все вроде б в жизни есть. Не все поняли и приняли этот его шаг, многие оттолкнулись. А он знал: пришло время исполниться благословению святителя-мученика...

В ответе ли сын за поступки отца? Опять на мгновение мелькнули перед глазами Карауловы: несчастный отец Петр, Руф. Надо рукополагать в сан диакона сына, не поминая старые обиды. Бог судья непутевому отцу. «Жатвы много, делателей мало...»

4

Если бы не епархиальный водитель, знавший город, как свои пять, вряд ли бы владыка Серафим разыскал квартиру бывшего уполномоченного по делам религии старого знакомца Акима Воронова. По слухам, былой «гроза» епархии обретался в угрюмом одиночестве,

заброшенный родственниками, парализованный, своей истовой борьбой с «мракобесием» не выслуживший даже «персоналки».

Что подвинуло владыку встретиться с давним врагом, он, с трудом поднимаясь по истертым избитым ступеням лестницы на пятый этаж, так просто бы и сразу не ответил.

В указанную квартиру служка-иподиакон долго без толку звонил, пока не приоткрылась соседняя дверь и не высунулась старушонка. Подслеповато вглядываясь, владыку она узнала и склонилась под благословение.

– Вы к этому ироду? – спросила.– Плох, кончается... От родни все пенсию под подушку прятал. Как задремлет, те деньги стащат. И в квартиру худую к нам из хором его выпихали...

Старушка шелестела и шелестела языком, едва можно было разобрать слова. Щелкнула в замке ключом, отворила дверь.

– Я-то тут обихаживаю его, обдрищется когда. Живой человек все-таки...

Из нутра квартиры шибануло затхлым запахом старости, властвовало там запустение: толстый слой пыли лежал на всем, косо висела линялая штора на окне, лишь вокруг кровати, громоздящейся посреди комнаты, натоптана светлая дорожка следов.

В обтянутом желтой кожей живом скелете на грязной постели трудно было узнать прежнего румяного крепыша Акима Воронова. Он тоже узнал ли владыку Серафима: большие черные угли глаз на усохшем до костей лице оставались неподвижны, безучастны. И все-таки что-то едва уловимое мелькнуло в них, а лицо перекосило судорогой то ли боли, то ли отчаяния.

– Не крещеный, видать, был, что такие лютости церкви вытворял. Язык-то бы не отнялся, так бы покаялся, может, отпущения грехов попросил. Страшно, поди, пред Господом-то предстать... – не умолкала старушка-богоделка.– Надо бы его вам окрестить. Или

крещен он родителями-то в детстве, да только прочно запамятовал о том?..

– Да, не ведали, что творили! – владыка размашисто перекрестил лежащего.– Прости им, Господи!..

На улице, на чистом воздухе, стало легко, свежо. Владыка вздохнул: завтра последняя его на епархиальной кафедре Божественная Литургия, последний совершаемый им чин хиротонии. И последним, посвященным им в сан священнослужителя, будет Руф Караулов, сын того самого иерея Петра, «благодаря» которому немало горького когда-то пришлось хлебнуть...

Но ведь покаялся отец Петр, дождавшись тогда Серафима в глухой темной аллее за храмом. И куда пропал потом, никто до сих пор не ведает. То ли сгинул где на чужой стороне, то ли в иноки подался грехи замаливать.

Пусть теперь сын его Богу и людям послужит...

МАЭСТРО

Посвящается Зинаиде Павловне Дементьевой

Нина Ивановна, спустя много-много лет, все-таки вернулась однажды в Ильинку. В храме она остановилась перед кануном, сжимая в руке пучок простеньких свечечек; зажигая и расставляя их, шептала имена, на мгновение воскрешая в памяти полузабытые лица давно ушедших.

Вошла сегодня в храм Нина Ивановна без опаски, не остерегаясь осуждающего чужого глаза, не как в далекой юности...

Тогда все ее еще звали просто Нинкой-Ниночкой. Она собиралась идти учиться в десятый класс, когда ее отца, подполковника, заместителя командира танковой части, из города в Подмосковье перевели в глухую северную глубинку. Нинка с мамой особо не отчаивались, собрались быстро: что поделать, судьба военная такая. Да и отца с войны четыре года ждали, вернулся совсем недавно.

Нинка теперь после уроков в новой школе – бывшем купеческом особняке в центре городка домой не мчалась, как угорелая – не мелочь пузатая уже, а вышагивала, не торопясь, в окружении сверстников, форсисто задрав носик и помахивая портфельчиком в руке. Голову рослой Нинки украшала свернутая в тяжелую корону русая коса.

Ближе к околице ватага сверстников таяла. Дальше девчонке по полевой дороге вдоль жидкого перелеска до бараков воинской части предстояло бежать одной. Из мальчишек-одноклассников в провожатые пока никто не набивался, видимо, робея Нинкиного городского гонора и под стать ему характера.

Миновав околицу, Нинка прибавляла шаг, потом уж чуть ли не бежала. От заносчивой девчонки не оставалось и следа, мчалась как последняя трусишка. Еще бы – в продуваемом насквозь ветром редком перелеске начинала мелькать согбенная мужская фигура с длинными всклоченными космами волос на голове. Незнакомец, выглядывая из-за стволов деревьев, передвигался по перелеску ничуть не медленнее Нинки, вынужденной перескакивать и обегать дорожные ухабы, заполненные водой. Девчонка, хоть и боялась попристальнее взглянуть в его сторону, все-таки успела рассмотреть его лицо с вытаращенными глазами и облепленное клочками седеющей щетины. Домой Нинка заскакивала – не помнила как...

Она стала брать провожатых парней: уговаривать их не пришлось – тряхнула косой, и тут же побежали наперебой. По перелеску теперь никто не метался, лишь раз мелькнула в стороне знакомая фигура и пропала.

Нинка вздрогнула и испуганно заозиралась.

– Яшки, что ли, боишься? – спросил один из провожатых кавалеров.– Так это наш дурачок, безобидный и добрый. Ничего худого не сделает.

И вправду, Яшка к Нинке по-прежнему близко не подходил, только выглядывал ее, прячась, из-за углов, и Нинка скоро стала привыкать к такому странному вниманию.

Иногда и ей самой доводилось незаметно понаблюдать за своим нежданным «поклонником».

У Яшки было, видимо, что-то неладное с ногами: развернутыми в разные стороны ступнями он вздымал клубы пыли, неуклюже переваливаясь по подсушенной еще почти летним солнцем улице, но передвигался довольно быстро, наклонив вперед голову с нечесаной гривой волос. Было Яшке за тридцать, сильно старила его борода с нашлепками седины. На лице его, казалось, застыла навсегда блаженная улыбка, хотя большие черные глаза смотрели с печалью.

Выскакивали из подворотен брехучие псы, норовили ухватить Яшку за штанины; мальчишки-мелюзга, дразнясь, бежали следом за ним и пуляли камушками. Яшка, хоть бы что, скаля зубы, упрямо пер вперед...

Жил он в сторожке на краю погоста возле Ильинки: старик-сторож потеснился, уступив на время убогому чуланчик, а тот так в нем и остался. Старушонки-прихожанки Яшку, жалея, подкармливали, да и сам он не слонялся без дел, а их в приходском хозяйстве – пруд пруди.

Вот так же, жалеючи и чуть с насмешкою, однажды провожала взглядом Нинка бедолагу, несущегося куда-то по улице.

Нинка и сама спешила – на «осенний бал» в городковском доме культуры. В новом платьице, стесняясь накинутого на плечи старенького маминого пальто, она старательно обходила лужи, стараясь не запачкать туфли.

Предстояли не какие-то школьные танцульки, а настоящий, первый в жизни, «взрослый» бал. К «дому культуры»», расквартировавшемуся в стенах церковного собора, она пришла одной из последних. Постояла в нерешительности перед входом в здание со сбитыми куполами, перешагнула порог, заметив проступающую сквозь побелку фреску со святым ликом над аркой входа.

Стены внутри собора, высокий свод тоже были наглухо забелены, но лики святых все равно проявлялись

тут и там. Новые хозяева здания пытались их прикрыть кумачовыми полотнищами с наляпанными наспех в «духе времени» лозунгами.

Молодежь толпилась у дальней стены возле штабеля составленных друг на дружку длинных лавок для зрителей – кино показывать сегодня не собирались. На деревянном помосте сцены, устроенном в алтаре, резвились, выплясывая, девки в красных косынках из агитбригады; потом что-то, жутко фальшивя, попытался исполнить местный духовой оркестр.

И, наконец... Заскучавшая Нинка даже растерялась, увидев на сцене... Яшку. В чистом, явно с чужого плеча, костюме, с аккуратно причесанными волосами и подстриженной бородкой, он неуклюже проковылял к роялю, громоздившемуся в углу сцены, сел на табуретку, все с прежней своей блаженной улыбкой вознял над клавиатурой руки с длинными пальцами и когда их опустил... Звуки вальса взметнулись и разлились под соборными сводами, по упраздненному властями Божьему храму закрутились в стремительном танце пары.

Нинку пригласил молодой красавец-лейтенант из отцовского гарнизона. Увлеченная танцем, она все время чувствовала на себе Яшкин взгляд, хотя, казалось, что за роялем он забыл обо всем на свете, без устали играя весь долгий вечер.

Все остались довольны: и танцоры, и любители, подперев плечом стенку, просто поглазеть. Только непонятным было Нинке: почему это в своем углу, что-то шепча, украдкой крестилась бабка-билетерша...

Яшка после того вечера куда-то пропал; Нинка забеспокоилась даже. Будто чего-то не стало хватать в этом маленьком городке. И ноги ее как-то сами собой принесли к ограде Ильинки, где в сторожке обитал Яшка. В храм она не зашла, побоялась: отличница, комсомолка – мало что накажут, но и еще за «свихнувшуюся» посчитают.

У ворот Нинке встретилась та старушка-билетерша из «дома культуры».

– Я уж, милая, подумала на тебя, что это наша Настенька воскресла! – воскликнула она, всматриваясь пристально Нинке в лицо.

– А кто она была?

– Дочка здешнего диакона.

Старушка поозиралась, взяла Нинку за руку и отвела на укромную лавочку, спрятанную в еще не облетевших кустах у ограды.

– Перед войной, в тридцать седьмом, их всех «забрали». Настенька-то от отца не отреклась – и ее тоже. И Яшкиного родителя, отца Игнатия, со старшими сыновьями. Яшке-то младшему, «заскребышку», особенный талант к музыке Господь дал. Парня даже в консерваторию в Петербург учиться взяли. А потом тоже – в тюрьму... – старушка заговорила еще тише.– И вот Яшка вернулся, то ли отпустили, то ли сбежал. Ноги обморозил. Прибег домой, а родных никого в живых нет. Всех! Он на колокольню взобрался и сиганул вниз. С горя. Грех смертный задумал совершить – самоубийство. Но жив остался. Господь безумием его наказал, только талант не отнял, оставил... А Настенька-то невестой его была обрученной. И ты – вылитая она!

– Где сейчас он... Яшка? – спросила растерянная и потрясенная старухиным рассказом Нинка.

– Лежит, вон, в сторожке едва живой... Он после каждого такого своего выступления болеет тяжко. Вот ведь судьба – памятью от прежней жизни один рояль у него остался, и в соборе, где отец настоятелем служил, играть для публики ему приходится. Страдает он, хоть и не в себе давно...

Нинка поднялась с лавочки и хотела уж пойти в сторожку проведать Яшку, но старушка удержала ее:

– Лучше тебе, девонька, его сейчас не видеть! Он еще хуже, чем есть...

Дома Нинку ожидал радостный, взволнованный отец:

– Собирайся, стрекоза, уезжаем отсюда! Меня переводят служить в Германию!..

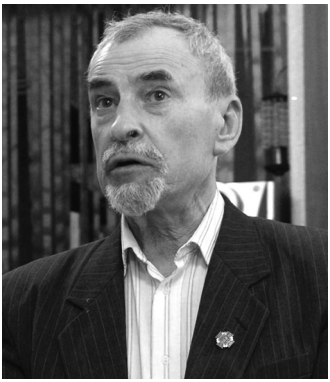
Через пару дней немудреный семейный скарб был уложен в кузов грузовичка. Отец попрощался на плацу с танкистами, сел на переднее сиденье открытого «виллиса» рядом с солдатом-водителем. Нинка и мать расположились позади.

Миновав околицу городка, машины вывернули на «большак». И тут, у поворота, Нинка заметила знакомую косолапую фигурку, ковыляющую наперерез по полю.

Яшка застыл на дорожной обочине, как вкопанный, и когда мимо, набирая скорость, проезжали машины, так же, как и раньше, глядя на Нинку, блаженно улыбался и так же печальны были его глаза. Он поднял руку и прощально помахал. Робко, оглядываясь на мать, махнула ему рукой и Нинка...

...Нина Ивановна долго еще стояла у кануна, дожидаясь, пока не погаснет огонек поминальной свечки. Что стало с тем бедолагой Яшкой из далекой ее юности, как окончил он дни свои? Теперь наверняка никто и не ведал. Сколько страдальцев в разные времена видел этот Ильинский храм – несть им числа.

ГЕННАДИЙ САЗОНОВ



МНЕ ВСЁ ЖЕ УЛЫБНУЛОСЬ СЧАСТЬЕ...

Вечернее

Куст калины у колодца,
Дождь повис, как городьба,
Птицей пойманною бьётся
Свет фонарный со столба.
Деревенька опустела,
До весны – одна опять.
Грустно и душе и телу –
Не воротишь годы вспять.
Не вернуть поры отрадной,

Сазонов Геннадий Алексеевич родился в 1950 г. в Тверской области. Окончил факультет журналистики Ленинградского университета. В печати отработал более сорока лет. Автор книг поэзии, прозы, публицистики. Лауреат литературной премии МВД СССР, а также – «Золотой венец Победы», «Слово к народу», Международной премии им. С.В. Михалкова. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

Когда юн и светел был,
Чистым сердцем безоглядно
Деревенский мир любил.
Мокрый куст калины гибок.
Вспомню, от стыда горя,
Сколько сделал я ошибок,
Сколько душу тратил зря!
Не нашёл того, что чаял.
Всё на дождь гляжу, гляжу...
И поблёкший лист печально
Улетает за межу.

Ночь на Селигере

Высокие ели и небо ночное.
И звёзды в мерцании древнем.
Мне это – родное! Мне чуждо – иное!
Душа так ясна и не дремлет.
Как мощные корни, гудящие соком,
Врастают в песчаную землю,
Так весь прорастаю я – Волги истоком!
Душа потому и не дремлет.

Не дремлет седой Селигер у причала,
И этим волнует до слёз.
Все звёзды ночная волна укачала,
И озеро с небом слилось!

Я выйду на берег, девчушка босая
В шумящую нежно водицу –
С размаха на счастье монетку бросает,
Чтоб снова сюда возвратиться...

Ещё позовут к себе дивные дали
Какою-то сказочной мерой.
И где бы я ни был – забуду едва ли
Чарующий шум Селигера!

Зелёная долина

Там, в зелёной долине,
Вновь зацвёл зверобой.
Ожил в сердце и ныне
Её дым голубой.

По долине зелёной,
Где гулял ночью дождь,
Ты с душою влюблённой
Вдоль ромашек идёшь.

И, теплом их согрета,
Наклонись и сорви,
Вся ты полнишься светом
И томленьем любви.

И желанием тайным
Нежность дышит в груди,
Все преграды истают
На зелёном пути.

Годы мчатся лавиной –
Медлить им невтерпёж!..
Но зелёной долиной
Ты, как прежде, идёшь.

Возникает, как фея,–
Вижу дивную стать.
И встречаю, робея,
И волнуюсь опять.

* * *

Внимай душе твоей, внимай!
Храни те чудные минуты,
Когда она чиста, как рай,
Нет зла или вражды к кому-то.

Лелей в душе твоей, лелей
Желанье горнего привета!
Душа захочет быть светлей
Дневного солнечного света.

И этот свет неси вперёд
Тревог тяжелых и печалей,
Потерь, несчастий и забот –
Душа всему стоит в начале!

Кедр

За старой мельницей, за речкой,
Как бы взойдя из самых недр,
Огромною зеленой свечкой
Растет в долине дивный кедр.

Вокруг нет кустика простого –
Сухие ветки и трава.
Поет таинственное слово
Его колючая листва.

Мне песня та вонзилась в память.
И бьется в сердце до сих пор:
Возносит кедр, будто знамя –
«Люблю я волю и простор!»

Не так ли Русь, осилив кручи,
И горы бед, и море зла,
Как этот дивный кедр могучий,
В подлунном мире возросла!

* * *

Лес окутала дремота.
И, казалось, он прилег
На опушке у болота,

Где следы от многих ног.
Тихо так. А сердцу жутко.
Вдруг вдали померкла тьма –
Это шла по листьям жухлым
Белоногая зима.

В бору вечернем

Седая тишь в бору вечернем
Звенит натянутой струной.
Серебряной узорной чернью
Просветы неба надо мной.
Не отыскать людского шума
В шатрах игольчатой резьбы.
Легко дышать и просто думать
О всех превратностях судьбы.
Я счастлив был – уплыло счастье.
Я в гневе был – и гнев исчез...
Живу без лишнего участья,
Как предвечерний дивный лес,
Где жертв и подвигов не надо...
Отбросив глупость, снизив спесь,
Мой вечер встречу, как отраду,
Приму таким, какой он есть.

Этюд

Назло унынью и недугам,
Я знаю, счастье в жизни есть –
Бежать вприпрыжку летним лугом,
Где всех ромашек мне не счесть.

Роса как будто обжигает.
Обнимет трепетный туман.
Моя земля, а не другая
Отринет боль сердечных ран.

О, радость – в речке окунуться.
Где бьют прозрачные ключи,
Восходу солнца улыбнуться,
Чьи ласки нежно-горячи!

Какого чуда ждем мы где-то?
Бог создал здесь его для нас –
В дыханье, в звонах света-лета...
Оно – для всех, и каждый час!

Полустанок

Я на насыпь взошёл,
где когда-то давно
Земляника цвела по откосам...
И гудело натружено полотно,
Покоряясь тяжёлым колесам.
Где ночами составы
для фронта неслись –
Так чугунка Россию спасала!
А в путейских казармах
лелеяли жизнь,
Наступая на смертное жало!
Чем лелеяли, как?
Да молитвой святой
От беды и бесхлебья спасались...
Грохотали составы
за тонкой стеной,
Ребятишки живыми остались.
Сколько тайн, сколько слёз,
Сколько радостных дней
Мне судьба здесь дарила сердечно!
Я на насыпь взошёл,
и с неё мне видней,
Что ушло навсегда,
что осталось навечно!
Отгремела война.

Одолели мы зло –
Пусть оно никогда не вернётся!
Но останется пусть,
как мы жили светло –
Вкусный хлеб и вода из колодца!
...Замолчала чугунка.
И станции все
Заросли камышом, чернолесьем
И пропали в холодной
осенней росе...
Но в душе моей всё же воскресли!
Долетали ко мне паровозов гудки,
И глазки семафоров мигали...
«Всё пропало давно,
ветер нёс от реки,–
Потускнели родимые дали...»
Я не верю, что жертвы
пошли задарма.
Память разве сотрёшь рукавицей?
Где-то там далеко
в городах кутерьма,
И «Сапсан», будто чудище,
мчится...
«Будь неладен прогресс! –
я сорвался на крик,–
Весь комфорт твой,
и вся камарилья...».
Твой несется «Сапсан»
в бездуховный тупик,
Где сломает незримые крылья...

В звёздном вихре

В звёздном вихре сгорающей пыли
Наших старших мелькнут имена –
Отлюбили, отпели, отбыли
Те, на ком и держалась страна.

И войну претерпели, и голод.
И реформы – удавку для нас.
Помни ты, кто беспечен и молод,
Кем оплачен твой век и твой час!

* * *

Людмиле Мухиной

Туман над Родиной клубится,
И даль закрыли облака,
Как потаённая жар-птица,
Такой она мне дорога!
Туман нагнал уже ненастье,
И, может, завтра грянет снег.
Мне всё же улыбнулось счастье –
Быть с милой Родиной навек!
Он сгинет поздно или рано,
Знай, чувство Родины сильней
Ветров, ненастий и туманов,
И бед, что кружатся над ней.

Колокола

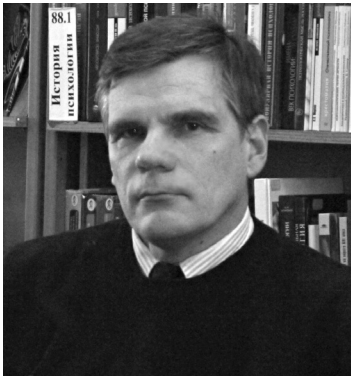
Я шёл, отсчитывая вёрсты.
И вдруг округа ожила –
В церквушке дальней,
за погостом,
Ударили в колокола!
Был вечер лунный
и морозный.
И звон летел в нем,
как родной –
Над далью снежной,
ширью звёздной,
Над миром всем
и надо мной.

И наполнял он сердце
жаром,
Он таял в инее берёз.
И, возрождён одним
ударом,
Звон радость тайную
мне нёс!

* * *

Ещё дрожит твой нежный голос,
Хотя звонишь издалека...
В тебе вдруг сердце раскололось,
И любишь ты наверняка.
Как это можно? Жизнь промчалась
Среди борьбы, грехов и лжи.
И чудо это мне досталось –
Твой голос всё ещё дрожит...

НИКОЛАЙ УСТЮЖАНИН



ВЫБОР

НАМ, ГАГАРАМ...

17 ноября 1982 года капитан Гагара, командир батареи ПВО учебной части под Харьковом, проснулся рано: позавчера страна простилась с Генеральным секретарем Леонидом Ильичом Брежневым, а сегодня надо было заменить его большой портрет над аркой у входа в батарею.

Вооружившись складной лестницей, Гагара,– широченный грек со смоляными волосами, темными глазами

Николай Устюжанин (Бараков Виктор Николаевич) родился в 1961 г. в Великом Устюге Вологодской области. Доктор филологических наук, профессор. Лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Н. М. Рубцова, Всероссийской православной литературной премии им. Святого Благоверного князя Александра Невского. Автор книг и статей о русской поэзии второй половины XX века и современной русской литературе. Член Совета по критике при Союзе писателей России. Член Союза писателей России.

и трубным голосом,– снял фото почившего генсека, отдал его солдату, а на освободившееся место деловито повесил рамку с изображением нового Генерального – Юрия Владимировича Андропова.

«Нам, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни...»,– напевал он себе под нос, но так громко, что в самых дальних углах казармы можно было услышать его бас.

9 февраля 1984 года Андропов умер. Спустя неделю Гагара, мрачный и взъерошенный,– то ли от слухов, то ли от недосыпа, молча, но с видимым раздражением прикрепил на насиженное место портрет полумертвого Константина Устиновича Черненко, немного успокоился, проверив издалека свою работу, и угрожающе просипел: «– Нам, гагарам, недоступно наслажденье...»

10 марта 1985 года умер Черненко. Через три дня Гагара, уже ставший майором, возмущенно стуча сапогами по деревянному полу, приволок лестницу, снял портрет, грохоча на всю казарму: «– Вот ведь, мать, какое дело, к нам, гагарам, прилетело!..» и взял из рук прапорщика завернутый в серую бумагу прямоугольник. «– Сейчас Горбачева повесит!» – шептались солдаты, но промахнулись: майор раскрыл «новинку» – это была всем знакомая фотография Владимира Ильича Ленина. Энергичное движение рук – и вождь мирового пролетариата устремил строгий взор в сторону умывальной комнаты.

«Ну, все!» – Гагара с облегчением выдохнул воздух, складывая лестницу и, беря ее под мышку, протрубил: «– Больше сюда лезть не придется – этот точно не умрет, всем ясно?! Будет висеть здесь вечно!» – И, подхватив из рук помощника перевернутое лицо покойного секретаря, бодро зашагал к выходу:

– Нам, гагарам...

ШУРИК

На окраине нашей части стоял одноэтажный домик из белого кирпича. Его окна были зарешечены, а входная железная дверь закрывалась на два замка. Мы еще не знали, что это пункт военной цензуры – были заняты другим: ходили в наряды, борясь со сном и голодом, заучивали параграфы устава, занимались физподготовкой и знакомились с техникой. Первые месяцы службы – самые изматывающие.

Совсем редкими были минуты отдыха – нам позволялось сидеть в Ленинской комнате, на стенах которой висели патриотические плакаты и лики вождей, а в красном углу,– красном потому, что он был занавешен красной материей,– стоял белый бюст главного вождя. Здесь мы, сидя за столами, сочиняли письма.

Самым большим любителем сочинительства был Шурик,– солдат неизвестной национальности, нескладный альбинос в рыжих конопушках. На самом деле его звали Василий Шуряк, но прозвище вытеснило его подлинное имя. Да и как иначе: Шурик был посмешищем и тоской батареи. За что он ни брался – все валилось из его длинных крючковатых рук: картошку чистить он не умел, тарелки мыть – тоже, а к оружию его не подпускали после первого же караула – Шурик, не проснувшись, во время тревоги выскочил навстречу дежурному майору не с автоматом, а с лопатой в руке. О строевой подготовке и говорить нечего – на наши занятия приходили смотреть, как на цирковое представление. Солировал, конечно же, Шурик.

С восьми до девяти часов вечера (до программы «Время») нам предоставлялся так называемый «личный час», но не всегда – иногда начальство усаживало солдат на табуретки и проводило политические занятия прямо в коридоре.

Во время одного из таких политзанятий и произошло событие, о котором еще долго говорили в части.

К нам пожаловал сам замполит, полковник Фантик,– его фамилия была причудливой и редкой даже для Украины.

Фантик был толст, самодоволен и медлителен. Его губы, похожие на галушки, презрительно сжимались, а черные бегающие глазки невозможно было поймать взглядом.

Полковник прокашлялся, вытащил из-за пузатого кителя лист бумаги и учительским тоном произнес:

– Некоторые из вас не до конца представляют, что такое воинская служба. И потому позволяют себе...

Тут Фантик споткнулся, задумался, пожевал губами и продолжил:

– Неуставные письма.

Батарейные остриженные головы насторожились и перестали раскачиваться.

– Рядовой Шуряк, встаньте!

Шурик резко поднялся, с шумом опрокинув табуретку. Полковник, поморщившись, не глядя на него, развернул листок:

– Вот что пишет рядовой Шуряк своей маме...

По рядам пронесся легкий шелест.

– Здравствуй, мамо! Все у меня хорошо, добрая моя! Я тебе уже говорил, что служим мы в страшно секретной части – учимся сбивать самолеты, вертолеты и прочие... неразборчиво... Я уже получил первый классный разряд!

Табуретки заскрипели от ерзанья: значок первого разряда был только у старшего сержанта Молотилко – он, приподнявшись и выпучив глаза, хотел что-то сказать Шурику, но, глянув на полковника, передумал и опустился на свое место.

– После учений меня благодарил генерал Карелин – сказал, что таким снайпером часть может гордиться. Еще бы! Я сбил несколько мишеней с первого выстрела!

Солдаты не выдержали и загоготали. Полковник Фантик нахмурился, но не остановился:

– Скажу тебе по секрету, мамо: мы уже были в Афганистане,– ездили на месяц,– и там я сразу уничтожил несколько самолетов. Наверное, мне дадут орден.

Батарея хохотала уже в полный голос: солдаты, откинувшись в стороны, давились от смеха: «– Во дает!» Даже капитан Гагара вытирал слезы – у моджахедов самолеты не летали даже в сладких снах полевых командиров.

– А вообще меня здесь любят!

Кто-то упал с табурета. На Шурика больно было смотреть – он, криво опустив голову, вздрагивал плечами. Ноги его дрожали.

– В столовой мне дают три порции масла – говорят, что такому богатырю не жалко.

В казарме гремело настоящее веселье: солдаты падали друг другу на руки, сержанты ржали, а капитан Гагара даже стал чихать от смеха.

– Пока кончаю письмо. Целую, мамо!

Фантик свернул листок в трубочку и, угрожая Шурику и нам, запищал фальцетом:

– Вы у меня не смеяться, а плакать будете! Развели тут... неразборчиво... мутотень.

Полковник повернулся и в сопровождении пунцового капитана Гагары отбыл из казармы. Вслед за его тяжелыми шагами удалялось куда-то вдаль и затухающее, уже тревожное, многоголосье.

Через неделю Шурик был отправлен в Афганистан.

ВЫБОР

Мой наивный интернационализм слетел в советской армии быстро, как сухой лист. Солдаты сразу разбрелись по национальным квартирам: гордецы-прибалты сторонились всех, горцы общались с земляками старшего призыва и тут же попадали под их защиту, грузины пристраивали друг друга в каптеры, даже узбеки прильнули к столовой, одни русские служили по уставу.

С местными – то ли украинцами, то ли русскими – мы сталкивались редко, хотя украинские упитанные прапорщики даже на службе отличились скопидомством и своеобразной рачительностью: тянули в хаты все, что плохо или хорошо лежало.

Во время редких увольнительных в разговорах с аборигенами выяснилось, что национальный вопрос тлеет даже здесь, в местности, населенной преимущественно русскими: сюда время от времени высаживался десант из самостийников в вышиванках. Они кричали что-то о незалежной, цитировали Тараса Шевченко, но на них смотрели как на экзотику. Впрочем, и в Богодухове украинская общинность потаенно складывалась и заявляла о себе.

Но по-настоящему с «жовто-блакитными» я столкнулся уже в Киеве и под Борисполем – своей подлостью и ожесточенной ненавистью к русским они удивляли даже гортанных «детей гор». Вести, приходившие из разных военных частей, где заправляли, как мне объяснили, самые настоящие бандеровцы, были ужасны: первогодки там стрелялись, вешались, в лучшем случае просто убегали.

В Киев я прибыл уже «черпаком», но и на втором году службы мне приходилось лезть в драку – «москалей» они за людей не считали.

В бориспольских лесах взаимная ненависть вспыхнула с новой силой: бандеровцы унижали не только солдат, они избили и молодого лейтенанта-«пиджака», чем-то им не угодившего.

Вскоре меня, как и всех, отслуживших полтора года после института, направили на офицерские курсы в Кривой Рог. Между прочим, курсанты там, в большинстве своем, оказались русскими.

Через полтора месяца на плацу стоял огромный «квадрат» из парадных, но видавших виды солдатских мундиров с сержантскими нашивками на погонах – «звездочки» нам могли светить сразу только на сверхсрочной.

Толстопузый и лысый полковник, раздобревший на легкой службе начальника курсов, тяжело переступал с ноги на ногу напротив нетерпеливых «дембелей». Почувствовав, что в строе назревает нецензурщина, он замер, потом выпрямился и гаркнул:

– Товарищи будущие офицеры! У каждого из вас есть прекрасная возможность стать кадровыми военными. Кто согласится остаться на сверхсрочную службу, получит офицерские погоны, должность и жилье. Помедлив, он скомандовал:

– Кто желает служить на земле Советской Украины, шаг вперед!

«Квадрат» не шелохнулся. Полковник стал ждать, но из строя так никто и не вышел.

Тогда, в июне 1984-го, мы свой выбор сделали.

«Я БУДУ ВЕК ЕМУ ВЕРНА...»

Уже третье столетие подряд школяры, вслед за учителями, восхищаются поступком Татьяны Лариной: «Но я другому отдана; я буду век ему верна».

Зря восхищаются!

Во-первых: «Я вас люблю, к чему лукавить?» – любит она все-таки Онегина, а не мужа.

Во-вторых, «минута злая» для бедного генерала обернется годами и десятилетиями так называемого «семейного счастья»,– можно обмануть кого угодно, но не сердце, «сыграть любовь» нельзя.

И, в-третьих, с возрастом приходит понимание, что любящую женщину ничто не остановит – ни совесть, ни брачные узы, ни государственные границы, ни – страшно сказать – даже религия. Потому что истинной верой для женщины может быть только любовь...

Не знаю, почему я обратил внимание именно на нее,– оттого ли, что облик ее показался близким, или из-за того, что душа моя была готова к этому знакомству – теперь уже и не вспомнить.

Что-то притягательное было в ней, на вид сверстнице, двадцатилетней девушке, стоящей в коричневой дубленке у железнодорожной кассы прямо передо мной. Ее рыжеватые волосы, длиной чуть ниже пояса, пахли полевыми цветами, хотя на дворе стояла зима. Когда она поворачивалась в профиль, я успевал заметить и еле видный пушок над слегка накрашенными губами, и внимательный взгляд чуть зеленоватых глаз, и волнительный завиток ее прически возле крохотного, совсем детского, ушка.

Она была почти одного со мной роста, под тонкой шубой была укрыта девичья фигурка, а узкие сапожки обещали когда-нибудь раскрыть и показать ее ровные пленительные ноги.

Мы оказались в одном купе плацкартного вагона,– места находились на противоположных верхних полках,– но до отхода ко сну уселись внизу, тем более что и ехали мы в одном направлении, правда, в разные соседние города.

Собственно, знакомство наше состоялось еще на вокзале, когда я предложил поднести ее длинную сумку, и она откликнулась,– как будто ждала от меня этой любезности.

Мы сидели друг против друга и радостно беседовали обо всем и ни о чем, и не замечали ни соседей,– семейную пару бесцветного вида, ни темнеющего пейзажа за окном,– мы были поглощены только собой и никак не могли наговориться.

Я ехал в свою первую командировку, моя спутница – в гости, но все это не имело почти никакого значения, мы были упоены даже не разговором, а блеском счастливых глаз, улыбками, и еще каким-то необыкновенным доверием, абсолютной открытостью,– всем тем, что называется узнаванием.

Мы как будто знали друг друга в раннем детстве, только встретились сейчас, когда юность предъявила нам свои властные права.

Все, о чем говорила она, было мне дорого; я чувствовал, что и мои слова отзываются в ней теплым и радостным откликом.

Во мне проснулись сразу все таланты: я читал наизусть стихи, рассказывал таинственные истории, даже тихо пел, наклонившись к ее трогательному ушку... она восхищалась мной – ей незачем было лукавить.

Мы даже не заметили, как соединились наши руки – так естественно и уютно это произошло.

В вагоне почти все уже спали, а мы не замечали никого вокруг – сомлевшие супруги покашливанием пытались разбудить нас сначала намеками, а потом обратились напрямую.

Я расстилал ее постель, а она стояла сбоку в проходе, покачиваясь, взявшись за поручень, и я видел, что ей приятна моя забота.

Через несколько минут мы молчали, встретившись взглядами уже на верхних полках, и держали друг друга за ладони – больше нам ничего не было нужно...

Ранним утром, одновременно проснувшись, мы продолжили разговор полушепотом, стремясь как можно быстрее сказать все самое важное. Тут и выяснилось, что ехала она не просто в гости, а к своему жениху и его родителям.

Я, как интеллигент, конечно же, восхитился его и ее выбором, пожелал ей счастья, на что она ответила с тихой грустью: «Теперь я не уверена, что он – тот человек, который мне нужен».

Я принялся горячо разубеждать ее,– не только из-за мужской солидарности, но и по инерции,– она не могла совершить худого поступка, слишком были хороши и она сама, и ее душа, ставшая мне близкой, и вдруг сразу такой далекой... Она слушала меня, кивая головой, но глаза ее были печальны.

Перрон моего города уже показался в окне, я стал прощаться, но девушка схватила мои руки и никак не хотела их отпускать – она смотрела мне в лицо таким взглядом, о котором, как сейчас понимаю, можно было

только мечтать. В нем было все: и просьба, и досада на мою уклончивость, и бесконечная нежность, и радость, и страх, и еще многое, недоступное моему юношескому рассудку.

Я все-таки попрощался, еще раз пожелав ей счастья – она еле видимым движением подалась ко мне всем телом, но когда я стал отдаляться, сникла, потухла, словно сказав самой себе прощальное «нет»...

Я шел рядом с вокзалом, среди звуков гремящих вагонов, ехидно посвистывающих локомотивов, ругающихся в динамиках диспетчеров, и считал себя настоящим джентльменом, пропустившим даму перед собой. Я был горд, хотя сердце почему-то ныло в груди,– горд тем, что не разрушил чужое счастье, соединил невесту и ее счастливого будущего мужа.

Теперь я так не думаю.

МИМО СТРОЙНЫХ КОЛОНН

Есть в моей душе воспоминание, которое возвращается всякий раз, когда я проезжаю мимо небольшого вокзала с белыми колоннами и бюстом адмирала Лазарева,– вокзала, в котором нам так и не суждено было встретиться...

Тридцать лет назад я был молод и ухаживал сразу за тремя девицами, две из которых были ко мне неравнодушны, но и только, а вот третья...

Она принимала ухаживания с какой-то странной пренебрежительностью, из-за которой все во мне протестовало, но я, не показывая виду, продолжал ходить за ней, как по пятам.

Ее лицо с огромными коричневыми глазами, темными бровями и румяными щечками было похоже на расписной анфас матрешки, но фигура казалась совсем не игрушечной, а живой, телесной и томительной. Изумительные линии ножек переходили в тонкую талию с такими нежными округлыми холмиками выше, что

глазам было больно от одного только взгляда на них. Но более всего меня волновала ее стопа – крошечная, легкая и беззащитная, в отличие от своей хозяйки, иногда выпускавшей коготки.

Мы бродили по городскому парку с высокими березами и липами и молчали – все уже было сказано самой молодостью, весной и той затаенной надеждой, о которой написаны тысячи стихов.

Иногда нас тянуло к речной набережной, почти у самого края которой оканчивалась лестница, восходящая к старинному храму. Так и казалось, что мы сейчас взойдем по ней к аналою, словно жених и невеста, нарядные, взволнованные, счастливые... Может быть, не только мне мерещилась эта фантастическая картина?

Порой мы оказывались в здании краеведческого музея, где любили смотреть на икону восхитительной красоты... Сразу несколько святых ходили по кругу возле затемненного гроба, и было в этом хороводе что-то совсем не страшное, а наоборот, радостное и светлое.

– Какие одухотворенные лики! – восторгалась она и медленно шла дальше мимо разложенных на столах черных и цветных досок, каждая из которых могла стать венчальной.

Нас почему-то не смущала недоговоренность в отношениях, но мне, при всей юношеской пылкости, невозможными казались движения навстречу – такой неприступной она была со мной.

Однажды я напросился в ее квартиру, и она приняла гостя радушно и просто, но мне почему-то стало неловко, и эта неловкость вдруг взбодрила меня.

– Вы всегда такой наедине? – спрашивала она, насмешливо, но тонко улыбаясь, глядя на мою проснувшуюся вдруг неестественную развязность.

– Всегда,– лгал я, и тут же верил в свою ложь.

– Говорят, вы собираетесь жениться на... Она назвала имя одной из моих безнадежных пассий.

– Что вы, это просто сплетни, даже не думаю об этом! – с жаром возмущался я.

Моя странная собеседница снова молчала, и было в этом молчании что-то стыдное и, опять же, недоговоренное.

– Что вы будете делать летом? – спрашивал я ее не без надежды.

– Уеду в отпуск в Лазаревское. Бываю там каждый год, люблю это место,– отвечала она, и лицо ее светилось радостью.

– Тогда я найду вас там.

Ответа не последовало, лишь чуть склоненная голова говорила то ли о сомнении, то ли о согласии...

Я уехал от нее и был уверен, что все делаю правильно, но в чужом и враждебном городе мне стало вдруг так плохо, одиноко, горько и почти смертельно, что я затосковал о ней всем сердцем.

Я вспомнил розовое утро в дальнем заброшенном монастыре, где мы в полной тишине рассматривали резной иконостас с деревянными скульптурами. Великой застывшей молитвой был этот иконостас, над которым местные мастера трудились всю жизнь. Взлетевший от каменного пола до самого купола, он был похож на огромную сплетенную свечу, уходящую в небо.

– Есть в нем что-то нечеловеческое, божественное, вы чувствуете это? – спрашивала она шепотом и одновременно вопросительным взглядом.

– Да,– откликался я, с восторгом глядя и на творение рук человеческих, и на блеск ее темных, но теплых глаз.– Верили же люди!

Я шел за ней и смотрел, как осторожно и неслышно она ступает на пол в гулком храме, и не мог налюбоваться ее фигурой, вырезанной рукой творца, познавшего тайну совершенства...

...Я забросал ее письмами, переполненными нежными чувствами, восторгами и болью, но не получил ответа ни на одно из них.

Я звонил ей, но она бросала трубку.

И теперь не могу без тяжелой грусти смотреть на этот вокзал, когда проезжаю мимо стройных колонн,

золотистого Лазарева в мундире с эполетами на высоком постаменте, и с клумбами возле него.

Я был молод...

ИРОЧКА

«Как же я мог её забыть?» – Сергей мысленно укорял себя за необъяснимый провал в памяти, которой всегда гордился.– Если бы не эта записка, я, наверное, так бы и не вспомнил... или не хотел вспоминать?»

Сергей сидел сам не свой в гостиничном номере родного подмосковного городка, куда приехал по делам после нескольких лет разлуки,– сегодня днём ему принесли клочок бумаги, на котором слабым, но ровным женским почерком были выведены слова, поразившие его:

– Вы, наверное, не помните меня. Я – мама Иры, моей ненаглядной Ирочки, царствие ей небесное! Вы ведь были знакомы?..

Сергей это предчувствовал, но за прошедшие годы почти уверился в том, что всё сгинуло, утонуло – всё, всё...

Ирина появилась в его жизни непостижимым образом. Сразу после зимних каникул в школу, где он первый год преподавал историю, была зачислена новая лаборантка кабинета живописи, взамен ушедшей в очередной декрет многодетной работницы. Она ходила по коридору, держа в руках стеклянные баночки из-под краски, и в её походке ощущалась притягательность, заставившая его приглядеться к ней.

Ирочка (так её звали все в школе) была совсем юной девушкой, со светлыми от природы волосами и открытым лицом,– оно играло весёлыми веснушками и сияло солнечной улыбкой. Не любоваться ею было просто невозможно: небольшого роста, стройная, всегда приветливая, она хлопала длинными ресницами так невинно и искренно, что Сергей поневоле восхитился ею. Он не

узнавал себя: обычно смелый и развязный с другими, к Ирочке подойти никак не мог, его что-то останавливало. Вся эта неопределенность тянулась до весны.

Однажды утром вместе с физруком и трудовиком,– бывалыми ловеласами,– Сергей стоял у школьного крыльца и, поглядывая на речной ледоход, беседовал о политике. Ирочка прошла мимо в облегающем легком пальто и кокетливой вязаной шапочке и, вежливо поздоровавшись, поднялась по ступенькам вверх,– ее ножка мелькнула сквозь вырез так соблазнительно, что у него перехватило дыхание.

– Смотри, как девчонка тебе сигналит,– усмехнулся трудовик, кивая на закрывающиеся двери.– Не теряйся!

– Она просто пришла в школу! – возразил Сергей, чуть ли не возмущенно.

– Ошибаешься,– многозначительно произнес высоченный физрук, похлопав его по плечу,– просто так они ничего не делают.

Разговор этот не выходил из головы, да и ножка стояла перед глазами особенно долго и никак не забывалась.

Наконец, Сергей решился: явился в кабинет живописи на несколько минут, пока учительница рисования сидела у директора. За перегородкой на столах были разложены пособия, журналы, белые кубики, конусы и шары, на стенах висели репродукции и схемы – лаборантская находилась в полном порядке. Ирочка, как ему показалось, ничуть не удивилась, когда он, осмелев, предложил проводить ее до дома. Она согласилась, но с таким достоинством, что Сергей даже и не вспомнил о своей развязности – он был обезоружен и пленен окончательно.

Через неделю Сергей сошел с ума: он целовал её веснушки прямо в лаборантской, за перегородкой, на больших и малых переменах, даже во время занятий, не обращая внимания на класс. Он забыл обо всем: и о собственной осторожности, и об элементарной педагогической этике, и об опасных свойствах женского коллектива.

Ирочка была нежна, безропотна, счастлива – и тем самым близка ему.

Еще через месяц они, не таясь, стали ходить по городу, взявшись за руки, обнимались на остановках, целовались, где придется, и не могли оторваться друг от друга.

Они катались на велосипедах по пыльным улицам и переулкам, выезжали за город, в поле, по соседству с взлетно-посадочной полосой аэродрома, бросали «велики» у стога, и там, в пещере из соломы, тоже целовались, но уже жгуче и нетерпеливей.

«Як», похожий на огромного белого гуся, медленно и почти неслышно заходил на посадку, но потом с грохотом проносился над стогом, выпустив закрылки и колеса. Колючий соломенный запах, пахучий и душный, щекотал ноздри.

– Ты любишь меня?.. – спрашивала раскрасневшаяся Ирочка.

– Да! – он поцелуями закрывал ее губы и глаза. – Да! Да!..

Накануне Первого мая Сергей предложил Ирочке посмотреть свою комнату в учительском общежитии. Ирочка всю дорогу смеялась, откликаясь на его шутки, но сама была далеко – её глаза сосредоточенно улыбались чему-то иному.

Целовались они в комнате, не замечая времени; ближе к вечеру Сергей стал грустить – провожать её так не хотелось! И тут Ирочка взяла судьбу в свои руки – она разделась и легла в его постель. Сергей был ошарашен, хотя и не показал изумления. Стараясь выглядеть как можно мужественнее, он шагнул ей навстречу...

Сергей ещё спал, пока Ирочка готовила завтрак на электроплитке, напевая что-то себе под нос. Кормила его с ложечки, как младенца, и было видно, что она бесконечно счастлива. Сергей тоже переживал необыкновенный подъём, но никак не мог отогнать от себя мысль, что Ирочка до их встречи могла поступить так же и с кем-то другим. Постепенно в его сознание стала вкрадываться тревога: как теперь со всем этим быть?..

Он каждый вечер оставался у неё (Ирочка снимала квартиру), возвращаясь к себе почти под утро. Целый час уходил на путешествие от дома с теплой постелью и запахом молодого женского тела к пустой и неуютной комнате общежития. Светлые июньские ночи помогали ему найти дорогу. Ночное свечение было похоже на молочный туман. Белизна церквей в этой дымке меняла свой цвет, становилась почти розовой, нереальной, приподнимавшей купола колоколен над притихшей землей. Ноги сами несли Сергея вдаль. Он не ощущал усталости, его переполняли чувства, в которых соединялись восторг от близости и осознание какой-то непонятной потери.

В начале лета Сергей посчитал себя обязанным сделать Ирочке официальное предложение – при её маме, такой же весёлой и слегка курносой блондинке.

Теперь они были женихом и невестой – навещали друг друга вечерами, ходили по воскресеньям на речной пляж, купались в мутной воде, а потом, обнявшись, говорили долго и вдохновенно: Ирочка все больше о любви, а он – о будущей карьере в науке.

Ирочка очень хотела, как она однажды сказала, «куклу от тебя, любимого», хотела жадно, упоенно, безоглядно:

– У ребеночка будет такой же носик, как у тебя – гордый и беспомощный одновременно!..

Однажды в субботу он остался у Ирины на всю ночь, а когда утром приехал в общежитие и поднялся на этаж, то обнаружил в зале для собраний спящую на полу мать. Видно, комендант сжалилась и расстелила матрас (Сергей готов был провалиться от стыда, но деваться было некуда). В его комнате и состоялся разговор – длинный, нудный и бесполезный для обоих. Прервался он неожиданным стуком. Сергей обомлел, бросился к двери и чуть приоткрыл её. Перед ним стояла улыбающаяся Ирочка! Сюрприз оказался на редкость удачным... В дверной проём Сергей шепнул ей на ушко всего два слова, от которых Ирочка вмиг

пришла в ужас и, повернувшись, побежала к лестнице. За ней, оттолкнув сына плечом, тут же бросилась мама.

Последовавшие вслед за этим действия были невозможными для Сергея. После разговора с Ириной мама была непреклонна: «Она тебе не пара!» Он знал: переубедить мать не получится. Его неловкая попытка уладить отношения закончилась провалом: на сближение с матерью Ирочки она не пошла, даже отказалась от чая в гостях в той самой квартире...

Всё рухнуло. После отъезда его мамы занервничала и прежде невозмутимая Ирочка. Она стала требовать ежедневных признаний в чувствах с горячечной непреклонностью и паническим блеском в глазах. Уверения и ласки успокаивали лишь на время, любые другие слова либо пропускались мимо ушей, либо воспринимались в штыки. Когда он, не подумав, неудачно высказался о возможной временной разлуке, то в ответ получил звонкую пощёчину и вслед за ней долгую и безобразную истерику. Сергей принялся её успокаивать, как вдруг явственно услышал внутри голос, принадлежащий не ему, а кому-то иному: «Этого я тебе никогда не прощу!»

Сергей всё решил, он передумал жениться, но признаться в этом Ирочке было выше его сил... И тогда он пошел на обман, на самую настоящую подлость: объявил невесте, что не сможет иметь детей – из-за перенесённой в детстве свинки и последовавшего за ней осложнения. Сергей надеялся, что Ирочка бросит его после такого признания...

Ирочка плакала так горько, что Сергей испугался за неё: крупные слёзы катились по щекам и подбородку, тело содрогалось от рыданий: «Почему это случилось именно с нами?» Вытерев глаза, она произнесла обречённо: «А я всё удивлялась, почему никак не могу понести...»

Вечером следующего дня Ирочку было не узнать: она явилась в комнату Сергея в строгом платье и с каким-то стальным блеском в глазах. С решимостью, которой он никак не ожидал, она сразу разрубила узел:

«Мы будем бороться за наше счастье! Если не повезёт, возьмём сироту». У Сергея кровь бросилась в голову:

– Прошу тебя, только никому не говори о моём... диагнозе.

– Конечно,– она прильнула к нему успокаивающе,– никто ничего не узнает.

Вступительные экзамены в аспирантуру московского вуза закончились для него успешно. Шёл отпуск, и Сергей не стал возвращаться к невесте – надо было устроиться в столице, и он написал, что вызовет её позже, телеграммой.

Поиски жилья затянулись: в общежитии семейным находиться было не положено, а дешевой квартиры ни в центре, ни в пригородах не было. Сергей мог продать ненужные вещи, занять денег, но зримое видение приводило его в ужас: они вдвоём в чужом и равнодушном городе...

Шли недели, а он никак не мог решиться на поступок – был мрачный, злился на себя, но всё более и более раздражался самой перспективой семейной жизни. Сергей ходил по столице, сидел у фонтанов, не в силах разорвать невидимую нить. В конце концов, он отправил письмо, сочиненное в тоске и удушье неизбежного предательства,– письмо-отказ от Ирины. Он остался жить в Москве, заставив себя забыть о ней...

Сергей очнулся от воспоминаний – в номере стало темнеть, наступил вечер. Он вышел на улицу, купил коробку конфет и, подойдя к знакомому дому с горящими окнами, поднялся на второй этаж.

Дверь открыла маленькая, сухонькая, болезненного вида женщина лет шестидесяти,– он узнал бы её даже на улице, по глазам – так они были похожи на Ирины. Единственное, что он помнил из тех лет – её глаза.

– Как же она любила! – говорила мама Ирины, усадив его за стол.– Как сильно она вас любила, говорила: я однолюбка, я родилась не в свое время, мой век – девятнадцатый.

Сергей, не шевелясь, сидел и невидящим взглядом смотрел на свою чашку.

– Она замуж так и не вышла,– продолжала хозяйка,– всё объясняла, что такого родства душ, как с вами, уже не будет. А потом заболела.

– Что с ней было?..– почти неслышно спросил Сергей.

– Сначала у нее жутко болела голова, потом она ослепла, отказали ноги... Врачи уверяли, что никогда не видели такой мученицы. Но моя Ирочка терпела, полагалась во всем на волю Божью. Всё повторяла, что страдания даются за грехи. А вас ждала. До последнего дня. Хотя боялась, что застанете её в таком виде, умоляла: «Когда он приедет, скажи ему, что я в другом городе» – и плакала.

Сергей внутренне застонал.

– Может, съездим на её могилку? – вопрос прозвучал так неожиданно, что он вздрогнул:

– Нет, нет, потом... У вас сохранились её фотографии?

– Да, сейчас принесу альбом.

Всё в нём напряглось: он пришел за этим.

Когда мать Ирины раскрыла бархатный том с фотографиями того лета, у Сергея чуть не остановилось сердце. На фотокарточках он увидел лицо удивительной чистоты и радостной красоты: здесь она на работе, в деловом костюме, тонкие полоски бровей чуть приподняты... Здесь Ирочка на экскурсии, стоит в лёгком полосатом платье, ноги в белых босоножках так хороши... А вот здесь она на пляже в Анапе, в купальнике...

– Она у меня всегда была красавицей.

– Да,– отвечал Сергей, чувствуя, как плачет его душа.

– Это была ваша судьба,– продолжала говорить её мать без укоризны, но ему почему-то становилось от этого ещё тяжелее.

Оказывается, его сердце все эти годы любило Ирину. Поэтому он и боялся встретить её...

Сергей ехал в ночном вагоне и не спал от душевной боли. Теперь он понимал, почему у него не было ни семьи, ни детей, ни любви... Она промелькнула, как тот белый самолет над стогом их далёкой юности, и исчезла в небесах. Только теперь он, вспомнив строки из её ответного письма, присланного на адрес университета, понимал, что самое дорогое он потерял тогда, в те дни, когда всё ещё можно было вернуть...

Здравствуй, любимый, самый-самый лучший, единственный!

Тебя со мною нет, но я помню всё, не могу и не смогу забыть ничего.

Я пыталась всё бросить, метнулась в другие объятья, в темноту, на дно... Я хотела растоптать тебя в себе, но у меня ничего не получилось.

Я до сих пор вспоминаю, как ты называл меня родной,– и снова чувствую себя счастливой.

Возвращайся ко мне, пожалуйста, мой навсегда родной человек!

Я знаю, что сама во всём виновата, но я люблю тебя, только тебя.

Возвращайся, любимый!..

СУДЬБА

Областная делегация подъехала к зданию Российской государственной библиотеки. Наш автобус еле-еле протиснулся в её ворота с Воздвиженки, едва не задев возмущенно гудящие иномарки, и остановился во дворике с клумбой, присыпанной тонким пухом оттепельного снега.

Мы впервые оказались в чреве «Ленинки», запутанной в своих коридорах до такой степени, что гостей пришлось чуть ли не за руку вести по лестницам среди стеллажей, заполненных чёрными и коричневыми книгами. Деревянные перила лестниц, старинный паркет и зелёные ковры, приглушавшие звуки шагов, словно

перенесли нас во времена основательной и богатой сталинской архитектуры. Усилили это впечатление и розовые, с серыми прожилками, мраморные колонны, подпиравшие высокий потолок конференц-зала.

И этот запах, неповторимый библиотечный запах!.. Кто побывал здесь хотя бы раз, навсегда запомнит дух, исходящий от многомиллионных страниц прошедших эпох.

Библиотеки чем-то похожи на кладбища... Металлические полки с надписями «Политпросвещение», «Марксизм-Ленинизм», «Политэкономия», вроде бы, подтверждали эту мысль, но... не торопись, бренный человек: кто знает, может, пригодятся ещё эти кладовые.

До события, повсеместно называемого презентацией, оставались целых три часа, и нас отправили в столовую, нисколько не изменившуюся с того дня, когда я в первый раз открыл массивные двери главной в своей жизни библиотеки. Тридцать лет назад я так же боялся поскользнуться на уходящих в подвал ступенях, отполированных ногами учёных мужей, так же стоял в очереди, выбирая еду подешевле... И столики те же, и подносы, и нетерпеливая женщина-кассир по-прежнему грозно сидит на своём непреходящем возвышении.

На втором этаже каталогов уже нет, но неизменные читальные залы с деревянными стульями ждут теперь уже редких посетителей...

Кажется, ещё вчера я искал твою причёску в главном читальном зале... Как сейчас вижу: светлые волосы, озорной взгляд из-под ресниц, девичья открытость будущему счастью... Как же я хотел рассказать всё о твоей душе, бесценней которой тогда для меня не было ничего! Когда ты, воздушная и нежная, вставала из-за стола и, прижав к маленькой груди стопку книг, шла в коротком голубом платье по длинному ковру, всё моё существо таяло...

Мы бродили по зимним столичным улицам, о чём-то бесконечно говорили, а я тайком любовался тобой. Однажды ты явилась в библиотеку в новой белоснежной

дублёнке, похожей на те, в которых ходят снегурочки, и я с невольной ревностью заметил, какими взглядами провожают тебя юноши и мужчины...

Помню холодный московский вечер... Мы спаслись от мороза в метро «Кропоткинская», и ты, прислонясь спиной к колонне, ждала, как сейчас понимаю, поцелуя, играя глазами и мысленно вопрошая: «Ну, что же ты?..»

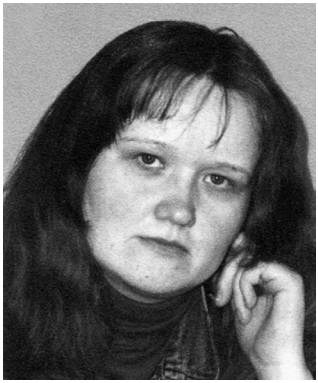
Я так и не решился поцеловать тебя тогда, так и не смог переступить через восхищение и преклонение пред тобой. И сейчас, в глубине времени, бесконечно жалею об этом.

Никакие знания не перевесят опыт жизни, никакие успехи не заменят того мига, когда золотые искорки вспыхивают в глазах той самой единственной, всем сердцем желанной и неуловимой...

Прости за это, судьба. Поступи я тогда по-иному, жизнь повернула бы в другую сторону. А может, всё повторилось бы так, как задумано не нами, а *Тем,* кто ведает будущим... Всё равно, прости.

Хотя забыть тот небесный зал, и то видение в голубом платье я не смогу даже за пределом, после которого наступит вечность.

ОЛЬГА ЧЕРНОРИЦКАЯ



Я ПОВИНУЮСЬ ГРУСТНЫМ ОБЛАКАМ

* * *

Иду давно привычной темнотой,
Иду куда-то просто по привычке.
Луна плетется вечной запятой,
Мирской скобой, белесою кавычкой.

Наверно, с нею мы одних кровей.
Я и она – из тех, кто по России
Идут за каждым – это тяжелей,
Чем ни за кем. А разные мессии,

Чернорицкая Ольга Леонидовна родилась в с. Пежма Вельского района Архангельской области. С 1984 года живет в Великом Устюге. Окончила Череповецкий университет, затем Литературный институт имени А. М. Горького. В настоящее время – редактор одного из московских журналов. В 1998 году вышла первая книга стихов «Русалка и поэт». Член Союза писателей России.

Они стремятся к свету и добру,
Они хотят быть добрыми святыми,
Они все человечество зовут,
Но только мы с луной идем за ними.

* * *

Я повинуюсь грустным облакам.
Они текут с рекой в одну долину,
Туда стремится улететь листва,
Желая ветви скучные покинуть.

Я повинуюсь ветру и реке,
Я повинуюсь облакам и Богу,
Я отправляюсь так же налегке,
Как и они, в бескрайнюю дорогу.

* * *

Спроси-ка у рыжего стога,
Воткнувшего лоб в синеву:
Что снится старухе убогой.
Чем грезит она наяву?
Ее сторожил он, как филин,
Ее он укрыл и согрел,
Ее от морщин до извилин
Он понял, постиг, разглядел.
Повыстынет пар над дорогой –
Его не забудь, расспроси:
Что ищется этой убогой,
Что видится ей на Руси?

* * *

Я начинаю обретать себя,
Какую-то реальность в запределе.
Не слушая. Киваю еле-еле,
Не закрываю двери, уходя.

Я начинаю слушаться листвы,
Тропинки, что уводит в темень чащи,
И, покидая всех ненастоящих,
Я прорастаю сквозь плетень молвы.

Припоминаю чьи-то имена,
Друзья звонят в безмолвие квартиры.
Я так излишня в этом долгом мире,
Что начинаю обретать себя.

* * *

Мне не вздохнуть,
Не раздышаться снова,
И не придумать,
Жить или не жить.
Не манит путь
В щемящие оковы,
Лишь тянет сумрак
Спелоночья нить,
Да прохиндей –
Полубезумный ветер,
Скатив к реке
Упрямую листву,
Смеется в ней,
А то бежит навстречу,
Держа в руке
Ветвяную метлу.
Я поняла,
Что ничего не смыслю
В людских делах
И пятнах на луне.
Подкралась тьма,
Зевнула и повисла
На тех рогах,
Что неподвластны мне.

* * *

Не хочу видеть света,
Мрак уж больно хорош,
Все слова еще где-то,
Сразу и не найдешь.
Все в унылом мерцанье,
Все бесцветье и тьма.
Я влюблюсь на прощанье –
Бог мне не дал ума.
Расписным многоточьем
Звезды встыли во мглу.
Рядом громко хохочут,
Мимо быстро бегут.
Кто бутылки сбирает,
Кто резину жует.
Ночь грохочет и лает,
Бомжам спать не дает.
Ночью стало прохладно,
Твой не греет пиджак.
Вот и поезд мой, ладно,
Будем жить как-никак.

Незабудки

Все часы и все секунды однозначны –
Просто время, перелитое в «когда».
Улыбаясь бесконечности невзрачной,
Увядают незабудки у пруда.

Незабудки, незабудки увядают,
Это значит, позабуду я тебя.
Не желая, неживая, пропадая,
Лепестки роняю в воду, не любя.

* * *

Все имеет смысл изначальный,
И ничто не имеет смысла.
Одиноко с тобой ночами,
Одинокость мне ненавистна.
Одинокость как одинокость.
Милый, я никакой философ:
Я не верю в тайные знаки,
Я не слышу твоих вопросов.
Эта ночь тебя не отпустит
По ошибке, всевечной ошибке.
Улыбаюсь твоей грусти,
Прикасаюсь к твоей улыбке.

СЕРГЕЙ ТИХОМИРОВ

ПРИТЯЖЕНИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ

Не стоит город без святого,
селение без праведника.
Народное поверье

Раннее утро обычного сентябрьского дня.

Солнце только-только зарождалось в небесах... День обещал быть спокойным и тихим.

Собирался на работу, у меня был включен транзистор, работало радио.

И мой слух привлекла радиопередача. Передавали репортаж...

Начала передачи я не слышал. И осознанно её зачин я актуализировал с услышанным...

Тихомиров Сергей Алексеевич родился в 1973 году в Соколе Вологодской области. Автор книги «Одиссея северных колумбов: Жизнеописание Ивана Александровича Кускова». Дважды лауреат Государственной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства, лауреат всероссийской литературной премии имени В. А. Жуковского. Член Союза писателей России. Живет в Вологде.

– Известно, что поэты существуют парами... – звучало из транзистора, зная, что в эти дни в Вологде должна была проводиться «Рубцовская осень», я обратил внимание на передаваемое, и, машинально, зацепился за остаток фразы, транслируемый по радио...

– Можно, конечно, это оспаривать, но куда, однако, денешься от насмерть друг с другом повязанных странными узами Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Фета, Есенина и Маяковского, Цветаевой и Ахматовой,– говорили хорошо поставленным голосом из слышимой мной передачи.

Далее, для меня уже передача шла сама собой, а я собирался на работу, слушая только фоном эту передачу.

В очередной раз я насладился рубцовской строкой, когда декламировали его стихотворение:

Взбегу на холм
и упаду
в траву,
И древностью повеет вдруг из дола.
И вдруг картины грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву...

Эта фраза для меня была ключевой, почему я обратил свой слух на передаваемое...

А думал я в тот момент над выступлением на Всероссийском съезде Союза краеведов России. Поэтому этот стих для меня показался особенно актуальным. И я подумал...

Кажется, что малой родины всегда много...

Она привычна, относимся мы к ней, как-то походя, не замечая её скромного величия, любим очень тихо, а кто-то и вообще не любит. Для учителей, например, уроки краеведения, они лишние, и лучше этот отведённый час они потратят на изучение общего курса истории.

Но воспитательное значение от пройденного материала несравнимо...

Как-то мы к малой родине относимся непочтительно, брезгливо, как-то снисходительно...

«Чего у нас-то может быть интересного?»,– спросят у меня незатейливые, «никчемные» жители такого-то города...

Но когда приходит вопрос «где она?..» – ответить не можем...

Каков её образ, географические очертания?..

Какими словами можно выразить к ней своё отношение?..

Краеведение – слово народное, по своей сути, тёплое, как в детстве – пирожок матушки...

Оно обиходно, общеупотребительно. И у каждого творца – есть своё определение этого интересного загадочного слова...

И у Н. М. Карамзина, и у Д. С. Лихачева, и у С. О. Шмидта, и у В. М. Шукшина, и у П. А. Колеснико-ва, и у В. И. Белова... (их краеведению, всем им может быть посвящён отдельный очерк).

Краеведение – антропологично, как и вся русская культура (это часть культуры). А русская культура, по определению многих учёных, в отличие от других национальных культур – литературоцентрична.

В произведениях В. И. Белова, например, была изложена формула-модель его малой родины, того крестьянского мира, царившего во второй половине XIX – первой трети XX века. Поэтому неслучайно он одно из своих сочинений назвал «Лад». Это была прямая проекция простого человеческого счастья, продолженного в трилогии «Час шестый». Рецепции трилогии писатель черпал в судьбах своих односельчан – жителей деревни Тимониха, выведенной им под названием Шибаниха.

Внесла в дело распознавания современного краеведения и вологодская поэтесса О. А. Фокина («Храни огонь родного очага...», «Счастлив тот, кто счастлив дома...»).

Раньше слово краеведение звучало несколько иначе: краелюбие, родиноведение...

Со временем придумали регионоведение, было время – провинциологии...

Нередко оно перемежевывалось с народными знаниями, употреблялось в месяцесловах и численниках (так в старину именовались отрывные календари).

В науке это слово и наука, говорящие об отношении к краеведению, давно оформились... Оно звучит, как антропология.

И её ответвления: социальная, культурная, историческая... скрывает только одно начало: человеческое и людское отношение к историческому процессу, историческому явлению или событию.., сознание, по-научному, восприятие, некоторые не любят это слово – «рецепция»...

Но она ЕСТЬ, она живёт и развивается...

И пусть критики мне сколько угодно заявляют, что эта наука только ещё формулируется, её научный аппарат ещё не сложился, ко всему новому мы очень сложно привыкаем. Трудно идёт эта наука у нас в обиходе. Мы уже это проходили в своей истории... А классик русской литературы, писатель, историк, мудрец и просто хороший человек Н. М. Карамзин назвал историю интересным словом – наставница жизни. (Для вологжан этот историк очень интересен тем, что был любимым писателем Василия Ивановича Белова. И его любимый литературный персонаж – Дон Кихот – напоминал любимого героя, с которого брал пример писатель и человек в жизни и литературе).

И проповедовал Н. М. Карамзин это начало производно от истории... Её нравственное начало.

Он говорил, что история современна по своему назначению...

Но я глубоко убеждён: и литература, и история в числе социальных наук точно может сказать и ответить на эти вопросы, то есть историко-литературные науки и сам литературный процесс антропологичны по определению.

Что такое МАЛАЯ РОДИНА, мне, как и любому человеку, сказать, трудно, сложно и противоречиво...

Скажем, Москва – столица моей Родины. Город и свой, и чужой, он расположен где-то там, далеко-далеко...

Я знаю Родину близкую – родную мне Вологодчину, которую можно понять всей душой, телом и сердцем.

По своим очертаниям, или попросту, абрисом, она напоминает нашу большую родину – Российскую Федерацию, о которой французский мыслитель Жан-Ришар Блок говорил: «Россия – это сама жизнь».

Чувствуете: сама жизнь!

И это высказывание ценно: взгляд со стороны оказывается не уродливой и злой карикатурой на наше Отечество, как это часто бывает, а взвешенной и беспристрастной оценкой.

О моей малой родине – Вологодчине – мне однажды довелось слышать такое высказывание:

«В недавнем прошлом мы говорили высокие слова о любви к отчизне, но несправедливо забывали малую родину – маленький городок, село, родную деревушку. А сейчас обращаем к ней взор, как к спасительнице, с надеждой на исцеление и возрождение души, с болью и виной за бедствующие села и малые города, за гибнущие памятники архитектуры и культуры и, наконец, за удручающее состояние самой провинциальной жизни... Что же с нами происходит?»

Высказывние принадлежит фотохудожнику Игорю Зотину. Ему, как никому другому, оно очень свойственно... Вернее, человеку его профессии оно очень красноречиво соответствует. Оно ценно ему, как человеку, видящему каждое мгновение во времени. Ведь именно он, как и многие фотохудожники запечатлевают ежеминутность, сиюминутность, он видит секунду в тот самый момент, который вдруг им и уловим.., ему ценны доли секунды, поскольку ему Бог дал возможность видеть мгновение в том цвете, которую не видит никто, он видит цвет, как-то видит время по-особенному, в своём измерении...

Тут оживает фраза в тот самый момент... Остановись, мгновение...

Можно это мгновение не только видеть глазами, но и услышать плеск речных и озерных волн, шелест камыша, песни птиц, крики чаек, чириканье воробьев.

Можно войти в неё, красавицу природу, потрогать руками, поцеловать, как красивую девушку, наслаждаться её красотой. Это и есть самое простое человеческое счастье.

Так что же такое малая родина?

Это то, что расположено недалеко от меня...

Это где-то рядом...

Это то, к чему я прикасался в детстве...

Это то, чему я радовался в юности...

Эта любовь к местам, где я родился, живу и работаю...

Это то, чем я любуюсь сейчас.

Когда от одного воспоминания о малой родине защемит сердечко, а иногда вдруг да повлажнеют глаза...

Говорить о малой родине всегда сложно, тем более, сегодня, когда, вступив в XXI век, население все больше и больше перебирается на жизнь в города, порой забывая об исконных корнях современной цивилизации. Вслушайтесь, ведь мы сейчас все больше и больше говорим, что хотим жить «цивилизованно», пользоваться плодами «цивилизации», и под этим понимаем городскую жизнь. Идет процесс урбанизации, люди перебираются жить в город, но мы все вышли из деревни и маленьких провинциальных (уездных, районных) городков, коих на европейском пространстве миллионы. И невдомек нам, ныне живущим в «цивилизации», что любая деревушка, наша малая родина, старше европейских столиц на несколько столетий. И цивилизация идет именно оттуда. Земля нашего рождения, деревня или город, а многие снобы говорят – провинция, как и человек, имеют свой облик, свою судьбу, свою историю. Испокон веков деревенских жителей и население небольших городов считали символом про-

винциального захолустья. С подобным утверждением сложно смириться. Стоит однажды побывать в наших деревнях, и ты влюбляешься в эти селения, очаровываешься уникальными памятниками провинциальной старины, деревянными и каменными особняками, церквами, а главное – общением с его жителями. Согласитесь, что, побывав там, ощущаешь «особинку», выраженную в окружающей действительности. Именно она делает родным и притягательным удивительные земли нашего детства и юности. Не знаю, мне кажется, что нестоличные жители покоряют очарованием искренности и исконности.

И если вслушаться в названия вологодских деревень...

Семейные Ложки, Сарафанная Кулига, Липовица, Кокошница, Никола-корень, Конь-гора, Раменье, Соболиха, Родинка, Кра́сота, Порубежье, Меленка, Воздвиженье, Березино, сельцо Тяпушкино...

Звучит как речитатив... Почти что... народная поэзия...

А названия наших городов... Например, Устюг Великий...

Немногим городам на Руси присваивали подобные эпитеты, топонимы...

Тысячи вологодских названий, топонимов...

И в них – чистая поэзия народного слова.

Сравните их с современными наименованиями...

И станет ясной неумелая словесная эстетика наших современников.

С горечью поймем, что отшатнулась от нас красота жизни, померкло словесное золото.

Любая деревня, небольшой город, прежде всего, хранители традиций. Истинны их неброская красота и спокойное достоинство. Исконно ощущение их необходимости и значимости в человеческих судьбах. Здесь разлиты в воздухе историческая памятливость, мудрая сосредоточенность, неспешность в делах и начинаниях, дающие уверенность в будущем. В деревенском

убранстве нет крикливой кичливости, назойливости и безудержного самолюбования, которые характерны для столичных городов. В деревенской жизни все спланировано, соразмерено и думается здесь как-то по-другому – мягче, лиричнее...

Куда бы я ни приезжал в Вологодской области за последние годы, всюду меня встречали с улыбкой и ненатужным гостеприимством...

Общаясь со своими соотечественниками, я удивлялся их искренней доброте и исконной мудрости, любовался необыкновенными речевыми красками и занимательным говорком. Говоря о русской деревне, районном центре, у каждого читателя, вероятно, в памяти всплывают удивительные памятники гражданской и церковной архитектуры, прекрасные образцы древнерусской темперной живописи, красивейшие иконостасы местных монастырей, соборов и церквей. Однажды побывав в русской деревне, небольшом уездном городе, невозможно не влюбиться в тихие улочки, обрамленные архитектурными жемчужинами, в его жителей, спокойно и уважительно встречающих многочисленных путешественников, приезжающих на свидание с историческим прошлым. Встретившись с местными жителями, начинаешь чувствовать и понимать их непритязательную, и немножко величественную, стать, воспитанную самой историей и укоренившуюся в их самобытном характере. После знакомства с городом или деревней ощущаешь могущество и одновременно сказочность всего увиденного. Русские деревни и небольшие города испокон веков считались оплотом русской духовности. Сегодня важно не потерять, а может где-то и снова обрести, веру в свое историческое прошлое. Следуя традициям, в умах и сердцах людей могут появиться вера в завтрашний день... Как здесь не вспомнишь великого Пушкина... Без истории нет будущего...

Сейчас мне почему-то вспомнилось стихотворение вологодского поэта Александра Романова:

Сколько их на Руси поставлено,
Деревенек и сел бревенчатых,
Подпоясанных палисадами
И рябинами увенчанных.
То речушки со щучьими плесами,
То леса их к себе привадили...
Широко по земле разбросаны,
Словно дети одной матери...
И в озерах ржаных да клеверных
Чередуются, будто пристани.
Еле слышные – ближе к северу,
Ближе к югу – голосистые.
Среди них одинокими вехами
Есть такие, что глаз не радуют:
Пассажиры давно все уехали
И не взяли билеты обратные.
Между ними, будя минувшее,
Там и тут церквушки на склонах
Кораблями лежат затонувшими
И белеют в глубях зелёных.

Это стихотворение отражает судьбу многих тысяч русских городских и сельских селений.

И все они имеют свою многовековую историю...

И каждым шагом своей судьбинушки они утверждали устои государства для нескольких поколений своих городских и деревенских граждан.

Северные уездные города и деревни никогда не производили впечатления застылости, праздной созерцательности, отстраненности от существовавших устоев жизни. Здесь все было так же, как и повсюду в государстве. С самых первых веков местной истории люди трудились, учились жизни, дружили, влюблялись, создавали семьи, растили детей, завершали свой путь на земле, выполнив свое жизненное предназначение. Каково оно – это жизненное предназначение? Каждый человек самостоятельно определяет его для себя. Для кого-то, как и для А. С. Пушкина, оно состояло в том, чтобы «чувства добрые» лирой пробуждать, чтобы восславить свободу «и милость к падшим» призывать.

Не менее достойное предназначение – посвятить себя благополучию своих близких, родных, своей семьи. Но чтобы ответить на вопрос о собственном предназначении, необходимо осознать себя во всей полноте человеческой жизни в сегодняшнем измерении. Но этого не произойдет, если мы будем забывать историю своей малой родины. Она всегда выступает как путеводная звезда, которая как «земля отцов и дедов... дала мне всё, ничем не обделя: ни радостью, ни гордостью, ни болью». Когда-то древнеримский писатель и историк Плутарх сказал: «Что до меня, то я живу в небольшом селении и, чтобы не сделать его еще меньше, собираюсь в нем жить и дальше».

Жить по душе, душевно, в согласии с миром, согласно своей ментальности.

Города на Руси, и стольные, и губернские, областные, уездные, районные, то есть, и Москва, и Вологда, а, вместе с тем, и Великий Устюг, были небольшими поселениями...

Городки – называют таковые города археологи и отечественные медиевисты...

Недалеко ушли, пра́выми они остаются и за столько столетий.., когда Геродот назвал их Гардарикой, поскольку она состояла из Городков.

И в нашей земле имеются таковые поселения...

Тарногский Городок, Кичменгский Городок, известен городок Хазелец в современном Никольском районе.

Если бы мы применили все знания социальных наук и приложили их к Гардарике, то древнейший историк назвал эту страну Гардарией.

Налицо употребление суффикса «к» – уменьшительно-ласкательная форма этого топонима.

И если внимательно всмотреться в сегодняшний день современной жизни многих русских городов (да и Москвы, да и Вологды, или Твери, Череповца, Суздаля, Никольска), то можно увидеть черты небольших поселений.

Не зря до сих пор нашу столицу называют «большая деревня». Издавна она выступала деревенской.

И ещё в имперский период Санкт-Петербург, город Петра Великого, нашего императора, ассоциировался как европейская столица, а Москва, тоже столица, но столица поменьше, усадебная столица, центр дворянской усадьбы.

Петербург никто не осмелится назвать большим селом, ибо у него нет на то оснований, он сразу смотрел столицей.

Деревня Москва и деревня Вологда сдаются городскому образу неохотно, раздражённо.

Ещё есть в Москве чудом уцелевшие деревенские улочки, окружённые высокими домами.

Надолго вписались в городской ландшафт Вологды и деревянные дома.

Неслучайно в Вологде зачастую льётся легкозвучащая песенка о городе, «где резной палисад».

Жители Москвы, «последние могикане», сильно сопротивляются напору властей, своему переселению в дома с горячей водой из крана и, вообще, со всеми удобствами в квартире, а не во дворе.

Вологда более покладиста и разумна...

Почему?

Сказывается провинциальный характер.

Издавна считали, что вологодскую землю населяли потомки чуди, чуди белоглазой и чуди черноликой. Но она, с течением времени, «ушла под землю», как считалось в легендах и преданиях, сейчас она «жива» в народах финно-угорской языковой группы, пережила весь, стала вепсами, и со временем её ассимилировали люди славянской национальности.

Сколько ж веков прошло у этой эволюции, чтобы в современных городах и деревнях жили простые русские люди – одна из национальностей в многонациональной стране – Российской Федерации.

И большая, чем в Москве, этническая однородность населения.

Есть ли сходство между Москвой и Вологдой, вологодскими городами?

Одно дело Череповец, где скорость жизни отличается от Вологды.

Другое дело – сама Вологда.

Третий вариант – Великий Устюг с оттенком некой провинциальности.

Но всё же он Великий, эпитет, полученный в древности, в средневековый период русской истории.

В веке минувшем определились характеры российских городов.

Да, да. Я не ошибся. У городов есть свои характеры.

Есть их разная, но столичность (в этом понятии кроется некая *самость* наших граждан, своеобразная *гордость*, но не *гордыня*, наши жители, как отмечают пришлые народы, именуются добрыми, ласковыми, приветливыми и гостеприимными людьми).

Как известно, слово «столица» произошло от слова «стол».

История Отечества знает примеры разных «столов».

И Новгород, и Москва, и Владимир, и Санкт-Петербург.

Отсюда и разная «столичность», ментальность и их жителей...

Москва – город первого престола. Она сажала на стол и короновала.

С конца XVII века до начала XX столетия – Петербург стал государственной столицей, но Москва оставалась Первопрестольной.

Великий Новгород – столица (стол) российской вольности, потерявшая себя перед Москвой.

Нижний Новгород – торговая столица (стол) России.

Вологда, что не есть, как раз может именоваться душевной столицей.

Как бы она не была сильнее, под давлением времени, но русский дух в этом городе жил всегда.

Неслучайно регион, именуемый Вологодская область, прозвали «бастионом патриотизма».

Самое большое количество людей, просиявших под ликом святых – здесь!

Самое большое количество людей, представленных к званию Героя Советского Союза и Российской Федерации – здесь!

И подобные примеры можно продолжать и продолжать.

Душа российская, чуткая, восприимчивая и святая живёт в Прилуках, Кириллове, Ферапонтове, Белозерье, Тотьме, Никольске и в каждом укромном месте области, где из-за деревьев и деревенских крыш ныне опять выглядывают купола и колокольни.

И не случайны многие современные вологодские чудеса.

Лишь большой мерой душевности можно объяснить явление во второй половине XX столетия вологодской литературной школы, особой страницы в истории всей страны.

Или недавняя, как будто совсем не Божественная, сказочная история: явление народу Деда Мороза в Великом Устюге.

Почитайте миллионы детских писем, адресованных сказочному волшебнику, какой душевной теплотой наполнены обратные корреспонденции, вышедшие с вотчины Деда Мороза.

Вологодская душевность – понятие особое! Весь край наполнен ею. И если этого не замечают в других местах, не понимают этой характерной черты края – не беда для него, а беда для тех, кто не замечает.

Меня можете спросить: почему я так долго рассуждал о ментальных устремлениях земли Вологодской?

Ответ мой прост.

Душевность, которой восхищаются многие люди, свойственна произведениям многих писателей – прозаиков и поэтов, рожденных на земле Вологодской.

Особенно – прозаика Василия Белова и поэта Николая Рубцова!

Неслучайно в октябре 1970 года в газете «Литературная Россия» известный критик Всеволод Сурганов впервые упомянул термин «вологодская школа» современной литературы.

Проговорил он его вскользь, как бы между прочим, но потом его подхватили многие.

Очевидно, что основой для выводов критика послужили, прежде всего, творчество Александра Яшина и Василия Белова, хотя в самой статье имена назывались и другие.

В данном случае важно увидеть основания для подобных мнений критика.

В поэзии вспомним Николая Рубцова.

Говоря о «вологодской школе» никак нельзя упускать, что в 60-е годы XX века литературную Вологду без этого имени теперь представить трудно, ему удалось оставить после себя целое направление в русской поэзии. Его неудачно назвали *«тихой лирикой»*, потом поправились. Конечно, нет в поэзии Николая Рубцова никакой *«тишины»*. Есть наполненность самой народной жизнью в ее различных проявлениях. Поэзия Николая Рубцова – это голос народа. Приведем суждение Вадима Кожинова на схожую тему о поэзии Николая Рубцова: «О народности того или иного поэта часто говорят, основываясь на тематических и языковых чертах его творчества – то есть на осваиваемом им “готовом” материале жизни и слова. Такая внешняя народность достижима без особого дара и творческого накала. Между тем народность Николая Рубцова осуществлена в самой сердцевине его поэзии, в том органическом единстве смысла и формы, которое определяет живую жизнь стиха. Дело вовсе не в том, что поэт говорит нечто о природе, истории, народе; сказать о чем-либо могут многие, и совершенно ясно, в частности, что многие современные поэты говорят о природе, истории, народе гораздо больше, чем Николай Рубцов. Дело в том, что в его поэзии как бы говорят сами природа, история, народ. Их живые и подлинные голоса естественно звучат в голосе поэта, ибо Николай Рубцов... был, по словам Есенина, поэт “от чего-то”, а не “для чего-то”. Он стремился внести в литературу не самого себя, а то высшее и глубинное, что ему открывалось».

«Сила, конечно, в самой органичности и исходности материала, – вторит критик Владимир Гусев, – в мощи первичных ценностей, в острой постановке вопроса, в чём же *прочность, традиция* (выделено мной.– *С. Т.*) человека в нынешнем динамическом мире; слабость – в иллюзии герметизма деревни, в прекраснодушной мечте, что мир таков, *может быть* (выделено мной.– *С. Т.*) таким, каким мы представляем его, сунув голову в чистый, влажный зеленый куст какого-нибудь чернотала иль краснотала; но мир – вот он, вокруг, в просторе, и человек, даже дремля в зное, в общем-то все равно знает в душе, что впереди – дорога».

Но здесь следует и важное замечание, что «деревенская проза» как явление, была необходима, чтобы выразить новые тенденции общественного сознания.

Критик Анатолий Ланщиков высказал мысль:

«С понятием “вологодской школы” связывались имена Александра Яшина, Николая Рубцова, Василия Белова, Ольги Фокиной... И вот сибиряк Виктор Астафьев сразу же вписался в эту “школу”. Художник, чей талант намного превышает масштабы местного таланта, всегда легко впишется в любую “школу”, если она, разумеется, достойна его таланта. Астафьев не только вписался в “вологодскую школу”, но во многом обогатил ее своим самостоятельным художническим поиском».

Завершить мне хочется свое повествование словами ещё одного вологодского писателя, всемирно известного Варлама Шаламова.

Когда-то он писал:

Мы родине служим по-своему каждый,
И долг этот наш так похож иногда
На странное чувство арктической жажды,
На сухость во рту среди неба и льда.

И, формулируя ответ на вопрос, в чём заключается русская уездная или деревенская (они обе пошли от деревенской) ментальность (правда, здесь будет уместным замечание о национальных чертах характера), мне кажется, будет верным сказать:

«Деревенская ментальность, независимо от того, где проживает её носитель, сосредоточила в себе контрастные черты, как скромность и даже стеснительность, но при этом глубочайшую уверенность в себе. Неяркость, сдержанность внешнего выражения чувств и вместе с тем глубину их душевного переживания, мощную внутреннюю силу характера, личности, стремление быть самим собой при любых обстоятельствах, неизменное чувство собственного достоинства. К этому можно добавить любовь к своему краю, внимание и поддержку земляков, где бы они ни находились».

...Закончил я слушать передачу по радио задолго до её окончания. Услышанное стихотворение Николая Рубцова подтолкнуло меня к тому, что я скажу коллегам на предстоящем съезде Союза краеведов.

СЕРГЕЙ СОЗИН

ОНИ НЕ УСПОКОЯТСЯ!..

«Тот, кто не знает своего прошлого,
не может понять настоящего
и предвидеть будущее».
Н. М. Карамзин

Открывая утром глаза, все чаще говорю себе: «Слава Богу! Вроде бы, всё мирно...» Мирно... Надолго ли?.. Исторический опыт России, наложенный на реалии нынешнего дня, рисует весьма печальные перспективы. Как говорится, хочешь узнать свое будущее, загляни в прошлое...

Созин Сергей Аркадьевич родился в 1955 году в п. Волоков Мост Вытегорского района Вологодской области. В Череповце живет с 1964 года. Окончив Суворовское и Высшее военные училища, до 1988 года служил в Вооруженных Силах. Автор ряда поэтических книг. Член Союза писателей России. Автор гимна авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Песни и романсы на стихи Созина стали лауреатами всероссийского конкурса «Русский романс» (г. Екатеринбург), всероссийского конкурса эстрадной песни (г. Нижний Новгород), дипломантами второго международного конкурса современных исполнителей (г. Сочи).

Страна отметила 75-летие победы нашего народа в Сталинградской битве (17.07.1942 – 02.02.1943), ставшей крупнейшим сражением Великой Отечественной. Как только немцы не называли этот непокоренный город... «Гигантская братская могила», «Город кошмаров и ужасов...», «Сталинград – это ад!..», «Город, из которого нет возврата»... И это не было преувеличением. В отдельные дни, по подсчетам немцев, потери в личном составе составляли до тысячи человек... Лондонское радио в 1942 году сообщало: «За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде – за 28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую...». Один из выживших в той баталии захватчиков, находясь в весьма преклонном возрасте, вспоминал: «Даже сегодня, десятилетия спустя, когда я слышу слова «Волга» и «Сталинград» – у меня мороз по коже... И я плачу...» Само слово «Сталинград» вызывало у немцев ужас на генном уровне.

Намеренно не говорю о наших боевых потерях, чтобы не «заболтать» тему на радость нашим и иноземным злопыхателям. Но не могу не напомнить варварскую бомбардировку Сталинграда 23 августа 1942 года. Тогда, в считанные часы, мирный город практически был стерт с лица земли. Об этой, одной из крупнейших в истории бомбардировок мирных городов, западные идеологи предпочитают не вспоминать. И никаких слез о безвинно уничтоженных 42 тысячах мирных жителей у них не увидите. В отличие от налетов на Лондон, Конверте или Дрезден... Собственно, о ком рыдать-то... Кто мы для них?.. Что тогда, что сегодня... Дикари-с! Азия-с!

Сегодня приходится констатировать, что действие «сталинградской прививки» на потенциального супостата кончилось. Концентрация в крови страха и ужаса от столкновения с нами у наших заклятых друзей снова упала до предвоенной... Как у тевтонов, так и у их постоянных союзников. Скажете: «Почему так считаю?» Да потому, что танки наших недругов стоят на нашей

границе, в эстонской Нарве, что в 135 километрах от Санкт-Петербурга. Перед началом вторжения, в июне 1941, это расстояние составляло более 800 километров...

То есть ныне они кардинально сократили расстояние до нашей государственной границы. Хотя на переговорах, в конце 80-х годов, тогдашний глава НАТО Манфред Вернер обещал, что ни один натовский танк не переправится через Одер... Как не вспомнить здесь шекспировское: «Слова... Слова... Слова...». В Эстонии появился новый аэродром НАТО, расположенный в 100 километрах от российского кордона... С подлетным временем к Санкт-Петербургу – 10 минут...

Кстати, о союзниках немцев подробнее... Кто же они, сражавшиеся под одними фашистскими штандартами?.. Это: 1. Албания. 2. Бельгия. 3. Болгария. 4. Венгрия. 5. Дания. 6. Испания. 7. Италия. 8. Латвия. 9. Нидерланды. 10. Норвегия. 11. Польша. 12. Румыния. 13. Сербия. 14. Словения. 15. Финляндия. 16. Франция. 17. Хорватия. 18. Чехословакия. 19. Эстония.

Почти вся континентальная Европа к 1941 году, так или иначе, вошла в империю Гитлера, вступив в войну с СССР и послав на Восточный фронт свои войска. Советский Союз, по самым приблизительным подсчетам, воевал с воинскими формированиями 32 национальностей и народов мира...

Нападение на СССР преподносилось немцами как большой освободительный «крестовый поход против коммунизма» с участием всех европейских народов. Была широко распространена концепция создания Новой Европы. Естественно, Германия в этом сообществе должна играть доминирующую роль... Нам это ничего из реалий сегодняшнего дня не напоминает?..

Русским пришлось воевать без конца: с 1055-го по 1462-й год историки насчитывают 245 нашествий на Русь и внешних столкновений. С 1240-го по 1462-й почти ни года без войны. Из 537-ми лет, прошедших со времени Куликовской битвы до окончания I Мировой войны, Россия провела в боях 334 года. В этот период

ей пришлось 134 года биться против различных антирусских союзов и коалиций, причем одну войну она вела с девятью врагами сразу, две – с пятью, двадцать пять раз пришлось воевать против трех и тридцать семь – против двух противников.

Возникает закономерный вопрос: «И чего-то им всем неймется?! Почему, в основном, одни и те же страны, из столетия в столетие, с маниакальным усердием сбиваются в союзы, блоки, коалиции, в едином порыве очередного «похода на Восток», т. е. на нашу Родину, как бы она на тот момент не называлась?.. В неуклонном стремлении уничтожить Россию...»

Доктрин, теорий и планов, объясняющих этот фатально повторяющийся процесс, придумано нашими «визави» немало. Десятки... Вспомним только некоторые из них.

Немцы, наши «смертельные друзья», оправдывали одну свою агрессию за другой избытками производственных мощностей, людских ресурсов и недостатком территорий. Традиционная стратегическая германская идея Drang nach Osten («Натиск на Восток») для немцев всегда выглядела весьма естественно... Как само собой разумеющееся. Из тех бесчисленных «шедевров немецких интеллектуалов» вспомним лишь следующие:

«План Гофмана». Германский план 1918-го года предполагал реорганизацию Восточной Европы в интересах Центральных держав. Создавалась независимая Украина – своего рода экономический заповедник для Германии и рычаг для давления на Москву. Эти ожидания были отражены в Брест-Литовском договоре с советской Россией. В итоге надежды Германии на эксплуатацию украинских богатств не оправдались. Проиграв войну на Западе, Германия была вынуждена отказаться от своих восточных завоеваний.

«План «Барбаросса». Германия. 18.12.1940 г. За семь лет до прихода к власти Гитлер в своей программной книге «Mein Kampf» (Мюнхен. 1925 год) вновь высказал глубоко укорененную в германском сознании мысль

о расширении жизненного пространства и уже предельно откровенно назвал цель будущего вторжения: «Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию...». И, разработанный план агрессии против СССР, гитлеровский «План Барбаросса» явился, по сути своей, продолжением плана Гофмана.

«План Ост». Германия. 1941 г. Согласно плану «Ост», после начала вторжения в СССР предполагалось в течение нескольких лет истребить (у Гофмана это называлось *покинуть аннексированные районы...*) значительную часть населения Советского Союза, в первую очередь русских, украинцев и белорусов, а также всех евреев – всего не менее 30 млн. человек... Нацисты в своем информационном обеспечении подготовки к очередной агрессии, в отличие от современных западных стратегов, не стали особо заморачиваться эвфемизмами и впадать в политкорректность. Бесноватый фюрер сразу заявил своим солдатам, что он всех нас «в гробу видал», объявив русских и других славян моральными и физическими уродами, недочеловеками, по которым плачут газовые камеры, печи крематориев и могилы в виде бесчисленных рвов, яров и карьеров. Цитирую брошюру 1942 года «Der Untermensch» («Недочеловек»), изданную массовым тиражом по распоряжению Гиммлера. Русские в ней описывались как неполноценный вырождающийся народ – эти самые недочеловеки. Здесь находим и определение данного «феномена»: «Недочеловек – это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица подобные человеческим – однако духовно и психологически недочеловек стоит ниже, чем любое животное. Внутри этого существа – хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость». После такого «промывания мозгов» оккупанты смотрели на мирное

население нашей страны, как на вредных микробов, которых следует уничтожать без зазрения совести... Кстати, и от совести их Гитлер заодно освободил, объявив ее древней химерой.

Финальную черту под этими изуверскими планами фашистов закрепил массовый героизм нашего народа, поставивший в мае 1945 года крест на всех этих человеконенавистнических прожектах. Вообще, Гитлер не оправдал возложенных на него надежд «западной закулисы», покончив самоубийством... Берлин как-то недопустимо быстро, с точки зрения англосаксов, пал. Еле-еле успели развернуть второй фронт...

Сегодня же *в геополитическом тренде* – американские *практики* и теории. Их много. Обратимся к доминирующим. Тем, что служат руководством к действию наших «спарринг-партнеров»...

Теория «Хартленда». Автором ее является Джон Маккиндер – английский географ и геополитик. (Главный труд *«Географическая ось истории».* 1904 г). Основной посыл его теории: «Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом (англ. Heartland – «сердцевинная земля» (центральная часть Евразии); Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом (то есть Евразией и Африкой); Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром»).

«Хартленд-Римленд» теория. Конец 30-х – начало 40-х годов. Автор – американский геополитик Николос Слайкмен. В отличие от Маккиндера, выделявшего Хартленд в качестве ключевой зоны, Слайкмен к таковой в Евразии относил и Римленд. Это гигантская дуга, включающая приморские евразийские государства, окружающая СССР. Была предложена стратегия наступления «атлантистов» на Континент (понимай – Россию), посредством создания форпостов (читай – военных баз) по периметру Хартленда (читай – России).

«Политика сдерживания» США. 1947 г. Американский дипломат Джордж Кеннан (1904–2005) сформулировал теоретические основы «политики сдерживания» СССР.

С 1994 года реализуется программа «Партнерство ради мира», занимающая важнейшее место в процессе расширения НАТО.

Доктрина «Американской гегемонии нового типа» США (книга «Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы», 1997 г.). Это современная версия мирового господства США. Автором ее является уже ушедший в мир иной отъявленный русофоб Збигнев Бжезинский.

Принятая в 2006 году «Упреждающая стратегия», предполагает ослабление или демонтаж государств, отрицающих американскую исключительность.

«Восточное партнерство», 2008 г. Инициатива, выдвинутая Польшей и поддержанная Швецией, с целью вытеснения России в «северо-восточный угол Евразии». «Восточное партнерство» задумывалось для того, чтобы максимально оторвать Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину от России. Кровавые итоги этой разрушительной работы мы сегодня пожинаем на постсоветском пространстве...

К перечисленным выше «прожектам» и руководствам к действию можно прибавить еще ряд других, предрекающих нам череду кровавых войн за передел природных ресурсов и доступ к ним. Впереди у нас битвы за глоток чистой воды, за право дышать своим воздухом,– словом, за право жить на родной земле...

Нельзя не упомянуть исследование швейцарского политического деятеля, депутата и журналиста Ги Метанна «Запад – Россия: тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса. Почему мы так любим ненавидеть Россию?», где Ги Метанн первопричиной ненависти Запада к России видит выбор России в пользу Православия.

Продолжаем вглядываться в день сегодняшний. Теперь уже 30 стран, участниц блока НАТО, бряцают своим оружием у наших границ. Знакомые все лица!.. Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия,

Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

В Румынии и Польше уже развернуты системы противоракетной обороны, которые в любой момент могут превратиться в средство нанесения превентивного удара крылатыми ракетами. Болгария и та же Румыния любезно предоставили потенциальным захватчикам свои порты для базирования ударных морских группировок.

С 3 по 15 июня 2017 года в Латвии прошли военные учения НАТО «Удар сабли – 2017» (Saber Strike). В маневрах приняли участие сухопутные и воздушные силы восьми стран: Великобритании, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, США и Латвии. На них было задействовано более двух тысяч военнослужащих. Отрабатывалась концентрация сил НАТО и США в течение 72 часов на одном направлении – у границ с Россией. В Эстонии с 29 апреля по 17 мая 2019 года прошли крупномасштабные учения «Весенний шторм – 2019» (Kevadatorm, 2019), в ходе которых было задействовано около 9 тысяч военнослужащих из 15 стран НАТО. Великобритания направила на эстонскую авиабазу Эмори пять ударных вертолетов «Apache» и еще 110 военнослужащих особой воздушной службы для противодействия «очень вероятной угрозе со стороны России». В мае того же 2019 года соединенное Королевство перебросило в акваторию Балтийского моря около двух тысяч военнослужащих в рамках очередных учений НАТО «Защитник Балтики – 2019» (Baltic Protector 2019).

Для доморощенных пацифистов раскрою «секрет Полишинеля» о том, что военные учения всегда считаются самой удобной фазой для перехода непосредственно к боевым действиям, когда войска уже отмобилизованы, развернуты в районах оперативного (боевого) предназначения, приведены в высшие степени боевой готовности, и от начала войны отделяет всего лишь один боевой сигнал, то есть – мгновение...

Подведем краткие итоги. На словах нам было обещано, что никакой экспансии НАТО в Восточную Европу, а уж тем более на постсоветское пространство не будет. Однако за последнюю четверть века мы убедились, что Запад медленно, но последовательно осуществлял продвижение на Восток. При этом страны, которые находятся вблизи границ России, вступив в ту или иную форму сотрудничества с Североатлантическим альянсом, становятся плацдармами для развертывания военной инфраструктуры (баз, аэродромов, пунктов складирования техники и т. д.). На Россию оказывается постоянно нарастающее дипломатическое, экономическое, информационное и военное давление. Активизируется пояс нестабильности вдоль всех границ и изоляция Российской Федерации. Мы видим в действии реализацию стратегии англосаксов по удушению России – *«Петли Анаконды»...* В 20-е годы прошлого века точно с такой же целью они выстраивали вдоль наших границ так называемый *«санитарный кордон»...* Идут годы, проходят столетия, но меняются лишь формы и методы да технологии борьбы с Россией. Цель остается неизменною: уничтожить русскую цивилизацию («окончательное решение русского вопроса»), сокрушить Русь путем расчленения, уничтожения ее духовного начала и дележа ее обломков. Как метко выразился бывший глава СВР (службы внешней разведки) Леонид Шербашин: «Запад хочет от России только одного – чтобы ее не было».

Еще в 1948 году философ-эмигрант Иван Ильин предостерегал: «Им нужна слабая Россия, изнемогающая в смутах, в революциях, в гражданских войнах и в расчленении... Россия с убывающим народонаселением... Россия безвольная... Когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей России – расчленяйтесь!». Они не успокоятся до тех пор, пока им не удастся овладеть русским народом через малозаметную инфильтрацию его душ и воли...». Я бы выделил здесь ключевую фразу: *«Они не успокоятся!»*

Но вернемся к началу статьи, к Сталинграду... Как видим, исторической памяти нашим «партнерам» хватает приблизительно лет на 25–30, на смену одного интеллектуально и физически активного поколения, получившего от нас «по полной», то есть... до очередного Сталинграда.

В какой же стадии подобное движение к очередному Сталинграду сегодня находится? Военная составляющая процесса уже освещена выше... Обратим внимание на морально-психологическую. Никто и не скрывает, что против нас ведётся мощная информационная война.

Претворяются в жизнь наставления и рекомендации Гитлера: *«Как в окопной войне артподготовка проводилась перед финальной атакой... так в будущем, перед тем, как задействовать армию, мы будем вести психологическое ослабление врага посредством пропаганды. Враждебный народ должен быть деморализован и готов к капитуляции, его следует психологически вынудить к пассивности и только потом можно думать о военных действиях».*

В работе американца Роберта Грина «33 стратегии войны» (США. 2011 г.) находим стратегию, отрабатываемую сегодня на нас: *«...Планируя атаку, обрабатывайте своих врагов, промывайте мозги, спровоцируйте конфликт в их рядах. Нужно сначала освободить людей от тех уз, которые связывают их с прошлым и заставляют противиться навязываемым вами изменениям. Обращаясь к чувствам людей, вы можете добиться, чтобы прошлое предстало перед ними в другом свете, чтобы они увидели его, как что-то деспотичное, надоевшее, аморальное, некрасивое. Теперь у вас есть пространство для маневра, появляется возможность внушать свежие, новые идеи, изменить восприятие людей, взывая к только что народившемуся чувству любви к себе. Сейте семена нового, ставьте новые цели, укрепляйте новые связи. Если вы хотите убедить людей следовать за вами, сначала отделите их от их же прошлого. Примеряясь к своей цели, поинтересуй-*

тесь, что держит их в прошлом, каков источник их сопротивления новому... Сломайте его – и вы сумеете разделить людей изнутри, открыть их для сомнений и перемен. Разделяйте и властвуйте – заставьте людей колебаться и сомневаться, чтобы вы смогли завладеть их мыслями».

Так вот, этому самому *«отделению людей от своего прошлого»,* несмотря на титанические усилия недругов, не дает свершиться народная память о победе в Сталинградской битве и нашего разгрома фашистов в Великой Отечественной войне.

Сняв «розовые очки» с выгравированными на линзах призывами к *общечеловеческим ценностям и демократическим идеалам, толерантности и мультикультурализму,* любезно напяливаемыми на нас западными «благодетелями», мы с удивлением обнаружим развертывание сил передового базирования стран НАТО и тяжелого вооружения на наших западных границах. А если еще «стряхнем» с ушей пропагандистскую «лапшу» и трескотню о *гражданском обществе, о борьбе за права человека,* то услышим звуки боя и залпов тяжелой артиллерии, бьющей по жилым кварталам Луганска, что в 380-ти километрах от Волгограда и, буквально, в 50 километрах от нашей границы. И снова, называя вещи своими именами, мы должны констатировать, что имеем дело с широкомасштабным информационным прикрытием (маскировкой) подготовки очередного вторжения.

Скажете: «Что нам делать?!..» Быть такими же сильными и сплоченными, как те, кто отстоял Сталинград! Нынешние «демократизаторы» мира понимают только силу. И никакого уныния. Этого только и добиваются супостаты. А также никаких мифологических ожиданий всемирного братства и дружбы народов. Наша, ничем не оправданная, вселенская любовь к большим и малым, сирым и богатым странам, как неоднократно показала история, делает страну уязвимой, и всякий раз «выходит боком».

Русофобия, столетиями вбиваемая в головы, сделала свое черное дело. Так, недавний опрос американцев телеканалом CNN и исследовательской службой ORC показал, что более половины из них (57%) считают нас своими врагами... По результатам опроса PEW Research Center (июль 2014) в Европе и США более 70% опрошенных высказались отрицательно по отношению к России. То есть мы должны признаться, что общественное мнение на Западе активно и, как видим, успешно готовится к очередной войне с нами. Делается всё для мобилизации, мотивации вторжения и нашей деморализации, демотивации сопротивления... Они даже правом себя новым наделили – *правом гуманитарной интервенции...*

Мы в большой опасности! Уход в глухую оборону – смерти подобен! Каждая наша уступка рассматривается ими, как прелюдия к нашей безоговорочной капитуляции... Только мощный жесткий прессинг на всех «фронтах»: дипломатическом, информационном, экономическом и военном гарантирует нам выживание.

Характеризуя современную военно-политическую обстановку вокруг России, уместно будет вспомнить слова нашего президента: «Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам».

И пусть, судя по всему, действие «прививки Сталинградом» на наших «заклятых друзей» сегодня закончилось, в исторической памяти народа всегда набатом звучит голос Александра Васильевича Суворова: «Мы русские, а значит – мы победим!»

ЕЛЕНА БЕЛЯКОВА

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ИЛИ «ПРОСТИДУРА» ВИННИ ПУХА

Пришла беда, откуда не ждали. Жили мы, не тужили, вполне довольные русской школой перевода, как вдруг, откуда ни возьмись, Стивен Росс со своей теорией переводческой множественности. И, оказа-

---

Белякова Елена Ивановна родилась в г. Череповце Вологодской области. Окончила Вологодский пединститут и аспирантуру при Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. Переводчик с португальского, драматург. Первая серьезная публикация – отрывок из книги Амаду «Бухта Всех Святых» в «Литературной газете» к юбилею Жоржи Амаду. В 1989 г. в издательстве «Художественная литература» вышел том избранного классика бразильской литературы Машаду де Ассиза. Там в переводе Е. Беляковой были опубликованы новелла «Ангел Рафаэл» и рассказ «Безымянный цветок». Победитель первого конкурса переводчиков «Современная зарубежная художественная литература». В настоящее время работает над учебником английского языка для аспирантов и переводами ранних произведений Ж. Амаду. Член Союза писателей России. Живет в г. Череповце.

лось, что неправильно жили, десятки лет читая одни и те же отличные переводы: нужно, чтобы переводов было много и все они были с изъяном. Ведь перевод, по мнению Росса,– это субъективная интерпретация оригинала переводчиком, и бедному читателю нужно перелопатить кучу текстов, чтобы получить о книге объективное представление. Стивен Росс выступил со своей теорией ещё в 1981 году, но в наши палестины она добралась после развала Советского Союза. Понятно, что теория не сама пришла, её настойчиво внедряют те горе-переводчики, которых при Советской власти и близко к издательствам и журналу «Иностранная литература» не подпускали.

Они очень быстро оценили выгоду этой теории и размахивают ею, как знаменем. «Перевод – это интерпретация»,– слышим мы то от одного, то от другого толмача. Эта теория, придуманная человеком, сути языка не понимающим, хорошая «отмазка» для тех, кто не умеет и не хочет работать с текстом: «Заново «перевёл» давно известный текст? – Так ведь переводов должно быть много: читатель имеет право выбирать. У меня плохой перевод?

– А я так вижу. Это моя личная интерпретация».

Но, позвольте, что такое интерпретация? Интерпретация подразумевает не только передачу содержания и объяснение текста, но и оценку этого текста интерпретирующим. То есть, каждый интерпретатор истолковывает художественное произведение по-своему, вносит личностный элемент. Какое отношение имеет данная деятельность к переводу? – А никакого. Когда читатель берет в руки книгу иностранного писателя, он априори уверен, что это книга автора, указанного на обложке, это его мысли, его чувства. Именно этого автора, а не его переводчика. И если у переводчика есть своё мнение по поводу переводимого текста, то он должен засунуть его... в самый дальний ящик письменного стола.

Ещё Гоголь говорил, что переводчик должен быть, как стекло, такое прозрачное, что его не видно. Сторон-

ники теории Росса тут же начинают кричать, что это невозможно, что личность переводчика не спрячешь, но вековой опыт русской классической школы перевода не оставляет камня на камне от подобных теорий. Если переводчик чувствует и думает, как автор, если «настроен с ним на одну волну», если он переводит «по любви», как говорил Маршак, то перевод без потерь и искажений очень даже возможен. Прекрасно сказал об этом Леонид Мартынов в стихотворении «Поэты»:

«Когда
Того или иного
Поэта я перевожу –
У них нередко, слово в слово,
Свои я мысли нахожу.
Вот этот
Лет на десять позже
Все то же написал, что я,
Хотя и внешне не похожи,
И жизнь у каждого своя!
А этот раньше лет на двести
Мои речения изрёк,
Как будто бы писали вместе –
Один висел над нами рок...»

К сожалению, в последнее время переводчик часто работает не для того, чтобы открыть людям любимого автора, чтобы и другие могли наслаждаться дорогим ему произведением, а чтобы себя показать и банально «срубить капусту». Первый звоночек прозвенел ещё в перестройку: в 1989 году в новом переводе вышли «Три товарища» Ремарка. В чём принципиальная новизна перевода – так и осталось загадкой, от старого он отличался тем, что кое-какие слова были заменены на синонимы или переставлены местами в предложении.

И с тех пор «понеслось»: чуть ли не все покупаемые книги были «перепереведены», иногда не по одному разу. Все эти новые переводы в лучшем случае являются перепевами предыдущих, в худшем – издевательством над оригиналом и читателями. Сорок лет русскоязычные

читатели знакомились с «Джейн Эйр» по переводу Станевич и искренне полюбили героиню Шарлотты Бронте. В 2002 году кому-то пришло в голову, что перевод «не полный», не хватает там, якобы, цитат из Библии, и книга вышла в новом переводе И. Гуровой. В своё время я изучала «Джейн Эйр» в институте на аналитическом чтении. Кто знает, тому не надо объяснять: целый семестр мы разбирали бедную «Джейн» со всех точек зрения. И со всей ответственностью скажу: перевод Станевич верен. Верен в том смысле, как понимал переводческую верность Белинский: когда сохраняется не буква, а дух произведения. Джейн Эйр из перевода была точно такой, как в оригинале – страстной, искренней, несгибаемой. Новый перевод ничего не смог добавить к характеру героини, зато его язык весьма затруднил понимание этого характера.

Ещё больше досталось другой англичанке, Джейн Остин. Самый популярный её роман «Гордость и предубеждение» известен у нас с 1967 года в переводе И. Маршака. В 1999 году его зачем-то заново перевела всё та же И. Гурова, а в 2008 – Анастасия Грызунова. Каково качество этих переводов, понятно с первых же строк.

Маршак: *«Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену. Как бы мало ни были известны намерения и взгляды такого человека после того, как он поселился на новом месте, эта истина настолько прочно овладевает умами неподалеку живущих семейств, что на него тут же начинают смотреть как на законную добычу той или другой соседской дочки».*

Гурова: *«Холостяк, если он обладает солидным состоянием, должен настоятельно нуждаться в жене, такова общепризнанная истина. И сколь ни мало известно о чувствах и намерениях подобного человека, когда он меняет местожительство, вышеупомянутая истина так прочно гнездится в умах его новых соседей, что с первой же минуты они смотрят на него как на законную собственность той или иной из их дочерей».*

Грызунова: *«Холостяку, располагающему приличным состояньем, надлежит питать склонность к обзаведенью женой – все на свете признают сие за истину. Сколь бы мало ни были известны чувства или же сужденья подобного холостяка при первом его появленьи в окрестностях, истина сия столь прочно пускает корни в умах соседствующих семейств, что семейства оные чают помянутого холостяка законною собственностью своих дочерей».*

Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что качество перевода находится в прямой зависимости от времени его создания: чем новее перевод, тем он хуже. Читатель наслаждается прекрасным русским языком Маршака. Сквозь перевод Гуровой приходится продираться, чтобы вычленить какую-то мысль. В тексте Грызуновой можно потеряться, как в лесу, читатель вообще забывает о смысле, ежесекундно натыкаясь на «сии» да «оные».

Дорогие читатели! Если вы открыли в магазине переводную книгу и видите там «сие», «оный», «чаять», не берите её, это выброшенные на ветер деньги. В том случае, конечно, если вы не преподаёте теорию перевода, и покупаете книгу для удовольствия, а не в качестве наглядного пособия для студентов «как не надо писать». Для того, чтобы осилить перевод Анастасии Грызуновой нужна не только профессиональная подготовка, но и исключительная выдержка. Не многие дочитают книгу до конца, постоянно спотыкаясь о такие вот перлы:

«Сие знанье некому было с Элизабет разделить, и она понимала, что, если вознамерится сбросить сие последнее бремя тайны, оправдаться сможет только абсолютным взаимопониманьем меж теми, о ком идёт речь».

«И такие ламентации раздавались в Лонгборне беспрестанно. Элизабет старалась ими развлекаться, но всякое удовольствие тонуло в стыде».

«Однако г-н Беннет природой не расположен был искать облегченья разочарованиям, виною коим его соб-

ственное неблагоразумье, в утехах, что столь нередко примиряют горемык с их глупостью либо пороком».

«Легко поверить, что, сколь бы мало новизны ни добавлялось страхам, надеждам и догадкам относительно сего любопытного предмета посредством то и дело возобновляемых дискуссий, никому не под силу оказалось подолгу удерживаться от возобновленья оных в протяженьи всего путешествия».

«Сие наисуровейшая диатриба, кою я только от тебя слышала».

«...мне мнится, что пообок вашей лужайки имеется симпатичный боскет».

«Если благодарность и уважение – достойные основы для привязанности, перемена чувств Элизабет не помстится невероятной или же безосновательной. Но если нет, если расположенье, кое порождаемо сими источниками, неразумно и неестественно в сравненьи с тем, о чём столь часто утверждают, будто оно проявляется при первой беседе с предметом чувства и даже прежде, нежели сказана пара слов – тогда оправдать Элизабет нечем: вот разве что она уже несколько вкусила последней методы в неравнодушьи своём к Уикэму, и неудача, вероятно, принудила её алкать другой, менее занимательной формы привязанности?»

Интересно, осилил ли кто-нибудь «сие» с первого раза? Здесь речь не идёт о стилистических огрехах, всё это мелочи. Из этого текста невозможно вычленить информацию, уловить смысл. Спрашивается, для чего делаются такие переводы? – Во всяком случае, не для того, чтобы люди, языком оригинала не владеющие, полюбили автора «всей душой», как говорил Чуковский. Ладно, допустим, взрослый человек сумеет разобраться в этом переводческом «изобилии» и в следующий раз обратит внимание на фамилию переводчика, но что делать с детской литературой? Кто защитит юных читателей от подобных переводческих творений? Ведь эти горе-переводчики поднимают руку на самое святое: на «Винни-Пуха», например.

Эта книга в переводе Бориса Заходера сразу полюбилась и маленьким, и взрослым читателям, она стала частью нашей культуры, с её помощью уже несколько поколений наших граждан вошли в волшебный мир литературы. Перевод Бориса Заходера – совершенство. Он написан прекрасным русским языком, передаёт образы героев, настроение, атмосферу книги без малейшего изъяна. Он настолько хорош, что едва ли не лучше оригинала. Но, тем не менее, нашлись люди, не постеснявшиеся предложить юной аудитории собственные творения. Такими «смельчаками» оказались С. Максимишин (нигде не смогла найти имя переводчика), Вадим Руднев и Виктор Вебер. Все эти переводы были изданы в 90-е годы в издательствах «Аста-Пресс», «Гнозис» и «ЭКСМО-Пресс» соответственно. Конечно, и переводчики, и издатели прекрасно понимали, что сразу возникнет тот же вопрос, что и у тётушки Ивана Васильевича в «Театральном романе»: зачем же было тревожиться сочинять? И вот тут в качестве главного аргумента выдвигается тезис, что Заходер что-то там исказил или пропустил, и, самое главное, не понял глубину «Винни-Пуха» и превратил философское произведение с многоярусным подтекстом в детскую сказку. Разговоры о подтексте «Винни-Пуха» теперь так же модны, как и новые переводы.

Г-н Вебер так прямо и заявил в интервью «Книжному обозрению»:

«Винни-Пух», которого читали мы с вами, он, мягко говоря, кастрирован и переработан... Когда я узнал, что произошло с оригинальным текстом «Винни-Пуха» при переводе, стало обидно – как же так, хороший автор, а мы на самом деле его не знаем».

Во вступительном слове к переводу Максимишина также говорится: *«Мы старались максимально следовать английскому тексту и подтексту, сглаживая лишь в отдельных случаях его звучание».*

А Вадим Руднев вообще заявляет, что, *«листая заходеровского “Пуха”, он вдруг обнаружил, что “Винни Пух”, как ни странно,– именно об этом: о возможных*

мирах и иллокутивных актах, жестких десигнаторах и индивидных контекстах, о пропозициональных установках и референтно-непрозрачных модальностях».

Похвально, конечно, что Вадим Руднев освоил программу аспирантуры по лингвистической специальности, но при чём здесь Винни-Пух? Почему медвежонок должен страдать от образованности комментатора, как называет себя г-н Руднев?

Заявляю со всей ответственностью: никакого подтекста в «Винни-Пухе» нет, это вам не «Алиса в стране чудес». Можно догадаться, откуда пошли разговоры о подтексте в «Винни-Пухе»: в 1963 году британский литературовед Фредерик Крюс написал книгу «The Pooh Perplex» (по-русски что-то вроде «Путаница с Пухом»), где анализирует «Винни-Пуха» с точки зрения фрейдизма, формализма, вульгарной социологии и т. п. Суть в том, что эта книга – пародия, в ней автор высмеивает исследователей, которые ищут подтекст везде, даже там, где его нет. У нас же многие восприняли книгу серьезно, чему виной то ли проблемы с английским, то ли с чувством юмора.

Давайте посмотрим, как на практике осуществляется «максимальное следование тексту и подтексту». Вот как пишет Максимишин в начале книги:

«Это теперь медвежонок живёт в собственном домике посреди Леса. А давным-давно, когда Кристофер Робин был ещё маленьким, он каждый вечер укладывал мишку спать в большую картонную коробку, на которой было написано:

Медвежонок.

В.И.Н.Н. и ПУх

Вы, конечно же, догадались, что означает эта надпись? Да, всё правильно: «Медвежонок. Высококачественное изделие. Необходим неослабленный и постоянный уход». Кристофер Робин был ещё маленьким и думал, что В.И.Н.Н. и ПУх – это имя, а когда догадался, как вы, то уже привык».

Что это за бред? Кто смог бы расшифровать эту аббревиатуру, если бы действительно кому-то пришло

в голову размещать шифровку на упаковке детской игрушки? Тем более что всё это – выдумки переводчика, в оригинале нет ничего подобного. К счастью, Борис Заходер рассказал, как всё было на самом деле:

«Это необыкновенное имя подарил ему Кристофер Робин. Надо вам сказать, что когда-то Кристофер Робин был знаком с одним лебедем на пруду, которого он звал Пухом. Для лебедя это было очень подходящее имя, потому что если ты зовешь лебедя громко: "Пу-ух! Пу-ух!" – а он не откликается, то ты всегда можешь сделать вид, что ты просто понарошку стрелял; а если ты звал его тихо, то все подумают, что ты просто подул себе на нос. Лебедь потом куда-то делся, а имя осталось, и Кристофер Робин решил отдать его своему медвежонку, чтобы оно не пропало зря.

А Винни – так звали самую лучшую, самую добрую медведицу в зоологическом саду, которую очень-очень любил Кристофер Робин. А она очень-очень любила его. Ее ли назвали Винни в честь Пуха, или Пуха назвали в ее честь – теперь уже никто не знает, даже папа Кристофера Робина. Когда-то он знал, а теперь забыл.

Словом, теперь мишку зовут Винни-Пух, и вы знаете почему».

В целом, все три новых перевода с завидной последовательностью доказывают, что всё лучшее в них взято из перевода Заходера, а всё оригинальное – отвратительно. Взять хотя бы имена героев. Если бы «новые» переводчики точно следовали оригинальному тексту, а не заходеровскому переводу, то они назвали бы мишку Уинни-те-Пу. Вот только найдётся ли какой-нибудь сумасшедший, который выложит из своего кармана деньги за какого-то сомнительного Уинни-те-Пу? А вот Винни-Пуха купит каждый. И наши толмачи прекрасно это понимают. Вадим Руднев с какой-то патологической наивностью признаётся в плагиате: *«Имя Winnie-the-Pooh по-русски должно звучать приблизительно как Уинни-де-Пу. Конечно, так Винни Пуха никто не узнает».*

С именами других героев дела обстоят по-разному: какие-то остались, как у Заходера, другие – поменялись.

Так, у Максимишина Слонопотам стал Гиппопотопом, а Крошка Ру – Рушечкой (невольно напрашивается рифма Рушечка-хрюшечка, но поросёнка там по-прежнему зовут Пятачком). У Вебера Кенга и Ру остались без изменений, зато Пятачок превратился в Хрюку (Это крошечное боязливое существо – Хрюка?! Ещё бы назвал его Хрюн Моржов); Слонопотам – в Хоботуна, а Бука и Бяка – в Вузлу и Визли. Ну, очень информативно!

В переводе Руднева Кристофер Робин и Винни-Пух говорят, как люберецкие братки, а Пятачок (Поросёнок) – как кисейная барышня. И то, что у Заходера звучит легко, естественно и очень смешно, у Руднева получается надуманным, тяжеловесным и неудобочитаемым. Сравните крошечный диалог Кристофера Робина и Винни-Пуха у этих переводчиков.

Заходер: *«– Мишка! – сказал Кристофер Робин.– Я тебя ужасно люблю!*

– А я-то! – сказал Винни-Пух.»

Руднев: *«“О, Медведь”, сказал Кристофер Робин, “как я люблю тебя!”*

“Так же, как и я тебя”, говорит Пух».

Читатель физически ощущает любовь, переполняющую заходеровских героев, у Руднева же их речь вообще лишена образности и напоминает закадровый перевод голливудского ширпотреба.

А во что Руднев превратил чудесную Пухову пыхтелку?! –

Мишка очень любит мед!
Почему? Кто поймет?
В самом деле, почему
Мед так нравится ему? –

У него она по непонятной причине превратилась в хокку:

Не забавно ли?
Медведю подавай мед.
Зачем он ему!

Все помнят, как Иа-Иа потерял хвост, и как Пух обсуждает это печальное событие с Совой? Вот как написал об этом Борис Заходер:

– Ну,– сказала Сова,– обычная процедура в таких случаях нижеследующая ...

– Что значит Бычья Цедура? Ты не забывай, что у меня в голове опилки и длинные слова меня только огорчают.

Заходер вслед за автором несколькими предложениями рисует два характера. Вроде бы смеяться надо над Пухом, ведь это он не понял «умные» слова Совы, но смех вызывает именно она, потому что пыжится, хочет казаться умнее, чем она есть. А наивному Пуху это даже в голову не приходит, и симпатии читателей явно на его стороне.

Как мы уже знаем, Виктору Веберу заходеровский перевод кажется «кастрированным». Вероятно, в своём он хочет «пришить» недостающее. Получился шедевр, который буквально просился в заголовок статьи:

– Что ж,– глубокомысленно начала Сова,– в таких случаях используется следующая процедура.

– А что такое «сведущая простидура»? – переспросил Винни-Пух.– Учтите, пожалуйста, что я – мишка со слабеньким умишком и такие длинные слова у меня в голове просто не помещаются.

Господин переводчик понял, что написал?! Это ж всё-таки детская книжка!

Даже В. Рудневу не удалось этот перл переплюнуть, хотя он старался:

“Хорошо”, говорит Сыч. “С Юридической точки зрения Процедурный вопрос должен быть освещен следующим образом”.

“Чего-чего?”, говорит Пух. “Ты, Сыч, пойми, перед тобой Медведь с Низким Интеллектуальным Коэффициентом, так что эти длинные слова меня сбивают”.

И у кого, спрашивается, слабенький умишко вкупе с низким интеллектуальным коэффициентом? – Уж явно не у Винни-Пуха.

Для чего же делаются такие переводы? Какая там любовь к произведению или автору! Такое впечатление,

что горе-переводчики мстят автору за свою несостоятельность и отсутствие таланта.

На переводчике лежит двойная ответственность: и перед автором, и перед читателем – ведь по переводу судит читатель об иноязычном авторе. А перечисленные переводы буквально уничтожают авторов, выставляя их косноязычными идиотами. И если бы не было переводов Б. Заходера, И. Маршака, мы бы этой клевете поверили!

Что же делать? Как защитить автора и читателя от шустрых деятелей? – Вопрос риторический. Нельзя человеку запретить переводить какую-то книгу на том основании, что переводы этой книги уже существуют. Переводчик может делать какие угодно переводы для собственного удовольствия. Но плохие переводы не должны попадать в печать, и это задача редактора. Увы, в современных издательствах редактор либо отсутствует совсем, либо между ним и переводчиком отношения, как у кукушки с петухом из известной басни.

Огромную роль в выборе перевода читателем могла бы сыграть критика, но и критика перевода у нас практически отсутствует. Кажется, современные переводчики и не подозревают о её существовании, обижаются, как дети малые, и жалуются френдам в своих ЖЖ на злобных критиков, якобы страдающих конфабуляциями.

И тут на ум приходит опыт прошлого: в 1920 году в Советской России был принят закон «Об ответственности издательств и переводчиков за плохой перевод», предусматривавший наказание вплоть до лишения свободы. Правда, этот закон никогда не применялся, поскольку не представлялось возможным доказать злой умысел переводчика. Но ведь во всех приведённых выше примерах и переводчикам, и издателям известно о существовании хороших переводов. Они ухудшают текст намеренно! А плохой перевод, как говорил С. Я. Маршак,– клевета на автора. Почему клевета остаётся безнаказанной?!

За преступление надо отвечать!

АНДРЕЙ ЛУШНИКОВ

ВСЁ ДВИЖЕТСЯ УПРЯМО К СВЕТУ...

* * *

День вышел. И только лазейка
Осталась за ним в тальнике.
Блестящая рыба уклейка
Погасла в холодной реке.

День сплыл, его песенка спета.
И что ты ему ни пророчь –

Лушников Андрей Евстафьевич родился в 1964 г. в гор. Рубцовске Алтайского края. Окончил факультет журналистики Алтайского государственного университета. Работал в Рубцовске и Барнауле токарем, электриком, журналистом, литературным редактором. В настоящее время живет в Вологде, трудится электромонтером на Вологодском вагоноремонтном заводе. Публиковался в журналах «Алтай», «Барнаул», «Сибирские огни», «Север», «Родная Кубань», «Вологодский ЛАД». Автор сборников стихов и прозы, исторического романа «Опрокинутый жертвенник». Член Союза писателей России.

С туманною родинкой света,
Как облако, движется ночь.

Как будто в холщовой котомке
К рассвету несёт прямиком
Душа человечья потёмки
С далёким степным огоньком.

* * *

Проснёшься – тополь стал жар-птицей!
Туманом даль заволокло.
Чуть слышно, с трауром в петлице,
Стучится бабочка в стекло.

Как сбросишь ночи рукавицу!
Как разохотится заря
От плевел отделять пшеницу
В росе на кромке сентября.

Увидишь верную примету
В природе, ставшей золотой:
Всё движется упрямо к свету –
Что ждёт за грозовой чертой.

* * *

Когда бы оставить мне свой околоток
И выйти из мрака в туманной дали,
Где движется солнце не из-за высоток,
А прямо из центра нагретой земли.

Где к людям пробился ручей-самородок,
К свободным и добрым, а не к «шантрапе»,
Где внучка, к заре повернув подбородок,
За бабушкой следом идёт по тропе.

Увидеть воочию, не в сериале,
Что шли, что идут, всё единым путём,–

Россия, которую мы потеряли,
Россия, которую мы обретём.

* * *

Самые прекрасные страницы
Я читаю ночи напролёт.
Засыпая, вижу сквозь ресницы
Как я попадаю в переплёт.

Как легко, легко неимоверно
Я скольжу по лунному лучу.
И героя из романа Верна
Я губами сонными шепчу:

«Капитан, нас обманул Негоро!
Сбился ночью с курса «Пилигрим»,
Меркнет свет, а это значит скоро
Свет в моей душе померкнет с ним.

Скоро, скоро мрак возьмёт измором,
Город весь тенями прошерстит,
Вороном зловещим Невермором,
В каждый дом хозяином влетит.

Напророчит он и мне потерю
На ночном последнем берегу,
Только я в рассвет грядущий верю,
На него надеюсь, как могу.

Если я хоть раз увидел солнце,
Что прошло в душе по пустырю,
То у ночи и на самом донце
Буду ждать грядущую зарю».

Ой ты моя зорька-заряница!
Что же нынче утро ниспошлёт?
Самые прекрасные страницы
Я читаю ночи напролёт.

* * *

Как много надо мужества в пути,
Когда твой путь под небом одинок.
Вот странник, у тревоги взаперти,
Измученный сомненьями, продрог.

За тёмным лесом, как усталый зверь,
На землю туча чёрная легла.
И странник испугался, что теперь
Совсем с землёй сравняет его мгла.

Что тяготы земной не превозмочь,
Что зря так долго шёл издалека,
Что там, за чёрной тучей, только ночь...
А там – в прозрачном небе облака.

На могиле у Батюшкова

В Прилуках, за стеною монастырской,
Растут кресты, как в огороде рута.
Он отошёл душою богатырской
На месте этом, где нисходит круто

Небесный склон и эта вся округа –
Земли многострадальной середина.
Он словно находился в центре круга,
Но то ему, наверно, всё едино.

И, кажется, что солнце ходит ниже
В Прилуках над могилой вологодской,
Что в отблесках заходит, где в Париже
Щит приколочен крепко донкихотский.

Безумство гонит странников с окраин.
Ну а в столице – как в саду осеннем.
Он тридцать лет скитался, неприкаян,
И смерть была ему приобретеньем.

Он сумасшедшие стихи оставил.
Но и в безумии, прошедшие по бровке
Поэты принимаются без правил
На небесах, как божии коровки.

* * *

Я надеюсь, что мир этот строгий
Отзовётся на мой позывной,
Потому и на берег пологий
Прихожу за большой тишиной.

Тишина, словно курочка Ряба,
Удивила осинок-девчат.
Даже чайки – базарные бабы,
Позабыв обо всём, не кричат.

И от берега к берегу белый,
Словно по расписанию, в срок,
Через озеро белое смелый
Проплывает вдали катерок.

Он плывёт, как надежда, красиво.
С мелководья глядят пескари
На меня, как на дивное диво,–
Со стыда хоть на месте сгори.

Стрекоза на тростиночке дремлет.
И какой-то вселенский покой
Всё живое собою объемлет...
Вот моей и душе бы такой!

* * *

Листок багряный, братец мой,
Тепла осеннего гостинец,
Мы скоро полетим домой
Из переполненных гостиниц.

И, не сочтя за тяжкий труд,
Вороны нас не проворонят,
За нами чисто уберут
И аккуратно похоронят.

Пока не склёваны сердца
И не продуло сквозняками –
Для всех частицу багреца
Мы сохраним под облаками.

Мы сохраним среди беды
С тобой ещё немного света,
Чтоб люди принесли плоды
В ладони будущего лета.

* * *

Как внезапно морозы остыли!
Ледяные косички зимы
Все деревья с улыбкой забыли –
И выходят к дороге из тьмы.

Облака перед битвой отважны,
Крепко тянет надеждой с реки,
У сугробов под окнами влажны,
Набок высунуты языки...

А душа ходит в новых ботинках,
Ухажёр её трезв и румян.
И у старой зимы на поминках
Не один уже порван баян.

Икар

Потеряв от судьбы своей джойстик,
Оказавшись вдруг на пустыре,
Атеист, маловер и агностик –
Все встречаются в монастыре.

О монахе, ещё и не старом,
Но уже чья седа голова,
Что прозвали здесь старцем Икаром,
Разнесла по округе молва.

Что-то помня о сыне Дедала,
Как известный народный артист,
Рядом с ним на скамью, разудало,
Сел вчерашний ещё атеист.

Он хотел хоть каким-то макаром
Получить однозначный ответ:
«Почему Вас прозвали Икаром?
Есть ли в этом какой-то секрет?»

В небе облако белым квадратом
Уплывает к другим берегам,
Чтоб услышать рассказ о крылатом,
Воробьи прискакали к ногам.

У монаха смешная бородка,
Словно всполох седого костра,
Он сидит, улыбается кротко,
Но улыбка, как бритва, остра.

Он ответит легко, в чём загвоздка,
Он в секрет приоткроет портал:
«Мне даны были крылья из воска,
Чтобы я высоко не летал».

Ушедший

Когда обещанье даст прошлое впредь
Не ждать на последнем причале,–
Луна будет в небе Содомом гореть
И плыть в предрассветной печали.

Тревожно зашарят в окне тополя
И страсти разлепят ресницы,
Я взглядом найду под луной журавля
И выпущу руку синицы.

Как шапку сгребая в куриной горсти
Любовь всю, пришла что в негодность,
Скажу я синице: «Прощай и прости!»
И выйду один в безысходность.

Из дома уйду, как от чудища, прочь,
Взойду на далёкий пригорок,
Увижу, что там, где кончается ночь,
Журавль превращается в морок.

И жизнь моя станет – не липовый мёд,
Надеждой во мраке ведома,
Покуда дождями огня не зальёт,
Горящего в сердце Содома.

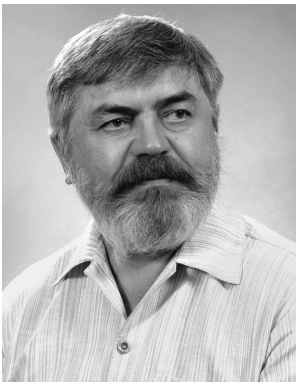
* * *

Я знаю, где спрятано в чаще
Заветное место одно.
Там солнце в росинке дрожащей,
Там тени ложатся на дно,

Родник сберегая целебный.
Там целое войско маслят,
Берёзы там служат молебны
И тихие ночью стоят.

Над ними там в тучах одышка
Стихает лишь только к утру.
Там верю я, словно мальчишка,
Что я никогда не умру.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ



МЫ ЖИВЕМ В ОЖИДАНИИ ЛЕТА...

Вот, наконец, свершилось! Еще не так давно в Вологде меня называли молодым писателем, а я уже на пенсии. И скажу вам, состояние это замечательное! Нет, в тот день, когда ее, пенсию, приносят и торжественно вручают, состояние просто изумленное, а во все остальные дни восхитительное. Есть чувство абсолютной свободы, что хочу, то и ворочу, когда хочу, просыпаюсь, никуда не надо спешить, никому ничем не обязан. И главное, никому ничего не должен!

Алексеев Сергей Трофимович родился в 1952 г. в п. Аллейка Томской области. Окончил Томский геологоразведочный техникум. Работал геологом, инспектором уголовного розыска, журналистом. В 1985 году переехал на жительство в Вологду. Лауреат премии им. Ленинского комсомола, Международной премии им. М.А. Шолохова, А.Н. Толстого и других. Автор книг: «Слово», «Крамола», «Сокровища Валькирии», «Волчья хватка», «Аз Бога ведаю», «Изгой великий», «Россия: мы и мир», «Сорок уроков русского» и многих других романов. Член Союза писателей России.

Впрочем, я и раньше жил так же вольно, без обязательств перед работодателем, властью, государством и прочими институтами общества. Разве что перед читателем ответ приходилось держать, но книги выходят не каждый день, поэтому и тут не особенно напрягался. И за сорок пять лет трудового стажа не притомился совершенно, не изработался, горба не нажил. Напротив, тайно и тихо дивился тому, что тружусь, испытывая высочайшее наслаждение и радость, а мне еще за это деньги платят! До сих пор не могу привыкнуть! Читатели об этом даже не догадывались, верно, и до сих пор думают, изматываюсь в прах, коль работаю день и ночь, бывает, в год по два романа выходит. Теперь, будучи на заслуженном отдыхе, и признаться не стыдно, что работал всю жизнь, как вольный землепашец в добрые времена, исключительно в свое удовольствие.

Но еще лучше, оказалось, быть на пенсии! Единственное неудобство – не возможно в одночасье избавиться от прежних вредных привычек и болезней. Речь не про табак, алкоголь и остеохондроз – про время. Про то, что мог бы спать, но сижу допоздна и встаю затемно. Шлейф бессонницы тащится, как проклятие, два года миновало, никак не проходит. Особенно весной: мысленно вижу себя на завалинке, в опорках, в шапчонке, сижу, щурюсь на солнышко, курю самосад и радуюсь. Кругом внуки бегают, ручейки пускают, кораблики мастерят. Много ли надо пенсионеру для полного счастья?

Но вместо этого каждую весну, как только согреюсь на солнце, у меня на руках цыпки появляются! Помните, которые в детстве бывали, а матушка по вечерам заставляла мыть теплой водой и сметаной смазывала на ночь? И ладно бы только цыпки, а то встану с открытым ртом, ни с того, ни с сего уставлюсь в небо, смотрю на летящих птиц и теряю ощущение времени. И такая тоска возьмет, поднялся бы на крыло и полетел...

Может, уже и в детство впадаю?

Ну, ладно, перелетные птицы, они на родину торопятся, чтоб гнездо свить, верную подругу найти, род

свой продлить. А что же меня каждый год в эту пору гонит из дома?

Чуть только напахнуло талым снегом, запели синички, даже про пенсию забываю, такая тревога, такое беспокойство и радость охватывают, что сил нет терпеть. И, как на зло, в это время приносит ветром незваных гостей! Внезапно появляются люди, совсем не знакомые, будто бы случайные, и давай дразнить, завлекать, рассказывая чудеса о неведомых местах. Один словами заманивает, другой карты у меня на полу раскидывает, тычет пальцем: здесь не был, там не был, сюда не дошел! А знаешь, что там есть?! Ого! То, что еще не видел – чумовые места, диво-дивное на каждом шагу! И начинают рисовать маршруты, тормошить штанины моей пенсионной пижамы – глянь! Отсюда досюда на самолете, потом на вездеходе, немного на оленях, на лыжах, еще чуток на метле, а остальное уже пешком. К середине лета как раз доберемся, а в обратку по реке сплавимся и до ледостава дома будем. Где твой походный рюкзак?..

А ведь еще недавно мечтал, выйду на пенсию, заведу кузню, сад и пасеку на даче, стану летом за пчелками ухаживать, зиму на печи лежать, весной – на завалинку. Вышел, оказалось, не на пенсию, а на работу! Всю жизнь хоть и дома не сидел, но только романы писал, да по горам еще ползал в удовольствие. Тут же пришлось открывать свое издательство – под проект «Сорок уроков русского». Отдавать крупным издателям свое новорожденное дитя показалось опасно, опять на обложках нарисуют брутальных мужиков с автоматами и голых красоток, а книги на продажу выставят в отделе фентези. Открыл, и в такой хомут залез на старости лет! Оказалось, издавать только самого себя не интересно, нужна концептуальная идея. Нас же учили с лозунгами жить, знать ответ, ради чего и во имя чего копья ломать. А другой идеи, как искать новых, неизвестных еще миру, авторов, нет! Да и старых, всемирно известных еще недавно, но впопыхах смуты забытых,

нужно печатать! Оказывается, книгам современных русских классиков теперь не находится места ни в издательствах, ни на полках магазинов. Начни имена перечислять и пальцы загибать, так и рук не хватит...

Да не просто тиражировать – возвращать читателю высокое, светлое и мудрое слово. В руки книгу ему давать, понуждать к чтению, растолковывать – в буквальном смысле продвигать, расталкивая литературный мусор. После массового чтива детективщины устинодонцовских домохозяек сделать это не просто. Русский человек возвращается к исконным ценностям в двух случаях: или когда стоит на краю могилы и небо с овчинку, или когда ощущает свою ***сопричастность*** с великим и вечным. То есть, все по Станиславскому: надо вызвать сопереживание, соучастие – вечный двигатель не только на сцене, но и в жизни.

Так вкупе с издательством и появился новый проект – культурный Фонд «Первое слово». Между прочим, по инициативе читателей, готовых быть сопричастными к великому и вечному. Оказалось, таких неравнодушных к прошлому и будущему традиционной русской литературы у нас в России множество! Под эгидой Фонда сейчас уже работает группа ученых-лингвистов, которые пишут статьи для этимологического словаря по концептуальной разработке, изложенной в «Сорока уроках...». Словарь замыслили семитомный, работы лет на семь, не меньше. С учеными людьми, особенно филологинями, обходиться следует бережно, ласково, одной рукой потакать и гладить, другой одергивать, то есть, управлять. А я всю жизнь никем не управлял, даже собой, тут же целый коллектив! И еще надо изыскивать средства, чтоб зарплату им платить, ибо ученые-гуманитары у нас божественно талантливы, но безбожно нищие.

Нет, отчасти предпенсионные мечты воплотились. Например, кузню построил, горн, инструменты, наковальня, запас железа – все, как положено, только ковать некогда. От сибирского голода и жадности по фруктам

такой сад насадил, что яблоки девать некуда, валятся наземь, но крестьянская душа эдакого расточительства и кощунства не выносит. Приходится собирать и развозить мешками по детским домам, по студенческим общежитиям и друзьям. Вырубить бы половину яблонь, но жалко...

Пчелы же сами завелись, по доброй воле прилетели в пустые ульи, заселились и живут. Меду приносят, хоть залейся, только стоят неухоженные, без нужного присмотра. Но довольны своим полудиким состоянием: каждое лето рои улетают и селятся, где захотят – это я так оправдываю свою бесхозяйственность. На русской печи тоже не удается полежать, потому что не топлена всю зиму, если случается выскочить на дачу, то всего на день, чтоб корма собакам и коту привезти. Хорошо, собаки, твари верные человеку, еще узнают и готовы ждать; кот был просто рыжий и пушистый, сейчас стал еще и полосатым, приобрел дикий окрас. Теперь радуюсь, что послушал домашних и коня не завел, о котором мечтаю всю жизнь...

И всё потому что каждый год наступает весна! Бегут ручьи, появляются цыпки... И еще непременно опахивает манящий ветер странствий, долетающий чаще всего в образе человека. Так позапрошлой весной внезапно возник человек по имени Виталий Сундаков, не только известный на весь мир, русский путешественник, который даже в племени людоедов сумел прожить полтора месяца и остаться целым. Впрочем, они сначала собирались съесть Виталия, поскольку нравились им белые люди, особенно, бритые американцы. А тут увидели бороду, удивились и спрашивают, мол, почему у тебя на лице шерсть растет? Землепроходец им говорит, дескать, живу я в северной стране, там всегда холодно.

– Как холодно? – спрашивают теплолюбивые и любопытные людоеды.– Как вчера ночью?

А надо сказать, вчера ночью было градусов тридцать жары и дикари замерзли.

– Нет,– отвечает Сундаков.– Так бывает холодно, что вода превращается в камень.

Веселые простодушные каннибалы со смеху покатились, не поверили, поскольку никогда в своих тропиках льда не видели. В общем, понравились им рассказы о жизни в России, как сказки слушали. И в итоге посчитали, на земле такой страны нет и быть не может, поэтому на совете старейшин решили – бородатый, чудной человек прилетел к ним с другой планеты! Кушать же инопланетянина даже людоедам не пристало.

Виталий, между прочим, такую планету сам создал: выстроил целый кремль в Подмосковье, с княжескими палатами, с этнографическим музеем, с тренировочным лагерем для подростков, где они проходят курс выживания в дикой природе и исконно национальной среде обитания. Даже коней завел! Верно, рассчитывал сидеть в тереме да книги о своих походах писать, да только как не позвонишь, отзывается то из Малазии, то из Камбоджи или Африки. Или гуляет по родной стране в поисках чудес.

Мало того, что Сундаков в конце концов нарушил эволюционный процесс и убедил дикарей не есть друг друга, так и мою пенсионную эволюцию расстроил напрочь. После первой же встречи, по сути, снял с печи и понудил к странствию. Я опять махнул на Урал, где читатели мои и друзья весьма успешно ползают по горам в поисках диковин, поскольку их там не счесть. Все есть, и дольмены, и менгиры, и даже каменное основание кольцевого города обнаружили. Скажу сразу: географических координат даже под пыткой на дыбе не выдам. Потому что немедля ринется туда оголтелая толпа, воспитанная на детективщине и напрочь лишенная созерцательно-романтического духа. Глазом не успеешь моргнуть, все растащит на сувениры, а если не растащит – превратит в объекты сектантского поклонения, что и случилось в Аркаиме. Или просто затопчут, завалят мусором, испишут краской: дабы вернуть заблудшего, но пытливого, ищущего веры, русского человека в лоно осмысленного восприятия мира потребуется много лет духовной реабилитации. Которая и есть суть – ***русская литература***.

А нынешняя весна в средней полосе России началась еще в декабре, то есть, попросту зимы не было. Поэтому, наверное, и залетел ко мне ветер с Алтая, принес удивительного человека и мудреца Сергея Тондоева. Сначала я воспринял его, как косвенное доказательство своей версии, что в дописьменный период человечество обладало потрясающими качествами сознания и разума. Всякий человек был накопителем, хранителем и носителем устной информации, исключительно все знания о мире и мироздании перекладывались в мифы, легенды, сказания, песни и прочий «фольклорный» эпос, и таким образом передавались из поколения в поколение, через много тысяч лет своей истории. Причем, в чистом, не замутненном и обогащенном виде. И сам человек существовал, как косточка на четках, нанизанная на нить знаний, существовал, как Хранитель и Творец одновременно. Деградация началась с появлением письменности, и сразу же резко приземлилась, сузилась, померкла его божественная природа сознания. Так вот, Тондоев сначала меня тем и вдохновил. И думал я примерно так: поскольку алтайцы относятся к «младописьменным» народам, то сохранили в себе эти свои способности. Сергей знал историю и пути своего рода и многих других тюркских родов чуть ли не от сотворения мира, и слушать его было – не переслушать. Какая там всемирная паутина с информацией выстоит против одной его седой головы!

И вдруг нынешней весной Тондоев мне говорит:

– Ты должен написать роман о Чингисхане. Этим летом приедешь на Алтай. Проведу по всем сакральным путям великого воина.

Мне сразу же вспомнился Николай Рубцов, задумавший написать поэму о Чингисхане. По свидетельству Виктора Астафьева, уже наброски делал: будучи на рыбалке, однажды несколько строф на песке написал – за неимением под рукой клочка бумаги. Только ночью прошел по реке теплоход, и прибойной волной смыло эти строчки. И меня все время будоражил вопрос: чем

мог привлечь преданного певца русской жизни образ тюркского завоевателя?

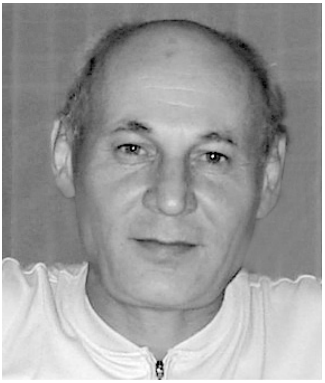
И тут, услышав столь дерзкое заявление, я грешным делом заподозрил неладное. Как из всякой, исторически привлекательной личности, из Чингисхана в последнее время пытаются сделать национального героя то монголы, то казахи, то киргизы и узбеки. Как украинцы из Мамая сделали запорожского казака. Ну, думаю, сейчас услышу, что сей воин, конечно же, алтаец. А Тондоев, этот прозорливец, услышал мои мысли и лишь усмехнулся.

– Чингисхан к тюркам никакого отношения не имеет.

И тут же неторопливо рассказал, откуда он, из какого рода, как возник в этом мире и где дни свои окончил. Связал для меня прежде несвязуемое, сковал разорванную цепь исторических событий и невероятных явлений далекого прошлого. О которых сейчас пока умолчу, дабы не предвосхищать читательского любопытства, потом в романе поведаю, если все сложится. В общем, в один миг заронил мысль, которая теперь в голове, как гвоздь в сапоге, и которая, наверное, Рубцову не давала спать, вот он и творил свои стихи на речной отмели...

Словом, я уже рюкзак собрал. Как только птицы на север потянутся, я на восток, на Алтай, по дорогам Чингисхана. А что уж добуду в походе – осенью поделюсь.

АНДРЕЙ СМОЛИН



И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИЛИСЬ ДНИ...

* * *

Написать бы о нём так, как умел он сам, с тем упругим движением каждого слова в коротком абзаце, которое обычно в прозе даётся только поэтам. Но я так не научился. Да, наверное, и не надо. Тут один из его заветов, данных мне этак лет тридцать назад: писать только так, как умеешь, иное от лукавого.

...Впервые я увидел Владимира Кудрявцева весной 1983 года. В конце марта в областной газете «Вологодский комсомолец» появилось моё эссе «Чехов или Дюма?..» (название, как потом выяснилось, придумал редактор). А это по тем временам вполне законный дебют начинающего литератора. Запись в моём дневнике

Смолин Андрей Петрович родился в 1959 г. в Вологде. Окончил Высшие литературные курсы. Много лет работал в журналистике. Автор ряда книг, а также публицистических материалов, опубликованных в центральных и региональных изданиях. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

того года: «26 марта. Ходил в «Вологодский комсомолец». Говорил с редактором В. В. Кудрявцевым. Приглашают на работу».

Помню, была суббота. Яркий мартовский день. Оттепель. Я шёл в редакцию, местами даже перепрыгивая через лужи на тротуарах. Но в коридоре издательства «Красный Север» было сумрачно, густо пахло свежей краской. Редактор оказался не в своём кабинете, а напротив – в маленькой комнате ответственного секретаря Александра Торопова. Я назвался, редактор как-то обрадовано протянул свою руку. Разговор состоялся короткий. «Напиши ещё что-нибудь,– сказал Володя,– а там, смотришь, и на работу пригласим».

Всё получилось по-домашнему просто. Через очень короткое время, став своим человеком в «Вологодском комсомольце», я опять поразился тому, что атмосферу почти домашнего уюта создаёт сам редактор. Поначалу это никак не вязалось с моим представлением о редакции влиятельной областной газеты.

В августе 1983 года я поступил в штат газеты «Вологодской комсомолец». Началась бурная жизнь корреспондента газеты. Мы стали видеться почти ежедневно. На третий день, наверное, после оформления на работу выяснилось, что Владимир Кудрявцев взял надо мной негласное шефство. Он как-то настойчиво советовал не слоняться по кабинетам, поменьше болтать на отвлечённые темы. А чтобы не появлялось соблазна на такое времяпрепровождение, стал настоятельно отправлять в командировки. И не «куда глаза глядят», а по закоулкам области, в самые отдалённые районы, куда по тем временам было «только самолётом можно долететь»: Никольск, Вытегра, Устюжна, Великий Устюг... Я быстро сообразил, что это проверка на прочность характера и профпригодность.

Но этим всё только начиналось. Обычно под вечер, когда сотрудники расходились по домам, редактор зазывал меня к себе: «Зайди, поговорим». Володя тогда много курил, кабинет был обычно в завесе сигаретного

дыма, но мне, страстному курильщику табака, это казалось в порядке вещей. Володя не правил стилистику, хотя что-то вычеркивал беспощадно и уверенно, но иногда вдруг зачитывал неудавшийся абзац, советуя тут же предложить другую трактовку. Но не было, кажется, случая, чтобы текст не доводился до нужной кондиции.

Отчётливо запомнился такой случай. В феврале 1984 года скончался генсек Юрий Андропов. Наш редактор отправил меня на траурный митинг на заводе «Дормаш» Вологды. Мой репортаж начинался так: «Чёрным крылом скорби накрыло нашу страну...». Владимир Валентинович читал-читал, а потом как-то кисловато усмехнулся: «Так уж и «чёрным крылом»... Но, кажется, так и не вычеркнул эту пошловатую велеречивость.

И таких примеров осталось в памяти много.

Довольно быстро наши вечерние посиделки переросли в дружбу. Какой-то, по-видимому, новый 1985-й год, мы с моей женой Ирой встречали в кругу семьи Кудрявцевых. После «обязательной программы», положенной в таких случаях, отправились на прогулку, где вдруг Володя предложил покататься с ледяной горки. Какой в нём проявился деревенский парнишка, с азартом и с посвистом слетавший с горки прямо в сугроб. Ох, и вывалялись мы тогда все в снегу! Знала бы детвора, столпившая вокруг, что с горки катаются редактор и сотрудник областной газеты... Но мы об этом из скромности умолчали.

А как-то мы поехали на репортаж о футбольных соревнованиях. В перерыве матча Володя упросил какого-то тренера дать ему мяч «попинать по воротам». Оказалось, что у него вполне, как говорят спортсмены, поставленный удар, он с детской радостью бил мячом по воротам, редко и промахиваясь. Тут выяснилось, что футбол – одно из увлечений школьных лет. Володя играл нападающим, кажется, за сборную старшеклассников посёлка Сусанино Костромской области.

Забегая далеко вперёд в своих воспоминаниях, расскажу ещё один подобный случай. Лет семь или восемь

назад поехали мы писательской делегацией на литературные чтения памяти поэта Александра Романова в село Воробьёво Сокольского района. После торжеств и искренних слов о поэте, отправились на реку Двиница. И вот представьте такую картину: прямо в реку ставят стол, а рядом по пояс в воде располагаются Володя и краевед Сергей Белов и начинают пить чай... Так мне запомнилось, хотя другие очевидцы утверждают, что на столе стояло что-то покрепче. Но Володя? Эх, каким разудалым русским купчиком увиделся он мне в эти минуты! Это, как считают психологи, и есть тот «разрыв шаблона», когда многолетний друг открывается с неожиданной стороны. Кто бы в такую минуту поверил, что перед нами поэт, прозаик, отличный журналист! Да с ним кроме как о «дебете-кредите» и говорить не о чем...

* * *

Но вернусь в 1983-й год. В те далёкие уже времена мы часто говорили о газете. Казалось, он проверяет на мне какие-то свои замыслы. Ведь Володя в тот год тоже стал газетчиком «начинающим», его утвердили на должность редактора в конце 1982 года, переведя из молодёжной редакции Череповецкого телевидения. Я же для него по-прежнему являлся простым читателем, хотя и с некоторыми литературными способностями.

С годами я понял, как теперь думаю, манеру мышления Володи. Он не любил обывательской болтовни, чурался откровенных сплетен, но каждую полезную для газеты информацию считал важным облечь в объёмную мысль, разложить её по полочкам, найти самый верный способ донести её до читателя. Другими словами, Володе всегда была интересна многогранность мысли, а не её прямолинейность.

Что Володе хотелось изменить в газете? Прежде всего, добавить художественности, если хотите – литературности в статьях и очерках. Надо было ломать

стереотипы мышления не только журналистов, но и читателей. Это было особенно заметно, когда редактор надолго отлучался: в отпуск ли, в командировки ли. Тут выяснялось, что каждый «и.о. редактора» газету начинал делать по своим лекалам. И почему-то всегда получалось хуже, чем при Владимире Кудрявцеве.

Он не признавал суконного языка, каких-то трафаретных композиций в подаче материала. При нём заблистали во всей красе наши очеркисты: Нина Веселова, Анатолий Ехалов, Юрий Мацнев, Светлана Зайцева, Вера Маленькая, а потом Дмитрий Шеваров и Леонид Парфёнов. Добротный очерк, особенно на деревенские или нравственные темы, ценился им намного выше, чем проблемная статья о работе райкома комсомола. Но тираж газеты стал падать. Володю это огорчало больше всего.

И всё-таки Володя не сдавался. Ему стало тесно в малоформатной газете. В году 1984-м пронёсся слух, что областные «молодёжки» переведут в статус еженедельников. Тогда появился прообраз этого решения – «Собеседник», как приложение к «Комсомольской правде». Наш редактор тут же стал составлять какие-то планы, направлять запросы в ЦК, чтобы ему разрешили в порядке эксперимента сделать молодёжный еженедельник на уровне области. Он долго «болел» этой идеей. (Даже свою диссертацию в Академии общественных наук готовил по теме о молодёжных еженедельниках.) Но в ЦК комсомола упорно молчали, видимо, хотели убедиться, что нововведение не нарушит систему комсомольского политпросвета.

* * *

Впрочем, он искал и другие формы работы «пропаганды и агитации». Однажды я предложил ему что-то вроде выездной редакции в одно из ПТУ области (сейчас не помню и какое). Он живо ухватился за эту идею, казалось бы, побочное для газеты дело. Назвали – «Уроки русского». Владимир Валентинович сам собирал

«бригады» выступающих. Тут я не в первый ли раз поразился: какой большой у него круг общения! Это удивило тем, что он не был коренным вологжанином. Он тогда только-только и перебрался-то в Вологду. А тут: художники, литераторы, композиторы, барды, ветераны труда и войны оказались его друзьями или добрыми знакомыми.

Дело осложнялось тем, что говорить обо всём было нельзя. Однажды даже был такой скандальчик. Михаил Сопин, поэт сложной судьбы и резких взглядов на жизнь, прочитал какое-то стихотворение на тему трагической судьбы русского народа. Тут взвилась замполит профтехучилища: «Не надо этого нашим детям!» Владимир Валентинович долго о чём-то с ней разговаривал в сторонке от нас. И, наверное, убедил её в правомерности такого выступления. Он умел убеждать, если считал себя правым.

При этом никогда я не видел его сильно раздражённым, крикливым, «стучащим кулаком по столу». Больше всего он умел убеждать своим примером. В жизни я знавал всего лишь несколько изрядных тружеников. На мой взгляд, Владимир Валентинович был одним из них. Нет, он признавал и весёлые вечеринки, не являлся, как говорится, и «врагом бутылки». Но если надо для дела, то он всегда собран, сосредоточен, упорен в достижении своей цели. В нём жила коренная черта крестьянского сына: «сначала хлеб посей, а потом веселись». И сколько раз было: мы, позабыв про все свои обязанности, уже бражничаем по поводу и без повода, а он упорно и истово страницу за страницей пишет своим мелким витиеватым почерком очередной материал для газеты.

Тут живо вспоминается такой пример. В конце июля 1985 года Владимир Кудрявцев поехал в составе делегации Вологодчины на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Так получилось, что я чуть ли не в одиночку остался на редакционном хозяйстве: время отпусков, почти никого в редакции и не оказалось. И помимо всяческих редакционных дел, мне было пору-

чено каждое утро связываться с Володей по телефону, чтобы принять его репортаж о событиях фестиваля. Приходить на работу надо было к 6 часам утра, ибо у него-то там, в Москве, день расписан по минутам (а ведь были ещё и бессонные ночи, наполненные встречами с другими делегациями). Но все шесть дней фестиваля он каждое утро диктовал мне свои заметки, хотя чувствовалось по голосу, что давалось ему это с большим трудом. Обязательность – это одна из главнейших черт его характера.

Другой его чертой была истинная любовь к «простым» людям. Помню, собрались на какой-то праздник у него дома, наверное, его тридцатый день рождения. Неожиданно приехал его товарищ из Череповца, рабочий металлургического комбината. И было видно, как Володя потянулся в первую очередь именно к нему, рабочий человек был ему интересен больше, чем все мы, его друзья-коллеги по работе.

В тот вечер затеялся спор о роли рабочего класса и интеллигенции в развитии общества. Кто-то был на стороне «гегемона», кто-то убеждал в необходимости высокой миссии людей умственного труда. Но Владимир Валентинович, отдав должное роли интеллигенции, всё-таки склонялся к выдающейся роли рабочего класса в развитии советского общества (понятно, что слова произносились другие, я передаю лишь смысл сказанного). И мне не думается, что это было одним из уроков диалектического материализма, усвоенного Володей в Ленинградском университете. Это являлось, как мне кажется и теперь, его образом мышления.

Вот и в редакции он выделял не журналистов, пусть и самых талантливых-расталантливых, а машинистку Галину Николаевну Вербинец, одну из легенд литературной жизни Вологды второй половины двадцатого века (она печатала рукописи многих видных писателей того времени, являясь первым читателем их произведений). И... фотокорреспондента Олега Кононенко, незаменимого напарника в командировках Владимира

Валентиновича. Помню, как глубоко горевал Володя, когда Олег трагически погиб, поздним апрельским вечером 1987 года угодив под поезд...

* * *

Когда мы стали часто ездить по районам на редакционной машине, Володя старался кого-то из нас отправить в райком, а сам отправлялся куда-нибудь в колхоз или на стройку: «Вы там сами, а я с мужиками поговорю». По должности он должен быть бы чиновником, каждый понедельник отправляющимся в обком комсомола на планёрку в строгом костюме и при галстуке. Но как раз «чиновничье» обличье ни в образе жизни, ни в манере мыслить к нему не приставало никогда. Ну, какой, в самом деле, из него чиновник...

А между тем получилось так, что я вольно-невольно втянул его в чиновничью упряжь. В 1989 году я и поэт Михаил Карачёв были избраны депутатами областного Совета народных депутатов. Меня утвердили председателем комиссии по делам молодёжи, а Михаила Ивановича председателем подкомиссии по культуре. Когда формировался новый облисполком, выяснилось, что именно нам надо предложить кандидатуру на пост начальника областного Управления культуры.

Владимир Валентинович в это время учился в Москве, в Академии общественных наук при ЦК КПСС (в те времена с его талантом он вполне мог сделать блестящую журналистскую карьеру в столице, к тому были все предпосылки). По каким-то делам я позвонил ему в Москву. Попутно рассказал о текущих проблемах на депутатском поприще. Спонтанно у меня появилась мысль: а, может быть, тебе попробовать? Володе оставался ещё год учёбы до защиты кандидатской диссертации, уже почти написанной к тому времени. Он подумал немного, а потом ответил: «Почему бы и нет?»

Это явилось одним из поворотных моментов его биографии. Началась сложная «подковёрная» сутолока,

кандидатов было несколько, и людей достойных, настоящих управленцев культуры. Владимир Валентинович всего этого не любил, прямо-таки сторонился. Но мы с Михаилом Карачёвым проявили настойчивость и убедили товарищей по депутатскому корпусу, что именно Владимир Кудрявцев и есть лучший из лучших.

Мне трудно судить, благо ли для Владимира Валентиновича мы сотворили или нет. Спустя какое-то время мы снова стали работать в одном здании – бывшего обкома КПСС на Пушкинской улице. Он на седьмом этаже, а я на четвёртом – в редакции газеты «Русский Север». Иногда я поднимался на лифте к нему, иногда он заходил ко мне. После каких-то откровенных разговоров оставалось впечатление, что не всё у него ладится: чиновничья среда не являлась поначалу его родной стихией.

Не раз довелось слушать его отчёты на сессиях областного Совета. Но это не были отчёты в точном смысле этого слова. Хотя, понятно, он и использовал статистику, находил свои факты и аргументы. Но это, как мне представлялось, была откровенная публицистика, размышления о том, какой должна и может быть областная культура, если к ней приложить средства и усилия работников управления культуры.

Мало-помалу Владимир Валентинович втянулся и в многотрудную работу управленца культуры. Он уже с гордостью показывал сигнальные экземпляры могучей серии «Старинные города Вологодской области», в главной редколлегии которой он состоял многие годы. Наверное, инициаторами серии являлись учёные-историки и краеведы, но без поддержки Владимира Кудрявцева она едва ли состоялась в таком объёме и географическом размахе, какой стала в итоге.

Однажды вышли мы вместе из здания на Пушкинской, а он вдруг приглашает пойти в филармонию. То, что я увидел, не поддавалось описанию: разобранные полы, побитые стёкла, обшарпанные стены... Одним словом, разруха. А глаза Володи горели: «Ещё год, от

силы полтора и это будет самое лучшее здание культуры в области!»

В другой раз повёз он меня в Ферапонтово, чтобы показать фрески Дионисия. Музей тогда был на консервации, посетителей не пускали. Но для начальника управления культуры сделали исключение. В том смысле, что он и приехал решать какие-то технологические задачи, чтобы поскорей музей стал доступным для народа. Года через три или четыре я снова попал в Ферапонтово. Стало очевидно: какая большая реставрация там проведена. И, естественно, при непосредственном участии Владимира Кудрявцева.

Впрочем, в работе начальника управления культуры была и обратная сторона медали. Бесконечные презентации, премьеры, вернисажи, фестивали, приём гостей со всех сторон света, постоянные командировки и поездки по области, по стране и по миру требовали поистине богатырского здоровья.

Как казалось со стороны, оно у Владимира Валентиновича было изначально крепким. Но вдруг пошли и настораживающие известия: то ему вживляли сердечный стимулятор, то вдруг повышался сахар в крови, то барахлили печень или почка... Володя только изредка что-то говорил о своих болезнях. На какие-то дружеские вопросы по поводу здоровья отмахивался: а, пройдёт!.. Была ли в этом простая беспечность человека, привыкшего всего себя отдавать делу? Наверное, так. Но в тайне ото всех (а мы с ним об этом говорили), его поддерживала уверенность, что главное в жизни сделано добротно, прочно, основательно, как крестьянский дом.

Это главное – состоявшаяся полноценная судьба! Владимир Кудрявцев едва ли обманывался на этот счёт. Он знал вершины своих личных и общественных достижений.

Его чиновничья карьера длилась больше десяти лет. Главной причиной отставки с должности стало пошатнувшееся здоровье Володи, что известно, как говорит-

ся, из первых уст. Как мне кажется, прав Владимир Панцырев: «Володя был честный и добрый человек с тонкой и ранимой душой. Это питало его поэзию, но мешало в работе. Он – в первую очередь поэт – при любой власти всегда был «птицей с белыми крылами» среди чиновников и в одиночестве мучился от того, что иногда приходилось совершать по долгу службы. А это отнюдь не на пользу здоровью физическому... Злая закономерность человеческой популяции: душевно чистые люди уходят раньше – кто в запой, кто навсегда».

* * *

Но как же теперь быть нам?

Что открылось с его уходом таинственного и безбрежного, чего мы не знали при его жизни? И в нём, и в его судьбе... Ведь он был весь на виду до тех известных пределов души, куда, понятно, уже никто не допускался. М. Пришвин писал: «...поэзия... рождается в простой, безобидной и неоскорбляемой части нашей души, о существовании которой множество людей даже и не подозревает. Настоящая поэзия потому так редка и так в конце концов высоко ценится, что очень мало людей, которые решаются и умеют считать реальностью эту сторону души. Огромное большинство людей в жизни своей исходит от обиды, оскорбления или греха...»

Владимир Кудрявцев редко называл себя поэтом. Видится в этом не только его природная скромность, очевидно и явно присущая ему, но и та высокая степень защищенности от чужих посягательств как раз в те сферы, где поэзия рождалась, переливаясь потом в словесные оболочки. И сколько бы ипостасей мы не припишем ему теперь: журналист, поэт, деятель культуры, прозаик, эссеист, одна из них неизменно превыше всего – поэт!

Его имя давно вошло в русскую литературу (в её «вологодско-костромскую» ветвь), но вольно-невольно мы, его «соседи» по времени и по судьбе, скорее по

инерции всё ещё спрашивали себя: что же это за явление такое в русской поэзии – поэт Владимир Кудрявцев? И думается, что ответов-то ясных и четких найти не так легко: требуется опыт не только филологический, но и подлинное знание традиций русской поэзии, её глубинных истоков. По сложившейся практике выстраивания всяческих ранжиров, Владимира Кудрявцева числили продолжателем поэзии Александра Яшина, Николая Рубцова, Александра Романова, Сергея Чухина, Виктора Коротаева... Но согласился ли бы он безоговорочно принадлежать к этой мощной традиции, памятно сложившейся на Вологодчине в 1960-е годы?

Вся его биография, как казалось бы, только подтверждает приверженность к этой традиции.

Живу не на окраине –
На Севере Руси.
Мои в снегах проталины,
Моя на небе синь...
В каком селе – угадывай,
Живу у светлых вод.
Под домотканой радугой
У клюквенных болот...

Действительно, крестьянский сын Владимир Кудрявцев с младых лет впитал в себя дух русской сельщины, познал глубину деревенской жизни, ощущал в себе исторические корни русского общинного бытия. Это влилось в него, как говорится, с молоком матери, укреплялось воспитанием дедов и бабушек (да и всей многочисленной родни) в раннем детстве, ностальгически поддерживалось в те времена, когда после учёбы в Ленинграде он решил не возвращаться на «малую» родину, выбрав местом жительства Вологодчину.

Литературная Вологда – суровое испытание для каждого литератора, причастного волею судьбы к ней. Немногие, ох, немногие (и таланты истинные) выдержали здесь экзамен на звание русского поэта. Но Владимир Кудрявцев, по-крестьянски основательно, как бы ис-

подволь, шёл своей дорогой, намеченной как-то давно, ещё в отроческие годы, когда стали складываться первые рифмованные строчки... Его никогда не бросало в поэзии из стороны в сторону в «поисках себя» или в «экспериментах с формой стиха». Ему было чуждо и слепое подражание любым прославленным в литературе именам, хотя какие-то влияния в «ранней» поэзии при желании можно и найти.

Сегодня суть уже не в этом.

* * *

Теперь необходимо отчётливо видеть те стержневые направления в поэтическом наследии Владимира Кудрявцева, которые он сам и обозначил в названиях глав этой книги: Дом, Россия, Мир, Вселенная... Для Владимира Кудрявцева – это не просто общепринятая символика, которой пользовались многие другие русские поэты разных эпох, особенно, выходцы из крестьянского сословия. Это те тектонические круги расширения собственного мировосприятия, которые он постигал самостоятельно, по-своему определяя особенности каждого из этих многомерных понятий.

Как представляется, главным стержнем в поэзии Владимира Кудрявцева является образ Дома! Он возвращался к нему до конца своих дней, варьируя его осмысление на разных этапах своей жизни. Действительно, для него многое в судьбе началось в крестьянской избе деревни Попово Костромской области, где он сделал первые шаги и произнёс первые слова. Его память удивительным образом сохранила те начальные годы жизни, если даже через много-много лет, взявшись за прозу, он в мельчайших подробностях восстановил деревенский быт, судьбы родных людей разных поколений и своих односельчан. Из костромских мест идёт и та бесконечная любовь к русской природе, которую он так смог живописать в своих стихах, что это уже становится одним из «фирменных знаков» его поэтического наследия.

Из деревни Попово идёт и исток трагедийности его мировосприятия (и в целом-то характерный для поэтов поколения Владимира Кудрявцева), которые в «массовом порядке» покинули свои родные деревни и сёла, чтобы продолжить бытование на земле уже горожанами в первом поколении:

Нет деревни. И дом мой сожгли.
Зарастает травою дорога...

Тут стоит перечитать его поэмы, особенно, «Моё поколение», «Исход», «Конец века», чтобы понять в судьбе самого поэта и многих его сверстников всю глубину трагедии «сожжённого дома» и «потерянного пути». Эта тема позволила Владимиру Кудрявцеву подняться до высот исторического осмысления сложнейшей и противоречивой эпохи распада его изначально родной страны – Советского Союза; а потом осознать трудности обустройства страны иной – «новой» России.

Но в понятие «Дом» у Владимира Кудрявцева входила и тема развития самой русской жизни. Тут он традиционен, последовательно устойчив в поведенческих правилах земного бытования, что кто-нибудь сочтёт его за подлинного «консерватора». Как это и находим у многих «крестьянских» поэтов, в его систему ценностей человека и поэта входили семья, повседневный труд, искренняя забота о близких, ощущение кровных связей от ушедших прадедов до внуков и правнуков, истинный патриотизм, любовь к своей Отчизне... А ведь это происходило на фоне разрушения многих традиционных ценностей, которые привнесла в Россию новая эпоха возвращения частнособственнического экономического «базиса». Но:

В одной цепи сомкнулись звенья –
Распада миг и миг творенья.
В отпущенные Богом дни
Над нами властвуют они...

Это понимание сцепления многих и многих звеньев в судьбе каждого человека и всего народа (а шире – и

человечества) – тоже одна из стержневых черт его поэзии.

Истинный поэт всегда отражает своё время. Владимир Кудрявцев с первых шагов в поэзии стал выступать не как разрушитель истинных ценностей жизни, что давно примеряли и примеряют на себя многие «модные» поэты (особенно теперь – в эпоху литературного «постмодерна»), а именно как созидатель, утверждающий эти ценности в повседневную жизнь.

Кому-то, может, широка,
А нам так в самый раз.
В ней и живём ещё пока
Мы без весов – на глаз.
Кому-то, может, звук пустой,
Но возвышаюсь я,
Услышав древний – с хрипотцой
Державный звон Кремля.
Кому морозно – нам тепло
И в пору лютых стуж.
Нам и во мгле всегда светло
От светоносных душ.

Многие ли бы сегодня рискнули, например, использовать образ древнего Кремля в качестве символа России? Ответьте на этот вопрос без всяческой иронии, тогда и поймёте направление поисков поэта. В том-то и дело! А ведь это мощнейшая традиция самой высокой русской поэзии, которая никогда не растворялась в посылах узковременной «идеологии», а умела находить истоки исторического сознания русского народа, в котором, к слову, Московский Кремль был и остаётся одним из важнейших символов нашей Державы...

* * *

Владимир Кудрявцев был не только русским поэтом, но и русским человеком! Немного доводилось встречать людей, к которым оправданно можно применить слова Ф. М. Достоевского: «Стать настоящим русским, стать

вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей... а, в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»

Тема эта сложная, простым «набегом» её сейчас не разрешить, но сказать несколько слов необходимо. Близкие к Владимиру Кудрявцеву люди знают, каким сложным путём он пришёл к тому, что я, например, не рискую назвать словом «Бог», но обозначу, как «таинственные силы» (Рубцов). Попробую намекнуть на это через такую стихотворную цитату:

Какое чудо – Божий мир.
Я сам, как чудо, в мире этом!
Бегу, пока хватает сил,
Навстречу солнышку и ветру...

Тут надо обратить особое внимание на цикл стихов, датированных 2012 и 2013 годами. Дело в том, что это маленькая часть последнего поэтического замысла Владимира Кудрявцева, который в полном объёме будет опубликован позднее. Я не знаю другого такого примера, когда поэт «заставил» себя писать стихи каждый день целый год. Случилось это после первой операции, давшей, по-видимому, ответ на природу его роковой болезни.

В одном из писем ко мне Владимир Кудрявцев сознавался, что если бы не это обстоятельство, он по доброй воле никогда бы не пошёл на такие испытания поэтического воображения, но сейчас этот цикл стихов даёт многие ответы на духовные искания последних лет его жизни. Наверное, это с особой полнотой отразилось в стихотворении «Памяти Белова».

Владимир Валентинович во время отпевания великого писателя стоял, прислонившись к своду верхнего храма кафедрального собора Вологды, стоял отрешенно, будто бы не замечая ничего вокруг. Но прощался ли он в те минуты только с Василием Ивановичем, кто теперь узнает?..

Он землёю был возвышен,
И унижен был на ней.
Что ему открылось свыше
На исходе сил и дней?
Глубока ты, скорби чаша.
Мгла царит, где правил свет.
Он ушёл, не всё сказавши,
Не на всё найдя ответ.
Грешным, нам не отмолиться.
Всё больней, тесней в груди.
Он предвидел, что случится,
Знать бы нам, что впереди?..

Конечно, последний цикл Владимира Кудрявцева включает в себя разнообразные настроения, но нет там, пожалуй, только хандры или жалости к себе, что, возможно, в его состоянии могло бы быть оправданным решением творческой задачи. Зато теперь стихи последнего цикла мы воспринимаем как завещание, как его «последнее слово» о земном бытии.

Опять-таки, мало кто знает, что последние годы жизни Владимир Кудрявцев посвятил изучению творчества большинства писателей Вологодчины (а получилось по его словам несколько томов таких очерков), которые сам назвал «Колокола литературной звонницы». И когда этот итог титанического труда выйдет в полном объёме, то мы узнаем и новые грани не только поэта Владимира Кудрявцева, но и талантливого эссеиста-критика. Это же относится и его огромному эпистолярному наследию и дневникам, которые он вёл на протяжении всей творческой жизни.

Словом, нас ожидает долгая посмертная судьба большого русского поэта и прозаика Владимира Кудрявцева... К сожалению, как часто в русской литературе она оказывается намного счастливей, чем судьба прижизненная. Как сложится «новая жизнь» Владимира Валентиновича будет зависеть от всех, кто знал его в этой жизни, кто будет помнить о нём до конца дней своих.

ЮРИЙ МАКСИН

ПО БЕРЕГУ УШЕДШИХ ДНЕЙ...

Туман

Туман скрывает за окном
весь мир, в котором я живу.
И остаётся только дом,
где жизнь проходит наяву.

Где видно всё, где всё своё,
мурлычет кот, играет внук.
И на стене висит ружьё –
мой старый и надёжный друг.

Жизнь в тихом доме не страшна.
На свете много разных стран.

Максин Юрий Михайлович родился в 1954 г. в д. Плосково Череповецкого района Вологодской области. Автор ряда поэтических книг. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Публиковался в центральных и региональных изданиях. Живет в г. Устюжне Вологодской области.

А за окном гудит страна,
которую объял туман.

* * *

Однажды в зовущей метели
решил я продолжить свой путь.
А мимо машины летели
не в силах уже тормознуть.

Зачем вы спешите, родные?
Печально. Куда ни пойду,
не тройки летят удалые –
машины в угарном чаду.

Что двигало мною, не знаю.
Но что-то порвалось навек.
Наверное, в поисках рая
уходит в метель человек.

Всё дальше – от резкого света,
от шума, от всей суеты,
не зная, но чуя, что где-то
к любви не сгорели мосты.

Не надо – шальной карусели!
Метель успокоилась вдруг.
Машины, как пули, летели.
Снежинки летели, как пух...

Бабочка

Влетела бабочка. Она
была, как прежде, невесома.
Порхала в закоулках дома
и возвращалась в створ окна.

Стекло – прозрачная преграда.
С той стороны свободы свет –
ветвями машущего сада
благоухающий привет.

Зовёт к себе. И бьются крылья,
с них осыпается пыльца.
Там – след любви, здесь – след всесилья
закрывшего окно глупца.

То вверх, то вниз она скользила.
И снова – вверх, набравшись сил.
Вот так и ты, когда любила.
Вот так и я, когда любил...

Старые письма

Я старые письма
зачем-то читаю.
Над дружбой ушедшей
смеюсь и вздыхаю.

Смеюсь, понимая –
наивно мы жили.
Вздыхаю – как преданно,
нежно дружили.

И хочется вызнать,
а что – непонятно,
ведь жизнь никогда
не пойдёт на «попятный».

И знания эти,
как спетая песня.
И то, что сгорело,
увы, не воскреснет.

Я старые письма
всё дальше читаю.
Всё меньше смеюсь
и всё больше вздыхаю.

И всё неизбежнее
горечь утраты,
но сердце рванулось
за чем-то, куда-то.

Туда, где за строками
светлые даты,
забытые раны,
дороги, закаты.

Где каждый по-своему
выбрал дорогу.
По-своему – с Богом!
По-своему – к Богу!

По-разному всех
настигает расплата.
Нет писем любимой!
– Ты сжёг их когда-то...

* * *

Судьбой измятая старушка
проковыляла до угла.
Так жизни свёрнутая стружка
ещё свисает со стола...

А на углу она стояла,
смотрела проходящим вслед,
как будто бы у них искала
ушедшего манящий свет.

Как будто бы она прощалась,
молитву вечную творя.
И для креста рука поднялась,
как свечка ярая горя.

Она крестилась и крестила,
как будто закрывала дверь.
Как будто тихо уходила
ото всего, что есть теперь...

* * *

Любимые, давайте помолчим.
Вы далеко и жизнь почти прожили.
Вас мой приют не защитил от зим.
Но я любил, и вы меня любили.

И до сих пор бездомье – мой удел,
душа одна на жизненном пороге.
Любимые, я встретиться б хотел
на звёздами украшенной дороге.

Я вам скажу: «Прошу вас – к шалашу!»
Здесь будет рай, которого не знали.
И я о вас стихами расскажу.
Вы никогда их прежде не читали.

* * *

А дом остыл, нагретый жаром лета,
как будто дух покинул остов стен.
Холодный блеск стареющего света,
как блеск судьбы низринутых систем.

За ними – путь, за ними – пропасть рая,
сгоревшего, остывшего дотла.
Но рядом шла позёмкой жизнь другая,
без радостного света и тепла.

И, много лет живя в анабиозе,
очнётся вдруг, невзгоды переждя.
И не в стихах, а в самой грубой прозе
взметнёт наверх и бурю, и вождя.

И будет бунт – холодный, беспощадный,
и нежные осыплются цветы.
И будет путь кому-то безотрадный,
и по нему пойдём и я, и ты.

Другая жизнь себя ещё покажет,
когда возьмёт чужое, как своё.
И не пытайся возвратить пропажу,
когда начнётся инобытиё.

* * *

Меня не выпускает дождь
из клетки под названьем дом.
Но вижу я, как ты идёшь
по лужам за окном.

Идёшь дорожкой средь полей,
по тропке средь кустов,
по берегу ушедших дней
напротив островов.

И мочит дождь одежды ткань
и волосы твои,
и клён протягивает длань –
подай или возьми.

Куда идёшь, зачем идёшь,
покинув тёплый кров?
По крыше барабанит дождь,
как тысячи шагов.

Лоша

Александру Кошелеву

В деревню Лошу по грибы
собрался я однажды.
В ней сохранились три избы
и столько же отважных.

Не застит им глаза – уют,
комфорт – дитя прогресса.
Три дыма в небеса идут
из сумрачного леса.

Давно сровнялись здесь
с землёй
следы страны Советов,
быльём зарос колхозный строй,
ну а другого – нету.

Струится вольная вода
лесной речушки Лоши.
Она чиста, светла всегда,
как человек хороший.

И воздух первозданно чист,
так свойственно природе.
И только осень сыплет лист,
когда пора приходит.

Сюда дорога непроста –
с остатком старой гати.
Без троекратного креста
не стоит ног ломати.

Со мной корзина и пакет,
и мысли об удаче.
Со мною грустных мыслей нет,
вот после – озадачат.

В тиши заброшенных полей,
заросших деревами,
за всё воздал мне Берендей
чудесными грибами.

Согнула ноша плечи мне,
но ведь своя не тянет...
В забытой этой стороне
вдруг что-то больно ранит.

Несут свой крест три мужика,
уйдя от всех навеки.
А жизнь лесная нелегка,
не звери – человеки.

Здесь летом – комариный рай.
Зима – заносит тропы.
И не заманит древний край
пришельцев из Европы.

Наверно, надо было так,
за всё – своя награда.
Коль жизнь, как ломаный пятак,–
её чужим не надо.

Чтоб образумить грешных нас
в смертельном хороводе,
деревня Лоша про запас
ещё живёт в народе...

* * *

В маленьком-маленьком гнёздышке
крохотный птенчик живёт.
В этом же маленьком гнёздышке
птаха поёт и поёт.

Ветки от ветра качаются,
птенчику страшно порой.

Песенка матери мается
над золотой головой.

Маленький домик – над бездною.
Что его держит над ней?
Солнышко – силой небесною,
дерево – силой корней.

Волчья, а может быть, львиная
скалится пропасти пасть.
Жизнь – не такая уж длинная,
с песенкой может пропасть.

Маленький домик – пустеющий.
Время приходит, и вот –
птенчик, над бездною реющий,
песню поёт и поёт.

СЕРГЕЙ БАГРОВ

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ...

ОЖИДАЮЩИЕ ГЛАЗА

О Викторе Коротаеве

Вот уже более двадцати лет, как нет с нами Виктора Вениаминовича Коротаева. Поэтический бум 60-х годов минувшего века охватил все города страны. В том числе и нашу уютную Вологду. Это было златое время таких поэтов, как Евтушенко и Вознесенский, Рождественский, Викулов и Орлов. Рубцов даже в Вологде был тогда еле слышен. Куда его громче были Чулков, Романов и Коротаев. Виктор Вениаминович Коротаев воистину был кумиром у вологжан. Поэт брал

Багров Сергей Петрович родился в 1936 году в Тотьме Вологодской области. Окончил Пермский государственный университет. Автор более двадцати книг прозы, вышедших в разных издательствах страны. Лауреат Всероссийской премии им. Н. М. Рубцова «Звезда полей». Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

лихой напористостью стихов, в которых звенела удаль и бесшабашность. В то же время стихи его отмечали походку страны. В них были главные повороты и норы жизненных проявлений, где зло и добро устроили поединок, и хотелось понять, кто из них победит. Первые книжки поэта шли в народ с горячим успехом. Встречи в домах культуры, в библиотеках, в строгих партийных залах, в школах, техникумах и вузах. Всё шло лихо и интересно. Коротаева нарасхват приглашали туда, где шли азартные споры, где ожидающие глаза, где человеку хотелось почувствовать живость слова, и как это слово может вызвать в груди щемящий переполох. Всем слоям населения Вологды был Коротаев угоден. Его обожали и молодые и старые. Даже партаппаратчики испытывали к поэту повышенный интерес. Были, конечно, и те, кто Виктора не любил. Пускался в ход пошлый слух, мол, Коротаев везде любимчик. В любой кабинет обкома войдет, открывая высокую дверь не рукой, а ногой. Ногой – сильно сказано. Но то, что поэт появлялся в любых кабинетах, будь они, хоть того значительнее и выше, так в этом нет ничего и плохого.

Так всё и было. И делал это поэт не в личных целях с тем, чтоб чего-то выпросить для себя, а исключительно лишь для дела. Коротаев многие годы руководил Вологодской писательской организацией. Для неё он собственно и старался. Для неё и к высоким боссам вынужден был время от времени заходить. И его там, вверху, в большинстве своём правильно понимали. Помогали кому-то из юных талантов с работой, жильём, с переездом в Вологду из района. Так, благодаря содействию Коротаева, хождению его по инстанциям переехал из Грязовца в Вологду замечательный лирик Сережа Чухин. Или приехала из Сибири в Вологду очеркистка Людмила Славолюбова. Приехала посмотреть: понравится ли ей наша Вологда? Посмотрела. Понравилась. Здесь и осталась, заполучив в центре города привлекательную квартиру. С той же целью приехал к нам из Перми Виктор Петрович

Астафьев. Тоже хотел понять: уживется ли он здесь с вологодским писательским коллективом? Понял, что уживется. Потому вместе с женой, тоже писательницей Марией Корякиной, здесь и обосновался. Уговаривать, убеждать, защищать хорошего человека, сделать что-то доброе для него – это было у Виктора Вениаминовича в крови. Удивляла энергия, с какой поэт успевал справляться со всеми делами, оставляя время и для стихов, которые мог писать где угодно, даже на улице, когда шел из дома в писательскую контору или когда сидел на каком-нибудь скучном собрании, в конце которого мог сам себя же и похвалить: «Успел! Спасибо тем, кто наводит здесь скуку. Стихотворение, кажется, получилось!»

В своё время мысленно я Коротаева сравнивал с Цицероном. Благо не раз и не два был свидетелем того, как Виктор Вениаминович одновременно мог вести пять, а то и шесть дел. С кем-то разговаривал по телефону, кому-то пожимал бодро руку, время от времени взглядывал на свежее стихотворение, которое только что принес ни в чем не уверенный юный лирик, и даже кивком головы послать бессменную секретаршу Елизавету вниз к горкомовскому вахтеру, чтобы та принесла сюда почту. Поэт, хозяйственник, администратор, шутник, душка-руководитель – сколько качеств в одном человеке! И в каждом качестве был Коротаев не превзойдён. Удивительно, когда и как к делам поэтическим он мог добавить еще и прозу. Успев и тут проявить себя как занимательный беллетрист, выпустив повествование про убийцу Николая Рубцова «Козырная дама» и сборник рассказов «Стояли две сосны». Многие писатели в 90-е годы, когда пошла гулять по стране рыночная стихия, оказались застигнутыми врасплох. Коротаев, один из немногих, не растерялся. Совместно с рыночными партнёрами открыл издательство по выпуску книг и брошюр. И в помощь к себе привлек оставшихся не у дел вологодских прозаиков и поэтов. Благодаря чему появилось ряд свежих изданий. В их

числе и роман-газета на вологодском материале, а также двухтомник Николая Рубцова с наиболее полным выпуском его стихов, а также рассказов о нем и поэтических посвящений. Виктор Коротаев! Как много о нем уже сказано! Как много о нём еще скажут. Человек-душа. Человек-забота. Весельчак. Наконец, заботливый семьянин. Как он любил жену свою Веру! Своих детей Оленьку с Сашей! Хоть и не часто, но иногда я бывал у него в семье. И всегда ощущал себя здесь своим у своих. Здесь всегда царила атмосфера великодушия, простоты и доверительности друг к другу. Но однажды не стало хозяина. Не представляю, как Вера с сыном и дочерью это перенесли.

Весь внешний вид поэта, привлекательное лицо с оливковыми глазами, цыганская борода, просторная грудь, крупные пальцы рук, к которым никак не подходила ни ручка, ни карандаш, которыми он написал целое море стихотворений, всё, казалось бы, предназначено было для долгой, большой и уверенной жизни. И вдруг эта глупая смерть. Смерть в разгаре творческих созиданий, когда создавались новые вирши, выходили новые книги, строились планы. Виктор Вениаминович приехал только что из Москвы. Довольный и радостный оттого, что дела издательские пойдут сейчас круто вверх. Потому и бокал вина выпит был за будущие победы. Кто бы мог знать, что в бокале этом подстерегала поэта смерть. Умер Виктор Вениаминович, может, и сам не поверив в собственную кончину. Был вместе с нами и вот ушел к своим стародавним друзьям. К Николаю Рубцову. К Сереже Чухину. А через две недели будет в этой компании и Леня Беляев. Все они, перлы русской литературы, ушли в поэтический рай с божественными стихами. Все они могли бы и задержаться на этом свете. Но судьба повернула их в страшную сторону, где ставилась ставка на жизнь.

Потому теперь они и не с нами. С нами только их ореол. Он, как памятник в сонном мире, посылающий нам оттуда неувядающие стихи. Большую память оста-

вил о себе Виктор Вениаминович. Она не только в его стихах и книгах, в его многочисленных выступлениях. Она и в хоре наших воспоминаний. И в детях его, уже повзрослевших Оле и Саше. Замечательно то, что Александр выбрал дорогу отца. Пишет стихи. Исключительно самостоятельные, ни в чем не повторяющие творения своего отца. Виктор Коротаев не просто поэт размашистый и многоцветный, он еще и поэт наступающий, в прямом смысле этого слова, умеющий захватить большую территорию России, заполнив ее вологодским дыханием, которое шло и идет от наших полей, лугов, деревенских избушек и городов. Там именно и могли родиться его энергичные рифмы, прославляющие мир, родину и любовь.

Прекрасно однажды в России родиться
Под утренний звон золотого овса...

Кто ему мог подсказать это равнинно-русское, светло-великое, свято-земное очарование? Спрашиваю себя до сих пор.

В ЛЕСНОЙ ТИШИНЕ

О Василии Белове

Приезд писателей в Тотьму был для нас, точно праздник. Об их приезде мы чаще всего не знали. Однако встречали их так, как если бы знали. Особенность всех тотьмичей в том, пожалуй, и заключалась, что самым любимым их местом в летнюю пору, где чаще всего они собирались, была вечерняя пристань, к которой причаливал плывший из Вологды пароход. Сюда, к пароходу, любил приходить и Вася Елесин. Я тоже редко когда пропускал его разворот, с каким он сближался берегом Тотьмы, пестревшим от множества кепок, косынок, вихрастых голов, загорелых затылков, машущих рук, платочков и шляпок. Так был встречен однажды Сергей Васильевич Викулов, самый яркий певец советской деревни.

На той же пристани встретили мы и Василия Ивановича Белова, автора только что вышедшей книги «Знойное лето». Белов прихрамывал, и лицо его было угрюмым. Мы поняли: что-то случилось на пароходе. Белов открылся:

– Ссора была. С пижонами. Из-за песни. Они пели какую-то красивую чепуху. А я потребовал нашу, русскую. И даже запел. И вот они на меня. Всей стаей... Не буду об этом и говорить. Противно. Сейчас бы мне, эх, настоящей лесной тишины. Может, подскажете: где она тут?

Мы рассмеялись:

– Где же, как не в лесу!

Белов улыбнулся:

– Что мне и надо!

Сказано – сделано. Переплыв на пароме через реку, мы оказались на том берегу, где была проселочная дорога, которая нас и вывела в Красный бор, одно из красивейших мест в окрестностях Тотьмы. День был чудесный. Мы с Елесиным приставали к Белову, чтобы он открыл нам, как это так у него в рассказах выходит соединение того, что случается в жизни сейчас, с тем, что было в ней, и что будет. Белов поморщился:

– У вас и вопросы... Как у литературных светил. Вы это... выбросьте лучше из головы. Когда захочешь писать – запишется само. И о том, что вчера, и о том, что потом. И без всяких соединений.

Мы даже немного смешались:

– А как же нам быть?

– Никак. Просто жить! – ответил Белов и, выбросив руку вперед, спросил, как потребовал:

– Что вы там видите?

– Сухону.

– А там? – рука Белова вскинулась вверх.

– Облака.

Опишите их состояние. По-настоящему опишите. Это и будет литература. Право, около нас и над нами, было всё так обычно, в то же время и необычно. Боль-

шая река. А над ней? Уплывали одни облака. Приплывали другие, точь-в-точь строители, образуя на карте небес белопёрое государство. Так, наверное, и душа, сливаясь с душой, образуют счастливую территорию, где, подобно всполоху над рекой, торжествует развернутое сиянье.

Уехал в Великий Устюг Белов через сутки. А мы, как и раньше с Васей Елесиным, вновь и вновь выходили к вечернему пароходу. Ждали счастливого продолжения. Как в Викулове, так и в Белове видели мы творцов огромной величины, умевших вздымать человеческий дух могуществом слова и слога. Одним словом, учились у них. И у них, и у классиков русской литературы, и у тех, кого мы искали, отправляясь в поездки по сплавучасткам, лесным поселкам и хуторкам, где всегда находили хранителей русского языка, чья богатая речь была, как книга, которую читаешь, читаешь, читаешь, зная о том, что она не закончится никогда.

СТОЯНИЕ

Об Иване Полуянове

Иван Дмитриевич Полуянов – личность незаурядная. Где он только себя не явил! В уютных залах библиотек, древнерусских архивах, на берегах почти всех вологодских рек, болот и озёр, в загадочных, пахнущих хвоей глухих сузёмах и на тех бесконечных просёлках и тропах, которыми нужно идти и идти, никуда не придя, чтоб опять и опять продолжить свою дорогу. Дорогу не только писателя, но и ночлежника у костра, и художника, и открывателя всех живущих существ на свете, включая зверя, птицу и человека. Человека не всякого, а того, кто с богатым внутренним миром, чья натура таит притягательную загадку. Добираться до самой сути. Во всём. Чтоб вопросы в ищущей голове обрастали ответами, которые были бы всем понятны. Только лишь после этого Полуянов садился за стол

и писал своим трудночитаемым почерком очередную страницу повествования. Чаще всего такая пора для него наступала глухой поздней осенью по отъезду на «Москвиче» из деревни Мартыновской в город. Деревня Мартыновская, где жил Полуянов летами, в ста километрах от Вологды. Она тиха, малолюдна и очень красива. Особенно в майскую пору, когда друг за другом по очереди расцветают черёмухи, яблони, боярышники и сливы, вытягивая свои пахучие ветви из палисадников на дорогу, и каждого, кто по ней шел и идет, спешат погладить по голове.

Иван Дмитриевич чувствовал себя здесь всегда хорошо. Где-то рядом с его пятистенком соседствовали дома поэта Юрия Макарьевича Леднева и очеркистки Людмилы Дмитриевны Славолюбовой. Я тоже жил в трёх километрах от их деревни, и мы порою встречались друг с другом. У всех у нас были усадебные участки, и мы выращивали на них овощи, ягодники и даже понравившиеся нам кусты и деревья, которыми с нами делился соседний лес.

Иван Дмитриевич, хоть нас особо и не учил, но опыт свой, опыт бывалого лесовода и огородника передавал с удовольствием. Гордился тем, например, что у него в огороде раньше всех расцветает картошка, не в августе, как обычно, а в самом начале июля. Почему? На заданный нами вопрос он отвечал:

– В конце апреля приезжаю из Вологды. Топлю печь. Ставлю на неё пару корзин семенной картошки, окропляю её водой и уезжаю назад. Приезжаю спустя две недели. Моя картошка вся обросла ростками. Они-то мне и дают преждевременный урожай. Вы тоже попробуйте. Не пожалеете.

Пробовал, знаю, Юрий Макарович. Я тоже пробовал. И местные жители, само собой. И у всех у нас всё выходило так, как подсказывал Полуянов. Поспевшие молодые клубни шли на наш обеденный стол не в начале осени, а в июле. Жил Иван Дмитриевич в больших деревянных хоромах. Пятистенок старинной

рубки. Комнат не счесть. Хотя обитали в них только трое – сам Полуянов, его постоянно прихварывавшая супруга и дочь.

Как-то Иван Дмитриевич познакомил меня со своим кабинетом. Был солнечный день. И просторная горница на втором этаже, куда мы вошли, была притушённой, как в сумерках, от того, что в окно пробирались ветвями сразу несколько крупных деревьев. Иван Дмитриевич улыбнулся:

– Здесь всегда у меня тихий вечер. Не отвлекают ни воробьи, ни синицы. Они любят свет. А тут его мало. Для писца это самое то...

Полюбопытствовал я:

– «Самозванцы», наверное, здесь и рождались?

– О-о! Шёл я к ним, наверное, всю свою жизнь. Что-то писал и здесь. Но большинство страниц одолел всё же в Вологде. Здесь меня отвлекает природа. Зовёт к себе и зовёт. И я ухожу. То ли с удочкой на реку. То ли с фотоаппаратом. Люблю снимать птичьи свадьбы. Это такие рулады, такие страсти! У нас тут чаще всего женихуются чайки. Иногда ухожу туда, не знаю куда. С простыми руками. Побыть один на один с облаками. Они, как столетия, движутся надо мной. И в них я вижу то, что потом читатель увидит в книге.

В огороде Ивана Дмитриевича среди сирени была заси́дка, из которой он наблюдал прилёты с отлётами всех боровых, луговых и болотных птиц. Не пропускал и стаи ворон, выгоняющих из деревни залетевшую ослепа серую выпь. Сценки воздушной схватки рождались у него на глазах едва ли не ежедневно. Природа манила писателя сегодня на крохотный ручеёк, который тёк, тёк, и вдруг пересох, потому что где-то вверху перегородили его жёлторотые жабы. Завтра надо сгулять на ягодное болото: высыпало на глади столько морошки, что собирать её можно аж соломенной шляпой. Послезавтра – к сказочным вы́скорням среди ёлок, в которых была у медведицы лёжка, и летом можно увидеть её с двумя медвежатами около гари, где рос вперемешку с кипреем глухой малинник.

И всё-таки чаще всего навещал Иван Дмитриевич красавицу-Кубину, голубая вода которой играет в любую погоду, а в солнечный вечер она похожа на проплывающих в ней верховых окуней. Полуянов рассказывал:

– Там у нас, под горой, за гороховым полем, ёлки смотрятся с берега в воду. Иногда, чуть стемнеет, наблюдаю за чёртом в очках.

Не верится мне:

– Неужели чёртом?

– Филином, надо думать. Крупноголовым, глазастым, с поднятыми ушами. Уши его слышат всё, даже то, как стучит у меня от волнения сердце. У него в этих ёлках гнездо. Недоступно ни для кого. Вот я и стараюсь его как-то подкараулить... Природа вошла в душу писателя навсегда. И родился-то Полуянов, можно сказать, в самом сердце диких лесов. Деревенька Семейные Ложки со всех сторон окружена переспелыми елями. Рядом бежит по камням речка-резвунья по имени Городишня. Кругом цветы, ягодные поляны. По вечерам слышен лай лисят и лисы. Древними сказками подвывают расшумевшиеся деревья. И месяц вверху огромен и страшен, как глаз зависшего в небе ночного гостя.

Из Семейных Лужков семья Полуяновых переехала в дальний Архангельск. В семье подрастало два сына. Оба мечтали, хотя б на денёк оказаться в Лужках. И что же. Едва вступили в юные годы, так и исполнили эту мечту. Поплыли в родительский дом на большом белопалубном пароходе. И так каждый год. Случилось, однако, сухое лето. Пересохла даже Северная Двина, и пароходы по ней уже не ходили. Старший брат был настойчив и смел. Заявил молоденькому Ванюше:

– Ты, как хочешь, а я всё равно поплыву!

– И я поплыву! – ответил Ванюша.

Для чего из бросовых бревен соорудили плавучий плот, и – вперёд, воображая себя пловцами. 160 километров. Хотя и с трудом, но всё же, преодолели. Хвойная мгла тайги. Суровые очи озёр. Ночная рыбалка. Поход в полевой городок, где такой крупный храм, что,

казалось, стоит он не на земле, а плавает в небе. И заявляет с гордостью о себе: «Приходите ещё! Я здесь буду всегда!»

Последнее посещение Городишни было у Вани прощальным. Храма не было на горе. Вместо него в беспорядке раздробленных кирпичей рдело кровавое возвышение. Святыню превратили в кирпичи. Уходил отсюда молоденький Полуянов, ощущая спиной взгляд усталого пилигрима, который сюда приходил помолиться. И вот вместо светлой молитвы бросал в тусклый воздух беспомощные слова: «Как же быть-то тепере? Как же?..»

Наступил 1941-й. Война. Семья Полуяновых поредела. Сначала ушел на войну отец, а потом старший брат. Иван Дмитриевич был ещё недоро́стком, и рос, казалось бы, для того, чтоб и ему отправиться на войну. Что и случилось. Уехал последний в семье мужчина туда, где калечат и убивают. Воевал пехотным бойцом. Отстаивал родину. Во имя будущей тишины и возможности жить, как живут все достойные люди. После войны Полуянов работал в библиотеке. Одновременно живописал, пробуя силы свои в художественных набросках, создавая кистью портреты знакомых людей и пейзажные зарисовки. И ещё, как мёдом, притягивала к себе русская литература, в которой так много было ещё не сказано, не выверено душой, не раскрыто щемящего и святого. А почему бы ему самому не нырнуть в это лоно? И вот написал Полуянов первый рассказ. Потом и второй. И третий. А там и со счёту сбился. Предложил рассказы в издательство. Взяли. И в том же году напечатали книжкой. С того и пошло. В Вологду Иван Дмитриевич переехал в 1961 году, уже будучи членом Союза писателей СССР. Здесь написал он более 30 книг. Многие из них эпохальны. Охватывают картины жизни российского государства, начиная с Присухонья и московского центра Руси. Ведет писатель нас за собой со времён языческого распада. Через княжение первых русских князей. Через судьбы величественных мужей, таких как воины-защитники Александр Невский,

Даниил Московский, Дмитрий Донской. Или молитвенники Сергей Радонежский и Дмитрий Прилуцкий. Через служение Руси Ивана Калиты, обоих Иванов Грозных. Через Минина и Пожарского и всех тех, при ком стране угрожало нашествие крымчаков, ливонцев, поляков и многих других завоевателей, кому не терпелось стать хозяевами Руси. Ведёт непременно к дням спокойным и тихим, которые были нужны, чтоб оправиться от ран и страданий и зажить, наконец, как живут все православные на земле. Многое в нашей истории, отмечает писатель, осталось в забвении. Совершенно не освещены кровавые годы владения казанскими татарами наших северных территорий, где шло повседневное умерщвление населения, продажа его в рабство. Годы, когда процветали пытки, пожары и грабежи, понёсшие за собой гибель миллионов людей. Отсюда и миссия Иоанна 4-го понятна в основном лишь с завоевательной стороны. Тогда как Иоанн Грозный был в глазах не только московской верхушки, но и всех людей Московии вместе с Устюгом, Тотьмой и Вологдой воином-освободителем, справедливым заступником, кто покончил с разбойничьими притязаниями Казани, дав возможность всем северянам возродить испепелённые нелюдями сёла и города.

«Месяцеслов», «Деревенские святцы» – это тысячелетняя летопись народной жизни России. О, как много бы надо об этом сказать.

«Самозванцы» – это не только Средневековье, но и нынешний день, где главными героями являются все сословия страны. Прежде всего, доблестные бойцы, граждане-патриоты, государственные мужи, а вместе с ними скрытые и открытые отморозки, развратители, предатели, жулики, сексоты и палачи. День минувший перемешался с сегодняшним. Не поймёшь, который из них и страшнее. Впечатляют и очерковые откровения. Малознакомые читателю «Древности Присухонья» знакомят нас с бытом, ремеслами и культурой живущего по берегам Сухоны населения, которому на протяжении

сотен лет приходилось одновременно со скотоводством и хлебопашеством заниматься обороной своих жилищ. Городишня, Нюксеница, Брусенец, Берёзовая Слободка, Великий Двор, Веселуха, Святица, Уфтюга... Всё и не перечислишь. Городки и селенья эти стояли возле главной дороги Севера, соединявшей Вологду и Архангельск. Здесь на протяжении многих столетий шли торговые пути. Летом по Сухоне и Северной Двине. Зимой по снежным дорогам, что пролегли вдоль этих рек. Кого здесь только не разглядишь! Крестьяне с сохами. Тянущие вверх по реке купеческие суда согнувшиеся ярыги. Ямщики, погоняющие саврасок. Воеводы с боярами. Тать ночная. Колонна колодников. Окружённый оруженосцами батюшка-царь. Жизнь кипела.

Однако за эту жизнь приходилось ещё постоять. Свищут стрелы, гремит пальба. Шумят мужицкие сходки, что опять выше леса подати поднялись. Неси их, плати! Надо б и дать. Да откуда их взять? К тому же ещё по большой дороге поднялась пыль до самых небес. Кого ещё там несёт? Готовься к отпору. Одна из последних работ Полуянова «Детские лики икон». И здесь – история разновеликой Руси.

1015-й год. Скончался великий князь Владимир – Креститель. И старший из двенадцати его сыновей, Святополк, алчный, нелюдимый властолюбец, задумал уничтожить родных братьев и тем укрепить захваченный им престол.

Борис с войском возвращался из похода на печенегов. Чуть брезжило, под образами горели свечи – священник служил заутреню, когда в шатёр ворвались бояре Святополка. Пронзённый копьями, князь упал у алтаря. Оруженосец его Георгий Угрин собою прикрыл раненого и был сражён на месте. Шею его украшала золотая гривна – дар Бориса любимцу. Чтобы завладеть сокровищем, злодеи обезглавили мертвого отрока.

Самого юного из братьев, Глеба, по приказу бояр зарезал собственный повар кухонным ножом.

– Суди тебе Господь, брате-враже Святополче, покаяться, дабы душу спасти! – простонал мальчик и захлебнулся кровью.

Братья-мученики смогли бы защитить себя, но отказались обнажить оружие – младшие против старшего, сознательно предпочтя смерть вспышке губительной междоусобицы. Дан был им дар смирения, провидчески проницали они грядущее, как бы предчувствуя удельную раздроблённость, зловещая заря которой занималась над Русью.

Знаменьем свыше – к единению Руси – восприняли современники события 1015 года. Борис и Глеб, с ними оруженосец Георгий, были причислены к лику святых.

Вот откуда пошли на Русь первые иконы с ликами не обнаживших мечи подростков, подлинных героев своей страны.

Спасибо, Иван Дмитриевич, и за эту горькую страницу, которую ты посвятил истинным сынам многострадальной Руси.

ПОДАРОК

О Юрии Ледневе

Откуда черпал свою энергию добродушный, улыбающийся в усы, не умеющий обижаться и обижать Юрий Макарович Леднев? Полагаю, что поведением его руководило засевшее где-то в глубинах его организма расторопное, ко всему имевшее интерес, неутолимое любопытство. Не случайно среди сотрудников ТАСС он был самым добычливым. Умел добывать информацию из всех сфер хозяйственной, политической и культурной жизни страны. В более позднем возрасте, когда главным делом жизни его стала литература, очень хотелось ему постичь пределы своих возможностей в области художественных откровений. Где и в чем он крупнее проявит себя? Отсюда и многие опыты. То мы читаем Юрия Макаровича, как публициста и очеркиста, то, как лирика, то, как сказочника и фантаста.

Юрий Макарович любил аудиторию, проявляя себя перед ней одновременно поэтом, артистом и публицистом. С поэтическими выступлениями он изъездил всю Вологодскую область. На поэтических вечерах выделялся не только тем, что мастерски читал свои стихотворения, но и рассказывал к случаю о том, что хотела бы от него услышать аудитория. При этом Юрий Макарович перевоплощался в того, о ком вел рассказ. А рассказывал он в первую очередь о своих друзьях и товарищах, о вологодских прозаиках и поэтах. Ему внимали и потому, что у него был хорошо поставленный баритоновый голос. И потому, что был за спиной богатейший житейский опыт, тысячи встреч с людьми незаурядными, будь то писатель с мировым именем, популярный композитор, милиционер-сысковик, и тот бесстрашный его знакомец, в жизни которого было нечто такое, о чем вслух обычно не говорят. Он всегда умел угадывать общее настроение и, поддавшись ему, уводить людей в ту атмосферу, к которой они только-только еще прикоснулись, а он уже в ней побывал, и вот ее с большим удовольствием раскрывает.

Писать стихи Юрий Макарович начал, будучи учащимся Макарьевского педучилища. Первыми его читателями стали жители его родного города Макарьево-на-Унже. После службы в армии он стал учиться в Литинституте. Здесь на его стихи обратил внимание писатель-вологжанин Валерий Дементьев. Он, можно сказать, и благословил Юрия Леднева на большую поэтическую дорогу. Поверил в Юрия Леднева и широко известный в стране поэт Сергей Городецкий, рекомендовав дипломную работу выпускника Литинститута для коллективного сборника. Опубликованные в сборнике стихи стали вскоре первой самостоятельной книжкой поэта. Юрий Леднев – поэт широкомасштабный. Во многих его стихотворениях звучит тема ответственности человека, обитающего на земле. Достоин ли быть ты сыном родного отечества?

Россия!
Ты прощала тех,
кто в трудный час с тобой расстался,
кто возвращался,
кто метался,
и тех, кто за морем остался,
не отыскав возвратных вех.
Россия!
Человек любой
Перед тобой снять должен шляпу.
Навеки прощены тобой
Алехин, Бунин и Шаляпин.
Но можно ли простить тому,
кто, спекулируя талантом,
всю жизнь провел в родном дому,
а был душою эмигрантом?

Даже лирика может ставить вопросы, направляя их прямо к сердцу, читающего стихи. Поэт на них может и не ответить, но тех, кто читает его, вдохновит на мужественный ответ сквозь раздумья о совести, родине и запомнившемся поступке. По натуре своей был Юрий Леднев романтиком. Купленный им в деревне Мартыновской двухэтажный красивый дом стал для него орлиным гнездом, откуда он мог, как высокая птица, лететь туда, куда позовет, волнуясь, душа. Знаю не понаслышке: многие из поэтов, живущие летами в понравившихся им деревнях, далеко не всегда умеют засесть за творческий стол. Мешает природа с ее деревьями, огородом, травой, птицами, дождиками, ветрами. А вот Ледневу она не мешала. Он писал. И стихи. И прозу. Принимал и гостей. И с Иваном Дмитриевичем Полуяновым, классиком русской литературы, жившем тоже в Мартыновской, часто общался, постоянно играя с ним, если не в шахматы, то в картишки. Природа Леднева возбуждала. Живя у себя в деревне, в часе ходьбы от Мартыновской, я иногда навещал знакомый мне пятистенок. Просто так навещал. Или с тем, чтоб сходить вместе с Ледневым за морошкой, благо ягодный

лес с болотом был от дома его в каких-нибудь пяти километрах. Чаще всего хозяева были не в доме, а в огороде. Огород небольшой, но красиво ухоженный, с морем цветов, урожайными овощами. Надежду Сергеевну Ледневу заставал все время где-нибудь в борозде, воюющей с сорняками. И Юрий Макарович был где-то около, но в тени, с блокнотом и авторучкой и с белой кепкой на голове.

– На ком держится огород? – спрашиваю обоих.

Надежда Сергеевна машет на мужа ладошкой:

– У Юры сегодня лирическая разминка!

– А у Нади,– Леднев спускает с усов на бороду медленную улыбку,– автоматическая прополка...

Так, подтрунивая, любя друг друга, каждый, зная свое привычное дело, и жили они летами в расположенной на холме красивой русской деревне.

Деревенские мужики были к Ледневу благосклонны, в то же время знали предел, за какой заходить даже поэту не позволяли. Юрий Макарович свои чувства, какие охватывали его в минуты подъема души и духа, не прятал, считая, что лучше их проявлять не словами, а делом. Недалеко от Мартыновской, там, где плескался листвой березник, он однажды и сделал супруге подарок. Обнаружил поляну. И на эту поляну стал носить тяжелые камни, складывая из них два дорогих ему слова. Камни были не близко и не везде. Поэтому он носил их за несколько сотен метров. Трудился, ни много, ни мало, четыре дня. В конце концов, состоялась укладка из метровой величины каменных букв: «Надина поляна». Такая подпись кое-кого из местных жителей возмутила. Поэт, мол, захапал себе поляну. Да как он так мог? Еще и кличку ей дал? Поляна должна оставаться поляной! Ничья была, так ничьей и будь! Камни были разбросаны. Юрий Макарович, хоть и расстроился, но не сдался. Снова вывел каменные слова: «Надина поляна». Раза четыре перекладывал Юрий Макарович камни. Мужики, наконец, смекнули, что Леднев из тех, кто не бросит свою затею. Махнули рукой и не

стали больше тревожить надпись. Так и остались два этих слова среди поляны. И сейчас они там. Два слова, в которых верность мужчины к женщине выложена камнями.

Верность к жене, нежные чувства к детям и внукам – все это было с Ледневым постоянно. Старшая внучка Катя однажды на уроке пения в школе, когда разучивали песню про хоровод и елочку, вдруг встала с места и на весь класс:

– А эту песню написал мой дедушка!

Учительница не поверила. Сказала девочке очень строго:

– Катя, ты вруша! Эту песню поют на весь Советский Союз! Поют по радио! На концертах! Даже возле Кремлевской елки поют! Не может такого быть, что написал ее твой дед!

Катя пришла домой со слезами. Пожаловалась дедушке на то, что учительница обозвала ее врушей.

Юрий Макарович успокоил внучку, вздохнув:

– Я, кажется, Катя, не бюрократ. Но если иначе нельзя? Что ж. Позову на помощь перо и бумагу.

Сел за стол и написал справку на имя учительницы пения в Катину школу, сообщив в ней о том, что он, Юрий Макарович Леднев, действительно является автором новогодней песни. Если учительница сомневается в этом, то пусть позвонит в Союз советских композиторов...

Катя унесла эту справку в школу. Передала учительнице. Та, прочитав её, удивилась настолько сильно, что попросила у Кати дневник и тут же красными чернилами вывела в нем по пению красивую и жирную отметку 5. Юрий Макарович многого не успел написать. И сохранить не успел. Целый сборник подготовленных к изданию новых стихотворений, а вместе с ним богатейшую библиотеку, переписку с друзьями, имущество, мебель, весь двухэтажный дом однажды в осеннюю пору объяло огнем. Сидел бы Юрий Макарович дома, пожара, наверно бы, не случилось. Но он истопил в

доме печь, закрыл ее и ушел через дом к соседу сыграть с ним в шахматы. От печки ли загорелся дом? От короткого ли замыкания? Сейчас не узнать. Да и зачем узнавать. Юрий Макарович виду не подавал, что он в горьком трансе. Держался. Приехав с пожара в Вологду, по-прежнему посещал городские школы, куда его приглашали. Пригласили однажды и в школу № 15. Читал свои замечательные стихи. О Вологде. О Петре Великом. О звонаре. О надежном и верном ему человеке, зовут которого Надя.

Читал. И вдруг перестал читать. Почувствовал сердце. Оно от него отлетало, как птица, оставив его среди онемевшего зала. Он думал, что это секундная слабость. Секунда пройдет. И оно к нему возвратится. Не возвратилось...

ЖИЛ КОГДА-ТО ПАРЕНЬ НА РУСИ

О Николае Дружининском

И в жизни, и в поэзии Коля Дружининский постоянно пересекался с двумя мирами. Земная обитель была для него квартирой, в которой готовятся к пребыванию в многовечном. Многовечное для поэта – та же самая жизнь со всеми земными думами и страстями, только она помечена тайной незнания, которую хочется разгадать. Чувство потери близкого человека проходит сквозь многие строки его стихов. Поэт скорбит, что нет у него больше бабушки, не успевшей доткать последний свой половик. Нет и Апполинарии Федоровны, его мамы, отчего в стенах дома стало не по-земному холодно и безмолвно.

Уходят из жизни люди. Уход их отзывается в сердце поэта глубоким переживанием. «А морозные окна светят мне – из далёкого мира». В том «далеком» не только те, кого Дружининский знал, но и те, с кем ему свидеться не пришлось, потому что жили они еще до того, как родиться поэту. «Жил когда-то парень на Руси великой – воин и работник, мой веселый дед».

Говоря о деде, говорит Дружининский и о себе. Писатели-вологжане помнят Колю, как человека артельного, быстрого на подъем, готового собраться в путь-дорогу без подготовки, чтоб переехать из Вологды в Череповец, Грязовец, Тотьму – куда угодно, где он сегодня нужен, и где его ждут. А ждали его и школьники, и студенты, и служащие контор, и рабочие леспромхозов, и жители деревень. И все они воспринимали его выступления не столько умом, сколько сердцем. Держался Коля перед народом просто и скромно, застенчивая улыбка обнимала его лицо. И брал не силой голоса своего, а щемящей душевностью, смыслом, скрывающимся в стихах, верой в жизнь, которая побеждает. Слушали его по-домашнему, словно и не поэт возвышался на сцене, а кто-то свой в доску, привычный, кого можно даже взять и похлопать дружески по плечу. Иногда выступал он с гармошкой или баяном. Пел песни на собственные стихи. Пел и народные. И на стихи Есенина, Кванина, Чухина и Рубцова. Но, пожалуй, самое сильное впечатление оставлял о себе поэт, когда поэтический вечер переходил из зала на вольный воздух. Здесь, в кругу молодежи, на берегу ли реки, на деревенской ли улице, на лесной ли поляне, он был воистину первым весельчаком, душой острословов и вольнолюбцев. Однажды, навещая Тотьму, от племянника своего Игоря Баранова я услышал:

– У нас тут Коля Дружининский был. С баяном. Нас было много. Мы все его полюбили. Такая распахнутость! Такая русская неудержность! Наверно, таких людей нам больше уже и не встретить...

И у Коли осталась память о Тотьме. Не случайно сказал он о ней, как может сказать сын своей родины своему народу:

Город Тотьма. Тополя, угоры
Да церквушки крестик вдалеке.
Я приеду, может, очень скоро –
На «Заре» по Сухоне-реке.
Разбредутся тучи на рассвете

И растают на исходе дня.
Здесь меня по-доброму приветят.
Встретят здесь по-доброму меня.
Мы уедем с песнями, с баяном
К речке Еденьге, на бережок,
Где над бором в мареве туманном
Ястреб что-то молча стережет.
Он кружит пообочь, не над нами.
Он молчит, он что-то бережет...
И под звуки вальса «Над волнами»
Сядем мы в траву, на бережок.
И пойдут старинные рассказы
Про поездки тотемских купцов.
А потом мы все замолкнем разом,
Не найдя каких-то верных слов.
Может быть, единственного слова,
Чтоб душа вдруг вспыхнула – чиста!
Тотьма – это молодость Рубцова,
Больше чем понятие «места»...
Мы опять поднимемся с баяном,
Всколыхнем ромашковый лужок.
Может, ястреб в мареве туманном
Чье-то счастье молча стережет?..

Коля Дружининский... Коренаст и порывист. Постоянно готов к чему-нибудь и куда-нибудь. Помочь, выручить, стать для кого-то опорой – это наследственное, это в крови. Для всех доступен. В общении прост. Ничего в нем такого, что бы могло его ярко выделить из других. Но наступает особенный день. Незаметное вдруг проявляется очень заметно. К людям приходит Поэт!

Вологодская земля, как никакая другая, богата на мастеров вдохновенного слова. Один из них – Коля Дружининский. Надо бы называть его Николаем. Но язык противится этому. Коля – помягче, чем Николай, помоложе и потеплее.

До того как стать лириком, Коля прошел богатейшую школу жизни. Деревенское детство, где он пасет колхозных коров, и рыбу на удочку ловит, и бедокурит

с такими же, как и он, шнырливыми удальцами. Учеба в школе и институте. Служба в Морфлоте. Работа учителем, строителем, юрисконсультом, корреспондентом... Много было дорог. Много и встреч. Много недобрых и добрых сюрпризов. Много препятствий.

Одно из препятствий связано было с выходом первой книжки. Выйдет в печать она? Или не выйдет? Я был свидетелем, как заведующий Вологодским отделением Северо-Западного книжного издательства, потрясая рукописью стихотворений молодого, еще никому не известного Коли Дружининского, говорил с нескрываемым пренебрежением:

– И этот поэтишко хочет, чтобы из этого хлама мы ему сделали книжку?

Казалось бы, свой, знакомый-перезнакомый, еще далеко не старый издатель – и вдруг закрывает дорогу таланту? Как это мелко и как ничтожно! Однако не только циники управляют литературой. Разглядели особинку поэтического дарования Коли и наши истинные поэты – и Александр Романов, и Ольга Фокина, и Сережа Чухин, и Боря Чулков, и Олег Кванин, и Леня Беляев, и Юрий Леднев. Коля Дружининский, как и должно было стать, оказался в круговороте событий русской литературы. Материально жил Коля трудно. Все же семья. Чтоб заработать на жизнь, необходимо было устраиваться на службу. К счастью, при писательской организации стало функционировать Бюро пропаганды художественной литературы. Дружининский стал востребован всюду, где проходили литературные вечера, встречи с читателями, поэтические диспуты и концерты. Стихи Дружининского привлекали к себе своей самобытностью. Николай никому из известных поэтов не подражал. Лексику для своего письма он брал из стихии народных речений. Ему доподлинно был известен говор крестьян деревни Неклюдово, где он родился, где прошло его детство, и куда он все время ездил, когда повзрослел. Да и другие места Вологодчины были ему близки, как свои своему, прежде всего потому,

что Коля любил не столько сам о себе рассказывать, сколько слушать других. Было ему из чего выбирать золотые россыпи слов, складывая их в поэтическую копилку. Отсюда, от русского диалекта и родилось его авторское письмо, где было самое главное – интонация, ритмика, живописание и берущее за душу настроение.

Образы у поэта конкретны. В них нет общих мест, примелькавшихся слов и строчек. Потому что они из самой природы, не той, какую мы знаем по Пушкину, Есенину и Рубцову. А той, которую разглядел своими глазами Дружининский Коля.

Над синей поляной висят провода.
Идут провода во все города.
Но в тех городах нет выгороды,
Но в тех городах нет перегороды.

Написано для детей. Но читается всеми. Здесь не только образы города и деревни, но и великое чувство любви ко всему, откуда ты вышел на белый свет. Славит поэт безвестную маленькую поляну. А вместе с ней славит и всю Россию, у которой есть будущее, потому что она опирается на таких, как Дружининский и его простодушный, веселый, высоконравственный пастушок.

Дружининского воспринимаю только живым. Листаю его небольшие книжки. Их мало, но все они драгоценны. Читаю, как пью живительное лекарство. И возношусь вместе с ним в то божественное пространство, где сейчас обитает поэт, постигая душой загадки нашего мирозданья.

Собственный гроб для поэта был невозможен. Он думал, что его поэтическая дорога будет долга, что он на ней никогда не споткнется. Споткнулся, как спотыкается тот, кто берется за рюмку, в которой сидит не вино, а смерть. Не пей эту рюмку, поэт! Только бы крикнуть ему. Но не крикнул никто. Уверен: как брата бы встретил Дружининского Рубцов. Пожал бы руку ему и сказал:

– Сыграй-ко, Коля, что-нибудь русское на баяне! И спой ту самую песню, какая понравится всем...

ИДЕЯ НЕОБХОДИМОСТИ

Об Александре Романове

Сколько потребовалось поколений, чтобы однажды на белый свет явился тот, кто сконцентрировал в себе лучшие черты своей нации, представ перед миром величественным творцом? Никто не считал. Одно очевидно, что время рождения мастера надо отсчитывать не от года его рождения, а от многих дней рождения тех, кто шел к нему из трехсотлетней, пятисотлетней, а может, и тысячелетней давности, собирая на этом гигантском пути золотые перла человеческого таланта. Для чего? Для того чтобы их передать самому яркому представителю рода. Рассуждая подобным образом о фамильной преемственности, я вижу, прежде всего, своих современников, которые еще при рождении имели подготовленный для будущей жизни дар. Поэтому и в жизнь пошли они, имея прародительский опыт, который не только не растеряли, но умножили, обогатив его, и стали, в конце концов, теми, кого знаем мы, как конкретных людей. Таким конкретным для меня является Александр Александрович Романов. Кто он? Поэт, который всегда стоял и стоит рядом с Николаем Рубцовым, как открыватель многочисленных человеческих настроений, как мыслитель, чей ум выходит за рамки государственного мышления, как духовный пастырь, пропускающий через душу свою страдания, радости, беды, страсти и ликования обычных людей. И еще он – живой человек, темпераментный, грешный, богобоязненный, кающийся, бесстрашный.

Романова всегда представляю в единой связи с Россией. Как всякий глубоко мыслящий человек, он брал в себя и оставлял в себе все несуразности, печали, безумства и трагедии родного отечества. Всегда думал о том, какая сила способна спасти страну от ее внутреннего и внешнего разрушения. И сила эта, в понимании поэта, была в самой сущности русского человека, главные качества которого – работоспособность, доброжелатель-

ность, простодушие, терпеливость, жертвенность, жалость, и могут стать спасительными кругами среди волн бушующего содома. Русское в русском. Без этого не было бы Александра Романова. Он немыслим без любопытства к тому, чем это «русское» пустило свои естественные корни и даже переплелось ими настолько, что стало узнаваемым на расстоянии. Однажды на одном из поэтических вечеров я высказался о Сереже Чухине, сказав, что Сережа очень безалаберен и очень талантлив. Никогда не умел зарабатывать деньги, потому что это чуждо его натуре. Зато близко – делиться с товарищем тем, что есть у него. Но так как у него обычно ничего не было, особенно денег, то и делился он своим основным богатством – душевностью. Душевность же истекала через щемящее слово. А слово – предтеча взволнованной лиры. Собираются осенью в стаи тревожные птицы. Собираются и слова, из которых складываются шедевры. А они, как раньше, так и теперь востребованы, потому что питают дух, насыщая его энергией, при которой душа молодеет, сердце бьется взволнованно и за спиной вырастают крылья. Смелые крылья. Не думал Сережа о завтрашнем дне, как о черном и безнадежном. Напротив, воспринимал будущее светло и ясно, потому что оно обещало ту самую жизнь, когда можно будет написать еще одно стихотворение. Когда можно сесть на поезд и уехать на речку Лежу, чтобы там посидеть с удочкой на лесном берегу. Когда можно сбегать в лес за грибами. Когда можно встретиться с другом и выговориться ему. И, вообще, когда можно дышать воздухом родины и осязать свою связь с землей и рекой, с солнцем, луной и небом.

Александр Александрович улыбнулся, вздохнул и сказал:

– Судьба Сережи Чухина – это судьба русского поэта, кто не умеет устраивать жизнь. Живет, как придется. Такие ошеломительные стихи – и такая зависимость от всего. И все это от нашего русского неумения нравиться тем, кто отпускает благополучие...

Как ни досадно, но говорить в прошедшем времени приходится и об Александре Романове, удивительном оптимисте, неунывающем человеке, умевшем радоваться чужим успехам и нести в груди восхищение перед тем, что могла ему дать и давала родная земля.

Россия – это самое болевое для души поэта. Не случайно, вся поэтика Александра Романова пронизана чувством причастности к ее судьбе, ее дороге в будущее, вере в то, что быть ей, в конце концов, как в лучшие исторические времена, державной и сильной. Зная не понаслышке, а по собственному опыту – опыту многочисленной родни и, прежде всего, своей матери о раскулачивании русской деревни, бесовстве руководителей, в чьих руках оказалась власть, понимая роль политических вождей Советского государства, и в первую очередь, Ленина, как истинных врагов собственного народа, поэт надеялся, что русский народ однажды осознает себя созидательной нацией, которая способна обрести не только благополучие, но и уверенность в будущих днях. Александр Романов оставил в отечественной культуре отчетливые следы своего пребывания. Оставил, как поэт, как публицист, как очеркист, как, наконец, пропагандист красоты и духовности, с которыми люди должны жить везде и всегда. Поэт оставил для будущего читателя книги раздумий, рассказы о самых даровитых людях страны. Об Александре Яшине, Сергее Орлове, Федоре Абрамове, Николае Клюеве, Николае Рубцове (всех не перечислишь) он говорит так, словно эти мастера слова никогда и не умирали и не умрут, потому что их дело востребовано временем и теми, кто в нем живет.

А как тепло, задушевно и энергично рассказывает он о своих многочисленных встречах на дорогах страны с людьми, которые его восхитили и изумили тем, что в своих делах и поступках они проявили себя как самобытные, талантливые, неповторимые оригиналы.

Или родня поэта. И предшественники по роду, и брат его Павел, и жена Анастасия, и сыновья Сергей и

Александр, и близкие по душе ему земляки, кого воспринимаешь, как кровных родственников поэта,– читаешь про них и ощущаешь, как, окружив тебя, расположился огромный стан родного тебе русского населения, и впереди у всех, несмотря на утраты, печали и скорби, жизнь, захватывающая все твое существо очищающей верой в разум и справедливость.

Читать портреты, дневниковые записи, этюды и обнаженные мысли Александра Романова – все равно, что окунуться в реку мудрости. Окунуться и выйти из нее осветленным и умудренным теми уроками, которые может тебе преподать только жизнь, подсмотренная провидческими глазами. Одно Романовское выражение «Русь уходит в нас» наполняет глубокой мыслью о зоркости человека, разглядевшего все наши отеческие пенаты для того, чтобы это видение навсегда и для всех оставалось в сердце.

Могу представить Александра Романова не только в дружественных компаниях с Николаем Рубцовым, Валерием Дементьевым, Александром Яшиным, Юрием Арбатом, Сергеем Викуловым, Федором Абрамовым, Василием Беловым, Николаем Тряпкиным, но и в тиши комнаты писательского союза в Вологде, на улице Ленина, 15, где он долгие годы работал ответственным секретарем областной писательской организации. Телефонные звонки. Посетители. Рукописи. Семинары. Встречи с молодыми поэтами. Диспуты. Вызовы в обком партии. Поэтические вечера. И, конечно, собственные творения. И все это проходит через одно сердце, такое распахнутое, такое большое, как и сама окружавшая поэта жизнь.

Как-то за пару месяцев до смерти Александра Александровича, я встретил его случайно на одной из улиц Вологды и спросил:

– Как здоровье-то, Саша?

На мой банальный вопрос ответил он добродушно и просто:

– Для моего возраста вполне сносно. Главное – я хочу и могу работать. А тебе,– лицо Романова так и высветилось открытой улыбкой,– спасибо!

– Да за что? – удивился я.

– За то, что несколькими словами сумел сказать о сути нашего ненормального времени.– И он прочел:

– Где сегодня честные?

– Неизвестно.

– Где сегодня смелые?

– В коммерсантах.

– Ну, а эти, светлые?

– Светлые в народе светятся печалью...

Это была последняя встреча с Александром Романовым. Вспоминая ее, я думал и думаю – обыкновенный, кажется, человек. Ничем внешне не отличим от других. А вот ведь: весь в исканиях живого русского слова. Всю жизнь в исканиях. И нашедшего целую галерею бесценных россыпей русской речи, через которую постигаешь не только смысл нашего бытия, но и саму идею необходимости жизни, на которой держалась и держится Русь.

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ

О Николае Рубцове

Ещё до выхода в «Лениздате» книги Рубцова «Посвящение другу» (1984) его издатели спрашивали меня:

– Кому Рубцов посвятил это стихотворение. Быть может, тебе?

Я помотал отрицательно головой:

– Не мне.

В 1966 г. Рубцов всё лето провёл на Алтае. Побывал в Барнауле, Горноалтайске, в деревне Кислухе, в Бийске и Красногорском. Сибирь во многом напоминала ему Вологодскую область, по которой он постоянно скучал и писал своим закадычным друзьям короткие письма. В одном из них к Александру Романову он сообщал:

«Пишу тебе из Сибири. Ермак, Кучум... Помнишь? Тайга. Павлик Морозов... Много писать не стану, т.к. сейчас пойду на рыбалку, да тебе и не будет интересно, если я начну описывать свои последние впечатления и еще что-то. Скажу только, что я сюда приехал, кажется, на все лето, т. к. еще не бывал в этой местности и решил использовать возможность, чтобы посмотреть ее. Изучить ее. Перед отъездом сюда взял командировку от журнала «Октябрь». Скажу еще только, что сильно временами тоскую здесь по сухонским пароходам и пристаням...

Н. Рубцов.
С. Красногорское Алтайского края»

В Александре Романове, как ни в ком другом, Рубцов почувствовал истинного поэта, чья духовная сила и власть над словом были настолько крупны, что он принимал его за творца, чей уровень был такой же высокий, как у него, Николая Рубцова, понимавшего, что сегодня в поэзии он всех выше.

На равных они беседовали о древностях русской культуры, о языке, о городе и деревне, о том, почему страдает и пьет сегодняшний человек. Рубцов допускал даже критику Александра. Как-то по осени, отдыхая в скверике на скамейке, под легкий шорох летящей листвы, он прочитал только что им написанное стихотворение:

Идет старик в простой одежде.
Один идет издалека.
Не греет солнышко, как прежде.
Шумит осенняя река.

Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было все полно печали
Над этой старой головой.

Глядел он ласково и долго
На всех, кто встретится ему,

Глядел на птиц, глядел на ёлку...
Наверно, трудно одному?

Когда, поёживаясь зябко,
Поест немного и поспит,
Ему какая-нибудь бабка
Поднять котомку пособит.

Глядит глазами голубыми,
Несет котомку на горбу.
Словами тихими, скупыми
Благодарит свою судьбу.

Не помнит он, что было прежде,
И не боится черных туч,
Идет себе в простой одежде
С душою светлою, как луч!

Прочитал и ждал, что на это скажет Романов? А Романов вспомнил стихотворение Некрасова «Влас».

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас – старик седой.
На груди икона медная:
Просит он на божий храм,–
Весь в веригах, обувь бедная,
На щеке глубокий шрам.

И сказал Николаю, что образ странника-старика не нов. Об этом уже писали. К тому же Рубцов изобразил его заурядно. И концовка стихотворения излишне красива, с преувеличенным обобщением. Рубцов ничего не ответил на это, но было видно, что он с Романовым не согласен. Позднее, спустя два с лишним десятилетия Романов вспомнил тот разговор и подумал о том, что тогда он был, конечно, не прав. Образ души, подобный лучу, сейчас не казался ему излишне красивым. Метафора воспринималась по-новому, как энергия жизни, как благотворное просветление в сумраке чело-

веческого разлада. И сам старик, несмотря на скупость деталей в его описании представлялся уже далеко не некрасовским, а рубцовским. Но главное то, что поэт, подобно пророку, за четверть века запечатлел одного из огромной армии вымирающих стариков, которые стали явлением каждого города и деревни.

«...И было все полно печали
Над этой старой головой...»

Воистину. Всё о теперешних днях, в которых идут и идут, гонимые бедностью старые люди.

Романов часто встречался с Рубцовым. Встречался всегда радостно и охотно, ибо видел в нем не соперника, а собрата по поэтическому горению. В то же время Романова огорчало, что живет Рубцов хуже, чем надо. И одет-то он бедновато. И с семьей не пойми чего. Да и денег, наверное, нет. Правда, внешне Рубцов не показывал виду, что испытывает нужду. Неудобно было ему и просить у Романова трёшник, чтоб купить на него хоть какую-нибудь еду. Потому, приходя к нему на квартиру, садился стеснительно на диван, доставал записную книжечку и писал:

«Александру Александровичу Романову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу, если это возможно, одолжить мне, Николаю Михайловичу Рубцову, три рубля. С обязательным возвращением.

Н. Рубцов»

Романов, естественно, понимал, что Рубцову сказать вслух о трешнике было до невозможности неудобно. И, само собой, он, чем мог, его выручал. И за стол уговаривал сесть. И расспрашивал о делах. Словом, очень старался, чтобы стало Рубцову добрее, уютнее и теплее. Рубцов и Романов часто встречались в редакции «Вологодского комсомольца». Сядут за маленький столик. Шахматы перед ними. Вроде, играют, однако фигурки

стоят на доске и стоят, не трогаясь с места. А игроки оживлённо глядят друг другу в глаза и ведут разговор. Сколько было таких разговоров! Кто их записывал? Или запомнил? Обычно в той комнате за тремя двухтумбовыми столами сидели сотрудники двух отделов. Я отвечал за сельскую жизнь. И если не был в командировке, то тоже сидел за столом. И слушал умные разговоры. Один из них всё-таки вкратце запомнил. В комнату из соседней, где был идеологический отдел, вдруг вбежал, сверкая единственным глазом, Клим Файнберг. Увидев поэтов, воскликнул:

– Милые вы мои! Саша и Коля! Может быть, вы почитаете то, что написано здесь! Если одобрите,– будем печатать! – И, положив поверх шахмат исписанный мелким почерком лист, тотчас же исчез.

Первым листок прочитал Рубцов.

– Не стихи, а какая-то жидкость! – сказал он недоуменно.– И автор такой же, наверное, жидкий.

– Жидкое слово в поэзии,– вторил ему Романов,– ничего не дает ни уму, ни сердцу. Слово должно светиться!

– Или гореть, как молния под грозой! – прибавил Рубцов.

– Главное в слове,– закончил Романов,– должна отражаться не жизнь, а сок этой жизни...

Они оба умели чувствовать слово. Заурядность и серость была для обоих невыносима. И еще понимали они, что красоты поэзии можно было открыть везде, если их разглядеть через чуткое сердце.

Два поэта. Две жизни. Две собственные дороги. Одно у них было общее – влечение к красоте, которая открывалась то ли в плывущем по Сухоне пароходе, то ли в женщине с ведрами на реке, то ли в весело прыгнувшем в небо махоньком жаворонке – во всем, что несло в себе переполненность жизни, властно приманивая к себе. Рубцов появлялся всегда неожиданно и всегда очень кстати. Как-то осенью, по морозцу, проходя окраиной Вологды (куда поэта только не занесет!), воз-

ле скромных домов с палисадами, где сгорали горячие георгины, Романов лоб в лоб столкнулся с Рубцовым.

– Ты откула?

– От добрых людей!

– Ночевал, что ли, там?

– Ночевал.

– И куда?

– Сам не знаю.

– А как себя чувствуешь?

– Погляди! – Николай повернулся лицом к палисаднику, откуда навстречу ему, приподнявшись над клумбой, мерцали побитые холодом георгины.

– Они меня понимают. Как и я понимаю их.

Через год в журнале «Октябрь» появилось стихотворение «Посвящение другу».

Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...
Нет, меня не порадует – что ты! –
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.

Вероятно, Рубцов написал это стихотворение, когда странствовал по Алтаю. Во всяком случае поэт из села Красногорское Геннадий Володин, у которого жил Рубцов несколько дней, свидетельствует об этом. И все-таки почему, наряду с такими стихотворениями, как «Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне», «Шумит Катунь», «Сибирь, как будто не Сибирь», Рубцов писал на Алтае стихотворение, насквозь пронизанное северными ветрами? Здесь можно только предполагать. Скучая по Вологде, он писал товарищам и друзьям сердечные письма, надеясь, что те ответят ему. Ответил Романов. Ах, как было отрадно читать прилетевшее из любимой Вологды откровение друга. И вспомнил Рубцов холодную осень, и отгоревшие георгины. И себя,

и Романова тоже вспомнил. Вспомнил свои дороги на пароходах и поездах. Вспомнил деревце с коновязью... Всколыхнулось в душе. Придвинулось нечто щемящее и родное. Рука потянулась к перу. В одном из номеров журнала «Октябрь» за 1967 год состоялась подборка стихов Николая Рубцова. Тираж огромный. Однако подпись «Александру Романову» над «Посвящением другу» стояла только в одном журнале. И была она от руки. Почему? На это ответить мог только Рубцов.

ВЫСШЕЕ СТОЯНИЕ

О Сергее Чухине

Мир к Сергею Чухину был во многом несправедлив. Отпуская от всех щедрот своих самую малую долю, он его отталкивал от людей, которые жили благополучно. Но поэт ни на что на свете не обижался. В его характере переплелись безалаберность чудака, покладистость доброго семьянина и одержимая страстность творца, смело взявшегося сказать о многом несколькими словами. Сказать от имени тех, кого он любил. Любил же Сергей Валентинович многих. Сколько житейских историй я от него услышал, когда он рассказывал о своем крутонравом отце. О Николае Рубцове. О машинистах, с которыми каждую осень ездил куда-то под Коношу на болото за клюквой. О коммунисте Горынцеве, скульпторе Брагине и других многочисленных земляках, с кем встречался поэт на улицах Вологды, в деревнях и райцентрах, в автобусах и вагонах. Каждый рассказ его был по-особому интересен. Десятки готовых портретов! Их бы Чухину записать. Однако до прозы Сергей Валентинович был не охоч. Хотя, разбирая его стихотворный архив, я встречал в нем несколько очерков и рассказов. Поэт был участливым человеком. Если бы позволяли ему обстоятельства и набитый деньгами карман, то, наверное, помогал бы он каждому, кто страдает. Правда, помощь эта нет-нет да

и подводила. На «Заре», которая мчалась по Сухоне к Вологде, он однажды столкнулся с почти умирающим пассажиром. Было видно, что пил человек не день и не два, и что к жизни его возвратить могла только водка. Чухин, имея в портфеле бутылку, распечатал ее и налил в стакан. И понес стакан через весь пассажирский салон. После выпитой водки страдалец приободрился. Сергей же смешался, ибо «Заря» в этот миг причалила к пристани Тотьмы, и речники, взяв поэта за локти, не церемонясь, спустили его с теплохода. Такие конфузы его огорчали и выбивали из колеи. Чувствовал он себя виноватым. Пытался исправиться. И исправлялся. Но ненадолго. Опять повторялся подобный случай, когда предстояло кого-нибудь «выручать». Вроде, хотел и хорошее сделать, а получалось – наоборот. И виновата была здесь скорее не жалость, а бескорыстность. Бескорыстность была для поэта естественной частью его состояния. Она перешла к нему по наследству. Мать поэта Нина Васильевна, женщина редкой душевной мягкости, никогда не ругала Сережу за шалости и причуды, благо знала – это не главное в нем. Главное – нежность. Неси ее, сын! И Сергей ее нес. Не кричал о ней, часто даже скрывал, чтоб над ним не смеялись. Нежность к матери и семье, к речке Ёме, к цветам и березам, к людям, особенно к тем, которые в нем разглядели не только безвредного чудака, рыболова, работника, но и поэта. Поэта, который в долгу перед всеми и, сознавая себя многоопытным мастером слова, долг этот он с радостью отдавал. Да и сейчас отдает, ибо стихи его стали собственностью народа. Поэт – это Бог красоты, самое высшее состояние. Кто-кто, а Сергей Валентинович был в таком состоянии многократно. Но бывал он и в низком, когда предстояло думать о хлебе насущном. Под брови ложилась морщинка решимости человека, которому надо каким-нибудь образом выправить жизнь. Найти где-то денег. Купить для дочурки подарок. А Тоне, жене, непременно сказать, что его собираются напечатать. Однако такое он Тоне не говорил. Свои

талантливые стихи он не умел устраивать ни в издательствах, ни в журналах. Разве только в газетах. И то далеко не в каждой и далеко не всегда. Потому и жил по пословице, как впрочем, и все поэты в России: в одном кармане пусто, в другом – ничего. Однако от бедности хуже стихи не писал. Напротив. От книги к книге все мужественнее и четче звучал его поэтический голос. Пожалуй, самым священным и вещим образом был для поэта образ России. Россия для Чухина – это дорога. Дорогу эту видать и сейчас. Там, в божьих далях, искрится золотом света обломный край облака над закатом. Под облаком – сжатое поле, река с сенокосным сараем, налитые теменью ели и пышная, вся из усыпанных листьев, дорога, которой, мерцая очками, ступает в своей желтоплечей, не знающей старости куртке Сергей Валентинович Чухин. Ступает, чтоб вновь навестить свою мать. Сколько раз приезжал он в свое Погорелово! Приезжал по весне и лету, но чаще – по осени. Чтобы убрать в огороде картошку. Наносить из лесу грибов. Сбегать с удочкой на пруды за ленивыми карасями. И еще посмотреть на гонимых ветрами северных птиц, как они пролетают стаями над деревней. Посмотреть – это значит, почувствовать связь с миром тех, кто высок, благороден и смел.

Родился Сергей Валентинович в октябре 1945 года. Сорок лет понадобилось ему, чтоб явить себя миру. Нелепая смерть, как нарочно выбрала тот подлый вечер, когда поэт возвращался домой из гостей, и последняя улица, на которую он ступил, пытаясь ее пересечь, несла на него резкий ветер и снег, и он не увидел мчащуюся машину...

БЫЛА ТЫ ЗЁРНЫШКОМ

О Лидии Тепловой

Лидия Теплова... Тем, пожалуй, она и взяла, что, прочитав два-три тепловских стихотворения, спешишь тотчас же к четвертому, к пятому, и ко всем остальным,

какие она нам, читателям, подарила, как нечто новое, чистое и большое. Казалось, пишет она рукой, которую ведёт по бумаге сам ангел, умеющей видеть души людей во всех проявлениях жизни, где есть сострадание, жалость, природа, родина и любовь.

Родилась Лидия Михайловна в деревне Медвежка Усть-Цилемского района Коми АССР. Там и прошло ее детство. На постоянное жительство в город Сокол она переехала после местной десятилетки. Работала на целлюлозно-бумажном комбинате и в редакции газеты «Сокольская правда». С детских лет писала стихи. Печаталась в журналах «Север», «Аврора», «Слово», «Роман-журнале XX век». Выпустила книги «Крик в ночи», «Мишкин год», «Песня травы». Стихи Лидии Тепловой воспринимаешь как саму природу, которой выпало счастье пребывать там, где плещутся воды Печоры, Вычегды, Сухоны и Двины. Эти реки поэтесса прославила навсегда. Ее образы настолько конкретные и живые, что подчас и саму поэтессу воспринимаешь, как северную реку. Хотя могла поэтесса быть и деревней Медвежкой, и зёрнышком, ставшим яркой травою, и колокольчиковым цветом лугов, и телом убитого солдата, лежащего в чистом поле, и бубенцами купальницы в гриве кочек. Лирический герой Тепловой растворился в мире березовых рощ, темных ельников, в ветре, поплывшем к божьему горизонту и даже в траве, по которой ходит корова. Образы исключительно народные, запоминающиеся, яркие, очень живые. Потому и ощущение от стихов такое, как если бы их мог написать одновременно поэт очень тонкий, и очень мощный. Почти каждое стихотворение Тепловой – это грусть и печаль, а может быть, и поминки по самому светлому и святому. Стихи её выворачивают душу, заставляя вместе с поэтом сопереживать, прощать, радоваться, любить. Как жаль, что Лидии Тепловой нет сейчас с нами. В свое время о ее оригинальном творчестве высказывались Ольга Фокина, Виктор Бараков, Андрей Смолин, Артём Кулябин, журналисты «Сокольской правды». И все равно

творения ее несут немало загадок и притяжений. Лидия Теплова до конца не разгадана. Слишком щедро поселились в ее поэзии задевающие наши сердца тайны русской души. Помнится, в одном из концертных залов Вологды прошел большой литературный вечер. Не было на нем Лидии Тепловой: болела. В тот вечер ее заменил Василий Иванович Белов, предварительно сообщив:

– Прочитаю сейчас стихотворение «Последняя песня глухаря». Написала его наша вологжанка Лидия Теплова, поэт от Бога:

Да, глухарь я! Глухой! Посмейся!
Да, глухой я, когда пою.
Ты мне в голову, в голову целься,
Но не целься в глухарку мою.
Да, глухой, но тебя я слышу,
По дыханью тебя узнаю.
Ты мой хвост над кроватью вывешай,
Но не целься в глухарку мою!
Много здесь глухарей убито,
У болотечка на краю.
Ты стреляй, пока сердце открыто,
Но не целься в глухарку мою!
Да стреляй же! Картечью, дробью...
Я оглох уже, я пою!
Подавись глухариной кровью,
Но не целься в глухарку мою!
Впрочем, бей и её, помолившись,
Раз уж выбрал нас на убой.
Пусть хоть дети мои, не родившись,
Не унизятся перед тобой!

По прочтению стихотворения зал взревел. У многих в глазах заблестели слезы. Поэтесса воистину выразила состояние русской души, когда её расстреливает добытчик, тот сокрушитель всего сокровенного и святого, чем живет праведный человек.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!

О Борисе Чулкове

Борис Александрович Чулков. Скромнейший, деликатнейший, знающий высокий потолок поэтов буквально всех времен. Знающий и низкий потолок, ниже которого – не опустись. Иначе ты уже и не поэт. Чулков знал уровень своих стихотворений, какими можно было бы гордиться и требовать от критика не то, чтобы похвал в свой адрес. Скорее – честно заработанной оценки, какую дать могли бы многие читатели Чулкова, помимо тех, кто почему-то относил его к певцам несовременным. Не так, однако, относился к одам и стихам Бориса Александровича Николай Рубцов. Возможно, он ничего бы не сказал о творческой манере вологодского поэта. Но так сложилось в середине 60-х, что когда Рубцов был исключён из института, он оказался как бы в пустоте. И это в то удачливое лето, когда поэт писал в своей Николе настоящие шедевры. Стоял 1964-й. Лето с осенью прожил Рубцов в Николе. Но начались осенние дожди. Куда ему? Приехал в Вологду. Где жить? Какую-то неделю жил в Маурине, за Вологдой, где я с семьей снимал неприхотливую квартирку. Какую-то неделю – у Старичковой жил. Потом к Чулкову перебрался. Считай, всю зиму 1964–65 гг. жили Николай с Борисом под единой кровлей, недалеко от Вологда-реки. Было двум лирикам о чем поговорить. О чем поспорить. И высказаться о самом-самом, к чему звала нетерпеливая душа. Надо думать, что Рубцов читал Чулкова как в его книжках, так и в тетрадках, где были только что написанные оды и стихи. Отсюда и внимание друг к другу. И интерес, и понимание. Рубцов в конце концов сказал, как утвердил:

– Боря! Тебя будут читать не все! А только те, кто не торопится, не мчится вслед за временем. Остановись мгновение! Дай тебя я рассмотрю с удобного мне расстояния.

Примерно так рассказывал Чулков о своих встречах с Николаем. Рассказывал не всем, а только тем, кого впускал в свой потаённый мир.

Действительно, в стихах поэта, будь это город, пригород, районный центр, деревня или обычная дорога, какой идет Чулков куда-нибудь к себе, есть задержавшееся время, в которое он всматривается, как состоявшийся философ, умеющий всё, что он видит в этот миг, поставить на свои места. Поставить для того, чтоб получилась многоликая картина. Картина грустного сегодняшнего дня.

Звезда далёкая мигает
Огнем неоновым во двор.
В тепле и ночью дозревает
И огурец, и помидор.

Над задремавшим огородом
Стоит глухая тишина.
И, как тарелка с жёлтым мёдом,
Повисла круглая луна.

Нет, Борис Александрович, не скучный человек. Он – вглядывающийся, с мировоззрением учёного, который желает рассмотреть нечто такое, что было бы так важно для его души. Открытие поэта в том и состоит, что видит он своё. Лишь то, что в данную минуту было интересно не столько хладному уму, сколько взволнованному сердцу. В том памятном 1965, возвращаясь с работы домой, Чулков обычно заставал Рубцова или за чтением книг французских поэтов, или за музыкой, которая заполняла квартиру, и вид поэта, ходившего взад-вперёд с сигаретой по комнате, стол с проигрывателем, где крутилась пластинка, и заоконная панорама морозной Вологды вызывали в нём чувство связи с чем-то возвышенным и чудесным. Порою Рубцов совершенно не замечал Чулкова, явившегося домой, настолько глубоко уходил в тот возвышенный мир, которым жили когда-то авторы сверхшедевров. Вариации

на русские темы Глинки, вальс-фантазия, испанские увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» сменялись второй симфонией и «Ноктюрном» Бородина. А там сам Мусоргский с его оркестровым сочинением «Интермецо», «Скерцо», «Рассвет над Москвой-рекой», равных которым, конечно, нет ни в одной музыке мира. Нередко хозяин и квартирант вместе крутили пластинки. Вкусы их совпадали. «Времена года» Чайковского в фортепьянном и оркестровом изложении. Второй концерт для фортепьяно Рахманинова. «Классическая симфония» Прокофьева. Музыка к Пушкинской «Метели» Свиридова. Звучал и Стравинский с его фрагментами из «Петрушки», «Оркестровым танго» и «Рэгтаймом». Музыкальные исполины, когда их слушали два поэта, буквально овладевали их существом. Сами того не замечая, оба они переселялись в неведомый, весь в страстях и волнениях мир. Каллиникова они слушали, помаргивая глазами, из которых, казалось, вот-вот брызнут слезы. А какой тревогой охватывало их, когда они внимали пятой симфонии Глазунова, той самой, которая грозно звучала по радио в день нападения Германии на нашу страну. К джазу, полагает Чулков, Рубцов относился прохладно. Равнодушен был и к «Пассионате» Бетховена. А нашенскую «попсу», как и американскую, не переваривал, и даже советовал Чулкову вообще никогда не слушать, чтоб не засорять благородный слух. Очень любил Рубцов «Реквием» Моцарта. Интересовался: у кого бы можно было послушать Дебусси и Пуленка – великих французов, учившихся на музыке Мусоргского, Корсакова и Скрябина. Квартира Чулкова стала для Рубцова чем-то вроде музыкальной консерватории, где тревожная музыка властно вторгалась в душу его, и он, казалось, всем своим существом прикасался к Вселенной, откуда навстречу ему шли видения и картины, каких ещё не было на земле, и он ощущал себя очень богатым и очень сильным. Остановись, мгновение! Так и хочется повторить вслед за поэтами, ушедшими в мир иной не только затем, чтобы мы их время от времени

вспоминали, но и чувствовали высокое настроение, какое они подарили нам, и теперь «рубцовское», как и «чулковское», рядом с нами.

ВЫСОКОЕ ПРЕБЫВАНИЕ

Вспоминая Виктора Астафьева

Деревня Сибла. Что в ней такого? Да ничего. Жизнь, хоть и не бойко, но шевелилась. Была когда-то здесь и конюшня, и ферма, где доярки доили колхозных коров. Были и конюх, и бригадир. Были и бабушки с дедами, и шустрые ребятишки. Но самое примечательное было то, что лет за 40 тому назад жил здесь писатель Виктор Петрович Астафьев. По утрам он по пояс высовывался в окно. Дышал кедровым ароматом. Возле дома его благоухал пышный кедр. Шишек на нем еще не было. Но тёмно-зеленые ветви его были в наливе, иголки, вытянувшись по ветру, мягко шептали: «Потерпите. Появятся и цветы, а в них – пузатенькие орехи».

Кедр этот Виктор Петрович в Устюжне заказал, где по сей день бытует богатый кедровый заповедник. Привезли его за 300 без малого верст. Братья Смирновы Иван с Алексеем, ставившие Астафьевым изгородь на усадьбе, заодно и саженец посадили.

– Расти, как в Сибири,– улыбнулись Астафьеву.– Но чтобы не вхолостую. С шишками! В смак!

Сколько лет пролетело с тех пор! Кедр раздался в бока, поднялся и в высоту, обогнав в росте местные сосны. И шишки стали проблескивать меж иголок.

Рядом с Сиблой за километр через мелкий лесок, ручеек и поле разместилась деревня Стегаиха, травяная, веселая, с несколькими садами, в которых летают смелые трясогузки, оберегая яблони от ворон. Здесь когда-то я жил, как дачник. Из окна моего пятистенка виден был и Астафьевский пятистенок. Иногда я его рассматривал из трубы полевого теодолита, который мне одолжил приезжавший из Харовска землемер, про-

водя за деревней съемку сельхозугодий. В 24 раза увеличивала труба, так что я мог в подробностях рассмотреть то, что творится не только в усадьбе Астафьева, но и в самом его доме. Пару раз я, наверное, наблюдал, как хозяин, раскрыв окно, усаживался за стол и писал. Хотел бы я прочитать то, что пишет он в эту минуту. Однако не мог. Не хватало в трубе той самой силы, какая дала бы возможность читать без напряга за километр. Зато хватало ее, чтоб я увидел писателя в поиске слова. Сосредоточенное лицо, плечи, покрытые майкой, взъерошенный гребень волос и рука, которая то и дело взлетала над головой, выражая писательское волнение. От продолжительного сидения Астафьев, как правило, отдыхал на Кубене. Обувал сапоги сорок второго размера, в руку – спиннинг и спускался ложбинкой к ольховым кустам, сквозь которые скрытно поблескивала река, играя выплеском брызг, песчаными мелями и камнями. Хотелось выйти из пресного состояния. Войти – в плодотворное, бурное, готовое к поиску ярких картин, где и скрывается мощное слово. Потому-то Виктор Петрович потом, в той же Сибле, открыв окно, и напишет свою молитву, выразив словом всё то, что таила в себе душа. Напишет про лошадей, проступающих сквозь туман. Про то, как, заслышав шуршанье травы, заскрипит коростель, торопясь со всех своих лап к скрывающейся подруге. Про доцветающую рябину. Про то, как сегодняшнее, обнявшись с забытым, уходит туда, где когда-то, как в первый день, пробуждалась земля, наполняя реку и берег зеленым трепетом и смущением.

Природа подарила Астафьеву многие дни высокого пребывания между божьей землей и божьими небесами. Не случайно все рассказы его, все повести с их певучим астафьевским языком, проникнуты задушевностью и глубокой славянской тоской. Как если бы где-то рядом на берегу полноводной реки сидит укутанный травами пастушок и дует в дуду. О чем это он? О родине, которой он признается в чем-то тайном и сокровенном, без чего не прожить ему даже и дня.

ВМЕСТЕ ХОТЬ КУДА

Москва – Вологда – Тотьма

...Лето 1965 года. Из Москвы поезд пришел под вечер. Здравствуй, Вологда! Вылезли на перрон – я и Рубцов. Мне – в Тотьму. Рубцову – не знать и куда. Отправились бы, пожалуй, в Тотьму, ко мне. Но пароход уходил туда только утром.

Прошлись по Менжинской, а там – и Советской. Хотели зайти в крохотный магазинчик. И вдруг нам навстречу – Василий Белов, еще не такой знаменитый, однако доступный, житейский, свой. Обнялись. Пошагали троицей. Вел нас Белов. Наверно, к себе. Однако Рубцов при виде огней «Золотого якоря», где была гостиница с рестораном, воскликнул так, как если бы нас там кто-то встречал:

– Сюда-а!

И мы повернули к огням, где и устроились до утра. Втроем. В общем номере, где были свободными две кровати.

Мы с Рубцовым решили, что эти кровати для нас. С Беловым тут же и попрощались.

– До свидания, Вася...

Белов рассердился:

– Никуда я от вас не уйду! Буду с вами! А ночевать, коли нету кровати, могу вон и там! – показал на голландскую печь, под которой алел мягкий коврик.

Мы с Рубцовым чуть-чуть смутились. Даже заспорили:

– Нет, я на коврик!

– Нет, я!..

Горничная гостиницы на коврике спать нам, однако, не разрешила:

– Нельзя! Не положено! Уходите который-нибудь!

Никто не ушел. Чтоб успокоить дежурную, кто-то из нас улыбнулся, даже погладил ее по белой косынке на голове:

– Мы и втроем бы могли на одной кровати, но раз ты такая суровая, заночуем вдвоем...

Дежурная убежала. Мы же снова продолжили спор, который закончился тем, что Белов посмотрел на меня повелительно:

– А ну, на кровать! Спишь один! А мы с Николаем – вдвоем! Так надо! Без возражений!..

Утром все трое направились к пароходу. Рубцов с Беловым махали мне с пристани, мол, доброй дороги до Тотьмы да горячий привет ей от нас...

Я стоял на палубе и смотрел с тихой грустью на удалявшиеся фигурки, как они, покуривая, шли по людному тротуару, разговорчивые, живые, словно и впрямь их ждали большие дела, и закончат они их конечно же вместе.

Гудит пароход, а я слышу сквозь бас его то, что когда-то слушал от Николая: «Кого я в Вологде больше всего обожаю, так это Васю Белова. С ним бы я – хоть куда...»

Вот и идут они оба вместе. По тротуару. В будущее свое...

Голос из клетки

В моей небольшой книжке «До свиданья, родина», вышедшей в 2004 году, есть рассказ «Забытое поле», который я посвятил Василию Ивановичу Белову. Он небольшой, потому привожу его целиком.

«Задичавшее поле, где когда-то твердела в наливе высокая рожь, заросло плодовитыми сорняками. Это наша действительность, перекосы угрюмого века, на ветрах которого разлетаются семена чернобыльника и осота.

А над полем – привычные добрые облака и такое же доброе солнце. И знакомый косяк отлетающих птиц, и оса, зависшая над ромашкой. Это вечность, какая была здесь и прежде.

Оставаться с таким же неизменяющимся лицом предстоит ей всегда. Потому что оса и птицы, солнце

и облака обходились и обойдутся без человека. Человек же без них обречен. И еще обречен он без хлебного поля. Возвратить ему лучшие дни может лишь колосистая рябь поспевающих ржей, на усах которой качается доброе солнце».

Что сказал об этом рассказе Белов? Я не спрашивал. Да он бы, наверно, и не ответил. Главное, чтоб все это шло без лукавого и навязывания себя, как достойного бытописца.

– Пиши так, как если бы перо вела совестливая рука,– говаривал Белов. Говаривал как бы в пространство. И не однажды.

Я вспомнил одно видение. В два часа утра. Увидел, как встает из земли без лучей и сиянья огромное алое солнце. Такое бывает только в начале июля. Черные крыши домов, застывающая листва, пролетающий с мышью в когтях хищный филин.

Нет. Земля подбиралась не к собственной смерти. Шла она – к воскресению. И спасёт ее, я уверен был, тихий свет, разливающийся над миром. Православный народ называет его «Божья милость».

– Такое местечко, под названием Глебовское я время от времени и посещаю,– сказал я Белову.– Это родина нашего юного друга.

Белов улыбнулся:

– Уж не Саши ли Цыганова?

– Вот-вот.

– А почему ты вспомнил о нем?

– Это необъяснимо. Наверно, голос услышал. Оттуда, где люди в клетке. То есть в лагерной зоне, где не только охранные вышки, овчарки, бараки, но и ломающиеся судьбы. Несколько раз я бывал у Саши в гостях. А в первый раз – в зоне. Даже там выступал среди заключенных. Он, наш Саша, как воспитатель колонии, год за годом там пребывал. Тем, кто попал в эту клетку, пытался вернуть ту рисковую жизнь, которая на краю. Чтобы не было в ней последнего шага...

По белу свету

Уплывая в очередной раз из Тотьмы в Вологду, Белов крепко пожал мою руку. И сказал как бы от имени всех, о ком беспокоился, как о братьях:

– Рубцов, Романов, Коротаев, Багров, Цыганов... Каждый из вас имеет собственный стиль. Каждый по-своему видит всё, что около и вдали. И проявляет себя через собственную работу. Кто о ней судит? Пришедшее время. А в нем – тот самый, кто хотел бы прочесть нас не только глазами, но и душой. Слово писателя, знай, гуляет по белу свету, помогая всем страждущим в постижении крена жизни, особенно в наши дни, когда рядом воинствуют ложь, обман, блуд и зависть. Но ведь и ты присутствуешь в этом мире. Чего ждать от тебя?

– Первым делом того, что ты должен быть, как опора, на которой и держится наша жизнь,– молвил я.

Белов вздохнул:

– О, как нам не хватает этой опоры... А где найти ее? Только в своем народе. Именно в тех, кто всегда рядом с нами...

НАТАЛЬЯ СИДОРОВА

НАШЕЙ ПАМЯТИ СВЕТЛЫЕ БЛИКИ

* * *

Опять на небесных угодьях
Пасутся созвездий стада,
И месяц купает поводья
В зеркальном покое пруда.

То клевером пахнет, то мятой,
А звезды дрожат на весу...
Люблю бесконечно и свято
Негромкую эту красу.

Не хочется сердцу расстаться
С землей, что не сыщешь милей!

Сидорова Наталья Петровна родилась в п. Бушуиха Вологодской области. Публиковалась в центральных и региональных изданиях. Автор поэтических книг: «Слышу ветер», «Моей любви печальный сад», «Душа должна любить», «Дыхание долгой весны», «Избранное». Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

Мне только б успеть надышаться
Привольем родимых полей!

А там, за неведомым где-то,
Мне помниться будет всегда
Сиреневый шелест рассвета
Над розовой гладью пруда.

Да будет по-прежнему сниться
Костер на крутом берегу,
Над лесом притихшим зарницы
И кони на мокром лугу...

* * *

Любовь моя – белая птица –
Молчала, не пела давно.
Устала в темнице томиться,
И я отворила окно...

Взлетела, кружила, звенела,
Тонула в сиянии дня!
Все ближе быть к ней я хотела –
Все дальше она от меня.

Какие капканы и сети
В пути ожидали ее!
О, знала б я горести эти,
Застыло бы сердце мое!

* * *

Светлы осенние равнины,
Высок прощальный птичий крик.
И одинокий лист рябины
К стеклу холодному приник.

Так было и всегда так будет –
Цветет и умирает сад.
Так отчего же сердце студит,
Знобит предчувствием утрат?

Светлы осенние равнины.
Простор небес необозрим.
Но этот тонкий лист рябины
Неповторим, неповторим!

* * *

Мне совсем немного надо:
Чтобы ветер целовал,
Чтобы лунною прохладой
Летний вечер обнимал,

Чтоб в жару воды напиться,
В стужу – греться у огня,
Чтобы тот, который снится,
Не сумел забыть меня.

Пусть черемуха знакомо
И любимо с детских лет
Под окном родного дома
Осыпает белый цвет,

Облака плывут, как плыли,
Даль становится видней –
Лишь друзья не уходили б
Из моих летящих дней.

В пору грустную ненастья,
Неизменно приходя,
Пусть душе дарует ясность
Шум осеннего дождя.

А когда судьба назначит
Мне покинуть мир людей,
Надо мною пусть поплачет
Стая диких лебедей.

* * *

Было тихо. Казалось, услышу,
Как в пруду замерзает вода.
О мою вдруг ударилась крышу
Отгоревшая чья-то звезда.

Будет в доме теперь холоднее,
В очаге остывает зола...
Если на небе стало темнее,
Значит, в мире прибавилось зла.

Снова тихо, но нету покоя
От своей, от чужой ли беды.
Ранил душу мне вечной тоскою
Пролетевший осколок звезды.

* * *

Давно чужая вольному веселью,
Я полюбила эту тишину,
И комнату, похожую на келью,
И сумерки, приникшие к окну...

Когда душа припоминает звуки,
Неслыханные прежде на земле,
То зарастает след от черной муки
И зеленеют травы на золе.

Я научилась с тайною отрадой
За каждую слезу благодарить,
Стоять перед зажженною лампадой
И с Ангелом безмолвно говорить.

* * *

За калиткой заглохшего сада
Тонут тени в глубоком снегу.
Там когда-то была я так рада
Поклониться цветам на лугу.

Равнодушно в холодную дрему
Осыпается иней с ветвей...
А в душистой прохладе черемух
Столько счастья сулил соловей!

Неужель это здесь над туманом
Для меня поднималась звезда,
Утешая беспечным обманом,
Будто я не уйду никогда...

* * *

И, может быть, судьба обманет
За то, что верю в чудеса,
И песня петься перестанет,
Но неизменны небеса!

Среди вражды, житейской смуты,
Где только чудом не сгорю,
За безжеланные минуты,
За тишину благодарю,

За то, что в сердце уместилось,
Как сладкий вздох «благослови!»,
Как утешение, как милость,
Пространство, полное любви!

* * *

Из мглы безверья, ниоткуда
Что может счастье предвещать?
Как день без солнца, жизнь без чуда
Не может душу освещать.

Не потому ль среди разлада
С непостижимой высоты,
Как обещание награды,
Слетает властный зов мечты?

И если звезды угасают,
Шепча: судьбе не прекословь! –
У края пропасти спасают
Надежда, вера и любовь.

* * *

Закружатся снеги над землею,
Мне пора настанет уходить.
Тополь с непокрытой головою
Выйдет на дорогу проводить.

И метель закроет взмахом шали
В дорогом окошке огонек.
Унесу в заснеженные дали
Грусти затеплевший уголек.

А когда в чужом краю придется
Мне тоской по дому заболеть,
Я о том, как родине живется,
Попрошу у ветра песню спеть.

И увижу,
лишь глаза прикрою,
Чтобы память вспыхнула светлей.
Голубой весеннею порою
Белый пух, летящий с тополей.

* * *

Наводя весенние порядки,
Воробьи над крышами кружат.
В огороде вспаханные грядки
Целый день на солнышке лежат.

И с утра, качаясь шаловливо,
Только вспыхнет неба бирюза,
У стены лохматая крапива
Так и брызжет зеленью в глаза!

Одуванчики все ждут кого-то,
На траве расселись у ворот.
Хочется, забыв про все заботы,
Убежать в их желтый хоровод.

Глядя на картину

Там серебрится вечер кроткий.
Там неизменны навсегда
И отдыхающие лодки,
И безмятежная вода.

Там облака без сожаленья
Плывут и тают над рекой.
Огни забытого селенья
Сулят надежду и покой.

Смотрю, смотрю неутолимо,
Как будто вспомнить не могу.
Кто ждет меня неутомимо
На этом тихом берегу.

Перед грозой

Что-то станется,
сбудется с нами?

Отчего потемнело
кругом?
И рябина,
бледнея цветами,
Покачнулась
под нашим окном.
Не упавшего ливня тревога
Как предчувствие первой слезы.
Снова замерли мы у порога,
Услыхав приближенье грозы.
Налетит – и покой наш
нарушен.
Что останется
после нее?
Очищеньем спасенные души
Или мрак,
пустота,
забытье?..

* * *

Осуши наши слезы, Мессия,
Ради подвига вечной любви!
Терпеливая матерь Россия,
Мы безумные дети твои.

Твои храмы судили с размаху,
Чтобы гордо стоять не могла.
И ложились безвинно на плаху,
Словно головы, их купола.

Сколько мы, погибая безвестно,
Проклинали свой горестный край!

Забывали молитвы и песни
Под вороний неистовый грай.

На земле возжелавшие рая,
Испытали пылающий ад...
Ждем чего, изумленно взирая
На съедающий души разлад?

Нашей памяти светлые блики,
Подскажите счастливый исход.
Потемнели священные лики,
И разбит драгоценный киот...

Наши слезы осушит Мессия,
Хватит сил у Великой Любви.
Терпеливая матерь Россия,
Мы заблудшие дети твои!

* * *

К торжеству давно готово,
Собирая птичий хор,
В изумрудном и лиловом
Лето вышло на простор.

Будут травы, будут росы,
Хороводы мотыльков,
Даже огненные осы
Затанцуют средь песков.

А сегодня теплым утром,
Где кудрявится лоза –
Золотая с перламутром
Поселилась стрекоза.

Это яркий праздник лета
У него полно затей:
Много воздуха и света,
И таинственных гостей.

Ожидание

В который раз
Листвой заносит
Мое печальное
Крыльцо.
Все чаще снится
В эту осень
Почти забытое
Лицо.
Брожу одна
В продрогшем поле
И тишину
Благодарю.
Опять о нашей
Странной доле
С холодным ветром
Говорю.

Пусть жизнь по капле
Расплескалась.
Назад и звука
Не вернешь.
Ах, мне бы только
Знать осталось,
Что ты когда-нибудь
Придешь.

* * *

Дорога
кроется во мгле,
Но в лужицу
звезда глядится!
Зачем на солнечной земле
Мне было суждено
родиться?

Я – капелька,
но целый мир
Во мне умеет
отразиться.

За жизнь,
за этот горький пир,
Смогу ль
достойно расплатиться?..

ЛЮДМИЛА ЯЦКЕВИЧ

ВОЛОГОДСКИЕ ПОРТРЕТЫ

НЕ ПОТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ

О книге Александра Цыганова «Помяни моё слово»

Недавно вышла из печати новая книга известного вологодского писателя Александра Александровича Цыганова «Помяни моё слово». Название книги – народная поговорка, на первый взгляд, довольно простая.

Яцкевич (Калачёва) Людмила Григорьевна родилась в Череповце. Доктор филологических наук, профессор. Училась в Череповецком пединституте. Работала в Гомельском университете в Белоруссии, затем в Вологодском государственном университете. Автор научных публикаций по языкознанию и вологодскому краеведению, в том числе девяти книг. Участвовала в составлении «Словаря вологодских говоров», «Поэтического словаря Николая Клюева». Её книга «Очерки морфологии вологодских говоров» на областном конкурсе «Книга года» признана лучшим научным изданием. Автор сборника рассказов «Вологодская нива», на которую В.И. Белов откликнулся рецензией «Книга с вологодским характером». Живет в Вологде. Член Союза писателей России.

В «Фразеологическом словаре русского литературного языка» А. И. Фёдорова значение этого выражения так объясняется: ‘будет так, как я говорю, предполагаю, думаю; выражение употребляется для того, чтобы уверить собеседника в правоте своих слов, предположений, мыслей’ [8: 427]. В словаре определено основное значение поговорки, однако в живой речи её смысл может всё время меняться. Наши предположения и мысли о будущих событиях бывают как радостные, так и печальные. Да и говорят эту фразу люди по-разному: или с любовью, или, наоборот, со злостью, или с отчаянием, или с надеждой. Соответственно смысл и назначение этого выражения будет значительно изменяться в разных житейских ситуациях.

Если прочитать книгу А. А. Цыганова да задуматься над тем, о чём же она, то её название окажется вовсе не простым, а очень многозначительным и глубоким. Действительно, выражение «Помяни моё слово» встречается в этой книге несколько раз: в названии всей книги, в названии второго раздела этой книги, в названии рассказа и, наконец, в живой речи героев этого рассказа, старой матери и сына. Для них оно – знак родства, знак их возвращающейся из небытия общей жизни. Таким образом, данное выражение для автора книги очень дорого и является ключевым для всего повествования. Почему? Размышляя над книгой, я пришла к выводу: в этом названии книги, как и во всём её содержании, выражена глубокая мысль о том, что **прошлое, настоящее и будущее едины, неразрывны в сознании и памяти народа, в его языке, в его слове.** Русский народ это чувствует сердцем. Характерная для языка рассказов и повестей А. А. Цыганова насыщенность народными пословицами, присловьями и поговорками так же утверждает эту идею бессмертия народной жизни и его духа, выраженного в своём собственном самородном слове. Автор книги сокровенно передаёт нам, читателям, это единое житие русского народа, умирающего и вновь

воскресающего, вопреки всем невзгодам. Неслучайно Василий Иванович Белов обратил особое внимание на слова старой крестьянки – героини рассказа «Помяни моё слово», сказанные с блаженной радостью после перенесённых ею потрясений: ***«Поди-ко, снова надо жить, раз такое дело»*** [2: 5].

Подобное самочувствие русского народа нашло отражение в письме Ф. М. Достоевского, лично меня поразившем. Оно было написано 22 декабря 1849 года в Петропавловской крепости после того, как писатель пережил публичное объявление ему и другим петрашевцам смертного приговора, после подготовки к казни и неожиданной отмены этого приговора и затем нового приговора к сибирской каторге. Молодой Ф. М. Достоевский нашёл в себе силы в этот же день написать брату: *«Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им всегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не упасть – вот в чём жизнь, в чем задача её»* [3]. Эти мужественные слова нашли отклик в душе Игоря Цыплакова, главного героя повести «Вологодский конвой», после всех испытаний в первые дни работы начальником отряда в колонии усиленного режима. Кульминацией тяжёлых событий стал пожар в библиотеке, где он несколько дней назад увидел бюст Достоевского и взял для чтения его «Дневник писателя». Чудом минуя смертельную опасность, Игорь спасает бюст писателя из пламени. Этот поступок у одних вызывает негодование, у других усмешку непонимания, и только некоторые свидетели улавливают символический смысл его рискованного поступка [9: 340]. У Достоевского Игорь Цыплаков нашёл эти особые слова, что дают человеку силы жить и надеяться даже в самом бедственном положении. Молодой неопытный воспитатель отряда преступников в колонии усиленного режима, подавленный вначале тяжестью тюремного бытия, обнаружил в «Дневнике писателя» и такое обнадёживающее его размышление:

«У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся, но есть, необходимо, и жизнь, вновь складывающаяся на новых уже началах. Кто их подметит и кто укажет? Кто может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания?» [9: 328].

Представление о жизни у православных людей очень широко, а писатель А. А. Цыганов – человек православный. В христианском понимании жизнь человека не заканчивается могилой, после смерти начинается новая жизнь в мире духовном: «У Бога все живы». В вечно живой душе человека всегда ощущается эта невидимая связь с Богом. Поэтому своих героев А. А. Цыганов всегда изображает одновременно в земном и духовном ви́дении. Это проявляется в самом сюжете его произведений (например, в таких, как «Защитник Отечества», «Три свечи», «После дороги», «Под сосною, под зелёною», «Помяни моё слово», «Вологодский конвой»), которые только на поверхностный взгляд кажутся фантастическими и мистическими. Я думаю, это вещее сердце автора видит своих героев и все события, случающиеся с ними, в едином поле пророческого зрения. Критик В. Н. Бараков отмечает: «Его мистицизм – не мистицизм вовсе, просто автор, погружаясь в глубины реальной действительности, творчески познаёт её. Если Рубцов слышал «печальные звуки, которых не слышит никто», то Цыганов оком художника видит печальные картины, сокрытые от простого «житейского» взгляда» [1: 372]. Но и простой «житейский» взгляд обычного читателя нередко начинает несмело проникать вслед за писателем в тайну бытия, но сразу не может переступить грань нового для него, непривычного художественного восприятия, поэтому и задаёт вопросы (мне лично их задавали): «Что это было? Фантазии автора? Или это и на самом деле бывает в жизни?» На эти вопросы я бы ответила так: да, так бывает на самом деле. Только мы часто этого не замечаем, потому что не хотим и боимся заметить. Нас отвлекает суета сует. Именно поэтому мы становимся читателями А. А. Цы-

ганова не сразу, а постепенно – по мере того, как мы учимся внимать своему сердцу и через его око смотреть на жизнь и познавать людей, о которых идёт речь в его произведениях.

Только человек, мужественно прошедший испытание болью и несчастьем, воспринимающий жизнь не только разумом, но и душой и сердцем, способен не испугаться и приблизиться с сочувствием к чужому горю, искренне разделить чужую беду. К сожалению, многим современным писателям такое самочувствие незнакомо. Их нередко увлекает занимательный сюжет и спасительная ирония, от которой не болит сердце. Но не таков стиль произведений А. А. Цыганова. Он откровенно страдает вместе со своими героями, вместе с ними совершает мужественные поступки или ошибается, расплачивается за эти ошибки душевной болью. Его герои во время беды, войны или душевной смуты проявляют невероятную волю к жизни и духовное мужество, чтобы снова жить. И, конечно, все они никогда не теряют надежды. Неслучайно А. А. Цыганов поставил эпиграфом к первой части повести «Вологодский конвой» слова из упомянутого выше письма Ф. И. Достоевского: *«Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте»* [9: 321]. Сохранить дух и сердце в чистоте наставляла Игоря Цыплакова, главного героя этой повести, его мать, когда узнала, что его направляют работать начальником отряда осужденных в колонию усиленного режима. Её материнское сердце чувствовало, какие жестокие испытания ждут сына. Советы матери нашли выражение в народных пословицах: «С совестью не разминуться. ...А добрая совесть – глаз Божий. Ясны очи» [9: 339].

Эта мысль, по-разному выраженная в сюжетах и судьбах героев, звучит во всех рассказах и повестях книги А. А. Цыганова. Обратимся к наиболее запомнившимся образам из его произведений. Главная черта характера его героев, собственно, русская черта,– это духовная сила терпения. Именно духовная сила. Терпению

ведь учит глубокая вера в Бога, в Его Благой Промысл, поэтому святые люди – самые терпеливые. Терпению учит тяжелый труд, поэтому русские крестьяне были самыми терпеливыми. Терпению учит материнство – поэтому настоящие матери самые терпеливые женщины. Терпению учит воинский долг, поэтому верные присяге солдаты должны быть самыми терпеливыми воинами. Терпению учит любовь. Как сказал апостол Павел, *«любовь долготерпит, ... все переносит».* Кто прошел одно из таких испытаний, тот претерпел до конца. А, по Евангелию, *«претерпевший до конца – спасется».*

Что же такое терпение? Святитель Игнатий Брянчанинов так кратко определил его: *«Терпение – дом души, смирение – её пища»* [6: 400]. Значит, нетерпеливая душа – бездомна, а лишенная смирения – всегда голодна. И одно с другим прочно связано. При этом можно иметь деревянный или кирпичный дом, или даже хоромы, а душа при этом все равно будет бездомна. Можно и есть сытно, и гордо повелевать другими людьми, а душа все равно будет голодна! Размышления святителя Игнатия, изложенные в его богословских сочинениях, проистекают из его духовного опыта и христианской традиции. Писатели также приобретают духовную опытность, если их творческий дар обращен к правде жизни, к ее высшему смыслу. Характеры и судьбы героев рассказов и повестей А. А. Цыганова с художественной очевидностью показывают нам, как человек благодаря терпению достигает духовной силы. И, с другой стороны, писатель раскрывает гибельность нетерпения.

Героиня рассказа «Ночью месяц пёк» – бесстрашная терпеливая хранительница родного дома, которая *«с ангельской жертвенностью была готова беззаветно стеречь свой кров от каких бы то ни было несчастий столько дней и ночей, насколько жизненных сил ей было отмерено свыше»* [9: 278]. Образ старой русской крестьянки предельно конкретен, хорошо узнаваем, то есть

типичен для вологодской деревни. Не случайно в рассказе постоянно употребляются местные вологодские слова *(месяц пёк, кирилловская трехрядка, отводок, дювья, баской)* и топонимы родного для А. А. Цыганова Кирилловского района *(Славянка, Иткольское)*. Вместе с тем, это символический образ, ведь автор даже не дал своей героине имени, называя ее или *она,* или *одинокая женщина в белом одеянии.* Как это и характерно для символа, образ этой героини построен многопланово. Пространственный крупный план – это описанная в мелких бытовых подробностях обветшавшая изба старой женщины, заросшая усадьба. В дальнем плане просматривается северная деревня с заброшенными домами, из которой ушли все люди кроме этой одинокой хранительницы родного крова. А дальше воображение рисует всю деревенскую Россию...

Временной крупный план изображает подробно все события тревожной ночи, которая могла быть последней для героини, а значит, и для ее дома, и для всей этой деревни... А потом, может, и для всей крестьянской Руси! Такая мысль формирует дальний временной план изображаемых событий.

Однако, кроме тревожного настоящего и предполагаемого гибельного будущего, в сюжете этого рассказа есть прошлое, картины и события которого проливают свет на происходящее и помогают его осмыслить в духовно-нравственном ключе. Автор не ищет виновных, не берется решать социально-политические вопросы, хотя они невольно всплывают в сознании читателя и вызывают горечь. Автор просто изображает, как шла жизнь в северной русской деревне последние полвека, и беспощадно правдиво показывает тьму и свет крестьянского мира.

Да, вряд ли можно рассказать о сокровенном житии русской деревни чужому человеку!.. А вот писатель А. А. Цыганов сумел рассказать об этом, доверчиво надеясь, что его читатель – свой родной человек, который поймет его. Только все ли его услышат? Ведь чтобы

понять крестьянскую жизнь, нужно терпеливо прожить ее или с любовью прикоснуться к ней. Для этого нужно быть христианином (напомним: имя *крестьянин* произошло от слова *христианин*). Именно такой христианкой была главная героиня рассказа «Ночью месяц пёк». Ее терпение и молитва победило послевоенное ожесточение и дикость мужа, и он стал *хозяином* – так его постоянно называет автор в рассказе. Она победила своим мужеством и духовной силой ночных поджигателей, посланных чужими людьми уничтожить ее дом. Она твердо верит, что Господь ей поможет, и поэтому неустанно молится.

Жизнь русской деревни в XX веке была и страшной, и светлой, потому что она стояла на самой передовой линии духовной смуты. Крестьяне дольше городских жителей хранили в душах веру православную, трудолюбие и терпение, но когда начали их терять, тогда-то и наступили темные времена разорения северной деревни под натиском чужой беспощадной воли. Героиня рассказа – *последняя* хранительница этого истока Руси. Вот это самое страшное. Но не хочется верить, что это последний рубеж. Если народ сохранит дом своей души – терпение, то тем самым сохранит и Россию – наш общий дом. А пока с каждым днем деревня сиротеет все более и более.

Печальная тема трагического сиротства и бездомности современной северной деревни звучит во многих рассказах писателя. Обратимся к рассказу со странным названием *«Ерпыль»*. Это местное деревенское слово с очень древним корнем вряд ли известно городским читателям. В самом конце повествования о горькой судьбе нетерпеливого блудного сына автор дает ему народную оценку: *«ерпыль – так здесь издавна прозывали любую непоседливую натуру»*. Русский народ всегда ценил терпение и порицал нетерпеливых, что нашло свое выражение в его языке. В «Словаре русских народных говоров» отмечено, что у слов *терпение* и *терпеть*, кроме основных значений, есть и другие по-

ложительные оценочные значения: *терпеливый* – значит «пригодный, подходящий к чему-либо, для чего-либо», *терпеть* – значит «сохраняться, не портиться». Но *терпеть* еще значит и «страдать, мучиться», поэтому от этого слова образовались слова *терпеливец и терпеливица* – это «об очень терпеливом человеке». Для обозначения нетерпеливого человека в русских народных говорах есть много слов (*зуда, сулема* и др.), вот и *ерпыль* имеет однокоренные с ним слова *ерпеза, ерпеса, ерпесило.* Все они имеют пренебрежительную окраску. Трагизм бездомности героя, которого автор назвал *ерпыль,* потрясает. Если библейский блудный сын все-таки нашел силы вовремя вернуться в родной дом отца, то вологодский блудный сын спохватился слишком поздно. После многолетних скитаний по чужой стороне он возвращается в родную деревню, но она встречает его не теплом родного очага, а космическим холодом, стылой пустыней и снежной бурей. Героя охватывает тоска, ему страшно внимать вою ветра в этой пустыне: *«перекрывая это вселенское неистовство, и совсем уже неведомо из какой и где уживаемой бездны нет-нет, да и пронзало оловянное пространство надмирным и сиротским плачем незримого малютки, вековечно и одиноко страдающего по обычному, никогда неизбывному участию, нашему теплу»* [9: 265].

Терпение во имя высокого предназначения сопряжено всегда с выдержкой и мужеством. В славянском языке *терпеливый* значит и «сильный, могучий», и «мученический». Именно в таких значениях употребляется это слово в славянском переводе Библии. Именно об этих смыслах терпения повествует рассказ А. А. Цыганова «Под сосною, под зеленою». Его герой, бывший разведчик, ныне одинокий, старый и, на первый взгляд, слабый человек, который *«готов сидеть день-деньской»* в кафе в окружении мужского общества, так как ему после смерти жены отчаянно одиноко *«в своей пустой однокомнатной панельке».* Он не пьет вина, обычно молчит, так как к нему здесь относятся насмешливо и

называют «Слава-разведка». Вот и в этот день шумная компания ему кричит: *«Слышь, разведка? Еще не всех врагов повязал? Колись, боец!»* [9: 121]. Однако именно этот человек в этот же день вечером мужественно защищает свое человеческое достоинство от приезжих жестоких бандитов, напавших на него недалеко от его дома на безлюдной окраине Вологды. Только терпение и выдержка помогли ему справиться с леденящим душу страхом. И в этот момент духовного возвышения на помощь ему приходит сам Господь: *«Тогда-то, не покидая его, словно кто-то неведомый и оказался рядом, чтоб до последнего вместе держаться. И, как будто вживую, заодно добавил спокойствия и сил, чтоб в коленках не дрогнуло»* [9: 127]. Обстоятельства неравной схватки складываются так, что два бандита погибают: один, поскользнувшись, напоролся на собственный нож, а второй, в темноте и в состоянии бешенства,– на толстый сук сосны, под которой происходило нападение на старого разведчика. Третий бандит бросается на ослабевшего старика и пытается задушить его *«славинской родительской тесемкой от нательного креста». «И тут все, что осталось в Славе, ходуном заходило: как-то это было совсем уж не по-русски – последний бой проигрывать»...* И он побеждает, хотя и умирает в этом последнем бою: *«И Слава-разведка, недвижимый, продолжал глядеть высоко вверх, словно отыскавший там, наконец, кого-то самого родного, безотрывно и манившего его отсюда, от этой одинокой сосны на голой зябкой земле,– к себе, в долгожданный покой и отдых»* [9: 134].

При внимательном чтении этого рассказа обнаруживается, что за его сюжетом стоит очень многое, что связывает главного героя с русской православной традицией. Главное – это его способность к терпеливому мужеству. В доказательство привожу мысли жившего в XVIII веке святителя Тихона Задонского о терпении, которое проявляет человек в тяжелых и опасных обстоятельствах: *«Терпение мужественным и непобедимым*

делает человека. Может терпеливый лишен быти всего, ... может убиен быти, но победим быть не может. Ибо крепость его не телесная, но духовная есть: телом побеждается, но духом непобедим бывает, ... и тако над всеми своими врагами духом торжествует» [7: 137].

В творениях святителя Тихона Задонского звучит гимн терпению: *«О! блажени те домы, грады, веси, села и общества, в которых терпение обитает: оно более сохраняет общество, нежели оружие, более защищает град, нежели стены»* [7: 1039]. В рассказах А. А. Цыганова тоже звучит этот древний русский гимн.

Далее обратимся к рассказу Александра Цыганова «Садовник». Это современная притча, написанная с библейской глубиной постижения мира. Писатели и поэты обладают способностью видеть красоту и истину там, где другие проходят мимо, ничего особенного не замечая, кроме картины обыденности. В своё время Гёте кратко определил эту способность так: *«Красота – в глазах смотрящего»* [4: 62]. Христианская эстетика считает: талант видения красоты определяется способностью человека к любви. Выдающийся мыслитель XX века митрополит Антоний Сурожский пишет: *«Для того чтобы видеть красоту человека там, где другие её не замечают, достаточно полюбить его».* И тогда мы не только его внешний облик замечаем, а *«видим сквозь это сияние личности»* [4: 66].

Писатели нередко болезненно переживают уродства нашего мира. Они следуют завету Н. А. Некрасова: *«То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».* Но если безоговорочно опуститься в пучину ненависти, то и любить можно разучиться. Можно и ослепнуть, и красоту мира не увидеть.

В рамках критического реализма этому противоречию не найти решения. Всех нас слишком долго учили только ненавидеть, а любить предлагали фальшивые ценности, поэтому многие из нас утратили чувство красоты. Христианский взгляд на человека открывает

писателям другой путь познания жизни: *«Когда Бог смотрит на человека, Он видит в нём не добродетели или достижения, которых может и не быть, но ту красоту, которую ничто не может уничтожить»* [4: 59].

Писателей, одарённых таким духовным видением, в наше время немного. Один из них – Александр Александрович Цыганов. Сюжет рассказа «Садовник» даёт повод некоторым критикам снова упрекнуть писателя в мистицизме. Но этот термин многозначен и вряд ли подходит для характеристики творчества Цыганова. Писатель использует палитру критического реализма, но это для него лишь вспомогательное средство. Главное, что определяет художественное видение автора и на что постепенно настраивается взгляд внимательного читателя, это его **духовный реализм**. Тот самый метод письма, который был освоен ещё гениальными творцами XIX и XX веков: например, Пушкиным в «Капитанской дочке» и «Пиковой даме», Лермонтовым – в «Демоне», Гоголем в «Петербургских повестях», Достоевским в «Бесах» и «Братьях Карамазовых», Шмелёвым – в «Лете Господнем», Булгаковым в «Мастере и Маргарите», В. Распутиным в рассказе «Наташа».

На первый взгляд рассказ «Садовник» – это всего лишь жанровая зарисовка. Как обычно у А. А. Цыганова, в повествовании всё узнаваемо: улицы, церковь, рынок, набережная, ларьки и киоски города Вологды. Вологжанин смог бы провести экскурсию по маршруту движения главного героя. Реалистически изображены типы горожан, с которыми встречается герой. Зоркий глаз писателя точно определяет характеры людей и создаёт индивидуальные художественные портреты всех участников драмы. Но это всего лишь панорама, на фоне которой и происходят главные события. А дальше включается глубинное измерение души героя и его поступков, то есть выясняется его духовная значимость. Главную роль в раскрытии этой стороны содержания рассказа играет композиция, которая придает повествованию звучание трагической симфонии.

В рассказе используются различные имена и названия главного героя. Сначала он назван нейтрально по фамилии и роду занятий: *Горелов – сторож в кандейке* (в винном магазине). Фамилия и профессия говорят о том, что это человек с неудавшейся и, видимо, трагической судьбой. Об этом же свидетельствует и его внешний вид: *«Под сорок уже, а на вид и того больше: давно не брит, волосы не стрижены, вдобавок еще все старое на нем надето. И пальто, и штаны, и пиджак. А у шапки одного уха совсем нет, оборвалось. Бывает, какую-нибудь зловредную дырку, что совсем на виду, закропаешь, как умеешь, и дальше бегаешь. Может, и рад бы в новое обрядиться, да с такой зарплаты быстро закукуешь. Но это еще ладно, платите хоть вовремя и то бы хорошо. Думают, сторож в кандейке, так уже не человек?»* [9: 234]. Таково первичное поверхностное представление о герое. Для чёрствых и озлобленных людей этого достаточно, чтобы называть Горелова *бомжом, тронутым, дворником-лентяем, гадом*. Даже его гибель при спасении девушки эти холодные люди трактуют как самоубийство и считают: *«пьяница какой-нибудь или с ума человек сошел»*. В городе оказалось мало людей, жалеющих этого неприкаянного жителя Вологды. Однако и продавщица, и старушка в церкви, которые ласково обращались к нему *молодой человек, милок,* не поняли его.

Холод царит на улицах города, он страшен герою, так как у него нет от него защиты. Ещё больший холод царит в людских душах, он-то страшнее уличного мороза. А теперь обратимся к внутреннему голосу героя, обратим внимание на его слова и поступки. Он незлобив, кроток, честен: *«И что с того, если иногда возьмут да бомжом на улице обзовут, сорвется с языка. Не на таковских напали, гореловская порода другая: чтоб с протянутой рукой на люди сунуться, это уже надо особенную натуру иметь. Все нынче на одно лицо – и те, что торгуют на каждом углу, и те, что деньги у каждого встречного без зазрения совести морщат.*

Раньше тоже всяко жили, но ведь этого не было – откуда что и взялось?» [9: 234].

У Горелова, несмотря на страшную нищету и неустроенность, сохранился внутренний духовный стержень, личное достоинство: он не суетится и не вступает в непристойную борьбу за какие-то жалкие бытовые приобретения. Автор повествует: *«...ему давно хватало кружки горячего чая и куска хлеба. Там, где он проживал, о первом и втором мечтать не приходилось: в зареченской коммуналке, как в общем вагоне, если не хуже. К плите не подступиться: очередь с утра до вечера вперемежку с пьянкой на том же месте. Да и без ругани с мордобоем не обходится. Какое домой идти. Вот и сейчас не тянет. Хоть мороз на улице, а лучше по городу пройтись»* [9: 231].

Герой А. А. Цыганова поражает тем, что, постоянно сталкиваясь с уродствами нашей жизни, превозмогает их и выходит «за пределы уродства к иному видению» [4: 134]. Так, грубого, сытого и подвыпившего молодого парня в богатой дублёнке, который его оскорбляет, приняв за нерадивого дворника, он не презирает, не вступает с ним в бесполезный спор, а пытается привести в чувство и говорит добродушно: *«Земляк, я такой же прохожий, как и ты».* Но его не слышат, и это не его вина. «Я бы сказал здесь то же, что было сказано о красоте: уродство – в глазах смотрящего» [4: 134]. Фраза ***«Земляк, я такой же прохожий, как и ты»*** выражает главный жизненный принцип человека, живущего по христианским заповедям. И она по-евангельски многозначна и глубока.

В окружении постоянной несправедливости и грубости душа героя скорбит. Бездна отчаяния звучит в его словах: *«На душе и без того худо. Тошно: как по рукам-ногам связали и в колодец без дна бросили»* [9: 232]. Тем более удивительны и трогательны милосердие и щедрость этого нищего и униженного людьми человека. Никому ненужный в своей горемычности, он, тем не менее, помогает, чем может, всем, кого встреча-

ет на своём пути: утешает растревоженного дедушку, счищает лёд на крутой лестнице, чтобы люди не расшиблись, пытается в церкви передать через служительницу деньги чужой девушке, чтобы она не совершила опрометчивого безрассудного поступка. Особенно поражает милостыня, данная дважды из последних денег, таджикским женщинам, сидящим с детьми на морозе прямо на земле: *«Возле нового магазина в гирляндах цветных шариков и с надписью «Мы открылись!», снова оказалась тоскливая фигура в стеганом полосатом халате со склоненной головой и протянутой ладошкой – голой, потрескавшейся на морозе. Тогда Горелов, сжав зубы, выгреб остатки денег, на глазок разделил пополам и половину сунул нищенке, а после, не выдержав, перешел на другую сторону улицы. И сколько бы он ни старался, так и не услышал, что думали эти полуобмороженные женщины. Наверное, они давно уже ничего не думали»* [9: 235-236]. Все эти поступки тревожат, как-то теребят наши равнодушные души и заставляют устыдиться своей чёрствости. Дважды спасает Горелов встретившуюся ему на рынке девушку-старшеклассницу: сначала от бесчестья, а потом – от смерти. Это юное существо погибало от страсти, типичной для современных школьников: *«Ну, я вам устрою,– бездумно глядя глазами, полными слез, на холодные киосковые стекла, негодовала школьница.– Блин, прикольно: смартфон им жалко купить! Все наши уже по второму сменили, а мне фигу показали: потерпи немного, сейчас не можем! Потерплю, потерплю, не расстраивайтесь: такое вам устрою, потом и рады бы все отдать, да только поздно будет!»* [9: 236]. Горелов спасает бросившуюся под автомобиль девушку, но сам погибает...

Во всех этих событиях последнего дня героя он выходит, как мы уже подчеркивали, *за пределы уродства мира к иному видению.* На обывательском уровне все поступки Горелова кажутся неправдоподобными или бессмысленными. Иные скажут мне: «Таких людей нет! Да и не нужны они вовсе!» Смею возразить: такие

люди бывают и такие люди нужны, так как их личность создана по образу и подобию Божию!

Свидетельствую, что среди моих деревенских родственников были такие люди. Они были готовы взвалить на себя твою ношу, накормить последним куском хлеба, отвратить от беды. Я их помню поимённо. Они победили в страшной войне, многократно совершая подвиг самопожертвования. И сейчас такие люди есть, так как наши современники – от корня тех родных нам соотечественников.

Говорить в заключение такие высокие слова справедливо и уместно, так как весь рассказ-притча А. А. Цыганова пронизан евангельским духом. Читая его, вспоминаешь евангельские заповеди и притчи, например, о лепте вдовы, о блуднице, в которую никто не смог бросить камень, о милостивом самарянине. И, наконец, вспомним о ***садовнике***. Так сам герой назвал себя, по какому-то внутреннему чувству. Так же назвал автор свой рассказ. И это не случайно. Этот человек исполнил многие евангельские заповеди и, таким образом, уподобился Христу, которого в Евангелии символически называют *Господином виноградника* (Лк 20: 9-16), или *Садовником* (И 20:15-16).

А. А. Цыганов удивительным образом передаёт момент подвига-самопожертвования своего героя как очищение от тёмного начала в человеке и полёт души в бесконечное пространство света:

«Но еще раньше, успев все-таки понять, что такое чужеродное сидело в нем,– Горелов уже точно знал, что́ станет делать дальше. И тогда, как будто это услышав, что-то дегтярно-блестящее с ревом вышло из его нутра вон, спасительно освободив душу от непосильной маеты. А он сам тотчас прыгнул, оттолкнув от проезжей части вздрогнувшую школьницу прямо к самим деревьям, что тёплой порой не иначе, как самым настоящим райским садом и не обозвать из-за неизменно благоухающей, буйно-неукротимой зелени...

Горелов видел свое тело с разбросанными руками и разбитой, раздавленной головой, со свивающимися

сосульками красных волос. А следом нечто светлое подняло его уже неосязаемую светящуюся оболочку высоко-высоко, но будто все его, гореловское, светлое, не отставало кричать и кричать, невесомо уходя в запредельные невозвратные дали. ***Только уж если там, на земле, никто не хотел слышать – кто же теперь услышит оттуда – из света?****»* [9: 240].

Последняя фраза выражает горькую истину – мы не видим красоты человека при его жизни. Для этого он должен сначала умереть. Но и этого часто бывает мало.

В рассказе «Садовник», несмотря на его трагический конец, автор снова ясно выражает самую важную для него мысль о том, что есть в нашей современной жизни люди, которые *«с совестью не разминулись»,* не потеряли надежды и сохранили свой дух и сердце в чистоте. Поэтому вместе с писателем А. А. Цыгановым мы уверены: *«Много дней впереди, много и позади. Но помрут и внуки наши, а конца этой песни не дождутся; и, вспомнив теперь всё происшедшее, передо мной будто бы на миг приоткрылось таинство изначальное, и зрятся сейчас слова моего великого Собеседника, – чтоб жить да молодеть, добреть да радоваться!»* [9: 339].

Литература

1. Бараков В. Н. Река невидимого духа // Цыганов А. А. Помяни моё слово: проза наших дней / Александр Цыганов; [ред. В. Н. Бараков] – Вологда: Полиграф-Периодика, 2018.– С. 371–373.
2. Белов В. И. На взлёте // Цыганов А. А. Помяни моё слово: проза наших дней / Александр Цыганов; [ред. В. Н. Бараков] – Вологда: Полиграф-Периодика, 2018.– С. 5.
3. Достоевский Ф. М. Дневник писателя.– М.: Азбука-Классика. 464 с.
4. Митрополит Антоний Сурожский. Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности.– М.: «Никея», 2017. 192 с.
5. Новый завет Господа нашего Иисуса Христа. М.: Издание Московского Данилова монастыря, 2006.– 1152 с.

6. Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский. Творения. Книга 1: Аскетические опыты / Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский.– Москва: Лепта, 2001.– 865 с.

7. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям святителя Тихона Задонского / Схиархимандрит Иоанн (Маслов).– Москва: АОЗТ «Самшит», 1996.– 1180 с.

8. Фёдоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка.– М.: Астрель, АСТ, 2008.– 828 с.

9. Цыганов А. А. Помяни моё слово: проза наших дней / Александр Цыганов; [ред. В. Н. Бараков] – Вологда: Полиграф-Периодика, 2018.– 374 с.

ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА СЕРГЕЯ БАГРОВА

О новой книге писателя «Короткая передышка»

Когда читаешь повести и рассказы Сергея Петровича Багрова, кажется, что ты оказываешься в прибранной с любовью, чистой и светлой горнице, где веет свежий воздух, где душа чувствует особую защищённость и родство с людьми, которые в ней живут. Хозяин этой горницы добр, но и строг, в нём чувствуется уверенность, что всё доброе возрастёт, а всё недоброе – искоренится.

Подобные произведения, эмоционально и духовно воздействующие на читателя и создающие у него особое состояние души, литературоведы называют лирической прозой. Но, как и любой термин, это название очень ограниченно и обобщённо определяет суть подобного художественного стиля. Возникает потребность в конкретной характеристике особенностей мастерства писателя. Именно поэтому мы и начали размышления над его новой книгой с картины – символа того впечатления, которое возникло в нашей душе при чтении его рассказов и поэтических миниатюр. Причём, отметим, что лиризм писателя Багрова связан не только с изображением эмоционального состояния повествователя

или его героев. Источником этого лиризма является то собственно народное самочувствие, которое витает в его произведениях и передаётся писателем неуловимым образом. В наше тревожное и суетное время мы начали терять этот спокойный, добродушный и уверенный тон, характерный для состояния русской души. Поэтому, читая рассказы и очерки С. П. Багрова, начинаешь напитывать своё сердце и ум спокойной духовной силой.

Эта душевная гармония возникает, когда человек чужд суеты ума. Святитель Иоанн Златоуст задавал вопрос: *«Что такое суета ума?»* – и отвечал: *«Занятие суетными предметами».* Далее он поясняет: *«Послушай, возлюбленный! Не дела Божии назвал Екклезиаст суетными, отнюдь нет: не небо суетно, не земля суетна, нет! – Ни солнце, ни луна, ни звезды, ни наше тело. Ибо все это – добро зело».* Златоуст называет суетой погоню за богатством, почестями, гордость, тщеславие, высокомерие. *«Почему, однако ж, это суетно? – Потому что не имеет никакой доброй цели»* [2].

Нет суетности ума у героев рассказов С. П. Багрова, простых жителей северных деревень, сёл и небольших городов. Нет суетности и в самом повествовании писателя о их жизни. Отсюда возникает чувство соучастия к их судьбе, к их миру: как будто встретил на страницах его книги своих родных и близких людей и увидел до боли сердечной знакомые пейзажи своего детства и юности.

* * *

В творчестве Сергея Багрова лирическая проза представлена в различных жанрах: это и лирические отступления от повествования, это и стихотворения в прозе, кроме того, лиризм пронизывает эпические сюжеты рассказов Багрова.

В данной статье мы обратимся к его лирическим миниатюрам, их в книге С.П. Багрова пятнадцать. Как поэт и философ, писатель созерцает Божий мир в самых прекрасных его проявлениях на восходе и на

закате. *«Вечер и утро особенно благодатны»* [3: 17-23]. Его стихотворения в прозе «Божья милость» и «Иду-у» продолжают православную традицию русских поэтов, лирические произведения которых восходят к молитве «Свете тихий» [4: 122-143]. Чистой душой писатель встречает восход солнца июльским утром и благодарит Бога за вновь воскресающую жизнь:

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ

Дивно было увидеть в ночи, как встаёт из земли, без лучей, без сиянья, огромное алое солнце. Такое бывает только в начале июля. Чёрные крыши домов, застывающая листва, пролетевший с мышью в когтях хищный филин.

Нет. Земля не погасла. Не к смерти она подбирается – к воскресению. И спасёт её, как всегда, тихий свет, разливающийся над миром. Православный народ называет его:

– Божья милость...

Молитвенному созерцанию заката лета и начала осени, когда, «есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора» (Ф. Тютчёв), посвящено стихотворение С. Багрова «Иду-у!» [1: 185]. В книге оно напечатано как прозаический текст, однако в нём есть стихотворный ритм, он представляет собой поэтический период, части которого соединяются анафорическим повтором слова *когда*. Весь текст членится на строки, в соответствии с паузами, когда мы делаем остановку и осмысливаем предыдущие строки и готовимся к последующим. Эти паузы при чтении стихотворения совпадают с ритмом нашего сердца и дыхания. Покажем это, записав этот текст поэтической строфой:

ИДУ-У!

Земля прекрасна на закате лета.
Но ещё прекраснее
В плену осенних дней,
Когда вблизи чернеющей реки
Висят, как паруса, прохладные туманы.

Когда сторожко, как карась,
Крадётся по реке не вспугнутое солнце.
Когда, кивая хохолком,
Летит к рябине бойкий свиристель.
Когда на избяном стекле танцуют
Быстрые лучи.
Когда в просторы солнечных полей
Спускается полуденный покой.
Когда, как откровение,
Вдруг открываются ворота неба,
И в них ты видишь чистое лицо
С глазами Бога,
Который тщательно рассматривает нас,
Дабы понять,
Кому он в этот миг всего нужней.
И кто-то с колотящимся от счастья сердцем
Услышит среди сонма звуков
Негромкое, но чёткое:
– Иду-у!

В стихотворении мастерски используется особый приём ритмической композиции, который обозначают музыкальным термином «каденция». Во время каждой мгновенной паузы содержание текста, его смысловая вязь не прерывается, а наоборот, усиливается. Словесный текст закончен, а его смысл продолжает звучать в душе. Всё это создаёт молитвенное настроение при чтении этого произведения.

В творчестве С. П. Багрова есть не только радостные созерцания Божьего мира, как в рассмотренных выше стихотворениях в прозе, а также в подобных им – «Связь» [1: 197], «Лилипуты» [1: 196]. Есть у писателя и горестный взгляд на печальный вид нашей родной матери-земли, брошенной и забытой её суетными детьми. Писатель пристально всматривается, чутко вслушивается и слышит её стон. Именно так называется одна из лирических миниатюр [1: 197]:

СТОН

Неубранный хлеб. Целую ночь он стоял, опрокидываемый метелью.

Унялась непогода к утру. Светло и бело.

По полю от окраины города к алой заре побежала лыжня торопливого человека. Манила его прогуляться по полю девственно-белая бесконечность. Идти бы по ней и идти, принимая душой чистоту и свежесть первого снега, да мешал громкий скрип. Казалось, не снег скрипел под его ногами, а колосья поваленного ячменя, на помощь к которым никто не пришёл, и они, как наказанные, стонали.

Здесь нет прямой критики, как это бывает в публицистике, хотя тема затронута очень злободневная. Но есть боль за родную землю, за уничтоженное рачительное крестьянство. И такая печаль затронет сердце любого русского человека и вызовет ответную боль, что гораздо сильнее и, надеюсь, действеннее публицистических обвинений и упрёков. Таков стиль нашего вологодского писателя Сергея Петровича Багрова!

С каждым годом эта печаль и нешуточная тревога за родную землю нарастает. Одно из стихотворений в прозе так и называется – «Непокой» [1: 238]:

Великое русское поле, поросшее юным лесом, чертополохом и лебедой. Здесь когда-то работали агрегаты, выращивая хлеба. А теперь тишина. Лишь глубокой осенью среди дикой травы, поднимается что-то бывшее, трудовое. Может быть, это тень забытого труженика полей, кого разбудил непокой, и он встал, чтоб понять: будем жить мы на этой грешной земле? Или – нет?

Неспокойная тишина. Неожиданно в лоне её что-то чутко зашелестело, как от лопастей хлебной мельницы, запустил которую тот, кто опять становится хлеборобом.

Неужели такое не сбудется? – спрашиваем себя. И молчим, принимая действительность полным сердцем.

Размышляя над этим небольшим, но проникновенным произведением С. П. Багрова, я подумала, что оно

по духу перекликается в истории русской литературы с эпохальным романом М. А. Шолохова «Поднятая целина». А что если эта заброшенная земля снова станет поднятой целиной?!

Да, конечно, сейчас иные времена и иные беды, но всё та же русская земля и всё тот же русский характер... Рано их проклинать и хоронить! Именно поэтому русская литература, как плодородная почва, по-прежнему рождает новых и новых писателей, верных сынов своего Отечества.

Мы внуки земли и огню родичи,
Нам радостны зори и пламя свечи,
Язвит нас железо, одежд чернота,
И в памяти нашей лишь радуг цвета.

(Николай Клюев)

Литература

1. Багров С. П. Короткая передышка: рассказы и очерки / Сергей Багров.– Вологда: Сад-огород, 2019.– 359 с.

2. Иоанн Златоуст. Толкование на послание к эфесянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино-польского, в русском переводе. Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1905. Том 11. Книга 1. С. 5–218.

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_67/12

3. Флоренский П. А. Сочинения: в 2 т. Т. 2: У водоразделов мысли / П. А. Флоренский.– Москва: Правда, 1990.– 447 с.

4. Яцкевич Л. Г. Православное слово в творчестве вологодских писателей. Науч. ред. В. Н. Бараков.– Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019.– 388 с.

«ПОЛОН МИР НЕСБЫВШЕЙСЯ ЛЮБВИ»

(Размышления о поэзии М. И. Карачёва)

Все дарования без любви – ничто (1 Кор. 13, 1-2). Этими апостольскими словами можно определить духовное и художественное мерило русской поэзии. Автор,

переступивший эту черту и утративший способность любить, теряет эстетический вкус и нравственное чутье. Светоносный алмаз превращается в черный уголь.

Сама любовь – дар Божий, гораздо более высокий, чем дар поэтический. «Бремя мое легко»,– говорит нам Господь. Но сами-то мы слабы бываем, чтобы нести это бремя. Остается в душе только желание любви. Но любовь Божия вечно с нами пребывает. Об этом нам напоминают, прежде всего, христианские песнопения, а также русская поэзия, которая, по слову Н. В. Гоголя, вся пронизана духом Евангелия, Благой вестью Господа. Мне дорого стихотворение В. Соловьева, которое перекликается со словами апостола Павла и вселяет надежду:

Люди живы Божьей лаской,
Что на всех незримо льется,
Божьим словом, что безмолвно
Во вселенной раздается.

Люди живы той любовью.
Что одно к другому тянет,
Что над смертью торжествует
И в аду не перестанет.

Тогда почему же земная жизнь человека полна трагизма? На этот вопрос другой поэт отвечает так: «Полон мир несбывшейся любви».

Это удивительно емкая по смыслу поэтическая строка из стихотворения Михаила Ивановича Карачёва [1: 16]. Ее духовная и художественная сила основана на парадоксальном содержании. С одной стороны, *несбывшаяся любовь,* а *не сбыться* – значит не осуществиться, не исполниться (о чем-либо предполагаемом или желаемом). А с другой стороны, *полон мир ... любви.* Однако такие аналитические рассуждения могут разрушить поэтическую мысль, которая всегда основана на смысловом синтезе и глубоком чувстве, а потому органична. Чтобы понять эту мысль нужно прислушаться

к голосу души, который начинает звучать при чтении этого стихотворения:

Ветер дул. Осины на погосте
Трепетали в счастье молодом.
Что сказать? В село пришли мы, гости,
А родня заснула вечным сном.

Ветер дул. Сияя над погостом,
Грозовая высилась гряда.
Здесь в холме покоятся лишь кости.
Где та жизнь? Отстала навсегда.

Ветер сник. К далёким перелескам
Отошла небесная гряда.
Где та жизнь в её покорном блеске!
Где та жизнь? Замолкла навсегда.

Что желать? О чём молиться Богу?
Полон мир несбывшейся любви.
Не зовите в долгую дорогу.
Никого не вижу впереди.

Только здесь могильные перины
Будут ждать покоя моего.
Слышу, слышу в радости незримой
Голоса отставших далеко.

Только здесь, в молитве одинокой,
И далёким воздухом дыша,
Голоса, отставшие далёко,
Будет ждать забытая душа.

Всегда возникает чувство вины перед умершими. Всегда кажется, что мало их любил, был черств, не понимал их, не ценил... Но, несбывшаяся любовь, прерванная смертью, может полностью осуществиться уже не здесь, а в мире ином. Ведь у Бога все живы. Лирический герой стихотворения и сейчас, этим ветреным осенним днем, и здесь, на родном пепелище, у этих родных могил, слышит *«в радости незримой голоса отставших далеко»* и молится, *«далёким воздухом дыша»*. Действительно, такое поэтическое чувство – сродни молитве.

Если задуматься над поэтикой этого стихотворения, то поражает её родство с древней поэтической картиной жизни и смерти. В тексте проступает мистический сюжет восхищения души из этого мира в мир иной. Этот сюжет, в котором восхищение души противопоставлено смерти, зародился в античной культуре, а затем был воспринят христианскими мистиками. Он связан с символами ветра и грозы. История этого сюжета и его символов в мировой культуре прослеживается о. Павлом Флоренским [3]. Рассмотрев различные произведения античной литературы и библейские тексты, он пишет: *«Незримый, неосязаемый и, однако, могучий и порою всесокрушительный порыв ветра, конечно, есть символ наиболее сродный потусторонним силам, врывающимся в мир житейского попечения и восхищающим отселе человека в миры иные. Вот почему едва ли не каждая мистическая система включает в себя и понятие о таинственном порыве нездешнего дуновения»* [3: 162]. В 99 псалме «действие Духа Божия уподоблено движению ветра или движению на крыльях ветра, чтобы показать, что это действие – невещественно, вполне духовно» [2: 547].

В стихотворении М. И. Карачёва символ ветра встречается в трёх строфах из шести, а о восхищении души лирического героя в мир любящих и любимых свидетельствуют фразы: *Осины на погосте / Трепетали в счастье молодом ...; Слышу, слышу в радости незримой / Голоса отставших далеко ...; ...далёким воздухом дыша.*

Поэтическое восхищение души – сила, побеждающая смерть. Однако о. Павел Флоренский предупреждает: *«Для человека, мистически одарённого ... и видящего пред собой силы и знамения иного мира, подумать, что духовных дарований самих по себе достаточно и что большего ничего не требуется для спасения,– очень привлекательно».* При этом может возникнуть *«повод для величайшего соблазна»* [3: 185]. Поэты опасно ходят. Это их особенность.

* * *

Кроме смерти, бывает и иная разлука, мешающая осуществлению любви. Это трагедия двух любящих людей, утративших взаимопонимание и доверие друг к другу:

Не унижай меня неправдой обо мне,
Непониманием праведным не мучай.
И как понять, что вечное – не случай.
Вот почему и тягостно вдвойне.

О, если б мог на равный разговор
Тебя я вызвать из твоей гордыни,–
Какой бы бездной отозвался хор,
Далёкий и безмолвствующий ныне!

Далее поэт опять обращается к мысли о том, что только в этом мёртвом мире любовь может быть несбывшейся, а в мире истинной любви – она вечно жива:

Так мира мёртвого спадает оболочка,
Хотя б на миг, но явственно понять,
Что вновь дана бессмертная отсрочка
Ещё любить, ещё тебя обнять.

В этом удивительном стихотворении В. И. Карачёв продолжает традиции русской духовной поэзии, утверждающей бессмертную силу любви.

Смерть и Время царят на земле,–
Ты владыками их не зови:
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Эти ставшие крылатыми строки о любви написал В. С. Соловьев. Этот же мотив несбывшейся земной любви и любви вечной звучит и в стихотворении Н. М. Рубцова «Цветок и нива», которое заканчивается такими словами:

Взойдёт любовь на вечный срок,
Душа не станет сиротлива.
Неувядаемый цветок!
Неувядаемая нива!

Следуя библейской традиции понимания любви (Пс. 102, 15), земную жизнь человека поэт уподобляет полевому цветку, который быстро отцветёт и завянет. А вечную душу поэт называет *«неувядаемым цветком». «Неувядаемая нива»* – это жизнь будущего века, наполненная бесконечной любовью».[1]

М. И. Карачёв также прозревает это состояние осуществившейся в вечности любви:

Мы уснём, как потухшие свечи.
Пусть над нами сгущается вечность,
Вольный ветер свистит за стеной,–
Сладко спать у любви за спиной.
.....
Мы когда-нибудь выйдем из плоти,
Нас отпустит закон тяготенья.
Отыщи меня в мёртвом полёте,–
Я заплачу тебе из забвенья.

Но и в этих стихах, в последней строке, звучит печаль о несбывшейся земной любви. Ведь истинная любовь – это всегда жертва, а все мы так мало жертвуем, и так много просим. А потому возникает сердечная боль – чувство вины и покаяния перед близкими людьми, любившими нас, и перед родиной, взрастившей нас:

Зачем я жду сердечной укоризны,
Вернувшись в юность, в дальнее село,
Где жизнь прошла, как ожиданье жизни.
Здесь сверстники состарились давно.

Где этот зов живой сердечной воли,
Влекущий в даль, в мерцающий поток!
И почему виденьем чистой боли
Не исчезает матери платок?

---

[1] Об этом стихотворении более подробно в нашей статье «Взойдёт любовь на вечный срок...» Христианский идеал любви в поэзии Н. М. Рубцова // Н. М. Рубцов и Православие. Сб. статей о творчестве Н. М. Рубцова.– М., 2009. С. 307–316.

Особенно примечателен конец этого стихотворения, свидетельствующий о душевной тонкости поэта, его духовном зрении:

Ещё чуть-чуть – сожнётся поколенье,
Спрессуется как бессловесный прах!
Так почему не ужасом, не тленьем,–
Я откликаюсь радостью на страх!

Этим душевным состоянием, которое можно только почувствовать сердцем, но трудно передать обычными, непоэтическими, словами, проникнуты и другие стихотворения М. И. Карачёва. Например, в стихотворении «Это хрупкое время не право...» путник возвращается домой по лесной дороге *«и выходит к родимому берегу, к деревушке за тёмной рекой».* А затем звучат пронзительные строки о том, что чувствовал человек, в непогоду вернувшийся после многих лет скитаний на оставленную когда-то родину:

Над стремниной тягучей, глубокой
Трос качается, лодка скрипит,
И по сердцу скользит одиноко
Одинокость прибрежных ракит...

А в лесной затаённой округе
Над забытым жильём, над рекой
Вырастает слепящая вьюга,
Оглушая высокой тоской.

И забвенья беспамятный холод
На безудержно тёмной волне
Рвёт и треплет слабеющий повод
В ненадёжном скрипящем челне.

Отчего же восторженным стоном
Вырывается вздох из груди
И, сливаясь с окрестностью, тонет,
Окликая в кромешной дали!

Следует отметить, что по силе трагического звучания стихотворения М. И. Карачёва близки к поэзии Ф. И. Тютчева, например, к таким его строкам:

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами –
Вот отчего нам ночь страшна!

Это же видение тёмной бездны забвения и хаоса, хождение по её краю в поэзии М. И. Карачёва. От падения в неё спасает только любовь, теплота которой согревает душу и рождает в ней искру радости и надежду на Жизнь Вечную:

Пусть во тьме осыпаются маки,
Пусть утихли порханье и свет,–
Перестаньте тревожить и плакать!
Ничего здесь погибшего нет.

Всё, что умерло,– рядом таится.
Всё имеет и душу и свет,
И ночными глазами глядится,
Излучая незримый привет.

Живое человеческое сердце, полное любви, светит во тьме и преодолевает смерть.

Литература

1. Карачёв М. И. «Отпусти меня, жизнь, по течению вверх...» Стихи.

2. Литературная Вологда – 2015. Альманах вологодских писателей.– Вологда: «Полиграф-Периодика», 2015.– С. 7–22.

3. Святитель Игнатий Брянчанинов. Таинственное объяснение 99 псалма // Святитель Игнатий Брянчанинов. Творения. Книга вторая. Аскетические опыты. Слово о человеке.– М.: «Лепта», 2001.– С. 544–552.

4. Священник Павел Флоренский. «Не восхищение непщева» // Сочинения в четырёх томах. Том 2. М.: «Мысль», 1996. С. 143–188.

ПОЭТ АЛЕКСАНДР РОМАНОВ О ДУХОВНОМ РОДСТВЕ РУССКОГО НАРОДА

Святая Русь и в XX веке не погибла! Она жила в глубинном самочувствии русского народа, душа которого осталась живой, несмотря на все адские перепутья новейшей истории. Произведения наших писателей свидетельствуют об этом.

Александр Александрович Романов в 90-е годы с возмущением протестовал против огульного очернения нашей жизни советского периода: *«Это было в эпоху коммунизма» – так, похихикивая, говорят уже о годах, прожитых нами».* И далее писатель поясняет, почему он против осмеяния этих лет: это было время, когда жили и творили наши писатели-подвижники русской литературы, смелые и мужественные люди: «*...О годах, прожитых вместе с Шолоховым и Твардовским, а если взглянуть поближе к нам, то вместе с Фёдором Абрамовым, Александром Яшиным, Сергеем Орловым. Уж этих-то мужественных и талантливейших людей никак не упрекнёшь в раболепии или в слабости духа. Они были из кремнёвой породы. Жили своим умом. Горели своим огнём. Шли к людям с добром. И рано оборвались их жизненные пути...*» [1: 282–283].

Слов «Святая Русь» почти не встретишь в поэзии второй половины XX века, однако многие поэты относились к России как к самой главной для них святыне. Александр Александрович Романов вспоминает начало эпохи чудесного воскресения Руси:

«Вспомнилось мне, как однажды вечером (10 июня 1988 г.) слушал я по радио праздничный концерт из Большого театра, посвящённый 1000-летию крещения Руси. Какая музыка, какое пение! Больше трёх часов сидел, не тронувшись с места, всё слушал, слушал,– и всё было мало! Кажется, впервые душа соприкоснулась с музыкой веков и обрела простор милосердия,

покаяния и небесной чистоты. Как я жалел, что моя мать не дожила двух годов до этого дня, когда голос Русской Православной Церкви зазвучал по всенародному радио, и вся Россия на эти три часа превратилась в немыслимо огромный и образно засиявший храм нашей тысячелетней Веры! Как бы счастливо плакала мать и крестилась, и замирала исстрадавшейся душой своей от света долгожданного праздника!..» [1: 284].

В те торжественные минуты возвращения к Богу А. А. Романов глубоко проник в самую суть православного самосознания русского человека:

«Да и сам я, уже седой человек, слушая духовную музыку, проникся неведомой дотоле глубиной и высотой нравственного самопознания, ощущая, как теснятся во мне сумерки заблуждений и как пресветло – радостно вливается взамен откровение земли и неба, человека и Бога, мига и вечности» [1: 284].

Не забыл писатель и самого важного в нашей православной вере – покаяния и исповеди, без которых невозможно очищение души и её возрастание, и без которых у нас нет возможности приобщиться к Святым Христовым Таинствам. А. А. Романов пишет:

«Во мне возникло страстное желание покаяться в ошибках, которые уже были забыты, а тут вновь открылись во всей своей неприглядности; стать добрее, терпимее, милосерднее к людям...

И подумалось мне: христианская исповедь и молитва – это вечное развитие души к лучшему своему состоянию, это бесконечное самоусовершенствование человека, его каждодневный духовный рост в высоту добра, совестливости и житейской праведности...

Я слушал духовную музыку и плакал радостно, просветлённо, самоукоризненно...» [1: 284–285].

В древнюю Вологду в эпоху возрождения Православной веры вернулся колокольный звон. А. А. Романов посвящает этому событию своё стихотворение «Колокола»:

Звон вечевой, извечный
Замкнули на замки
И ложью, как увечьем,
Связали языки.

Но время шло... Расторглась
И расточилась мгла.
Слышь – будто правды возглас –
Гудят колокола!

В сознанье нашем тусклом,
Как вихри в тупике,
Поют на древнерусском,
Забытом языке.

В порыве удивленья
Кипят у стен седых
Людские поколенья,
Не слышавшие их.
...

[1: 109]

Поэт создаёт поэтический образ родной Вологды как города святорусского, основанного в древности преподобным Герасимом:

Изначальная Вологда
Над рекою взросла.
Из секиры и молота,
Топора и весла.

У монаха Герасима
Крест потел на груди:
Что ни ель, то орясина –
В небо храм возводи!

Он с мужицкой упрямостью
Выбивался из сил
И с молитвенной радостью
Подвиг свой завершил.

Вот по зареву красному
Выплыл с церковки звон.

Шли молиться к Герасиму
Люди с разных сторон.

Осенял их двуперстием
И молиться учил.
И в оконца божественно
Проливались лучи.

Стихли черти и лешие,
Освятились пути.
По всему побережию
Стали избы расти...

Так и ширилась смолоду
Над рекой слобода,
Чтобы вырасти в Вологду
Для молитв и труда.
... [1: 110]

Лики Святой Руси поэты прозревают не только в истории отечества, не только в природе, но и в людях – своих современниках. Вологодские писатели создали целую галерею образов простых тружеников-крестьян, сохранивших в своих характерах и судьбах православные нравственные основы. Это терпеливые, мужественные, правдивые герои Василия Белова, Ольги Фокиной, Александра Романова, Александра Цыганова и других. Так, в героине стихотворения А. А. Романова «Божатка» мы узнаём своих родственниц старшего поколения – жительниц вологодских деревень, которые, сами не зная того, являлись хранительницами Святой Руси, её нравственной чистоты, бескорыстия и сердечной открытости:

Есть в деревне у нас божатка –
Так мы родственницу зовём –
Приезжай хоть ночью, хоть днём,
С кем угодно – накормит сладко.
Удивляться не перестану:
Голова уж белым-бела –
Столько стужи пережила,
А в глазах, конечно, усталых
Неизбывно ещё тепло.
[1: 149]

* * *

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычёв свою книгу «Самодержавие духа. Очерки русского самосознания» начал словами святого Иоанна Кронштадтского: *«Перестали понимать русские люди, что такое Русь! Она есть подножие Престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский».* И далее митрополит Иоанн Снычёв продолжил мысли святого: *«Эти слова всенародного российского пастыря, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского как нельзя более злободневны сегодня, когда решается судьба Отчизны. Наше будущее зависит от того, сумеем ли мы ныне восстановить историческую преемственность русской жизни, осознать себя продолжателями великого русского дела, хранителями и защитниками духовных сокровищ тысячелетней российской истории»* [2: 7].

Поэт Александр Романов один из тех, кто глубоко осознал себя продолжателем этого великого русского дела. Он был уверен, что мы не сможем обрести себя без духовного единения с народом, с его самосознанием в прошлом и настоящем. Его стихотворение в прозе так и называется – «Обретение себя»:

«Я вскинул взгляд в надвратное пространство алтаря и замер от пронзившего меня взора Богородицы. Огромные глаза, таившие счастье и муку материнства, казалось, вопрошали с высоты: ***понимаю ли я жертвенную благодать жизни****? И неотступно ширясь передо мной и во мне, эти глаза видели всю мою потайную сущность, и я, может, впервые так тревожно цепенел, стоя перед неотвратимым ясновидением.*

И белые блики, всё более сиявшие из глубины тёмных зрачков, и задумчивая молитвенность лица, обрамлённого лиловым хитоном и склонённого с живым участием ко мне, как и к любому, входящему в храм – вся эта озарённость Богоматери с младенцем Иисусом на руках была пронизана ***тёплыми кругами восходившей во мне радости.***

И я жарко перекрестился. И сразу услышал голос моей покойной матери, словно бы очутился вблизи неё. Я оглянулся вокруг себя на молящихся женщин и понял, что все истово молящиеся страдалицы похожи на мою бедную мать. И лицо её пригожее, чистое, сиявшее от молитв, которые я слышал с детства, из памяти обернулось как будто въявь, и я увидел свою мать, стоявшую перед иконой Божьей Матери с зажжённой свечкой в руках. И воскрес во мне её голос, и слышал я, как она поминала всю нашу родню – начиная с моего отца, убиенного на Отечественной войне, родителей своих, и всё шире и далее охватывала поимённо ***наше великое крестьянское родство*** *...*

Так смала я запомнил свою молящуюся мать, от неё запали мне в душу и в сознание родственные имена вплоть до третьего колена с отцовской и материнской стороны.

И любо мне было чувствовать себя в таком широком и добром круге родства. И сам с годами, и мои сыновья, а теперь и внуки – все мы обретаем в нём своё место [1: 158].

Мысль о духовном родстве людей пронзила сердце писателя в храме. Такое случается в храме со всеми, кто пришёл туда с чистой душой.

* * *

В современную эпоху разорения деревни и крестьянской культуры народные поэты считают своим главным поэтическим долгом напомнить об исконном соборном единстве русского крестьянства и стать его хранителями. Поэтому тема духовного родства является для них самой главной. А. А. Романов прямо об этом заявляет в своем стихотворении «Тыщи лет»:

Я – писец опустевшей деревни,
Но лари моих дней не пусты.
Чем древнее слова, тем согревней,
И стихи ткутся, будто холсты.

Я искатель своих родословий
И туда сквозь века проберусь,
Где на пашне Микула весёлый
Обнимал краснощёкую Русь.

И в земле неторёной, раздольной,
Петухами ещё не воспет.
Воссиял из мужицких ладоней
Над холмами тесовый рассвет.

Я в пути с тех времён и доселе –
Тыщи лет моя память жива.
И в лукошке моём для посева
Золотого отбора слова.

[1: 71]

А. А. Романов считал, что беды XX века в России связаны с тем, что крестьяне утратили *«вековую власть мужицкого родства»*. Эти горестные мысли пришли к поэту при чтении романа Василия Белова «Год великого перелома»:

РАЗДУМЬЯ
над романом Василия Белова «Год великого перелома»

Оглянусь и знобко стыну:
Век двадцатый позади...
Мне, земли российской сыну,
Брать ли поприще судьи?

Упрекать ли Русь родную
За её разбитый путь?
С ней беду перебедую,
Не сбегу куда-нибудь.

Память родины нетленна!..
Широко у нас росло
И до третьего колена
В семьях правило родство.

Девок сватали не с ходу –
Не за голый батожок,

А к значительному роду
И на хлебный бережок.

А, случись, беда какая,
То с надеждой на Христа,
Выручала вековая
Власть мужицкого родства.

...Эти древние уставы
Мы, отступники, сожгли.
Мы предателями стали
Святоотческой земли.

И чужая власть и нежить
Всю Россию растрясла...
Где же Родина? И где же
Колесо того родства?

А оно, попав под выброс,
Выбилось из борозды
И, ломаясь, покатилось
Мимо поля и избы.

Покатилось с громом, с треском
Из родимых палестин
В причитанье деревенском
В раскулаченную стынь...

И поныне те злодеи
Рвутся к власти неспроста.
Что ж мы в горе холодеем?
Встанем,
Встанем в круг родства!

[1: 88–89]

Услышит ли этот призыв поэта нынешнее поколение? Будет ли для них дорога соборность, основанная на православном единстве русского народа и его любви к Отечеству?

Народные писатели – *«вещие Бояновы сыны»* (Н. Клюев), несущие своим православным словом благую весть о том, что сила народа заключается в его соборном единстве. Следуя этому правилу, русское искусство

созидает нетленную Россию. Об этом А. А. Романов написал такие пророческие слова [1: 81]:

...Летят всё круче годы,
Туманами струясь.
Куда же Русь уходит?
А Русь уходит в нас!
Сквозь бури революций,
Сквозь оттепель и стынь
Уходит, чтоб вернуться
На свежие холсты. ...

Литература

1. Романов А. А. Последнее счастье. Поэзия. Проза. Думы.– Вологда, 2003.– 263 с.

2. Митрополит Иоанн Снычёв. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания.– СПб., 1994.– 349 с.

«СЛОВА ЛЕЖАТ В ГЛУБИНАХ РУССКИХ РЕК...»

О поэтическом созерцании мира в поэзии Алексея Шадринова

В христианской традиции существует установка *на соборное единство и простоту знания и слова,* которые основаны на *единстве мира в Боге как его Творце.* Истинное знание о мире человек получает только по благодати Божией – как откровение. Поэты и писатели это знают. Поверим А. С. Пушкину, который считал: *«Гений с одного взгляда познаёт истину».* О соборности русского слова, его сокровенной глубине и слитности «с могучим Словом, зиждущим Дела», писал наш молодой белозерский гений Алексей Шадринов:

Слова лежат в глубинах русских рек.
Они не умерли, они заснули.
Их разбудить лишь может человек,
И оживет тотчас стозвонный улей.

Певучих, тяжких, как колокола,
Как монолиты каменные слитых
С могучим Словом, зиждущим Дела ...
Пусть не молчит полуистлевший свиток,
Что молодость у Леты обрела.

Да, пусть не молчит искреннее русское слово! Но сколько мучений и боли душевной нужно перенести, чтобы отринуть беснование плюрализма и пустоту ярлыков и штампов:

Когда в трудах бессмысленных горю,
Я, ежечасно исторгая стоны,
Себе ли в утешенье говорю:
Минует день, печалью населенный!..

Хоть для меня слова мои – не бронь,
Пощада их ко мне неудержима,
Но боли несмолкающий огонь
Горит в моей душе неистребимой.

Бесценным даром Православия русской культуре являются слова и речения, которые в своих особых значениях передают духовный опыт подвижников благочестия, истинных вождей народа. Писатели этим щедрым даром пользуются. ***Радость*** – одно из таких духоносных слов. В. В. Розанов своим страдающим сердцем особенно часто прозревал высокий смысл подобных слов, поэтому именно ему принадлежит афоризм: *«Радость – слишком царственное чувство».* Действительно, это слово пропитано вдохновением молитв, акафистов, многих христианских песнопений, славящих Бога, Богородицу, святых. Так, в одной из утренних молитв Василия Великого содержится прошение о даровании *«нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития нощь прейти»,* и тогда мы *«в радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную».* В покаянном каноне, обращённом к Богородице,

мы просим: *«Исцели, Чистая, души моей неможение. ... Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость».*

Радость духовная – нетленна. Именно так её понимали святители: радость – это духовное состояние освобожденного от греховности любящего сердца, прикоснувшегося к вечному миру Божьей Благодати. *«Блаженства ли хочешь? Всякое блаженство у Меня»* – говорит нам Иисус Христос.

Не имея совершенной радости на земле, мы выбираем один из трёх возможных путей. Первый путь – это путь подмены (развлечения, праздники, а в худшем случае – пьянство и даже наркотики, убивающие душу и тело), после которых возникает сердечная пустота, иногда смертельная ... Второй путь – унылая дорога разочарований и глубокой печали без всякой надежды, также губительная смертельно. И наконец, третий, царский путь, идя по которому человек, хотя и видит всё несовершенство мира, хотя и печалится всеми его печалями, но мужественно и терпеливо ищет дорогу к Богу и Его благодатной радости. Этим путём шёл одиноко наш белозерский поэт Алексей Шадринов:

Я даже очень весело живу,
Со мной всегда безмолвный собеседник,
Копчу ли небо, мну ль в лесу траву,
Иль слушаю церковную обедню.
Ну что с того, что так я одинок,
Зато никто устоев не нарушит.
Уже в июне скошен мой цветок,
И шмель напрасно над поляной кружит.

Взойдет ли стон, и вырвется ли крик –
Не будет внят никем из шумной стаи.
О плоть моя, сгори и растворись –
Я не виновен в том, что неприкаян!

Я не обижусь в тихости своей
И, отупев от взглядов равнодушных,
Я с каждым днём грустней и тяжелей
От праздной силы, больно рвущей душу...

Радость духовная, к которой так стремятся чистые юные души поэтов, но которую так трудно понять в холоде равнодушия в земной жизни, и есть та *«праздная сила, больно рвущая душу».* Удивительно, как близко по сердечному чувству это стихотворение юного А. Шадринова к знаменитому стихотворению «Ангел» семнадцатилетнего М. Лермонтова. Кажется, что это стихотворение о нашем поэте и о таких, как он:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Поэтика стихотворений Лермонтова и Шадринова, безусловно, очень различна. Но мысль у них одна: радость – слишком царственное чувство. Она даётся поэтам как благодатное воспоминание среди земной печали за их любящее сердце, так как *«радость и любовь неотделимы».*

* * *

Разные поэты – неповторимые индивидуальности, но все они имеют особое духовное зрение, которое раскрывает перед ними мистический смысл вечера, ночи

и утра. Подобное восприятие времени характерно и для поэта Алексея Шадринова. Одинокий странник во мраке ночи ожидает чудесной встречи с Вечностью, ждёт прихода Света Невечернего:

Сквозь многий мрак, ветвистый и густой,
Струясь, в лесах четвёртый ветер рыщет.
Луна явилась бледной наготой,
И тени мирные легли на городище.

Твой взор к преддверьям вечного приник,
Там продолжалось звёздное круженье.
Ты слышал стонущий гусиный крик,
Как сталь архангела во мгле весенней.

Недолгий стан разбив среди холмов
На берегу серебряной и мглистой
Чужой реки, оставленный свой кров
Ты понимал восторженностью чистой.

И было страшно в майской синеве,
Как под мечом готовящейся мести,
Предвосхищая эосовый[2] свет,
Багряный луч блуждал по поднебесью.

Ты был утешен – странник у костра,
С заката глаз бессонных не смыкая.
Была звезда туманная остра,
Пустующий зенит пересекая.

Лирический герой этого стихотворения растворился в тёмных глубинах природы, напряжённо ожидающей наступления Зари, Света, появления Утренней Звезды и освобождения от тяжести ночного мрака. Поэт смог передать то, что возможно передать только музыкой! Тайной остаётся, как мог восемнадцатилетний поэт создать стихотворение, наполненное глубокими библейскими образами и смыслами так же проницательно, как это мы видели и в поэтических произведениях Н. Клюева и А. Ганина!

---

[2] *Эос* – в греческой мифологии богиня утренней зари.

Читая и перечитывая это стихотворение А. Шадринова, я вспомнила подобное поэтическое описание ночи у Павла Флоренского. Совпадали эти описания не только по внутреннему настроению, но даже в деталях – тот же далёкий костёр в ночи, звезда Вечерняя и звезда Утренняя... Но то, что было выражено у молодого поэта прикровенно и только угадывалось, у духовного писателя выговаривалось открыто эмоционально и явно: *«Порою, вечерами бродил я по холмам и лугам. Набегающая прохлада заката омывала душу от волнения и тревоги. Вспоминалось о том первозданном ветерке вечернем, в котором и которым говорил прародителям Создатель их; и это воспоминание пробегало по спине прохладным восторгом. Полузабытое и всегда незабвенное золотое время Эдема, как отлетевший сладкий сон, вилось около сердца, трепетало, задевало крылом – и снова улетало, недоступное. Грустилось о былом, былом в веках и где-то вечно живом, живущем и доныне; и благодатная грусть сливалась с влажным сиянием Звезды Вечерней, такой бесконечно далёкой, светящей из прозрачных изумрудовых бездн, и такой близкой, заходящей в сердце. Где-то вдали мерцала пастушья теплинка. И милой была она. И милыми были все сидевшие возле. И как ранее, в Звезде Утренней, так и теперь, в Звезде Вечерней, сердце любило – Кого-то».*

Другое стихотворение А. Шадринова «Утро Пасхи» наполнено радостной вестью о воскресшем Христе, который *«Вездесущ и незрим, с колокольным каноном грядет».* Здесь, в этом светлом стихотворении, поэт, пропуская через глубины своей души образы природы, описывает исчезновение мрака, появление зари и наступление радостного утра Воскресения Христа:

В дыме почек зелёном, в тяжелом весеннем дурмане,
Укрывается ива, и жизнью овеян покров,
И едва различимы средь сумерек мягких, в тумане,
Проявляются крыши тяжёлых, дородных домов.
Я восстал из уснувших, едва заплескало рассветом,

А над церковью Пасха, над кровельным цинком плыла.
Восславляем Христа! И кресты возглашают об этом
Сизым галочьим роем. Туманы несут кадила...
Осветляются веси, кармином восток занавешен,
Замерцали луга светом инистых бледных бород.
И вторгается в грудь неуёмная весть, что Воскресший,
Вездесущ и незрим, с колокольным каноном грядёт.

У И. А. Бунина есть стихотворение с подобным лирическим сюжетом:

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.

Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!

Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.

Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

1888 г.

Сравним эти стихотворения, чтобы убедиться, насколько молодой белозерский поэт всё-таки превзошёл классика своей поэтической искренностью, свежестью образов и, наконец, самое главное – глубиной и силой веры в Воскресение Иисуса Христа. И всё это снова, как и в предыдущем его стихотворении, отразилось в необыкновенном мистическом ритме стихотворения.

* * *

Тема Божией воли и русской удали удивительно своеобразно и таинственно звучит в незавершённой поэме Алексея Шадринова «Пилигримы». Гибель поэта не позволила её завершить. Но и в той части поэмы, которую он успел написать, явно воплощены два образа русской удали, противоположные по своему отношению к Божией воле. Уже в прелюдии к поэме автор прикровенно говорит о том, что даже справедливые слова и действия человека не смогут поколебать вечное движение жизни по воле Божией:

Уж раз упрёк правдивый не тревожит
Мир наших лиц, как он ни справедлив,
Мой лёгкий ветерок не переможет
Весенних вод бушующий разлив.

В основу символического сюжета поэмы положено христианское представление о земной жизни человека как о временном странствии, в конце которого мы вернёмся к нашему Создателю на Страшный Суд. После этого и решится окончательно наша участь. Главный герой поэмы – *Старик-пилигрим,* речь которого является голосом самого автора. Он рассуждает о смысле нашего земного пути и наших желаний. Находясь долгие годы в пути, он понял, что наша человеческая воля порождает бесконечные и часто пустые желания и мечтания, которые губят святость нашей первородной чистоты, которой мы обладали в детстве:

Три раза я на родину взглянул,
В трёх разных красках я её увидел.
Младенец чистый, *выползши на свет,*
Всемерно грудью матери доволен.
Вот так и мы, когда сравнений нет.
Поём свой дол, благословляем поле.–
Простор юдольный, где в твои глаза
Впервые заплескала бирюза.
Как мало надо? ***Кротость той поры,***
Как и вселенная, не знает меры.
Но дни идут, по храму топоры
Стучат, круша незыблемость химеры.–
Лукавой искусителя игры
В слепой черёд являются примеры.
И вот по свету катится молва:
За перевалом, на востоке солнца
Простёрлись земли, слаще, чем халва,
И небеса, что Господне оконце.
И с тех небес во тьму сует досужих
Нисходит благость в страждущие души.

Старик прозрел и понимает всю тщету бесконечных поисков новых стран, новых впечатлений и новых желаний. Он сожалеет о своих заблуждениях прошлых лет:

Сумей понять, что жизнь нигде не нова,
Когда её очистишь от приправ.
Но я, самозабвенный пешеход,
Под чуждой сенью чуждого мне сада
Заснул и всюду видел Эль-Дорадо,
Тот сон и явь мешая наперёд.
Длинна стезя, ведущая к прозренью,
Ушли года, неискупим их срок.
К спасительному близок откровенью,
Я от бесплодных поисков далёк!

Итак, безбожная человеческая воля приводит к бесплодным поискам новых радостей жизни и в результате – к разочарованиям. Однако своеволие человека может привести к ещё худшему результату – к преступлению. Эта мысль автора воплотилась в образе двух

бродяг, которых автор назвал обезличенно *Первый* и *Второй,* поскольку они уже потеряли своё человеческое достоинство – отдали свою человеческую волю в руки тёмных сил и стали рабами греха. Старик прозорливо видит ненасытную сущность этих путешественников и символически предлагает им свернуть с этого пагубного пути. Тогда их не будет мучить алчность. Он предлагает им:

Советую Вам стопы повернуть,
За мной последовать в мой край благословенный.
Тогда, быть может, с первым часом денным
Смогу отчасти сытость вам вернуть.

Однако этим людям чуждо подчинение благодатной воле умудренного жизнью старца, у них свое представление о свободной воле, вернее о беспредельном своеволии:

Блажен, кто чудной волей обладает,–
Она достанет хлеба и вина,
В полночный час устроит; одевает
Того, кто низок, мигом вознесёт –
Куда попасть и сам не чает тот.
И чтобы человек ни говорил
О подведеньи смертного итога,
Безденежье сносить не будет сил,
Смиренья хватит не намного.

В отличие от них Старик-пилигрим знает, что всем в этом мире управляет воля Божия, не человек «кораблём управляет, а Кормчий единый!» Описывая солнечное затмение как знак гнева Божия, на который не обращают внимания духовно слепые люди, он восклицает:

Ужель ты не трепещешь, человек,
Перед мгновением страшной воли Божьей?

Читая поэму-драму «Пилигримы», поражаешься чуду, которое сотворил Господь на Вологодской земле! В конце XX века, на пороге начавшейся буржуазной контрреволюции, он дал нам чистого ангела, поэта-про-

рока, который с силой шекспировского таланта призывал нас не поддаваться бесовской алчности к богатству и к мнимой новизне впечатлений и ощущений, беречь чистоту и кротость души, и тем сохранить её свободу... Но библейская история казни невинного человека повторилась: девятнадцатилетний поэт был жестоко замучен в армии в 1992 году.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОДОСТАТОЧНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ПРИЗРАКЕ ТРАНСГУМАНИЗМА

Одним из направлений культурной агрессии людей, которые выдают себя за миссионеров западной цивилизации, стали нападки на русский язык и Православие. Основным пафосом подобных публикаций является утверждение, что во всех бедах и катастрофах русской истории виноваты именно они, русский язык и православная вера. Аргументация приводится удивительно простая, но не убедительная для нас, русских. Её мы рассмотрим далее. Может быть, стоило промолчать, следуя известной русской пословице... Однако это не тот случай, поскольку наше молчание может опять же стать аргументом в пользу их концепции, согласно которой наш язык и наша вера делают нас пассивными, безличными и даже духовно мёртвыми. Повторяемое многократно здесь и там, это утверждение превращается в оружие зомбирования. Всё-таки следует эту паутину разрывать, а не принимать за голубое небо истины.

Если следовать логике Михаила Эпштейна...

Остановимся для примера на статье Михаила Наумовича Эпштейна «О творческом потенциале русского языка. Грамматика переходности и транзитивное общество», опубликованной в журнале «Знамя» № 3 за 2007

год. Автор её – человек известный, хорошо образованный, питомец Московского университета, ныне подвизающийся на поприще философа в США, профессор университета Эмори (США) и почетный профессор Даремского университета (Великобритания). Его статья, рассчитанная на русских филологов и философов, ставит грандиозную задачу – повлиять на святая святых каждой личности – на его национальное языковое сознание и изменить его в пользу другого языкового сознания, в данном случае – английского. Эти идеи трансформации русского языка и русской филологии автор постоянно развивает все последние годы в своих новых книгах и публикациях, например, в «Проективном словаре гуманитарных наук» (2017 г.).

В качестве материала для формирования своих передовых лингвистических идей и рекомендаций для русского народа, как говорить по-русски, но на английский манер, М. Эпштейн выбирает категорию переходности русских глаголов. Вначале он совершенно правильно излагает азы русской грамматики:

«В этой статье рассматривается знакомая нам со школьной скамьи категория переходности – способность глагола иметь при себе прямое дополнение. Например, «рубить дрова», «брать чашку», «бросать мяч», «читать книгу», «мыть руки», «понимать друга», «любить женщину». Переходность – не просто грамматическое свойство глаголов, это ***мыслительная категория*** *(выделено М. Эпштейном), определяющая, насколько действие, обозначенное глаголом, переходит прямо на предмет. Непереходные глаголы, такие, как «спать», «болеть», «молчать», «скучать», «лежать», «ходить», «падать», «нравиться», «смеяться», не могут иметь при себе прямого дополнения. Они описывают состояние или свойство грамматического субъекта, но не его прямое воздействие на какое-то лицо или предмет»* [1].

Далее автор утверждает, ссылаясь на данные «Обратного словаря русского языка» [2] и академика

В. В. Виноградова [3], что **в русском языке преобладают непереходные глаголы,** а переходные составляют только одну треть от общего числа глаголов. (Попутно заметим, что эти данные не учитывают живой разговорный язык и русские народные говоры). Из этого факта М. Эпштейн делает неожиданно очень смелый философский вывод:

«Преобладание непереходности в русском языке способствует становлению непереходного мировоззрения, для которого вещи случаются, происходят, движутся сами собой. Это мир, в котором нечто пребывает в себе или движется само по себе, но ничем не движется и ничто не движет. <...> С точки зрения грамматики и логики языка, это языческий, мифический, мистический, отчасти даже сновидческий мир, в котором лица и вещи наделены самочинными свойствами и способностями, не переходящими в дело. Это мир самодовлеющих субстанций, в том числе подвижных, но не мир отношений и взаимодействий. Это недостаточно глагольный мир, он ещё находится в плену субстанциализма и атрибутизма. В русском языке диктатура существительных и прилагательных: что и какой. А глагольный вопрос "что делать?" остаётся исторически безответным, потому что он предполагает развитое транзитивное мышление, не только грамматику, но и ***этику и политику переходности****»* (выделено М. Эпштейном).

Автор следует **идее трансформации мира,** которая была предложена на Всемирном Экономическом Форуме (ВЭФ) в Давосе в 1971 году Клаусом Швабом. По мнению аналитиков, «главная задача **трансгуманизма** – изменить человека, созданного по образу и подобию Божию, и вывести его из церковной ограды. И для этого уже есть ряд технологий, конкретный выбор которых, на самом деле, не принципиален, будь то генная инженерия, IT-технологии или замена ценностных установок. Все вместе или по отдельности, они служат единой цели – изменению сущности человека» [https://ruskline.ru/news_rl/2021/02/05/nas_ozhidaet_mutaciya_mira].

Михаил Эпштейн выбирает «грамматическую технологию»: он предлагает совершить революцию в грамматике русского языка. Поскольку, по его мнению, *“на протяжении многих веков своей истории русский язык впал в непереходность”,* то необходимо *“усиление функции переходности”,* нужно *“**вырвать...** глагольную систему из этого оцепенения непереходности, **оживить** каждый непереходный глагол его переходной функцией”. “Всё это “***взорвало*** бы статический мир”* (выделено нами – *Л.Я.*). Главная цель всех этих революционных разрушений, которые планируются автором, заключается в следующем – изменить наш образ мыслей, чтобы мы могли *“мыслить мир не “происходящим”, не “получающимся”, а делающим и делаемым”.*

Какие же средства предлагает М. Эпштейн для достижения поставленной цели? Конечно, этими средствами являются насильственные мероприятия, как и всегда бывает в революцию. Автор планирует *“ввести операцию превращения непереходных глаголов в переходные”,* то есть *“опереходить, транзитивировать глагольную систему <...> Тогда у каждого непереходного глагола появится его переходный аналог, со-глагол”.* В качестве доказательства того, что такая операция для русского языка посильна и он успешно её перенесёт, М. Эпштейн ссылается на массу примеров того, как это уже происходит в речи столичной интеллигенции и малых детей:

*«– Ты куда машину **едешь**? Там же яма!*

*– Пришёл, развалился и стал меня **скучать**.*

*– Я танцевать не умею. – Ничего, я тебя сам **танцевать** буду.*

*– Папа, **полетай** меня! Я люблю, когда ты меня **летаешь**.*

*– Не **лопни** шарик, перестань его надувать.*

*– Мама, не **беги** меня, я устал.*

*– Горбачёв молодец, он **разбежал** нашу страну в будущее, а вот Ельцин её взял и **споткнул**”.*

Статья М. Эпштейна переполнена подобными речениями.

Да, такое, действительно, встречается в речи тех, кто или ещё не овладел богатствами русского языка (дети, иностранцы), или они ему наскучили и вызывают ироническое отторжение (интеллигенция, утратившая родную почву под ногами). Автор умалчивает о том, что достоянием русской речевой культуры являются такие понятия, как языковые и стилистические нормы, многообразие функциональных и художественных стилей, которые призваны обеспечивать живое разнообразие и цветение русского языка. Видимо, для него они ничего не значат, они не дороги его сердцу, если он в качестве образца для подражания приводит такие примеры: *«Кто за девушку платит, тот её и танцует. Кто девушку ночует, тот её и завтракает».* Зато каменно незыблемы для него нормы английского языка, которые он и предлагает ввести в грамматику русского языка. В связи с этим он отмечает с удовлетворением:

«Если в русском транзитивация непереходных глаголов делает первые робкие шаги, то в английском она уже давно свершившийся факт. В английском есть множество глаголов, употребляемых и в переходном, и в непереходном значении, что придаёт им функциональную гибкость, поливалентность».

В каком же направлении собирается Михаил Эпштейн ***«изменить мышление языкового сообщества»*** с помощью внедрения в русский язык грамматических норм английского языка, каким ценным содержанием желает его наполнить? Это содержание можно определить так – **принуждение более слабого более сильным**. Автор сам не формулирует эту мысль явно, но преподносит её в виде ярких примеров преобразованных им на английский манер русских глаголов:

«гулять кого-то – делать так, чтобы кто-то гулял
хохотать кого-то – делать так, чтобы кто-то хохотал
плавать кого-то – делать так, чтобы кто-то плавал
падать кого-то – делать так, чтобы кто-то падал
ужинать кого-то – делать так, чтобы кто-то ужинал
ночевать кого-то – делать так, чтобы кто-то ночевал».

Одним словом, **нужно делать так, чтобы кто-то подчинялся твоей воле**.

Михаил Эпштейн считает, что всё это соответствует творческому потенциалу русского языка, при этом, что удивительно, он берёт себе в союзники Вильгельма Гумбольдта (благо, тот не может протестовать) и цитирует его прекрасную мысль: «Язык есть как бы внешнее проявление духа народов; язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык» [4]. Но тогда как быть с нашим русским **«Не в силе Бог, а в правде»**? Или именно это в нашем национальном сознании и не устраивает преобразователя русского языка? Надо, чтобы правда была в силе? Но если мы будем так думать, то мы уже не будем русскими. Да и истинными англичанами нам тоже тогда не быть. Ведь у Диккенса и Честертона этой мысли тоже не найти. (А если говорить о распространении глагольной переходности в английском языке в большей степени, чем в русском, то это обусловлено аналитическими тенденциями его развития, что вовсе не говорит о том, что и другие языки должны развиваться в этом же направлении.)

Однако это обстоятельство не останавливает Михаила Эпштейна в его революционной лингвистической деятельности. Он готов распространить её и на английский язык, когда он не дотягивает в своих проявлениях до его революционных идей. Так его озаботили «самые непереходные» экзистенциальные глаголы: *быть, существовать, становиться, жить, умирать, возникать, исчезать* ... Он замечает:

«Даже в английском языке, где глаголы движения, как правило, «опереходились», глаголы существования остаются сугубо непереходными: be, exist, live, die, emerge, disappear... У этих глаголов, однако, тоже есть свой транзитивный потенциал, не только разговорно-практического, но и метафизического свойства. Подчеркнём: транзитивация нужна не только русскому, но даже и весьма транзитивно развитому и все-таки

ещё грамматически недостаточно гибкому английскому языку».

Почему же так обязательно необходима «транзитивация» глаголам существования в русском и английском? Оказывается, по причинам сугубо богословским:

«Чтобы выразить ***отношение Бога к людям и ко всему сущему*** (Выделено нами – *Л.Я.*), *стоило бы использовать экзистенциальные глаголы именно в переходном значении, что запрещено нынешней грамматикой. Но мысль о Боге взрывает грамматику».*

Уточним: мысль *Михаила Эпштейна* о Боге взрывает грамматику. Интересно узнать, как ему удалось постигнуть *«отношение Бога к людям и ко всему сущему»,* которое он намерен выразить с помощью «транзитивации» глаголов существования?

И совсем уж демоническим выглядит проект автора уравнять людей и Бога в образе грамматического субъекта глаголов существования после их «транзитивации»:

*«****Быть, существовать, жить, исчезать кого-то*** *– значит делать так, чтобы кто-то был, существовал, жил, исчезал».*

Но, если следовать такой рекомендации, то в переводе на русский (до его «транзитивации») ***умереть кого-то*** – соответствует глаголам ***уморить, убить, погубить***. Почему же не устраивают лингвистического революционера данные глаголы? Или слишком прямо называют эти слова то страшное, что скрывается за генетически изменённым глаголом ***умереть кого-то***? Но не слишком ли по-фарисейски звучит фраза *«Он умер человека»*? Хотя для случаев эвтаназии может пригодиться. Но не по-Божески это, да и не по-человечески! И русский язык правильно сделает, если будет сопротивляться подобной операции над собой. Иначе получится генетически изменённый продукт, опасный для жизни...

Если следовать духу русского языка...

Глаголы нашего языка остаются во всей своей непокорной самостоятельности, не поддающейся теоретическим объяснениям.

К. С. Аксаков

Философией грамматики русского языка до Михаила Эпштейна интересовались многие мыслители. Назовём хотя бы такие известные имена прошедших столетий, как М. В. Ломоносов, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Н. П. Некрасов, А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовский, П. А. Флоренский, И. И. Мещанинов. И в наши времена эта тема является важной, о чём свидетельствуют работы В. В. Колесова, К. И. Валькова, Б. М. Гаспарова, Н. Безлепкина, цикл статей в серийном издании сборника «Логический анализ языка» и др.

Как же определяли национальное своеобразие русского глагола наши мыслители? Делали они это всегда с любовью и не посягали никогда на внутренние законы жизни языка, хотя, конечно, иногда и горячились и приходили к излишне категоричным выводам. Так, например, известно, что К. С. Аксаков, исходя из того, что у форм русского глагола в речи нет постоянных значений времени, ошибочно считал, что в русском языке отсутствует грамматическая категория времени. Но из этого он вовсе не делал вывода о необходимости искусственно навязывать эту категорию языку. Напротив, он объективно показал, почему русский глагол не обладает сложной системой форм времени, характерной для германских и романских языков. Он выдвинул две причины. Первая причина заключается в том, что русский глагол, в отличие от глагола в других языках, обладает категорией вида и лексико-грамматическими разрядами способов глагольного действия, которые и призваны отражать характер протекания действия в пространстве и времени. Например: *бежать – бегать – побежать – сбегать – убежать – прибежать; думать – подумать – задумать – задумывать – при-*

думать – придумывать – подумывать и др. То есть для русского глагола важнее выразить **внутреннее качество действия**, а не его линейную последовательность во времени [5]. В связи с этим К. С. Аксаков писал:

«Глагол в Русском языке выражает самое действие, его сущность ... Язык наш обратил внимание на внутреннюю сторону или качество действия и от качества уже вывел по соответствию заключение о времени ... Вопрос качества, вопрос: ***как?*** *есть вопрос внутренний и обличает взгляд на сущность самого действия; вопрос времени, вопрос:* ***когда?*** *есть вопрос поверхностный и обличает взгляд на внешнее проявление действия. Я нисколько не завидую другим языкам и не стану натягивать их поверхностных форм на русский глагол»* [6].

Вторая причина, главная, лежит в особенностях русского национального миросозерцания. Современные исследователи справедливо отмечают, что «для Аксакова обнаруженное им языковое явление имело философское значение и позволило поставить вопрос о различии между рационалистически отвлечённой категоризацией жизненного опыта, составляющей, согласно славянофильской концепции, сущность западной ментальности, и органическим подходом, стремящимся проникнуть в суть бытия,– то, что является отличительным свойством русской культурной традиции» [7].

Мы не случайно обратились к мыслям К. С. Аксакова о русском глаголе, поскольку они представляются нам очень своевременными и полезными при рассмотрении вопроса о категории переходности в русском языке, поставленной в статье М. Эпштейна. Дело в том, что идея насильственной «транзитивации» **всех** непереходных глаголов просто не осуществима с точки зрения грамматической системы русского языка. А с точки зрения национального духа этого языка просто кощунственна.

Как и грамматика любого другого языка, русская грамматика представляет собой систему систем. В ней

все единицы языка взаимосвязаны определённым образом, поэтому разрушение (или искусственное преобразование) одного типа слов повлечёт за собой обрыв многих соотношений в языке и приведёт к грамматическому хаосу. Трудно предсказать все эти катастрофические последствия, остановлюсь только на одной несуразности.

М. Эпштейн утверждает, что, научив всех употреблять непереходные глаголы вместе с существительными в винительном падеже (например, *Я его молчу. Я его хохочу. Я его сижу. Я его скучаю и т. п.*), он создаст со-глаголы: каждый непереходный глагол может приобретать функцию переходного. Однако с точки зрения русской грамматики этот процесс оказывается совсем не таким. **Непереходные глаголы сохранят свою непереходность, даже если они будут сочетаться с винительным падежом существительного, поскольку этот падеж в конструкциях подобного типа обозначает вовсе не прямой объект данного глагола, а его субъект.** (Ср. подобное также происходит, когда от непереходных глаголов образуются существительные: *его молчание, его хохот, его сидение*). Ведь в приведённых выше примерах *молчать, хохотать, сидеть* будет всё-таки *«он»,* которого заставляют это делать, а не *«я»,* который заставляет *«его».* Семантическая специфика таких конструкций – выражение особого типа модальности: от значения «помогать кому-либо или чему-либо осуществлять действие» *(Там канава, прыгни лошадь)* до значения «насильно заставлять кого-либо или что-либо совершать действие» *(А ну-ка исчезни! Или мы сами тебя исчезнем).* Примеры даны из статьи М. Эпштейна. Подобное модальное значение возникает в результате противоречия между лексической непереходностью глагола и формально-грамматической переходностью конструкции предложения, в котором он употребляется. Таким образом, результат подобной «транзитивации» будет заключаться не в увеличении запаса переходных глаголов в русском языке, как пред-

полагает М. Эпштейн, а в другом. **Подобное преобразование может спровоцировать широкое развитие семантики «жесткой» модальности речи и мыслительной категории волюнтаризма.** Только в неволе, в местах лишения свободы, можно заставить человека производить действия или впадать в состояния, которые **являются по своей природе проявлением только его собственной воли, его собственного выбора**. А именно такие действия и состояния обозначаются в русском языке непереходными глаголами. Нужно ли такое новшество русскому языку и нашему обществу?

Мы приветствуем процитированную автором мысль Гумбольдта о том, что «глагол – нерв самого языка», «глагол главенствует и является душой всего речеобразования» [8]. Однако трудно согласиться с М. Эпштейном, когда он пытается определить единую для всех языков меру глагольности, а если какие-то языки до этой меры не дотягивают, то считать эту их особенность несовершенством. По его мнению, именно переходность *«является душой глагольной системы, мерой глагольности глагола»,* а вот русский язык, *«на протяжении многих веков своей истории ... впадал в непереходность».*

Однако ещё академик И. И. Мещанинов, исследуя грамматики разных языков, установил, что степень глагольности глагола зависит не только от него самого, но и от других частей речи, то есть от их системы в целом, а также от синтаксиса [9]. Приведём некоторые доводы в защиту глагольности русского глагола, а именно непереходных глаголов, на которые и направил свою революционную разрушительную силу М. Эпштейн.

В отличие от переходных глаголов, которые обязательно требуют прямого дополнения, непереходные глаголы, не требующие этого, являются не только «нервом самого языка», но и **смысловым центром высказывания**. Сравним: *Я сплю* (неперех. гл.) и *Я вижу* (перех. гл.) *сон ...* (*дом, небо, собаку, брата* и т. п.); *Холодает* (неперех. гл.) и *Ветер* (*дождь* и т. п.)

холодит (перех. гл.) *щёки* (*лицо, руки, грудь* и т. п.); *Несётся* (неперех. глаг.) *автомобиль* и *Иван несёт* (перех. гл.) *корзину* ... (*чемодан, ребёнка* и т. д.). Таким образом, переходные глаголы требуют обязательного сочетания с существительным, обозначающим прямой объект, а непереходные этого не требуют. В силу этого переходные глаголы, особенно при активном развитии полисемии, должны обслуживаться большим количеством различных имён существительных в винительном падеже. Кроме приведённых выше примеров, см. также: *класть платок в карман (краски на холст, масло в кашу, печь из кирпича, начало делу и др.).* Следовательно, можно сделать вывод: чем больше в речи переходных глаголов, тем больше в ней и существительных, с которыми они совместно выражает смысл высказывания. Эта особенность переходных глаголов приводит к значительному увеличению частоты употребления существительных в речи.

В то же время, чем больше в речи **не**переходных глаголов, тем меньше в ней имён существительных, тем больше наша мысль сосредоточена на действии, состоянии и процессе.

Сравним два отрывка из «Евгения Онегина». Первый отрывок насыщен переходными глаголами, которые обязательно влекут за собой и существительные:

Она езжала по работам,
Солила** на зиму **грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
***Служанок била** осердясь –*
Всё это мужа не спросясь.

Во втором отрывке лидируют непереходные глаголы:

Увы! На жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
*Другие им вослед **идут**...*

Так наше ветреное племя
Растёт, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.

Можно привести бесконечное число других примеров самодостаточности непереходных глаголов для создания образной русской речи.

Безусловно, и в предложениях с непереходными глаголами тоже могут быть косвенные падежи существительных, выполняющие функции различных обстоятельств или косвенных дополнений, но они появляются на тех же основаниях и с такой же частотой, что и в предложениях с переходными глаголами, которые к тому же всегда обременены существительными-дополнениями.

Очень заметно, что именно в первом отрывке с переходными глаголами субстанциональность речи и мысли несравнимо выше, чем во втором – с непереходными глаголами. Так что напрасно М. Эпштейн противопоставляет существительные и глаголы, говоря о том, что в русском языке ощутим недостаток переходных глаголов и поэтому в нём возникла «диктатура существительных и прилагательных». Тем более следует учитывать, что в разных функциональных и художественных стилях соотношение глаголов и имён существительных и прилагательных значительно колеблется, поскольку использование этих частей речи подчиняется не искусственным каменным нормам, а живому духу языка, как, например, в следующем стихотворении архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Шаховского), в тексте которого используется всего пять глаголов, два переходных и три непереходных, но «диктатуры существительных и прилагательных» совершенно не чувствуется:

ГОРНЫЕ РОЗЫ

Есть много знаков у кустов Синая,
Ожогов и окалин бытия.
И *поднимается* душа моя,
Ещё огня последнего не *зная*.

Всё ближе синева, трудней дыханье,
Последний воздух *берегут* уста,
И *тает* утомительное знанье
Пред розами горящего Куста.

1971 г.

В стихотворении отражено свободное движение духа лирического героя в Божественную высь. Именно *свободное* движение!

Перефразируя Ф. М. Достоевского, я утверждаю: если бы даже М. Эпштейн всех убедил, что истина на его стороне, я бы всё равно выбрала не его генетически модифицированный языковой продукт, а великий русский язык Пушкина и русской классической литературы.

Призрак транзитивной философии

Впрочем, М. Эпштейн прямо ни на чём не настаивает, несмотря на революционность своего лингвистического проекта. Он только обвиняет русский язык и философствует. Проект «транзитивации» русских глаголов – это всего лишь прикладная сфера философии возможного, которую исповедует М. Эпштейн [10]. Небытийный смысл этого философского трансмодернизма раскрыт в статье В. А. Кутырёва, который пишет:

«Сейчас человечество устремилось в сослагательное наклонение. Философия третьей эпохи не скрывает своей **чистой условности**. Эта открытая форма значимости лишена всякого определённого значения. Она ничего не значит ни для мира, ни для индивидуума, ни для общественного благополучия. Она создаёт собственную, **чисто мысленную, не зависящую от эмпирических фактов историю событий и «космософию» возможных миров**. (Выделено нами – *Л. Я.*) [11].

Тем не менее, опасность для русской культуры здесь большая. Дело в том, что подобные проекты возможного генетического изменения русского языка нацелены

на изменение не только грамматического сознания тех, для кого этот язык является родным, но и на преобразование национального сознания в целом. Автор проекта считает, что русский язык до тех пор, пока он является «непереходным», не может справиться с задачей *«свободного мышления»*. У Эпштейна на этот счёт грандиозные планы:

«Конечно, сейчас мы находимся только на подступе к этому океану новых возможностей русского языка. Если бы переходность вошла в сознание всего языкового сообщества как переменчивая функция любого глагола, то через одно-два поколения у нас, возможно, было бы другое общество. Общество, которое не претерпевает существующего положения вещей, а само существует вещи, делает так, чтобы они существовали такими, какими оно хочет их и делает их».

Это высказывание лингвистического революционера показалось нам очень похожим на мысли одного из героев романа Достоевского «Бесы».

М. Эпштейн, как образованный филолог, прекрасно понимает:

«Грамматика – самая сильная и самая тайная из всех общественных идеологий. В обществе, которое столько раз было обмануто всеми идеологами, это единственная идеология, общая для всех носителей данного языка, а главное, всё ещё имеющая власть над умами, именно в силу своей бессознательной внедрённости в язык».

Именно эта концептуальная прочность и сила грамматики и привлекла М. Эпштейна. Он предполагает:

«Изменение грамматической модели может иметь более глубокие последствия в масштабе исторической судьбы народа, чем «стройки века», «днепрогэсы» и «газпромы».

Вместе с тем, он понимает, что *«изменить грамматику языка гораздо труднее, чем провести национализацию или, напротив, приватизацию собственности».* После прочтения этой фразы возникают какие-то очень

тревожные ассоциации, поскольку мы все знаем, как *«проводили»* национализацию и приватизацию в России.

Однако не будем пугаться, а лучше подумаем о том, что в нашей современной жизни и культуре позволяет определённой части интеллигенции строить подобные миражи.

Нам представляется, что главная причина этого явления глубоко вскрыта и рассмотрена в книгах К. И. Валькова, в частности, в его книге, вышедшей в 2006 году, «Азбука для самых грамотных». Её автор считает, что в современном мире постоянно «возникает и укрепляется *мифология проекционного схематизма,* которую можно охарактеризовать как **попытку жить и действовать внутри модели, а не внутри породившей эту модель Реальности**. Так иногда художник, пишущий картину, или рассматривающий её зритель увлечённо вживаются в «расплющенное пространство» живописного полотна, чувствуют себя как бы действующим лицом явленного на полотне воображаемого, условного мира» [12].

Именно приверженность мифологии проекционного схематизма вдохновляет М. Эпштейна, когда он заявляет в конце своей статьи:

«Сегодня нужны не просто критики, но и искусные инженеры языка, способные производить анализ языковой ситуации и на его основе – тончайшие синтезы новых слов и правил, новых моделей словосочетания и мыслепорождения. Лингвоинженер, ***законодатель*** *(выделено М. Эпштейном), строитель языка – тот, кто создаёт новые знаки и меняет навыки мышления в обществе,– едва ли не самая нужная, хотя ещё и не востребованная фигура в России XXI века».*

С мифологией проекционного схематизма, подменяющей собой Реальность, в данном случае реальную жизнь русского языка, связана **философия литоморфизма**. К. И. Вальков её определяет так:

«Когда неодушевлённому предмету приписываются свойства человеческой натуры, то в ход идёт термин «антропоморфизм». А если, напротив, **живому чело-**

веческому слову, понятию придаётся статус вещи, конкретного явления, то как эту тенденцию или, если угодно, эту привычную программу следует назвать? Условимся использовать сходное по звучанию, тоже построенное на греческой основе выражение ***литоморфизм***. То есть не человеку, а камню уподобление» [13].

Проводить операцию «транзитивации» или какую-либо другую над живым глаголом может только тот, для кого он является всего лишь вещью, камнем, а не живым организмом нашего национального сознания, нашей русской культуры.

* * *

Лингвистические химеры не менее опасны, чем политические. Опасно, когда за надуманными грамматическими схемами не видят реальности языка.

Но пока живы русские люди, будет жить и свободная река русской речи. Как сказал наш великий языковед А. А. Потебня: «Слово начинается в человеке, но никогда не кончается в нём».

Примечания

1. Эпштейн Михаил. О творческом потенциале русского языка. Грамматика переходности и транзитивное общество // Журнал «Знамя», № 3, 2007. Далее в тексте приводятся цитаты из этого источника.

2. Обратный словарь русского языка. М.: Советская энциклопедия, 1974. С. 940.

3. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М.: Высшая школа, 1972. С. 506.

4. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: «Прогресс», 2000. С. 68.

5. Аксаков К. С. О русских глаголах // Аксаков К. С. Полн. собр. соч. Т. 2. Ч. 1. С. 417.

6. Аксаков К. С. О русских глаголах... С. 414, 416.

7. Гаспаров Б. М. Лингвистика национального самосознания // Логос.– 1999.– № 4. С. 54–55; Безлепкин Н. Философия языка в России. К истории русской лингвофилософии. С.-Пб, 2002.– С. 72–74.

8. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков... С. 199, 267.

9. Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи.– Л.: Наука, 1978.

10. Эпштейн М. Философия возможного: модальность в мышлении и культуре. СПб., 2001; Эпштейн М. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М., 2004.

11. Кутырёв В. А. Философия иного, или Небытийный смысл трансмодернизма // Вопросы философии.– 2005.– № 12.– С. 6.

12. Вальков К. И. Азбука для самых грамотных.– С.-Пб., 2006.– С. 245.

13. Вальков К. И. Азбука для самых грамотных.– С.-Пб., 2006.– С. 248.

ТАТЬЯНА БЫЧКОВА

ГДЕ СГОРАЕТ МОЯ ТРЕВОГА...

* * *

Зажигаются фонари,
Нежный сумрак уже истаял.
Мы о будущем говорим,
И пустые страницы листаем:
Что нас ждет, когда свет догорит?
Будем счастливы мы с тобою?
Тонкий край вечерней зари
Утонул в глубине покоя...
Мы с тобой идем, не спеша,
Приближаясь к окраине суши.

Бычкова Татьяна Егоровна родилась в Вологде. Окончила Санкт-Петербургский технический университет. Долгое время работала библиотекарем в одной из школ Вологды. Первой публикацией стала подборка стихов в коллективном сборнике «Соборная горка». Автор нескольких поэтических изданий. Отмечена памятной медалью «200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова». Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

Что лепечет моя душа?
Подожди, помолчи, послушай...

* * *

Чуть-чуть больней, чем было раньше,
Чуть-чуть острей, чем в прошлый раз.
Осколок нежности вчерашней
Внезапно вспыхнул и погас.
Нечаянное озаренье
Невидящих коснулось глаз.
Осталось в вечности мгновенье,
Соединяющее нас.

* * *

Хоть в доме есть камин, но в доме нет любви,
И в нем живет сквозняк, там холодно и пусто,
Там вьюга меж людьми, пустыня меж людьми,
И в этот страшный быт вплетается искусство.
Холсты без позолот. Слова без блесток лжи.
Побег в страну теней, полет туда, где не был...
Стаканы на столе. И черствый хлеб лежит,
Как памятник зерну. А я смотрю на небо.
Как перышки легки! Не пишешь, а поешь.
За птичий труд возьми напрасную награду.
Подумай, как живешь. Пойми, зачем живешь.
Ведь, если нет любви, то и тебя не надо.

* * *

Никто никого ничему не научит.
Но небо синеет сквозь рваные тучи,
И жизнь продолжается, хочешь – не хочешь,
А ты все чего-то бормочешь, бормочешь,
И перышком легким на белой бумаге
Рисуешь, рисуешь какие-то знаки,
И пишешь, и пишешь какие-то строчки,

И ставишь на них запятые и точки,
Тире, многоточия, знаки вопроса...
А травы купаются в утренних росах,
И птицы поют, и летают стрекозы,
И где-то гремят отдаленные грозы...
А ты понемногу, по капле, по строчке
Живешь эту жизнь. До финала. До точки.

* * *

Не отчаянье, не мука –
Теплый пламень, ровный свет.
Я в тебе искала друга.
Много лет.
Я ни в чем не виновата,
Ты ни в чем не виноват.
Я в тебе искала брата.
Здравствуй, брат!
Ни печали, ни тревоги,
Вся печаль давно прошла.
Я в себе искала Бога.
И нашла.

* * *

На дорожках сквера сыро,
Листьев прошлогодних ветошь.
Красоты нетленной мира
Ты – пройдешь – и не заметишь.
Мир, подверженный гниенью,
Ты увидишь взглядом острым.
Всюду – стойкий запах тленья.
Это просто. Слишком просто.
И, подняв глаза пустые,
Ты увидишь край небес.
Над бескрайнею Россией,
Не кончающейся здесь.

* * *

Возникают стихи...
Словно пыль осыпается с пальцев,
Словно боль просыпается в теле,
Словно вечное время течет из разбитых сосудов...
Возникают стихи...
Из забытых вещей, ниоткуда,
Из забавных событий, случайных созвучий,
вчерашнего неба...
Возникают стихи...
Эта явь, эти сны, этот лепет –
Перепутаны, слиты в такое певучее нечто...
Возникают стихи...
И всей тяжестью давит на плечи
Невозможность взлететь...

* * *

Уже акация цветет.
Уже июнь. Уже тепло.
И чисто вымыто стекло
Небесное. Небесный свод
Промыт дождем. Прозрачна высь –
Вся в пене легких облаков.
Мелькнет из глубины веков
Простая будничная мысль –
О том, что бренен даже свет,
Что листья обратятся в прах.
И лишь гармония в стихах
Останется. А может, нет...

* * *

Мне сегодня не до тебя,
Я сегодня больна тревогой.
Если хочешь, присядь у огня,
Но руками его не трогай.
Мне сегодня так много лет,
Что сама я сбилась со счета.

Видишь этот неясный след,
Исчезающий за поворотом?
Мне сегодня печаль – сестра.
Подожди. Потерпи немного.
Посиди со мной у костра,
Где сгорает моя тревога.

* * *

Отвратительно, грязно и сыро.
Жизнь похожа на бред сумасшедшего.
Я уже все обиды простила,
Все долги заплатила прошедшие.
Стало проще, тревожнее, тише,
Прилетела синица в ладони.
На пологой обветренной крыше
Рыжий флюгер по-прежнему стонет.
Хлеб и соль, да вода из колодца,
Да дровишки, вестимо, из лесу,
И тоски неразъемные кольца
Разомкнулись под собственным весом.
И зачем мне искать оправданья
Всем моим неразумным поступкам,
Если я – элемент мирозданья
И частица божественной сути.

* * *

Мне страна ничего не дарила,
Я ее ни о чем не просила.
Берегла, как могла. Проходила
По дорогам, пустым и разбитым,
По проселкам, дождями размытым,
По земле, непросохшей от слез.
Я жила на неласковом свете
На уставшей зеленой планете,
Я жила, как могла, но всерьез...
Все всерьез – каждый шаг, словно подвиг,
Я старалась далекое помнить

И пыталась прожить каждый миг.
Я стране ничего не дарила,
Просто пела и просто любила...
Этот стих точно так же возник...

* * *

Я дарю тебе убитое мною время.
Я убила его просто так, не тревожься.
Просто маятник вечных часов дремлет,
Просто правда моя обернулась, увы, ложью.
И река времен замедлила бег свой,
И ускорило бег человечество в бездну.
Просто в салочки с нами играют бесы,
И поэтому все почти бесполезно.
Я соберу свое время в ладонь по крохе
И рассыплю его, как корм, птицам небесным.
Я не могу сказать, что хорошо и что плохо,
Кажется все, что есть, сухим и пресным.
Не остудить это земное пламя,
Не отсудить у вечности миг ушедший.
Все исчезает, даже любовь и память.
Все остается... Помни... Люби... Вечно...

* * *

...А если хочешь что-нибудь открыть,
Открой себя в себе, в других и в мире.
Не будь изгоем в этом грозном пире,
Бренчи на лире... И не бойся быть.
Все так нелепо, страшно и смешно:
Мы все – соседи по большой квартире,
Мы все – мишени в ярмарочном тире.
И быть поэтом – глупо и грешно.
Поэтом – голым – средь цветной толпы,
Поэтому наивным и беспечным,
Поэтом, размышляющим о вечном,
И зрячим – там, где все давно слепы.
Я вижу день и тень, я вижу свет,
Я слышу птичий щебет, детский лепет,

Я прозреваю, ощущая трепет,
Я прозреваю миллионы лет.

* * *

Пока стихи стекают мне в ладонь
Водою с неба и капелью с крыши,
Мне кажется, что я живу и слышу,
Мне кажется, что я – почти огонь.
Какой беззвучный и прозрачный хор,
Где музыка, как маленькое пламя,
Как маленькое огненное знамя,
Как маленький трепещущий костер.
Где музыка? Где вечная весна,
Где следующий шаг из этой бездны,
Где все, что мне казалось бесполезным,
Как будто было продолженьем сна?
Отчаянье... Печаль... Печенье с чаем...
И голос чайки, хриплый от тоски...
Безмолвной музыки стеклянные куски...
И разговор, похожий на молчанье.

* * *

Сухие травы, словно лес
В морозном инее колючем...
Вот мир в сиянии небес –
Такой прекрасный и могучий.
Как он величественно прост,
Как необъятен и безбрежен...
Я прохожу через погост:
На хрупких травах иней нежный
Сверкает в солнечных лучах.
Покой. И заросли бурьяна
Изысканны. И спит печаль
В морозном облаке. Так странно
И так прекрасно: блещет снег
Под этим ярко-синим сводом –
Торжественный нездешний свет
И беспредельная свобода!

Память сердца

Василий Белов

Белов Василий Иванович (1932–2012) родился в д. Тимонихе Харовского района Вологодской области. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, многих литературных премий. Классик русской литературы. Произведения В.И. Белова переведены на многие языки мира. Автор романов: «Кануны», «Год великого перелома», «Час ше́стый», «Всё впереди», повестей: «Деревня Бердяйка», «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Целуются зори», «Моя жизнь», «Воспитание по доктору Споку», рассказов, цикла миниатюр «Бухтины вологодские», книги «Лад. Очерки о народной эстетике», пьес: «Над светлой водой», «По 206-й», «Бессмертный Кощей», сборника стихов «Деревенька моя лесная», очерков и статей, собранных в книгах «Раздумья на родине», «Ремесло отчуждения» и многих других. Очерк критика и литературоведа Василия Оботурова «Путями века» о творчестве Василия Ивановича Белова вошел в книгу В. Оботурова «В Буднях».

ПУТЯМИ ВЕКА

Место и роль Василия Белова в литературе наших дней очень значительны – это осознают многие, хотя, может быть, и не в полной мере. А пришел писатель к читателям скорее незаметно, чем громко,– своей повестью «Деревня Бердяйка» (1961). Первая рецензия на нее появилась только спустя два года: шумели критики тогда о «звездных мальчиках». А Белов на моду не падок и, кажется, знал свое предназначение едва ли не изначально. И уже появившееся в 1966 году «Привычное дело» возбуждает интерес, который и посейчас не утратился.

Отношения русских писателей с мужиком-крестьянином, всегда демократические, тем не менее складывались по-разному, как прежде, так и теперь. В самом деле, как не похожи друг на друга герои Глеба Успенского и Льва Толстого, Лескова и Тургенева, Чехова и

Бунина! И молодой Белов, зная жизнь крестьянскую не понаслышке, а на личном опыте, усваивал и их уроки, и уроки своих непосредственных предшественников.

Нежны, филигранно отделаны повести и рассказы о деревне Сергея Антонова конца пятидесятых годов. Но при всей симпатии к своим героям он не смог совершить к ним того последнего шага, который позволяет открыть сокровенное в натуре человека. Антонов – горожанин, потомственный интеллигент, но даже В. Тендряков и В. Солоухин, выходцы из деревни, сохранившие с ней живую связь, не преодолели позиции стороннего наблюдателя – она наметилась уже в первых их вещах и особенно отчетливо проявилась в последующих.

Романом «Братья и сестры» (1958) Федор Абрамов на пути преодоления схематизма и лакировки искал новые формы, одной ногою оставаясь еще в старой традиции (С. Бабаевский, Е. Мальцев). В свою очередь Александр Яшин, многое предугадав и наметив, принципиально новой художественной системы тоже не создал, не успел создать. Белов шел за ними совсем рядом, без дистанции, уже предощущая свой путь.

И вот появляются рассказы «Весна» и «Под извоз», «На Бобришном угоре» и «За тремя волоками», повесть «Плотницкие рассказы» и пьеса «Над светлой водой», роман «Кануны» и цикл «Воспитание по доктору Споку», снова рассказы, пьесы «Районные сцены» и «Бессмертный Кощей», наконец, книга «Лад». А как бы между делом появились «Бухтины вологодские», «Случайные этюды», юмористическая повесть «Целуются зори» и с нею одноименный фильм...

Не стремясь перечислять произведения В. Белова разных жанров в хронологической последовательности, я хотел показать, как от малой деревеньки идет писатель в мир, все шире охватывая явления, раздвигая тематические рамки, глубоко пропахивая действительность.

И куда только критики не толкали Василия Белова: и к современности (после появления «Привычного

дела»), и обратно – к «Привычному делу» – (после выхода первой части «Канунов»), и утверждали, что драматургия – не его стихия... Ан нет, он шел сам по себе.

С первых шагов в литературе Белов – писатель, осваивающий прежде всего современность. И «Привычное дело» – это повествование вовсе не «из прошлого одной семьи», как было означено в первой публикации, но из самого что ни на есть настоящего. А обращение к прошлому, к истории и в формах сатиры («Бухтины вологодские»), и в форме объективного повествования («Кануны») вызвано теми же интересами современности.

Поиск корневых закономерностей более всего волнует Василия Белова. Припомним многозначительную финальную сцену в «Канунах» – сцену жуткой драки, в которую Игнаха Сопронов ввязывает Павла Пачина,– это выражение борьбы двух непримиримых жизненных начал. Сцена эта не сводима только к себе самой: **вспомним тайное письмо** некоего троцкиста Эйдлика, попавшее секретарю губкома Шумилову, еще некоторые незначительные, казалось бы, подробности. Такое непримиримое противостояние, которое показал Белов на разных уровнях общественной жизни, и осложнило исторически необходимое и неизбежное дело коллективизации деревни.

Конфликту, заданному в «Канунах», еще развиваться и развиваться, но не оставляет сомнений вера писателя в торжество жизни и добра. Победа легко не дается: борьба добра и зла извечно идет в мире, в разные времена принимает различные обличия. А как в наши дни? На этот вопрос Белов отвечает, показывая самое сложное противостояние современности: превращение России сельской в Россию индустриальную.

Из деревни в город давно уже проложены тропинки: в славяно-греко-латинскую академию, в мастеровые шли без возврата парнишки. Не только в нашей стране – во всем мире. Еще Иван Шмелев в начале века писал об этом, а потом Александр Малышкин («Люди

из захолустья») и другие. Иначе пишут о переходном состоянии человека, из деревни пришедшего в город, У. Фолкнер (США) и Ю. Кавалец (Польша).

Теперь, когда уже не тропа, а торная дорога уводит людей из села, своих деревенских героев нашли в городе Василий Шукшин и Василий Белов. Только порою там, где Шукшин видит отклонение от нормы (отсюда и герои его – «чудики»), Белов открывает явление. И явление это – сложность адаптации в городской среде того человека, который сформировался в деревне.

Есть у Белова прочная почва под ногами, которую он ощущает всем существом своим в отличие от Шукшина. «Так у меня вышло к сорока годам, что я – ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение,– писал Шукшин.– Это даже – не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю, пропадешь». И герои В. Шукшина зачастую люди этого же типа: оторвавшись от деревенской среды, они никак не вписываются в городскую.

Такой герой (маргинальный – так определяют социологи) знаком и В. Белову, но сам писатель подобного разлада в своем творческом поведении не знает. В конце концов, эта маргинальность – следствие закономерного (следовательно, и естественного) исторического процесса переливания людских масс из деревни в город. Он обостряется ускоренностью темпов да нашим нерадением, неспособностью предотвратить вредные последствия как экономические, так и социально-психологические. Помочь в таких обстоятельствах человеку – прямая обязанность литературы, а для этого сами писатели должны обладать внутренней устойчивостью: от мятущегося много ли душевного опыта наберешься?

Сохранить цельность натуры В. Белову и помогли, надо полагать, историческое чутье и крепкий народный юмор. Во всем у него мы найдем здравый смысл, доступный каждому, а для человека вдумчивого всегда

откроется и нечто противостоящее обыденности. Для достижения этого оказывается решающей способность писателя отказываться от однажды найденного, преодолевать себя в поиске новых художественных путей и решений.

Сопоставление различий учит чуткости в освоении жизненного материала и дает простор для интуиции в тех случаях, когда писатель обращается к опыту, недоступному для непосредственного наблюдения. И в «Канунах» Белов удобно, на своем месте почувствовал себя как в деревне конца двадцатых годов, так и среди тружеников первой пятилетки – на старом московском заводе и в коммунальной квартире. А широта обзора в свою очередь обеспечивает глубину постижения действительности, не ограниченную ни локальностью целей, ни тематической узостью.

Ставить себе максимальные задачи, учиться снова и снова Василий Белов умеет, вот почему и выходит на главные направления развития современной литературы. Так, одна за другой в последние годы появляются в театре инсценировки прозы – М. Шолохова, М. Алексеева, В. Распутина и многих, многих других. Это понятно, зритель хочет и со сцены слышать те серьезные и глубокие суждения о жизни, к которым он привык в прозе. А наша драматургия в основной своей массе, слишком долго носившая платья, сшитые по готовым выкройкам, к серьезному разговору пока не готова. Поневоле театр обращается к инсценировкам повестей и романов, но не надежнее ли другой путь – поднять драматургию до уровня достижений прозы? Ведь инсценировка – что ни говорите – перевод, адаптация, она неизбежно вторична, а во вторичности – гибель искусства.

Василий Белов, обратившись к драматургии, не пошел по пути наименьшего сопротивления – он не прибегает к инсценировкам, а создает оригинальные произведения. В пьесе по «206-й» исследуется механизм переливания личных отношений в общественные: здесь истоки, от которых зависит истинность демократизма

нашего общества. А написанная прекрасным белым стихом, гибким и необходимо точным, пьеса-сказка «Бессмертный Кощей» говорит об отношении человека к миру, в котором он живет, с острой бескомпромиссностью, но без какой бы то ни было тенденциозности. Такого масштаба и глубины социального исследования, явленного в формах простых и динамичных, наша драматургия не знает.

А с другой стороны – книга «Лад», опять же ни на **что** не похожая ни в творчестве Белова, ни в современной литературе. Иному писателю материала, заключенного в этой вещи, хватило бы на десяток романов. Между тем Белов щедро выплеснул неизмеримое богатство, не гнушаясь очерковой формы, и создал художественно цельный образ мира, в котором жили наши недавние предшественники. У нас теперь иная жизнь, но мы – дети русских крестьян, а родительский опыт никогда лишним не будет. Большая жизнь предстоит книге «Лад», и она еще сделает свое доброе дело в жизни и в литературе.

Наши дороги века прошли через русскую деревню и разметались во все концы света. Немало заблудившихся в бескрайности этих дорог, немало мятущихся в поисках опоры. И рядом с ними живет большой русский писатель Василий Белов, человек с обостренной совестью, знающий сомнения и мучения, но никогда не лгущий ни себе, ни другим. И в честности его книг люди находят веру в жизнь, в торжество добра и правды.

Александр Романов

Романов Александр Александрович (1930–1990) родился в д. Петряево Сокольского района Вологодской области. Окончил местную школу, затем Вологодский педагогический институт, позднее Высшие литературные курсы в Москве. Автор более двадцати книг стихов и прозы, из которых особо следует отметить книги «Русь уходит в нас», а также том «Избранного», составленный из лучших стихов поэта. Член Союза писателей СССР с 1959 года, А. А. Романов стоял у истоков создания Вологодской писательской организации. Одиннадцать лет он был ответственным секретарем организации, долгое время входил в приемную комиссию Союза писателей СССР. Именно при Александре Александровиче Романове Вологодская писательская организация приобрела тот авторитет, который и сегодня позволяет ее считать одной из ведущих писательских организаций России.

НАД ЖИЗНЬЮ, НАД СМЕРТЬЮ, НАД БОЛЬЮ...

* * *

Василию Белову

С Ярославского вокзала,
С Ленинградского вокзала
В ночь уходят поезда...
Ты чего лицо туманишь,
Ты чего грустишь, товарищ?
Семь рублей – и мы на полке
И опять туда, туда,
Где висит на каждой елке
Синим филином звезда.
У курносой, белолицей
Нашей местной проводницы
Чаю крепкого завара
Мы попросим, а потом,
Прислонясь к ветрам спиною,

На полтыщи верст длиною
Мы беседу завернем...
Нас в дорогах покачало,
Дружбы нашей там начало.
Отчего же зародилась –
Как сказать наверняка?
Может, жаркая частушка
Озорно и простодушно
Огоньком сердца задела –
И пошло от огонька.
Разговаривают рельсы:
«Разгорелся, разгорелся...»
И уносятся, струясь.
А колеса подпевают:
«Жарче, жарче не бывает,
Чем на Севере у нас...»
Утро медленно краснеет.
Здравствуй, батюшка наш Север!
Ты гостей, конечно, ждал.
Он шагает нам навстречу,
Развернув огромно плечи
От железного Урала
До гранитных финских скал.
Он в зеленой телогрейке,
Строгий, жилистый и крепкий,
Весь от инея седой,
Шапку низко нахлобучив
Из мехов из самых лучших
И с Полярною звездой!
Звездный свет нам в лица сеет
Милый Север, добрый Север...
Мы выходим в знобкий тамбур,
В свет застенчивой зари,
И курносой, белолицей
Нашей местной проводнице
Мы стаканы возвращаем
И за чай благодарим.

Красные тучи

Люблю, как надвинутся с кручи,
Столкнутся один на один
Грозы темно-синие тучи
И красные тучи рябин.
В кипенье раскатном и грозном
Швыряет разгневанный лес
Охапками крупные гроздья
В разломы и окна небес.
Рассеются темные тучи,
А красные, радуя взгляд,
Еще ослепительней, жгуче
От молний упавших горят.
Горят над полями, домами.
Над Русью, опять голубой,
Над нашим крыльцом и над нами,
Все годы над нами с тобой.
Над ранней и поздней любовью,
Над песнями прожитых лет,
Над жизнью, над смертью, над болью,
Над теми, кого уже нет.

* * *

И вот наконец окупались
Тревоги покоем души.
Шары золотые купальниц
Плывут
В деревенской тиши.

И я не могу надивиться,
Что даже в такой солнцепек
От свежих купальниц струится
Атласный сырой холодок.

И пахнет в безоблачный полдень
Дождем грозовым и еще...
Ну чем же, ну чем?

Ах, припомнил –
Прохладою девичьих щек!

А сердце мгновению радо:
Лишь запах,
Лишь звук или вид –
И сразу подскажет что надо,
Что было –
Опять оживет...

В зеленые годы иду я
И вижу чуть-чуть в стороне
Тебя,
До того молодую,
Что даже не верится мне.
Ты трогаешь косы смущенно,
И я от смущенья затих.
Пылают от близости щеки,
И свежестью веет от них.

И сердцу не надо иного,
Чем это касанье щеки,
Чем запах дождя грозового,
И луга,
И близкой реки...

* * *

Умываюсь туманами севера,
Поднимаюсь легко на бугры,
И мне под ноги катятся клевера
Фиолетовые шары.
А заря, словно мельница,
Мне опахивает лицо.
Горизонт уплывет и светится,
Как березовое кольцо.
В спелой ржи, будто вытканы, вышиты,–
То возникнут, то пропадут –
Голубеют старинными крышами

Деревеньки и там и тут.
Здесь моя деревянная отчина.
Пусть я житель и городской,
А душе, кроме всякого прочего,
Позарез нужен край такой.
Не из тех я прохожих нечаянных,
Что заглянут на ночь одну
И у вдов, умудренных печалями,
Ищут старую старину.
И хозяйки в домах удивляются:
Было время – просили кусок,
А теперь – то икону, то пряслицу,
То ручного тканья поясок.
И в цене не стоят – лишь скажите им,
Но теряются бабы тут:
Нет цены оценить пережитое,
И задаром все отдают.
Мне же чего покупать, если родиной,
Стариной ее, новизной
Существо мое переполнено,
Будто небо голубизной.
Все волнует: и травы шумные,
Свет реки и тень камыша.
Здесь опять невольно подумаю:
Что такое это – душа?
Не приемник с чувствительной силою,
Чтоб включить и настроить мог,
Не березовый лист, не осиновый,
Не старинный какой кузовок.
А поет, и грустит, и дрожит она,
И я думаю неспроста,
Что душа – глубина пережитого,
Непрожитого высота.

Сторожевой луч

Спать не могу. Лежу расстроясь.
Недвижна ночь над головой.
И в глубине сознанья – совесть,

Как будто луч сторожевой.
Откуда он? В окошках звезды.
Их блеск тревожен и могуч.
Но в этот час, глухой и поздний,
Нет, не от них щемящий луч.
Он жгуч. Он будто откровенье.
Он просекает толщи лет.
И чем обиднее забвенье,
Тем сокрушительнее свет.
Из рваной памяти, из боли,
Из мглы ошибочных дорог,
Из дел, которых не исполнил,
Из слов, каких сказать не смог.
Из полуправды, ставшей в горесть,
Из встреч, растрепанных уже.
Всеочищающая совесть,
Как жизнь вести, горит в душе.

* * *

Распахнул весеннее окошко
В лепет листьев, в теплую струю.
Солнышко погладило ладошкой
Снеговую голову мою.

Ожил я от золотистой ласки,
Будто годы жизни превозмог,
И бегу опять в луга, в подпаски,
Будто вновь я звонкий паренек.

Так легко мне! Жизнь еще вначале!
Но внезапно обожгла тоска:
Люди паренька не замечают –
Видят лишь седого старика.

И напрасно мучиться обидой,
Что в сиянье молодого дня
Я бреду, как всеми позабытый,
Будто нет и не было меня.

Василий Оботуров

Оботуров Василий Александрович (1938–2008) родился в Вологде. Имя критика, литературоведа и общественного деятеля В. Оботурова широко известно не только в Вологодской области, но и далеко за ее пределами. Предметом научных интересов Оботурова была современная литература, современный литературный процесс. Его перу принадлежат книги, монографические очерки о творчестве А. Яшина, С. Орлова, В. Коротаева, С. Викулова. Интересны и самобытны его статьи о творчестве В. Белова и С. Чухина, А. Романова и В. Ширикова. Им составлена и выпущена в свет книга о писателе-вологжанине В. С. Белецком-Железняке. Особое место в творчестве Оботурова занимает рубцовская тема. Критик был лично знаком с поэтом и память об этом знакомстве, дружбе проходит через всё его творчество. Он – автор книги размышлений о поэзии Н. М. Рубцова «Искреннее слово». Им составлено восемь сборников стихотворений поэта, почти к каждому из них написано предисловие. В. Оботуров был составителем и редактором первой книги воспоминаний о поэте, которая явилась в свое время крупным событием в культурной жизни страны. Сразу после выхода книга стала библиографической редкостью. Значительна роль Оботурова в подготовительных мероприятиях и работах по сооружению и открытию памятника Н. М. Рубцову в Тотьме (1985 год). С 1980 по 1985 гг., а также с 1990 по 1993 гг. Оботуров являлся ответственным секретарем Вологодской писательской организации; он – лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» имени Николая Рубцова. Очерк «Из дали еще не дальней» о творчестве прозаика Василия Елесина вошел в книгу В. Оботурова «В Буднях».

ИЗ ДАЛИ ЕЩЕ НЕ ДАЛЬНЕЙ...

В древней Тотьме тайною силой обстоятельств судьба свела трех молодых людей, одногодков – Николая Рубцова, Сергея Багрова и Василия Елесина. Не был тогда знаменитым поэт, посмертно получивший широкое признание, а его друзья и вовсе пребывали в безвестности. В самом деле, кому какое дело до чьих-то надежд и чаяний! Но давняя дружба не прошла бесследно: она разожгла страсть к литературному творчеству, внушила высокие представления о роли

писателя. Добро с таким багажом дерзать в литературе, но и ответственность великая.

Наверное, прежде всего, поэтому нетороплив был шаг Василия Елесина. Нет, оставаясь журналистом, сначала в Тотьме, потом редактируя районную газету в Вашках, он писал и рассказы, и повести, пробуя разные темы, но не рисковал выйти на суд читающей публики. Человек совестливый и застенчивый, он тем не менее хотел разговора с современником на самые глобальные темы. Обладая жизненным опытом и острым критическим умом, он знал, что сказать читателю, но – как сказать? Ответ на этот вопрос дается мучительно всем молодым писателям да, впрочем, и всегда ли дается...

Своими сомнениями и замыслами делился со мной Василий Елесин в Москве, где мы вместе учились в 1969–1970 годах. Он открывался и в долгих откровенных разговорах о литературе и о нашей общественной жизни. Теперь о том времени все говорят сурово, но тогда суровость оценок была не в моде, и как отрадно было сознавать, что есть рядом с тобой друг – честный и понимающий.

Честность перед самим собою присуща Василию Елесину изначально. Острая трезвость суждений о жизни утвердилась с накоплением опыта. А как эти качества отражаются в творчестве прозаика Василия Елесина, мы можем теперь судить по его книгам.

Дебютировал В. Елесин рассказом «Старый дом» (сборник «Пути-дороги», 1975). Тема возвращения к родному деревенскому порогу не была и тогда новой, но даже маститые романисты надеялись порою, что им удастся вернуть людей на село. Молодой писатель иллюзиями себя не тешил: «Вот как отомстила мне деревня. Уйти было не просто, а вернуться... Вернуться куда труднее. Видно, как ни привязывай отломленную ветку к дереву – не прирастет». К такому неутешительному выводу пришел герой Елесина. Не сложилась жизнь Александра Михайловича, хотя и в Москве живет, институт окончил, в управлении служит. Зябко ему в

столице, но и домой возврата нет. Каждый жизненный шаг вяжет человека незримыми нитями нравственной ответственности, предопределяя его будущие пути. Психологически чутко, в четких убедительных деталях ведет сюжет В. Елесин, точно воплощая логику характера своего героя и горькую правду жизни.

С чего начинаются все вопросы?

Наверное, начинаются с детства – и в прямом, и в отвлеченном смысле. В детских вопросах и ответах на них заложена предопределенность поступков взрослых людей. А часто ли дети знают правду, встречают доверие и внимание, серьезный – на равных – разговор про серьезную жизнь?

Такой разговор ведет Василий Елесин в своих повестях для детей «Пятачок на берегу» (1977), «Одноухий заяц» (1980), «Кремешок» (1982). Они разные, юные герои В. Елесина, и год за годом взрослеют, и все более трудные вопросы и испытания ставит перед ними жизнь.

Правда, девочка Нинка («Пятачок на берегу») еще мала и, отправляясь с отцом в путешествие на лодке по родному краю, сама не устает задавать вопросы. Красота северной природы открывается ей в солнечном разливе реки и таинственном молчании ночного леса.

Как бы сама собою жизнь для нее и светлой и темной стороной повернется. Браконьеры не в сезон подстрелили утку – Нинке жалеть беспризорных утят. Придет огромный лось на водопой или попадется на крючок старый окунь – ей радость открытия... Каждое событие, любой эпизод повести – поучительны. А что скучного в этой поучительности, если она идет не от слов, но от самой природы, из жизни идет.

Труднее складываются обстоятельства маленькой жизни Кольки Большакова («Одноухий заяц»). Ему еще только в школу идти, а их с матерью отец оставил. Сурова эта жизненная проблема, а открывается она в повседневности будней мальчишек. И пусть порой бывает к нему несправедлива обиженная мать, встретит Колька

дружбу сверстницы, серьезное и ласковое внимание взрослого дяди Миши. Порадуется он выхоженному им зайцу, и каким же горьким потрясением станет для него гибель зверька от ружья доброго дяди Миши!..

Писать о таких маленьких героях и для маленьких читателей – дело исключительной сложности. Свободно и неспешно Василий Елесин ведет повествование, чутко улавливая движения души ребенка; слово, поступок – все вызывает непосредственную реакцию автора. Искренностью детей поверяются и оцениваются взрослые – и это не игра писателя в поддавки, но реальность жизни. Даже неоднозначности в поступках взрослых не избегает В. Елесин – в этом особое достоинство его повестей.

Героем повести «Кремешок» стал деревенский мальчишка Ленька Медведев, за плечами которого семилетка, впереди – выбор жизненного пути. По деревенской традиции держаться вместе поехал он с друзьями в Ухту поступать учиться на геолога, но попытаться одолеть конкурс ребята не решились. И стал Ленька учеником в топографическом отряде, а отряду – надолго отправляться в тайгу...

Автобиографические черты отчетливо проступают в повести, которая обращена в начало пятидесятых годов. Те широкие деревянные ступеньки пассажирских вагонов, по каким в новую для них жизнь вошли герои В. Елесина и каких теперь уже нет, я хорошо помню. Время теперь иное, но опыт постижения жизни в разных поколениях повторим, во многом совпадает, поэтому повесть актуальна и для нынешних дней. Жизнь подростков показана во всей полноте: с воспоминаниями о домашних заботах и школьных друзьях, с новыми делами и обязанностями среди чужих людей, которые должны стать близкими. И становятся.

Не греша комментированием, не прибегая к развернутым психологическим характеристикам – они в динамическом повествовании неуместны,– «диалектику души» молодого героя В. Елесин показывает в действии:

в работе и одолении себя, в сложностях отношений, складывающихся с людьми. А люди в нефтеносных местах под Ухтой ох, какие разные!.. Так начинается взрослая жизнь, и этот экзамен Ленька Медведев выдерживает с честью.

Опыт совмещения разных временных пластов и разработки несхожих характеров, который В. Елесин освоил в повести «Кремешок», сослужил свою службу в развернутом повествовании «Раменье» (1986), объединившем несколько сюжетных линий и многих героев. Тут и «колхозная» линия, и снова «школьная» – и это очень удачно, поскольку деревня сама по себе не знает «ведомственной» разобщенности.

Взаимодействие разных планов сообщает повести В. Елесина полнозвучие и необходимый простор для развертывания характеров. Немало книг пишется о деревне наших дней, но редко встретишь в них вот такую всесторонность охвата жизни. Не буду уверять, что каждая проблема, поднятая Елесиным, каждый тип, им изображенный, единственно неповторимы,– повторяется и сама жизнь. Но во всем писатель находит свою точку зрения.

Определенность позиции, заявленная в повести «Раменье», находит свое выражение и в рассказах В. Елесина, включенных в его последнюю книгу, таких, как «Встречи с Валентином Золиным», «Превышение пределов», «Три рубля сдачи». Если первый из названных рассказов – это своеобразный портрет хорошего человека, то последний – своего рода физиологический очерк, резко обозначивший черты бытового и производственного общения, характерные для нашего времени.

Разнообразно работает Василий Елесин, и к подведению первых итогов он пришел, определив свои возможности, интересы и стремления. Время его – пора зрелых свершений, когда писателю уже многое подвластно, было бы стремление к выбору все новых целей, к одолению беспредельного. Верится, так и будет. Ведь светлая память юности – из дали еще недальней – к этому именно и взывает.

Олег Кванин

Кванин Олег Семёнович родился 26 апреля 1913 года. В 1939 году окончил топографическую школу МВД в Детском Селе Ленинградской области. Трудился на предприятиях и в организациях Москвы и Ленинграда. С 1958 года жил на Вологодчине. Работал бригадиром строительной бригады треста «Промстрой», пастухом в совхозе «Аврора» Грязовецкого района Вологодской области. Участник Великой Отечественной войны. Награждён четырьмя медалями. Кванин является автором сборников сатирических и лирических стихов, таких, как: «Знаем вас!» (1960), «Не без клякс» (1965), «Синь» (1976). Известный советский поэт Михаил Дудин, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда, давая рекомендацию в Союз писателей СССР О.С. Кванину, высоко оценил творчество самобытного русского поэта: «...многообразная мозаика современной русской поэзии без грани таланта Олега Кванина будет все-таки не полной». Виктор Астафьев в книге «Затеси» написал: «Витя (Коротаев) часто читал живущего в вологодской деревне Бушуихе Олега Кванина, очень складного, очень ладного, из чисто народного родника золотинкою вымытого стихотворца». О.С. Кванин трагически погиб 19 января 1978 года.

ЧТОБЫ БЫЛ ТВОЙ ПОКОЙ НЕРУШИМ...

* * *

Неповторим Северо-Запад.
Неповторим... Неповторим,
Как сочной хвои бодрый запах,
Неповторимо слитый с ним,
Как близкие глаза любимой,
Как высвист первого дрозда,
Как ранняя неповторима
Над пашней белая звезда.

Синь

Еще шуршит снежок,
Но лес уже коричнев.

И звонко, и свежо
Цвинь-цвиньканье синичье.

Все ярче медь сосны
И серебро осины,
И для большой весны
Уже хватает сини.

* * *

Разговариваю с воробьем –
И примолк, и перышки взъерошил.
– Снова осень!.. Осень, мой хороший!
Ничего, держись. Переживем!

* * *

Здесь славные ночи, здесь рано светает
И розов и зябок весенний рассвет.
В березовой роще кому-то считает
Кукушка остаток недожитых лет.

Кому-то наивный обман этот нужен...
Как четок, округл ее крик в тишине!
Кому ж ворожишь ты, гадалка? Кому же?
Стою и считаю... А может быть, мне?

Ужель и меня это ныне тревожит?
Угрюмит висков и бровей седина?
Нет, старая лгунья,
Мой век мной не прожит!
Но что ж ты умолкла? Считай!
Тишина...

* * *

Вхожу в березовую рощу.
Светло. И даже странно мне,

Что было сумрачно, как ночью,
И глухо в хвойной тишине.

Там и грибами пахло резче,
И папоротником резным.
А здесь еще все длится вечер
Березовой голубизны.

И даже птицы не молчали
И небо не сменило цвет.
Казалось, сами излучали
Березы этот свет.

* * *

Ох уж эти волчьи ночи
Без луны и без звезды,
С ветром, воющим по-волчьи.
И предчувствием беды!

Так и мнится: в мгле промозглой
Кто-то бродит без примет...
Не с того ли в избе так долго
Не гашу я ночью свет?

Словно сам бреду я рядом
Черным полем без дорог
И ищу усталым взглядом
Дальний этот огонек.

В белом поле

В белом,
В белом поле голо.
Вдоль дороги волчий след.
От луны исходит холод,
Сильный холод, а не свет.

Хоть бы ветер, что ли, вынес
Скрип полозьев, дальний лай...
Тихо... Словно мир весь вымерз.
Обезлюдел отчий край.

А ведь нужно так немного:
Прогорлань петух в селе –
И уже родней дорога.
И округа веселей!

* * *

Юг писан маслом,
Север – акварель.
Прозрачная,
Как солнечный апрель.

Вот этой ясности
И доброй силе чувств
У Севера учился
И учусь.

* * *

Все будет так же, будет так же.
Все как при мне и без меня:
И тихий снег на крыши ляжет,
И вновь капели зазвенят,
И так же будут никнуть вербы
И петь на зорях петухи...
Не смог бы я без этой веры
Писать весенние стихи!

* * *

Неужели время упустил я –
Шел всю жизнь не так и не туда?..
И душа под осень загрустила,
Как над мокрым полем провода?

Неужели миновал устало
Я последний знак свой верстовой,
Или мне зима еще осталась
С неоглядной ширью снеговой?

Что ж, тогда пойду дорогой зимней
Среди этой снежной тишины.
Говорят, зимой дороги зримей
Даже снежной ночью, без луны...

* * *

Все, друг мой, неповторимо.
Все в первый и последний раз...
Вот за окном проходит мимо
Лес, в вальсе медленном кружась.

Бегут столбы почти наклонно
И трудно тянут провода.
И вздрагивает на оконном
Стекле зеленая звезда.

Все это вновь возникнуть может,
Все то же, через много лет,
Но лишь как грустная похожесть
Того, к чему возврата нет.

Иван Полуянов

Полуянов Иван Дмитриевич (1926–2008) родился в д. Киселево Нюксенского района Вологодской области. Окончил Архангельский педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны, награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. С 1957 года член Союза писателей СССР. Автор более тридцати книг прозы, вышедших как в местных, так и в центральных издательствах. Жил и работал в Вологде с конца 1960 года. Главное место в творчестве И.Д. Полуянова – темы жизни детей и юношества, отношений человека с природой. Для него в природе нет тайн, он – писатель, натуралист и ученый-исследователь. Книги Полуянова «За синей птицей», «Месяцеслов», «Солнцеворот», «Где рождаются облака», «Одолень-трава» вошли в золотой фонд русской литературы, повествующей о природе. Они стоят в одном ряду с произведениями М. Пришвина, В. Бианки. Без его книг невозможно представить уроки природоведения в школах области. Итогом многолетних исследований, научных изысканий И.Д. Полуянова стала книга «Деревенские святцы» (1998), получившая широкий отклик в СМИ и удостоенная Государственной премии Вологодской области по литературе и искусству за 1999 год. В ней Иван Дмитриевич реконструирует устные численники-месяцесловы, своего рода деревенские святцы, тесно связанные со святцами церковными. В противоположность нынешним календарям, указывающим лишь месяц, день недели и число, в народном календаре каждый день был особенным, ему сопутствовали народные приметы, поговорки, прибаутки, песни, обряды. «Деревенские святцы» являются настольной книгой учителей не только Вологодчины, но и Владимирской, Ярославской и других областей России. Читая ее, дети и взрослые учатся понимать и любить родную природу. Кроме того, они получают и эстетическое воспитание, ибо художественные достоинства книги неоспоримы. И.Д. Полуянов – автор широкомасштабной народной эпопеи «Самозванцы» (2005), в которой он с редкой художественной силой повествует об эпохе Смутного времени на Руси.

МАЙ – ТРАВЕНЬ

...Стекленеет воздух, освежен прохладой ночи. Поляны, прогалины раздвигаются, тесня хвойный сумрак, будто предстоит им принять в себя что-то огромное, чему нет меры, нет границ. Лужи запоблескивали,

точно низинная чащоба вдруг открыла очи. Небо разбавляется блеклой синью, и они синеют, моргнуть не смея, следят, как ширятся прогалины, как квелые былинки тщатся встать на цыпочки – в шершавых листьях капли влаги.

Почки берез прощипнулись, каждая подвыпустила зеленое ушко. Остры, любопытны ушки, доступно им самое тайное, сокровенное: как под корой берез бродят соки и во мраке подземелья барсук голубит детенышей; как прошлогоднюю, истлевшую в труху ветошь прошивают всходы трав и белоснежная кислица узорит мхи, словно вяжет кружева.

Наконец вовсю развиднелось.

Мгновение – и крону сосны осеяла золотая пыль.

Белесой берестой стыдливо зарделась береза.

Дремучая ель, очнувшись, сучья оправила, готова лапы вытянуть по швам...

Солнце, встает солнце!

Лужи пустились расплескивать жаркие пятна бликов по пням-выворотням, серым стволам, клочьям сивых лишайников. Побежали трепетные тени, затеяв беспечную кутерьму.

Песен, песен-то – тишина вдребезги! Прибывает их, полнится птичий хор от минуты к минуте.

Голоса нет, дятел в сук барабанит. Выпь на болоте, макая клюв в воду, исходит бычьим мычаньем, и собачонкой тявкает куропатка, перелетая по кочкам. Журавли кружатся, вприсядку откалывают головокружительные коленца.

И в полях, лугах что ни куст – то щебет и свист, и в лесах что ни веточка – то песенка.

Мокро запоблескивала хвоя: жмурятся елки-вековухи, слеза умиления прошибла, оттого ли что укоротились ночи, солнце слепит лужи, самосильно врост прет трава...

Как не расчувствоваться, ведь уже май!

– Жизнь... жи-и-знь! – чудится издали в восторженных выкриках журавлей.

Но позвольте, свет и солнце – май тут при чем?

Но птичьему хору разве он дал запев, если вспомнить гусельки синиц с тополей в месяц-просинец, звоны королька с хвойных колоколен в почин позимья?

Право, что у мая для весны в доле?

На Севере дальнем он продолжает дело апреля-водолея, снегогона и солнечника. Ведь в начале мая происходит вскрытие Северной Двины у Архангельска, других больших рек, впадающих в Ледовитый океан.

Разливы бывают огромны, иногда разрушительны. Так, в 1811 году уровень воды поднялся на 6 метров, пригороды Архангельска, особенно Соломбала, буквально тонули. 70 лет спустя грозный паводок повторился. У окрестных, ближних к губернскому центру деревень были потери: «унесло водой 57 домов, 163 амбара, 81 мельницу, 1165 мелких построек».

Для лесной, более южной полосы май – это сиреневый дурман волчьего лыка, глазурью облитая желтая калужница, неслышимый звон колокольцев сон-травы, душистая кипень черемух... Всяк убедись, насколько вправе маю зваться травнем-цветнем. «Май – под каждым кустиком рай» – скажи-ка точней и поэтичней устных календарей.

Пробудилась земля, ручьи живой водой ее отпоили, но нивам даст дыхание едино плуг и борона. Апрель гнал снега с полей, пажитей, заливал луга талыми водами, тебе, май, гнать траву скоту под копыто, пашни строчить всходами...

Ясно, ясно, чем славен май – под каждым кустиком рай. Так-то так, да не всегда. Последний весенний месяц отнюдь не чужд крайностей. Жару май поддаст – хоть разденься, а ветры-сиверы подведут пахарей: «Май – коню сена дай, сам на печку полезай». «Май обманет, в лес уйдет». И вообще,– ишь, «захотел ты в мае добра»!

Для нас за обычай, что травень-цветень на елках снегурок лепит, у ручьев утренниками отбирает переливчатые наигрыши.

Судить по устным численникам – «майский мороз не выдавит слез». Напротив, холода во благо. О майском снеге говорили: «Внучок за дедушкой пришел». Он нисколько не в урон. «Снег наземь – тот же назем (навоз)». «Снег поля утучняет».

Холодно, да в меру; сыро, да без затяжного ненастья; тепло, пусть знойно, только чтоб без засухи – колебания погоды не беда, не затягивай они развертывание сезонных работ.

На всех трудно угодить: дожди оживляют озими, хороши для всходов яровых, зато пагубны садам. Легкие заморозки посевам яровых вряд ли вредят, зато бьют на грядах рассаду.

Ладно нам о капусте и яблочках. Хлеб – крестьянская забота. Сейчас «время дорогое – мужику нет покоя». «Весной пролежишь – зимой с сумой побежишь».

Опять из деревенских святцев советы, о будущем догадки:

«Первый гром с запада – к урожаю».

«Хвощ прет – на недород».

«Зерновые выдадутся – травы не изладятся».

«Много выморочек-проплешей на озимях – к грибному году...»

Надежды с тревогами пополам! Что ж, затем хранимы были календари, дедов-прадедов заветное, чтоб держать селян в постоянной готовности противопоставить стихии свою сметку, расчет сил и возможностей, каким обладали хозяйства. Сознавала деревня зависимость от обстоятельств. Погода не в воле людей. Свой путь к власти над природой искали несчетные поколения землепашцев. В общую сокровищницу знаний вносили вклад и русский, и другие народы. Вот наблюдения чувашей, ставшие сто лет назад достоянием читающей публики:

«Если курицы весной рано с насеста сходят, будет плохое лето, а если поздно, то хорошее».

«У вяза много почек – уродится ячмень».

Чем же майские дни отмечены в деревенских святцах?

Традиции первомая, считается, позаимствованы с запада. Смотря какие традиции. В древней Руси на рубеже весны и лета отмечался «гулёный день», отзвук древнего культа цветов, деревьев, поклонения огню.

Впечатляет самобытность, разнообразие обрядов, сопутствовавших ему на Севере. Скажем, в селеньях Лешуконья, Пинеги, Холмогорщины «гулёный день» отмечался на угорах. Приносили самовары, угощались чаем, постряпушками – шаньгами, кулебяками с треской, палтусом, со свежей речной рыбой. К ночи на угорах пылали костры. У соседей архангельских поморов – мужиков Олонецкого края – канун пахотной страды отмечали складчиной вокруг соломенного чучела, которое потом сжигалось.

В городах гулянья-маевки проводились в рощах, на берегах рек. Прихватывали с собой снедь, в почете, например, были печеные яйца. Раскладывались костры, молодежь пела, танцевала под гармони, под балалайки. В Москве XIX века, где «гулёный день» справляли или 1 мая, или в первое воскресенье мая, на этот случай в Петровском парке, в Сокольниках строили балаганы-однодневки.

При найме на завод, фабрику рабочие специально договаривались, будет им 1 мая праздником или полупраздником, когда смена заканчивается с полудня. Администрация предприятий тогда сама устанавливала количество ежегодных выходных: от 76 до 98 (включая воскресенья).

Правительственный закон 1897 года сократил их число до 66, из них 8 православных праздников, отмечавшихся в определенные дни, и 6 двунадесятых переходящих праздников. Если закон отменил празднование Сретенья, Петрова дня, Казанской, ряда других, мог ли уцелеть «гулёный день» старины?

Доставало в прошлом причин, чтобы стирались в памяти народные месяцесловы...

Николай Дружининский

Дружининский Николай Васильевич (1948–1993) родился в д. Неклюдово Грязовецкого района Вологодской области. После окончания Грязовецкой школы служил матросом на Черноморском флоте, затем окончил юридический институт. Работал учителем в школе, на стройке, был юрисконсультом на заводе, а также трудился в районных и областных газетах. В 1980 году у поэта вышли сборники стихов: «Вокзальные березы» («Молодая гвардия») и «Пастушьи напевки» (Северо-Западное кн. издательство). В 1989 году увидел свет наиболее полный сборник стихов поэта «Каемка времени» (Северо-Западное кн. издательство, ред. А. А. Цыганов). Н. В. Дружининский – лауреат всесоюзных литературных премий имени М. Горького и Н. Островского. Стихи Николая Дружининского отличает своеобразная интонация, образность, любовь к русскому слову, фольклорная насыщенность.

НЕ ДРОЖИ НАД ПОЛЮШКОМ, ПУСТЕЛЬГА...

Вокзальные березы

Опасная резкая дума
Вовеки во мне не умрет!
Сквозь лаву вокзального шума
Плывет незнакомый народ.

Нетрудно с дороги нам сбиться,
Презрев постоянство свое.
И я, перелетная птица,
Второе построю жилье...

Пусть встреча моя запоздала.
Мне прежней тебя не вернуть.
Уеду, уеду с вокзала –
В запретный отчаянный путь!

И стисну я зубы до боли,
И, чтобы не выказать слез,–

Я старую песню про волю
Спою у вокзальных берез.

В кармане затасканный адрес.
Кругом незнакомый народ.
Опасная резкая радость
Вовеки во мне не умрет!

* * *

Закатилось солнышко за стога...
За леса за синие, а там – тайга.
Не дрожи над полюшком, пустельга.
Ты, соколик маленький, пустельга!

Не дрожи над полюшком, пустельга.
За дождями серыми придут снега.
Стынь-волной прокатится по земле пурга.
Ты, соколик маленький, пустельга!

Полыхает зарево брошенных рябин.
Не любить мне заново тех, кого любил.
На ветрах колышется журавлиный клин.
И зарос крапивой бабушкин овин...

* * *

Над застылым болотом в ту осеннюю пору
Все кричал одичало белогрудый кулик.
Умерла моя милая бабушка скоро.
Не успела последний доткать половик.

В пожелтевшем углу, помню, тихо лежала,
Под большою иконой. В еловом гробу.
Что дала она миру? Детей нарожала.
Да внучат воспитала, не бранясь на судьбу.

Что дала она миру? Нелегко мне ответить...
Я губами к платку ее молча приник.
Умерла моя бабушка. Нету на свете!
...Не успела последний доткать половик.

Окна детства

Ах, волос темно-русых волокна...
Мама встала. Ушла на работу.
А седые морозные окна
Принимали зари позолоту.
Резкий ветер завалины рушил,
Налетел на застылые ивы.
Я сидел у окошка и слушал,
Жутковатые слушал мотивы...
Но потом приходила старушка
С чугунком. И варила картошку.
И шутила: «Ну, Колька-Колюшка,
Собирайся! Пойдем по морошку!»
Помню лето я, помню морошку.
Солнце тускло мерцало над бором.
Брал я в руки малютку-гармошку
И упрямо играл переборы.

Ах, волос темно-русых волокна!
Мамы нет. И безмолвна квартира.
Спит жена... А морозные окна
Светят мне – из далекого мира.

* * *

Птиц запоздалых стаю
Буду ночами ждать.
Как бы мы жили –
не знаю,
Трудно предугадать.

Новые к солнцу всходы!
Новый под солнцем бой!
Не исцелили годы
Сердца немую боль.

Тянутся гулкие тракты.
Живы и правда и ложь.

Милая! Где ты? Как ты,
С кем ты сейчас идешь?

Мысли мои качает
Ветер залетный – бриз.
С песней меня венчает.
Часто бросает вниз...

Свидимся ли? Не знаю.
Трудно предугадать.
Птиц запоздалых стаю
Буду ночами ждать.

* * *

Больше ничего не повторится...
Ты за все, за все меня прости.
От несчастий славой не прикрыться!
Без любви любовь нельзя найти!

Но тогда зачем дрожат ресницы?
Но тогда зачем чего-то ждем?
Больше ничего не повторится.
…Мы стоим под проливным дождем.

Слушай, теща!..

(Песня)

От меня жена ушла.
    Вот так да!
От меня жена ушла
    Навсегда.
Сколько в жизни я потел
    От потерь?
Сколько в жизни я терпел!
    А теперь...
Слушай, теща, друг родной!
    Помоги!

Ты пойми, что мы с тобой
Не враги.
По закону если брать –
Мы родня.
Ты почти вторая мать
Для меня.
Теща носом повела –
Вот так-так!..
«У тебя жена ушла?
Сам простак!»
Эх, куплю баян большой –
Пальцы – вниз!
Растяну со всей душой
«Вальс-каприз».
Слушай, теща, друг родной!
Этот вальс
Я его сыграю нежно
Для Вас.
Выпью чарочку вина.
Всех прощу.
Ах, услышь, услышь, жена!
Как грущу...

* * *

Хорошо бы нам снова встретиться
В том селе. Через много лет.
Где Большая – в ночи – Медведица
Льет из ковшика белый свет.

Где черемуха манит блузкою
Бело-белою у реки.
Где по праздникам пляшут «Русскую»,
Пляшут бабы и мужики…

Есть надежда еще на нежность!
Есть надежда на горечь слез!
Пусть радости той неизбежность
Живет до седых волос!

Исчезают лета и зимы
Среди света и среди тьмы.
...Нашей нежностью мы ранимы.
Нашей нежностью живы мы.

Кто-то вспомнит потом...

(Песня)

Я вот завтра проснусь,
Шевельнутся деревья...
Будет сизый туман
Обнимать берега.
И со мною проснется,
Скрипнет дверью деревня.
И покажется мне,
Что я прожил века.

Я пойду по траве,
След оставив неровный.
Будет стадо пастись
И гудеть пароход.
И в заречном лесу
Запах хвои здоровый
Будет звать меня вдаль.
Где вскипает восход.

Будет ветер шептать
Древнерусские были...
Опустелый амбар,
Серый старенький дом.
Ничего мы с тобой,
Ничего не забыли!
Все, что было у нас,–
Кто-то вспомнит потом.

Помню праздник большой:
Мать вернулась из города,
Из котомки достала

Белый в крапинку хлеб.
Этот хлеб городской
Стоил матери дорого.
Я на черном ломте
Возмужал и окреп.

Я окреп не затем,
Чтоб собой любоваться,
Чтобы силу и удаль свою –
напоказ.
Я окреп для людей,
Чтобы с ними остаться.
Боль и радость делить
В свой отмеренный час.

Я тревожно иду,
След оставив неровный.
И на запад гляжу,
И гляжу на восток.
Русь – равнина моя! –
Запах хвои здоровый...
Никогда, никогда
Я не стану жесток.

Настоящие люди
Очень часто встречаются.
И всегда предо мной –
Серый старенький дом.
Есть любовь, есть и нежность.
И путь не кончается.
Все, что было у нас,–
Кто-то вспомнит потом.

Станислав Мишнев

Мишнев Станислав Михайлович (1948–2020) родился в д. Ярыгино Тарногского района Вологодской области. После школы и службы в армии заочно окончил Вологодский молочный институт. Публиковался в ряде коллективных сборников прозы, автор многих прозаических книг, вышедших в разных издательствах страны. С. М. Мишневым подготовлен и опубликован с переизданием сборник «Тарногский говор». Трижды лауреат Всероссийской литературной премии им. В. М. Шукшина «Светлые души». Лауреат Международной премии «Филантроп». Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. И. Белова «Всё впереди». Член Союза писателей России.

ПИСЬМО ДРУГУ

Друг мой! Храни тебя Бог!

Опять теребишь меня: «Пиши». Надо! Согласен! Пока жив человек, он частица великого и бесконечного мира. Кажется, я сросся сердцем с деревьями и цветами, с бесхозными разваливающимися домами, со снегом, с одиночеством: могу часами лежать, смотреть в небо, наблюдать за одиноким ястребом, парящим в облаках, а вокруг что-то шевелится, ищет дорогу к солнцу, дышит, перекликается... спрашиваю себя: а что является мерилом мужицкого достоинства? И отвечаю: отношение к земле. Так и пиши, велю себе,– о ней, кормилице нашей! Только это сближает прошлое с настоящим. И, подумав, отрезвляюсь: ты же старый, больной старик, а деревня... эх, деревянная ты моя, «кривой да пегий» остались в деревне.

Когда мне было лет пятнадцать, я смеялся над стариком Николаичем: летом по деревне в валенках ходит. «А то, паря, худая свинья и в Петров день озябла. Доживёшь до моих годов, вспомнишь». Дожил... мерзнет левая нога, тоскует. Суну под одеяло грелку, ноги прижму к ней, мучаюсь, мучаюсь, то ногам жарко – одеяло комом сдвинул, то – как поддувает... едва усну.

Этим годом в деревню приехала гостить или обживаться одна семья: грузная, пожилая, накрашенная,

в золоте женщина – по слухам, работает в банке, её дочь, зять – самоуверенный тип, ростом под два метра, и девочка шести лет. Взгляд у парня суровый, даже отрешенный, любит теребить рыжеватую бородёнку. Задумали копать колодец. В районной газете нашли объявление, что фирма «Колодец дешево и сердито» копает быстро, за работу берёт «ну просто смешные цены». Я на ту пору бреду деревней, на деревне «тихо лето» – изрусела деревня народом.

Солнце жжёт, не шелохнет листок на березе. Летит машина, звук такой, ровно орду бесов засунули в железную банку. Приехал из фирмы лысоватый молодец, на ногах сапоги-бродни. Стал из салона вылезать – дверка отвалилась. Дверку на место ставит, кулаком хлоп – как с завода! Матом: «Свою бы на сварку... а тут, фашисты-гады... сплошная химия!..» Берёт проволоку, согнутую буквой «г», и говорит: «Заказ принят. Предоплата 70% – такое наше условие. Через три дня гоним сюда технику. Самое главное в нашем деле что? – магнитная энергетика. Нужно найти точку...– ладонь ребром кладёт на ладонь.– Восемь на восемь...». «Короче, Склифосовский,– оборвал очень умного «фирмача» двухметровый детина. «И тут «Остапа понесло»: «Люблю, понимаете, витиевато изложить мысль,– соглашается «фирмач».– Режем диагональ». А я стою поодаль – чудеса! – батогом подпираюсь, женщина смотрит, дочь смотрит, девчонка сидит на шее папы. Огород стоит в лопухах. Море дикой травы. Медвежьим бродом «фирмач» пробрёл до поваленной соседской изгороди, потом обратно, на яркое солнце глянул, на почерневшую от времени стену избы, где-то на средине огорода бьёт ногой землю: «Есть! Три эрстеда и не меньше! Во, как провернуло руку!»

Детина принёс ему гнилой кол. Кол кое-как воткнули в землю. «Теперь вертикаль!» Опять побрёл, и к этой вешке вышел. Ликует: «Больше пяти эрстедов!» «Сколько колец заказывать?» – спрашивает зять. «Фирмач» и раз, и два, что жеребец-семилеток лягнул ногой

землю, виновато говорит: «Не откидывает. Мне бы...» – выразительно бьёт себя по горлу ребром ладони.

Женщина поднесла «фирмачу» графинчик, налила стаканчик. Тот выпил, занюхал кулаком, и как почал бить ногой землю, аж корни лопухов полетели. «Откинуло! С седьмого кольца откинуло!»

У меня челюсть отвисла: надо же! Даже ноги в валенках вспотели. А раньше, сказывали, как только не ухитрялись место определить, как на воду наткнуться. И яйца сырые под горшок клали на ночь, и шубу расстилали,– отсыреет ворс или нет... а теперь стакан водки на лоб, да давай пинать...

Ага, думаю с каким-то злорадством, на семи метрах! И на кой он леший вам сдался, этот колодец, три огурца полить? У соседей выше лет сто назад копали колодец, прокопали двенадцать аршин, а до воды не добрались.

И тут не доберутся!..

...Не пряча горечь, надо сказать честно: молодой писатель – это перевес будущего над прошлым. Старый мерин мирно жуёт свой пенсионный овес, не бьёт копытом, призывно не ржёт, взывая к прелым далям, что разве иногда под настроение от ушей до хвоста пробежит по его телу искра – слабенький романтический импульс в сочетании с трезвым знанием практической (ТОЙ!) жизни, да и погаснет. Стареем, друг мой, стареем. Как найти с читателем новый тон разговора, диспута, убедительный прямой и доверительный тон, ведь писатель – не эксперт, он не знает ответы, которые ставит перед ним завтрашний день?

Старый писатель как не старается заглушить в себе обиду, но не удаётся: он не прощает жизни слома, – наше поколение, и поколение наших родителей власти не приняли в расчет в царствование Бориса, не принимают и теперь. Мы – лишние. Половине мира, некогда дурившей нас строительством коммунизма, можно списать миллиардные долги, а со своего «русака» можно снять последнюю рубаху, он стерпит всё. Наше поко-

ление не пойдёт в толпу, расталкивая локтями, мы ещё живём по принципу «Человек человеку – брат».

И ужели верно, что под солнцем, которому все обязаны жизнью, и маленькая козявка, и корешок, и гений, кто угодно – от Адама до изгоя,– всё суета и томление духа?! А может, это чувство легкой грусти, бесконечная ценность жизни, антитез «прошлое-настоящее», чувство сопереживания, нежелание смириться с бесследным уходом в никуда?..

Что-то жесткое, крутое встает в горле: надо писать, а не хочется. Ни строчки, ни полстрочки. Вроде бы, и не стоит над душой чеховская нянька, никто никого не учит писать, и тему всяк выбирает сам, есть у тебя умение соединять все открытое тобой воедино, расположив на иерархической ценностной лестнице или нет, а как задумаешься над жизнью, станешь воплощать осмысление действительности... не подъёмно! Шальное наше время!

Люди будто знают (а как не знать, на это есть «ящик» и всеядный интернет!), куда они спешат, зачем отдаются течению жизни, куда их вынесет поток и о какие камни ударит. Мне кажется, человек уже давно не спрашивает сам себя: «Кто я?» А ведь человек – это очень маленький корешок, основание могучей в будущем корневой системы, что питает державу нашу. Для кого писать? Или народ наш по-прежнему «самый читающий в мире?». Увидит свет твоя «писанина» или нет? Поговаривают, что скоро в школах исчезнут учебники,– а зачем они, если всё можно найти в интернете?..

Лет сорок назад много приезжало в деревни отдыхающей родни. Раскладушки с потолков доставали, прямо на улице ставили, и блаженствовали целыми днями под родным небом. Под вечер, на берегу реки, горели костры, орала музыка, а усталый, изъеденный комарами и мухами деревенский житель с тревогой ждал завтрашний день: как да дождь? Столько ещё сена выставить надо... Деревенские жители завидовали

горожакам: мы-де бьёмся, как рыба об лёд, а они!.. «Уробились, пашные... ишь, пузы вывалили...»

Нынче в деревню из городов загорать не едут. Зря. Нынче к ним присоединились бы и деревенские старики да старухи; коров нет, овец нет, всё хозяйство «на спичке», – что разве петух на чьей-то изгороди пропоёт здравицу Господу...

В райцентре один преуспевающий господин завёл лошадь. Увидят ребятишки, сбегутся – о, лошадь! Живая, настоящая! Сколько радости, смеха, открытий! Господин посадит мальчика на лошадку, дозволит озорнику побить пятками бока лошадке, ссадит,– гони, малыш, денежку! Кажется, не далёк тот день, когда учитель выведет класс «в поле» – корова мычит! – и станет объяснять ученикам, откуда берутся молоко и масло.

Зимой я был на концерте в сельском клубе. Просто диво: клуб ещё наш, общий, его немного отапливают, и он еще постоит, как говорится, врагам на зависть. И даже есть в клубе начальник: эта неспокойная женщина путается под ногами районных чиновников, где слезой, где ведром ягод отстаивает право на существование этого клуба.

Стужа, зрители сидят в шубах. Артисты приезжие – старики и старухи из соседней волости, они стоят плотным рядом, как взятые в полон вражьей силой древние русичи, поют песню: «Скажи, председатель». Зал плачет...

Кто ответит бывшим колхозникам, через какую дыру улетел их колхоз и куда улетел, зачем намеренно загубили сельское хозяйство, почему грибы пришли к самым окнам,– поля зарастают лесом, почему на пятнадцать деревень ни одной коровы, ради чего отцы и деды живота не жалели?

Но самое страшное не это, самое страшное – нет молодой поросли. Бывший председатель сказал бы: да, сказать страшно. Что там сказать вслух, думать стыдно. Вроде, вины за простым колхозником нет, был он послушным работником, а всё равно не по себе. Страшно

назвать истинных врагов своего Отечества, совестно указать перстом в того же Ельцина или Горбачёва, всяких Хакамад и Абрамовичей. Гнев переполняет народ, а что делать?

Уповать на заступничество божье, и только. Кто ответит: почему двадцать лет грабят Родину, губят армию, китайцы и кавказцы хозяйничают на русских полях, воры пишут законы для прожигателей жизни?

Бурлит русский человек, чувствует свое полное бессилие, его охватывает желание чем-нибудь задеть неуязвимую нашу власть, но он боится повредить себе и предпочитает «бурлить» на своей кухне.

Только собрался писать маленькую статью о местном диалекте, глядь, по телевизору Максим Галкин с Аллой Пугачевой баюкают своих пробирочных детей. Ну, надоело!..

...Остаётся одно: или разбить телевизор, или идти в лес. Но и в лесу не найти покою: его рубят, только щепки летят. Трудно сосредоточиться на бытописании деревни, её языка, когда умирает наша деревня...

Говорят, что только Россия возродит морально разлагающуюся Европу. Один раз мы уже спасли Европу от фашизма...

Но как спасти Европу может Россия, если сильные мира сего (свои враги страшнее чужих врагов!) перекраивают Россию по чуждым ей выкройкам, переписывают историю государства Российского, намеренно обваливают союз земли с государством?

Разве в России присутствует некий гнет скудной жизни? Да вы что!.. Нынче колбас полные магазины, пускай колбасы из туалетной бумаги, но колбас много! Товары к нам везут со всего мира, водки – запейся! Мы едим сельдерей из Израиля, будто бы на нашей земле сельдерей расти уже перестал...

Всяк уважающий себя прохвост ездит на иномарке, не уважающий себя лодырь тешится выиграть в «Поле

чудес» хоромы шикарнее, чем у того же Баскова. Горбачевскую перестройку стоптали, Стакана Гарантовича похоронили; вроде, третьему мировому кризису голову свернули, тонущие европейские банки удержали на плаву, каждый день наша Дума принимает если не в первом чтении, то во втором, десятки законов; умаслили высокими ставками судей и прокуроров – они уже взяток не берут, гаишники перестали грабить на дорогах мужиков, наши девки самый ходовой товар после Украины на мировых подиумах; мы так раскрепостились, на Запад глядючи, что осталось только Россию признать колонией Англии...

Или нам не хватает естественных возможностей для выражения чувств, страстей?.. Мы так употели на работе, что еле ноги до дивана доносим? – да выражайся ты день и ночь у телевизора: «ящик» напоёт, награбит, настреляет, напляшет до рвоты. «Ящик» «забыл» простенькие, наивные советские фильмы: на «уме» лишь деньги, деньги, деньги... И мы все реже и реже задумываемся над вопросом: «кто мы нынче», а зря!

...Пахарь с сохой давно не «едет» и песен не поёт. И ехать не на чём, и ехать некуда. Был лес, и тот в аренде. В чьей аренде? В чьей, чьей... у кого толще кошель, тот и владыка. Была земля наша, стала – ваша. Чья «ваша?» Да бес знает, чья! Был курятник наш, стал ваш...

Нарушился союз земли с государством. Как обозначить на карте местности деревню, в которую ведёт разбитая в дым дорога одного «дяди», обрушившийся мост через речушку – другого «дяди», лавка продуктовая – третьего прохиндея? И мают день к вечеру в этой деревне зануды пенсионеры, нужные как «ректорат» всего на день голосования? – деревня Пустокормовка. А ведь деревня, только русская деревня, не город, была носителем диалектного русского слова, а значит, хранителем русской речи.

Мы живём нынче в каком-то общественном безвременье. Кажется, и власть есть – просыпаемся вместе с Владимиром Путиным, ложимся с Дмитрием Медведе-

вым, а нет веры ни Путину, ни Медведеву. И самим себе веры нет. Почему? Потому как порядка нет в державе нашей, защиты нет! Кто-то млеет в эстетических восторгах,– мы продаём газа большие всех в мире!

Кто-то считает пенсионные копеечки, и прислушивается,– вот пригонят власти трактора, да сгребут у нас, поселенцев, временно проживающих на родной земле, избенки в кучу...

Хиреют русские деревни, умирают «на корню». Горько! Стыдно! Позорно! Трудно быть певцом-деревенщиком своего сословия (деревни), когда думы всего народа, целого века родной земли, и «однокапельны»,– т. е. мыслят в одном направлении, и в то же время так противоречивы,– в пору воскресить Н. А. Некрасова, да поставить с одной стороны – совесть, с другой – бессилье.

Вот и живи национальный гений, то бишь русский человек, как тебе «прикачнёт» жить. Бичуют русские писатели и поэты (как приятно, что возродились славянофилы, только ещё не оформились в движение) общественные пороки, гнездящиеся на зарубежной идеологии, видят полный разлад слова с делом, в неком сне остались радужные мечты «пожить белым человеком», и... полное бессилие.

Близок Н. А. Некрасов нашему пониманию. У него рефлекторно-скептическое отношение к жизни, страстная любовь к своему народу, вера в народ; то он верил, то сокрушался, одной природе доверял своё истерзанное сердце. Вот истинно так и живут россияне!

И мы доверимся природе, доверимся самобытности деревни. Оплачем слёзной долей русского мужика, вспомним, как «баял» народ лет так полста назад и как нынче «заговорил». Наша речь держится на диалектах. Это киты нашей словесности, нашей грамматики. Акающая «вороватая «Масква» – одно; доверчивая, наивная как ребенок деревня – другое. Из деревень, пусть полумертвых, состоит Россия. Помните Ивана

Грозного? – «Земщина и опричнина»? Примерно такой расклад общества.

Диалект – это могучий пласт, залежь, это родник нашего детства, это бальзам на душу уехавшего за лучшей долей деревенского жителя, наша боль и радость. Счастье фамильное, где говорят по-доброму, «цокают» и «щокают», «бранячче да милуючче»! Говор – это узел, который не надо развязывать, наоборот, этот узел «надэ» туже «затягвать», «шщобы» зернышко махонькое словесное не обронить, «нецово» не «потереть». Свой язык дороже всяких богатств земных! Можно рубахи рвать до пупа, до посинения ратовать за свои гектары и сотки, поносить Кремль, а язык сохранить – достойно уважения. Радость, где сохранился диалект русской речи. Свой, местный! Диалект скажет, измельчал народ или нет!..

Летом приезжают городские, особенно московские дачники, как они удивляются, заслышав нашу забавную речь, перевитую не матерными словами, а словами житейскими, корневыми. Так, должно быть, этнограф Миклухо-Маклай заслушивался речью аборигенов Гвинеи. Горожан поражает щедрость деревенских обитателей, простота, наивность. Придёт в дом горожанка луковицу попросить, а ей хозяйка «чельну» зобеньку луку навалит, чаем напоит, пожалеет горожанку. «Пожалиёшь» – станет горожанка скудости избы завидовать – решительно нечего тут ворью делать, то и замков в деревне нет, а у «...меня квартира трёхкомнатная, диваны по сто тысяч, украшений на полмиллиона...» «...можот, дева, не тронут. Нащо жо стоко заводить-то?»

Исчезают ремесла,– исчезают слова, выражения, исчезает живая связь поколений. Много в нашей державе гулящего люда, трудно искать «родину» того или иного слова. Вроде, наше, вроде, и не наше вовсе, и носителей говора остаётся всё меньше и меньше. Диалектное слово – это глубь веков, этнос. Откуда мы пришли и куда идём? Почему урочища носят такие названия, вятичи мы или чудь белоглазая, новгородцы или ростовцы?

Что такое литература? Ходули, ложноклассические ходули. Русские, американские, китайские, но – ходули. Любой писатель пытается сойти с них, ищет что-то своё, пусть даже аллегорический эпос, ищет художественную полноту, меткость слова, детальность, а вот говор искать не надо, он передаётся с молоком матери. Говор любой отдельной местности, это поразительное богатство языка; наши предки были настоящими художниками, жили в гармонии с природой, в ладу с Богом и духами, они ввели в говор малейшие оттенки многолетних наблюдений, впечатлений, передали нам особенные слова и выражения: владейте! И не забывайте!

Живая непосредственная действительность, быт, личные воспоминания – это не творческая фантазия. Сколько в любом диалекте глубокой, своеобразной, потрясающей поэзии, мощи, трагизма, чарующего великолепия! Старые слова – это памятники былого, это наши кресты на могилах предков.

В деревне всё на виду и все на виду: зло и источник зла, совестливость, стыд, едкая горечь, беззаветная удаль, терпение, богатство, бедность; да что перечислять-обобщать, что смотреть на угасающую свечу, – чтоб знать деревню, надо говорить на её языке, жить её заботами, её радостью и болью, её «уставом», помнить и передавать по наследству.

Жить нищим – трудно, стыдно, и... гадко.

Во времена ныне презираемого брежневского застоя, страна жила надеждами: колхозник паспорт получил! Крышу шифером закрыл!.. А какая удивительная тяга была у народа к чтению! Магнетизм какой-то. Читали в самолётах, в автобусах, читали, загорая на Ялтинском берегу, читали в космосе, везде. В каждую деревню почтальонки носили тяжелые сумки, мужики пахали землю и читали, жали хлеб и читали...

Помню, я подписывался в год рублей так на 130, выписывал «Роман-газету», «Вокруг света», «Техника и вооружение», «Сельский механизатор», «Проблемы

мира и социализма»; да разве все издания вспомнишь? Нынче подари соседу книгу, спроси недели через две, прочитал ли? Да, скажет виновато, не всю. Он, эту книгу, вряд ли прочитает от корки до корки, его ждёт «ящик», ждёт 600 программ, заболит палец переключать. Чтобы, сидя у «ящика», валенки починить,– да ты что, и ниток нет, и шило сломалось, и вообще,– вылезет нога из валенка – выброшу рваный, да новый куплю. Однажды я оставил автограф хорошей женщине:

Своими книгами торгую,
А мимо прёт народ.
Такое чувство – я ворую
Или прошу на водку в долг.
Чем виноват? Скажи, не знаю,
О чем болит моя душа.
И в фас, и в профиль проклинаю
Слепую радость торгаша.

Когда-то Хемингуэй за повесть-притчу «Старик и море» безбедно жил много лет, а нам, сочинителям из глубинки (надо признаться, что мы очень маленького роста, против Хемингуэя), не до жиру, быть бы живу. Нам не надо гонорар, нам бы книжечку издать... маленькую, тонюсенькую. Самолюбие не портянка, на ногу не навернешь. Не покидает маленького писателя сознание того, что, в сущности, в его голову природа положила столько извилин, сколько у всех нормальных людей,– зачем обществу думать, будто все писатели и поэты «нетовос»?..

В душе писателя много сил, ему не отказано в божьих дарах, в его сердце волнуется кровь, и под маской некой беспечности скрыта любовь к своей Родине, к своей деревне. Каждый писатель верит, что источники зла таятся не внутри, а во внешних обстоятельствах. Порой я сочиняю с позиции мрачного, трагического пафоса, а что делать? – уж так светла наша жизнь, что надо нашпиговать вещь идеальными, доблестными, положительными типами, дать героям шиллеровское

ускорение? В двадцать лет можно не замечать тихих и скромных тружеников русской мысли; кругом сады, кругом весна, солнце, любовь, герои так и просятся на подвиг; в семьдесят – мимо идут шеренги добродушных, любвеобильных богатырей, на острие пера запёкся страстный лиризм, воспоминания, некий пессимизм, страдания...

С годами лиризм «набирается ума», пластичности, игривости, исчезает «я», произведение принимает образность, заветные думы и чувства героя выше писателя. Будто бы у писателя (чаще у поэта) на одном плече сидит ангел, на другом бес, тот и другой шепчут на уши – петь или отпевать?

Надо «петь»! «Отпевать», правда, тоже надо вовремя. Но, повторюсь, в промыслы Божьи соваться ни к чему. Девяносто один год суждено прожить – проживём, и сто один проживём, была бы жажда к жизни.

Почему, спрашивают те, кому я желаю прожить минимум 91? А потому, что до 91 человек с умом собирается. Вот я собрался, и сочинил тебе письмо. Старался, сам видишь. Вроде, никого не обидел, не наступил «на любимый на мозоль»? А что «забрёл издали широким прокосом» – голова русского человека устроена неким клином: старое никуда не годится, новое – несостоятельно; бредёт наш человек, бредёт, куда-то к есенинскому забору... опять к забору.

...Друг мой, великий русский мыслитель В. В. Розанов, говорил: «Книги читаются не для удовольствия, не для информации, а для изменения души».

Хорошее письмо состоит из чистых сотов словесного мёда. Отцы церкви учили вести постоянную и неустанную духовную брань между сладким, похотливым и чистым, учили обуздывать гордыню, отвергать искушение. Эх, надо бы!..

Урчат машины. Пойду смотреть, как нынче копают колодцы.

Лидия Теплова

Теплова Лидия Михайловна (1953–2014) родилась в д. Медведка Усть-Цилемского района Коми АССР. После окончания школы переехала жить на родину отца – в город Сокол Вологодской области. Работала корреспондентом в «Сокольской правде» и в газете «Россияне». Стихи публиковались в коллективных сборниках и альманахах. Участница Всесоюзного совещания молодых писателей. В Союзе писателей России с 1995 года, автор ряда поэтических изданий. Абсолютная открытость миру и щемящая любовь ко всему сущему на земле – истоки поэзии Лидии Тепловой. Сила проникновения в мир русской природы настолько глубока и естественна, что невольно верится, будто душа поэта прежде, чем воплотиться в человеке, пребывала либо в живой плоти соснового бора, либо в опьяняющей своим терпким ароматом летней луговой траве. Стихи, созданные в традициях русского фольклора, зримы и памятны, как всё родное и близкое. В каждом из них отчетливо слышится биение сердца поэта. В предисловии к сборнику Лидии Тепловой «Крик в ночи» Ольга Фокина писала: «Лично для меня её стихи – уголок живого северного леса, живой северной деревни, живой, страдающей, отзывчивой на чужие беды души».

И РОДИНЕ ТИХОНЬКО ПОКЛОНЮСЬ...

* * *

Тропинка,
Покосившийся плетень,
От времени замшелый
Сруб колодца,
Зеленоглазые избенки
Деревень –
Все это Родиной моей
Зовется.
Краюху неба
На закате дня
Зальет заря
Тончайшей позолотой.
И промелькнет косынка

Вдоль плетня –
То мать моя спешит уставшая
С работы.
Приносит ветер
Горький запах трав,
Волнуют кровь
Неясные желанья.
В дыханьи матери,
К груди ее припав,
Я слышу родины моей
Дыханье.

* * *

Я вышла из леса,
Я вышла из поля,
Я вышла из света,
Попала в неволю.
Скрутил меня город
Проклятым дымищем,
К тяжелой земле
Придавил сапожищем.
Одна и отрада,
Что вербочка рядом.
Встанешь под куст
И ограды не надо,
Душа моя светом
зеленым искрится.
То ли я дерево,
То ли я птица.

* * *

А меня крестили у реки,
А меня Лидией нарекли.
Пеленали меня белым полотном,
Пела песни мне береза под окном.

Круглолицая, с косичкою короткой,
Да с глазами – узкими, как лодки,
В конопатинках янтарных без числа,
Неприметною девчонкой я росла.
Домом были мне леса, луга,
Матерью – широкая река,
А березку на краю села
Я своей сестренкою звала.
Наливались ягодой года.
Смыла детство вешняя вода,
Что ж ты мне, Печора, мать-река,
Не нашла по сердцу жениха?

* * *

В сено с головой зароюсь
И просплю до самой зорьки.
Ключевой водой умоюсь –
Самой сладкой, самой горькой.
Пробегу по косовице,
Поцелую в ствол березу,
На телеге-колеснице
Обгоню ветра и грозы.
Заберусь на стог повыше
И с размаху в небо кинусь.
Солнце, слышишь?
Ветер, слышишь?
Я влюбилась!
Я влюбилась!

* * *

Я приду к тебе однажды,
Обойду кругом твой дом.
Прикипят к коленям влажно
Травы под твоим окном.
Куст обнимет веткой мокрой,

Листья соберет в букет,
Но в окне за желтой шторкой
Вдруг погаснет желтый свет.
Побреду назад, ступая
Мимо тропки, прямо в грязь.
Темнота в душе такая,
Словно жизнь оборвалась.
Словно тут же захоронят,
Замуруют в вечный лед.
И никто не остановит
И назад не позовет.

* * *

Я могу нечаянно присниться,
Будет сон тот холоден и чист.
Но тебя в ночи разбудит птица,
И влетит в окно осенний лист.
Капелькой по сомкнутым ресницам
Из тебя дорогу отыщу.
Я могу нечаянно присниться,
Но тебя в свой сон не пропущу.
Мучаюсь, заглядывая в лица,–
Не во сне? Ах, если бы во сне!
Я могу нечаянно присниться.
Почему же ты не снишься мне?

* * *

Течет, ласкаясь,
Северное солнце,
Как сок морошки
По моим рукам.
Я не ручей, не птица,
Не река,–
Я просто баба.
В травах придорожных,

В росе, в цветах
Ищу свое лицо.
Ищу и нахожу.
А в сердце рвется
До сладкой, до щемящей
Боли гордость
За то, что по земле я
Бабой босой,
Простою русской бабою
Хожу.

* * *

О Родине, о матери пишу,
О глухаре пишу и о собаке.
Где можно, обхожусь без драки,
Где кулаками, плача, погрожу.
А по земле так тяжело шагать,
Чтоб не убить, не смять, не покалечить.
Ведь этот мир беспомощно доверчив,
Как я хочу язык его понять!
Хочу найти венерин башмачок,
Над озерком с кувшинками склониться,
И, может быть, на дом перекреститься,
Где нет замков, а только есть крючок.
Не о своей судьбе пекусь до слез:
Я, человек, за этот мир в ответе!..
Вот нахожу родник в тени берез,
Очищенный от грязи и от веток,
И укрепленный ивами овраг,
И сосенки на вырубке зеленой,
И отвечаю чибису: «Чудак!
Мы все свои. Живи спокойно».

Утро в лесу

Коснулся первый луч сосны,
И вспыхнула сосна!
Мы с ней друг другу не слышны:
Меж нами тишина –
Тягучая, смолой смола,
Прозрачнее слезы,
С живою вмятиной крыла
Случайной стрекозы.
Стою на целый лес одна
И слушаю себя,
И радуюсь, что голодна,
Что ноженьки скорбят,
Что каждой клеточкой живу
И не приемлю грусть.
Нагнусь к цветку и – не сорву,
Как жизни поклонюсь.

* * *

Мне мрачный ельник – дом родной,
Кукушкин лен – перины пышной мягче.
Придет беда, со мной березы плачут,
Светло смеются в радости со мной.
Я в лес иду не просто по грибы.
Что мне грибы? Грибов везде навалом.
Я в лес иду охотницей бывалой,
Не убивать иду, иду любить.
Иду любить, не требуя за это
Ответного тепла, ответных слов.
К чему слова? Душа и так согрета
Касаньем трав и запахом цветов.
Держась рукою за ладошку ивы,
Нагнусь к ручью. В ручье мои глаза.
Ручей вдруг скажет: «Ты пришла, красивая?!»
Я вдруг пойму: он это мне сказал!

Учусь любить. Гоню из сердца память
На злой навет, на чей-то взгляд кривой,
Ведь я в лесу обласкана цветами,
Ведь я в лесу целована травой.

* * *

Речка, ивы, чьи вы, чьи вы?
Кто хозяин ваш? Не слышу!
Что, совсем не соловьи?
Рангом певчие пониже?
Странно: слов не разобрать,
Шелестит листва широко
И снуют, снуют сороки,
Точно учатся летать.
Я подумала тогда:
Что за чудо эти птицы! –
Лунный свет с хвоста струится,
Как зеленая вода.
Думала, из жизни смутной
Воли выкрою кусочек
И в обличии сорочьем
Поживу одно лишь утро.
Поживу хозяйкой леса,
Облечу свои угодья,
Накричусь хороших песен
Сколько душеньке угодно.
Только в птицу превратиться –
Не речной воды напиться...

* * *

Не улетаю в дальние края,
С родной землей навеки не прощаюсь.
Но почему, волнуясь, завещаю
Хранить тебя от бед своим друзьям?
Прошу беречь от боли и огня,

Дурного глаза, страха и насмешек.
Своим благополучием утешить
И успокоить можешь ты меня?
Друзей своих о милости молю,
А ты об этом даже знать не будешь.
И горько мне, что ты другую любишь.
И сладко мне, что я тебя люблю.

* * *

Н. Рубцову

А солнышко с утра
Все выше –
С цветка, на спинку стрекозы.
Дари, Всевышнее,
Тепло и свет
Проснувшейся земле.
Над нею нет грозы.
Такая к сердцу
Подступила нега!
Я к солнцу обернулася лицом:
Слепящее, великое,
Святое –
Источник жизни
Прямо предо мной.
Нет сил смотреть.
Глаза рукой закрыла.
Прекрасное,
А как его увидеть?
Сквозь стеклышко,
Измазанное сажей?
На жизнь сквозь смерть?! –
Ведь сажа – это гарь –
Былого дерева
Печальные останки.

* * *

Я встану на колени у дороги
И Родине тихонько поклонюсь.
Она бредет – в лаптях худые ноги.
Да, это Родина, моя святая Русь.
Обижена, унижена до боли,
Лишь голубые светятся глаза.
Холодный ветер Русь на север гонит
К родным церквям, к прекрасным образам.
Мы много лет светло и славно жили,
Работали, не покладая рук.
Но грудь с размахом не перекрестили,
Берясь за косу или же за плуг.
Великая, могучая держава
В кольце врагов, их оголтелых стай.
Куда ушла былая наша слава,
Куда пропал наш светлый чистый май?
В кольце врагов, как пуговка пришита,
И защищен ракетами окрест.
А ведь была, была у нас защита –
Молитвы, вера, православный крест.
И, презирая пасмурные тени,
Господ, ограбивших страну,
Мы всем народом встанем на колени,
Но перед Богом, будто в старину.
И голубые очи запылают.
Поднимется ее бунтарский дух.
Люблю тебя, Россия, понимаю.
И мну в ладонях тополиный пух.

Песня травы

Мне под твоим окном
Совсем не холодно расти,
Была я зернышком,
А стала травкою.
Куда бы ты ни шел,

Я на твоем пути:
Такая теплая,
Такая мягкая.
Мне под твоим окном
Совсем не холодно расти.
Вон рядом куст дрожит,
Под ливнем мается.
Я вижу, как ты спишь:
Ладошка на груди
То поднимается,
То опускается.
Мне под твоим окном
Совсем не холодно, поверь!
Я не измятая и не уставшая.
Я – просто зернышко,
От всех твоих потерь
Травою ставшее.

Михаил Жаравин

Жаравин Михаил Геннадьевич (1959–1995) родился в д. Еловино Кич.-Городецкого района Вологодской области. По окончании десятилетки работал в колхозе, леспромхозе, служил в армии. С 1980 г. трудился в Вологде на подшипниковом заводе токарем, заточником, наладчиком. Заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького. На Всероссийском совещании молодых писателей 1994 года М. Жаравин был принят в Союз писателей России по рукописи. Публиковался талантливый писатель в «Литературной России» с предисловием В. И. Белова, а также в журналах «Север», «Поле Куликово», «Воин России», «Наш современник». Сборник избранной прозы «Излучатель» был издан Вологодской писательской организацией в серии «Память сердца» (редактор А. А. Цыганов), где увидели свет лучшие рассказы Михаила Жаравина.

ДВЕ ЗАТЯЖКИ

Сеньку мать разбудила ни свет, ни заря.

– Сеня-а... Семен! Поднимайся! Африкан нарядом был, в городок тебе седни, за карасином...

Сенька быстренько вскочил, натянул латаные-перелатаные короткие брючата, выгоревшую до непонятного цвета рубашонку. Схватил обрать и побежал к загону по росной холодной траве.

– Молочка-то, Сеня,– крикнула вдогонку мать.

– Потом, мам! – откликнулся парнишка, перелазая через изгородь. Босые ноги немного мерзли, но Сенька радовался: за керосином в район – это не на сенокос, где слепни, труха во рту и носу и сердитые усталые бабы. Увидев лежащую возле куста лошадь, он начал осторожно к ней подбираться.

– Да это же Шермак! – узнал и сразу же пошел, не скрываясь, а мерин, услышав имя, встал навстречу Сеньке и наклонил голову. Парнишка надел на него узду, ласково приговаривая: – Шермак, хороший Шермак, умный,– и повел конягу за собой.

Шермака Сенька любил за добродушный, непривередливый нрав. Развернув заворы, парнишка вывел

Шермака из загона, а загородив вход, влез на изгородь и с нее перекарабкался на спину любимцу и порысил к дому кладовщицы Конюшихиной Полагии.

– Здоров, Семен Потапович,– с усмешкой встретила его тетка,– запряжешь или помощь нужна?

– Сам,– буркнул Сенька,– давай сбрую.

Полагия, выложив хомут, дугу, шлею, вожжи и седёлку, глядела, как старается парнишка. Потом взялась помогать. Затянув супонь, она проверила, чтоб нигде ничем не терло, и сказала:

– Ну, езжай, да накладную не забудь.

– Ладно,– откликнулся Сенька из телеги.

Подъехав к своей избе, парнишка быстро заскочил в нее, выпил кружку молока, хватил урезок хлеба с несколькими картохами. Пучок луковой травы, накладные, оставленные Африканом. Вышел в сенник, пошарил в пазу между двух нижних бревен, вытащил оттуда небольшой мешочек с самосадом, который стянул третьего дня у забывчивого деда Матвея. И, выкатясь колобком во двор, влез на телегу.

– Н-но! Поехали, родимый!

Шермак пошагал уверенной, тяжеловатой, неспешной ступью.

День выдался жаркий, безветренный – было рано, а солнце парило.

До городка верст двадцать с гаком. Чем заниматься в дороге? Хочешь – пой или спи, Шермак с пути не сойдет. Однако Сенька не поет, не спит, а думает. Все про отца. Думается после вчерашней стычки с Витькой Кизиным. Витька теперь загордился, своих знать не хочет. С год будет, как батя у него с войны пришел. Хоть и на одной ноге, а все же. А вчера зашел разговор про Сенькиного батю, и Витька сказал:

– Два года войны нету, где твой папашка? На хрен вы ему сдались, нашел, наверное, санитарочку немку... молодую!

Сенька и не выдержал. Не растащили бы старшие парни, точно накостылял бы Витьке, хоть тот и провор-

нее. Полгода скоро, как нет от отца писем, а в последнем тятька написал: «Ждите теперь домой. Скоро буду».

Сенька ждал. Тайком от матери по утрам и вечерам бегал на бугор, смотрел из-под руки на выбегающую из леса дорогу. А отца все нет и нет.

И писем нет.

Еще обидно Сеньке, что отца он не помнит совсем. Да и как запомнить-то, если Сеньке всего два года было, когда отец уехал служить. А потом война. Но отца Сенька представляет по рассказам матери. Увидел бы, сразу узнал. Отец высокий, широкоплечий и обязательно с большими усами, как у Буденного.

– Мама, а я на папку похож? – спрашивал Сенька.

– Похож, сынок: глазки, бровки, да и остов у тебя отцовские,– улыбалась невесело мама.

И Сенька внимательно разглядывал в зеркале старом свой облупленный красный нос, конопушки, глаза и не верил, что у отца такие же невидные на лице брови.

Так, в раздумьях, Сенька миновал добрые две трети пути. Три небольшие пустые деревушки – народ на покосе,– он оставил позади. Теперь вряд ли кто попадется и помешает. Сенька выволок из кармана кисет. Наступил пяткой на вожжи и, достав обрывок пожелтевшей, еще, наверное, довоенной газеты, он принялся скручивать цигарку. У него получилось что-то похожее на бычью кривую ногу. Он ее старательно обслюнявил, раскурил. Закашлялся.

– Разорва какая! – сказал он сам себе, подражая деду Матвею.

Курил осторожно, маленькими затяжками, держал дым во рту и выпускал, сплевывая обильную горькую слюну.

От горечи заслезились глаза, запершило язык. Неожиданно перед телегой вырос военный. Сенька оторопел. Лицо солдата лоснилось от пота грязного, клочьями торчала длинная ржавая щетина, но еще более неприглядно темнел от левого глаза до подбородка красно-синий широкий рубец. Не солдат – разбойник.

Никого страшнее Сенька никогда не видел. Интуитивно спрятал он руку с цигаркой за спину.

– Пацан, дай курнуть.

– Нету,– жалобным, с перепугу, не своим голосом пролепетал Сенька, готовый заблажить во всю глотку. Военный дернулся, будто споткнулся, сморщился. И лицо его стало еще страшнее.

– Сынок, дай хоть на две затяжки... Гляди, штаны спалишь!..

Сенька протянул трясущейся рукой остаток измусоленной самокрутки. Солдат ловко подхватил ее, кинул в рот, а свободной рукой быстро развязал походный тощий мешок, выложил к Сенькиным ногам какую-то железку и опустился от телеги... Сенька только этого и ждал.

– Н-но! Пшел! – Шермак, будто почуяв страх парнишки, снялся с места ходкой рысью.

Опамятовался Сенька у парома – по ту сторону Юга раскинулся городок. И только сейчас он обратил внимание на круглую железку возле ног.

«Это же банка с консервой!» – догадался он. Догадался потому, что точно в такой же Витька Кизин носил на рыбалку червяков. Витька говорил – в банке консерва была ненашенская, сладкая, мясо прямо само на языке тает. Батя Витькин привез. Сенька обрадовался. Он уже и представил, как дома открывает эту банку, как угощает маму и деда. Солдат теперь не казался страшным, и Сенька жалел, что не поговорил с ним. Надо ведь было про тятьку спросить, а вдруг виделись?

Керосином он затарился скоро. Учетчица Дуська Фомина, заметно пополневшая с прошлого раза, но одетая все в ту же мятую серую юбку и кирзачи, протянула тетрадку и огрызок химического карандаша:

– Пиши!

Старательно Сенька вывел свою фамилию: Мекешин. Дуська штампанула накладные, одну подала ему ему, другую оставила себе, потом махнула рукой:

– Поезжай с миром, женишок!

У парома на ум Сеньке пришла нехорошая мысль: «А что я скажу маме, если она спросит, где взял консерву? Выменял у солдата за две затяжки ворованным самосадом? А где еще?» – И он чуть не бросил банку в реку. Но привитая войной недетская практичность не позволила совершить глупость. Сожрать втихаря один банку мяса Сенька тоже не мог. Он все больше и больше распалял себя. Думал не о том, что скажет мать, а о солдате.

«Военный попросил курнуть, а вместо того, чтобы отдать ему весь табак, откупился чинариком на две затяжки, да взамен еще и банку мяса взял?»

Сенька уже забыл, что в момент появления солдата испугался до беспамятства, а банку тот подложил сам.

До родной деревни оставалось совсем немного, когда Сенька впереди увидел взмокшую, в разводах белой соли гимнастерку.

– Дяденька?

Военный остановился.

– А, это ты малыш...

– Садитесь, дяденька, подвезу...

– Спасибо, – и военный уселся рядом с Сенькой.

– Курить будете, дяденька? Я разжился.

– Давай.

Сенька без сожаления вытряхнул на грубую широкую ладонь солдата содержимое кисета, подал смятый клочок газеты. Солдат долго нюхал клочок, рассматривал его, щурясь. Лицо его при этом принимало жуткое выражение, Сенька нисколечко не трусил.

– Миром пахнет. Довоенным... Не верится даже,– шепнул, наверное, себе солдат и, вздохнув, аккуратно и ловко свернул дымилку. Раскурив, несколько раз глубоко затянулся.

– Как Христос в лапотках протопал... Знатная крупа...

Сеньке страсть как хотелось заговорить с солдатом о фронте, об отце, но банка жгла ему живот. И он соображал, как вернуть ее. Что вернуть надо – понимал,

но придумать – как, чтобы не обидеть солдата и самому не краснеть,– не представлял.

А впереди на угоре, под раскидистыми тополями и липами, показалась деревня.

– Тормози-ка,– попросил солдат, я тут, пожалуй, спешусь.

Сенька, готовый от злости на себя зареветь в голос, вытащил из-за пазухи банку, протянул ее солдату.

– Возьми, дяденька...

Солдат, видно, понял, что творится с парнишкой, и взял банку.

Сенька спешил сильнее, чем на пожар. Ему не терпелось попасть домой. «Вот расскажу маме, что видел солдата, который только с войны идет, она обрадуется, и не будет по ночам молиться да реветь».

Он сдал Полагии бочку с накладной, сбрую и отвел Шермака в загон. Побежал огородом к дому.

Открыв дверь в избу, закричал с порога:

– Мама! Ма-а... – и увидел сидящих за столом деда Матвея и солдата. Рядом, спрятав руки под передник, стояла мать. Догадка озарила Сеньку.

– Тятя! Тятенька!.. – и кинулся парнишка головой в грудь солдату, прижался лицом к загрубелой, провонявшей потом и табаком гимнастерке.

– Обознался ты, сынок! – всплеснула руками мать.– Это же Гордей Пашков с Каксуру. Дружок отца-то...

– Не горюй, малыш,– виновато проговорил Гордей,– скоро твой батька придет. В Вологде я его оставил, в лазарете. Дорогой к дому схватило. От самого Воронежа мы вместе – оттуда и туда, и снова оттуда... По госпиталям и то дружно валялись, так подходило... – и, криво улыбаясь, солдат вытянул из мешка ту самую банку и поставил ее на стол.– Вот он и гостинца передал!

Сенька будто чокнулся от радости. Он запрыгал по избе, забегал вприсядку. А потом закричал:

– Мама! Мама! Можно, я к Витьке сбегаю, скажу, что папа скоро будет, пусть не задается.

– Беги, Сенюшка,– отпустила счастливая мать.

Александр Швецов

Швецов Александр Сергеевич (1951–1999) родился в д. Поповское Сокольского района Вологодской области. Окончил естественно-географический факультет Вологодского пединститута. Работал на заводах, стройках, сельской школе, служил в Советской армии. В 1973 году Александр Швецов познакомился с известным русским поэтом-фронтовиком Н.К. Старшиновым, сыгравшим в жизни вологодского поэта огромную роль и как наставник, и как человек. А. Швецов – лауреат первой премии за лучшую книгу года в серии «Молодые голоса» – издательства «Молодая гвардия» ЦК ВЛКСМ (1980 г.). Член Союза писателей СССР с 1983 года. Поэзии А. Швецова присуща пронзительная лирическая задушевность, острое историческое ощущение происходящего в окружающем мире. Публиковался во многих всероссийских изданиях. Стихи поэта включены в «Антологию русской поэзии XX века», М., Олма-пресс, 1999 года.

Баллада о стрелах

Художнику Михаилу Брагину

Показалась с востока луна
Желтолицым ордынцем. А Вася
После песен и после вина
С ненаглядной своей миловался.

Выпил квасу
– Гляди веселей!
За меня, дорогая, не бойся! –
Подмигнул ненаглядной своей,
Боевой рукавицей утерся...

Отмахнись-ка в бою от кола!
Повяжи-ка Москву поясами!
Рвутся с привязи колокола
Разъяренными рыжими псами.

Высока городская стена,
На замках крепостные ворота.

Но ударила в сердце стрела –
И утратила чудо полета...

Одолев и глубокие рвы,
И замки на воротах, и стены,
По просторным музеям Москвы
Разлетелись ордынские стрелы.

* * *

Русь моя – извечная кручина.
Дым словесный застилает свет.
Вот и фраза «Русская община»
Подана на блюдечке газет.

И ведь знаю, этот миф привьётся.
Не заметишь, как настанет миг:
Светлым утром глянешь из оконца
В совершенно незнакомый мир...

Мне бы жизнь свою дожить достойно,
Не продаться бы и не сробеть.
И Москвой своей первопрестольной
По-сыновьи мучиться и впредь.

Да сынка бы вырастить мужчиной.
И на протяжении веков
Оставаться с русскою общиной
В мировом смешенье языков.

* * *

Россия! Всё чаще и чаще –
Как будто огнём обожжёт –
Мне видится жёлтая чаща,
И ветер над чащею – жёлт.
И павшие в битвах подолгу
Мне машут оттуда рукой...
И вывел бы их на дорогу,
Да нету дороги такой.

Гость

– Принимай гостей!
– Серёга!
Словно ветер на губах!
Воробьи – и те с порога,
И горошины – с рубах!

Как да что! И вот беседа –
Крылья в стороны и ввысь!
Всё сказали до обеда
И за песни принялись!

И «Пора»,– вздохнул Серёга,
Хмуро шляпу теребя.
Попрощались у порога,
Не вспугнув и воробья.

И как будто стал я старше
Сразу вдруг на много лет...
Петь пытаюсь. Песня та же.
А чего-то в песне нет.

* * *

Вставала мама рано –
Какое там спанье!
Старательно стирала
Нам белое белье.
Теперь и горя мало:
Машина есть у мамы.
Хорошая машина!
И все же рубашку мать
по-старому для сына
старается стирать!

Весеннее

Сошли сугробы, обнажая
канавы, рытвины, поля...

До безобразия живая
прекрасно выглядит Земля...
Иной, глядишь, и телом гибок
и ростом – вешай фонари,
но без сомнений и ошибок,
застывший словно изнутри...
Не слышит: птицы прилетели,
касаясь песнями земли...
Какие вьюги и метели
живую душу замели?

* * *

Живём на родине добром,
Но поначалу мало верю:
Без грубых слов не строим дом,
Кота приравниваем к зверю.

И лишь потом,
украсив дом
и молока купив для «зверя»,
я успокаиваюсь, веря:
живём на родине добром.

* * *

Домик под старыми вязами
В зелени майской увяз.
Столик, украшенный вазами.
Сколько у матушки ваз!
Вроде куда-то и хочется
Мне драпануть налегке,
Только боюсь одиночества
В милом чужом далеке.
Домик под старыми вязами
Плещется в белом снегу...
Вроде и крылья не связаны,
А улететь не могу...

Вячеслав Белков

Белков Вячеслав Сергеевич (1952–2006) родился в Вологде. Окончил филологический факультет Вологодского пединститута. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» имени Николая Рубцова. Автор книг «Неодинокая звезда», «Повесть о Вологде», «Жизнь Рубцова». В. Белков стоял у истоков современного рубцоведения. Много лет редактировал газету «В мире Рубцова», сотрудничал как критик в «Вологодском комсомольце». Далеко за пределами Вологодчины его знают и как организатора первого в стране Рубцовского центра. При непосредственном участии Белкова подобные творческие содружества были созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Дзержинске и других городах России. Сегодня невозможно представить ни одного обзора истории литературы XX века, где в разделе о Н. М. Рубцове не упоминались бы книги вологодского критика. Литературные труды В. Белкова по праву вошли в соответствующие разделы двух солиднейших энциклопедических изданий «Русские писатели XX века» 1998 и 2000 годов.

КОРОТКИЕ ИСТОРИИ

Начало

В 1971 году, когда я служил в армии, получил письмо от брата, из Вологды. Между прочим, он написал о том, что в городе был убит поэт Николай Рубцов. Имя это мне ничего не говорило тогда, но отчего-то я почувствовал по письму, что событие произошло не рядовое.

Видимо, брат потому сообщил мне о гибели поэта, что знал о моем неравнодушии к другому русскому лирику – Есенину. Но я не мог тогда и подумать, что буду когда-нибудь изучать творчество Рубцова, по крохам собирать факты его биографии, выпущу о нем две книжки. Неисповедимы пути наши...

Хватил!

Один американский социолог, большой любитель поэзии, вычислил, что по звездам Рубцов должен был

прожить 77 с половиной лет... Пожалуй, американец хватил лишку. Ни по генам, ни по другим признакам Рубцов не был похож на долгожителя. Отец поэта прожил 63 года. Сам Николай Михайлович порядком износился к своим 35 годам, хотя начальный заряд был у него большой.

На кухне

Рубцов в Литературном институте. На эту тему есть несколько легенд и былей. Вот одна из былей. Вспоминает участник событий известный поэт Юрий Кузнецов, дело происходит в общежитии:

«В коридорах я иногда видел Николая Рубцова, но не был с ним знаком. Он ходил как тень. Вот все, что я о нем знаю. Наша единственная встреча произошла осенью 1969 года. Я готовил на кухне завтрак, и вдруг – Рубцов. Он возник как тень. Видимо, с утра его мучила жажда. Он подставил под кран пустую бутылку из-под кефира, взглянул на меня и тихо произнес:

– Почему вы со мной не здороваетесь?

Я пожал плечами. Уходя, он добавил, притом серьезным голосом:

– Я гений, но я прост с людьми.

Я опять промолчал, а про себя подумал: «Не много ли: два гения на одной кухне?» Он ушел, и больше я его никогда не видел».

Внимательный читатель найдет тут немало странного. Например, это: «Он ходил как тень. Вот все, что я о нем знаю...» Даже не «знал», а «знаю». Хотя уже к 69-му году Рубцов был первым поэтом России!.. В конце концов, Кузнецову надо было оборвать воспоминания на этой фразе, раз уж он больше ничего не знает. Так было бы логичней... Вообще, возникает впечатление, что большой поэт Юрий Кузнецов пытается оторваться от Рубцова, перешагнуть через него. Но у Кузнецова это плохо получается, и вот уже он приезжает в рубцовскую

Вологду, пишет какие-то воспоминания, упоминает Рубцова в своих стихах...

Частица

Строка из стихотворения «Поезд»: «Я, как есть, загадка мирозданья...». В одном из автографов поэт зачеркнул слово «загадка» и вписал – «частица». Разница, как видите, существенная...

Автограф

Вологжанин Юрий Пономарев примерно в 1968 или 69-м году попросил у Рубцова автограф. Было это на квартире у Пономарева, и там под руку попалась книга об Узбекистане. Поэт написал на ее титульном листе:

«Юра!
Я буду помнить сквозь туман
Тебя, вино, Узбекистан!

Н. Рубцов».

Ю. Л. Пономарев (1938 года рождения) долгое время дружил с поэтом, был знаком также с Алексеем Шиловым, Клавдием Захаровым и другими. Он рассказал мне еще один любопытный случай.

Когда Рубцов получил вызов в суд (видимо, по поводу алиментов), то он ответил телеграммой такого содержания: «Приехать не могу. С полным уважением, Рубцов». Это очень по-рубцовски получилось – с полным уважением.

Кто выше

Журналист Энгельс Федосеев любил веселые компании. Многие побывали в его квартире на улице Пушкинской в Вологде и оставили на стене одной из комнат свои автографы. Был там и автограф Рубцова. Когда поэт расписался на стене, то гармонист А. Рачков хотел

поставить свою подпись повыше рубцовской. Рубцов в таких случаях иногда вскипал. И тут вскипел:

– Я же пишу стихи лучше всех!

– Но я же лучше тебя играю на гармошке, – отвечал Рачков.

Поезд

Один чудак, критик, написал в конце 60-х годов, что Рубцов – «тихий лирик». Это такой прием – чтобы умалить художника, надо его в какие-то рамки занести. А, между тем, стихи все опровергали:

Поезд мчался с грохотом и воем,
Поезд мчался с лязганьем и свистом,
И ему навстречу желтым роем
Понеслись огни в просторе мглистом...
Поезд мчался с полным напряженьем
Мощных сил, уму непостижимых...

Я вообще считаю, что Рубцов – поэт ренессансной силы, мощный талант. И дело не в «громких» или «быстрых» словах, хотя излюбленные глаголы Рубцова – «мчаться», «бежать», «нестись» и т. д. Перечитайте «тихое» стихотворение поэта «Когда душе моей сойдет успокоенье» – оно мощнее всех апокалиптических завываний Вознесенского, точнее – Вознесенских, ибо в единственном числе эта фамилия здесь неуместна.

Не сразу я заметил, что «Поезд» Рубцова перекликается с «Бесами» Пушкина. У Рубцова – леший, у Пушкина – «бесы разны», у Пушкина – круженье на одном месте, у Рубцова – быстрое движенье вперед, но с тем же воем и почти с тем же ужасом. У Пушкина:

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

Заметим, что Рубцов использует эти же образы, и такая же рифмовка у него. Ему была просто близка

эта тема, эти чувства. Вот и в другом стихотворении он «по-пушкински» выражает свои ощущения: «Когда, буксуя, воет грузовик, Мне этот вой выматывает душу».

Поезд летит со злостью, но не буксует, по крайней мере...

Буратино

Московский поэт Владимир Соколов иногда называл Николая Рубцова «вологодским Буратино», из-за длинного Колиного носа.

Надо сказать, что поэты были хорошо знакомы. У Соколова (а он старше Рубцова на восемь лет) уже было стихотворение «Звезда полей». Конечно, не он первым из поэтов использовал этот образ, но все же Соколова задело, что свою книгу Рубцов назвал именно так, «Звезда полей», и что эта книга прославила «Буратино».

У Рубцова стихотворение «Звезда полей», написанное как отклик на соколовское, естественно, имело сначала посвящение – «Владимиру Соколову».

Но позднее посвящение исчезло. Возможно, Рубцов сам снял его, поругавшись с Соколовым. Рубцов называл его «дачным поэтом»,– на мой взгляд, совершенно справедливо. Вот это, вероятно, больше всего и обидело Владимира Соколова. Ну как же: какой-то молодой провинциал, пусть и талантливый, смеет так говорить о нем, уже признанном московском поэте!..

Прожил Соколов долго. Но обиду не простил – в своих многочисленных интервью и публичных выступлениях почти никогда не вспоминал Рубцова. А зря. История все поставила на свои места – оказалось, что именно Николай Рубцов нашел «золотой ключик» поэзии.

Леонид Беляев

Беляев Леонид Александрович родился 17 июля 1939 года в г. Белозерске на Вологодчине. Служил в армии в Заполярье, работал на судах загранплавания первым помощником капитана, трудился в районной газете, на областном радио. С 1968 по 1997 годы, почти непрерывно, Леонид Беляев работал на областном телевидении в г. Череповце. Окончил филфак Вологодского педагогического института и Высшие литературные курсы в Москве. В 1979 году поэт был принят в Союз писателей СССР, в 1996 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Леонид Беляев – автор книг, вышедших в Вологде, Архангельске, Москве. Будучи в жизни на удивление душевным и открытым, чутким человеком, Леонид Александрович перенес свой талант и в поэзию. Он был из тех редких поэтов, кто сумел в поэтической строке дослушаться, дочувствоваться до вечного: его стихи стали заметным явлением в литературной жизни.

ВЫХОДИТ В МОРЕ ПАРОХОД...

* * *

Мы поедем в Чагоду
Брать грибы да ягоду.
Далеко до Чагоды,
А доехать надо бы,
Потому что ближе-то
Все давно прочесано.
Трудно встретить рыжичек –
Все теперь с колесами.
Вот и бор. Свернуть спешим.
Тут грибы должны расти.
Но уже полно машин
Из соседней области.
Вот тебе и Чагода!..
Подошли не те года,
Когда возле города
Были гриб и ягода.
Не видать успеха нам:

По родной сторонушке
Триста верст проехано.
А грибов – на донышке.

* * *

Деревня летом ожила,
Как в достопамятные годы.
Со всей страны детей свела
В дома под дедовские своды.
Шумит ведерный самовар,
И нет конца воспоминаниям.
«А что, вернись, пока не стар» –
Маячит в глубине сознанья.
Но столько тут переплелось
Больших проблем в одном вопросе –
Как разных трав,
Что вкривь и вкось
Перемешались на покосе.

* * *

Тополя роняют пух
Белоснежных, невесомых.
Ветерок гоняет сонный
Крупных мух.
Тополя роняют пух.
Он лежит. Скопляясь в лужах
Белой вязью легких кружев,
Мягок, сух
Тополиный белый пух.
Шла девчонка вдоль вокзала,
Улыбнувшись, вдруг сказала
Ясно, вслух:
– Тополя роняют пух.

Страничка детства

Бывало так: на спящий город
Гроза ночная упадет –
И небосвод, огнями вспорот,
Вдруг в темных окнах оживет.
Я помню, бабушка вставала,
Крестила трижды сеновал
И чем-то белым накрывала,
Меня пугая, самовар.
Отца вопросами я мучил,
За ним таскаясь по пятам:
Кто их полощет тряпки-тучи,
Кто их вкручивает там?..
Его ответам я не верил.
И весь в неверии таком,
Бесшумно отворяя двери,
Я пробирался на балкон.
И в мир туманных многоточий
Колумбом маленьким войдя,
Я открывал тетрадку ночи
В косую линию дождя.

* * *

Древний видится вал,
Брежу озером Белым:
Месяц там не бывал –
Годом кажется целым.
Чтоб совсем не зачах,
Мне хоть изредка надо
Согреваться в лучах
Материнского взгляда,
Под сиянием звезд
Побродить по бульвару
Между лип и берез
С легкой грустью на пару...
Я приеду опять

В тихий час листопада.
Буду яблоки рвать
Из отцовского сада
И ловить пескарей
В нашем старом канале.
Лишь бы только скорей
Эти дни наставали.
Здесь я сын, а не гость,
Я не за день, не за год
Пропитался насквозь
Соком северных ягод.

* * *

Выходит в море пароход,
Выходит в море.
Привычно думает народ
О разном вздоре:
Валюта, ужин... Боже мой!
Уже качает,
А след мерцает за кормой,
Наш путь венчает.
Завинчивается вода
И пузырится,
Потом отстанет навсегда
И усмирится.
И я и все, как этот след:
Дни скоротечны.
А берегам износа нет,
А волны вечны.

Александр Грязев

Грязев Александр Алексеевич (1937–2012) родился в Хабаровском крае. Но своей родиной считал с. Борок Буйского района Костромской области, куда вернулись с Дальнего Востока родители. После армии жил в г. Череповце, заочно окончил Московский историко-архивный институт. В Вологде А. Грязев жил с 1971 года, работал в областных газетах. Длительное время был ответственным секретарем Вологодской писательской организации. Член Союза писателей Россиии, автор повестей, рассказов и пьес, плодотворно работавший как на современном, так и на историческом материале. Красной нитью в творчестве А. Грязева проходило эпическое мышление писателя, художественно и смело идущего к масштабным полотнам, отражающим историю родного Отечества.

СЛОВО И СЛАВА ПРЕДКОВ

«В лето 7163-го. Октября в 18 день на память святого апостола и евангелиста Луки поставили единодневный храм во имя всемилостивого Спаса Смоленского на Вологде, на старой площади, а начали рубить против 18-го числа октября в нощи в 6-м часу, а клали светочи и, зажигав скалы на батогах, светили светло, а срубили за два часа до дни, а сомшили в два часа, а святить начали в 5-м часу дня, а осветили в последнем часу дни»...

Так записал вологодский летописец о событии, случившемся в его родном городе осенью 1655 года. О событии, какого не было на Вологде ни до, ни после сего лета.

За год до этого пришла на Русь моровая язва. Опустела Москва: одни люди вымерли, другие разбежались по деревням. Но вымирали и деревни, и целые города. О размерах трагедии можно судить по докладам царю о числе живых и умерших в российских городах. Вот небольшой отрывок из этого списка: «...в Туле умерло 1808, осталось 760 мужского пола; в Переяславле Рязанском умерло 2583 человека, осталось 434».

Не миновала беда и Вологды. Ровно через год после Москвы чума пришла и сюда. Болезнь косила людей

сотнями. Опустели лавки посадских людей на Торгу и Ленивой площади, на гостином дворе и у городских ворот. Заколачивались зараженные и вымершие дома на городских улицах Соловецкой и Покровской, Рождественской и Пятницкой, в стрелецкой слободе и за рекой Вологдой на Мироносицком берегу у судовых пристаней. Живые не успевали погребать умерших. Целых семь недель собирала свою черную дань моровая язва в Вологде.

Мы не знаем, и гадать не будем, кому первому из вологжан пришла в тот горький час мысль воздвигнуть миром в один день храм во спасение от морового поветрия, но ее подхватили все, оставшиеся в живых горожане и назначили день построения церкви – 18 октября.

Накануне к вечеру на старую Сенную площадь стал собираться народ со всего города и подгородных деревень. Каждый хотел принять посильное участие в деле. Подвозили бревна и доски, тесали и рубили дерева. С наступлением полной темноты сотни горожан зажгли «светочи» – берестяные и смоляные факелы. Стало светло, как днем, и при этом свете плотники рубили храм всю ночь, завершив его за два часа до восхода солнца.

Утром новорубленую церковь украсили иконами и церковной утварью из других городских храмов, а с полудня тогдашний архиепископ вологодский и великопермский Маркел начал творить службу по освящению храма, закончив её к вечеру. Тем и завершилось сооружение в Вологде Спасообыденной церкви, одной из немногих на Руси ей подобных. «И оттого дни мор на Вологде перестал быть»... – записал летописец.

Но вологжане дело на этом не закончили. В честь сего великого творения изограф Сумароков по их просьбе написал так же за один день икону Спаса Всемилостивого в новый храм. А горожане составили «обетный приговор», в котором обязались сами и наказывали потомкам своим хранить как святыню Спасообыденный храм и обеспечивать его жизнь «из мирского ларца, своими

мирскими деньгами». В этом поклялись и «обещались все вологжане посадские люди есмя по своему мирскому обещанию, ныне, да и впредь детям и внучатам нашим и кто будет по нас на Вологде посадские люди по вся годы»...

Приговор отнесли в Софийский собор с наказом хранить и помнить вечно. Нельзя не помянуть имена тех, кто писал завещание. Вот несколько из сотен подписавшихся: Третьяк Желвунцов, Первой Катромец, Дружина Михайлов, Замятня Евдокимов, Евсевей Носков, Третьяк Яковлев, Иван Вага, Ждан Михайлов, Томило Пушник, Акила Карпов, Семен Стоумов, Якимко Городчиков.

Сыновья и внуки тех вологжан свято хранили и соблюдали наказ предков заботиться о благосостоянии храма. Так, когда через сорок лет деревянную и слишком маленькую, да к тому же приходящую в ветхость церковь, решили заменить на каменную, то старое здание не разрушили. Во все долгое время стройки она находилась внутри воздвигаемого каменного храма и в ней постоянно отправлялась служба.

И через сто, и через двести лет в Вологде 18 октября был днем воспоминания об избавлении города от чумы.

...«Благодарные потомки,– пишет в 1868 году один из вологжан,– не оставляют творить память страшного посещения и славного избавления предков. С тех пор каждодневно на сем месте в настоящий день совершается церковное творчество... Честь и слава благочестию потомков, свято сохраняющих память»... Так делали благодарные потомки еще в начале века нынешнего.

А неблагодарные потомки, поправ память предков, в 20-е годы в обезображенном ими же храме открыли «дом искусств». В 300-летнюю годовщину городской святыни там работал кинотеатр.

Но ещё большую неблагодарность совершили нынешние вологжане. В 1972 году они снесли собор с лица земли. Очевидцы помнят, как не хотел погибать храм и долго не поддавался рукам разрушителей. Тогда

они с танками и динамитом пошли на него в атаку. И храм был разрушен до основания. За что? Почему? Ради чего? Нет ответа на эти вопросы. Ибо место, где стоял храм, залили асфальтом и разбили цветочную клумбу. Разрушить и ничего не создать! Вспомним историю: так поступали только варвары. Но разве память народную можно разрушить или стереть с лица земли?

Человеческая жизнь или жизнь целого народа пишется сразу на чистовик и в ней ничего нельзя переписать заново, нельзя возвратиться назад. Каждый прошедший миг жизни сразу же падает в Лету, ту самую легендарную реку забвения, которая, по словам поэта, «уносит все дела людей». Так ли? Так да не так.

Ибо дело, претворенное в Слово, в звуки музыки или картину живописца, в камень храма или бронзу ваятеля, живет века и даже тысячелетия. Самым долговечным и крепким, как ни странно, остается Слово. Можно уничтожить храмы, картины, памятники, дома, забыть музыку – что всё уже и было в истории человечества. Но нельзя уничтожить Слово. Можно даже сжечь книгу, в которой оно напечатано, но Слово останется, ибо это память рода и всего народа, к которому принадлежит человек.

Пусть неблагодарные потомки танками и динамитом снесли храм Спаса Обыденного, но они память народную не уничтожили. Она осталась в Слове тех, кто писал послание своим потомкам, говоря с ними через века. Так что дело созидателей и имена их остались в памяти, а значит, и в жизни человеческой. Имена же разрушителей храма действительно канули в Лету и вполне достойны забвения.

В будущем, когда состоится суд над разрушителями старой Вологды, он вынесет частное определение в адрес остальных вологжан. За молчание. За то, что, замкнув уста, взирали на творимое святотатство и тем помогали разрушать созданное веками. За соучастие.

Ведь рядом с храмом Спасообыденным стояли некогда еще два собора, которые тоже снесены с лица

земли, а под Вологдой, незадолго до взрывов и танковой атаки на бывшей Сенной площади, уничтожена была церковь святых Кирика и Улиты, где летом 1917 года венчался великий русский лирик Сергей Есенин. Из ее кирпичей построили свинарник.

И всё это творилось на глазах ныне живущих поколений! На глазах «молчаливого большинства».

Разрушители старой Вологды (архитекторы, проектанты, городовые чиновники) творят своё чёрное дело и сейчас, когда пишутся эти строки. Они сносят деревянные дома и на их месте ставят каменные «монстры». При этом они даже вторгаются в заповедные, охраняемые Законом кварталы старого города, то есть преступают этот Закон.

Разрушители старой деревянной Вологды, выступая против её немногочисленных защитников, спекулируют на тяжелых условиях проживания в деревянных домах по части удобств. И жителей, дескать, надо переселять в благоустроенные квартиры.

Но кто же против переселения жителей деревянных домов в новые квартиры?! Только почему же при этом надо ломать сам дом? И почему условием переселения из деревянного дома становится только его снос? Почему на месте деревянных домов в центре города вырастают пятиэтажные солдатские казармы? Разве мало для них места на окраинах?

Есть ведь другой вариант, который предлагают защитники старой Вологды: всех жителей деревянных домов переселить в благоустроенные квартиры. Дома же, оставленные ими, возобновить, благоустроить и вновь заселить теми, кто этого желает. Всякий другой путь ведёт только к разрушению. Но зачем же идти варварским путем?

Не лучше ли вспомнить слова великого Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

Старая деревянная Вологда – слава наших предков.

Доколе же мы будем малодушны и молчаливы?

Юрий Леднев

Леднев Юрий Макарович (1929–2001) родился в д. Могилево Макарьевского района Костромской области. В пять лет мальчик уже знал наизусть стихи А. С. Пушкина и других поэтов. В юности работал заведующим избой-читальней, после окончания Макарьевского педучилища – учителем. Служба в армии, журналистская деятельность, Литературный институт им. А. М. Горького. С 1972 года жизнь Ю. Леднева и его семьи связана с нашим краем: он – корреспондент ТАСС (Телеграфного Агентства Советского Союза) по Вологодской области. «Врос я корнями в здешнюю северную почву и не пересадить меня отсюда никуда»,– признавался поэт. В 1977 году Ю. М. Леднев стал членом Союза писателей СССР. С 1980 года – на творческой работе. Автор многих рассказов, повестей, поэм, стихов и поэтических пьес. Десять лет руководил Вологодским отделением Российского Детского Фонда.

НАШ ДОМ СТОИТ НА КОСОГОРЕ

У родника

У родника стояли двое.
К руке притронулась рука.
И стало донце золотое
У родника, у родника.
Над ними ивушки качались.
Им пели птицы в вышине.
Они впервые повстречались
наедине, наедине.
Они впервые целовались
у родниковой ворожбы.
Две тропки в узел завязались
и две судьбы, и две судьбы...

Наш дом

Наш дом стоит на косогоре
тремя окошками на юг, весною –

в радужном уборе, зимой –
серебряный от вьюг.

И пусть у нас не много злата,
не густо снеди про запас,–
весь день с восхода до заката –
свет солнца в горнице у нас.

И видно счастье нам и горе,
и кто там недруг, кто нам друг.
Стоит наш дом на косогоре
тремя окошками на юг.

Осень

В природе – редкое смиренье.
Сочатся частые дожди.
В избушках сварено варенье.
Галдят про выборы вожди.
Обманутые «бабьим летом»,
Проклюнулись круги маслят.
Но стали холодней рассветы,
И листья по ветру летят.
Легла на травы паутина.
Теперь недолго до зимы.
Четыре журавлиных клина
Сегодня проводили мы.

Вологда

Живу в морозной, ясной стороне,
где не чета мне – гении живали,
где в час зари наличник на окне
глядится золотыми кружевами,
где горсти бликов пляшут на волне,
где церкви купола свои сжигали,
да не сожгли. С восходом наравне
они пылают в утреннем накале.

Здесь колоннад бревенчатых столбы.
Здесь пушки, что не ведали пальбы.
Здесь старики внимательны и строги.
Здесь пахнут лесом двери и полы.
Здесь в праздник накрываются столы
легко, свежо, без суетной тревоги.

Легко здесь оценить истоки жизни,
скупые ласки матери-отчизны
и встать с тревожным веком наравне,
и быть, а не считаться гражданином.
Вот почему и я не чужанином
живу в морозной, ясной стороне.

Последняя спичка

Один человек из десятка неробких,
один из моих стародавних друзей,
единственной спичкой в обычной коробке
пополнил недавно домашний музей.
Чудачество?
Дань собирательской моде?
Я так и решил бы скорее всего,
когда б не узнал, что зимою, в походе,
от смерти спасла эта спичка его.
Он нёс как последнюю в жизни надежду
её сквозь пургу,
сквозь ночную тайгу,
в промёрзшей насквозь, задубелой одежде
рискуя упасть и уснуть на снегу.
Велик был соблазн у костра обсушиться,
и руки согреть, и испить кипятка.
Для этого надо лишь было решиться
и чиркнуть селитрой о бок коробка.
Но если огня неокрепший росточек
завянет в бессильной озябшей горсти,
достанет ли силы,

чтоб в сумраке ночи
в отчаянье диком с ума не сойти?
Он шёл, побеждая версту за верстою,
прижав коробок под фуфайкой к груди,
пока не увидел окно золотое,
мелькнувшее там, далеко впереди...
Вот так же, родная,
сквозь холод и снежность
впотьмах прошагавший версту не одну,
как спичку последнюю,
я свою нежность
принёс к твоему золотому огню.

Ты назови его Иваном

И пусть красивых, иностранных
Имён – без края и конца,
Ты назови его Иваном.
Пусть будет в деда и отца.

Отдай ему цветов поляны,
И шум лесов, и волны рек.
Ты назови его Иваном.
Пусть будет добрый человек.

Не дай ты жить ему обманом
И видеть правду помоги.
Ты назови его Иваном.
Пусть перед ним дрожат враги.

Пусть он друзей узнает рано
И не посмеет их предать.
Ты назови его Иваном.
Пусть бережёт отчизну-мать.

И пусть ему не будет странным
Нести пуды чужих забот.

Ты назови его Иваном.
Пусть верит он в простой народ.

И пусть по звёздным океанам
Несёт он жизни торжество.
Ты назови его Иваном,
Иваном, помнящим родство.

Михаил Сопин

Двадцатый век не обделил поэта Михаила Николаевича Сопина (1931–2004) своими трагическими страницами. Родовые корни – из Гражданской войны – на Курщине и Украине. В детстве – Великая Отечественная война, оккупация и Курская дуга. В молодости – лагеря. Потом долгие годы литературного непризнания. Затем – жизнь на Вологодчине – и книги, публикации, любовь читателей. С распадом Союза – потеря связи с родными на Украине... Потому в стихах Михаила Сопина так много горечи, жесткости и мудрости.

ХОДИТ ПАМЯТЬ И ПЛАЧЕТ ПО-РУССКИ...

* * *

Кто сказал,
что не чувствуют
птицы?
Кто сказал,
Что не плачет
трава?
И душа,
Перед тем,
как разбиться,
Высочайшей
печалью
жива:

К маяку,
к тростнику у болотца,
К тополям,
что вросли в хутора,
Ко всему,
что еще остается,
Ко всему,
с чем прощаться
пора...

Поглядишь на врага,
как на брата!
Чуя сердцем
некрепкую нить –
Как же так,
Уходить
без возврата,
Как же так?
Чтоб не стать,
Чтоб не быть?

Тяжко, душно –
Вон месяц
над чащей!
И молюсь
на коленях,
в пыли –
Будто мне
По ошибке
дичайшей –
Приговор
Безнадежный
Прочли.

Тропинки наши

Александру Цыганову

Сломали все, что строили,
И снова в светлый путь:
В потоп антиистории,
В поход, куда-нибудь...
Под лозунгами смелыми
Сгорая для потех,
Не то ценить умели мы
И выбирать не тех –
И бранью, и окопами,
И дикостью вины

Тропинки наши вскопаны,
Мосточки сожжены.

Останемся вдвоём

Давай останемся вдвоем,
Измажем лица земляникой.
Ты мне расскажешь о своем,
А может, просто небылицу:
Об увлеченьях, куражах,

Чтоб все явилось как во сне бы...
А можно просто полежать,
Уставясь в синий полог неба.
Потом в зеленой лебеде
Как будто бы задремлешь даже...
А я тихонечко тебе,
Как тихий ветер, грудь поглажу.
Ты будешь в яви, как во сне
Лежать, как девочка-подросток.
Лишь сердце тукнет чуть сильней...
И будет нам светло и просто.

* * *

Все иду,
Как маленький,
По степи бездонной,
Будто меня маменька
Прогнала из дома.
И летят без жалости,
Бьют дожди навылет,
За мои ли шалости,
За грехи мои ли.
По глазам – тяжелый дым
Стылого застолья.
Для потерь и для беды
Полное раздолье.

Не дорога, маета.
Моросно-туманно.
Если, мама, что не так –
Ты прости мне,
Мама...
Будто только лишь для нас
Не к дороге обувь.
Декабрем легла весна.
Травы – под сугробы.
Через поле –
Лунный след.
Все ли в жизни нужно?
Не гаси, родная, свет
В заверети вьюжной.

Выйду в полночь

Выйду в полночь
И сяду у дома,
Гляну в даль
И душой загорюсь:
Там весеннего ветра гомон
В синих тучах качает зарю.
Дождь капелью по лужам булькает,
Словно кот языком молоко.
И качает бабушка люльку
В нашем доме под потолком.
И опять я бы стал тем самым,
Долю горькую не кляня.
И тихонько пела бы мама,
И качала, качала б меня...

* * *

Все прозрачнее
Верб купола.
Что-то рвется во мне,

Что-то ропщет.
Может, юность
Внезапно взошла,
Словно месяц
Над дальнею рощей?
Кто ты? Где?
Отзовись... Не молчи.
Но душа
Что-то ищет незряче:
То ли кто-то
Забытый,
Кричит,
То ли кто-то,
Отвергнутый,
Плачет...

* * *

Плачу я, что ли,
Листвою осеннею наземь...
Что-то привиделось,
Что-то припомнилось мне...
Поле ты, поле,
Единственный свет мой
И праздник.
Тени дождей,
Отраженные в давнем окне.
К ним припаду,
Чтобы памятью
Здесь отогреться,
И загудят
Мне в зеленых полях
Поезда.
И зазвенят
Проржавевшие
Старые рельсы,
Что заросли
И теперь не ведут никуда...

Я не знаю, поют ли теперь...

Я не знаю,
Поют ли теперь
Перепёлки во ржи –
Когда можно, как в воду
Войти в знойный запах над рожью!
Пусть никто обо мне
Никогда не услышит:
«Он жил...»
Я хожу и сейчас
Под дождями,
Тайгой, бездорожьем.
Пропадаю в туманах
И лугом дышу голубым,
И полынью,
И запахом
Яблонь и вишен!..
В это трудно поверить –
Как был я богат,
Как любим!
Всё вошло в моё сердце,
Всё помню,
Всё вижу, всё слышу.
Я приветствую жизнь:
Лошадей,
И луга,
И луну,
Голоса поездов,
Пассажиров,
Названия станций.
И в рассветы столетий
Входя,
С головой утону,
Чтоб душою и сердцем
Остаться,
Остаться,
Остаться.

Вы летите, летите
К желанной
Далёкой звезде!
Я останусь навек –
Там, где детство
Как привкус от вишен!
Где любая изба
Проскрипит вам:
«Он только что вышел».
Журавлей над Россией
Спросите –
Ответят:
«Он здесь».

* * *

Ой по полю, по балкам, по спускам
Ходит память и плачет по-русски.
Ходит память землёю горящей,
Долю во поле ищет незряче.

Не тужи, не ходи круг за кругом,
Не зови убиенного друга –
Стало поле полынью-травою,
Стала девица чёрной вдовою.

Где ты, долюшка, где ты, какая?
Ходят дети, отцов окликая.
Ходит дождик по ярови синей,
По России, по всей по России.

Снегами прибьет лебеду...

Снегами прибьёт лебеду.
И следом,
По ярови синей,
Я тихо
В Россию войду

И молча пройду по России.
Поднимется к небу душа
И стихнет,
Вселенной послушна.
Не надо меня утешать.
Прошу, утешений не нужно.
Вослед ураганной зиме,
Сквозь белые,
Беглые глыбы,
Пошлите мне
Тайну улыбок,
Чего я в судьбе не имел.
Мне каждую осень, клубясь,
Летать над равнинною синью.
Не мы открываем себя,
Но мы
Продолжаем Россию.

Владимир Железняк

Железняк Владимир Степанович (1904–1984) родился в семье сенатора, государственного деятеля дореволюционной России С.П. Белецкого. После окончания Высших государственных литературных курсов работал в редакциях московских газет. В те же годы появились его первые художественные произведения. В 1935 г. был арестован и выслан из Москвы. С 1936 года жизнь и судьба В. Железняка была связана с Вологдой: работал в газете, затем научным сотрудником областного краеведческого музея. Владимир Степанович был членом Союза художников СССР (с 1943 г.), членом Союза писателей СССР (с 1968 г.), заслуженным работником культуры РСФСР. Им было написано и опубликовано несколько сборников исторических повестей и рассказов, путеводителей по Вологде, многочисленные краеведческие очерки и статьи. Награждён грамотой Верховного Совета СССР.

БРАТ

Николай Иванович был вечером на «Евгении Онегине». Он был в Большом театре, где золото разводов, лож и ярусов рельефно выделялось своей блестящей чешуей. Публика сидела в напряженном ожидании арии модного тенора. Рядом с Николаем Ивановичем молоденькая блондинка с длинной шеей, которую обрамляли торгсиновские бусы, прошептала своему кавалеру:

– Ты знаешь, Миша, у него такой исключительный голос.

Николай Иванович улыбнулся в седые подстриженные усы и вспомнил, как осенью 1910 года в первый раз, по окончании артиллерийского училища, двадцатидвухлетним подпоручиком он вместе с Надей был в этом же театре, и Надя так же, как и соседка, шептала: «Ты знаешь, Николинька, у него чудный голос!» Тогда исполнять арию Ленского приезжал из Петербурга покойный Леонид Собинов.

Николай Иванович как сейчас видит себя в красивой форме темно-зеленого сукна с серебряным шитьем, как

ярко сверкали серебряные погоны с двумя звездочками на плечах, как приятно позванивали кавалерийские шпоры малиновым звоном. Он стоял в антракте около своего кресла (военные в императорских театрах во время антрактов должны были стоять), и ему казалось, что все бинокли и лорнеты дам направлены на него – подпоручика Николая Аргутинского, блестящего офицера гвардейской артиллерии.

Так думала и Надя. Она ревниво следила за женихом, а когда они после театра шли по Тверской, Надя оглядывалась по сторонам, и когда попадались навстречу военные и Николай поднимал руку в белой перчатке к козырьку фуражки, она, радостно улыбаясь, говорила: «Ах, Николинька, как ты красиво отдаешь честь!»

Второй раз «Евгения Онегина» они слушали в Петербурге в Мариинском театре. Тогда был их медовый месяц. Николай был принят в Военно-артиллерийскую академию, и перед ним открывалась блестящая карьера.

Третий раз ему пришлось слушать «Онегина» в Варшаве. Это было в 1915 году, незадолго до оставления города русскими. Он помнит то ощущение злобного бессилия, которое царило среди артиллеристов его бригады. Не было снарядов. Артиллерийские склады пустели. Путиловский завод не мог удовлетворить потребность фронта. Надо было для трех фронтов по 35 000 снарядов на фронт в день, а их было всего 24 000 на всю действующую армию.

Николай Иванович даже теперь, здесь, в театре, хрустнул пальцами. Он вспомнил сейчас, как приезжал к ним в бригаду Верховный Главнокомандующий Великий Князь Николай Николаевич. Высокий генерал, с маленькой, как у стрижа, головой, с седой щетинистой бородкой, собрал около себя офицеров-артиллеристов. Они пришли к Великому Князю усталые, с серыми бессонными лицами.

«Господа,– сказал Великий Князь,– на нас Божественным промыслом ниспослано несчастие... Как мне вчера донес военный министр генерал Сухомлинов,

наши сталелитейные заводы не успевают делать снаряды... Верховное Командование запросило французского посла господина Палеолога о помощи. Надеюсь, господа, что вы исполните с честью свой долг перед Богом, Царем и Родиной и будете беречь снаряды. Помните, что на десять немецких «чемоданов» надо отвечать одним метким русским снарядом... Я надеюсь на вас, господа!»

И тогда капитан Рыжев, командир третьей батареи, вышел из толпы офицеров и, смотря усталыми полусумасшедшими глазами на Николая Николаевича, закричал: «Ваше высочество! Разве вы не видите, что кругом измена! Вас окружили изменники-генералы, царя заполонили грязный мужичок Распутин и немцы Фредериксы, Бенкендорфы и Штюрмеры... Солдаты и фронтовики-офицеры истощены постоянным недоеданием... Снарядов нет, патронов нет, винтовок нет... Солдаты-новобранцы ждут, когда убьют товарищей, чтобы подобрать их оружие... Одни сухари и те червивые! Кто виноват в этом? Кто? Мы или вы? Ответьте, Ваше высочество!»

Это был храбрый солдат, капитан Рыжев, и Георгиевский крест за бои в Мазурских лесах украшал его грудь.

Главнокомандующий сердито посмотрел на Рыжева и сказал свите: «Капитан очень устал... Ему нужен отдых! – и, обращаясь к артиллеристам, добавил: – Вы тоже устали, господа... Вашу бригаду я временно отведу в Варшаву... Там вы немного отдохнете... Кстати, туда сейчас приехала русская опера... Может быть, классическая музыка на время даст вам отдохновение... Прощайте, господа!»

На другой день вечером артиллеристы слушали «Евгения Онегина», а еще через день узнали, что капитан Рыжев за нарушение дисциплины арестован и выслан на Турецкий фронт...

– Да, ужасное было время! – сказал вслух Николай Иванович и сконфузился, так как на него зашикала публика:

– Тише, тише!..

Он взглянул на сцену. Модный тенор заканчивал арию Ленского. Николай Иванович, занятый своими мыслями, этого даже не заметил.

Дали свет.

В антракте Николай Иванович вышел в фойе. Он шел, плечистый, седовласый, на его большом носу сверкало пенсне. Он шел походкой прямой – походкой старого солдата, и на зеленом френче в петлицах рубинами горели два ромба, а на груди – орден Красного Знамени.

Он был еще далеко не стар, Николай Иванович. Ему исполнилось сорок семь лет. Это пустяки. Для тех, кто занимается гимнастикой и мало пьет. Правда, за плечами много пережитого, но у кого его нет?

Николай Иванович подошел к буфету, взял стакан чаю и пирожное.

Вот две дамочки, еще довольно молоденькие, посмотрели на Николая Ивановича и томно усмехнулись.

Но профессор Аргутинский – консультант Главного военно-артиллерийского управления – не обратил на них внимания. Николай Иванович пил чай, в его пальцах крошилось пирожное. Он пил чай и вспоминал. Так бывает, вспоминаешь иногда о прошлом, и катушка воспоминаний развертывает разноцветные свои нитки.

«Позвольте,– думал Николай Иванович,– когда же я в четвертый раз слушал «Евгения Онегина»? Ах, да! В 1917 году, в сентябре!» Его избрали от армейского комитета с наказом в Петроградский совет. Наказ требовал отмены смертной казни, демобилизации и заключения мира... Командование было против сепаратного мира, большинство офицерства тоже, но солдатская масса и офицеры-артиллеристы настояли на этом.

Вместе с двумя солдатами был послан в Петроград и подполковник Николай Аргутинский, «мерзкий пораженец», как его звали в штабе.

В Совете делегацию армии встретили аплодисментами большевики и беспартийные. Эсеры и меньшевики хмурились. Однако Совет обещал выполнить наказ

солдат. Но зато подполковника Аргутинского вызвал к себе в Зимний дворец Главковерх и военный министр Керенский и, брызгая слюной, кричал: «Я вас, гражданин офицер, пошлю в дисциплинарный батальон! Вы немецкий шпион и сподвижник Ленина! Вы... Вы...» Тогда подполковник Аргутинский почувствовал острый гнев в концах пальцев. Он хотел выругать этого франтоватого бритого присяжного поверенного – но он был солдат. Аргутинский круто повернулся и вышел на лестницу – мраморную лестницу дворца русских самодержцев.

Вечером он уехал в Псков.

Николай Иванович задумчиво сидел перед остывшим стаканом чая.

Он смотрел на разрисованные узором стены, мимо проходили и улыбались веселые люди, они шли хозяевами своей родины, хозяевами культуры прошлого, настоящего и будущего.

Николай Иванович смотрел на разрисованные стены и видел вчерашнее.

Вот в дни Октябрьского переворота, когда приказом нового советского правительства прапорщик Крыленко принял власть Главковерха и все упорнее и упорнее росла у солдат надежда на мир, на отдых, в большом зале дворца псковского губернатора армейский совет обсуждал создавшееся положение, к Николаю Ивановичу, избранному в президиум, подошел командир дивизии генерал Покотилов и, остановившись перед ним, раскачиваясь на носках, бросил презрительно: «Изменник Родины!»

Николай Иванович вздрогнул, открыл глаза и увидел, сейчас увидел по-настоящему людей, заполнявших театр.

Прошли мимо трое курсантов-артиллеристов. Их новая форма поражала чистотой; ловко перетянутые ремнями, с белыми воротничками, гладко выбритые, они производили прекрасное впечатление. Заметив Николая Ивановича, они повернули к нему свои головы

и поклонились. Это были его ученики. Он не помнил их фамилий, но их лица запомнил. Было приятно, что они поклонились ему так почтительно, с уважением не только к его ромбам, а к нему самому – как профессору.

«Вот она, Родина!» – подумал Николай Иванович, и ему вдруг сделалось чрезвычайно тепло и радостно.

Раздался звонок, и все устремились к своим местам.

Последнее действие «Евгения Онегина» Николай Иванович прослушал с удовольствием и, выйдя из театра на заснеженную площадь, вместо того чтобы ехать на трамвае, решил пройтись пешком.

Падали снежинки. Они падали на лицо и таяли. Большое здание новой гостиницы сияло своими этажами. С шумом проносились автобусы; легко вздыхая, проплыл на улицу Горького троллейбус.

Николая Ивановича обгоняли молодые веселые шаги, слышался смех, кто-то, почти рядом с ним, прошептал: «Ах, как я тебя люблю!» Тесно прижавшись друг к другу, прошли парень в кожанке и девушка в легком пальто, со слезшим на висок беретом. У девушки было раскрасневшееся счастливое лицо, и она видела только одного парня.

Незаметно Николай Иванович дошел до своего дома. Поднялся на третий этаж и ключом открыл переднюю дверь. Квартира у него была отдельная, в три комнаты с кухней и небольшим помещением для домашней работницы. Николай Иванович снял шинель и прошел в столовую.

На столе уже кипел самовар, стоял чайный прибор. За столом сидел брат Николая Ивановича Костя, двадцати пяти лет, служивший бухгалтером в Наркомземе. Он не был похож на старшего брата. Волосы имел белокурые, нос был вздернутый, крупные губы – слишком пухлые, а глаза – красивые, синие, русалочьи. На вид он казался значительно моложе своих лет. Одет был весьма франтовато – в костюм «чарльстон» с накладной грудью и ватными плечами.

– Ну, вот и ты! – сказал он капризно.– Пора уже, пятый раз подогревали самовар. Это очень надоедливо – каждую минуту подогревать самовар...

Николай Иванович любил брата. Он был самый младший (отец женился вторично, и мачеха умерла родами, оставив на свете Костю). Отца через год разбил паралич, и Николай Иванович с Надей взяли к себе мальчика. У них не было детей, и жена свою ласку перенесла на Костю.

Война бросала Николая Ивановича в разные концы страны, и только лишь в 1924 году он смог спокойно зажить в Москве «своим домком».

Но радость была недолгой. В 1927 году Надя простудилась, сделался грипп, потом осложнение на легкие, и Нади не стало. Всю свою любовь Николай Иванович перенес на брата. Он ему очень многое прощал, а так как сам был чрезвычайно занят, то, естественно, Костя развивался самостоятельно, не обращая особенно внимания на брюзжание старшего брата.

В 1932 году он с грехом пополам окончил экономический техникум и устроился бухгалтером в Наркомземе. Он получал приличное жалованье, хорошо одевался, но в последнее время стал испытывать острую нужду в деньгах. Он одалживал крупные суммы у брата, у знакомых и проигрывал их в карты и на бегах. У него завелось неприятное для Николая Ивановича знакомство с какими-то фокстротными молодчиками и девицами. Даже тон разговора у Кости стал за последнее время какой-то наигранный и театральный. «Портится парень,– думал Николай Иванович,– надо взять его в шоры! Надо». Но разговоры ни к чему не приводили, а только портили нервы обоим.

– Костя,– сказал Николай Иванович, наливая себе стакан чаю,– ты чего сегодня делал?

– Отчет старшему капитану,– засмеялся театрально Костя,– и когда ты бросишь свой профессорский тон?.. Ей-богу, смешно!

– Костя,– уже строже сказал Николай Иванович и внимательно, через пенсне, посмотрел на Костю.– Ты должен со мной не таким тоном говорить!

Костя вдруг густо покраснел, встретившись с глазами брата, и опустил взор на скатерть.

Это приятно удивило Николая Ивановича: «Значит, парень чувствует мои слова... это очень хороший признак!» – и он уже мягче закончил:

– Ты взрослый человек, Костя... ты должен наконец подумать о себе... Вот третьего дня к тебе какая-то девица приходила... вид, как у интуристки, накрашенная, и кричала она на тебя, как на денщика: «Ты должен, ты обязан!..» Обидно! Пойми, тебе еще двадцать пять лет, а ты уже опустился... морально...

– Оставь меня в покое! – подымаясь со стула и нервно отбрасывая в сторону газету, закричал Костя.– Оставь в покое! – на глазах у него показались слезы.– Я и так несчастен! Я и так измучен! – это вырвалось искренне.

– Ну... ну! – недоуменно проговорил Николай Иванович.

А Костя, не оглядываясь на брата, ушел в свою комнату.

Чай показался Николаю Ивановичу невкусным. Сделал глоток и тоже ушел к себе в кабинет. Нервное состояние брата его беспокоило. Он никак не мог понять – с чего это Костя впал в такое настроение.

В кабинете сел к письменному столу. Чтобы не думать о брате, открыл ключом, который всегда носил при себе, ящик стола и достал свою последнюю работу.

Николаю Ивановичу удалось разработать одно очень важное изобретение для усовершенствования артиллерии. Этого усовершенствования не знали армии капиталистических стран, и от применения его в нашей артиллерии Николай Иванович ожидал многого. Народный комиссариат обороны был очень заинтересован в работе Аргутинского, и заместитель наркома дважды вызывал к себе профессора.

Николай Иванович открыл папку с чертежами и стал просматривать свои записи. Вдруг он почувствовал, что ему трудно дышать. Очень трудно... Холод мурашками прополз по спине. Листа последних записей не было! Вчера лист был, а сегодня не было! Может, он его положил в другую папку? Ведь все может быть! Только не надо волноваться! Надо спокойно, чрезвычайно спокойно просмотреть ящик и папки. Вот так! Открыть ящик до отказа и перебрать каждую бумажку, каждую. Ведь нельзя даже допустить мысли, что он мог забыть положить лист на свое место...

Он перебирал бумажки, как скупой рыцарь свое золото.

Он ощупывал каждую из них: а может быть, она как-нибудь склеилась с другой? Бывает и так. Правда, редко, но бывает!

Так думал Николай Иванович, а холод, ужасный холод, от которого потеет спина, пробирался к сердцу и, как осьминог, посылал свои щупальца в мозг.

Наконец все бумаги просмотрены, той, что была нужна, не оказалось.

«Оставь меня в покое!» – это говорил Костя. Он не смотрел в лицо старшего брата. Это у Кости прыгали губы. Это Костя сказал: «Я и так несчастен!» Это на Костю кричала девица, похожая на интуристку: «Ты должен!..»

«Значит... значит?!» Николай Иванович поднимается с кресла. Слабость делает ноги какими-то непослушными и легкими. Но надо идти. Это очень неприятно, когда надо идти, а ноги не слушаются. Но он все-таки идет. Прошел через столовую и без стука вошел в комнату брата.

Костина комната – веселая комната. Светлые зеленоватые обои, большое трюмо, цветы, патефон, диван, картины, комод, письменный стол, уставленный портретами знакомых девушек. Очень веселая комната!

Костя лежал на диване. У него несчастное лицо, и видно, что он плакал. Когда вошел старший брат, Костя как бы по команде сел, выпрямившись на диване.

Такое лицо, как у Кости, Николай Иванович видел у одного молодого белогвардейца, которого приговорили к расстрелу на фронте.

– Ты,– сказал старший брат младшему простым, будничным, серым голосом,– ты...

Костя, не отводя глаз от лица брата, как китайский фарфоровый болванчик, кивнул головой.

Николай Иванович тогда понял, что он должен сесть. Он сел рядом с братом.

– Смотри на меня,– сказал он тем же голосом.

И Костя послушно повернул голову в его сторону.

– Расскажи...

И Костя послушно стал говорить. Он говорил шепотом, он иначе не мог говорить, но есть вещи, которые даже и шепотом врезаются в сознание крепче крика.

История была самая простая. И самая подлая. Через одну девицу на бегах познакомился с иностранцем. Девица знала, что брат – крупный военный специалист. В пьяном виде Костя проговорился, что Николай по вечерам работает над важным изобретением. Этим заинтересовались. Появились подозрительные молодые люди, начались вечеринки, картежная игра. Косте давно нравилась такая жизнь. Ему сказали – сначала издалека – о том, что за доставку копии чертежей и заметок он сможет получить большие деньги. Костя не соглашался. Он долго не соглашался. Но тут на сцену выступила девица. Костя ее любил. Он уверяет брата, что любил. Больше всех, больше жизни. Она требовала, он отказывался. Наконец его уговорили. Пользуясь тем, что домашняя работница часто уходила, он снял слепок с замка письменного стола и заказал ключ в мастерской. Сначала переписал и срисовал первую часть заметок и чертежей, а последнюю запись с чертежом, как наиболее сложную, он решил взять на ночь, а утром положить обратно в стол. Вот и все. Девушка должна прийти за ними завтра утром.

Николай Иванович сидел и слушал. Чтобы не тряслась голова, он откинулся на спинку дивана.

– Все?

– Все!

– Адреса?

– Не могу,– шепотом сказал брат,– не могу.

– Адреса?

– Не могу,– шепотом повторил брат.– Коленька, не могу! – И для чего-то прибавил: – Я был маленьким и любил халву...

– Шоколадную,– мучительно улыбнулся старший,– ты любил шоколадную халву с ванилью!

– Я был маленьким,– прошептал младший.

– И у тебя вились волосы, курчавые и мягкие,– сказал старший.

– Что делать? – спросил младший и, смешно наморщив брови, заплакал, по-мальчишески вздрагивая плечами.

– Ведь из тебя ничего не выйдет,– с болью сказал Николай Иванович.– Ты лжив, слабосилен, слабоволен и подл... Ты мой брат... И ты изменил Родине...

В мучительной горести Николай Иванович пожевал губами.

– Я...– проговорил он раздельно,– отдал весь мозг и всего себя Родине. Новой родине счастливых людей... а ты... ты...

– Я...– поднял к брату плачущее лицо Костя,– я...

– Да, ты,– сказал вдруг жестко Николай Иванович.– Ты – враг.

– Я...

– Ты...

– Я больше не буду,– тихо прошелестел плачущий голос Кости,– хочешь, перекрещусь, что больше не буду?!

– Да, ты больше не будешь,– ответил старший и поднялся с дивана. Он тихо, тяжесть давила на ноги, дошел до своего кабинета и, взяв телефонную трубку, сказал: – Дайте, пожалуйста, коммутатор Наркомвнудела... Лубянка...

1932 г.

Борис Чулков

Чулков Борис Александрович (1932–2014) родился в Вологде. Поэт, переводчик, автор многих книг стихов. Окончил институт иностранных языков в Ленинграде. Преподавал в пединституте, в политехническом институте. Работал в газете «Вологодский комсомолец». В отличие от многих вологодских поэтов Б. Чулков предстал перед читателем, как автор городской темы, городских мотивов. Но есть и другая его отличительная черта. Мало кто из современных ему поэтов решался работать в жанре оды как наиболее сложной поэтической форме. Борис Чулков – один из тех, чьи оды давно известны современному читателю. А переводы из немецкой поэзии показывают его, как особенного, самобытного художника-философа. За создание уникальной антологии «Царское село в поэзии» Б. Чулков был награжден Царскосельской художественной премией. Важным событием в творческой биографии Чулкова стала дружба с Николаем Рубцовым. По воспоминаниям поэта Александра Романова, «...именно Борис Александрович в то тяжкое время приютил у себя бездомного Рубцова. Можно сказать, спас его от безысходности. Владея несколькими европейскими языками, Борис Александрович, помимо собственных стихов, занимался и переводами. Надо думать, ему с Рубцовым было, о чем потолковать...». Этот человеческий и поэтический диалог навсегда останется в истории русской поэзии, ибо, во многом благодаря ему, мы обязаны появлением нескольких шедевров Николая Рубцова, а также стихотворений Б. Чулкова «Вновь лазурь залила окоем...», «Не я ли говорил ему...», «Памяти Николая Рубцова». В письме к Чулкову от 1965 г. Н. М. Рубцов дал исчерпывающую характеристику своему «милому и доброму» другу: «Вспоминаю о тебе всегда как о прекрасном человеке и поэте». Творчество Б. Чулкова составляет неотъемлемую часть славы писательской организации и является весомым вкладом в историю культуры Вологодской области, нашего северного края.

...НА ГРАНИ ПРИЗРАЧНОГО СНА

Июнь

Пасутся дни на пожнях лета,
а солнце ходит пастухом;
мир полон свежести и света,
пронизан синью и теплом.

Цветы и травы, как насосы,
качают соки из земли,
пока отточенные косы
погибель им не принесли.
Под доброй ласкою светила
они растут, как буйный лес,
и дни накапливают силу,
и впрямь нагуливают вес.
Пора расцвета!
Каждый волен
в луга медвяные уйти
и пить дыханье солнца вволю,
вдыхая лето во плоти.
И есть такое ощущенье,
что ты и сам, как день, растёшь,
что из весеннего цветенья
ты в пору зрелости идешь...

Черемуха в городе

Под вечер черемухой вдруг
в асфальтовом царстве пахнуло –
как если б дохнул это луг,
как если бы роща дохнула.

Пахнуло – и все тут, хотя
нигде ее не было видно,
и мне – говоря не шутя –
так стало обидно-обидно,

что времени нет уже, нет,
что не изменить расписанье
и что не удастся букет
нарвать для тебя на прощанье –

пахучий, пьянящий туман,
слепящую чудо-прохладу,

наркотик, отраву, дурман,
утеху, отраду, усладу!

Свойство

Ох, шум приспевшего дождя!
Ты до чего бываешь кстати:
и засыпаю – как дитя,
и сплю – как спится лишь дитяти.

Вот это – свойство! Это – да!
Чем не целительное свойство?
Уж не святая ли – вода,
что гонит беса беспокойства?

И тонет шорох и шумок
в биеньи крови и дыханьи...
На миг пронижет холодок:
«Неужто осень – на порог?..»

Но тут уж сон настоль глубок,
что отключается сознанье...

Ферапонтово

И какой, и какой он неброский,
хоть и полный величия храм,
что сродни своим светлым березкам,
густрокронным своим тополям.

И стоит это дивное диво,
духа русского суть, торжество,
над осенней тоскою обрыва,
и над летним восторгом его,

И над зимней порой, где метели
белым пламенем камень белят,

и над вешней: грачи прилетели
и, ликуя, в деревьях шумят!..

Вечер

Замер июль.
Не шелохнется вечер.
Земляника поспела, черника.
Лук топорщится перьями.
Зелени всякой – раздолье.

Каждый час, каждый миг
зреет для жизни жизнь –
для нее политики нет.

Зимняя дорога

Василию Белову

И даже город – в мглистой дымке,
а чуть за город – полутьма.
Округа – в шапке-невидимке:
и набралась же сил зима!
Река теряется в заносах;
закрыта облаком, луна –
и та как будто под вопросом,
на грани призрачного сна.
А где граница рощи с полем?
О, маскировочный халат,
облекший их по чьей-то воле
от головы до самых пят...
И – здравствуй, глушь под стать медведям!
И – всю-то ночь мы им под стать
за столько верст добро бы едем –
бредем (теплом едва не бредя!)
заутра киселя хлебать.
Вокруг – матерый вой метели,
кругом – пурги слепящий свист.

И блазнит – что там:
то ли ели, а то ли призраки сошлись?
Но даже если ты приметил,
что это лес – подкатит страх,
что и на сумрачном рассвете
ты будешь в тех же трех соснах.
Ни дать, ни взять – с зимой морока,
мороз махров – он пронял нас,
не позабыть его урока:
урок – весомей слез из глаз...
Все тонет, тонет в мглистой дымке,
и все скрывает тьма и тьма, и –
в шапке, в шапке-невидимке –
везде зима, зима, зима!

* * *

От истока до самого устья
Проследить бы тебя мне, река;
Жизнь свою – с её радостью, с грустью –
Вспоминать бы под шум ивняка.

Побрататься бы с целою Русью,
Ощутить, как она велика;
Всю судьбу её – с радостью, с грустью –
Пережить бы: века и века...

Виктор Коротаев

Коротаев Виктор Вениаминович (1939–1997) родился в г. Вологде. Окончил Вологодский пединститут. Возглавлял Вологодскую писательскую организацию. Автор многих сборников стихов, прозы и публицистики. За большую общественную деятельность В. В. Коротаев отмечен наградами «Орден Почёта», «Заслуженный работник культуры РФ». За поэму «Славянка» был удостоен литературной премии им. А. Фадеева. Лауреат премии им. Александра Яшина. Именем Виктора Коротаева назван речной теплоход.

ВЫХОЖУ НА ЛИНИЮ ОГНЯ...

* * *

Прекрасно однажды в России родиться
Под утренний звон золотого овса!
Твоё появленье приветствуют птицы,
Сверкают, на солнце искрясь, небеса.
Пока, озабочены снами твоими,
Ромашки гадают о новой судьбе
И ветром достойное ищется имя –
Кукушка пророчит бессмертье тебе.
Ещё и усы не подкручивал колос –
Уже для тебя начались чудеса:
Тебе ручеёк предлагает свой голос,
А лён зацветающий дарит глаза.
Свой смех – колокольчик,
Роса – свои слёзы,
Причёску – густая, волнистая рожь,
И статность тебе обещает берёза:
Когда пожелаешь,
Тогда и возьмёшь.
Спешит к тебе каждый с особенным даром:
Бери, примеряй, запасайся, владей.
А плата... какая?
Расти благодарным

Да будь всюду верным
Природе своей.

* * *

Россия, белая от снега
И золотая от сосны...
Следы последнего набега
Уже как будто не видны.
А столько тёмной хмари было
И горькой мглы наволокло...
Но всё лазурью затопило
И белым снегом замело.
И над раздольем звучной рани,
Легко катясь во все концы,
Звенят в серебряном тумане,
Быть может, счастья бубенцы.
И, замирая в зябких сенцах,
С особым вкусом,
Не спеша,
Любому звуку вторит сердце
И откликается душа.

* * *

Ну что, казалось бы, такого...
А я ликую и свечусь,
Едва услышу это слово
Совсем коротенькое – Русь.
И волны вновь отпрянут с мола,
И солнце двинется в обход,
А из раскатистого дола
Грозой и порохом пахнёт.
Замрёт звезда сторожевая –
И не постичь умом уже,
Какие связи оживают
И что творится там, в душе,
Что жизнь готов отдать задаром,
Когда, раздвинув берега,

Дохнут в лицо
Морозным жаром
Родные
Русские снега.

* * *

Счастлив я в своём добре и худе,
Потому что – с маковкой Кремля
У меня была, и есть, и будет
Издавна родимая земля.
Вот она, моя берёзка детства,
Вот мои луга, река и лес...
Век смотри – и всё не наглядеться,
Век живи – и всё не надоест.
Прославляя дедовские дали,
Не совру, свою жалея честь,
Будто ни тревог и ни печали
Отродясь не видывал я здесь.
Но придёт нужда родному краю
Собирать сынов в стальную рать –
Я, по крайней мере, знал и знаю,
За какую землю умирать.

* * *

...Нравственность можно подделать.
И подделывают. И очень удобно живут –
в «соответствии»...

В. Шукшин

Снова намутили, наболтали,
Всяческих навешали собак...
Так пожить хотелось
Без баталий,
Да не получается никак.
Поднимаюсь медленно со стула,
Прохожу неспешно вдоль стены,
Чувствую спиной, как ваши дула

Твёрдо на меня наведены.
И, природой наделённым пылом,
Принимаю к действию сигнал:
– Это кто там нас
Российским быдлом
Тихо,
Но старательно назвал?
Супостаты!
Вы всегда при деле,
Да и нам постыдно забывать:
Мы ведь только внешних одолели,
Внутренние выжили опять.
Знаю,
Как, мозгами поработав,
Вы в своём коронном
Тайном сне
Нас,
Неисправимых патриотов,
Жарите на медленном огне...
Неспроста,
Боясь разоблачений,
Зря не подставляя головы,
Блоками бетонных изречений
Забаррикадировались вы.
Презираю ваши баррикады,
Выхожу на линию огня.
...Я давно не жду от вас пощады.
Но и вы не ждите от меня!..

Памяти Николая Рубцова

Милый друг мой,
Прощаясь навеки,
В нашей горькой и смертной судьбе
Всею силой, что есть в человеке,
Я желаю покоя тебе.
Оставаясь покамест на свете,
Я желаю у этих могил

Чистых снов, тишины и бессмертья.
И любви,
Ты её заслужил.

* * *

Река работала,
Как лошадь,
В оглоблях тесных берегов.
Она несла такие ноши,
Что мыло падало с боков.
Косилась охровая осень
На вороную масть воды,
И, как несмазанные оси,
Скрипели грузные плоты.
Река пыхтела от натуги,
Но всё же, гордая судьбой,
Мосты железные,
Как дуги,
Несла высоко над собой.
И плотогоны в кепках пегих,
Со лба стирая пот рукой,
Стояли,
Будто на телеге,
Расставив ноги широко.
Река несла свой жребий стойко
И продолжала трудный путь,
Мечтая в бухте,
Словно в стойле,
Хотя б часок
Передохнуть.

* * *

Мы – не на уровне задачи,
Когда, пуская лёгкий дым,
В кругу о Родине судачим:
Шумим! Корим! Боготворим!

Да путь её и многотруден,
И объясним не всякий раз...
Но Русь была, и есть, и будет
До нас, при нас и после нас.

* * *

Дунул в окна полуночный ветер –
И с полей васильковых принёс
Горьковатые сумерки веток,
Золотистые полдни берёз,

Холодок родниковых ромашек,
Бражный дух молодых клеверов
И медовую солнечность кашек,
Что сомлели во мгле вечеров.

Сколько сразу – цветенья, кипенья
И волнения трав и ветвей!
А всего-то – одно дуновенье
От родимых российских полей.

Русь

Я в прошлое гляжу нередко,
Стремясь вернее угадать
Тех бородатых наших предков,
Что жили в давние года.

Работой выпитые лица,
Глубокий и тяжёлый взгляд,
И злые острые ключицы
Из-под худых рубах торчат.

«Эх, доля наша...
Чтоб те сгинуть!» –
А в голосе такая грусть!

Они плюют и горбят спину,
Ругая нищенскую Русь.

Но стоит только им прослышать,
Что вдруг с какой-то стороны
Сосед с несметным войском вышел,
Поганя земли их страны...

Они, свои отринув беды,
Опять берут доспехов груз –
И бьют татар, и рубят шведов.
За эту самую же Русь.

Им наша Русь
Из дальней дали
Светила светом молодым.
И коль они за ту стояли,
То мы – за эту постоим.

* * *

За что меня карает небо
И отвергают
Соловьи?
Я научился жить
Без хлеба,
Но не умею
Без любви.
Пусть ветром
Грозным и морозным
Мои ломает колоски,
Но только пусть не гаснут
Звёзды
Надежды вечной
И тоски.
Всё холодней и ниже
Солнце,
Всё больше

Призраков во мгле.
Уже немного
Остаётся
Причин
Держаться на земле.
Но всё же
Жжёт десятилетья
Одно желание в крови:
Чтоб умереть
Не от бесхлебья,
А –
Пусть и горькой –
Но любви.

Владимир Шириков

Шириков Владимир Леонидович (1944–1998) родился в Вологде. После окончания средней школы служил на Северном флоте, работал слесарем, грузчиком. В 1974 году в издательстве «Современник» вышел сборник рассказов и повестей «Пятое время года» с предисловием В. И. Белова. В это время В. Шириков редактировал областную молодёжную газету «Вологодский комсомолец». В 1975–1978 гг. работал редактором газеты на архипелаге Шпицберген, после чего возвратился на родину. Вступил в Вологодское отделение Союза писателей СССР, был ответственным секретарем. Под руководством В. Ширикова прошло широкое празднование 25-летия Вологодской писательской организации. А после являлся организатором «Дней славянской письменности и культуры» в Вологде. С 1991 года редактировал газеты «Эхо» (печатный орган Вологодской писательской организации), позже был редактором газеты «Эхо земли». Очерк вологодского писателя и журналиста Анатолия Ехалова «Ещё не вечер...» дает наиболее полное представление об этом незаурядном русском человеке и писателе – Владимире Леонидовиче Ширикове.

«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР...»

...В 1975 году меня приняли на работу в газету «Вологодский комсомолец», которая была в те времена, по сути, органом Вологодского отделения Союза писателей России, и пользовалась среди населения огромным авторитетом.

У нее был самый высокий тираж среди всех региональных молодежных газет – свыше 60 тысяч экземпляров. Редактором ее был в то время Владимир Шириков, недавно закончивший Литературный институт.

Я же до того работал в районной газете «Звезда», где каждый номер рождался в муках с бесконечными планерками, летучками, обсуждениями, правками...

В «Комсомольце» же я просидел неделю, не видя ни редактора, ни корпящих над рукописями и заметками сотрудников, ожидая, когда же мне дадут задание и пошлют в командировку. Но никому до меня не было дела.

В пятницу я увидел в коридоре Володю Ширикова. Высокий, стройный, в развевающемся плаще, он стремительно летел к выходу из редакции. Заметив меня, он радостно воскликнул:

– Толя! Ты чего тут маешься? Пойдем на Золотуху пиво пить!

Я послушался и побежал за редактором почти вприпрыжку, потому что поспевать шагом за его ходулями не было никакой возможности.

...За Веденеевской баней на берегу Золотухи с расставленными на газетах пивными кружками и лежавшими тут же вялеными подлещиками, сидела компания, которая могла бы сделать честь любому литературному салону Москвы и даже Европы.

Тут был Виктор Астафьев, Александр Романов, Виктор Коротаев, приехавший из Москвы прозаик Владимир Крупин, фотограф-фронтовик Аркадий Кузнецов...

Мы присоединились к этому блестящему литературному братству. Разговор шел о литературе, о последних книжных новинках; Коротаев пытался читать стихи:

«Загуляли мои друзья!
В беззаветной отваге,
Петушком подскочил и я
И отведал влаги...»

По мере того, как опустошались кружки, разговор принимал все более страстный характер. Все чаще звучали тревожные нотки о разрушении традиций в культуре, литературе, о противостоянии западничеству.

Говорили все, один я молчал: мне-то пока сказать было нечего, но, тем не менее, и молчание мое оценили. Романов сказал, что я умный парень, и зря слов на ветер не бросаю.

...Прошла весна, лето, я привык к редакционной самостоятельности, сам выбирал темы, места командировок, очерки мои выходили безо всяких правок, и я мало-помалу становился все более известным журна-

листом не только у читателей, но и в писательской и окололитературной среде.

Наступила дождливая осень, литературные посиделки на берегу Золотухи стали неактуальными, и как-то так случилось, что эти посиделки переместились в мой редакционный кабинет.

Кого только не бывало в нем. Все московские гости, все литераторы Вологды и Вологодской области – большие и начинающиеся, художники, артисты... То ли причиной тому был мой общительный характер, то ли и в самом деле писатели чувствовали во мне какой-то талант и ум, то ли кабинет был прикормленный до меня...

Однажды в кабинете у меня собралась уж очень большая компания, обсуждали литературные новинки, травили анекдоты.

Я сидел за машинкой, отстукивая материал, который нужно было сдать для газеты.

А тут споры, шум, дым коромыслом... Работать в такой обстановке трудно.

Я потихоньку взял пишущую машинку и перебрался в пустовавший по соседству кабинет. Однако через пять минут в кабинете появился один, второй, третий полемист из моего кабинета. Скоро и все перебрались сюда. Тогда я снова забрал машинку и ушел к себе. Однако шум за стенкой скоро стих, и один за другим спорщики вернулись обратно.

Я был в полном недоумении.

– Кто-нибудь объяснит, почему ходите за мной? Почему вам не сидится в пустом кабинете?

– Э-эх,– отвечал поэт Александр Александрович Романов, бывший в то время секретарем писательской организации.– Разница есть. Когда ты на машинке стучишь, то и мы как бы при деле. А без тебя – просто пьяный базар получается.

Тут на пороге появился Володя Шириков. В руках у него были две больших доски.

– Ты чего это с досками? – спросили его полемисты.

– А я хочу эти двери крест-накрест заколотить, чтобы Ехалову писать не мешали...

Поступок Ширикова оценили, но меньше в редакцию ходить и устраивать там литературные посиделки не стали.

Надо сказать, что при такой вот вольнице и редакционной демократии работалось чрезвычайно легко. Газета получалась интересной и читалась от корки до корки.

Впрочем, вскоре Володя оставил газету, подписав контракт на работу на острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане, где была наша концессия по добыче арктического угля. И пробыл там два контрактных срока.

А став секретарем писательской организации, он жил этой работой взахлеб, отдавая себя полностью работе и борьбе. И вологодские писатели, несмотря на то, что Володя был намного моложе большинства из них, подчинялись своему вожаку и, я думаю, любили его. Володя был настоящим воином, этакий Пересвет, а литература того времени требовала именно воинского подвига. Он был великим организатором, во многом принеся в жертву общему делу свой литературный талант...

Ни одно сколько-нибудь значительное событие в жизни города, области, страны не проходило без участия вологодских писателей, которых, словно звонарь на колокольне, собирал вокруг себя Шириков.

Это и борьба за сохранение деревянной Вологды, поход против переброски северных рек в волжский бассейн, это и борьба с пьянством и алкоголизмом, которые, словно змеи Лаокоона, опутали Россию, это защита Василия Ивановича Белова, подвергнутого массированной травле в центральных органах печати за патриотическую позицию, а также Николая Бурляева с его фильмом «Лермонтов»...

У нас была в распоряжении всего лишь региональная газета «Вологодский комсомолец» против много-

миллионных центральных изданий, которые начали погром русской культуры, нанося массированные удары по духовным лидерам страны. По Василию Белову, Сергею Бондарчуку, Виктору Астафьеву, Юрию Бондареву, Валентину Распутину, Николаю Бурляеву...

Особенно старались «Комсомолка», «Известия», «Огонек», «Неделя», «Искусство кино»...

Этой массированной травле, схожей с нынешней ситуацией на Украине, противостояло лишь несколько молодежных областных газет да журнал «Наш современник». Большие партийные газеты трусливо поджимали хвосты.

Однажды Станислав Рассадин в еженедельнике «Неделя» написал раздраженно: «Может быть, кто-нибудь заткнет эту газетенку!»

Он имел в виду «Вологодский комсомолец».

Володя Шириков как-то на встрече с секретарем обкома партии, курировавшим идеологию, сказал с большой озабоченностью:

«Против России собираются огромные, хорошо организованные силы. Вброшены колоссальные деньги. Как устоять?» – Реакции не последовало.

Эта озабоченность, похоже, была только у писателей. Партия словно впала в анабиоз, усыпленная демократическим бормотанием своего лидера Горбачева.

Тревога за судьбу родины становилась день ото дня все явственнее.

...На пятидесятилетие Николая Рубцова Шириков смог договориться с Северо-Западным пароходством, предоставившим писателям комфортабельный теплоход «Александр Клубов» для поездки в город Тотьму, где должно было состоятся открытие памятника поэту, созданного известным скульптором Вячеславом Клыковым на собственные средства.

Власти не обрадовались такой самодеятельности, для них Рубцов еще вчера был человеком, который доставлял много хлопот, жизнь которого не совпадала с правилами советского общежития.

Володя в буквальном смысле «пробивал» этот памятник в обкоме. Компромисс был найден: памятник Рубцову ставили, как бы на пробу – эскизный вариант.

...Этот припозднившийся сентябрьский теплоход на Сухоне напоминал Ноев ковчег, собравший последних патриотов России. Кроме писателей на теплоходе плыли художники, самодеятельные артисты, журналисты...

Такое, по крайней мере, было у меня ощущение, когда в ночь на 20 сентября при возвращении в Вологду один из молодых поэтов, приехавший из Москвы, из-за девушки, ушедшей посидеть в компанию известного поэта Анатолия Передреева, выбросился в иллюминатор...

Была кромешная ночь. Пароход остановили. Все высыпали на борт. Прожектор беспомощно шарил по свинцовой воде, ко всему пошел неожиданно снег.

Найти в этой преисподней человека, осознанно бросившегося за борт, казалось невозможным. Теплоход прошел вверх, спустился вниз – все тщетно.

Капитан удрученно обратился к Ширикову, который сам служил на флоте, правда, военно-морском.

– Искать нет никакого смысла. Скорее всего, он попал под винт и тут же ушел ко дну.

– Будем искать до последнего,– уперся Володя.– Мы своих не бросаем.

– Сейчас мы составим протокол и идем дальше,– сказал капитан, останавливая спор.

И тут Ширикова поддержал Белов:

– Мы никуда не уходим. Будем искать. Спускайте шлюпку.

Вмешательство Белова решило судьбу человека.

Без всякой надежды матросы спустили шлюпку, и ушли в ночь.

Прошло всего минут пятнадцать, как удивленные восклицания донеслись до теплохода.

– Живой!

«Утопленник» висел без сознания на бревенчатой обновке плота с лесом. Выбраться на плот, видимо, у него не хватило сил.

Молодого влюбленного поэта подняли на борт, положили на палубу. На всем теплоходе не было грамма спиртного, чтобы оживить и растереть окоченевшего лирика. Писатели были трезвы, хотя, казалось, обстановка располагала.

Присутствие Василия Ивановича Белова на теплоходе, вместе с академиком Угловым возглавившего поход за трезвость России, создавало высокую нравственную атмосферу этой поездки.

...А гигантскую державу, напоминавшую «Титаник», несло на невидимый пока в тумане близкого будущего айсберг. Партийные органы словно рыли себя яму, отдавая предпочтение заведомым врагам СССР. Володя пригласил меня совместно делать газету Вологодской писательской организации «Эхо», которая громогласно била тревогу приближающейся катастрофы. У газеты был тираж в 20 тысяч экземпляров в рознице, и разлеталась она в мгновение ока. У вологжан открывались глаза на события, происходящие в стране. Партийные органы старались не замечать газеты, ни ее предупреждений.

Помню, в Вологодской филармонии проходил Секретариат Союза писателей СССР, инициированный Владимиром Шириковым, который поднимал самые животрепещущие вопросы современности.

Был на нем и Юрий Черниченко, в последнее время активно доказывающий несостоятельность нашего сельского хозяйства и русской деревни. Черниченко в Вологде поддержки не получил, и он демонстративно покинул заседание и отправился в обком КПСС, где его приняли с распростертыми объятиями и повезли по хозяйствам для сбора материала.

Прошло немного времени, и Володя встретил Черниченко в толпе ротозеев, пришедших поглазеть на расстрел Белого Дома из танков.

Шириков был там, среди защитников Верховного Совета, но по делам вынужден был на день оставить баррикады. Обратно он уже не смог пробиться к защитникам.

Черниченко, увидев Ширикова, зло процедил сквозь зубы:

«Скоро мы будем вашей мясокостной мукой удобрять поля Европы...»

Нужно было научиться жить в новой реальности, в новой России, превратившейся в одночасье в колонию Соединенных Штатов, в которой уже не было собственного правительства, а была лишь колониальная администрация, действовавшая под контролем советников из США.

Володя был весь в борьбе.

– Ничего, ничего,– говорил он мне при встрече.– Мы еще поборемся, постоим за святую Русь. Еще не вечер.

Он по-прежнему издавал газету, но уже сменившую издателя. «Эхо земли», называлась эта газета. И он отдавался ей полностью, внушая людям веру, что Россия выстоит, научится жить своим умом и вернет свои завоевания людям.

Вскоре по ряду обстоятельств Володя оставил семье квартиру, а сам... ушел в никуда. Лето он жил в Устье-Кубенском районе в заброшенной деревне. Я был у него там не раз. Как-то приехали японцы, занимавшиеся русской литературой. Володя привез их на своей машине. До деревни было всего километров восемьдесят, но это путешествие, где километров пятнадцать были обыкновенным деревенским проселком, произвело на японцев потрясающее впечатление. Они решили, что вологодский друг завез их на край света. Деревня и впрямь стояла у самого леса, скрытая от глаз травами выше человеческого роста.

Японцы проголодались, а у хозяина продуктов с собой не было взято. Но обед образовался сам собой. Володя принес от куриц со двора решето яиц, сбегал на десять минут в лес и притащил десятка два белых грибов, накопал картошки, нарвал луку, зелени, закрасневших помидоров и огурцов в теплице, и через полчаса обед был готов.

Осенью Володя пришел ко мне в ночлежный дом, который я открыл для бездомных. Я выделил ему целую комнату. Вещей у него не было, кроме книг, преимущественно философского, публицистического характера, да собрания сочинений Ленина и Сталина. Надо сказать, что вологодские бомжи до сих пор пользуются этой библиотекой.

Потом Володя нашел работу в Прилуцком монастыре и стал жить в келье.

Он еще успел получить от государства маленькую квартирку на улице Герцена. В этой квартирке и нашли его вскоре мертвым в наполненной водой ванне.

Странная была смерть, загадочная. Экспертиза констатировала остановку сердца в результате отрыва тромба. Хотя у Ширикова было много идейных недругов.

До того он ездил на Алтай участвовать в выборной кампании губернатора Алтайского края, поддерживая председателя Аграрной партии Михаила Лапшина. Шириков выпускал на Алтае предвыборную газету. У противоборствующей стороны были большие деньги и возможности. У Ширикова были факты и аргументы...

И были документы с разоблачениями, которые не были использованы. Об этом он как-то обмолвился мне...

...Когда хоронили Виктора Коротаева, Володя, стоя у могилы, повернулся ко мне:

– Знаешь, эта яма уже не страшит. Может быть, время подошло. Я думаю, недолго и мне топтать эту палубу...

– Ничего, ничего,– отвечал я.– Еще не вечер...

Сегодня, спустя столько лет, когда все же Россия начала подниматься с колен, я снова повторяю, обращаясь к нему, невидимому, страстно верившему в возрождение:

– Ничего, ничего, Володя... Пробьемся!

Нина Груздева

Груздева Нина Васильевна (1936–2016) родилась в д. Денисовская Харовского района Вологодской области. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. За книгу «Часы песочные» присуждена Всероссийская литературная премия «Звезда полей» имени Николая Рубцова. Лауреат Международного конкурса поэзии «Золотое перо» в номинации «Лучшее лирическое стихотворение». Её стихи опубликованы в антологии «Русская поэзия XX века». За сборник стихотворений «Краешек зари» Н. В. Груздева удостоена «Большой литературной премии России».

ГДЕ-ТО ПЛАЧУТ ОТ СЧАСТЬЯ ЛЮДИ...

Моему поколению

Да, мы странные люди
Другой, необычной среды...
Сочтены наши дни,
Тают годы, как тают мгновенья.
Мы сквозь время идем,
И во времени стынут следы,
И по нашим следам
Уж другие идут поколенья.
Сквозь лишенья и войны
Все наши дороги прошли.
С каждым днем нас всё меньше,
И жить уж недолго осталось.
Как ни трудно нам было,
Но все-таки мы сберегли
Нашу русскую душу
И имени в грязь не втоптали.

2014

* * *

Я – вся из звуков, вся из хлеба.
Как та высокая сосна,

Я головой касаюсь неба,
Корнями в землю проросла.

Протягиваю в вечность руки.
Сначала слышимы едва,
Оттуда неземные звуки
В земные вяжутся слова,

А мне светло и одиноко.
Через меня струятся вниз
На Землю солнечные токи,
Земные – в небо поднялись.

Звезда

Сергею Алексееву

Ночь была очень звездной, когда
Меня мама на печке рожала.
За трубу зацепилась звезда
И на крыше моей ночевала.

Тут отец поспешил на прием,
Он пупок завязал так умело!
А звезда своим синим огнём
Обожгла мою душу и тело.

И с тех пор так люба мне земля
И небесные манят чертоги,
Но с тех пор постоянно болят
Эти звездные злые ожоги.

18 сентября 1998

* * *

После нас не останется писем.
А душевные связи тонки,
И уносятся в звездные выси
Телефонные наши звонки.

Может, где-то в межзвездной Вселенной
На звезде или в райском тепле
Вдруг настигнет звонок, тот, последний,
Не заставший меня на Земле.

* * *

От дождя проливного намокли
Клены, листья резные клоня...
Что ты так неприветливо смотришь
Из-под темных ресниц на меня?

Может, вымолвишь нежное слово
Хоть одно – и рассеется грусть.
Коль такой ты сегодня суровый,
Что ж, сама я тебе улыбнусь!

Ну вот видишь – светлеет дорога
И от туч проясняется высь,
И куда-то исчезла тревога,
Да и брови твои разошлись.

* * *

Где-то месяц плывет во ржи,
Где-то плачут от счастья люди...
Удержи меня, удержи –
Больше ночи такой не будет!

Будет просто алым восход
И закаты – как все закаты,
Что-то главное в нас умрет –
Будем сами в том виноваты.

Очень просто, а не понять,
Очень просто, а не ответить –
Почему даже в двадцать пять
Мы доверчивы, словно дети?

Видишь – месяц плывет во ржи,
Слышишь – нет в тишине покоя!
Удержи меня, удержи
И погладь по щеке рукою.

* * *

Я по льду шла –
Был тонок лед.
Я мед пила –
Был горек мед.

Ох, мне идти
Нельзя по льду!
И нет пути,
А все ж пойду!

Ох, мне нельзя
Тот мед не пить –
Твои глаза
Нельзя забыть!

Нельзя, нельзя...
Через – нельзя –
К твоим глазам
Иду скользя.

Сорвусь под лед
Ну, так и быть,
Оставлю мед
Другой допить!

* * *

У плетня пустеющего сада
Снова провожаю журавлей...
Милый друг мой, мне уже не надо
Опоздавшей нежности твоей.

Тихо очи долу опускаю.
Дум моих не слышат журавли.
Ни цветы – живыми лепестками,
Ни снега мои не расцвели.

Не считаю, сколько пролетело
Тех осенних птичьих верениц:
Без любви душа осиротела,
И шепчу ей вслед: «Вернись, вернись!..»

Я не знаю, сколько будет весен
С этим нежным шелестом берез,
На какое лето лягут росы
От моих невыплаканных слез.

У плетня пустеющего сада
Снова провожаю журавлей...
Милый друг мой, мне уже не надо
Опоздавшей нежности твоей.

Твое имя

Когда уходит в сон сознанье,
Когда печаль не по плечу,
Я в темноте, как заклинанье,
Вдруг имя тихое шепчу.

Оно звучит, как прежде, свято,
В нем много веры, много сил.
Вот так же предок мой когда-то
Вдруг «Господи!» произносил.

И, забывая все былое,
Тебя и всех твоих друзей,
Одно магическое слово
Храню я в памяти моей.

Оно во мне живет и дышит,
Как будто талисман живой.
Оно сильней, значимей, выше
Всех наших встреч и нас с тобой.

* * *

Теперь, когда шагаю мимо я,
Не спросишь, как идут дела,
А я была твоей любимою,
Твоей единственной была.

А вспомню – и самой не верится,
Что целовал средь бела дня,
Что по крутой высокой лестнице
Ты на руках носил меня!

Но погоди, еще припомним мы,
Да так, что хоть стихи пиши,
Как пригоршнями, счастья полными,
Тебя поила я в тиши.

И станет близким все далекое,
Вся боль, все радости, вся жизнь...
Какими меряется сроками
Мое забвение, скажи?

Молчишь. В глаза мне смотришь пристально.
Я думаю: хоть жизнь груба,
Но, может быть, на дальней пристани
Меня иная ждет судьба...

Спасибо!

Разреши мне влюбиться в тебя –
Я хочу напоследок влюбиться.
Ни тебя, ни себя не губя,
Я смогу и уйти, и проститься.

Ах, как сладко с тобою молчать
И ловить эти теплые волны,
Мою легкую лодку качать
И дышать глубоко и привольно.

И хотя недалек берег твой,
Я не стану искать к нему тропку.
Ты мне в душу плесни синевой –
Заночую я в облаке легком.

А наутро на землю слечу
Так свободно, легко и счастливо.
Дорогой, я молчу, я молчу.
И за это молчанье – спасибо!

* * *

Теперь, когда много покоя,
(Настала такая пора!)
Бывает, настигнет былое
И спать не дает до утра.

И что это сердце так радо –
Я, право, не знаю сама,
Ведь было-то несколько взглядов
Да три откровенных письма!

Из старых бумаг извлекаю
Я чуть пожелтевший конверт
И будто бы с пылью сметаю
Десяток уж прожитых лет.

И строчки, забытые строчки,
Взорвавши покой, и уют,
Меня настигают и точки
Поставить никак не дают.

Как в пору мою молодую
Сошло вдохновенье само,
И мысленно в даль дорогую
Пишу золотое письмо,

Как там, в моей жизни усталой,
На трудном ее рубеже
Так тихо и так запоздало
Душа постучалась к душе.

* * *

Однажды я стану остывшей планетой.
Умолкнут гудки, тишиною звеня,
Все бури земные, земные приметы
Не будут, мой милый, касаться меня.

И есть от раскаянья верное средство –
Найти оправданье сгоревшей судьбе:
Оставлю и я небольшое наследство –
Я людям оставлю стихи о тебе.

Опять без тебя день сегодняшний начат,
И тянутся годы, о встрече скорбя...
Другая девчонка украдкой поплачет
О том, как я грустно любила тебя.

Сергей Чухин

Чухин Сергей Валентинович (1945–1985) родился в д. Бабцино Вологодского района Вологодской области в семье сельских учителей. По окончании Погореловской средней школы учился в Вологодском пединституте, а в 1965 году поступил на вновь открывшееся очное отделение Литературного института им. А. М. Горького. Пять лет занимался в семинаре С. В. Смирнова. После окончания института С. Чухин три года работал корреспондентом районной газеты в г. Грязовце. С 1973 года переехал в Вологду, был сотрудником областной газеты «Вологодский комсомолец». Редактором первой поэтической книжки Чухина был великий русский поэт Н. М. Рубцов. Затем у Чухина вышел ряд поэтических изданий, как в «Молодой гвардии», так и в Северо-Западном книжном издательстве. Поэтическое творчество С. Чухин считал главным делом своей жизни, был совершенно чужд конъюнктуре и каждой строкой своей отстаивал право писать «не левее сердца», что в те годы было непросто. Удивительная мягкость и сердечность его стихов, доверительная форма лирического общения с читателем создали неповторимую чухинскую интонацию и нашли многочисленных поклонников творчества этого замечательного русского лирика не только на родной Вологодчине, но и в России.

ЖИЗНИ ТАЮЩАЯ РЕКА...

* * *

Без заботы жилось, без печали,
Все безоблачно было в судьбе.
Нам другие порою прощали
То, чего не прощали себе:
И забытое слово привета,
И забытую скорбную дверь,
Письма срочные без ответа...
А теперь, а теперь, а теперь
Что за голову браться руками,
Все не выправишь наверняка...
Обнажает подводные камни
Жизни тающая река.

* * *

До свиданья, родная сторонка!
Чемоданчик в руке и билет.
Откровенно, слезами ребенка,
Мне заплакала девушка вслед.
Отвалил пароходишко ветхий
От знакомых домов и берез,
И, веселый, по палубе верхней,
Я шатался, не слишком тверез.
И поехала жизнь, завертелась!
Чемоданчик потерся, ну что ж...
Не скрываю, порою хотелось,
Чтобы времечко, глупое сплошь,
Воротилось!.. Но разве вернется!
А не верить нельзя – потому,
Может, счастье тебе улыбнется,
Да и сам улыбнешься ему.
Так прости же, родная сторонка!
Лишь одно не отмолится, нет,
Как открыто, слезами ребенка,
Мне заплакала девушка вслед.

* * *

Друзей потянет кочевать,
А ты у осени попросишь
Бумаги лист, оконца просинь
И деревянную кровать.

Листва засыплет водоем,
Придет спокойная погода.
Пройдет скрипучая подвода –
И день потянется за днем.

Настроив душу на добро,
На чистоту лесной бересты,
Понять природу так же просто,
Как птице обронить перо...

* * *

Ах, как ласточки реяли в выси!
Нежным сеном тянуло с полей.
И слетались вечерние мысли
На огонь сигаретки моей.
Шли подводы деревнею грузно,
За подводами шли мужики.
Нам для горести многое нужно,
А для счастья совсем пустяки:
Только б ласточек в выси
Да эту
Вечеревшую благодать,
Да еще докурить сигарету
И заснуть...
И проснуться опять.

* * *

Колокольчики, ромашки, дикий клевер луговой –
Все скосили, просушили и поставили в стога.
У кузнечика хромого с треугольною ногой
Не шумит над головою разноцветная тайга.
Подкосили наше лето, ах, под самый корешок,
Покатилось красно солнышко, позолотило рожь...
И ночами выстывают в речке камень да песок...
Что, кузнечик, что ты плачешь? Плачем лета
не вернешь.
Посажу тебя, пожалуй, не в карман, а в коробок,
Поживи на теплой печке, духом яблок подыши.
Тихой радостью осенней запасаться надо впрок,
Свежим сеном и листвою устилая дно души.
Тучи толстые нахлынут, и, когда посыплет снег,
И когда не остановишь ни на чем усталых глаз,
Ты напомнишь мне, кузнечик, мой зеленый человечек,
Тишь, луга, ржаное поле... Это будет в самый раз.
Поплотней прикроем двери да растопим нашу печь –
И погреемся немного у веселого огня.
Ах, кузнечик, я не в силах это лето уберечь.
Как товарищ по несчастью понимаешь ты меня!

* * *

Ах, опять на равнинах безбрежных,
Посмотри, как пошли и пошли
Пузырьки одуванчиков нежных
Из глубин изумрудной земли.
И затейливей северных кружев,
И причудливей сказки иной
Золотистым узором калужниц
Оторочены речки весной.
На полянке, средь птичьего крика,
Не научена счастье скрывать,
Пятикрыло цветет земляника
И готовится ягодой стать.
Разве хватит обычного сердца,
Чтобы выдержать ласковый взгляд?
Голубыми глазами младенца
Нам вослед незабудки глядят.
И султанами пышно качая
На густом предосеннем ветру,
Зоревые цветы иван-чая
Подожгли на осинах листву.
Это все нам не даром дается:
И луга, и святые цветы...
Это все, что в России зовется
Человеческим счастьем!
И ты
Побродя по лугам и полянам,
Полежи у земли на груди,
И не тешься обычным обманом,
Будто лучший твой день впереди.
Может, жизненный путь завершая
(Хоть и долгих желаю годков),
Не захочешь ни ада, ни рая,
А холщовых
Во ржи
Васильков.

* * *

Любовь к Руси необъяснима.
И в этом смысл, и в этом страсть!
Зачем тревожная осина
На горькой глине привилась?

Зачем из африканской дали,
Из той загадочной земли
Опять сюда прикочевали
Седые наши журавли?

Зачем багровые закаты
Среди вечерней немоты
Здесь так упорно, как солдаты,
Не покидают высоты?

Зачем на краткие недели,
А не на долгие года.
Покинув родины пределы,
Мы вновь торопимся сюда?

И, где бы мы ни колесили,
Я знаю: будут до конца
На трепет горькой той осины
Ответно трепетать сердца.

* * *

На улице,
Наверно, застывает.
Ночь ветрена,
Морозна и ясна.
И засыпает,
Тихо засыпает
Усталая от разных дел
Жена.
Во сне

Пусть от нее отступят страхи
За мир и лад,
За близких и родных...
Горят в печи, потрескивая, плахи,
А у трубы, наверно, жмутся птахи.
Мне так бы всех
Согреть хотелось их!
То слышу я гудки далеких станций,
То слышу я голодной птицы крик,
То слышу я шум ветра меж акаций...
Бессонной ночи
Жалобный язык!
И вдруг меня сомнение охватит,
И я встаю в волненье,–
Как же быть...
Чтоб целый мир согреть,
Души не хватит,
А между тем
Ее должно хватить.

* * *

Работай, друг мой,
Душою чист, один проходи науку.
По праву руку –
Бумаги лист,
И сердце –
По леву руку.
Но легче будет писать
Вдвоём
Если,
Навек условясь,
Рядом с тобою –
Поводырём
Незамутнённая
Совесть.
А трудно станет
В пургу и свист,

Поделят поровну
Муку:
По праву руку –
Бумаги лист
И сердце –
По леву руку.

* * *

И снова праздник наш печален,
Да и нельзя наоборот:
Ведь мы не новый год встречаем,
А провожаем старый год.
Ах, были шутки легкокрылы!
Но годы вороном летят,
И множат близкие могилы,
И чую, новые сулят.
А нас и так осталось мало...
Да что тут сетовать на жизнь!
Как говорил Рубцов, бывало,
Коли поехал, так держись!
Нам время строгое не в диво,
Намяло шею и бока.
Оно, конечно, справедливо,
Коль время мерить на века.
Но и при шуме ветра злого,
Когда и тяжко и темно,
Пиши, мой друг, как будто слово
Тебе
Последнее
Дано.

Николай Рубцов

Рубцов Николай Михайлович (1936–1971) – выдающийся русский поэт. Родился в Северном крае, в Емецке. Родители происходили из Биряковской волости, ныне – Сокольский район Вологодской области. Детство поэта прошло в Вологде, в Красковском дошкольном детдоме, в детском доме в селе Никольском. Служил на Северном флоте. Работал на заводе в Ленинграде. Был литературным консультантом в газете «Вологодский комсомолец». Погиб в Вологде. Тиражи книг Н. М. Рубцова в России и за рубежом исчисляются миллионами изданий. В Вологде именем поэта названа улица и установлен памятник на набережной реки Вологды. «Судьба поэзии Николая Рубцова способна поразить воображение. При жизни его имя было дорого лишь узкому кругу ценителей поэзии; даже в среде профессиональных литераторов реальную ценность его творчества осознавали очень немногие. Но начиная с середины семидесятых годов за предельно краткий срок поэзия Николая Рубцова обрела поистине всенародное признание... Но особенно удивителен даже не сам по себе стремительный рост славы поэта, а тот факт, что росла она как бы совершенно стихийно, по сути дела, без участия средств массовой информации – словно движимая не зависящей от людей природной силой. Именно благодаря этому слава Николая Рубцова и поныне сохраняет столь редкостный характер задушевности и целомудрия: она не блистает, не ослепляет, но поднимается над нами как живительный свет зари, проникающий в сокровенную глубь нашей духовной жизни. И если всерьез разобраться в существе дела, рост славы Николая Рубцова обусловлен, прежде всего, духовным ростом миллионов читателей – то есть, в конечном счете, целого народа. Поэзия Николая Рубцова, законного наследника классических традиций и вместе с тем нашего современника, предстает как доступный всем и каждому путь к отечественной поэзии в ее полном объеме» (Вадим Кожинов).

Путевой очерк дочери поэта Елены Рубцовой «Дорога, дорога!..», датированный 2021 годом, предваряет поэтическую публикацию Николая Михайловича Рубцова «Россия, Русь! Храни себя, храни!»

ДОРОГА, ДОРОГА!..

1. Дорожная мука

Дорога, дорога, разлука, разлука,
До боли знакома дорожная мука...
Н. Рубцов

Вспоминая поэта Николая Рубцова, многие тут же находят определения: путешественник, странник, путник, даже – иногда, бродяга. Стало общим местом, что «тропа-дорога-путь» входит в число самых многочисленных образов в стихах Н. Рубцова. Река ведь тоже по-своему дорога. На мой взгляд, довольно часто этому явлению придаётся романтический ореол: вот какой счастливый был, столько увидел и прошёл путей.

Но так ли это на самом деле? Возьмём такой случай.

Часто пишут о том, как однажды Николай Рубцов добирался до деревни Николы в Тотемском районе от станции Гремячий зимней ночью. Очень сильно замёрз. Кто знает, как бы закончилось такое путешествие, если бы примерно на полпути, в деревне Аникин Починок, поэт не нашёл тёплого приюта в доме Марии Ивановны Богдановой. Добрая хозяйка не только накормила молодого человека, но и дала валенки, чтобы дойти до села Никольское. А ведь, наверное, не лишние были!

Под впечатлением этого случая Николай Рубцов написал стихотворение «Русский огонёк», одно из самых известных в его творчестве. И моё – одно из любимых.

Сейчас хочу рассказать о подобном путешествии. Случилось оно со мной. Не помню, какой был год, но точно, что это начало 1980-х годов. Училась я в Ленинграде. Но всё время была огромная тяга домой, в родную Николу. При первой же возможности старалась туда поехать. Почему-то я помню, что был холодный ноябрь. Странно, вроде нет каникул, самое трудное время, почти перед сессией. Но как-то отпросилась. Выбор пути в то время был один – по железной дороге. Другой, по реке Сухоне, был невозможен – начался ледостав. А что делать: ехать надо! Созвонилась с мамой. Она дала по телефону подробные наставления в дорогу. С этого направления добиралась в первый раз! Билет купила до Вохтоги Грязовецкого района

Вологодской области. Пересадка с поезда на поезд в Вологде и ещё два часа пути...

Вот и – Вохтога! На улице темно, знобящий ветер. Иду в зал ожидания, а там народищу! Зал маленький, сесть негде. Притулилась в уголке. В зале прокурено, шныряют какие-то странные личности. Стало невыносимо тревожно и даже жаль себя.

Все ждут подачи пассажирского поезда. Даже и сейчас мало кто знает, что есть такая Монзенская железная дорога, идущая через лесопункты от станции Вохтога до Никольского района. По ней тогда вывозили лес из восточных районов области. Но ходил и пассажирский поезд. В моём случае его подали уже ближе к ночи, часов в одиннадцать вечера. Народ ринулся занимать места. С большим трудом, но нашла местечко. Напротив меня села какая-то девушка. Познакомились, разговорились. Она тоже ехала домой с учёбы. Иногда по вагону проходили странные личности, заросшие щетиной, явно выпившие, нагловатые. Пытались познакомиться, предлагали выпить с ними водки, приставали. Вспомнить страшно, а тогда просто жуть охватывала до самых пяток.

Вагон был прокурен, пропах водочным перегаром. Многие пассажиры были знакомы друг другу, кричали, спорили. А ещё пробирал жуткий холод! Входная дверь почти всё время была открыта и оттуда веяло стужей. Почти на каждой станции выходили пассажиры. Вспоминались фильмы про войну, где в теплушках или в таких вот вагонах везли солдат на фронт. Примерно такое впечатление осталось после той поездки. Словно пластинка крутилась в голове начало стихотворения Александра Кочеткова: «Трясясь в прокуренном вагоне...». Оно тогда было очень популярно после фильма «Ирония судьбы...».

Ехали медленно, поезд сильно раскачивался, часто останавливался, подолгу стоял на мрачных полустанках или просто в поле. Народу в вагоне становилось всё меньше. За окнами – непроглядная темень. Часа в три ночи проехали станцию Гремячий. Отец приезжал именно сюда. А мне ещё дальше – до станции Карица! Если б лето! Давно бы уже рассветало! А тут? Полная неизвестность!

На станции Карица вышло несколько человек. Быстро в ночь убежали огоньки последнего вагона нашего поезда. А люди, вышедшие со мной, будто растворились в темноте.

Я осталась одна возле тёмного вокзальчика, закрытого на замок. Тусклый фонарь скрипел, раскачиваясь на ветру. Ни одной живой души! Даже лая собак не слышно. Жуть!

Через несколько минут чувствую, что начинаю сильно замерзать. Оглядевшись, увидела что-то вроде избушки! Наверное, сторожка или будка путевого обходчика. Толкнув дверь, крикнула: «Есть тут кто живой?» А сама приготовилась бежать, если что не так. К счастью, никто не отозвался, это немного успокоило колотящееся сердце. Спичками осветила помещение, осмотрелась. Увидела на подоконнике керосиновую лампу без стекла. Зажгла. Избушка напоминала деревенскую баню. В углу – печурка, а в ней – поленья! Видимо, заранее приготовленные. На ощупь нашла в сумке газету и спички, растопила печку. Что ж, жить можно! Посижу часа два, дождусь рассвета, а там пешком до посёлка Первомайский, где, как обещала мама, будет ждать машина или трактор, чтобы добраться, в конце концов, в свою Николу.

2. В путь по лесной дорожке

Какая глушь, я был один живой,
Один живой в замерзшем, мёртвом поле...
Н. Рубцов

У печки, сколько получилось, отогрелась. Стал брезжить рассвет. Решила, что могу выходить в путь. Вспомнив наставления мамы, быстро сориентировалась на местности. Так и поблагодаришь деревенское детство и привычку ходить одной в лес. Вот и направление, по которому надо идти. Дорога, разбитая тракторами и лесовозами, за ночь вымерзла. Такие дороги, слышала от водителей, называют «стиральной доской». И правда, спотык да спотык на каждом шагу. В руках – две сумки, одна довольно тяжёлая. Сапоги совсем не грели, ноги мёрзли даже на ходу. Но главное, что сковывало волю – неистребимый страх.

В лесу – тихо-тихо. Ветра нет. Всё больше небо проясняется. От этого чувствуешь себя храбрее. До того момента, пока не раздаётся скрип от качнувшегося дерева или резкий крик всполошившейся птицы. От этих резких звуков сердце подпрыгивало в груди и падало в пятки.

В голове все время крутилась мысль о голодных волках. Ещё с детства помнилось много страшилок о стаях волков в наших лесах. Бывали и случаи нападения на людей. Спасу не будет, если выйдут на дорогу. Раза два показалось, что они где-то рядом и тихо преследуют меня. Тогда я припускала ходу, если можно, так сказать. Думала, если нападут, то брошу сумки и побегу. Но теперь знаю, что лучше не бежать, а залезть на дерево. Всё познается с опытом жизни.

С начала пути разные беспокойные мысли роились в моей голове. Всё-таки даже для деревенского человека расстояние вполне себе приличное – 12 километров. Но какая странная дорога от Карицы до Первомайского! Ни одной деревеньки, ни одной охотничьей избушки! Только лес, лес, лес...

И все-таки, несмотря на внутренний трепет, я шла и любовалась этим зимним лесом и даже иногда хотелось петь, такая красота была кругом и покой.

Где-то к концу путешествия появилась уверенность, на душе стало спокойней: волки не съели, лесной тать не отобрал сумки с подарками и продуктами. Вспомнила про отца! И даже представила, как он тоже ездил на таком же поезде и много раз ходил по такой же дороге, только от станции Гремячий.

Вспомнила, как в детстве, ездили с подружкой на эту станцию за валенками. Ездили на лошади с санями по зимней дороге. Снегу тогда было очень много, ехали в темноте, лошадь все время пряла ушами и ржала. Видимо, недалеко ходили волки и она их чувствовала. Тогда было тоже страшно, но мы были со взрослым человеком, и он вселял в нас уверенность, что с нами ничего ужасного не случится. А здесь я была одна и ободрять меня было просто некому. Оставалось развлекать себя воспоминаниями, разными мыслями, даже – читать вслух стихи! Этим и скрасила свой путь.

Примерно часа через три дошла, можно сказать, почти доползла, до посёлка Первомайский. Вся замёрзшая, бесконечно уставшая. Но нахлынуло чувство счастья, когда увидела бегущую навстречу мать и людей, которые уже сидели в тракторной телеге и ждали меня.

Спустя годы, думаю о том, что никакой романтики в этих походах нет. Когда ты один в предзимнем лесу, идёшь

в полутемноте, то в голове только одна мысль: как бы не замёрзнуть и остаться живым, добраться до добрых людей. Бредить о подобной романтике могут только те, кто никогда дальше городской черты не выбирался. Сельские люди частенько проделывали подобный путь по северным лесам. Да, по крайней необходимости! Какое счастье, если в таких случаях встретится отзывчивый человек. Как мне тут не вспомнить Марию Ивановну Богданову, которая помогла отцу в трудную минуту. А мне – того доброго человека, который оставил дрова в печурке сторожки на станции Карица. Нельзя исключить, что он спас мне жизнь...

Последующие два раза довелось преодолеть эту, уже знакомую дорогу, с попутчиками. Опять охватывало тревожное чувство, но уже не было прежнего страха. Что поделать, если другой возможности добраться до родной Николы в осеннее время года, просто не было.

3. По тонкому льду

Я люблю судьбу свою,
Я бегу от помрачений!
Суну морду в полынью
И напьюсь, как зверь вечерний!

Н. Рубцов

Как ни хорошо дома гостить, но пора и обратно в Ленинград на учёбу. Спустя несколько дней выехала из Николы уже другим путём. Сначала на грузовике доехала до села Красное. А теперь? Надо почти пятьсот метров перейти по льду Сухоны до Черепанихи, деревни на левом берегу. Это был первый день, когда разрешали людям переходить на другую сторону реки. До этого лед был совсем тонкий. Было уже совсем темно. Люди шли друг за другом строго по дорожке. Я шла с односельчанином, он нес мою сумку и шел впереди, а я в двух метрах сзади, соблюдая дистанцию. Когда переходили реку, то под ногами было слышно бульканье воды подо льдом. Лед был еще прозрачный, тонкий, а вода черная. Всё это наводило ужас и ноги подкашивались от страха. Каждый шаг давался с трудом. А вдруг лед подломится? Я шла почти с закрытыми глазами и колотящимся сердцем.

Наконец мы добрели до противоположного берега, там уже ждал людей рейсовый автобус. Провожатый отдал мне сумку и пошел назад. Мне стало жаль его, почему-то я боялась, как он один обратно проделает путь через реку, но нужно было садиться в автобус, поэтому я не видела, как он туда добрался.

Спустя годы, я часто вижу один повторяющийся сон: как я перехожу через Сухону и не могу дойти до противоположного берега. Наверное, потому и снится, что было много событий, связанных с рекой.

Ещё помню, как моя мать рассказывала, что Рубцов (она его так называла) тоже переходил через реку по первому льду в такое же межсезонье. Сохранилось письмо, где он пишет о том, как добирался от Сухоны до Вологды на попутках. Многие подобные впечатления и легли в основу его стихов. И так всегда, из года в год: дорога, дорожная мука, которая знакома до срока, и которую переживаешь уже заранее...

Март, 2021.

РОССИЯ, РУСЬ! ХРАНИ СЕБЯ, ХРАНИ!

Русский огонёк

1

Погружены в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели!
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное, без звезд.
Какая глушь! Я был один живой,
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Вдруг тихий свет – пригрезившийся, что ли?
Мелькнул в пустыне, как сторожевой...

Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу,– последняя надежда! –
И услыхал, отряхивая снег:
– Вот печь для вас... И теплая одежда...–

Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...

2

Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне и поразил
Сиротский смысл семейных фотографий!
Огнем, враждой земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет...
– Скажи, родимый, будет ли война?
И я сказал:
– Наверное, не будет.
– Дай бог, дай бог... ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет... –
И вдруг опять: – Не будет, говоришь?
– Нет,– говорю,– наверное, не будет!
– Дай бог, дай бог...
И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у огня.
Что снилось ей? Весь этот белый свет,
Быть может, встал пред нею в то мгновенье?
Но я глухим бренчанием монет
Прервал ее старинные виденья.
– Господь с тобой! Мы денег не берем.
– Что ж,– говорю,– желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...

3

Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном

От всех друзей отчаянно далек,
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя...

Видения на холме

Взбегу на холм
и упаду
в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!
И вдруг картины грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву.
Пустынный свет на звёздных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и в жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя...

Россия, Русь – куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы.
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
в окрестностях
России.

Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они – и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной – бессмертных звёзд Руси,
Спокойных звёзд безбрежное мерцанье...

* * *

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времён...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом не молкнущем шуме
Весенние воды, и брёвна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей,–
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной
царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля – останься, моё божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую лёгкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивлённой старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

Привет, Россия...

Привет, Россия – родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...

Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле – по сёлам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.

Привет, Россия – родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.

За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивой под оконцем.
Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!

Как весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достославной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!..

Тихая моя родина

В. Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

– Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.–
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Прощальная песня

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.

Мать придёт и уснёт без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.

Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня?

Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеётся во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...

Не грусти на знобящем причале,
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.

Мы с тобою как разные птицы,
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу...

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой настигающий топот
Всё мне слышится, словно в бреду.

Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю –
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.

Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
– Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она...

В минуты музыки

В минуты музыки печальной
Я представляю жёлтый плёс,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берёз,

И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...

Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.

Но всё равно в жилищах зыбких –
Попробуй их останови! –
Перекликаясь, плачут скрипки
О жёлтом плёсе, о любви.

И всё равно под небом низким
Я вижу явственно, до слёз,
И жёлтый плёс, и голос близкий,
И шум порывистых берёз.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чём...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чём.

Зеленые цветы

Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом,
Который сам не терпит суеты.

За нами шум и пыльные хвосты –
Все улеглось! Одно осталось ясно –
Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.

Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь... чего-то не хватает...
Недостает того, что не найти.

Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы...

* * *

Окошко. Стол. Половики.
В окошке – вид реки...
Черны мои черновики,
Чисты чистовики.

За часом час уходит прочь,
Мелькает свет и тень.
Звезда над речкой – значит, ночь.
А солнце – значит, день.

Но я забуду ночь реки,
Забуду день реки:
Мне спать велят чистовики,
Вставать – черновики.

* * *

О чём писать?
На то не наша воля!
Тобой одним
Не будет мир воспет!
Ты тему моря взял
И тему поля,
А тему гор
Другой возьмёт поэт!

Но если нет
Ни радости, ни горя,
Тогда не мни,
Что звонко запоёшь,
Любая тема –
Поля или моря,
И тема гор –
Всё это будет ложь!

Стихи

Стихи из дома гонят нас,
Как будто вьюга воет, воет
На отопленье паровое,
На электричество и газ!

Скажите, знаете ли вы
О вьюгах что-нибудь такое:
Кто может их заставить выть?
Кто может их остановить,
Когда захочется покоя?

А утром солнышко взойдёт,–
Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?

Вот так поэзия, она
Звенит – её не остановишь!
А замолчит – напрасно стонешь!
Он незрима и вольна.

Прославит нас или унизит,
Но всё равно возьмёт своё!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от неё...

Журавли

Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...
Вот наступит октябрь – и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные клики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц.
Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей –
Это выразят всё, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...
Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на любимцев своих!
Вот замолкли – и вновь сиротеет душа и природа
Оттого, что – молчи! – так никто уж не выразит их...

Ферапонтово

В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.
И однажды возникли из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле...

Осенняя песня

Потонула во мгле
Отдаленная пристань.
По канаве промчался –
Эх! – осенний поток!
По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался
Пароходный свисток.

Ну, так что же? Пускай
Рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет
Затаившийся снег!
На тревожной земле
В этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек!

А последние листья
Вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись,
Выбиваясь из сил!
На меня надвигалась
Темнота закоулков.
И архангельский дождик
На меня моросил...

Сосен шум

В который раз меня приветил
Уютный древний Липин Бор,
Где только ветер, снежный ветер
Заводит с хвоей вечный спор.

Какое русское селенье!
Я долго слушал сосен шум,

И вот явилось просветленье
Моих простых вечерних дум.

Сижу в гостинице районной,
Курю, читаю, печь топлю,
Наверно, будет ночь бессонной,
Я так порой не спать люблю!

Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков,
И свет соседнего барака
Еще горит во мгле снегов.

Пусть завтра будет путь морозен,
Пусть буду, может быть, угрюм,
Я не просплю сказанье сосен,
Старинных сосен долгий шум...

Добрый Филя

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...

Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной,
Добрый Филя живет.

Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
– Филя, что молчаливый?
– А о чем говорить?

В горнице

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды...

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

Улетели листья

Улетели листья
с тополей –
Повторилась в мире неизбежность...
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность!
Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья
улетели?

Песня

Отцветет да поспеет
На болоте морошка,–
Вот и кончилось лето, мой друг!
И опять он мелькает,
Листопад за окошком,
Тучи темные вьются вокруг...

Заскрипели ворота,
Потемнели избушки,
Закачалась над омутом ель,
Слышен жалобный голос
Одинокой кукушки,
И не спит по ночам коростель.

Над притихшей деревней
Скоро, скоро подружки
В облаках полетят с ветерком.
Выходя на дорогу,
Будут плакать старушки
И махать самолету платком.

Ах, я тоже желаю
На просторы вселенной!
Ах, я тоже на небо хочу!
Но в краю незнакомом
Будет грусть неизменной
По родному в окошке лучу.

Жаль мне доброе поле.
Жаль простую избушку,
Жаль над омутом старую ель...
Что ж так жалобно плачет
На болоте кукушка?
Что ж не спит по ночам коростель?

Выпал снег...

Выпал снег –
И все забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилось,
Словно выпил я вина.

Вдоль по улице по узкой,
Чистый, мчится ветерок,
Красотою древнерусской
Обновился городок.

Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России.
Словно радостная весть.

Снег летит – гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу...
Ну и ладно! И добро.

До конца

До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!

Перед этой
Желтой, захолустной
Стороной березовой
Моей,
Перед жнивой
Пасмурной и грустной
В дни осенних

Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,
Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста.

Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

Посвящение другу

Замерзают мои георгины,
И последние ночи близки,
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...

Нет! Меня не порадует – что ты! –
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.

Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои...
Я пришел к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои!

Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя.
В пугачёвские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали.

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

ВОЛОГОДСКАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(1961–2021)

1.	Алексеев Сергей Трофимович	1952 г.
2.	Алёшинцев Николай Созонтович	1950 г.
3.	Багров Сергей Петрович	1936 г.
4.	Бараков Виктор Николаевич	1961 г.
5.	Балакшин Роберт Александрович	1944 г.
6.	Белков Вячеслав Сергеевич	1952–2006 гг.
7.	Белов Василий Иванович	1932–2012 гг.
8.	Беляев Леонид Александрович	1939–1997 гг.
9.	Белякова Елена Ивановна	1956 г.
10.	Бодренков Иван Михайлович	1919–1991 гг.
11.	Бычкова Татьяна Егоровна	1957 г.
12.	Васильев Алексей Алексеевич	1933–2002 гг.
13.	Воробьёва Лидия Михайловна	1953–2014 гг.
14.	Гарновский Виталий Всеволодович	1902–1986 гг.
15.	Гроссман Виктор Азриелевич	1887–1978 гг.
16.	Груздева Нина Васильевна	1936–2016 гг.
17.	Гура Виктор Васильевич	1925–1991 гг.
18.	Гусев Анатолий Павлович	1932–1964 гг.

19. Грязев Александр Алексеевич 1937–2012 гг.
20. Дегтерёв Николай Александрович 1986 г.
21. Дружининский Николай Васильевич 1948–1993 гг.
22. Елесин Василий Дмитриевич 1936–2005 гг.
23. Ехалов Анатолий Константинович 1951 г.
24. Жаравин Михаил Геннадьевич 1959–1995 гг.
25. Железняк (Белецкий) Владимир Степанович 1904–1984 гг.
26. Карачёв Михаил Иванович 1953 г.
27. Кванин Олег Семёнович 1913–1978 гг.
28. Кокорин Владислав Николаевич 1955 г.
29. Коротаев Виктор Вениаминович 1939–1997 гг.
30. Кудрявцев Владимир Валентинович 1953–2013 гг.
31. Кузовлев Дмитрий Михайлович 1927–1985 гг.
32. Кукушкин (Кучмида) Николай Павлович 1942–2006 гг.
33. Ларионов Олег Иванович 1959 г.
34. Леднев Юрий Макарович 1929–2001 гг.
35. Ломковский Александр Вениаминович 1965 г.
36. Лушников Андрей Евстафьевич 1964 г.
37. Максин Юрий Михайлович 1954 г.
38. Мартюков Анатолий Сергеевич 1934–2012 гг.
39. Мишенёв Василий Михайлович 1958 г.
40. Мишнев Станислав Михайлович 1948–2020 гг.
41. Никитина (Чурбанова) Инга Александровна 1967 г.
42. Оботуров Василий Александрович 1938–2008 гг.
43. Петухов Анатолий Васильевич 1934–2016 гг.
44. Плотников Виктор Александрович 1950 г.
45. Полуянов Иван Дмитриевич 1926–2008 гг.
46. Пошехонов Александр Алексеевич 1956 г.
47. Романов Александр Александрович 1930–1999 гг.
48. Рубцов Николай Михайлович 1936–1971 гг.
49. Сазонов Геннадий Алексеевич 1950 г.
50. Свистунов Мануил Алексеевич 1937–2006 гг.
51. Сидоренко Александр Михайлович 1957–2006 гг.
52. Сидорова Наталья Петровна 1953 г.
53. Ситников Василий Харлампиевич 1951 г.
54. Славолюбова Людмила Дмитриевна 1931–2015 гг.
55. Смолин Андрей Петрович 1959 г.
56. Созин Сергей Аркадьевич 1955 г.

57. Сопин Михаил Николаевич 1931–2004 гг.
58. Степанов Владимир Степанович 1937–1994 гг.
59. Сухарев Аркадий Алексеевич 1912–1978 гг.
60. Тарыничев Юрий Фёдорович 1934–2007 гг.
61. Тихомиров Сергей Алексеевич 1973 г.
62. Толстиков Николай Александрович 1958 г.
63. Угловский Николай Васильевич 1921–1971 гг.
64. Фокина Ольга Александровна 1937 г.
65. Фокин Николай Васильевич 1953–1995 гг.
66. Хачатрян Александр Хачатурович 1939–2016 гг.
67. Хлебов Вячеслав Михайлович 1939–2003 гг.
68. Цыганов Александр Александрович 1955 г.
69. Чернорицкая Ольга Леонидовна 1967 г.
70. Чулков Борис Александрович 1932–2014 г.
71. Чухин Сергей Валентинович 1945–1985 гг.
72. Шарыпов Вениамин Николаевич 1937–1985 гг.
73. Швецов Александр Сергеевич 1951–1999 гг.
74. Шириков Владимир Леонидович 1944–1998 гг.
75. Яцкевич Людмила Григорьевна 1944 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Романов. Народные корни литературы. *Литературно-художественный очерк* 5

Ольга Фокина. «Но и всё-таки мати-природа отстояла и выбрала нас...». *Стихи* 21

Александр Цыганов. Вологодские рассказы 40

Михаил Карачёв. «Мира нежного тайна живая». *Стихи* 93

Роберт Балакшин. Город. *Очерк, рассказы* 109

Владислав Кокорин. «Даруй мне судьбу наудачу...». *Стихи* 144

Александр Ломковский. Новый день. *Рассказы* 154

Александр Пошехонов. «Я с веками веду разговор...». *Стихи* 180

Николай Алёшинцев. Волоковое поле. *Очерк.* Никитино счастье. *Повесть* 189

Василий Ситников. «Высотою бездонной звенит тишина...». *Стихи* 222

Виктор Плотников. Зима девяносто третьего. *Из романа* 230

Василий Мишенёв. «А день стоит, спокоен и высок!..». *Стихи* 259

Анатолий Ехалов. Снандулья. *Из повести* 269

Инга Чурбанова. «Сад в огне зацветающем вижу». *Стихи* 301

Олег Ларионов. Полоска света. *Новеллы* 307

Николай Дегтерёв. «И вечная участь души!..». *Стихи* 330

Николай Толстиков. Ставленник. *Рассказы* 335

Геннадий Сазонов. «Мне всё же улыбнулось счастье...». *Стихи* 349

Николай Устюжанин. Выбор. *Новеллы* 358

Ольга Чернорицкая. «Я повинуюсь грустным облакам». *Стихи* 380

Сергей Тихомиров. Притяжение малой родины. *Очерк родиноведения* 385

Сергей Созин. «Они не успокоятся!..». *Публицистический очерк* 401

Елена Белякова. «Зачем нужны новые переводы, или «Простидура» Винни Пуха». *Очерк* 413

Андрей Лушников. «Всё движется упрямо к свету...». *Стихи* 425

Сергей Алексеев. «Мы живем в ожидании лета...». *Очерк* 433

Андрей Смолин. «И дольше века длились дни...». *Очерк о поэте В. В. Кудрявцеве* 441

Юрий Максин. «По берегу ушедших дней...». *Стихи* 458

Сергей Багров. О друзьях-товарищах... *Литературно-художественные очерки о писателях* 467

Наталья Сидорова. «Нашей памяти светлые блики». *Стихи* 514

Людмила Яцкевич. Вологодские портреты. *Размышления и очерки о писателях.* О национальной самодостаточности русского языка и призраке трансгуманизма. *Очерк* 525

Татьяна Бычкова. «Где сгорает моя тревога...». *Стихи* 591

Литературное наследие. *Память сердца*

Василий Белов. «Путями века». *Очерк Василия Оботурова о творчестве В. И. Белова* 598

Александр Романов. «Над жизнью, над смертью, над болью...». *Стихи* 604

Василий Оботуров. Из дали ещё не дальней. *Размышления о прозе В. Елесина* 610

Олег Кванин. «Чтобы был твой покой нерушим...». *Стихи* 615

Иван Полуянов. Май – травень. *Краеведческий очерк* 620

Николай Дружининский. «Не дрожи над полюшком, пустельга...». *Стихи* 625

Станислав Мишнев. Письмо другу. *Рассказ* 632

Лидия Теплова. «И Родине тихонько поклонюсь...». *Стихи* 644

Михаил Жаравин. Две затяжки. *Рассказ* 654

Александр Швецов. «Баллада о стрелах». *Стихи* 660

Вячеслав Белков. Короткие истории. *Рассказы о Николае Рубцове* 664

Леонид Беляев. «Выходит в море пароход...». *Стихи* 669

Александр Грязев. Слово и слава предков. *Краеведческий очерк* 673

Юрий Леднев. «Наш дом стоит на косогоре». *Стихи* 678

Михаил Сопин. «Ходит память и плачет по-русски...». *Стихи* 683

Владимир Железняк. Брат. *Рассказ* 691
Борис Чулков. «...на грани призрачного сна». *Стихи* 702
Виктор Коротаев. «Выхожу на линию огня...». *Стихи* 707
Владимир Шириков. «Ещё не вечер...». *Литературно-художественный очерк Анатолия Ехалова о В.Л. Ширикове* 715
Нина Груздева. «Где-то плачут от счастья люди...». *Стихи* 724
Сергей Чухин. «Жизни тающая река...». *Стихи* 732
Николай Рубцов. *(Елена Рубцова «Дорога, дорога!..» Путевой очерк 2021 г.). Николай Рубцов* «Россия. Русь! Храни себя, храни!» *Стихи* 739
Вологодская писательская организация (1961–2021). *Списочный состав* 764

Издание подготовлено к печати
при поддержке
Департамента культуры и туризма
Вологодской области

Литературно-художественное издание

СЕВЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Сборник произведений
к шестидесятилетию
Вологодской писательской организации

Редакторы:
А. А. Цыганов
В. А. Плотников

Художественный редактор
А. А. Цыганов

Корректор
И. В. Скворцова

12+

Подписано в печать 05.10.2021. Формат 84×108/32.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 40,53.
Тираж 300. Заказ 1344.

ООО ПФ «Полиграф-Периодика».
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.
Тел. 8 (8172) 72-61-75. E-mail: price@pfpoligrafist.com